

АЛЕКСАНДР
БЕК

АЛЕКСАНДР
БЕК

4

**АЛЕКСАНДР
БЕК**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ**



АЛЕКСАНДР **БЕК**

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
РУССКИЙ ПЕН-ЦЕНТР

1993

АЛЕКСАНДР **БЕК**

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ



НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

РОМАН

ТАКОВА ДОЛЖНОСТЬ

ПОВЕСТЬ

ПОЧТОВАЯ ПРОЗА

РОМАН О РОМАНЕ

ИЗ ДНЕВНИКОВ

(1964—1972)



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

РУССКИЙ ПЕН-ЦЕНТР

1993

ББК 84Р6

Б 42

Издание выпущено
по Федеральной целевой программе
книгоиздания России

Составление, подготовка текста, примечания

Т. БЕК

Оформление художника

Ю. АЛЕКСЕЕВОЙ

Часть прибыли от продажи тиража
настоящего собрания сочинений
переводится в Русский ПЕН-центр

Б 4702010201-127 Подписное
028(01)-93

ISBN 5-280-02041-9 (Т. 4)
ISBN 5-280-01606-3

© Составление, подготовка
текста, примечания.
Бек Т. А., 1993 г.

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

Р О М А Н

Производя всякие розыски для этой книги, собирая разные свидетельства, то изустные, то счастливо найденные в давних бумагах, погружаясь в нее мыслью, перебирая в уме будущие главы, я порою испытывал сомнение: хватит ли сил поднять или, по нынешнему выражению, потянуть дело, которое сам на себя взвалил. Однако поддерживаю решимость достойными примерами.

Вот Горький. Высоченный, сутулый, худой — сквозь темную ткань пиджака заметны выступы лопаток, шея просечена извивами крупных морщин, — он шагает по настилу сцены к кафедре в зале Московского комитета партии. Это торжественный вечер в честь пятидесятилетия Ленина. Ряды сплошь заняты. Сидят даже на краю помоста, предназначенного для президиума и ораторов. С виду Горький угрюм, бритая, с шишкообразными неровностями голова наклонена, впалые глаза затенены насупленными кустистыми бровями. В зале тихо; Горький, ухватившись обеими руками за ободки кафедры, молчит. Лишь двинулись, проступили желваки. Потом шевельнулись обвислые моржовые его усы, окрашенные над губой многолетним, дегтярного гона, осадком никотина. Усы шевелятся, будто он уже начал говорить, но голосовые связки, как можно понять, стиснуты спазмом волнения.

Горький прокашлялся. И приподнял голову. Стали видны большие на удивление его ноздри. Проглянула и синева глаз. Все еще хмурясь, он неловко подвигал костлявыми плечами и развел длинные руки. Это был откровенный жест беспомощности. Хрипловатым басом, окая, он произнес первую фразу:

— Товарищи, есть люди, значение которых как-то не объемлется человеческим словом.

Досадливо крикнул. Возможно, его требовательное ухо литератора — крупное, грубовато вылепленное — отметило нескладность оборота «человеческим словом»: каким же, в самом деле, оно может быть иным? Впрочем, до стилистики ли Горькому сейчас? Года полтора назад, в сентябре 1918-го, он пришел к Ленину, который был тогда чуть ли не смертельно ранен двумя пулями, что почти в упор террористка всадила ему в шею и в грудь, пришел после длительных несогласий с Лениным и с того дня заново определил свое место во все ожесточавшейся борьбе, напрямую вопрошавшей: «на чьей ты стороне?», решил: если стреляют в революцию, то я — с ней, в ее рядах! Однако на большом политическом собрании Горький со времен октябрьского переворота, кажется, лишь впервые выступал.

— Русская история, — глухо гроыхал его бас, — к сожалению, бедна такими людьми. Западная Европа знает их. Вот Христофор Колумб...

Приостановившись, Горький опять крикнул, махнул рукой, — было видно, что он не находит выражений, недоволен, что его занесло к Колумбу, и, не развивая такого сравнения, явно скомкав мысль, заговорил, забухал дальше:

— Мы можем назвать в Западной Европе целый ряд таких людей...

Первая минута истекла, глуховатый, но уже без хрипоты голос стал внятней.

— Людей, которые будто играли как-то, — Горький опять недоумевающе повертел плечами, будто говоря: «тут черт ногу сломает», — играли каким-то рычагом, поворачивая историю в свою сторону.

И живым неожиданным жестом как бы крутнул перед собой невидимый глобус. И улыбнулся. Брови вскинулись, совсем ясно проступили синие, с какой-то озорнинкой глаза.

Пожалуй, эта улыбка, явственно выразившая влюбленность в того, о ком шла речь, имела и еще некий оттенок. В ней точно читалось: «знаю, товарищи, что рассуждаю не марксистски, но ведь вам известно, что я плохой марксист, уж не взыщите».

Снова прихмурясь, Горький продолжал:

— У нас в истории был, — тут он щелкнул пальцами, словно ища и не находя верного слова, щелкнул

и поправил себя,— нет, я сказал бы, почти был: Петр Великий таким человеком для России.

Выдержал паузу, подумал и, подняв указательный палец, произнес:

— Вот таким человеком только не для России, а для всего мира, для всей нашей планеты является Владимир Ильич.

Далее Горький опять затруднился, опять вертел в воздухе пальцами, не то лоя, не то вылепливая на глазах у всех какую-то нужную фразу. И тут же признался:

— Нет, не найду, хотя и считаю себя художником, не найду слов, которые достаточно ярко очертили бы...— Вновь он водил руками, поднимая их выше головы, как бы не в силах нечто охватить, объять.— Такую коренастую... Такую сильную... Такую огромную фигуру...

Опять слово ему не повиновалось. Он не сдержал слезу, затерявшуюся в крупной морщине, словно прокопанной от скулы к подбородку. И не стеснялся умиленности — той умиленности, какую в искусстве не потерпел бы: она под пером сладка.

А затем месяц или два спустя Горький попытался нарисовать Ленина штрихами писательского своего пера. Тот ранний вариант литературного портрета заканчивался такими строками: «Я снова пою славу священному безумству храбрых. Из них же Владимир Ленин — первый и самый безумный».

Это маленькое изящное произведение вызвало резкий отклик Ленина. Впрочем, гнев его был направлен не столько против автора — возобновив прежнюю дружбу, Ленин, наверное, лишь рассмеялся бы, сыронизировал бы насчет «самого безумного», — сколько по адресу журнала «Коммунистический Интернационал», напечатавшего заметки Горького о Ленине. Не вынося малейшей неряшливости в области теории, Ленин, как только прочел эти посвященные ему страницы, тотчас же стремительной, будто наклоненной в беге искосью, по обыкновению без помарок, выделяя подчеркиванием отдельные слова или даже части слов, написал проект постановления Политбюро о том, что в высказываниях Горького, помещенных в «Коммунистическом Интернационале», «не только нет ничего коммунистического, но и много антикоммунистического».

Однако, чтобы не впасть в грех упрощения и односторонности — быть может, самый опасный для задуманного нами труда, — дадим еще коротенькую справку. Это выдержка из письма Надежды Константиновны Крупской, посланного Горькому: «...Ильич в последний месяц жизни отыскиал книгу, где Вы писали о нем, и велел мне вслух читать Вашу статью. Стоит у меня перед глазами лицо Ильича, как он слушал и смотрел в окно куда-то вдаль — итоги жизни подводил и о Вас думал».

Так-то, друг читатель. Не проста, не выведена прямыми линиями история, которую нам предстоит воспроизвести. Что же, к делу!

2

Вернемся в зал Московского комитета партии — зал, что звался красным, ибо его стены были выкрашены темно-вишневым колером, — на заседание, посвященное пятидесятилетию Ленина.

Пусть эта зарубка, этот вечер 23 апреля 1920 года так и послужит началом нашей хроники.

Юбилей проходил без юбиляра. Владимир Ильич не захотел выслушивать поздравительных речей, отверг все уговоры, назвал затею никчемушной. Передавали, что, высмеивая назначенное чествование, он обратился к самому себе по Чехову: «глубокоуважаемый шкаф!» И наотрез заявил, что ни за какие коврижки его не заманят сыграть эту глупейшую да попросту непристойную роль.

Тем не менее на вечере разнесся и другого рода слух, исходивший не то от Надежды Константиновны — вон она, очень худая, с приметной родинкой справа на лбу, с непривычным ее щекам румянцем сидит в седьмом или восьмом ряду, — не то от светловолосого Бухарина, поворачивающего туда-сюда лысеющую голову, мальчишески непоседливого даже и тут, за столом президиума, слух, что все-таки в какой-то мере удалось уломать Ленина: он здесь появится, правда, лишь после того, как отговорят ораторы.

Докладчиком выступил Лев Борисович Каменев, тогдашний председатель Московского Совета, или, как в шутку говорили, лорд-мэр Москвы. В этой шутке содержалось что-то меткое. Он, член Политбюро Рос-

сийской коммунистической партии, что вершила самую решительную в мировой истории революцию — революцию всех обездоленных против всех угнетателей, — впрямь являл в своем облике, в повадке некую напоминавшую о диккенсовской Англии респектабельность. Спокойные, плавные жесты подошли бы представителю безукоризненно солидного, устойчивого дела. Осанку подчеркивал красивый постав головы, которую увенчивала русая, с отливом золота, густая шевелюра, уже на висках с проседью. Линии столь же золотистых с рыжей окаемкой бородки и усов были мягки. Спокойно двигались белые, породистые руки. Мягкость, природное добродушие сквозили и в выражении голубых, выпуклых в меру глаз, взиравших сквозь пенсне. Военного образца коричневая куртка, именовавшаяся френчем, на нем как-то не замечалась, обмявшимися складками свободно облегал кругловатые плечи, плотную, склонную, как говорится, к полноте, но отнюдь еще не располневшую фигуру.

За Каменевым не числился дар сильной самостоятельной мысли, и, вероятно, поэтому он, несмотря на эрудицию, юмор, острый, быстро схватывающий ум, ораторскую и литературную талантливость, оставался все же несколько безличным, бесцветным. Вместе с тем он обладал редкой способностью резюмировать, подводить итог высказываниям, формулировать сложившееся мнение, не впадая в крайности, в пристрастия. И сплошь и рядом превосходно исполнял роль председателя или докладчика.

Ушли, казалось, в дымку времени, дни семнадцатого года, когда он — в апреле и затем в октябре — схватывался с Лениным, получая в ответ нещадно разящие удары. Мысль, воля, непримиримость Ильича сгибали Льва Борисовича. Со склоненной повинной головой он тогда же возвращался к Ленину. И теперь эпически спокойно, основательно, в духе своих лучших резюме, произносил вступительный доклад к чествованию Ленина:

— Человек величайшего ума, величайшей воли, величайшего напряжения и величайшей прозорливости. Я не хочу употреблять здесь, в родной семье борцов-коммунистов, слов слишком широковещательных и слишком больших, но если все это сжать в одно-два слова, то это слово было бы, конечно, гениальная способность Владимира Ильича.

Фразы несколько шаблонны, уже стерты в обиходе, но пробивается живая теплота:

— Человек, который неоднократно оставался один, человек, который неоднократно объявлялся сектантом, раскольников, который неоднократно видел, что он как будто оказывается в стороне от широкой исторической дороги. И вдруг выяснилось, что эта широкая историческая дорога пролетариата лежит там, где стоит Ленин.

Что-то личное, не свойственное стилю Каменева, еще заметней возникает в его речи:

— Я не знаю случая, чтобы Ленин задумался над расколом с самым близким своим другом, с самой могущественной организацией, если он был уверен, что они отступили от теории пролетарского социализма.

Перейдя к прежнему эпическому изложению, Каменев выделяет самые дорогие Ленину, заветнейшие мысли:

— Русский пролетариат принужден был ходом истории России поставить вопрос о власти и государстве. Первые образцы революционного решения вопроса о власти были даны Владимиром Ильичем.

Сейчас ни одной интонацией Лев Борисович не показывает, что в свое время и он отвергал эти идеи Ленина. Да, было, и былшем поросло. Зато потом он, ничуть не поступаясь солидностью, заново крестился, так сказать, в ленинской купели, стал как бы ревнителем ленинской теории государства:

— Когда Владимир Ильич сказал, что трудящиеся низы сами должны управлять государством, это было в истории человечества действительно новым словом. Ленин создал эту новую теорию, конечно, опираясь на гениальное предвидение Маркса, извлек его и разработал в целую систему, воплотил в ежедневную практику управления. Вот это абсолютное доверие, эта абсолютная уверенность, что каждый чернорабочий может взяться за государственное строительство,— вот это и спасает наше дело.

Вслед за Каменевым говорил Горький.
Среди слушателей находился Алексей Платонович Кауров, прибывший с Юго-Западного фронта делега-

том Девятого партийного съезда, задержавшийся в Москве из-за болезни,— он на пути в столицу подхватил еще гулявшую по стране жестокую хворь, что звалась испанкой, ходил, температура, на съезд и был вдобавок наказан воспалением легких. Лишь вчера выпущенный врачами на волю, он пристроился тут вместе с другими, кому не досталось места в зале, прямо на половицах сцены близ добротной сработанной трибуны, которая — дитя революции — не блистала лаком, была промалевана немудрящей морилкой. В том же углу расположились и стенографистки, порой недовольно шикавшие на теснившихся и к их столику безместных сидельцев. Доставалось и Каурову, иногда ворочавшемуся или по живости натуры общавшемуся шепотком с соседями. Уловив идущее от столика «т-с-с-с», он всякий раз картинно зажимал кулаком рот, потом просил извинения улыбкой, что выказывала чуть обозначившиеся ямочки на осунувшихся в дни болезни щеках, где, правда, уже пробивался свежий румянец, характерный для Каурова, словно добавлявший мазок наивности серьезным его чертам.

Ему здесь не привелось сбросить с плеч шинель,— опоздав, он пренебрег раздевалкой, прошел напрямик, благо тут, в Московском комитете, как, впрочем, в те годы и повсюду, не было на сей счет строгостей. Примостившись на дощатом настиле, он снял свою изрядно мятую военную фуражку, обнажив небольшую лысинку, образовавшую на самой макушке розовый правильный кружок среди льняных тонких волос. Белесый короткий зачес странно сочетался с густо-черными, точно нанесенными углем бровями. Так перемешались, перепутались в нем черты отца, русского полковника, и грузинки-матери.

Время от времени Кауров наскоро фиксировал в записной книжке некоторые, на его взгляд, чем-либо знаменательные, сказанные с трибуны слова. Сегодняшняя его карандашная скоропись, подчас едва разборчивая, где зачастую окончания слов отсутствовали, не залежится, пойдет в дело, будет прочтена вслух сотоварищам-политотдельцам, понадобится, наверное, и для его докладов на партсобраниях в частях армии, с которой он делил и невзгоды отступления, и победный путь на берега Черного моря — завтра-послезавтра он снова укатит туда.

Придется, должно быть, и во фронттовую газету дать отчет о вечере, что называется, по личным

впечатлениям. Однако это-то для него, сотрудничавшего еще в дореволюционной «Правде», разлюбленное занятие: он охотно посидит над статьей за полночь, были бы бумага, карандаш и табак!

Как и притихшую аудиторию, Каурова растрогала нескладница горьковской речи, признание: слов не нахожу, не понимаю, совершенно нечто чудесное, необъяснимое, совершенно Лениным, редчайшим в истории человеком, которому под силу чудеса.

Опять черкнув в записную книжку строку-другую, Алексей Платонович (или коротко Платоныч, как в товарищеском кругу прозвали его) поглядывал на Горького.

Нечто чудесное... Да, возглавляемая большевиками революция отстояла, утвердила себя в вооруженной борьбе. Поле сражения в бывшей Российской империи — еще только в ней одной! — осталось за нами, за невиданным новым государством, новым обществом. Вот заполненные сплошь ряды. Гражданская война положила свой отпечаток на одежду. Штатских пиджаков немного. Галстуков — один, два, и обчелся. Там и сям кожаные куртки. И суконные, с накладными карманами френчи. Несколько красных косынок, повязанных вокруг женских голов, — единственные яркие вкрапления. Еще не минуло и трех лет с тех пор, как Ленин вынужден был скрываться в шалаше, а ныне...

Нечто необъяснимое... Нет, не по его велению произошла Октябрьская революция. История была ею беременна. Ленин это угадал, постиг. Если не танцевать от такой печки, конечно, ничего не уяснишь. Платоныч не раз в этаким духе излагал закономерность Октября в своих лекциях в армейской политшколе, — он, нагруженный еще многими обязанностями, все-таки урывал время, чтобы вести там курс исторического материализма.

...Место на трибуне уже занял Ольминский, давний последователь Владимира Ильича, один из старейших в этом зале. Нежно-розовая, не тронутая морщинами, кожа как бы усугубляла ребячливость его лица, охваченного седой, без единого темного волоска, густой шевелюрой и вольно разросшейся столь же белой бородой.

Он, когда-то подписывавший свои статьи в нелегальных большевистских газетах броским псевдони-

мом Галерка, теперь шутливой ноткой развеял торжественную серьезность собрания:

— Приглашение высказаться было, товарищи, для меня нечаянным, и первым чувством у меня был страх.

Шутка дошла,— дошла, наверное, потому, что в ней содержалась и правда. Стенографистка условной закорючкой обозначила: смех. Вместе с другими засмеялся и Кауров.

А седовласый ветеран партии, участник множества политических драк, неизменно воевавший на стороне, как говорилось, твердокаменного большевизма, теперь, улыбаясь почти детской голубизны глазами, продолжал:

— У Владимира Ильича есть хорошие словечки. Например, хлюпкий интеллигент. Все мы, интеллигенты, действительно, хлюпики, кроме товарища Ленина и некоторых других.

Каурову в тот миг подумалось: переборщил! Себя Платоныч к званию хлюпиков не причислял.

Тем временем оратор, отрекомендовавшийся — в шутку ли, всерьез ли? — интеллигентом-хлюпиком, проделал то, о чем позабыли и председатель, и докладчик, и все, кто уже выступил.

Тут говорили,— произнес Ольминский,— что Ленин великий организатор. Я, товарищи, внесу добавление. Да, Ленин великий организатор с помощью Надежды Константиновны, своего самого...

Загремевшие отовсюду хлопки прервали речь. Все, не жалея ладоней, аплодировали. Слышались возгласы: «Надежду Константиновну в президиум!», «Надежда Константиновна, встаньте, покажитесь!». Но она, опустив голову — Кауров со сцены мог видеть ее темно-русые волосы, разделенные неглубокой бороздкой пробора, не очень приглаженные и сегодня, заметил и запылавшие, не совсем скрытые прической, ее уши,— она, опустив голову, по-прежнему сидела в седьмом или восьмом ряду. Поверх белой свежей блузки был надет обыденный, что и на работе служил Крупской, темный в полоску сарафан. На коленях лежали нервно сцепленные ее руки, давненько утратившие молодую плавность очертаний: уже пролегли выпуклости вен, угловато выдавались косточки у основания худощавых, не помылованных морщинками, пальцев.

Наперекор шуму Ольминский пытался сказать что-то еще о жене Ленина:

— Самый близкий, самый верный ему человек ..

Какие-то фразы пропадали в гуле. Выразительно взглянув на председателя, стенографистка держала над тетрадью замершее, бездействующее сейчас перо. Кауров все же улавливал:

— Исключительное свойство Ленина: готов остаться хоть один против всех во имя... Нет, он и тогда не один: с ним в самые-самые трудные минуты Надежда Константиновна...

Она так и не поднялась: переждала, пересидела овацию.

Платоныч вновь на нее поглядел. Судьба в некотором роде обделила его. Ему уже тридцать два года, но женщины-друга он доселе не обрел. Бывали, конечно, увлечения, но любви, такой, в которой сплелись бы, сплывались два существа, ему знать не привелось. Кауров привык к этой своей доле, что в мыслях как-то связывались с мытарствами революционера, с профессией, которой он себя отдал. Но понимал: у каждого это решается особо, не выищешь рецепта. И почти не задумывался о какой-то своей задаче.

Выступил на вечере и Луначарский, один из одареннейших людей ушедшего в историю времени, которое является и временем действия нашей драмы или, что, быть может, пока более подойдет, репортажа в лицах.

Пленительная легкость речи, будто самопроизвольно льющейся, сочность, сочетававшаяся с афористичностью, редкая щедрость ассоциаций, экскурсов в далекое и близкое прошлое, меткость наблюдений, необыкновенный талант характеристики, способность несколькими живыми штрихами дать почти художественный словесный портрет — таков бывал на трибуне божьей милостью народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский.

Воевавшая революция посылала его, превосходнейшего агитатора, и на фронты. Памятью об этом явились кадры кинохроники, изображавшие Анатолия Васильевича в красноармейской гимнастерке и грубых военных сапогах возле бронепоезда. И все же, вопреки всяческим превратностям тех стремительных годов, Луначарский каким-то почти непостижимым способом сохранил давнюю холеность небольших усов и бородки, что на французский лад звалась «буланже». «Старый парижанин» — так иной раз под веселую руку он был не прочь рекомендовать себя.

На мясистом и вместе с тем тонко пролепленном носу прочно угнездилось пенсне в роговой темной оправе, так сказать, чеховское, хоть и без шнурка, но с предназначенным для него выступающим колечком. Эти черточки как бы олицетворяли интеллигентность, может быть, даже чуточку богемную, вольно литераторскую.

Однако довольно описаний! Заглянем в записную книжку Алексея Платоновича, где он, если снова воспользоваться выражением позднейших времен, «взял на карандаш» и кое-что из посвященной Ленину речи Луначарского.

«...Редко, когда земля носила на себе такого идеалиста.

...Откуда этот неудержимый поток энергии? Почему эта суровая расправа с врагами? Только потому, что это нужно для реализации высоких идеалов.

...Непреклонность Ленина.

...Знать, чего хочет противник, проникнуть в тайники его души, прищуренным глазом рассмотреть, что он скрывает за своим словом, проникательно его поймать — таков Ильич».

4

Председательствующий объявил:

— Слово предоставляется товарищу Сталину.

По-прежнему восседая на полу, Кауров заворочался, посмотрел туда-сюда, даже себе за спину. Вот так штука — проглядел Кобу: этим именем, партийной кличкой, и по сию пору называли Сталина давние товарищи. К таким принадлежал и Кауров. Однажды, еще в дореволюционном Питере, Коба, не склонный к излишним, скупое ему сказал: «Ты — мой друг!»

Среди тех, кто обретался на помосте — даже на дальних, у задника, стульях, — Сталина не оказалось. Сие, впрочем, не было в новинку: словно бы презирав тщеславие, Сталин не любил, особенно в торжественных случаях, красоваться на виду, предпочитал побыть в тени. Э, вон Коба выходит из-за кулис, из глубины, что заслонена перегородкой. Наверное, по свойственной ему привычке, он там расхаживал, потягивая дымок из трубки.

Да, на ходу спокойно прячет трубку в карман военных, защитного цвета, брюк. Из такого же военного

сукна сшита куртка с двумя накладными верхними, на груди, карманами, немного оттопыренными. Крючки жесткого стоячего воротника он оставил незастегнутыми — это придает некую вольность, простоту его обличью. Сапоги на нем тяжелые, солдатские, с прочно набитыми, ничуть не сношенными, крепчайшей, видимо, кожи, каблуками. Широки раструбы недлинных голенищ.

В конце прошлого, тысяча девятьсот девятнадцатого года ему минуло ровно сорок. Малорослый, поджарый, он идет, не торопясь, но и не медлительно. Чуточку сутулится, не заботится о выправке — этот штрих тоже будто говорит: да, солдат, но не солдафон. Походка кажется и легкой, и вместе с тем тяжеловатой, верней, твердой: он ставит ногу всей ступней. Черные, на редкость толстые, густые волосы, возможно зачесанные лишь пятерней, вздыблены над низким лбом. За исключением лба, черты в остальном соразмерны, правильны. Прикрытый жесткими усами рот, отчетливо вычерченный подбородок и особенно взгляд, чуть исподлобья, — этот взгляд, впрочем, враз не охарактеризуешь — делали сильным смуглое, меченное крупными оспинами его лицо.

Подходя к трибуне, Сталин вдруг увидел среди устроившихся на половицах сцены приметное лицо Каурова. Тускловатые, без искорок глаза Кобы выразили узнавание, под усами мелькнула улыбка — в те времена физиономия да и повадка Сталина еще не утратили подвижности.

Его не встретили ни аплодисментами, ни какой-либо особой тишиной. Член Политбюро и Оргбюро Центрального Комитета партии, он, не блистая ораторским или литературным искусством, пользовался уважением как человек ясного ума, твердой руки, организатор-работяга, энергичнейший из энергичных. Ничего для себя, вся жизнь только для дела — таким он в те годы представлялся.

Взойдя на приступку кафедры, он сунул за борт куртки правую ладонь, левую руку свободно опустил и, не прибегая к помощи блокнота или какой-либо бумажки, спокойно, даже как бы полушутливо, со свойственным ему резким грузинским акцентом заговорил. Фразы были коротки, порою казалось, что каждая состоит лишь из нескольких слов. Однако слово звучало весомо — быть может, именно потому, что было кратким.

Неотступно раздумывая впоследствии, много лет спустя, над тем, какими оказались пути партии и страны, да и над собственной своею участью, Кауров не однажды возвращался мыслью к тогдашнему, на вечере в честь Ленина, выступлению Кобы.

Прорицал ли тяжелый взор Сталина схватку, борьбу, что разыгралась лишь в еще затуманенной, если не сказать непроглядной, дали? Рассматривал ли, рассчитывал ли, готовил ли уже будущие смертоносные свои удары?

Некогда, чуть ли не в первую встречу — это было весной 1904 года в буйно зеленевшем грузинском городке, — обросший многодневной щетиной, подпольщик Коба, беседуя с исключенным из гимназии юношей Кауровым, тоже членом партии, сказал:

— Тайна — это то, что знаешь ты один. Когда знают двое, это уже не совсем тайна.

Кауров счел изречение странноватым, не придал тогда ему значения... Но потом...

Однако не лучше ли послушать речь Сталина на вечере, о котором мы даем отчет? Сперва, впрочем, заметим: в свежем, без малого сплошь отданном пятидесятилетию Владимира Ильича, номере «Правды» был опубликован и подвал Сталина «Ленин как организатор и вождь РКП». Поэтому в кругу отборных партийцев Сталин мог себе позволить, как бы вдобавок к статье, выразившей поклонение Ильичу, затронуть кое-что, не предназначенное для газеты.

Он начал так:

— Хочу сказать о том, чего здесь еще не говорили. Это — скромность Ленина, признание своих ошибок. Приведу два случая.

Не забываясь порой о грамматике, все в той же неторопливой, словно бесстрастной манере, без жестов, Коба изложил следующее:

— Дело происходило в тысяча девятьсот пятом году в декабре на Общероссийской большевистской конференции. Тогда стоял вопрос о бойкоте виттевской думы. Близкие к товарищу Ленину люди, а среди этих людей находились люди очень острые...

Пожалуй, лишь это выражение «очень острые» было произнесено не в ровном тоне, а выделено некоторой едкостью. И как бы приобрело скрытую многозначительность.

— Среди них, близких товарищу Ленину,—повторил Сталин (этакое как бы не нарочитое, без нажима, повторение, свойственное Сталину, не ослабляло его речь, наоборот, еще сообщало ей силу, не легко разгадываемую),—был, между прочим, Игорев, он же Горев,—теперешний меньшевик; затем Лозовский, ныне член ВЦСПС...

О Лозовском знали, что он еще в 1919 году примыкал к меньшевикам-интернационалистам и лишь несколько месяцев назад вернулся в РКП (б).

Сталин еще пополнил перечень:

— Крайне левый Красин и другие.

В этом простом перечислении, далеком, казалось бы, от злобы дня, в этих фамилиях, которые будто только сейчас, сию минуту рождались в памяти не пользующегося никакой записью оратора, содержалось или, точнее, таилось что-то, заставлявшее внимательно слушать.

— Эта семерка,—продолжал Сталин,—которую мы паделляли всякими эпитетами, уверяла, что Ильич против выборов и за бойкот Думы. Так оно и было действительно. Но открылись прения, повели атаку провинциалы, сибиряки, кавказцы,—Сталин приостановился, выговорив это «кавказцы», ничем больше он против скромности не погрешил, не выдвинул себя,—и каково же было наше удивление, когда в конце наших речей Ленин выступает и заявляет, что теперь видит, что ошибался, и примыкает к фракции. Мы были поражены. Это произвело впечатление электрического удара. Мы устроили ему овацию. А семерка...

Оборвав или, хочется сказать, обрубив фразу, Сталин левой рукой как бы отмахнулся, что-то будто сбросил. Таков был первый его жест. Отнюдь не размахистый, даже, пожалуй, не свободный, как если бы кто-то придерживал локтевой сустав, не давал воли. Правая рука за бортом кителя вовсе не двинулась.

У Каурова, как, наверное, и у иных слушателей, безотчетно возникали смутные, точно пробегающая легкая тень, сопоставления. Платоныч даже не позволил себе их осознать. Семерка... Речь Кобы не содержала ни малейшего намека на современную семерку или хотя бы пятерку — в те времена Политбюро состояло лишь из пяти членов (Ленин, Крестинский, Каменев, Сталин и Троцкий) и двух кандидатов (Зиновьев и Бухарин). Однако же какая штука... Нет, к чему здесь

«однако»? Было бы дико, неумно — ну, прямо курам на смех! — приписывать Кобе аналогии, о которых тот наверняка не помышлял. Попросту совпадение, случайное совпадение. И ничего больше.

Сталин меж тем перешел ко второму случаю. Тут он поведал некоторые подробности Октябрьского переворота. Рассказал, что еще в сентябре Ленин предлагал разогнать так называемый «предпарламент», сформированный правительством Керенского. Разогнать и захватить власть.

— Но мы, практики, с Лениным не согласились. У нас в ЦК в этот момент было решение идти вперед по пути укрепления Советов, созвать съезд Советов, открыть восстание и объявить Съезд Советов органом государственной власти.

Опять Сталин себя не выставлял, формула «мы, практики» сочетала, казалось, скромность и достоинство. Ни капли лицемерия никто не смог бы различить в спокойном его тоне, в правильных, исполненных силы чертах рябой физиономии.

— Все овражки, ямы, овраги на нашем пути, — продолжал он, — были нам виднее. Но Ильич велик. Он не боится ни ям, ни ухабов, ни оврагов на своем пути, он не боится опасностей и говорит: «Бери и иди прямо».

Снова что-то покорило Каурова. «Велик... Бери и иди прямо». Иронизирует? Но тон ровен, не ироничен. Впрочем, за Кобой водится такого рода не открывающая себя интонацией, спокойная насмешливость. Или, может быть, он, доселе так и не овладевший изгибами, тонкостями русского языка, лишь грубо обтесывающий фразу, не гибко, плохо выразился. Вероятно, он сейчас себя поправит. Нет, Сталин удовлетворился своим определением.

— Фракция же видела, — продолжал он, — что было невыгодно тогда так действовать, что надо было обойти эти преграды, чтобы потом взять быка за рога. И несмотря на все требования Ильича, мы не послушались его, пошли дальше по пути укрепления Советов и предстали двадцать пятого октября перед картиной восстания.

Хм... Что же это такое? Октябрьская революция, значит, совершена, так сказать, несмотря на ошибки Ильича? «Не послушались его»... Для чего, собственно, Сталин завел такую речь? Что в ней заложено? Предупреждение, что не всегда надо слушаться Ленина.

И поработать собственным умом? Конечно, только это. И ничего больше.

— Ильич был,—говорил далее Сталин,—тогда уже в Петрограде. Улыбаясь и хитро глядя на нас, он сказал: «Да, вы, пожалуй, были правы». Это опять нас поразило.

Помолчав—такие паузы были в выступлении Кобы нередки,—он кратко закончил:

— Так иногда товарищ Ленин в вопросах огромной важности признавался в своих недостатках. Эта простота особенно нас пленяла.

Не закруглив речь какой-либо эффектной концовкой, не ожидая аплодисментов, как бы равнодушный к знакам одобрения, хвалы, верный себе, своей строжайшей схиме, он оставил кафедру, зашагал не быстрой, но и не медлительной, твердой походкой в глубину сцены.

Ему захлопали. Кауров тоже подключился к небурной волне рукоплесканий, заглушив копошившиеся в нем туманные сомнения. Случайно он опять взглянул на Крупскую. Надежда Константиновна сидела уже не опустив голову, а выпрямившись, глядя на сцену. Она не аплодировала. Суховатые сцепленные пальцы застыли на полосатой ткани сарафана. Каурову почудилось, что ее глаза, которым базедова болезнь придала характерную выпуклость, сейчас словно прищурены. Да, стали явственней гусиные лапки у глаз.

Каурову и это припомнилось впоследствии, много лет спустя, когда он раздумывал над большими судьбами, да и над собственной своей долей. И над давними-давними словами Кобы: «Тайна—это то, что знаешь ты один».

Вскоре был объявлен перерыв. Участники собрания хлынули в коридоры, на лестницу и в сени, тогда еще не именовавшиеся вестибюлем. Некоторые выбрались во двор, где темнели голые, с набухшими нераскрывшимися почками кусты и погуливал изрядно похолодавший к ночи ветерок. Лишь крайняя необходимость могла кого-либо принудить не остаться на предстоящее продолжение вечера. Все ожидали Ленина. Какими-то путями—они на фронте зовутся «солдатским

телефоном» — распространилась весть: Крупская только что позвонила Владимиру Ильичу, сообщила об окончании юбилейных речей, и он уже сел в автомобиль, едет сюда.

Помост сцены в минуты перерыва обезлюдел. Вслед за другими, кто тут занимал стулья или, подобно Каурову, местечко на половицах, Платоныч, то и дело здороваясь с давними знакомыми, разговаривая на ходу с тем или иным, пошел за переборку в примыкавшее к сцене помещение. Оно, хоть и обширное, казалось сейчас тесным. Там стояли и прохаживались, разносился гомон голосов, порой в разных концах вспыхивали раскаты смеха. Немало известных в партии острословов, мастеров шуток оказались здесь. Быть может, ради исторического колорита следовало бы выхватить, зарисовать еще несколько лиц, однако неотвратимые законы действия повелевают нам: вперед!

Достав папиросу, Кауров пробирался к раскрытому настежь окну, возле которого сгрудились курильщики. И вдруг малоприметная боковая дверь распахнулась, оттуда чуть ли не прямо на Каурова быстро шагнул Ленин. В одной руке он держал папку, другая уже расстегивала пуговицы демисезонного, с потертым бархатным воротником пальто, купленного еще за границей. Исконно российская кепка, служившая, видимо, со дней возвращения Ленина в Россию, покрывала его голову. В тени козырька был замечен живой блеск небольших глаз, прорезанных несколько вкось, словно природа здесь положила монгольский штришок, еще, пожалуй, усиленный приметными на худощавом лице выступами скул. Широкий нос, крупные губы, в уголках которых будто таился задор или усмешка, темно-рыжие, уже явно нуждавшиеся в стрижке, залохматившиеся борода и усы — все это было не то профессорским, не то мужицким, характерно русским: русский профессор, как известно, частенько смахивает на мужика.

Едва не столкнувшись с Кауровым, Ленин проговорил:

— Извините.

И, присмотревшись, воскликнул:

— А, математик! Здравствуйте.

Затем порывисто обернулся, крикнул:

— Надя, где же ты?

Поспевавшая за быстро взбежавшим сюда мужем, покрасневшая и как бы помолодевшая в этот особенный вечер, Надежда Константиновна появилась в проеме растворенной дверцы. Длинное темное платье-безрукавка почти достигало грубоватых, на шнурках, башмаков. Лицо отнюдь не принадлежало к такому, что зовут точеными. Наоборот, крупную лепку отличала некая простонародность. Неудивительно, что еще в минувшем веке Крупская — кстати сказать, окончившая гимназию с золотой медалью, — повязавшись платком, проникала под видом работницы в трудно доступные пропагандистам корпуса фабричных спален или, опять-таки в обличье работницы, ездила летом 1917 года к скрывавшемуся в Финляндии Ильичу.

Сейчас неожиданно женственным, будто впрямь вернулась молодость, движением она поправила закрученные назад в бесхитростный узел, заколотые многими шпильками волосы. Ее сутуловатость теперь не была заметной.

— Трёпа я, трёпа, — негромко сказала она. И перевела дух. — Ох, с тобою запыхаешься.

Владимир Ильич мгновенно спохватился:

— Черт побери, виноват... Как же это я?

Он сдернул кепку, обнажив мощный лысый купол, впоследствии бесчисленно описанный. Не раз в этих описаниях фигурировало имя мыслителя древности Сократа: сократовский лобный навес, сократовские выпуклости. Здесь, однако, просится в текст и впечатляющее свидетельство иного рода. Пусть читатель примет его вместо лирического отступления.

Роза Люксембург в 1907 году в Штутгарте на конгрессе Второго Интернационала сказала Кларе Цеткин:

— Взгляни хорошенько на этого человека. Обрати внимание на его упрямый, своевольный череп. Настоящий русский мужицкий череп с некоторыми слегка монгольскими линиями. Череп этот имеет намерение пробить стены. Быть может, он при этом расшибется, но никогда не поддастся.

Такой выдержкой из книги Цеткин ограничимся.

Владимир Ильич сдернул кепку и, не без досады крякнув, почесал в затылке. Каурову припомнилось: вот точно так же широкая кисть Ленина потянулась к затылку, почесала остатки волос в один далекий день, свыше десяти лет назад в Париже, когда он,

Кауров, сидел у «Ильичей», как звали в эмиграции Ленина и Крупскую.

В ту пору Алексей Платонович — или, по партийной кличке, Ваню — был студентом Льежского политехнического института. Выслеженный в Баку царской охранкой, едва не угодивший в полицейскую засаду, он по решению большевистского комитета распростился с городом нефти, отсидевшись некоторое время в имении отца, полковника в отставке, раздобыл заграничный паспорт и махнул на чужбину. В Льеже ему удалось выдержать экзамены, стать полноправным первокурсником физико-математического отделения, и с тех пор он наконец мог предаться математике, в которой с детства был силен, да и другим, к ней близким, тоже манящим его дисциплинам. Отец обещивал ему средства на жизнь.

И все же Алексея одолела тоска — тоска по России, по революционной работе, по той дисциплине, что звалась партийной. Он, правда, и здесь, в эмиграции, постарался не оторваться от партии, вошел в льежскую большевистскую группу, иногда наезжал и в Брюссель, где дискуссионные схватки были более оживленными. Однажды даже взял слово в дискуссии, когда некий бывший большевик произнес с трибуны: «Надо отбросить два вредных предрассудка. Первый — что у нас есть партия, второй — что в России произойдет революция!» Свои возражения румяный востроносый товарищ Ваню, еще носивший кавказскую с множеством пуговиц рубашку, стянутую в талии тонким оправленным в серебро ремешком, изложил с чувством, с огоньком, опираясь на опыт и право революционера, поработавшего среди масс.

А затем вновь угрызался. Не расходятся ли его слово с его делом? Все сильнее тянуло в Россию. Огдав дань раздумиям, внутренней сумятице, Кауров обрел душевное равновесие, твердо решив: вернуться! Возвращение не было для него особо затруднительным, ибо в доставшихся ему превратностях он, однако, оставался легальным, жил по собственному паспорту.

Большевистский заграничный центр обосновался в те годы в Париже. Кауров явился туда за поручениями. Ему на следующий день сказали, чтобы перед отъездом он зашел на квартиру Ильичей — улица Мари-Роз, четыре.

— Иди, поговоришь со Стариком.

Такое именование — Старик — прочно утвердилось за Лениным. Тот и сам не раз письма друзьям заканчивал этак: «Ваш Старик».

6

И вот ясный осенний день. Нешумная улица близ парка. Пятиэтажный, темного колера дом с множеством балкончиков, железные ограждения которых закрыты черной масляной краской.

Кауров поднимается на третий (или, по французскому счету, на второй) этаж. В дверях его встречает сероглазая, средних лет женщина. Зачес русых волос, попросту заколотых сзади в узел, не назовешь гладеньким: в падающей сбоку полосе солнечного света видны непослушные гребню выбившиеся волосы. Взору открыты височные впадины и выпуклый высокий лоб. Она одета в темное, без затей, глухое платье. Однако в ее облике нет того суховатого нечто, порой свойственного иным ушедшим в революцию женщинам, которое приводит на ум выражение «мужчина в юбке». В крупно вылепленных чертах сквозит сдержанность — наверное, природная, развитая далее школой жизни, неукоснительными правилами конспирации. Сдержанной выглядит и приветливая улыбка Надежды Константиновны.

Она посматривает на молодого гостя, вырядившегося в шляпу, плетенную из мягкой соломки, и в кавказскую шерстяную рубаху с пояском. Надо бы сказать: «Не щеголяйте в таком виде, это находка для шпииков». Однако нельзя же начинать разговор с назидания. Да, впрочем, в Париже-то всякое сойдет: на странные одеяния никто не оглядывается. Но в других городах...

Поздоровавшись, она говорит:

— Пойдемте, потолкуем. Ильич не задержится, прибежит вовремя.

Ее голос ровен, негромок. Кауров мысленно от мечает: мужа она называла Ильичем, как и другие товарищи по партии.

В нешироком коридоре и в рабочей комнате Надежды Константиновны громоздятся какие-то тючки в упаковочной серой обертке. Один или два развернуты — там белеют только что вышедшие, отпечатан-

ные на тончайшей бумаге экземпляры последнего номера большевистской газеты, видимо привезенные сюда из типографии.

Солнце вольно проникает через не занавешенное ничем окно. Форточка распахнута. Взглянув на нее, Крупская спрашивает:

— Не побаиваетесь сквознячка?

Длинноногий гость лишь усмехается, машет рукой. Понятно без слов; если этого бояться, на что мы тогда годны?!

Застланный французскими газетами, некрашенный, судя по ножкам, стол служил Крупской письменным. На нем аккуратно расположены бутылочки с так называемой «химией», то есть со всякими растворами для тайнописи, а также кисточки, баночки клея и конверты, конверты. Часть уже заполнена экземплярами газеты. Меблировка комнаты включает и несколько табуреток, которые несомненно являются русской диковиной в Европе.

Надежда Константиновна усаживает Каурова. И показывает вокруг:

— Это пойдет в Россию...

Секунду-другую помолчав — ей свойственна такая манера, — она продолжает:

— Вы, значит, тоже туда?

— Да, тут не укоренился. Или не то что не укоренился... — Кауров стесненно ищет выражений. — Какая штука... Все у меня в порядке, пристроился, учусь, но сердце не на месте.

— Почему же?

— Почему? Знаете ли, мой отец командовал батальоном на Кавказе и говаривал своему адъютанту: «Все это прекрасно, дорогой, но при деле вас нет».

Надежда Константиновна смеется:

— Отменно сказано. — Она повторяет приговорочку Каурова-отца: — «Все это прекрасно, но при деле вас нет». Выложите это Ильичу. Такая формула ему понравится.

Худощавые руки Крупской спокойно лежат на ткани платья. Лишь иногда правая машинально откидывает с виска выпадающую из прически прядь. И снова руки не шевелятся. И по-прежнему негромок, ровен голос:

— Куда же вы в России перво-наперво поедете? И где думаете осесть?

— Пока в Петербург. Там у меня брат. На Кавказ мне показываться нельзя.

— А как же с образованием?

— Э, сейчас об этом не задумываюсь.

— Я тоже в свое время распростилась с курсами. Ну, обстоятельства подскажут.

Еще некоторое время длятся расспросы Крупской. Потом она предлагает:

— Если не возражаете, займемся работешкой.

В этой, по своеобразно ласкательному выражению Крупской, «работешке» Кауров перечисляет разные адреса в Баку и в Грузии — адреса тех, кто живет легально и как-то связан с революционной средой. К ним теперь тоже пойдут почтовые конверты, тающие в себе тиснутую на папиросной бумаге заграничную большевистскую газету. Некая доля такой почты, вопреки охранке, обязательно доходит по назначению. Кауров называет знакомые ему семейства, вочью видит, сколь ценна каждая ведущая в Россию ниточка. Да, реакция, разгромы подкосили партию. Что же, мы свое исполним, не отступимся, дождемся, может быть, если суждено еще пожить, новой волны.

Каурову даются поручения, явки. Он повезет несколько безобидных книг, в переплеты которых тоже вклеена газета. Повезет и чемодан с особым дном, куда искусно заделана литература.

Слышно, как хлопнула входная дверь.

— Это Ильич, — говорит Крупская. — Видите, не запоздал.

В комнату входит Владимир Ильич. Лицо и лысина, захватившая весь свод головы, подернуты свежим, здоровым загаром. В тот год под конец лета Ленину в компании с Надеждой Константиновной и ее матерью удалось выбраться на месяц из Парижа в деревушку, отвлечься там от непрерывных драк, войны направо и налево — войны, в которую он вкладывал и ум и страсть, нередко, по собственному его признанию, бешеную. На отдыхе его целителями стали безлюдье и безделье. Решив привести в порядок свои издерганные нервы, занимаясь этим с той же основательностью, какая в любом деле была ему присуща, Владимир Ильич, отдыхая, умел подчас заставить себя не притрагиваться к газетам, хотя в любом маленьком кафе они, лежавшие на столиках или умещавшиеся в особой стойке, влекли взгляд. Дальние пешие и вело-

сипедные прогулки, плавание, гимнастика укрепили нервную систему, вернули здоровье, неутомимость. Вновь в Париже ринувшись в борьбу, он сохранял превосходное настроение, ясность духа. Таким — только что вернувшимся домой из библиотеки — его впервые увидел Кауров.

Бородку в ту пору Ленин не носил. Поблескивающий, гладко выбритый подбородок мог бы показаться тяжеловатым, если бы эта увесистость не скрадывалась мощными контурами лба. Концы рыжеватых негустых усов загибаются вниз, несколько свисают. В этой подковке, в ее рисунке есть что-то восточное. Маленькие карие глаза ясны. В них вместе с пронизательностью проглядывает лукавство и, как ощущает Кауров, довольство, удовлетворение хорошо поработавшего человека.

Лишь чуть позже он замечает опрятный, недорогого материала, пиджак Ленина, пуговицы жилета, белый воротничок, темный, аккуратно повязанный галстук.

Плечистый, приземистый Владимир Ильич тоже несколько мгновений рассматривает поднявшегося с табуретки посетителя. Левый глаз прищурен. В прищуре как бы читается: «А ну, испробуем-ка на зубок, что ты собою представляешь».

— Так, значит, из Баку? — без какого-либо предварения говорит он.

И протягивает крупную, не по росту, руку. Пожимая ее, Кауров ощущает: это рука спортсмена. И с силой ее тискает. Однако пальцы Ленина тоже тотчас жмут сильней. Кауров не поддается в этом неожиданном безмолвном состязании: давит пуще. Но кисть Ленина тверда.

— Ничья! — рассмеявшись, восклицает Владимир Ильич.

В подвижном его лице можно различить промельк симпатии.

— Идет! — отвечает Кауров. — Ничья тоже неплохая вещь.

— Шахматист?

— Как вам сказать... Кое-что маракую.

— Гм, гм...

Ленин быстро озирает тючки газет и заваленный конвертами стол. Опять удовлетворение проступает во взгляде.

Впервые Кауров улавливает картавость Ильича: звук «р» тот выговаривает невнятно. Вынув из жилетного кармана плоские часы, Ленин косится на циферблат. В разговор вступает Надежда Константиновна:

— Этот намек, товарищ Ваню, относится не к вам. Тут другое: «Хозяйка, как с обедом?» Пришлось, Володя, тебя выдать.— Улыбаясь, она встает.— Пойдемте же. Обед готов.

7

Светлая, с окном без занавесок кухня в квартире является также и гостиной и столовой. Тут нет и в помине пренебрежения к порядку, к чистоте — пренебрежения, каким зачастую отличалось житье-бытье русской революционной интеллигенции. Кауров, не в обиду ему скажем, тоже делил такого рода склонность к богемному, словно бы вокзальному укладу. Здесь же кухня буквально блистает (о чем пеклись, заметим в скобках, руки не только Надежды Константиновны, но и, главным образом, ее уже старенькой матери, которая сопутствовала Ильичам в эмиграции). Блики солнца играют в белизне газовой плиты, в глазури изразцов, выстилавших стены, в некрашенных, выскобленных до глянца табуретках, в лежащей на столе светлой клеенке.

Надежда Константиновна разливает из эмалированной кастрюли по тарелкам овощной суп. Владимир Ильич, заткнув за ворот салфетку, обращается к Каурову, стеснительно взявшему ложку:

— Церемоний у нас не полагается. Извольте-ка не отставать.

И быстро отправляет в рот несколько ложек супа. Но тут же, словно позабыв намерение подать благой пример, возобновляет разговор:

— Значит, из Баку? Какую же работенку там вели?

Работенку... А Крупская выразилась: работешка. Видимо, они настолько сжились, спелись, что какие-то речения, выбор слов стали у них общими.

— Я, Владимир Ильич, оттуда уж давно. Побольше года.

— Ничего. След-то еще свежий.

— Но у меня теперь на уме другое. Еду в Россию.

— Знаю... Однако вы, кажись, тут учитесь?

— Да, в Льеже в политехническом институте.

— Как же не срезались при поступлении? Пришлось долго подготавливаться?

— Нет, не особенно. Математика, физика — это со школьных времен любимые мои предметы. И, какая штука, закваска оказалась еще крепкой.

— Гм... Ильич вдруг всем плотным корпусом немного подается к Каурову. — А стоит ли бросать? Нам вскоре архипонадобятся инженеры.

— Я на математическом. Чистый математик.

— И сие недурно. Математики весьма пригодятся партии, когда завоюем власть. Политиков-то у нас немало, особенно из интеллигенции. К тому же эта профессия после революции постепенно станет отживающей. Иное дело математики-большевики. Где их возьмем?

Он ожидает ответа, устремив взгляд на Каурова. Правый значок Ленина — маленький, острый, а другой словно бы шире.

— В политике мы свою дорогу знаем, — продолжает он. — Решительности у нас хватит, как оно и подобает пролетарским якобинцам. Будем после восстания спрашивать: ты за кого? За революцию или против? Если против — к стенке! Если за — иди к нам и работай!

Надежда Константиновна скептически вставляет:

— Ну, и перестреляешь как раз тех, которые лучше, чище нравственно, у которых найдется мужество открыто высказываться.

Вопросы нравственного воспитания близки Надежде Константиновне, некогда учительнице, — в ней и теперь жив интерес к педагогике, исподволь, упорно, при горячей поддержке мужа она, хотя и текущих дел всегда невпроворот, штудирует книги лучших педагогов Европы и Америки, знает по личным наблюдениям, в какой-то степени систематическим, школы Женевы и Парижа, обдумывает, готовит труд, для которого уже мерещится заголовок: «Народное образование и демократия».

Владимир Ильич не без замешательства почесывает затылок. Видно, что критическая реплика жены не является необычайным происшествием в этом доме. Значит, влетело Старику! А он посмеивается:

— Не совсем же я тот дуралей, которого заставь молиться богу, так он... Меру как-нибудь отыщем.

И далее произносит по-французски одно нравящееся ему изречение Наполеона. В переводе оно, примерно, означает: «Сперва вяжемся в драку, а там будет видно». Крупская откликается:

— А по-русски сказано короче. Лиха беда начало.

Согласие восстановлено. Надежда Константиновна кладет в тарелки рисовую кашу. Владимир Ильич вновь обращается к Каурову:

— Так как же насчет математики?

— Это, Владимир Ильич, дело решенное.

— А может, еще поразмыслите?

— Нет, уже отмерил и отрезал.

— Что же, быть, следовательно, по сему. Теперь рассказывайте-ка про Баку. В борьбе профессиональных союзов вы участвовали?

Получив утвердительный ответ, Ленин живо восклицает:

— Ага, это вот преинтересно.

Он с аппетитом ест. И вместе с тем не теряет времени. Сыпятся его вопросы. Он вытягивает подробности о том, как сколачивались союзы, об отношениях между рабочими-нефтяниками и так называемыми «мастеровыми», о всколыхнувшей рабочую массу общей забастовке, о выборе делегатов для переговоров с промышленниками, о большевистских листовках, которые сменили разгромленную партийную газету. Ленин не прочь выслушать и рассуждения, в которые порой вдается Кауров, но мимикой и междометиями — «вот, вот» — поощряет задерживаться на фактах, отдельных случаях, даже сценках. Он дорожит конкретностью, хочет яснее увидеть характерные фигуры рабочих, хочет как бы наведаться вместе с Кауровым к ним на дом. «Сами-то где обитали? В рабочей семье? Сколько платили? Какой у этой семьи бюджет? Ага, вот, вот». Ему интересны и руководители неистребимой, вопреки множеству потерь, бакинской большевистской организации, с некоторыми Ленин лично знаком по Питеру, по встречам за границей. Когда же рассказ касается меньшевиков, он не считает нужным скрывать пробегающую в узких глазах злость.

Никаких сентенций, назиданий Ленин не высказывает. А Кауров нет-нет и опять поддается склонности развить, какая штука, ту или иную обобщающую мысль. (Потом он досадовал на себя: эх, угораздило же излагать поучающие истины!)

Обед заканчивается чаем. Ленин затрагивает новую тему:

— Что повидали в Бельгии? С бельгийскими социалистами общались?

— Не то чтобы общался, но два раза побывал на лекциях Вандервельда. И даже привелось с ним разговаривать.

— Каково же у вас впечатление?

— Привлекательная личность. Талантливый оратор. И эрудиция богатейшая. По-моему, как председатель Интернационала, он на месте.

— Гм, гм...

— А почему же нет? В нем, Владимир Ильич, чувствуется дар объединения. Какая-то способность собирания. Кстати, он и на лекции выдвинул теоретически интересную идею: бельгийскому социализму уготована-де миссия соединить в своеобразном синтезе своеобразие германского, британского и французского движения.

— Гм... А как относительно русского?

— О русском не упомянул. Однако, судя по приветливости, какую я у него встретил — а ведь я отрекомендовался: большевик, — мы можем рассчитывать, что он нас понимает. И если мы...

— Святая простота! — выпаливает Ленин.

Кауров удивлен. Голубыми, чистого тона глазами он взывает к Крупской. Но та лишь кивает в подтверждение. Он все-таки спрашивает:

— Это, Владимир Ильич, вы про меня?

— Не про Вандервельда же! Извольте ли видеть, умилил вас обходительностью. Объехал на кривой!

Ильич поднимается, предстает опять приземистым плечистым крепышом. Пиджак расстегнут. Большие пальцы находят привычное место за проймами жилета. Широкие кисти складываются в прижатые к груди кулаки. Грозно выставлены костяшки суставов. Слова разяще ироничны:

— Ха-ха! Социалист, приятнейший во всех отношениях! Душенька! Любезен, гладок, мил. Однако вам следует знать, что добродетель в смысле отсутствия углов, отсутствия определенности лишь ноль. Об этом в свое время хорошо писал Белинский. Да и старина Бакунин. Избави нас бог от приятных социалистов. Попробуйте такого крепко ухватить. Непременно выскользнет. Собиратель! Ха! Этот ваш объединитель

с великим удовольствием, с любезной миной отправил бы нас, неприятнейших несносных большевиков, в преисподнюю. А то и на костер. Нет, батенька, идите в математики. Только в математики!

Надежда Константиновна в тон Ленину подхватывает:

— В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов.

Владимир Ильич в ответ смеется. В смехе обретает разрядку его вспышка. Руки уже опущены, сунуты в карманы.

— Глядите-ка, надежная у вас заступница.

Нечетко выделенные — как говорится, размытого контура, — пухловатые губы Каурова не удерживают улыбку.

— Надя, — продолжает Ленин, — вам с товарищем Ваню, кажись, еще надо подзаняться?

Крупская уже собрала посуду, вытерла насухо клеенку.

— Да, пойдете.

Втроем они оставляют кухню. Крупская и Кауров входят в уже знакомую нам комнату, где сложены и увязанные и распакованные пачки газет. Ленин с тем же, что и ранее подметил Кауров, непринужденным довольством озирает это газетное хозяйство.

— Лупим по-пролетарски по мордасам, по мордасам! — восклицает он. — Нас сейчас немного, но мы сильны. Сильны действительным единством. Разве в России есть еще какая-либо, столь же сплоченная, партия? А?

В этом «а?» опять слышится задор. Еще секунду-другую постояв в дверях, он — создатель партии, в которой привились, оказались живучими им же обоснованные, введенные ради победы, дисциплина и строго централизованное построение, — удаляется работать в свою комнату.

...Час или полтора спустя Надежда Константиновна провожает Каурова в прихожую.

— Володя, — зовет она, — выйди, попрощайся.

Сквозь проем раскрывшейся двери Кауров видит книги, книги на уходящих к потолку некрашенных досках, а на столе горку бумаги, недописанный листок.

Вышедший в жилетке Ильич оглядывает бывшего льежского студента — худющего, носатого, с кустистыми черными бровями. Кавказская навывпуск рубашка перетянута тонким, в отделке черного серебра,

ремешком. На русую голову уже напялена заграничная соломенная шляпа. Ленин усмехается:

— Гм... Архиконспиративный вид! На Руси ни один шпик вас этакого не упустит.

— Уже говорено,— негромко роняет Надежда Константиновна.

— В таком разе ни пуха ни пера, товарищ Ваню!— Будто нечто взвешивая, Ленин повторяет:— Ваню... Только Иванушкой не будьте.

— Постараюсь, Владимир Ильич.

Опять две правые мужские руки соединяются в пожатии.

— Рука-то у вас крепенькая,— произносит Ленин.— И неподатливая. Запоминающаяся. Ну, товарищ математик, приведет бог, свидимся.

8

И вот десять лет спустя в Московском комитете партии в комнате за сценой Кауров, уже наживший и круглую лысинку, и взлизы, подбирающиеся к ней, держа в руке военную фуражку с красной жестяной на околыше звездой, в шинели, которую наискось пересекает ремешок полевой сумки, вновь лицом к лицу с Ильичами.

Не раз в годы революции Алексей Платонович видел и слышал Ленина то издалека, то поближе, но лишь теперь впервые после парижского знакомства с ним разговаривает.

В комнате гомон сменяется затишьем, распространяющимся, будто волна,— заметили появившегося Ильича. Оглянувшись на жену, которую быстрый его шаг вогнал в одышку, почесав в затылке, как бы прося этим у нее извинения, Владимир Ильич опять обращается к Каурову:

— Настали-таки или, вернее, настают, товарищ Ваню, времена, когда нам требуются математики.— Стремительность вновь овладевает Лениным, он чуть ли не скороговоркой кидает вопросы: — Как у вас на сей счет обстоят дела? С тех пор еще учились? Закончили математический?

— Не кончил, Владимир Ильич.

— Наверстывать думаете? Отвоюем — и наверстывайте!

Кругом водворяется прежний живой шумок. Нет, впрочем, не совсем прежний — поглуше. Сунув кепку в карман пальто, Ленин произвольным движением крепко, словно бы с мороза, потирает руки. Потирает уже на ходу, быстро шагая. Вот кому-то он кивнул, с кем-то перебросился, приостановившись, фразой-другой и опять пошел широким скорым шагом.

Алексей Платонович здороваётся с Крупской. Она мягко, но, пожалуй, несколько рассеянно улыбается ему. И снова ее зеленовато-серые, выпуклые от «базедки» (так издавна в семье Ильичей называют базедову болезнь, которая в эмиграции стала неотвязной ношей Надежды Константиновны) глаза обеспокоенно следят за мужем. Что-то, вероятно, стряслось в те немногие часы, протекавшие с обеда, когда по обыкновению они сошлись втроем — то есть еще и Мария Ильинична, Маняша, сестра Ленина, — в своей кремлевской кухоньке-столовой. За обедом Ильич был ровен, шутлив; поев, играл с котенком; а сейчас не тот: охвачен волнением, возбужден. Наверное, для стороннего взгляда останется неприметным это состояние Ленина, скачок внутреннего его накала — ведь он и обычно-то порывист. Крупская, однако, разгадывает проникновенней. Что-то произошло. Даже походка его чуть изменилась: корпус, как в беге, слегка вынесен вперед. Таким он бывал в самые значительные, в решающие дни. Из-за чего же теперь запылал? Конечно, причина не в этом вот юбилейном вечере, который он вышучивал. Но в чем же? Не приключилось ли чего на заседании Совнаркома, где только что он председательствовал? Или, может быть, она ошиблась? Может быть, ей лишь мерещится, что Ильич как-то особенно заряжен?

В углу у вешалки Ленин энергичным движением высвобождается из своего пальто. Нечаянно пальто увлекает за собою и рукав расстегнутого пиджака. Ленин на какие-то мгновения остается в жилете и в голубоватой линялой сорочке. Мягкий манжет аккуратно стянут запонкой. Воротник тесно, с помощью цепочки, прилегает к проглаженному темному галстуку. Видно, как широка, объемиста грудная клетка. Ткань сорочки обрисовывает мускулистые, дюжие выступы плеч.

Прозванный еще в свои молодые годы Стариком, он и сейчас, когда стукнуло полсотни, отнюдь не стар. Атлетическое его сложение как бы предвещает, что он

еще долго будет таким же крепышом, здоровяком. Чудится, нет ему износа.

У Платоныча, неотрывно глядящего на Ленина, мелькает мысль: его здоровье — это несокрушимая координата революции.

Усмехаясь собственной оплошке, Ленин быстро надевает пиджак. Его уже обступили, поздравляют. Он, выставив перед собой широкие короткопалые ладони, этим картинным жестом защищается, отказывается принимать поздравления. И вдруг громко разносится его всем тут знакомый, с характерной картавостью голос:

— Анатолий Васильевич, вы опять, кажись, уда-а-ились в идеалистическую чушь. Гово-о-ят, возвели и меня в идеалисты.

Луначарский, с кем-то оживленно разговаривавший, круто оборачивается и, придерживая покачнувшееся на мясистом носу пенсне, умоляюще опровергает:

— Владимир Ильич, поверьте. Даю вам слово, это...

Взрыв хохота прерывает его уверения. Выясняется, что вовсе не Ленин обратился к Анатолию Васильевичу. Это сделал, подражая с удивительным искусством говору Ленина, записной шутник — чернявый подвижный Мануильский, автор множества анекдотов, наделенный и талантом имитатора. При случае он разыгрывает целые сценки в лицах, изумительно копируя любой голос и повадку. Роль Владимира Ильича является одним из коронных номеров его репертуара. И уж так повелось: где Мануильский, там неудержимый смех.

Ленин осуждающе покачивает лобастой головой. Расшалились, словно дети. Но явился же он сюда не для того, чтобы наводить скуку. Вновь непроизвольно потеряв руки, он и качает головой, и улыбается. Кто-то острит:

— Неужели и сегодня, Владимир Ильич, у вас чешутся руки задать порку?

— Напрашиваетесь, батенька? — тотчас откликается Старик.

И длится смех. Покрасневшему Анатолию Васильевичу тоже не остается ничего более, как рассмеяться.

Шутка Мануильского, раскаты хохота заставили почти всех обернуться. Лишь Сталин мерно шагал

к противоположной стене. Только пыхнул дымком из трубки. Видна его сухощавая, облегаемая военной, стоячим воротником курткой, сутуловатая спина.

Меж тем несколько кудлатый, с темной щеточкой усов, весь как бы на шарнирах, Мануильский не унимается, некий бесенок подбивает его отколоть новое коленце. Озорно посмотрев на Сталина, он опять искуснейше воспроизводит грассирующий говорок Ильича: — А вы, това-а-ищ...

Уже на кончике языка повисло: Сталин. Вдруг непревзойденный имитатор запинается. К нему с неожиданной, будто кошачьей легкостью повернулся Коба, вперила тяжелый взор. Черт возьми, каким нюхом Коба разгадал, что ему в спину нацелена стрела? Затылком, что ли, видит? Глаза Сталина сейчас недвижны, в карей радужке явственно проступил отлив янтаря.

Под этим взглядом Мануильский на миг, что называется, прикусывает язык. Однажды этот весельчак уже имел случай убедиться, что со Сталиным лучше не шутить.

Случай был таков. Поезд Сталина, возглавлявшего Революционный Военный Совет Царицынского фронта, шел с Волги в Москву. Охрана в теплушке, дежурные пулеметчики на бронеплощадке на всякий случай прикрывали поезд. В хвосте двигался вагон Мануильского, которому была тогда поручена горячая работа чрезвычайного комиссара продовольствия в районе Украины и прилегающих южных областей.

В пути Мануильский коротал вечерок у Сталина в его вместительной, по вагонным масштабам, столовой. Туда сошлись некоторые близкие Сталину люди, сопровождавшие его. За стаканом вина Мануильский разыгрался. Кого только он в тот вечер не показывал! Начал с Троцкого, воспроизвел металлически чеканный голос, сумел даже, как божьей милостью иллюзионист, достичь того, что присутствующие вдруг словно узрели несколько высокомерный профиль Троцкого, профиль не то Мефистофеля, не то пророка. Неприязнь, вражда между Сталиным и Троцким в те месяцы — в жизни Сталина «царицынские» — расплалась, стала открытой. Эффектные сценки с участием Троц-

кого вознаграждались хохотом. Удались на славу и другие импровизации-перевоплощения.

Уже запоздно, что называется под занавес, Сталин спросил:

— А меня показать можешь?

— Пожалуйста!

И разошедшийся, слегка под хмельком, гость талантливо, в нескольких эпизодах сыграл Сталина. Придал физиономии грубоватость. Заставил каким-то фокусом глаза утратить блеск. Изобразил: Сталин, сунув руку за борт френча, диктует телеграмму: «Я, Сталин, приказываю дежурному немедля отправить по назначению. Москва. Ленину. Пусть Мануильский даст телеграфное распоряжение своим уполномоченным не захватывать наших продовольственных грузов и мануфактуры, не противодействовать приказам Сталина. Копию за номером мне, Сталину. Горячий привет. Сталин».

За столом вновь хохотали. И больше всех смеялся Сталин.

Распроставшись, вернувшись к себе, Мануильский сладко уснул под убаюкивающее постукивание, покачивание вагона. Утром, еще сквозь дрему, он неясно ощущал какую-то странно долгую тишину и неподвижность. Оказалось, его вагон отцеплен, стоит в тупике на какой-то глухой станции.

С того времени Мануильский уже не рисковал шутить со Сталиным. Теперь поддался было соблазну, но, встретив взгляд Сталина, осекся.

И в мгновение перестроился. Восклицание, имитирующее голос Ильича, прозвучало так:

— А вы, това-а-ищ... э...э... Каменев? Изволили засаха-а-инить наше государство? Сп-я-ятали в ка-а-ман бю-о-ок-а-атизм? Благода-а-ю, п-е-евосходнейший пода-а-ок!

Давно замечено, что артист в сфере своего таланта предстает человеком более тонкого, более проникновенного ума, чем в повседневности. Это следует в какой-то мере отнести и к Мануильскому.

Коротенькое восклицание угодило, что называется, в точку. Интонация ленинской иронии столь уместна, что удается на минуту обморочить и достопочтенного «лорд-мэра». Не распознавший подвоха, застигнутый врасплох, Каменев благодушно возражает:

— На юбилее и про бюрократизм? Не бестактно ли?

Ленин раскатисто хохочет. Сдаётся, все тело участвует в этом приступе безудержного смеха, ноги пружинят, приподнимая и вновь опуская раскачивающийся туда и сюда корпус. Опять смеются и вокруг. Слышно, как Ленин, еще рокоча, выговаривает:

— Попались, батенька! — Уняв себя, он продолжает: — А по мне, долой такие юбилеи, на которых нельзя огреть коммунистических чинуш.— И, посерьезнев, добавляет: — Выдавать теперешнюю нашу республику за образец—это такая, гм, гм, снисходительность, из-за которой в один прекрасный день нас с вами повесят.

— Но вы же сами, Владимир Ильич, писали, что...

Ленин смеется:

— Доводилось, доводилось писать и глупости. Но такое лыко нам в строку не поставят, если не заважничаем.

...Выставив плечо, Ленин пробирается к Сталину и, взяв его за локоть, увлекает к свободному простенку. Они встали рядом—приблизительно равного роста, один—пятидесятилетний в послужившем опрятном европейском костюме, не расставшийся во все годы российских потрясений даже с жилеткой, с запонками, с цепочкой в косых срезах воротничка, живо поворачивающий туда-сюда отсвечивающую крутизну лысины, другой—на десять лет моложе, в одежде фронтовика, на вид невозмутимый, с копной отброшенных назад черных толстых волос над узким лбом.

Из внутреннего пиджачного кармана Владимир Ильич достает сложенную вчетверо бумагу, которую час-полтора назад ему привез мотоциклист, или, как тогда говорилось, самокатчик, разворачивает и без слов подает Сталину. Бумага помечена грифом: «Полевой штаб Революционного Военного Совета Республики. Совершенно секретно». В сообщении говорится, что сегодня, 23 апреля, на Западном фронте вторая и третья галицийские бригады, ранее перешедшие к нам от Деникина, подняли восстание в районе Летичева, то есть на стыке 12-й и 14-й армий, и повернули оружие против советских войск. На этом участке фронта образовался опасный разрыв. Для подавления мятежа в район Летичева направлены резервы обеих наших армий.

Прочитав, Сталин поднимает голову. Ничто в его смуглом лице не изменилось. Не разглядишь душев-

ных движений и в жесте, каким он возвращает бумагу Ильичу. Обоим отлично известны ходы и контрходы в попытках закончить миром войну с Польшей. Воинственный, верующий в свою историческую миссию, глава Польского государства Пилсудский, соглашаясь на переговоры, вместе с тем отклонил предложение установить перемирие на советско-польском фронте. Там, как бы в предзнаменование близкого конца войны, уже много недель не было боев, но... Но Ленин еще с февраля, когда обозначился разгром Деникина, требовал перебрасывать и перебрасывать войска на усиление Западного, словно бы тихого фронта. Как раз сегодня Первая конная армия, прославившаяся в боях на юге, сосредоточенная под Ростовом, выступила в тысячекилометровый марш на запад. А теперь вот галицийские бригады, занимавшие изрядный отрезок фронта,— можно угадать безмолвный комментарий Ленина: «мы тут были не рукасты, ротозейничали»,— галицийские бригады восстали, далеко опередив прибытие наших новых крупных сил. Польские войска еще не двинулись в брешь, как бы не реагировали. Однако не последует удар завтра-послезавтра?

— Увертюра?— вопросительно произносит Ленин.

Ответ короткий:

— По-видимому.

Вот и вся беседа. Это поистине спетость— от глагола «спеться», принадлежащего к излюбленным в словаре Ленина,— понимание друг друга буквально с одного слова.

10

Раздается настойчивый приглашающий трезвон. Достав карманные часы, Ленин кидает взгляд на циферблат. Уже и отсюда, из-за кулис, гурьбой тянутся в зал. Надежда Константиновна, так и простоявшая у боковой дверцы, тоже уходит. Кауров бросает окурок в урну-пепельницу и пристраивается к покидающей кулисы черede. Вдруг он слышит:

— Того, здорово!

Никто, кроме Кобы, не называл так Каурова. Но Сталин когда-то, еще в дни русско-японской войны, наделил его такую кличкой и с удивительным упорством иначе не именовал. Да, сейчас неподалеку

спокойно, как бы вне спешки, толкотни, стоит улыбающийся Сталин. Несколько лет — с памятного 1917-го — им не довелось этак вот увидеться, перекинуться словом.

— Здравствуй, Коба.

Крепкое рукопожатие точно возрождает давнишнюю дружбу. Кауров, как ему случалось и прежде, делает некое усилие, чтобы выдержать тяжеловатый пристальный взгляд Сталина. И тоже смотрит ему прямо в глаза — узкие, миндалевидного, унаследованного с кавказской кровью, сечения, цвет которых обозначить не легко: иссера-карие, да еще с оттенком желтизны, то едва заметным, то иногда явственным.

— Какими судьбами ты здесь обретаешься? — спрашивает Сталин.

Кауров кратко сообщает про свои злоключения: ехал на съезд, заболел, врачи только теперь наконец выпустили.

— Валандаться, Коба, тут не собираюсь. Загляну туда-сюда, наберу литературы и, наверное, послезавтра в путь.

— К себе в поарм?

Произнеся «поарм» (здесь, возможно, нужна расшифровка: политический отдел армии), Сталин, не затрудняясь, назвал и номер армии. Каурову приятно это слышать: Коба знает, помнит, где работает его давний сотоварищ.

— Конечно. А куда же?

— В какой ты там пребываешь роли?

— Секретарь армейской парткомиссии.

Кто-то подходит к Сталину, обращается к нему. Тот неторопливо и вместе с тем живо отзывается:

— Минуту!

И продолжает разговор с Кауровым:

— Того, надо бы встретиться, потолковать без суеты.

— Буду рад.

Наклонившись, Сталин достает из широкого своего голенища блокнот, или, верней, военную полевую книжку. Эта простецкая солдатская манера использовать раструб сапога вместо портфеля опять-таки нравится Каурову. Полистав книжку, помедлив, Сталин говорит:

— Завтра день субботний... Так... В три часа завтра ты свободен?

— Освобожусь.

— Приходи в Александровский сад. Найди там местечко около памятника одному нашему, — усмешка мелькает под черными усами Сталина, — нашему, как это записано, кажется, в «Азбуке коммунизма», прародителю.

— Какому?

— Который не прижился на российской почве. Во всяком случае, памятник не выдержал крепких морозов. Развалился на куски. Может быть, это прародителю и поделом: имел слабость, слишком любил говорить речи.

Казалось, Сталин шутит. Но и в этой тяжеловатой его шутке опять словно таится некий второй смысл.

— Робеспьер? — восклицает Кауров.

Коба кивком подтверждает угадку.

— Друг друга отыщем, — заключает он.

Сквозь переборку в почти опустевшие кулисы врывается громохание аплодисментов, в зале увидели Ленина.

Коба подталкивает Каурова:

— Иди, иди.

А сам, нашарив в кармане карандаш, что-то пометает на раскрытой страничке, складывает книжку, сует за голенище. И остается за кулисами.

...Ленин уже вышел к трибуне:

— Должен поблагодарить вас за две вещи: во-первых, за те приветствия, которые сегодня в мой адрес были направлены, а во-вторых, еще больше за то, что меня избавили от выслушивания юбилейных речей.

Аудитория и смеется и аплодирует. Ленин, не ожидая тишины, демонстрирует присланную ему сегодня в подарок карикатуру двадцатилетней давности, изображающую тогдашний юбилей Михайловского — одного из столпов народничества. Среди поздравителей нарисованы и русские марксисты. Художник представил их детьми, «марксятами».

Пустив карикатуру по рукам, Ленин быстро ведет далее свою речь. Пожалуй, ее можно считать несколько разбросанной, не подчиненной единому архитектурному каркасу. Однако каркас есть.

Вот, будто вне какой-либо связи с началом, оратор обращается к строкам Карла Каутского, тоже давнишним, поясняет:

— Тогда большевиков не было, но все будущие большевики сотрудничали с ним, его высоко ценили.

Зал внимает цитате:

— Центр тяжести революционной мысли и революционного дела все более и более передвигается к славянам.

Кауров, опять присевший на помост близ стенографисток, видит на краю кулисы Кобу, уже надевшего шинель. Суховатая рука держит на весу еще недонесенную к черноте зачеса меховую шапку. Ленин читает дальше выдержку из Каутского:

— ...Новое столетие начинается такими событиями, которые наводят на мысль, что мы идем навстречу дальнейшему передвижению революционного центра, именно передвижению его в Россию...

Этой цитатой Ленин как бы пополняет арсенал доводов, которые он, взыскательный к себе марксист, без устали отыскивает в обоснование исторической правомерности того, что совершилось в России.

Вместе с тем в статье, приводимой Лениным, русский марксизм, русская пролетарская партия уже предстают вступившими в пору возмужалости. Нагладен убыстренный шаг истории. Детство, мужание и...

— Наша партия может теперь, пожалуй, попасть в очень опасное положение — именно в положение человека, который зазнался.

Надежда Константиновна со своего места в седьмом или восьмом ряду различает, как посверкивают, играют искорки в глазах-щелках Ильича. Карманы его пиджака привычно оттопырены упрямными туда кулаками. Но куда денешь неуступчивый, драчливый поклон головы? Наверное, Володя сейчас еще поднесет пилюлю.

Да, кто иной позволил бы себе этак здесь говорить о партии? Бестактно? Краешком глаза Ленин, может быть, схватывает в президиуме осанистую фигуру златоволосого стража тактичности. И режет:

— Известно, что неудачам и упадку политических партий очень часто предшествовало такое состояние, в котором эти партии имели возможность зазнаться.— Дает пинок самообольщению.— Блестящие успехи и блестящие победы, которые до сих пор мы имели,— ведь они обставлены были условиями, при которых главные трудности еще не могли быть нами решены.

Почти всегда выступления Ленина содержат нечто поражающее, не вдруг усваиваемое, кажущееся иной раз неуместным. Такова и его сегодняшняя речь. Слушатели поприотихли.

Жестом обеих рук он как бы что-то округляет:

— Позвольте мне закончить пожеланием, чтобы мы никоим образом не поставили нашу партию в положение зазнавшейся партии.

Под рукоплескания, скорей раздумчивые, нежели бурные, он покидает трибунку, которую занимал не более десяти минут.

...Потом, уже после концерта, когда, одетый во все кожаное, шофер-богатырь Гиль захлопнул автомобильную дверку и плавно стронул машину, Надежда Константиновна, глядя на едва в полумгле различимый профиль, тихо спрашивает:

— Польша?

Владимир Ильич поворачивает к ней голову в нахлобученной кепке. Ведь о Польше он на минувшем вечере ни словечком не обмолвился. И кивает:

— Угу...

11

На следующий день выдалась теплынь. Перевалив, как говорится, за обед, пригревало апрельское солнце.

Алексей Платонович, войдя в Александровский сад, пролегший у одной из стен Кремля, сверился с карманными часами. Стрелки показывали чуть больше половины третьего. Что же, придется, значит, около получаса подождать.

По склонности южанина он облюбовал скамью на солнышке, сел, распахнул шинель, освободил от фуражки светлые волосы, вытянул ноги, сегодня немало походившие. Уличная пыль сделала матовыми, припудрила головки высоких сапог, что утром он по привычке наваксил, начистил.

Здесь, под Кремлевской стеной, было по-апрельски сыро. Бежал весенний ручеек. Редкие трамваи с железным скрежетом поворачивали на закруглении, ведущем к Красной площади. Сад еще не зазеленел. Палаа прелая листва прошлых годов, которую тут не трогали тогда ни грабли, ни метла, лишь кое-где пробита острыми стебельками молодой травы. Высились голые,

с набухшими почками вековые липы — и врассыпную, и вдоль главной аллеи. Странная расцветка — малиновая, фиолетовая, пунцовая — еще пятнала, хотя и поблекнув, могучие стволы. Их раскрасили — Каурову довелось про это слышать — левые художники почти два года назад. Было известно, что Владимир Ильич вознегодовал, увидев размалеванные липы. Однако краску отмыть, стереть не удалось. Лишь постепенно это делали дожди да колючий снег поземки.

На аллее громоздилась бесформенная куча бетонных обломков. Из-под нее проглядывал угол каменного постамента. Это и была, как догадался Кауров, растрескавшаяся, разрушившаяся на морозе фигура бестрепетного яacobинца, звавшегося Неподкупным, сраженного заговорщиками. Лишь позже из мемуарных свидетельств Кауров узнал, что у этой скульптуры, еще целой, любил посидеть Ленин, когда он, до ранения, выходил по ночам на прогулку сюда в сад.

Две девушки в красных косынках — такие косынки стали в ту пору как бы модой революции — быстро прошли мимо Каурова. Прошли и оглянулись на светлоголового, со смолисто-черными бровями, с хрящеватым острым носом пригожего военного. Он им улыбнулся. Снова взглянул на часы. Без двадцати три.

Прохожих было немного. Мама разных возрастов, а также и несомненные бабушки присматривали за малышами, порой пребывающими еще в пеленках. Сюда были выведены и ребята, очевидно детдомовцы, в одинаковых курточках темной фланели. Они, несмотря на голодноватое время, бегали, гомонили, увлеченные извечной, памятной по мальчишеским годам и Каурову, игрой в «палочку-стукалочку».

Впрочем, Алексей рано перестал быть мальчуганом. Да и забавы подростка не долго увлекали его. Уже в пятнадцать лет, гимназистом последнего класса, он забросил все свои коллекции, его забрала страсть — та, что в некоторые времена с поразительной, не сравнимой ни с чем силой овладевает поколением, — страсть мятежника, революционера.

Пожалуй, тут течение нашего повествования делает уместным поворот в прошлое. Автору посчастливилось уже в нынешние годы, то есть во второй половине века, встретиться с Кауровым, семидесятилетним ветераном партии, посчастливилось познать его доверие, занести в свою тетрадь все, что он поведал. Выберем

из этой тетради страницы, где рассказано о знакомстве, о встречах, отношениях Каурова и Кобы.

Однако в нижеследующей сценке, что служит завязкой, Коба еще не предстанет глазу. 1904-й год. Летний вечер в Тбилиси — этот главный город Грузии значился в Российской империи Тифлисом. Явочная квартира находящей в гору узкой улочке. В комнате за кувшином вина и миской фасоли беседуют двое. Один из них Алексей Кауров. Он здоровяк, румянятся загорелые щеки, легкая перетянутая тонким пояском рубашка облегает мускулистые плечи. Глаза, серые с искоркой, серьезные, одухотворены. Уже исключенный из гимназии, определившийся как революционный социал-демократ, сторонник Ленина, он приехал сюда на день-другой, чтобы от имени кутаисской молодой группы большевиков договориться по важным вопросам с Союзным, то есть общекавказским, комитетом, который тоже разделял большевистскую позицию. Кауров дельно, горячо говорил о закипающих в Кутаисском округе крестьянских волнениях, о революционном подъеме городской молодежи, доказывал, что следует распустить нынешний Кутаисский комитет, немощный, поддерживающий меньшевиков, и назначить новый, большевистский, боевой.

Юношу слушал степенный бородатый грузин, не забывавший, к стати сказать, обязанностей гостеприимного хозяина. За бородачом утвердилось прозвище Папаша, хотя ему тогда еще не стукнуло и сорока. В молодости он был народником, затем, после основания группы «Освобождение труда», примкнул к марксистам. И далее неизменно шел, по собственному его выражению, «левой стороной». Воевал против «легального марксизма». Был твердым «искровцем». Последовал за Лениным при расколе партии. На роль теоретика никогда не претендовал, не литературствовал. Заслужил славу безукоризненного, чистого, честного революционера. Его моральный авторитет был непререкаем.

Папаша задавал вопросы, присматривался к гостю, порой склонял набок голову и почесывал шею. Почесывал и раздумывал, что-то взвешивал. Потом высказался. С прежним комитетом мы действительно каши не сварим. Но, может быть, удастся перетянуть того-другого на свою сторону. Возможно, надо бы кого-нибудь оставить для преемственности.

— Но практически как мы должны действовать? И когда же получим права комитета?

Снова подумав, Папаша ответил:

— К вам в Кутаис мы пошлем товарища, который поможет это решить. И наладит дело.

Далее пояснил:

— Его зовут товарищ Сосо. Он некоторое время в работе не участвовал. У него были,— Папаша усмехнулся,— переживания после того, как мы его покритиковали.

— За что же?

— Это, товарищ Алеша, пусть будет между нами, не надо ему напоминать. Предложил сделать грузинскую партию самостоятельной. Свой Центральный комитет и тому подобное. Он парень упрямый. Не болтунишка. Ну, потрепали его: ударился ты, товарищ Сосо, в национализм. Он обиделся, не показывался месяца три. Но недавно принес заявление, которое озаглавил «Кредо». Там он послал к черту национализм! На этом и подвели черту. С кем не случается?

Разговаривая, Папаша прихлебывал слабое розовое вино, да и по-прежнему не забывал обязанности гостеприимства.

— Товарищ Сосо,— продолжал он,— сам вызывается поехать к вам в Западную Грузию, где идут волнения.

Несуетливый, приятный в общении, бородач еще несколькими фразами охарактеризовал Сосо. Проверен в серьезных делах. Есть у него и немалый марксистский багаж. Упорный, энергичный, отважный профессионал революционер.

— Ожидай его. Он организует новый комитет. И поведет работу вместе с вами.

Первая встреча с посланцем из Тбилиси, с человеком, который почти десять лет спустя избрал себе фамилию Сталин, отчетливо запомнилась Каурову.

Явкой служил кутаисский городской парк. Сухой восточный ветер, еще усиливавший томительно-знойную жару, гнавший пыль по невымощенным улицам, пробирался сквозь заслон инжировых деревьев, каштанов, магнолий, барбариса и сюда, на аллеи и тропки.

Близился вечер. К Алеше, кружившему около клумб, где белые цветы табака еще оставались по-дневному поникшими, подошел малорослый худенький лохматый незнакомец. Откинутые назад, не стриженные давно волосы — толстые, как заметил Кауров, — возлежали беспорядочными прядями на непокрытой голове. Бритва давненько не касалась подбородка и щек, поросших черной, с приметным отливом рыжины, многодневной, но не густой, словно бы разреженной щетиной. Уже потом, в какую-то следующую встречу, Кауров смог рассмотреть, что скрытая зарослью кожа нещадно исклевана оспой.

Сейчас он вопросительно глядел на подошедшего, ожидая, чтобы тот произнес условную фразу-пароль. Обращенные к Каурову запавшие глаза отличались каким-то особенным цветом — такой свойствен жареным каштанам, что обладают не блеском, а, по русскому словечку, туском. Кроме того, сквозила и легкая прожелть. Однако выражение глаз было веселым.

Неизвестный безмолвно показал взглядом на гуляющих. Действительно, здесь — в центральном круге парка — прохаживались парочки и группы, в большинстве при участии офицеров во френтовых, защитной окраски, фуражках. Некоторые, прихрамывая, опирались на костыль или палку, у иных — черная подвязь покоила раненую руку — русско-японская война, идущая в далекой Маньчжурии, населила город множеством привезенных сюда раненых, сделала вдруг его тесным.

— Пойдем куда-нибудь от греха подальше, — спокойно сказал незнакомец.

Кауров в мыслях тотчас признал его правоту. Так с самого начала обозначились их отношения: одному принадлежало старшинство, другой сразу это принял.

Они молча зашагали в темноватую глубь парка. Кауров имел время внимательно рассмотреть спутника. В профиль не сразу разберешь: грузин или армянин. Черты лишены грузинской мягкости.

Кончик четко вылепленного носа кругловат, однако чуть раздвоен ложбинкой, уничтожающей это впечатление кругловатости. Губы нисколько не расплывчаты. Твердо прорисован и увесистый сильный подбородок, просвечивающий из-под волос. Эту мужественную привлекательность, однако, портил низкий лоб —

столь низкий, что сперва Каурову даже почудилось, будто верхняя доля скрыта хаотическим зачесом. Убедившись в ошибке, он, впрочем, тут же нашел оправдание этой некрасивости, воспринял ее как мету простолюдина.

Одеждой худышка-лохмач почти роднился с оборванцем: мятые обшарпанные брюки, мятый пиджак с бахромой на обшлагах. Шаг казался мягким: ступни облежала примитивнейшая обувь, стянутые ременной вздержкой истоптанные постолы, каждый из одного куска сыромятной шкуры. Засаленный ворот рубахи был расстегнут, ей явно не хватало пуговиц. «Хоть простолюдин, а неряха»,— подумалось Каурову. Но он и тут удержался от осуждения. Наверное, этому человеку доводится ночевать и под открытым небом. Да, под мышкой у того сверток— шерстяная легкая четырехугольная накидка, которая может служить и чем-то вроде пальто, и одеялом. По внешнему облику, по физиономии, лишенной черт интеллигентности, обладатель пизенького лба мог легко сойти за бродячего торговца фруктами.

На глухой тропке отыскалась пустующая скамья. Ее наискось делила пробившаяся где-то сквозь листву полоска вечернего солнца. Тут они сели.

Вот и произнесены необходимые условные слова. Затем приехавший без околичностей заговорил о деле. Сообщил, что назначен членом Имеретинско-Мингрельского комитета партии.

— Приехал вам помочь.

— Знаю,— подтвердил Кауров.

— Так введи в курс. С меньшевиками вконец размежевались? Или еще надеетесь ужиться?

— Нет, какое там ужиться! Наша группа, товарищ Сосо...

Каурову не пришлось закончить эту фразу. Собеседник тотчас оборвал:

— Не называй меня Сосо.— Он не повысил голоса, нотка была, однако, повелительной.— Всем надо переименоваться. Мы обязаны сколотить строго конспиративную, а не какую-то полулегальную организацию. Борьба нам предъявляет ультиматум: или глубокая конспирация, или провал!

Не пускаясь в дальнейшие разъяснения— мысль и без того была ясна,— он неторопливо добавил:

— Зови меня Коба.

— Коба? — воскликнул Кауров. — Из романа Казбеги «Отцеубийца»?

— Да.

Кауров вспомнил выведенного писателем героя — это был мужественный горец-бедняк, неизменно благородный, ловкий, безупречно верный в дружбе, непреклонный рыцарь справедливости.

— Только зря Казбеги назвал роман «Отцеубийца», — высказал мелькнувшее сомнение Кауров. — Это, пожалуй, дешевая приманка.

— Тебя такое заглавие задевает? Что же, сколько я могу судить, ты имеешь для этого некоторые основания. В самом деле, кого из нас двоих можно считать отцеубийцей?

Уже тогда, в те минуты первого свидания, Кауров уловил манеру Кобы: риторические вопросы уснащали скупую речь.

— Мой отец — холодный сапожник, — продолжал Коба.

«Холодный сапожник» — тот, что сидит на улице и тут же чинит обувь. Подтвердилась догадка Каурова: да, с ним разговаривает человек из народа, выходец из самых низов, знавший нужду, нищету и, наверное, с раннего детства ненавидящий богатых.

— Сапожник, — повторил Коба. — Зачем я его стану убивать? — Он опять выдержал паузу после этого очередного риторического вопроса. — А твой отец полковник. И к тому же хотя и небольшой, но все-таки помещик.

Ага, так Коба, значит, приехал уже осведомленный. Да, родитель Алексея был полковником в отставке и теперь жил на покое в собственном имении недалеко от Кутаиса. Российская казна выплачивала ему пенсию — 250 рублей в месяц. А те, кто вынужден был продавать пару своих рабочих рук, труженики в его поместье, нанимались, как и по всей округе, за 100 рублей в год. Когда-то, еще мальшом, Алеша был поражен этой несправедливостью, с ней не мирилась совесть.

— Ошибусь ли я, — меж тем говорил Коба, — если предположу, что он и поныне посылает тебе деньги?

Простой грубоватый вопрос требовал ответа.

— Не ошибешься, — подтвердил Кауров. — Получаю от него сорок рублей в месяц.

— А что ты делаешь на его деньги? — Снова он выдержал паузу. — Подготавливаешь революцию.

Намереваешься отобрать у него и землю, и царскую пенсию. Он этакое может и не пережить. Тебя это, однако, не останавливает? А?

— Не останавливает.

— Получается, следовательно, что как раз ты и есть отцеубийца. Да еще и у отца же берешь на это деньги.

Коба засмеялся, довольный своей шуткой. Смех тоже был веселым, как и взгляд. Кауров увидел его зубы, крепкие, подернутые желтизной, немного скошенные внутрь. Конечно, этот Коба не лишен юмора. Правда, тяжеловатого: мотив, казалось бы, к юмору не располагал. И логика Кобы была сокрушительна. Да, сильный, видимо, человек. Сильный работник. И возразить нечего. Все же Кауров нашелся:

— О таких вещах, товарищ Коба, еще Гете размышлял. У него сказано: теперь роль древнего рока исполняет политика.

— Где же Гете об этом говорил?

Полоска солнца уже сползла со скамьи, почти померкла. Однако еще пробивались последние оранжевые лучи. Один будто застрял в щетине Кобы, явственно отблескивала примесь рыжины. Были ясно видны и глубоко посаженные его глаза. Теперь они вдруг сменили выражение: стали как бы вбирающими, впитывающими. Впоследствии Кауров не раз схватывал во взгляде Кобы такую, казалось бы далекую от дел, внимательность: сын сапожника как бы на ходу пополнял образование, нечто усваивал.

— В беседах с Эккерманом,— ответил Кауров.— Если хочешь, дам почитать.

— Пока не надо. Не до Гете...— Опять в словах просквозил грубоватый юмор.— Значит, зови меня Коба. А тебя я буду называть Того.

— Того? Что за Того?

— Не знаешь? Японский адмирал, который напал без предупреждения на русскую эскадру. Вот и ты нападай без предупреждения.

Каурову, однако, кличка не понравилась.

— Нет... Ну его к черту, этого Того. И почему тебе сие взбрело? Разве я похож на японца?

Не отвечая, Коба глядел на Каурова. Конечно, этот лобастый, светловолосый, с черными, как два мазка углем, бровями, с легким румянцем, смазливый юноша отнюдь не напоминал японца.

— У тебя кепка похожа на японскую,— обронил Коба. И с силой повторил:— Нападай без предупреждения. Не угрожай! Не говори: сделаю. Делай! Бей до смерти. Не оставляй врага живым. И семья его уничтожь!— Помолчав, переменял тему:— Расскажи, Того, что тут у вас происходит.

— Да не желаю я быть Того.

Коба на это никак не отозвался. Холодно сказал:

— Ну, к делу.

Кауров кратко изложил позицию группы кутайских большевиков, составившейся из молодежи. Крестьянские волнения идут вокруг Кутаиса. Надо их возглавить, добывать оружие, готовить восстание, которое сомкнется с общерусской революцией. Меншеvistский комитет, куда входят главным образом всякие так называемые почтенные интеллигенты, к решительным действиям не способен. Это не воины революции. Они охочи порассуждать, подискутировать о неотвратимом историческом процессе, но осуществлять этот процесс, вести пробуждающиеся массы — нет, тут они лучше постоят в сторонке. Мы с ними расплевались. Движение уже, по существу, отшвырнуло их.

Коба одобрил линию группы. Сказал, что разрыв надо закрепить организационно. И прежде всего устранить от руководства прежний состав комитета. Кого возьмем в новый комитет? Кауров назвал, охарактеризовал несколько товарищей.

— Так. Это еще обдумаем,— произнес Коба.

Здесь, в садовой глуши, уже почти стемнело.

— Теперь, Того, иди. Разойдемся по отдельности.

— Но где ты будешь ночевать?

Левая бровь Кобы вскинулась. Это осуждающее скупое движение было достаточно красноречивым.

— Не задавай таких вопросов. На них не отвечают. Если нужно, скажу сам.

— Извини. Я только побеспокоился насчет тебя. Ты уже имеешь где-нибудь приют?

— Пока нет.

— А твои вещи? На вокзале?

— У меня все вещи с собой.— Коба жестом указал на сверток, покоившийся на коленях.— Не волнуйся, спать буду под крышей.

— А тебе ничего не нужно?

— Ничего. Иди.

В полутьме еще можно было различить худенькую фигурку. Смутно виднелись сложенные на животе руки. Кауров поднялся.

— Ты не болен ли? — спросил он.

— А что?

— Такое впечатление... Вроде бы ты исхудал, ослаб после болезни.

— Ослаб? Хочешь, поборемся?

— Ну, я же был первый силач в классе. И до сих пор упражняюсь с гирями.

— Вот как...

Внезапно Коба вскочил и, подавшись к Каурову спиной, захватил одной правой рукой ствол его шеи. Левая, как успел заметить в тот миг Кауров, не была столь быстрой. Это, однако, не помешало Кобе, быстро опустившись на колени, перекинуть рывком через себя юношу-атлета. Поверженный Кауров тотчас вскочил, сгрел, стиснул Кобу, стал его валить. Да, у того впрямь плохо действовала левая рука, была в локтевом сгибе лишь ограниченно подвижной. И все же Коба оказался жилистым, вывернулся. Оба запыхались.

— Ладно! — скомандовал по праву старшинства приезжий. — В другой раз поборемся.

— Что у тебя с рукой? — спросил Кауров.

Коба ответил неохотно:

— Это с детства. Был нарыв. Потом заражение крови. Полагалось бы по всем правилам переселиться на тот свет, но почему-то выжил.

— На страх врагам! — сказал Кауров. — А по виду и не подумаешь, какая у тебя силенка.

Коба усмехнулся:

— Теперь знай, как нападать!

Мировая была закреплена рукопожатьем. Так совершилось их знакомство.

Хотелось бы нарисовать и некоторых друзей Каурова, участников большевистской организации в Кутаисе. Среди них были примечательные люди, оставившие след в истории революционной борьбы. Однако сквозное действие, или, говоря иначе, красная нить повествования — ее можно бы назвать суровой ниг-

кой,— не позволяет отвлекаться. Воспроизведем поэтому лишь следующий эпизод в отношениях Каурова и Кобы.

Меж ними возникло небольшое разноречие касательно одного человека, входившего в прежний комитет. Это был пожилой грузин по имени Вахтанг, отец семейства, уже многие лета беспорочно служивший в должности кассира кутаисского Кредитного общества. Он, кстати сказать, и в комитете бессменно нес обязанности казначея. К молодежи, принявшей сторону большевиков, относился дружелюбно, хотя еще надеялся, что междоусобица в лагере социал-демократов закончится добрым согласием. В кредитное общество к Вахтангу всегда было удобно забежать, передать или получить через него записку, перехватить займы рубль-другой. Кауров считал, что Вахтанга надо включить и в новый комитет. Коба воспротивился.

— Место в комитете,— сказал он,— может принадлежать лишь профессиональному революционеру, который отдал себя только одному делу: служению партии.

Они разговаривали, уединившись опять в парке. По-прежнему нечесаный, небритый, Коба отчеканил этот свой тезис и, помолчав, молвил:

— «Тебе одной...»

Так начиналась первая строка известного грузинского любовного стихотворения: «Тебе одной все, что дано мне с высоты Богом». Он ограничился лишь двумя словами. И вновь умолк. Кауров покосился на него. Да, в душе этого низенького ростом, смахивающего на бродягу человека вибрирует, значит, и струна поэзии. Да, не напрасно же он — Коба!

А тот уже вернулся к хладнокровному тону:

— Только профессионалы-революционеры! В этом необходима строгая граница. Иначе мы не отделим себя от либерально болтающих интеллигентов, сами разрушим конспирацию.

Кауров возразил:

— Но и Вахтанг же, я уверен, будет хранить свято партийную тайну.

Вот тут-то Коба и изрек удививший Алексея, запавший в память афоризм:

— Тайна — это то, что знаешь ты один. Когда знают двое, это уже не вполне тайна.

Выдержав, по своей манере, паузу, Коба далее столь же четко определил:

— А легальный человек в комитете, к тому же еще и примиренец, это все равно что настезь открытая дверь из квартиры на улицу.

Приведя еще несколько доводов в обоснование несправедливых организационных требований, Коба убедил в своей правоте юношу-большевика.

— Но, знаешь, Коба, я не могу сказать Вахтангу, что мы исключили его из комитета.

— Ох, какой добрый, какой мягкий,— насмешливо произнес Коба. И холодно добавил: — Хорошо, я сам ему скажу. Но изволь присутствовать.

Вахтанга известили, что надобно поговорить. Он предложил встретиться в тихом ресторанчике близ реки Риони.

В назначенное время, когда дневной жар уже свалил, они туда сошлись. Первым, как младшему и полагаюсь, явился легконогий Алексей, вскоре он вежливым поклоном встретил шагавшего кассира. В меру полный, толстогубый, знавший толк в грузинской кухне и в грузинских вишах, Вахтанг выбрал столик на открытом воздухе под вековой чинарой, распластавшей во все стороны широкие лапчатые листья, посадил о том о сем с владельцем духана. Кобу пришлось ждать. Вот наконец и он оказался за столиком. Было по-прежнему обросшим его сильное лицо. Заказали кувшин местного вина, сыр, шашлыки. Вахтанг разлил по стаканам темно-красное вино и показал на стремительную Риони, шум которой чуть доносился и сюда. Мощная горная река вспенивалась на торчащих из воды зубцах белых камней.

По праву старшинства Вахтанг провозгласил тост. Стиль был традиционно цветистым.

— У вас, молодых,— говорил он,— такая же душа, как у этой Риони. Рветесь вперед сквозь все теснины, бросаетесь грудью на преграды, пока не пробьетесь к цели. Ничто вашу стремительность не остановит. Выпьем же, друзья, за нашу вечно молодую Риони.

Улыбаясь, он поднес стакан к своему большому рту и, причмокивая, вытянул до дна. Вслед и Кауров поставил на скатерть опорожненный стакан. Коба лишь отхлебнул. И вытер руксй жесткие усы.

— Почему же вы, товарищ, проявляете такую половинчатость? — шутливо спросил Вахтанг.

Знать бы ему, что за человек перед ним сидит, — не стал бы, наверное, над ним подтрунивать. Коба был крайне чувствителен к насмешке. Янтарная примесь, желтизна в его радужнице мгновенно проступила явственной. Остановившийся, как бы гипнотический взор уперся в кассира. Кауров тогда впервые увидел этот взгляд, для которого лишь позже нашел определение. Улыбка произвольно сползла с лица Вахтанга. Несколько секунд длилось молчание. Ничего, казалось, не произошло. Ничего, кроме лишь взгляда. Затем глаза Кобы обрели свой прежний туск, не мрачный, скорее веселый.

— Хотя монашеских зарок не давал, — спокойно выговорил он, — вином не увлекаюсь.

Это было истиной. Много раз впоследствии Кауров имел случай убедиться, сколь Коба воздержан в употреблении питий, какими славна Грузия. Кутаис в особенности имел репутацию города, обильного вином. Белые, голубые, серые каменные домики, лепившиеся по склонам долины Риони, что составляли разбросанный город, были почти без исключений окружены, по нынешней нашей терминологии, приусадебными виноградниками, дарующими пьянящий сок. Однако Кобу Кауров никогда не видел пьяным.

Отодвинув вино, небритый, да и характером как бы щетинистый, участник застолья продолжал:

— Кроме того, и тост ваш нуждается в критике. Душа человека не река. И тем более не река горная, которая знать ничего не знает, лишь несется вскачь. Душа человека — море. Чего только не вмещает она?! Об этом хорошо сказал Казбег.

Прочитывая наизусть несколько строк, принадлежащих автору «Отцеубийцы», Коба добавил:

— Такую же мысль можно найти и у Достоевского. Но наш грузинский классик сказал это раньше.

В свойственную Кобе манеру бесстрастия тут ворвалась более живая нотка — он гордился грузинской литературой, любил свою маленькую родину.

— За море так за море! — благодушно согласился Вахтанг.

Духанщик подал дымящиеся, нанизанные крупными кусками на вертел шашлыки. Приправой служили тонко нарезанные сырые луковицы, образовавшие ворох колечек. Вахтанг, принявший на себя обязанности тамады, вновь взялся за кувшин, долил

и недопитый стакан Кобы. Тот опять лишь прихлебнул. Но ел жадно. Нож и вилка ему не были нужны. Крепкие, немного скошеные внутрь зубы вонзались в горячее мясо молодого барана, откусывали, быстро пережевывали. Колечкам лука тоже не было пощады. Коба их хватал горстью, во рту хрустело. Он жадно поглощал и поджаристую лепешку чурека — выпеченного по-грузински хлеба. Во время еды не разговаривал.

Наконец на его тарелке остались лишь обсосанные косточки да голый, поблескивающий сталью вертелок. Слегка откинувшись, Коба подождал, пока сотрапезники не разделаются с кушаньем.

Потом без обиняков перешел к делу.

— Мы, товарищ Вахтанг, должны поставить вас в известность. Прежний комитет распущен. Вместо него создан другой.

Вахтанг серьезно слушал. Коба со спокойствием и хладнокровием хирурга продолжал:

— Лично против вас мы ничего не имеем. Но из комитета вы исключены.

Кассир был глубоко оскорблен. Его толстые губы задрожали.

— Почему же? За что вы меня так запятнали?

— Повторяю,— сказал Коба,— лично против вас мы ничего не имеем. Будете работать как не запятнанный ничем член организации. Но в комитет отныне вы не входите.

— В чем же причина?

— Причина? — переспросил Коба.

Он не спешил, глядя на обидевшегося, ошеломленного кассира.

В ту минуту Каурову заново бросилась в глаза ложбинка, раздваивавшая кончик носа Кобы. И вдруг всплыло вычитанное в какой-то книге: раздвоенный нос — признак жестокости.

Продлив молчание, Коба затем кратко обронил:

— Соображения конспирации.

Вахтанг вскочил:

— Я буду писать в Тифлис. Этого так не оставлю.

Не считая нужным отвечать, Коба сложил на животе руки. Кассир сделал над собой усилие, заставил себя выговорить:

— До свидания.

Кауров мягко откликнулся:

— Извините. До свидания. Мы тут расплатимся, товарищ Вахтанг.

Однако тот, храня достоинство, подозвал духанщика, велел дать счет, уплатил за всех. И тяжелым шагом несправедливо осужденного покинул ресторанчик.

Коба рассмеялся:

— Человека выгнали из комитета и еще заставили платить за угощение.

— Вовсе не заставили.

Но Коба похохатывал, обретя отличнейшее настроение.

— Так, Того, и надо!

14

Не затрагивая пока событий, что происходили в те же сроки, dokonчим рассказец о деле Вахтанга.

Он действительно написал жалобу в Тифлис в Союзный комитет, где его знали как давнего участника социал-демократических кружков. Послал и личное письмо Папаше, с которым подружился еще в юности.

Папаша приехал в Кутаис, чтобы на месте разобрать этот конфликт.

Члены нового, уже сконституированного комитета — тайная большевистская пятерка — собрались вместе с Папашей в обширной, почти необитаемой квартире полковника Каурова, постоянно жившего в имении.

Небольшая комната Алеши служила местом заседания. Кауров уважительно предложил Папаше занять кресло за письменным столом, но тот уселся на диван:

— Мне тут поудобнее. А хозяйское кресло занимай сам. Я у вас здесь только гость.

Коба на этот раз явился выбритым. Освобожденная от растительности нижняя часть лица была густо изрыта щербатинками оспы. Он скромно выбрал стул в углу. На стульях расположились и другие. Папаша огласил жалобу Вахтанга. Потом повернулся к Кобе, желая послушать объяснение. Но Коба сказал:

— Пусть выскажутся товарищи.

Слово взял Кауров. В свое время, как помнит читатель, он не был уверен: надо ли Вахтанга устранить из комитета? Согласившись, однако, с аргументами

Кобы, Алеша теперь убежденно их изложил. Да, мы будем защищать наше решение о Вахтанге. Складывается новая партия пролетариата. Боевая. Централизованная. Дисциплинированная. Подчиняющая себя глубокой конспирации. В комитеты такой партии могут войти лишь профессионалы революционеры, последовательно твердые большевики. И Алексей дословно повторил изречение Кобы:— Легальный человек в комитете — это все равно что открытая настежь дверь из квартиры на улицу.

Папаша склонил голову набок, почесал под бородой шею.

— Сдается мне,— заговорил он,— это схоластика, товарищ Ваню.

Тут, кстати, заметим, что Кауров, не желавший зваться Того, выбрал себе непритязательную кличку «Ваню», что соответствовало русскому «Ваня», «Иван».

— У тебя,— продолжал бородач,— получается так: легальный человек — какое-то окаменевшее понятие. Легальный, а ведет нелегальную работу. Почему это должно на него бросать тень? Ты говоришь: примиренец. Это не совсем так. Я с ним беседовал. В совместном деле он, думаю, совсем перейдет на нашу сторону. Зачем его отталкивать?

В нашем повествовании уже мельком сообщалось, что моральный авторитет этого как бы размышляющего сейчас вслух тифлисца, некогда ушедшего от народничества к революционным марксистам, одного из начинателей социал-демократических организаций в Грузии, далее безоговорочно заявившего себя большевиком, последователем Ленина, был непререкаем. Все знали: в вопросах, что составляют жизнь партии а другой он не имел, даже семьей не обзавелся,— Папаша отбрасывает личные привязанности или иные непринципиальные соображения, судит по совести.

Он сделал еще несколько замечаний насчет только что выслушанной речи, сказал с улыбкой и об ее искренности, молодой пылкости. Затем опять повернулся к рябенькому члену комитета:

— Товарищ Коба, твое мнение?

Кауров ожидал, что его старший товарищ, умевший убедительно отстаивать свою правоту, развернет сейчас ряд доказательств в подкрепление их общей позиции.

Но Коба преспокойно выговорил:

— Я не возражаю. Пусть Вахтанг останется членом комитета.

Кауров был ошеломлен. Слегка румянившиеся его щеки вдруг густо покраснели. В ушах зашумело от прилившей крови. Смятение помешало ему что-либо сказать. Он лишь воззрился на Кобу, который с еле приметной усмешкой выдержал негодующий взгляд. Дальнейшего обсуждения Кауров почти не слышал, не мог сосредоточиться.

Вскоре стали поодиночке расходиться. Ушел и Папаша. В комнате остались только двое — Алексей и Коба. Наконец-то можно дать себе волю:

— Коба, как это понимать? Ты меня предал!

Низенький оборвыш твердым шагом приблизился к столу. Сказал:

— Я не буду из-за одного человека, какого-то Вахтанга, ссориться с Союзным комитетом.

Под рукой Каурова на столе стояла лампа. Не раздумывая, он ее схватил и швырнул в Кобу.

(...Рассказывая об этом мне спустя пять с половиной десятилетий, Алексей Платонович пояснил:

— Я тогда был наивным невинным мальчишкой. Воистину простаком революции. Не имел понятия о таких подлых вещах...)

Возмущенный, он швырнул лампу. Тусклоглазый гость обладал, однако, быстрой реакцией, сумел увернуться. Разбилось со звоном стекло, по желтым половикам растекся керосин. Коба не утратил спокойствия, иронически прокомментировал:

— Хорошо, что не была зажжена. А то сгорел бы дом.

— Но где же, — выпалил Кауров, — где твои слова: «открытая дверь на улицу»? Где твои принципы?

— При мне. Мы свое проведем. Изолируем Вахтанга. Не будем с ним считаться.

— Почему же ты не посоветовался со мной?

Ответ был холоден:

— Не нахожу нужным советоваться о том, что признаю правильным.

Словно бы поставив на этом точку, Коба затем спокойно говорил:

— Библиотека, наверное, у твоего отца богатая. Я посмотрю. Не возражаешь?

— Можешь не спрашивать,— буркнул Кауров.

Коба пошел в кабинет, где располагались книжные шкафы. Переживая обиду, Платоныч остался в своем кабинете. Минул по меньшей мере час. Что же там Коба? Кауров заглянул в отцовскую благолепную обитель.

Маленький грузин в заношенном, с разлохмаченными обшлагами пиджаке сидел за обширным письменным столом, куда наложил извлеченные с полок книги. Дымя самокруткой, сбрасывая без церемоний пепел на ковер, он склонился над большого формата объемистым томом. Это был один из годовых комплектов «Правительственного вестника» — в доме полковника Каурова хранились переплетенные в кожу подборки этого издания за много-много лет.

— Нехорошо, Того! — бросил через плечо гость. — Владеешь такой вещью и молчишь. Не по-товарищески поступаешь.

— Пожалуйста. Читай, читай.

Коба снова подался к тридцатилетней давности столбцам, содержащим полный текст судебных заседаний по делу студента-революционера Нечаева, родоначальника так называемой «нечаевщины», исповедовавшего заповедь: цель оправдывает средства.

Еще некоторое время Коба провел за чтением. Потом, не прощаясь, неслышно исчез.

Том «Правительственного вестника» остался на письменном столе. Прибирая за ушедшим, Платоныч полистал прочитанные Кобой страницы. На полях виднелись вдавлины, оттиснутые твердым ногтем, — этак Коба кое-что пометил. Светловолосый юноша недовольно рассматривал эти врезавшиеся в бумагу следы ногтя. Черт возьми, что за дикарская манера портить книгу!

Впоследствии Платоныча потянуло внимательнее рассмотреть строки, отчеркнутые Кобой. Фигурировавший в суде «Катехизис революционера» был особенно уснащен метами. Одна за другой следовали борозды, вонзившиеся сбочь столбца:

...Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью — революцией.

...Нравственно для него все, что способствует тор-

жеству революции. Безнравственно и преступно все, что помешает ему.

.. Он не революционер, если ему чего-либо жаль в этом мире. Тем хуже для него, если у него есть родственные, дружеские и любовные отношения: он не революционер, если они могут остановить его руку ..

А вот ноготь Кобы прошелся уже не на полях, а под строкой. Тут очередной пункт катехизиса начинался так:

Революционер презирает всякое доктринерство и отказывается от мирской науки, предоставляя ее будущим поколениям.

Далее шли строки:

Он изучает денно и нощно живую науку — людей, характер, положения...

Под эту-то фразу — во всю ее длину — была всажена резкая черта. Странно. Почему именно сие выделил Коба? Да, живая наука, видимо, по сердцу ему, воистину сыну угнетенных, родившемуся среди бедняков. К тому же он, лишь подвернется случай, всюду впитывает, вбирает образование. Ну, а манера пускать в ход свой кривой ноготь... Э, простим это ему.

Коба в Кутаисе жил отшельником. Менял ночевки. Никому не сообщал об очередном своем местопребывании. Не затруднялся поспать и на земле под южным небом. Изредка брился, потом вновь зарастал. Иногда где-нибудь ему простирывали рубаху, давали на смену пару белья. Равнодушный к житейским удобствам, он внешнею, повадкой как бы олицетворял девиз: «Ничего для себя!»

Созданный в Кутаисе новый комитет объявил о себе листовкой, которую написал Коба. В городе жарче запылали политические страсти. Устраивались дискуссии на нелегальных собраниях. Главным оратором большевиков выступал опять же Коба.

Красноречием он не отличался, рассуждал холодно, без взблесков страсти, но разил оппонентов ясностью, четкостью мысли, силой логики, аргументации. Форма изложения была популярной, простой. Горячности он противопоставлял спокойствие. Это действовало. Его слово с трибуны было уверенным, убедительным, целеустремленным. Самые едкие реплики не выводили

Кобу из себя. Полемизируя, он постоянно имел в виду не столько противника, сколько аудиторию. Говорил для нее.

Его речь не сверкала и обширностью познаний, образованностью, однако то, чем он владел, было усвоено им ясно, твердо, до корня. Зная немногое, он этим малым искусно оперировал.

В боковом кармане изношенного его пиджака неизменно хранилась книга Ленина «Что делать?». Среди живших в ту пору марксистов Ленин был единственным, чьему авторитету поклонялся Коба. Ни одно выступление Кобы против меньшевиков не обходилось без цитирования строк из этой книги. Он легко находил нужные выдержки, во всеуслышание прочитывал, почти не заглядывая в текст,— вероятно, многие страницы были ему известны наизусть. И он отдельно, без спешки оглашал мысли Ленина о тайной, сплоченной организации профессиональных революционеров— все равно, студенты они или рабочие,— организации, которая перевернет Россию...

— Такая организация,— твердо заявлял он,— решит все задачи, которые нам ставит история.— И вновь цитировал: — «...начиная от спасения чести, престижа, преимущества партии в момент наибольшего угнетения и кончая подготовкой, назначением и проведением всенародного вооруженного восстания».

Каурову запомнилось, как на одном собрании кто-то, поднявшись, крикнул докладчику — Кобе, держащему книгу Ленина в руке:

— Слушай, продай мне этот справочник, хорошие деньги дам. Нет там рецепта, как вылечить мою бабушку от изжоги?

Глаза Кобы пожелтели, разрез век расширился, несколько секунд выкрикнувшего пронзал неподвижный взгляд. И лишь затем Коба парировал:

— Насчет твоей бабушки в этой книге ничего не сказано, но о том, как лечить тебя от измены пролетариату, тут говорится.

Выступал Коба и в деревнях на крестьянских сходках. Ему не однажды сопутствовал Кауров. Открытая революционная агитация среди охваченного волнениями грузинского крестьянства была опасным делом— в любой момент могла нагрнуть жандармерия. Озноб риска, азарта пронимал юношески восторженного, смелого Каурова, когда он выезжал на такие митинги.

А Коба оставался невозмутимым, ничуть не менялась его спокойная, отдающая холодком повадка. Другим — Кауров сие знал и по собственным переживаниям — преодолевали страх, а этот будто и не знал боязни. Казалось, Коба был лишен некоего чувствительного, в котором у обычных людей заложена и эмоция страха. «Человек, не похожий на человека» — так уже в те времена однажды мимолетно подумал Кауров, взирая на словно бесстрастного Кобу.

На деревенских сходбищах, что скрытно устраивались в лесу или в ущелье, Коба, встав на какое-либо возвышение, призывал к ниспровержению царской власти, разделу помещичьих земель, к оружию, к всероссийскому всенародному восстанию. Он и тут, обращаясь к крестьянам, непременно говорил о партии, о том, что она вносит сознательность, организованность, план в стихию революции. Это он растолковывал очень доступно, очень ясно. Ставил вопросы, вел строго логически к ответам. «Светлая голова», — не раз отмечал в мыслях Кауров, ожидая очереди для выступления.

Верный своей манере, Коба, бывало, вопрошал толпу:

— Так где же в революции место партии? Позади, посередине или впереди?

Слушавшие откликались:

— Впереди!

Все же эти превосходные качества Кобы-оратора были недостаточны на митингах. Зачастую его речь не увлекала. Здесь, с глазу на глаз перед массой, требовалось еще и обладание сильным, звучным, гибким голосом, захватывающая, живая, остроумная и красочная форма. Мешала ему и какая-то закрытость души, апелляция лишь к рассудку, к логике. Его речь была монотонной, однообразной. Обычно вслед за Кобой выступал Кауров. Искренность, горячность, душевная распахнутость беленького, с черными бровями юноши постоянно вознаграждалась оживлением, возгласами, рукоплесканиями.

Коба, конечно, знал за собой скудость ораторского дара, бывал после митингов долго молчалив, его, видимо, мучила неудовлетворенность. Но ни единым словом этого он не высказывал.

Энергично действовавший, неуловимый комитет большевиков в Кутаисе решил не ограничиваться

устройством митингов. Требовалась зажигательная литература для крестьянства. Такая, чтобы душа рвалась к борьбе.

Смастерили гектограф. Поручили Кобе написать обращенную к крестьянам прокламацию по аграрному вопросу. Полагалось на заседании комитета выслушать и утвердить эту листовку. Собрались у постели снадаемого туберкулезом, угасавшего товарища.

Коба чеканно прочитал свою рукопись. Все в ней было правильно, большевистская линия излагалась в точных выражениях, но и тут слогу Кобы не хватало жара. Опять сказывалась заторможенность эмоций. Хотелось каких-то задушевных произносящих строк. Вместе с тем прокламация казалась слишком длинной.

Опиравшийся на подушки больной с разгоревшимися красными пятнами на изможденных щеках произнес:

— Хороший документ. Только суховатый. Еще надо что-то сделать.

Бровь Кобы всползла. Кауров взял со стола написанную Кобой бумагу, вчитался. Почерк был ясным, каждая буква твердо выведена.

— Вот эту фразу можно, Коба, выкинуть. Будет не так сухо. И смысл не...

Он вдруг увидел будто расширившиеся, ставшие в эту минуту явственно желтыми, глаза, что недвижно в него вперились. «Змеиный взгляд»,— пронеслось в уме. Да, подвернулось истинное определение. Кауров почувствовал, что у него под этим взглядом отнимается язык. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы, не отводя взор, договорить:

— И смысл не пострадает.

Коба схватил свои листочки, скомкал, сунул в карман. Прозвучали возгласы:

— Что ты?

— Что с тобой?

Коба молчал. Затем все же полыхнул:

— Вы мне будто кусок живого мяса выдрали из тела.

В те времена у него, видимо, еще срывались тормоза, пробивалось затаенное.

Минуту спустя он кратко сказал:

— Хочу сделать заявление. Я уезжаю.

— Как так? Почему?

— У меня заболела мать.

Более никаких объяснений Коба не дал.

Кажется, в тот же день он расстался с Кутаисом, хотя и был сюда послан для работы.

Новая встреча Каурова и Кобы произошла почти через три года. Кутаисская размолвка была словно забыта. Они свиделись дружески и радостно.

16

Впрочем, Кауров в то время, летом 1907-го, был настолько подавлен, несчастен, что и в мимолетной его радости залегало сокрушение.

Примерно год назад он принял участие в дерзкой экспроприации на улице одного небольшого грузинского города. Удалось, открыв пальбу, взять огромную сумму, сто тысяч рублей, что под охраной стражников перевозились в казначейство.

Несколько большевиков, отважившихся на такое дело, рисковали тут не только жизнью, но и своей революционной честью. Союзный комитет не сразу дал, как выражаемся мы ныне, зеленый свет задуманному экску.

Инициаторы подготовляемого нападения — Кауров в их числе — нетерпеливо убеждали:

— Революция нуждается в оружии. Мы малосильны без оружия. Возьмем деньги и купим оружие за границей. Раздадим тысячи винтовок.

Алексей и его сотоварищи, нацелившиеся захватить немалую наличность, знали: если поймают, надо выдать себя за уголовника-грабителя, отрицая какую-либо свою причастность к партии. Изболелось сердце, пока Кауров внутренне принял это условие, укрепился в нем. Что же, если придет для него роковой час, он сумеет ради партии отречься от нее! Так оборачивалось, испытывалось разительное свойство, которое позже, в небывалых дотоле масштабах, стало психологической чертой, характером и тех, кто шли вслед: поклонение партии.

Можно было бы написать отдельную повесть об этой четко осуществленной экспроприации и о дальнейших, связанных с ней, перипетиях. Каждый исполнил свою задачу, свою часть операции. Забрать уймун денег среди дня. Донести их, пока товарищи ведут стрельбу, вся и всех на несколько минут парализовавшую, к запряженному рысаками фазтону за углом.

Примчаться к неприметному дому на окраине. Сложить там добычу в чемодан, тотчас же подхваченный рукою сподвижника, который спокойнейшим шагом выходит с багажом на улицу, переправляет деньги в другую тайную квартиру. Сесть с чемоданом на поезд—это было поручено Каурову,—сесть, когда каждого пассажира шупают взгляды агентов жандармского и сысканого отделения. Доехать до Петербурга, опять-таки ежеминутно ожидая, не вонзится ли в тебя глаз сыщика. Предаться в вагоне вместе со спутником-другом карточной азартной игре в компании двух столичных блестящих офицеров-кавалергардов, игре, для которой служил столом тот же заветный чемодан. Продуться, лишиться тридцати рублей, ничего не смысла в картах. Хорошо еще, что умелец-друг отыграл уплывшие деньжата, а то пришлось бы, располагая сотней тысяч, подголаживать. («Воротничка себе не купили на эти сто тысяч»,—рассказывал впоследствии Кауров.) Благополучное прибытие в Питер. Свидание с элегантным, высокого ранга инженером, петербургским представителем фирмы Сименс-Шункерт, большевиком Леонидом Красиным. Ворочавший по доверенности фирмы миллионными вложениями, свой человек в банках, он почти небрежно, безбоязненно внес в банк сто тысяч наличными. Никому и не взбрело проверять номера кредиток, что сдал известнейший, великолепный, с пахнувшей духами небольшой бородкой инженер.

И вот Кауров уже за границей. Деньги—в его распоряжении. Переговоры с поставщиками оружия. Заказ наконец принят. Изготовлены, оплачены легкие, новейшего образца, винтовки и не менее многозарядные, точного боя пистолеты. Разработан маршрут доставки: сначала железной дорогой в Грецию, там перегрузка на зафрахтованное судно, которое ночью подойдет к берегу Грузии, где ящики с оружием будут забраны на лодки.

Надо успеть нелегально вернуться в Россию, быстро добраться к условленному месту на Черноморском побережье, там уже подготовлена тайная разгрузка. Невинная, на посторонний взгляд, телеграмма из Греции означает, что пароход отчалил. Кауров ночью под режущим ветром, под косым дождем меряет шагами пустынный, устланный крупной галькой берег, вглядывается в темь. Непогода все разыгрывается, низверга-

ются, шлепаются с пушечным гулом пенные волны. Он готов запеть: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней». Пусть свистит ветер, ящики с аккуратно уложенным, поблескивающим заводской смазкой оружием приближаются сюда.

Однако пароход в ту ночь не подошел. Кауров, одолеваемый тревогой, напрасно прождал и следующую ночь. И еще одну: судно опять не появилось. Днем Каурову принесли телеграмму. В ней уже без всякого шифра говорилось: пароход потерпел крушение, затонул вместе с грузом.

Кауров не поверил. Но весть подтвердилась. Буря действительно разломила пополам ветхую посудину, погибли и люди, лишь немногие спаслись. Еще никогда он не переживал такого горя, отчаяния. Окаменел, хотел плакать — и не мог. Отдано столько энергии, мысли, отваги, удалось совершить невероятное... И злосчастная случайность, слепая стихия, все зачеркнула, погубила.

Шок оказался таким сильным, что ему было уже невозможно жить в родном краю, здесь с почти маниакальной неотвязностью его преследовали думы о случившемся. По совету друзей, по заданию Союзного комитета, где знали, какая подавленность скрутила Каурова, он перебрался в Баку.

— Поваришься там в пролетарском котле, будет полезно, — сказали ему.

Летом 1907 года он в Баку опять повстречал Кобу.

Это произошло так.

На вокзале в районе нефтепромысла Алексей покинул поезд. Дул резкий, неприятный норд, несущий тьму колючего мельчайшего песка. Песчинки забирались под воротник, скрипели на зубах, глаза стали слезиться. Было мглисто на душе, мглисто и вокруг.

Плотней напялив кепку — все ту же, о которой однажды Коба выразился: «похожа на японскую», — опустив голову, Кауров брел на указанную ему явку. Неужели это он, тот самый удалец, выбравший себе кличку Ваню, который недавно на шквалистом ветру под пушечное бухание ниспадавших на каменистый берег волн певал: «Будет буря, мы поспорим

и помужествуем с ней»? Ему уже не верилось, что он когда-нибудь снова запоет.

Явка находилась неподалеку от вокзала — газетный киоск, где восседал благообразный, с огромной черной, пронизанной витками серебра бородою продавец. Он, выслушав пароль, адресовал новоприбывшего: такой-то промысел, такой-то дом, спросить там фельдшера.

Кауров добрался туда к вечеру. В пыльной пелене проступали средь жилья маслянисто-черные нефтяные вышки, попадались пустыри, потом опять тянулись приземистые, сложенные из плитняка, рабочие казармы, ряды которых составляли улицу. Кое-где угнездились и глинобитные, в два-три окна, лачуги без садов, без изгородей.

Солнце уже было подернуто шафраном, когда Кауров разыскал квартиру фельдшера, постучал в дверь. Ему отворили, чей-то голос с явственным грузинским акцентом произнес:

— Входите.

Кто-то в черной косоворотке, стянутой тонким пояском, стоял в темноватом коридорчике.

— Ваню! Не узнаешь?

Рука встречавшего дружески сжала кисть Каурова, потянула в комнату.

— Как не узнать тебя, Серго! — молвил Кауров.

Да, его руку еще стискивал, не отпускал Серго Орджоникидзе, с которым Алексей несколько раз виделся, сблизился в Тифлисе. Они были почти однолетками: Каурову, вышибленному из последнего класса гимназисту, исполнилось в этот год двадцать; Серго, обладателю фельдшерского звания, — двадцать один.

Сейчас они друг в друга всматривались. Бросим и мы внимательный взгляд на Серго: ему еще доведется занять свое место в нашем повествовании. Темные усы над крупными его губами тогда были совсем молодыми, коротенькими, бархатисто мягкими. О природной мягкости свидетельствовала и выемка на хорошо вылепленном подбородке. Горбатый нос не набрал еще мясистости. Черноватые (но не жгуче-черные) волосы слегка вились, буйность шевелюры, для Серго столь характерная, была в этот промежуток времени укрощена парикмахерскими ножницами. Самой, однако, разительной его чертой и тогда и позже

оставались на удивление большие глаза под правильными четкими дугами бровей,— глаза, мгновенно выявлявшие внутреннюю жизнь, будь то презрение или ласка, гнев или доверчивость, дума, восторг, сострадание. Пожалуй, именно глаза делали его красивым.

Теперь он с сочувствием взирал на осунувшегося, даже не бледного, а как-то посеревшего с лица Каурова.

— Слышал, слышал о несчастье,— произнес Серго.

Повесив на гвоздь кепку пришедшего, он бережно, сочувственно погладил его белесые тонкие волосы. И продолжал:

— Сам чуть не заплакал, когда мне об этом рассказали.

— А мне и сейчас хочется плакать.

— Садись, Ваню. Прости, я похозяичаю. Отметим, как подобает, твой приезд.

Плотно сбитый, невысокий, Серго зашагал к двери, что, видимо, вела на кухню. Но дверь вдруг как бы сама собою отворилась. Из нее спокойно ступил в комнату Коба.

Здесь, в Баку, его внешность изрядно переменилась. Он уже не смахивал на бродячего торговца фруктами, порой ночующего на траве, пренебрегавшего бритьем и стрижкой, свыкшегося с неряшливой одеждой, каким запомнился по Кутаису. Волосы уже не торчали лохмами. Однако и расчесанные, они упрямо дыбились. Толщина волоса была особенно заметной в подстриженной черной щетине усов. Худощавые щеки, тяжело-ватый, словно литой, подбородок были бриты. Впрочем, в первый миг почудилось, что Коба выбрит не чисто. Его оспины, густо разбросанные в нижней части смуглого сильного лица, имели одно редкостное отличие, которое не сразу схватывал взгляд: в каждой, в самой глубине, отложилась своего рода веснушка, то есть темно-рыжее пигментное пятно. Из-за этого его свежебритая кожа казалась нечистой, словно бы бритва оставила какие-то пучки. Пиджак теперь отнюдь не был мятым. Темная, застегнутая до верха рубашка тоже выглядела глаженной. Утюг, видимо, прошелся и по брюкам. Вместо грубых сыромятных постолов Коба носил ныне ботинки, хоть и запыленные, но не заляпаные, знавшие, несомненно, со щеткой. Казалось, он чьими-то руками был ухожен.

— Того, здравствуй! — проговорил он.

Поразительное прежнее упорство проглянуло в этом словечке «Того».

— Здравствуй, Коба! — грустно ответил Кауров.

Подойдя, Коба обеими руками обнял, прижал к себе Каурова. Такого рода нежность столь не вязалась с характером Кобы, была столь неожиданной, что у Каурова навернулись слезы.

Откинувшись, сняв руки с мускулистых плеч Каурова, Коба сказал:

— Стою в кухне. Слушаю. Узнал тебя по голосу.

— А тебе известно про?..

Можно было не договаривать. Коба кивнул. Кауров и ему признался:

— Мне просто хочется плакать.

— Того, подумай. Ты же молодой. У тебя впереди еще вся жизнь.

— Не могу с собою справиться.

— Справишься. Разве это такая уж страшная потеря? Вспомни, какими жертвами отмечена вся революционная борьба. Революция без утрат, без крови, без страданий — это, Того, не революция. У Радищева отняли, сожгли его книгу. Подумай, как было ему больно. А какие люди погибали!

Меряя комнату шагами, Коба еще и еще приводил примеры из истории русского революционного движения.

— А провокации? — вопрошал он. — А измены, переметывания? Мало в этом горького? Но такова борьба. Она и не может стать иной.

Коба, как и прежде, говорил краткими фразами, не растекался. Доводы были логически несокрушимы, однако, кроме логики, действовала, источала некий ток и его убежденность, неколебимость.

— Как же ты станешь крепким, ежели не под ударами? — продолжал Коба. — Революцию душат, но она все-таки живет. Пойми, живет в каждом из нас.

Кауров вдруг припомнил свое давнее определение: «Человек, не похожий на человека». Нет, Коба сейчас говорил с ним человечно.

Серго тем временем расставлял на столе посуду, наведывался в кухню, возвращался. Кауров в какую-то минуту уловил его влюбленный взгляд, брошенный на Кобу. Что же, такой Коба, не схожий в чем-то с пре-

жним, и впрямь мог вызвать любовь. На душе, пожалуй, уже немного полегчало.

Коба вновь дружески положил руку на плечо Каурова.

— Хоть ты и впал в мировую скорбь, а силушку, вижу, сохранил. Поборемся?

— Нет, неохота.

— Ничего. Расшевелишься.

И опять, как некогда в кутаисском парке, низенький грузин быстро повернулся, обхватил сцепленными в замок кистями шею Каурова, упал мгновенно на колени и в падении кинул его кувырком на пол. Кауров тотчас поднялся, потер ушибленную ногу. Коба разразился коротким смешком:

— Больно? Терпи. Без боли не излечиваем.

Кауров глядел из-под густых бровей. Закипало желание побороться. Примерившись, он поясным захватом стиснул Кобу. Тот вырвался. Алексей опять взял его в тиски. И снова, как когда-то, чувствовалась некоторая немощность левой руки Кобы. Алексей ломал его, подламывал. Коба все-таки держался. Серго, выставив перед собой ладони, оберегал накрытый стол и не то восхищенно, не то опасливо прищмокивал. Кауров жал и жал, возил по всей комнате не сдававшегося жилистого Кобу. Наконец, будто став на секунду скользким, Коба извернулся, выскочил, как обмылочек, из рук. Этим схватка завершилась.

Втроем они поужинали. Коба обронил несколько замечаний о политической обстановке в Баку, о боях с меньшевиками.

— Освоишься. Все увидишь, Того, сам.

Условились, что Кауров станет пропагандистом, поведет тот или иной из рабочих кружков района.

Серго оставил у себя ночевать приехавшего, выложил ему последние нелегальные издания, в том числе и два номера газеты «Бакинский пролетарий».

— Сами выпустили! — объявил он. И добавил, указывая на Кобу: — Вот перед тобой и инициатор, и автор, и редактор. Един в трех лицах.

— Болтаешь! — оборвал Коба.

Грубость этого замечания не заставила, однако, Серго изменить тон. Улыбаясь, он воскликнул:

— Коба Иваныч, не сердись! — И повторил: — Един в трех лицах!

Теперь Коба промолчал. Вскоре он и Серго ушли.

Кауров умылся, прилег, взял «Бакинский пролетарий».

В обоих номерах видное место занимала печатавшаяся с пометкой «продолжение следует» статья «Лондонский съезд Российской социал-демократической рабочей партии (записки делегата)». Автор подписал ее так: «Коба Иванович».

Глаза Алексея пробежали текст. Постепенно он стал читать внимательней. Узнавал свойственную Кобе ясность. Самые сложные вопросы тот излагал доходчиво, коротко, словно бы вышелушивая, обнажая суть. Вместе с тем казалось, что он проделывает это не каким-либо тонким инструментом, а простым острым топором, который, как у иных искусников плотничьего ремесла, отлично ему служит. Особенно четко была вскрыта склонность меньшевиков поставить на партии крест, провозгласить: долой партию!

Автор отмечал: «Эти лозунги открыто не выставлены, но они сквозили в их речах».

Такая определенность, твердость привлекала. Кауров опять со счастьем чувствовал облегчение. Да, Коба один из тех, на ком зиждется партия. Люди такого склада — твердейшая ее опора. Стараясь не отвлекаться на внутреннюю боль, Кауров снова погрузился в статью. Внезапно его покорило. Он еще раз перечитал абзац: «Не менее интересен состав съезда с точки зрения национальностей. Статистика показала, что большинство меньшевистской фракции составляют евреи (не считая, конечно, бундовцев), далее идут грузины, потом русские. Зато громадное большинство большевистской фракции составляют русские, далее идут евреи (не считая, конечно, поляков и латышей), затем грузины и т. д. По этому поводу кто-то из большевиков заметил шутя (кажется, тов. Алексинский), что меньшевики — еврейская фракция, большевики — истинно русская, стало быть, не мешало бы нам, большевикам, устроить в партии погром».

Фу, как скверно это пахнет. Полно, Коба ли это написал? А кто же? Вот подпись: «Коба Иванович». Но, может быть, в следующей фразе сам он, этот Иванович, высмеет сказанное? Нет, далее следует: «А такой состав фракции нетрудно объяснить: очагами большевизма являются главным образом крупнопро-

мышленные районы, районы чисто русские, за исключением Польши, тогда как меньшевистские районы, районы мелкого производства, являются в то же время районами евреев, грузин и т. д.».

Ой, Коба, Коба! Хорошо, хорошо, и вдруг вылезает из него что-то. Ну и отмочил: «большевики — фракция истинно русская, стало быть, нам, большевикам, не мешало бы устроить в партии погром». Правда, имеется словцо «шутя». Но шутка очень дурного тона.

Неужели никто Кобе об этом не сказал, его не остановил? Но, пожалуй, и не скажешь. Вспомнилось, как Коба скомкал свою рукопись, когда в Кутаисе сотоварищи по комитету нашли суховатыми или излишними некоторые фразы.

Ныне и он, Алексей Кауров, тоже вряд ли найдет мужество начистоту поговорить с Кобой. Просто невозможно сызнова узреть недвижно уставленные, парализующие, неожиданно змеиные, со вдруг проступившим янтарем, его глаза.

Но не пришлось и умолчать.

...Несколько дней спустя Кауров возвращался из городской библиотеки в рабочий поселок, где обосновался на постоянное — кто знает, короткое, долгое ли, — жительство. Для первой своей лекции-беседы, ему, пропагандисту, на неделе предстоявшей, он любил тему: «Капитализм и будущее общества».

Вечер был безветренным. Сбоку опускалось к горизонту, к невидимому отсюда морю уже не слепящее солнце. По железнодорожной колее, пролежавшей возле казарм, шипя и лязгая, шел поезд. Запыленные темные цистерны, меченные черно-маслянистыми потеками, катились и катились, заграждая песчаную немощеную дорогу. Кауров остановился, пережидая. Тут же выстроился недлинный обоз установленных плашмя на колеса красных бочек — в них доставляли питьевую воду на поселок.

Наконец протащился хвостовой вагон. На противоположной стороне двухпутного рельсового полотна прямо перед собой Кауров увидел Кобу, двинулся навстречу. Прозвучало неизменное восклицание Кобы:

— Того, здорово!

— Здравствуй.

— Ну как самочувствие? Одолеет тут, среди пролетариата, свою немочь?

— Кажется, одолеваю.

— Давай бог. Никуда не спешишь? Проводи меня немного.

Зашагали рядом. Короткая, наверное, лишь однодневная щетина черноватым палетом охватила лицо Кобы. Непокорный зачес, нависший жесткой волною надо лбом, ничем не был прикрыт. Вместо пиджака Коба в этот раз надел грубую серую фуфайку, ворот которой наглухо обтягивал шею. Теперь он был похож на мастерового. Лишенные блеска, подернутые матовостью глаза посматривали весело.

Без каких-либо окольных слов Коба спросил:

— Статью мою читал?

— Читал.

— Как твое мнение? Говори откровенно.

Кауров не раздумывал. Что же, откровенно так откровенно. Он похвалил статью. Особенно отметил ее режущую якость.

— Ты, Коба, умеешь вытащить ядрышко из словесности меньшевиков. И подаешь, как на ладони. Но в одном месте тебя понесло черт-те куда.

— В каком?

— Там, где ты пишешь, что меньшевики представляют собой еврейское направление, а большевики — истинно русское. Да еще обещаешь по сему случаю погром.

Коба усмехнулся. Спокойствие не покинуло его.

— Марксизм, как известно, шутить не запрещает.

— Если это шутка, то...

— И шутка. И не шутка.

Коба произнес это медлительно. Фразы будто обладали тяжестью. Кауров опять узнавал тяжелое его упорство.

— Но ни в шутку, ни всерьез нельзя пользоваться такими выражениями: истинно русская фракция. Или еще вот: погром.

— А разгром можно?

— Конечно.

— Разгром, погром — различие принципиальное. Меньшевиков все же громить будем?

— Будем.

— Это, Того, главное.— Коба посмотрел на твердые тупые носы своих ботинок, негромко отчеканил: — Бить прямо в морду. А насчет шуток... Когда-нибудь в них разберемся. Во всяком случае, тебе спасибо.

— Вот еще... За что?

— Не вилял. Сказал в открытую.

— А помнишь, Коба, в Кутаисе...

— Был молод. Не владел собой. С тех пор стал повзрослей.

— Да, ты изменился. Позволь еще тебе сказать. Ты и о грузинах как-то странно пишешь. Будто сам ты не грузин.

— Поймал! — Коба рассмеялся. — И грузин и не грузин.

— Как так? Не пойму.

— Грузин по крови, а по духу... По духу уже русский. Живем в такое время. Оно перемесило. — Помолчав, Коба заключил: — Иди обратно. Меня дальше не провожай.

...В Баку Алексею довелось видеть Кобу и на собраниях. Здесь, в промышленном центре, характер партийной работы был иным, чем в тех местах, где прошла юность Каурова, — туда еще не вторглась индустрия. Повсюду, конечно, наложила свою тень неудача революционной атаки. Однако большевики Баку действовали в многотысячном скоплении рабочего класса, отстаивали насущные его интересы, находили в нем оплот.

Немало ярких деятелей партии стянулись в тот год в Баку. Впоследствии о некоторых были написаны книги, вошедшие в серию «Жизнь замечательных людей». Мы не называем имена, не набрасываем хотя бы беглые портреты — иначе перегрузим наше изложение. Коба был одним из участников руководящей группы.

Дисциплинированная, таившаяся в рабочих районах партийная организация, еще называвшаяся тогда фракцией, располагала сильными ораторами. Коба же предпочитал невидную, скрытую от непосвященных, роль организатора. Но изредка появлялся на трибуне. Несколько раз, то на районном собрании, то на заседании профсоюзных делегатов, Кауров слушал его речь. Потом эти выступления как-то соединились, спрессовались в память в нечто единое.

Кобу-оратора выделяло спокойствие. Неутихающие страсти, едкие выпады, что отличали борьбу двух фракций единой лишь по названию социал-демократической рабочей партии, казалось, его не задевали. Малоподвижное, даже как бы туповатое его лицо оставалось невозмутимым. Человек сильной воли, он не

отругивался, не пускался на полемические колкости. Пренебрегая шелухой, вытаскивал главное.

— Революция погибла. Нет, она не погибла. Она потерпела поражение. На поражениях учатся. Первый урок — сохранить, укрепить партию.

Он, разумеется, вел речь по-русски. Русский язык объединял все национальности в городе нефти. Неистребимый грузинский акцент характерно окрашивал произношение Кобы. Медлительность, с какой он выговаривал свои неразветвленные ясные фразы, подчеркивала его спокойствие. Он этим заражал, вселял бодрость. Глядя на него, чуждого всякой растерянности, неколебимого, сильнее верилось, что революция вновь поднимется, победит в новых боях. Бакинские нефтяники и металлисты, собранные сюда со всей России, как бы питали его убежденность, его волю. Не только он один здесь заряжался волей.

Однажды, уже поздней осенью, за полдень к Каурову, проживавшему в семье рабочего нефтепромыслов, пришел Серго.

— Ай, как хорошо, что я тебя застал.

Выразительные большие глаза подтверждали его радость. Был обрадован и Кауров. Лишь изредка ему доводилось провести вместе с Серго свободный час-другой.

— Снимай пальто. Садись.

— Не могу. Прости.— Извиняясь, Серго прижал руку к груди.— У меня нет времени. Забежал к тебе по делу.

Откуда-то из-под пальто он вынул отпечатанную на тонкой бумаге заграничную большевистскую газету «Пролетарий». И объяснил, что этот номер в Баку только что получен.

— Надо, Ваню, отнести эту газету Кобе. Он завтра выступает. Готовится. Сходи к нему, отдай. Ты прочтешь потом.— Серго снова улыбкой и жестом попросил извинения.— Не обижаешься?

— Какая тут обида? Говори, куда нести.

Серго дал адрес Кобы, объяснил путь.

— Спросишь: где живет портниха? Это его жена.

— Как? Разве он женат?

— А ты не знал? Женат. И к тому же эта портниха нам с тобой знакома.

— Знакома? Кто же она?

— Увидишь. И если на свете бывают суженые, то... Э, сотня слов не заменит, как известно, одного взгляда.— Серго повторил: — Увидишь.— И напоследок добавил: — Если Кобы дома нет, отдай жене. Она его разыщет. Ну, брат, бегу.

Кауров отправился по адресу. Коба, под фамилией Нижерадзе, проживал в одном из рабочих поселков, которые раскинулись вокруг Баку, снимал комнату в невзрачном глинобитном домике. Алексей нашел этот дом, постучался.

Ему послышалось какое-то приглушенное движение в доме, и лишь минуту спустя дверь отворилась. Гостя встретила поклоном миниатюрная молодая женщина, по облику грузинка. Поклон был по-восточному длительным. Блестели витки ее черных густых волос. Да, этот тонкий профиль, этот произвольно изящный выгиб шеи казались Каурову смутно знакомыми. Однако в то мгновение в памяти не проявилось.

Он уже смотрел на Кобу. Тот обедал, сидя за столом вблизи кухонной плиты. Комната в себя вмещала и столовую, и кухню, и спальню. Каурова поразило контраст между неказистой внешностью общарпанного домика, который скорей следовало бы называть хибарой, и ухоженностью, чистотой внутри. Занавески на окнах сияли белизной. Кружевная накидка украшала взбитые подушки на деревянной кровати. По глинобитному, без соринки, полу пролегла ковровая дорожка. Стол, на котором перед Кобой стояла тарелка вкусно пахнущего чахохбили — мелко изрезанного куриного мяса, — был застелен чистенькой, спускающейся к полу скатертью. О, тут еще и детская! В углу находилась колыбель, где под стеганым розовым одеялом чуть слышно посапывал, спал младенец, нареченный, как потом узнал Кауров, Яшей. И мастерская портнихи! Вон у окна притулилась швейная машинка с невынутой из-под иглы, свисающей тканью. Да еще и полочка с книгами.

— А, Того! — Коба привстал, оказывая уважение гостю.— Проходи, садись, пообедаешь со мной.

— Я только на минуту. Принес тебе газету от Серго.

Коба взял протянутые ему сложенные страницы, взглянул на заголовок, бережно положил на скатерть.

— Это кстати. Спасибо. Но без обеда я тебя не отпущу. Что? Со мной хлеб-соль не водишь?

Он вопрошал будто бы грозно, но под усами проглядывала улыбка. И глаза приветливо смеялись. Впервые Коба предстал Каурову такую гранью — радушным хозяином.

— Като,— обратился он к жене,— подай ему обед.

Коба не считал нужным познакомить гостя и жену, повеление было грубоватым, но она, кинув преданный взгляд на мужа, мигом в своей легкой обуви без каблучков пронеслась к плите. И тут Каурову вдруг вспомнилось: Тифлис, мастерская дамских мод, проворная несловоохотливая девочка. Конечно же это она!

— Като! — воскликнул он.

Юная мать снова безмолвно поклонилась. Блеснувшие глаза, как он уловил, были счастливыми. Впрочем, ресницы тотчас пригасили этот блеск.

Когда-то, года два назад, он, товарищ Ваню, наезжая в Тифлис, побывал в доме молодого большевика Александра Сванидзе, за которым утвердилась партийная кличка Алеша. Каурова затащил туда Серго Орджоникидзе. Собственно говоря, этот кров был женским царством. Старшая сестра Сашико после смерти родителей осталась главой семейства. Наследственный дом, к которому примыкали заросли старого сада, уместил в себе по решению Сашико швейное заведение, или, употребляя нынешний термин, ателье. Там вместе с ней трудились две ее младшие сестры — Маро и Като.

Сашико откинула мечты о замужестве, отдала себя родным. Жгучая брюнетка, она являла собой мужественный тип. Коренастая. Горбатый нос. Темный пушок над тонким ртом. Гордая посадка головы.

Семья Сванидзе принадлежала к мелкодворянскому сословию, к азнаури, что значит «свободный». Рано полысевший Александр, он же Алеша, был увлечен социальными науками, много читал, писал. Такой же, как и Сашико, приземистый, осанистый, с величественной походкой, рыжеусый, он ни в малой мере не обладал житейской практичностью, сметкой. Говорил солидно, с расстановкой. Владел иностранными языками, некоторое время учился в одном из немецких университетов. Сашико и ему заменила мать.

В доме было несколько выходов и потаенный лаз из погреба. Эта мастерская, пользовавшаяся отличной репутацией среди тифлиссских модниц, служила убежищем для скрывающихся подпольщиков. Там в какую-то пору, как позже узнал Кауров, приютился Коба.

Като тогда была девочкой лет пятнадцати — шестнадцати. Однако возраст отроческой угловатости для нее уже миновал. Ладно сложенная, миниатюрная, гибкая, легкая на ногу, она поневоле привлекала взгляд. Краски кругленького чернобрового лица смягчались матовостью. Изогнутый рисунок губ усиливал впечатление женственности. Волосы вились. Нешумливость сочеталась в ней с веселым нравом. Каурову запал в память звонкий ее смех.

Но однажды Кауров заметил на ее шее тоненькую серебряную цепочку. И по своей прямоте спросил:

— Като, что это у вас?

Она без жеманства потянула цепь, достала маленький крестик, видимо, теплый, хранивший теплоту груди. И опять опустила. И твердо посмотрела на Каурова. Он удивился. Эта девочка, значит, не свой брат. Растет в революционной семье, а верит в Бога. Как-то нити незримого общения порвались — такова была прямолинейность нашего Ваню.

И еще ему запечатлелось. Подошла Сашико, навверное, все подмечавшая, и, разумея Като, уже куда-то ускользнувшую, сказала:

— Настоящая грузинка. Ищет самоотречения. Самоотверженная.

Теперь, два года спустя, Кауров снова встретил маленькую Като. Встретил уже спутницей неколебимого Кобы, матерью его ребенка.

Гость и хозяин обедали, а Като, скромно отойдя в сторону, готовая услужить, наблюдала. Одна ее коса была уложена вокруг головы, другая, как принято в Грузии, свисала, перекинута через плечо.

Вдруг одно ничтожнейшее обстоятельство мимолетно озадачило Каурова. Ногой он случайно задел что-то под столом. Там от неловкого этого движения как бы звякнула тарелка. Или, может быть,

блюдец. Неужели тут еще обитает кошка? Эти мысли, впрочем, пробежали, не задерживаясь, не оставляя следа.

В какую-то минуту младенец, не просыпаясь, заворочался, зачмокал. Коба крикнул:

— Эй, угомони!

Като мигом кинулась к сыну, склонилась над ним, покачала люльку. Теперь на юной нежной шее Кауров не увидел цепочки: наверное, с Богом, «иже еси на небеси», уже было покончено.

Вскоре малец опять ровно задышал. Като вернулась на прежнее место, снова стояла, обратив на мужа сияющий, исполненный преданности взгляд. Казалось, она со счастьем ждала новых повелений.

Поглощая чахохбили, Коба не забывал потчевать гостя:

— Като, положи ему еще!

— Не надо. Этого мне, ей-ей, достаточно.

— Что, разве не вкусно?

— Вкусно. У твоей Като золотые руки.

— Ежели хвалишь, так хвали делом, не словами.

Ешь.

Гость не обидел хозяйку, покончил и с добавкой. Коба ел не спеша — той жадности, с которой он когда-то в кутаисском духане поглощал куски мяса, теперь в нем не замечалось. Отодвинув тарелку, опустошенную отнюдь не дочиста, он достал из кармана недорогой портсигар, раскрыл:

— Того, закуривай! Это у меня своей набивки папиросы.

Коба курил еще в свою бытность в Кутаисе. Ныне жена приготавливала ему папиросы дома. «Своей набивки» — это, разумеется, значило: набивала Като.

Кауров проговорил:

— Здесь же ребенок. Не надо тут дымить.

— Вытерпит. Приучен. Потом проветрим.

— Нет, мне сейчас курить не хочется.

— Скажи пожалуйста, какой благовоспитанный!

Като, спички!

Она мгновенно подала спички и опять скромно отдалилась, блюдя семейную обрядность патриархального Востока.

Коба сидел, откинувшись на спинку стула, выпуская дымок изо рта и из ноздрей. Глаза были полузакрыты нижними веками. Не верхними, а именно ниж-

ними, как это свойственно иным кавказцам. Сегодняшнее отличное расположение духа не покидало его. Он будто жмурился на солнышке. Ему была уготована непрестанная жестокая борьба, за ним охотились, впереди маячили неминуемые новые скитания, тюрьма, но здесь, в глинобитном домишке, нашлась для него некая затишь, которую устроила эта маленькая бессловесная счастливая в самоотречении женщина.

Кауров опять ненароком тронул ногой скрытую под столом какую-то посудинку. Черт побери, что же это такое? Детский горшок, что ли?

— Хочу посмотреть вашего дитятку. Можно?

— А я посмотрю газету. Можно? — весело ответил Коба.

Малыш мирно спал. Черные волосики отливали, как и у Кобы, рыжиной. К зыбке подошла и Като. Гость, присев на корточки, бережно поцеловал крохотную теплую ручонку Яши.

Поднимаясь, Кауров непредумышленно, боковым зрением, вдруг увидел под столом не скрытую отсюда скатертью тарелку с чахохбили. Поперек тарелки лежала вилка. Он тотчас понял: его стук застиг Като за совместным с Кобой обедом. И она вскочила, спрятала второпях свою тарелку, дабы никто посторонний не подумал, что она позволила себе нарушить нравы Грузии.

Возвращаясь от Кобы, Ваню размышлял о картинке быта, которую только что узрел. Припомнил незавершенное восклицание Серго: «Если на свете бывают суженые, то...» Несомненно, Като пойдет, всюду пойдет за своим избранником. Будет шить, выколачивать иглой копейку, будет носить ему в тюрьму передачу, последует за ним в ссылку, на край света, куда угодно.

...Ей, однако, выпала иная доля. Като в том же 1907 году умерла. Она пробиралась вместе с Кобой, вместе с ребенком в Тифлис, выпила в дороге сырой воды, заболела брюшным тифом, который ее, восемнадцатилетнюю, скосил.

Коба похоронил жену в Тифлисе. Сохранилась фотография: он стоит со свечой у ее открытого гроба.

Много времени спустя он однажды заговорил о ней с Кауровым. Это случилось уже в Петербурге. К этим же петербургским встречам и ведет наша история.

Долгая оседлость — не удел революционера. Нам в другой связи довелось уже сообщить о заграничном житье-бытье Каурова, ставшего студентом в Льеже, и о возвращении со второго курса в неодолимо влекущую Россию.

В Петербурге он с охотой продолжал отбывать свою студенческую вольную повинность на физико-математическом факультете университета. И состоял членом немногочисленной, себя почти не проявлявшей в ожидании лучших времен, университетской социал-демократической группы.

Однажды ранней весной 1912 года в послеобеденный час, что выдался редкостно ясным, Кауров в студенческой тужурке, в форменной, с синим околышем фуражке шел по Невскому. Петербуржцы разных возрастов, чинов и состояний, обитавшие в центральной части города, выманенные из домов солнцем, заполнили любимый проспект.

Не замечая, как порой в него стрельнет та или другая пара женских глаз, о чем-то размышляя, серьезный юноша — впрочем, пожалуй, уже и не юноша: ему исполнилось двадцать четыре — шагал по привычке быстро. И вдруг донеслось:

— Того!

Может быть, ослышался? Его же никто в Петербурге так не называл. Он усмехнулся этой невесте откуда взявшейся слуховой галлюцинации. Но вот снова:

— Того!

Кауров приостановился, обернулся. Сзади, шагах в десяти, тоже остановился какой-то оборвыш — низенький, всклокоченный, с охватившей лицо черной растительностью. Публика Невского обтекала его, а он смотрит на Каурова и улыбается. Улыбка дружеская, радостная. Прорези глаз сужены приподнявшимися нижними веками. Конечно, это Коба! Поверх черной блузы был надет вытертый лоснящийся пиджак. А брюки! А ботинки! Этот его вид был точно отрицанием приличий Невского проспекта, вызывающе тут дисгармоничным. Кауров к нему кинулся:

— Коба, здравствуй! Откуда ты? Как сюда попал?

Коба не без юмора ответил:

— Немного надоело отдыхать в благодатной Вологде. Срок еще не вышел, но...

— Как же ты решился прийти на Невский?

— Ни одна явка не годится! Такой-то выбыл, такой-то и вовсе не проживал. В третьем месте около подъезда слоняется несомненный шпик. Понимаешь, ни одна. Ну, и шляюсь, поглядываю, не навернется ли знакомый? И вижу тебя!

— Пойдем, пойдем, Коба, отсюда.

Они зашагали. Миновали Аничков мост. Там, возле отлитых в бронзе, которая чугунно почернела, рвущих удила коней, обуздываемых укротителем, стоял на посту городской. Коба придержал Каурова, полюбился изваяниями.

— Сильная штука! — сказал он.

— Идем. Это место опасное. И к тому же несчастливое. Вот в этом доме на верхнем этаже был взят Желябов.

Коба опять умерил шаг, оглядел дом, в котором, как и во времена Желябова, помещались меблированные комнаты, или, по петербургскому выражению, «меблирашки», вытащил из кармана пачку дешевых папирос:

— Того, закурим.

— Только не здесь, а то...

— Почему не здесь? Опасность, как известно, стихия войны. Мы в этом море плаваем.

Подчиняясь, Кауров тоже сунул в зубы папиросу. «Черт побери, — подумал он, глядя на Кобу. — Хладнокровен, как рыба». Но, будто опровергая эту мысль, Коба неожиданно продекламировал:

— «Мы живы! Кипит наша алая кровь огнем нестраченных сил!» Знаешь, это чье?

— Кажется, Уитмен...

— Я должен признать тебя истинным интеллигентом.

На ходу закурили. Кауров сказал:

— Твой интеллигент знает также и то, что эти слова были приведены в одной статье «Звезды».

«Звездой», как известно, звалась легальная газета большевиков, выходившая тогда два-три раза в неделю в Петербурге. Коба не реагировал, лицо оставалось как бы туповатым.

— Да и новая листовка нашего ЦК, — продолжал Кауров, — проникнута этим же мотивом.

Ему вспомнился весь текст этой прокламации, в которой среди ровного шрифта вдруг попадались

буковки помельче, тиснутой на грубоватой бумаге, то есть явно не за границей, а в некоей российской подпольной типографии. Листовка была озаглавлена: «За Партию». Осененный внезапной догадкой, Кауров воскликнул:

— Не ты ли ее составлял?

— Опять тебя приходится учить. Такие вопросы не задают и на них не отвечают.

— Не отвечай. Я понял.

— Ну, понял, и баста! — После паузы Коба спросил: — Какое же у тебя мнение об этой листовке? Режь напрямик!

— Понравилась. Солидарен всей душой.

Листовка действительно принадлежала перу Кобы, который в ту пору был включен в состав Центрального Комитета партии и стал деятельным членом Русского Бюро, то есть большевистского центра в России. В листовке, в выборе слов, в формулировках явственно чувствовалось влияние книги Ленина «Что делать?» — той, с которой когда-то не расставался Коба. Эта переимчивость угнездилась в нем, была как бы чертой природы.

«...Разрозненные местные организации, — гласила листовка, — не только не связанные друг с другом, но и не знающие о взаимном существовании, организации, всецело предоставленные самим себе, действующие на свой страх и риск и нередко ведущие противоположные линии в работе, — все это знакомые картины кустарничества в Партии... Влиятельный Центральный Комитет, живыми корнями связанный с местными организациями, систематически информирующий последние и связывающий их между собой, Центральный Комитет, неустанно вмешивающийся во все дело общепролетарских выступлений, Центральный Комитет, располагающий, для целей широкой политической агитации, выходящей в России нелегальной газетой, — вот в какую сторону должно пойти дело обновления и сплочения Партии».

Прочитав незадолго до нечаянной встречи с Кобой это воззвание, порадовавшись, Кауров, однако, уже тогда определил: да, написано под влиянием Ленина, но не ленинским пером. «Информирующей последней», «дела... выступлений». Разумеется, Каурову не помнились в точности эти и подобные, рассеянные там и сям, обороты речи, но осталось ощущение: листовка

действовала бы еще сильнее, если бы гибче, многообразней было слово! Возможно, выдастся удобная минута, когда он, не оскорбляя авторской чувствительности Кобы, дружески это ему выскажет. А пока должен коснуться иного.

— Вот что меня смущает. Каждый раз в листовке слово «партия» пишется с большой буквы.

— И будем так писать в пору отречений. Если большая буква служит делу, давай её сюда!

— Но это вроде бы из Священного писания.

— Что же, партия для нас единственно священна.

— Однако в статьях Ленина...

Коба оборвал:

— Во-первых, не называй фамилий. Ты тут распустился. Говори: Старик. Во-вторых, он же отец партии. А мы люди поменьше. И в теперешней обстановке, думаю, он нас не упрекнет, что и большой буквой поднимаем партию.— Коба опять выдержал паузу.— Да и вообще-то им, заграничникам, надо больше прислушиваться к русским деятелям, к практикам, работающим на родной почве. А то оторвутся от действительности.

Впервые Кауров услышал, как Коба намекнул, что и Ленина может коснуться критический взгляд. Впервые же — по крайней мере, в беседах с Кауровым — Коба применил к себе именование «русский деятель». И весело заключил:

— Из-за транскрипции не поссоримся. Разногласие, Того, не принципиальное.

И сунул руку под локоть спутника. Это был жест доверия. Оба в эти минуты нежданной встречи как бы обменялись позывными, если употребить современный термин. И установили, что после пятилетней разлуки по-прежнему верны своей партии, разбитой, но не уничтоженной.

Уже покинув Невский, они шли по нешумной улице. На ходу Коба привычно, взглядом конспиратора, окинул тыл, потом посмотрел в ту сторону, где за углом осталось желтенькое здание меблированных комнат:

— Желябов... Что говорить, героическая была натура. Благородство против низости, рыцарство против нечестности, искренность против подвоха. Но каков итог?

Похожий на выходца ночлежки, бездомный профессионал революции уснащал, как и некогда, ритори-

ческими вопросами нежаркую, словно бы не согретую эмоциями, речь. Однако Кауров ощущал в ней своего рода ласку Кобы. Чуждый каким-либо дружеским признаниям, Коба ласкал верного давнего товарища не восклицаниями, не излияниями чувств, а одаривал откровенностью, делился мыслями, разговорился, что не часто с ним бывало.

— Каков итог? — повторил он. — История засвидетельствовала в бесчисленный раз, что прекраснотушные оказались битыми, раздавленными. Барон испробовал другой путь, но...

— Какой барон?

— Э, не потерять бы тебе звание интеллигента. «Бароном» в своих письмах Бакунин называл Нечаева. Барон испробовал другой путь, но никуда не ушел от теории героя и толпы. Эта теория, друг мой, рождает и рыцарей и провокаторов.

— И провокаторов?

— Бери Азефа. Сверхчеловек. Захочет — и отправит на тот свет царского брата. Захочет — и пошлет на казнь своего самого близкого якобы друга, руководителя боевой организации. И упивается в тиши собственной властью, силой своей личности. Великому множеству людей совершенно неизвестен вкус этого напитка... Вот как она, гиблая теория героя и толпы, может обернуться.

В афористически кратких фразах Кобы чувствовалась продуманность. Он, видимо, уже глубоко изучил историю русского революционного движения. Развился, не потерял миновавших, проведенных в подполье, в тюрьмах и в ссылке годов.

Каурову пришла на память еще одна строка из листовки Центрального Комитета партии: «Бибели не падают с неба, они вырастают лишь снизу...» Может быть, впрямь этот замарашка-нечеса, тоже, подобно немецкому бывшему токарю, выбравшийся из самых низов, теперь вырастает в Бебеля России?

Подошли к дому, где на верхотуре под самым чердаком обитали два студента — приятели Каурова. У них, любителей выпить, спеть, сплясать, нередко устраивались пирушки. Хозяйка тоже отличалась склонностью к винишку. В первом этаже помещался полицейский участок.

— Того, куда ты меня привел?

— Ничего. Опасность, как известно, стихия войны. Над этим логовом наилучшее для тебя пристанище. Спокойно здесь переночуешь.

Миновав полицейскую обитель, поднявшись по сбитым каменным плитам лестницы, вошли к весельчакам-студентам. Коба ожидал в прихожей, пока Кауров объяснялся в комнате.

— Кто это с тобой?

— Грузин. Бедняк. Мой давнишний приятель. Приехал в Петербург поискать счастья. Хочет где-нибудь остановиться. Приютите его на ночь.

— Конечно, пусть ночует.

Вернувшись в прихожую к Кобе, Кауров сказал:

— Останешься здесь. Ни о какой политике не говори. Поддерживай мою версию: бедняк, приехал зарабатывать. Завтра можешь перейти в другое место. Вот тебе адрес: Широкая улица.— Кауров назвал номер дома и номер квартиры.— Там живет мой брат. Я ему скажу.

— Ладно. Уходи. Наставлений читать не буду. Ты тертый калач. Сам знаешь: осмотришь, чтобы улица была чиста.

Короткое рукопожатие заменило какие-либо сантименты. На этом расстались.

Несколько дней спустя Коба пришел на ночевку к брату Каурова — врачу, обитавшему с женой. Хозяева отсутствовали, гостя впустила милостивая домашняя работница. По-прежнему заросший, он смахивал на разбойника. Под изгибом выдававшейся вперед жесткой шевелюры, что зачесывалась лишь пятерней, был почти вовсе спрятан лоб. Щеголявшая в белой наколке петербургская девушка оторопела.

— Буду ночевать,— объявил он. И, усмехнувшись, предложил: — Если ты меня боишься, запри куда-нибудь и возьми себе ключи.

Она так и поступила, заперла его в маленькой комнате. Вернувшиеся хозяева, загодя предупреденные Алешей, застали пришельца под замком. Комнатка была заволочена табачным дымом. Коба сидел и курил. Ему устроили ванну, выдали смену белья, посадили к зеркалу побриться. Невестка Алексея постригла Кобе бороду, находившуюся в анархическом состоянии. Он сразу после ужина лег спать.

Наутро вместе с ним позавтракали, выпустили его по черной лестнице, проводили взглядами через окно. Он твердым легким шагом горца пошел по Широкой улице.

(Повествуя, Алексей Платонович добавил:

— Пошел по Широкой улице в прямом и переносном смысле слова.)

Истекло более полугода. Как-то в зимний день в комнате Каурова появилась квартирная хозяйка:

— Алексей Платонович, к вам пришел какой-то...— Голос седоватой дамы явно выказывал сомнение.

— Студент?

— Именно что не студент. Какой-то несчастный человек. Одет в летнее пальто. Обвязан шарфом. Грязный. Немолодой.

— Что же, пригласите его.

И вошел Коба. Его внешность, конечно, по-прежнему вызывала подозрения. Кепка, обмотанный вокруг шеи шарф, заношенное демисезонное пальто. Не стрижен, не брит. Встопорщенная черная борода. Губы посинели на морозе.

— Коба! Садись, раздевайся, согрейся. Сейчас найду тебе что-нибудь поесть. И прежде всего тебе надо чаю. Горячего чаю.

Достав у хозяйки кипяток, Кауров принялся отогревать Кобу чаем.

— Ну, Коба, рассказывай. Что с тобой? Откуда ты?

— Из Москвы. На вокзале в Москве заметил шпика. Улизнул от него. Сел в поезд. Прикорнул. Потом среди ночи на какой-то станции вышел на перрон. И увидел того же самого шпика.

— Черт... Ну и мерзавец!

— Исполняет свое дело. Увязался, не отцепишься. Я несколько раз выходил из вагона. Он тут как тут. Наверное, он и минуты не поспал.

Кауров был наслышан о тактике Охранного отделения: выследить крупного революционера, но брать не сразу, а вести наблюдение, не спускать глаз, чтобы пошире охватить законспирированную организацию. И лишь потом сгрести.

— Водил его, водил,— говорил Коба.— Кажется, удалось избавиться. Однако на явку все-таки я не пошел. Заскочил к тебе.

— Пей чай. Согревайся.

Кауров внимательно обозрел улицу и окно: не видно ли притаившегося или шастающего взад-вперед шпиика? Нет, никакой сомнительной фигуры перед домом не было. Коба сказал:

— И он не спал, и я не выпался. Теперь бы мне соснуть.

— Ложись.

Коба скинул свои неприглядные башмаки и, не раздеваясь, вытянулся на кровати, далеко не доставая ногами спинки. Небольшие ступни были обтянуты нитяными дешевыми носками, которые, конечно, весьма слабо оберегали от мороза.

— Коба, ложись как следует. Разденься.

— Э, не привыкать.

Буквально в ту же минуту он заснул.

Проснулся уже затемно, часов в пять вечера. Возник вопрос, как проскользнуть мимо агента, если, паче чаяния, он не упустил Кобу. Может быть, Коба оденется в женское платье? Однако эту мысль пришлось отбросить. Если бы он и побрился, снял усы и бороду, все равно в его внешности, в повадке было что-то неискоренимо мужское. Даже не сразу определишь, что же это именно. Твердый ли широкий шаг, грубый ли склад прямоногого лица? Или посадка, повороты головы? Нет, нет, никак он не сойдет за женщину.

Надо хотя бы одеть Кобу по-зимнему. К сожалению, Кауров располагал лишь единственным своим студенческим пальто, служившим круглый год. Однако для Кобы нашлись теплые толстые носки, вязаная шерстяная фуфайка, перчатки, меховая шапка. Теперь тот был все же защищен от простуды.

— Коба, я сбегаяю на разведку.

На улице Кауров не обнаружил ничего опасного. Мела поземка. Спешили прохожие, подняв воротники. Кауров прошелся. Повернул обратно. Настороженный взгляд нигде не обнаружил типа, который бы бессмысленно топтался.

Вернувшись, он сказал:

— Можно выходить. Шпиика не видно.

Они вышли. Однако, пройдя лишь несколько шагов по улице, Коба молвил:

— Он здесь.

— Где?

— Посмотри наискосок. Идет по той стороне наравне с нами.

Да, на противоположной стороне шагал высокий человек в жеребковой черной шапке с опущенными наушниками. Был поднят меховой воротник его пальто. Стриженные усы заиндевели. Кауров чертыхнулся:

— Негодяй! Где же он прятался?

— Об этом его надо спросить. Мастак!

Коба спокойно дал эту высокую оценку. Кауров спросил:

— Куда же идти?

— Пойдем на Невский. Там у нас шансов больше.

На Невском в оживленном движении пешеходов шпик будто потерялся. Кауров оглядывался: преследователь и впрямь исчез.

— Коба, кажется, он нас проворонил.

— Не торопись с выводами.

— А что?

— Посмотри вперед.

Действительно, шпик шел впереди.

— Остановимся,— предложил Кауров.

— Этим его не облапошишь. Не таковский.

Все же остановились. Уроженец далекого тепло-го Гори не ежился на колючем ветру, спартански себя вел. Лишь одна его рука, та, которой он не вполне владел, более чувствительная к холоду, была обряжена в перчатку, другую же кисть, на морозе покрасневшую, он, будто выказывая презрение злой погоде, не счел нужным кутать. Рослая фигура вдруг куда-то пропала. Казалось, шпика унес то-ропливый поток Невского. Наши два кавказца двинулись.

— Вот он! — выговорил Коба. И повторил характеристику: — Мастак!

Да, неподалеку всплыл тот же жеребковый картуз с опущенными боковинками. Так они и шли, то теряя соглядатая, то вновь примечая его.

— Знаешь, Коба, пока на него плюнем. Завернем в этот рестораник. Тут кормятся студенты. Почти столовка. Цены недорогие. Поедим. Обдумаем, как быть.

— Ладно. Зайдем.

В кухмистерской они заняли свободный столик у завешенного шелковыми шторами окна. Съели по бифштексу. Заказали чай. Кауров отодвинул шторку. И как раз напротив окна высился тот же тип. Он растирал варежкой побелевшие щеки. Топорщились подстриженные рыжеватые усы, с которых варежка счистила иней.

Коба улыбнулся. Эта невозмутимость преследуемого, тщедушного с виду грузина, была поразительной. Опять в уме Каурова мелькнуло давнишнее определение: человек, не похожий на человека. Спокойствие Кобы заражало, передавалось, как своего рода эманация. Кауров сказал:

— Может быть, он не выдержит на морозе и уйдет. Наполеоновская армия не вынесла таких морозов.

— Вынесет.

— Хм... Ну, посидим тут. Давай возьмем к чаю вина.

— Неплохая мысль. А он пусть терпит.

Коба ухмыльнулся, показывая хрупкие желтоватые зубы. И опять Кауров словно бы явственней увидел ложбинку, раздваивающую кончик носа.

— Вынесет,— повторил Коба.— Не француз. И не еврей.

В отличие от мимически бедной физиономии Кобы тонкокожему лицу его младшего товарища была свойственна свободная игра. Сейчас губы слегка выпятились: Каурову не понравилось это «не еврей».

— Русский характер,— пояснил Коба.— Или, возможно, из немцев. Подумай, платят ему каких-нибудь сорок рублей в месяц, а он способен на такую самоотверженность. Из-за чего?

— Боится потерять место.

— Нет, не только. Он себя истязает не просто ради денег. У него есть свое служение. Какое же? Он сопричастен механизму государства. Последняя там спица. Исполнитель — в этом и его долг, и азарт, и упование. Русская литература так их знает.

Коба помолчал, оттянул шелковую ткань. Жеребковый трех по-прежнему маячил у окна. Мороз вынудил филера поплясывать, притаптывать застывшими ногами.

— Не уйдет,— определил Коба.— А ведь, собственно говоря, кроме исполнительности, возведенной в страсть, у него за душой ничего нет. И все-таки он вот на что способен. Замерзнет, но не отступится. Так представь же себе, Того, какие чудеса смогут сделать наши люди, когда власть будет у нас?

Этот поворот мысли был столь неожиданным, что Кауров не скрыл изумления. Какая штука! Сидит преследуемый, почти загнанный Коба в мятом-перемятом, что под стать бродяге, пиджаке. Вот-вот арестуют. Разгром за разгромом обрушивается на организацию. Неизвестно, удастся ли избавиться от слежки, найти более или менее безопасное укрытие на ночь. А он, попивая чай с вином, спокойно говорит: «когда власть будет у нас».

В ту минуту память невольно воспроизвела кусочек разговора с Лениным, его слова: «Нам вскоре архипонадобятся инженеры». И вновь настойчивое: «Математики весьма пригодятся партии, когда завоюем власть».

Кауров воскликнул:

— Знаешь, Старик тоже уверен, что на своем веку еще дождется революции.

— Он не дожидается, он ее двигает,— поправил Коба.

— Ты прав.

— Рад от феодала это слышать.

— От феодала?

— Не в укор тебе это говорю. Есть и у феодалов что-то хорошее. Например, гордость. Ты гордый человек. Не склонишь головы, если не согласен. Ну, это в сторону. Где же ты со Стариком встречался?

Последовал рассказ Каурова о том, как он наведалься в Париж к Ильичам. Коба внимательно слушал, глухо расхохотался, когда Кауров передал фразу Ленина: «по-пролетарски по мордасам, по мордасам». И подтвердил:

— Стесняться нечего. Лупить, лупить прямо в сопатку! Главное сейчас — это борьба с ликвидаторами. Нужно провести глубокую разграничительную борозду между нелегальной партией и ликвидаторством. И послать к черту примиренцев!

Вновь налив чая в свой опорожненный стакан, плеснув туда вина, Коба изрек пришедшуюся к случаю поговорку:

— Лучше вода с вином, чем вино с водой.

Еще некоторое время они говорили о политике. Коба расспрашивал о веяниях, о настроениях в студенческой среде. Кауров рассказал о социал-демократической группе университета. В ней — лишь горсть большевиков.

Подошла наконец минута, когда он тронул другую тему:

— А как ты, Коба, провел эти годы?

Коба, однако, был скуп на сообщения о себе. Не поощрял излишнего любопытства.

— Похоронил Като, — произнес он. — Был с нею счастлив. И, лишь потерявши, оценил. Она меня понимала, как никто. Да ты видел сам... Помнишь, как впопыхах она спрятала свою тарелку?

Кауров смутился. Он был уверен, что Коба тогда не перехватил его брошенного под стол взгляда. Ведь, кажется, в тот момент сидел почти спиной к Каурову, развернул газету. И, какая штука, сумел все-таки приметить!

— Э... э... Тарелку?

— Не лукавь. Тебе это не пристало.

Неискристые карие глаза в упор глядели на Каурова. Он потупился. Коба помолчал, как бы продлевая смущение собеседника. И этим удовлетворился.

— Другую такую женщину уже я не найду! — вновь заговорил он. — Потерял Като, и с тех пор я одинок.

Одолеевая замешательство, Кауров не совсем впад откликнулся:

— У Ибсена в одном месте говорится: «Наиболее силен тот, кто наиболее одинок».

И неожиданно увидел в глазах Кобы знакомое по давним встречам впитывающее выражение.

— Где же это сказано? В каком произведении?

Коба опять на лету подхватывал знания, вбирал еще каплю образованности.

А на улице в неунимающейся вьюге по-прежнему караулил шпик. Теперь он, как можно было видеть, пустился в пробежку у окон кухмистерской.

— Танцуй, танцуй, — выговорил Коба.

Он явно не без злорадства наблюдал за пыткой холодом, которую выдерживал рыжеусый.

— Не уйти ли через черный ход? — предложил Кауров. — Здесь люди свои. Позволят. И удерем.

Коба, однако, вступился за своего шпика:

— Напрасно ты считаешь, что имеем дело с дурачком. Он сейчас работает не в одиночку. Черный ход, можешь быть уверен, тоже перекрыт.

— Так как же быть?

— Пойдем отсюда. Тут мы в западне. А там...— Коба движением головы указал на улицу.— Там с ним потягаемся. Сманеврируем по обстоятельствам.— Он опять взглянул в окно на заволоченное низкое небо, слабо отражавшее свет города.— То ли дело, Того, у нас в Грузии! Ночь как бурка! Ничего не видать!

Впервые в этом разговоре он помянул Грузию. Прозвучала необычная в его устах нежная нотка. В нем, конечно, была еще жива любовь к своей маленькой родине.

Дождавшись, пока Кауров расплатился за скромную трапезу, Коба наклонился к его уху и с улыбкой прошептал:

— Мы живы! Кипит наша алая кровь огнем нерастраченных сил!

24

Черным ходом они все же не пренебрегли, вышли через двор на узкую, стиснутую многоэтажными домами улицу. В этой просеке клубился, взвихрялся туман. Огляделись. Нигде не было преследователя. Коба сказал:

— Мне надо на Выборгскую сторону. Там есть квартира, где смогу переночевать.

— Ты точно знаешь адрес?

— Да. Если доберусь, не приведя за собой хвоста, то на два-три дня я там останусь.

Зашагали. Оборачивались. Слежки будто не было. Но Коба не доверялся впечатлению:

— Э, от него так просто не отделаешься.

Повернули. На открывшейся перед ними площади возник ярко освещенный цирк. Красивым машистым шагом, запряженный в незанятые санки, великолепнейший рысак обогнал наших пешеходов. Возница-лихач в синей поддевке окинул их безразличным взглядом: не сдоки.

— Коба, деньги у тебя есть?

— Немного.

Кауров выгреб из кармана рубль с мелочью:

— Вот! Сразу садись на лихача и гони! А я постою за углом. И если покажется шпик, бахну его по голове. У меня с собой кастет. Быка можно свалить.

Коба спокойно возразил:

— Это делу не поможет.— Он вновь отдал должное противнику.— Не на того нарвались. Он же не один.

— Ну, бери этого лихача и гони!

Коба мгновенно настиг санки, уселся. Рысак тотчас же помчался, вскидывая подковами снежную пыль. Санки исчезли в этой белесой круговерти, искрившейся на электрическом свету.

Кауров с облегчением глубоко вобрал морозный воздух. Но еще не успел выдохнуть, как мимо во весь мах промчался другой лихач вслед Кобе. За козлами сидели двое. На одном из них Кауров разглядел черный жеребковый треух с опущенными боковинами.

Оцепенев — что можно было тут поделывать? — Кауров стоял, созерцая, как по ветру разносится, рассеивается взметнувшаяся пелена. И, омраченный, повернул домой. Какая штука... Игру ведет дьявольски искусный шпик, дока гнусного своего ремесла. Кобе не удалось скрыться.

Дома Кауров почистился. Кое-что сжег. Его в ту ночь не тронули. Подумалось: странно. Не снова ли кого-нибудь подстерегают?

Нагрянули следующей ночью. Произвели тщательнейший обыск. Перебрали все его книги. Он из Бельгии привез Маркса и Энгельса, Лафарга, Каутского, Бебеля, Розу Люксембург на немецком и на французском языках. И рискнул оставить все это на полках. Те, кто к нему вторгся, взбрасывали к потолку каждую книгу. Кауров впервые наблюдал это следовательское нововведение. Подброшенная книга разворачивалась в том месте, где ее часто раскрывали. Там ищут знаки, какую-нибудь подчеркнутую фразу, ключ к некоему шифру. В ордере, что был ему предъявлен, значилось: поступить согласно результатам обыска. Обыск ничего не дал. Каурова не арестовали.

К утру он привел комнату в порядок. Корректная по-петербургски хозяйка воздержалась от расспросов или замечаний. Днем она постучала к нему:

— Вас просят к телефону.

Взяв трубку, назвавшись, он вдруг услышал хрипловатый голос Кобы:

— Это я,— произнес тот по-грузински.

Кауров тоже перешел на грузинский:

— Ты? Как же это? Что с тобой?

— Ничего. Все благополучно. Здоров.

— Но как же ты сумел? Где ты?

— У своих приятелей. Меня ты теперь не узнаешь.

— Почему?

Коба шутливо ответил:

— Это будет для тебя сюрприз. Встретимся, пойдем.

— Когда же?

— Сам тебя найду.

Назавтра Коба действительно объявился сам. Это произошло возле университета. Кауров шел на очередную лекцию и вдруг уловил сзади негромкое, ставшее уже сакраментальным:

— Того!

К нему спокойно приближался студент Военно-медицинской академии, одетый по всей форме—золоченые пуговицы с тисненными двуглавыми ордами и погончики на офицерского сукна шинели, кокарда на фуражке. Выбритый, подстриженный, Коба казался в этом наряде молодым.

— Рад тебе,—воскликнул Кауров.—Как себя чувствуешь?

— Сам видишь... «Темляк на шпаге, все по циркуляру».

— Это откуда?

— Из Алексея Константиновича Толстого. Почитай. Сильный писатель.

Кауров на миг изумился. В непрерывных скитаниях Коба, значит, успевает поглощать русскую классику. Или, может быть, от кого-то схватил на лету?

— Хвоста за тобой нет,—продолжал Коба.—Можем пройтись.

— Как же ты от них ушел?

— Я сразу почувствовал, что идет погоня. Тот, который меня повез, тоже был шпик.

— И что было дальше?

Коба неторопливо рассказал. Рысак вынесся на Выборгскую сторону. Там, вдали от центра, улицы едва освещены. И видны лишь редкие прохожие. Кромка тротуаров обозначена высокими сугробами. Коба решил на ходу выскочить, улучил момент и на повороте, сжавшись в ком, перевалился через низенькую спинку

санок, выкатился, втиснулся в сугроб. Лихач не заметил. Следом пролетела погоня. Коба с головою зарылся в сугроб, забросал себя снегом.

— Пришла и моя очередь терпеть, — не без юмора говорил он. — Какое-то время отсиживался под снегом. Слава богу, помогли твои теплые носки, шапка и фуфайка. Потом отряхнулся и пошел. Видишь, здоров!

В этом эпизоде выказана хватка Кобы, или свойственная ему, если воспользоваться позднейшим выражением Каурова, манера боя. Никаких опрометчивых шагов, бесшабашности, метаний и — внезапный меткий быстрый удар!

Кауров сообщил про обыск. Коба усмехнулся, узнав, что в ордере было записано: «поступить согласно результатам».

— Да, им нужны были улики, — сказал он. — Закон требует. Вот их собственный закон и помешал им. Мы такой ошибки не повторим.

Опять он говорил о власти как о чем-то таком, чем неминуемо вскоре придется обладать. Его настроение было отличным. Он оглядел себя. И снова пошутил:

— Военный медик. Хирург Железная Рука. — С утрированной сокрушенностью прибавил: — Завтра придется снимать это одеяние, возвратить владельцу. Оставил его в нижнем белье.

Весело отрекомендовавшись хирургом Железная Рука, Коба не считал нужным уведомить, что как раз в эти дни он избрал себе новое, отнюдь не шутливое имя: Сталин. Отныне он подписывал свои выступления в печати: «К. Сталин» или в нередких случаях поскромней: «К. Ст.». И о своей прочей деятельности ни словечком не обмолвился.

Встреча была краткой. Расставаясь с Кобой — и вновь не зная: надолго ли? — Кауров попрощался грузинским традиционным восклицанием, которое в переводе означает: «победа тебе!»

После этой встречи Коба опять куда-то канул, проходили дни, он будто позабыл о своем Того. Но случилось вот что.

Однажды на какой-то грузинской вечеринке Каурова отозвал в сторону его давнишний знакомый —

золотоволосый (так и прозванный — Золотая Рыбка) Абель Енукидзе, большевик из Баку, теперь работающий металлистом на одном из заводов Питера. Некогда окончив техническое училище, Абель затем сам себя отшлифовал, много читал, любил серьезную музыку, театр и с одинаковым правом мог именоваться и интеллигентом и рабочим. Семейная жизнь у него не сложилась, он в свои тридцать пять лет оставался бобылем. Товарищам была известна его отзывчивость, мягкая натура, порой не исключавшая, однако, прямоты. Добрая улыбка делала привлекательными его крупные черты.

— Платоныч,— спросил он,— ты знаешь Сережу Аллилуева?

— Бакинец?

Абель кивнул. Да, в Баку Кауров слышал о рабочем-электрике Сергее Аллилуеве, участнике большевистского подполья. Но познакомиться не привелось. Так он и ответил Авелю.

— Душа человек. Праведник,— убежденно продолжал Енукидзе.— Уже несколько лет живет здесь с семьей. Приютили меня в первые дни, когда я приехал в Питер. И теперь у них часто бываю.— Абель нерешительно покрутил кончик ремешка, опоясывающего кремовую, навывпуск, кавказскую рубашку.— И вот... Понимаешь, его старшая дочка-гимназистка отстает по математике. Жизнь гоняла по разным городам, в одной школе зиму, в другой ползимы, тут пропустила, там недоучилась, ну и...— Запнувшись, Абель деликатно спросил:— Не порекомендуешь ли какого-нибудь студента-математика, который мог бы за недорогую плату с ней подзаняться?

— Все понятно. Возьмусь сам. И никакой платы не надо.

— Но ведь придется туда ездить, тратить время. И небольшая плата...

— Абель, как тебе не стыдно! Прекрати. Дай адрес. Енукидзе расцвел:

— В воскресенье ты свободен? Приду к тебе, и поедем туда вместе.

Семья Аллилуевых обитала в то время на Выборгской стороне. Большая квартира на третьем этаже являлась одновременно и жильем и служебным помещением. Акционерное общество, которому принадлежала петербургская электростанция, оборудовало

в этой квартире дежурный пункт кабельной сети Выборгского района. Пунктом заведовал Сергей Яковлевич Аллилуев, выдвинувшийся из монтеров, опытный способный электрик, наделенный влюбленностью в свою профессию, воистину русский самородок и вместе с тем упорный, несмирившийся отрицатель угнетения и несправедливости, член большевистской партии.

Он и в воскресенье был одет в рабочую блекло-синюю куртку, из нагрудного кармашка выглядывал краешек кронциркуля: электроэнергия подавалась и в будни, и в праздники, здесь, в дежурном пункте, следовало быть наготове на случай повреждения, перебоа в снабжении током.

Придя сюда в сопровождении Енукидзе (который, кстати сказать, прихватил с собой бутылку грузинского вина), Кауров впервые увидел Сергея Яковлевича. Поразила его изможденность, желтизна втянутых щек. Страдавший ревматизмом и какой-то нервной болезнью, явившейся следствием страшного удара током, Аллилуев выглядел старше своих лет. Выпирал костлявый большой нос. Морщинки изрезали высокий лоб, выделенный впалыми висками. Особенно примечательными были глаза — серьезные, несколько хмурые, даже, пожалуй, скорбные. Пронзительный, с сухим блеском взгляд свидетельствовал, что в этом человеке, подточенном болезнью, живет сильный дух.

В первую же минуту знакомства Каурову подумалось: схимник. Ей-ей, если бы надеть на Аллилуева монашескую рясу и скуфейку, получился бы правоверный, свято живущий русский схимник. Пришедших он встретил добродушно:

— Здравствуйте. Вот и опять у нас запахло керосином.

Кауров удивился:

— Керосином?

— Конечно. Это же запах Баку. Его, наверное, и вы не забываете.

Минова мастерскую, где сквозь раскрытую дверь можно было видеть рубильники, приборы на мраморном щите, он повел гостей в столовую. На большом круглом столе, застланном подкрахмаленной скатертью, лежали газеты. Сергей Яковлевич приподнял одну. Это была издаваемая большевиками «Правда».

— Сегодняшнюю уже читали?

Тут вмешалась его жена Ольга Евгеньевна, которой в минуты знакомства Кауров почти не уделил внимания, лишь пожал ее пухленькую, но шершавую руку, огрубевшую, видимо, на кухне, в нескончаемой работе по дому.

— Газетами, Сережа, потом будешь угощать. Позволь, сначала я накрою.

Голос был веселым. Легкий здоровый румянец красил округленное лицо. Полненькая, невысокая, Ольга двигалась очень легко, была словно воплощением бодрости, энергии. Когда-то, шестнадцатилетней девочкой, она, гимназистка, воспротивилась отцу, решившему выдать ее за богатого соседа, и тайком убежала из обеспеченного родительского дома к двадцатилетнему слесарю Сергею Аллилуеву, уже известному бунтовщику. С тех пор она вместе с ним помытарствовала, стала матерью четырех детей, душой семьи.

Сергей Яковлевич послушно очистил стол, но не дал себя сбить с разговора о «Правде». Улыбаясь, он сказал, что щит в монтерской и газета «Правда» вроде бы соединены между собой. И пояснил:

— В «Правде» сообщается о забастовке, а у нас, значит, пошел на убыль расход тока. По нашему щиту можно, как по барометру, следить, какова погода.

— Какова же она? — спросил Кауров.

— Хорошая. Стрелка идет к буре.

Ольга Евгеньевна тем временем хозяйничала, мобилизовала Авеля, чтобы откупорить принесенную им бутылку, расставила закуски, торжественно внесла горячий, с намавленной корочкой пирог, разрешила, разложила по тарелкам, наполнила рюмки. Все у нее спорилось. И сама же объявила тост:

— За бурю!

В ее завлаживших от вина карих глазах не было ни чуточки уныния. Казалось, она со счастьем принимает выпавшую ей судьбу. Но нет... Вот Апель предложил выпить за хозяйку:

— Пожелаю каждому из нас иметь такую же подругу, никогда не теряющую бодрости, какую жизнь подарила нашему Сереже. Это ему за все невзгоды самая прекрасная награда.

Ольга Евгеньевна воскликнула:

— А мне? Мне что ты пожелаешь?

— Тебе? Пусть исполнится твое самое заветное желание!

Неожиданно Ольга погрустнела:

— Была у меня смолоду мечта,— проговорила она,— иметь профессию. Но не получилось... Осталась я в своем гнезде наседкой.

Дернулся уголок полных ее губ. Она провела по лицу ладонью и словно смела горечь.

— Еще мои годы не ушли! — задорно воскликнула она.— Волю, волю дайте мне! Профессию!

Аллилуев нежно сказал:

— Эх ты, моя Олюшка-волюшка! Будет еще у тебя профессия.

За это и чокнулись. Сергей Яковлевич лишь пригубил из рюмки.

Вскоре в столовую вторглись две девочки, вернувшиеся только что с катка. Обоих разругал мороз. Старшая, пятнадцатилетняя Нюра, унаследовавшая от матери широкое лицо и крупный рот, учтиво поздоровалась с гостями. Надя была младше на три-четыре года. Она тоже отвесила поклон. Ее, как и сестру, не повергло в смущение, не заставило дичиться присутствие незнакомого студента за столом. Дети в этой семье давно привыкли, что нет-нет в доме появляется кто-то неизвестный, порой и заночевывает в маленькой угловой комнате за кухней. Они с ранних лет восприняли, впитали исповедание родителей, знали, что пойдут по такому же пути. Друзья отца были и для них друзьями.

У радушного Авеля нашлись в кармане предусмотрительно запасенные, обернутые серебристой фольгой большие шоколадные ракушки. Этими сладостями он одарил девочек. Ольга Евгеньевна немедленно скомандовала:

— Съедите после обеда! Пойдемте, накормлю вас в кухне.

Однако она, заботливая мама, не сразу поднялась, еще полюбовалась дочками, чистенько одетыми, с бантами в косах, веселыми, здоровыми.

Меньшая подбежала к отцу, прижалась смуглой щекой к его плечу, внимательно посмотрела на Каурова. Сходство Нади и отца было разительным. Но еще более удивляло вот что: те же штрихи, которые

у Аллилуева не казались пригожими, делали девочку красивой. Длинный прямой нос, как бы выроставший непосредственно из лба почти без переносицы, не портил облик девочки, приводил на память запечатленные резцом лица гречанок. Был по-отцовски высок и ее лоб с резкими темными мазками бровей. Пожалуй, ей передалось и что-то монашеское, что-то подвижническое. Каурову на миг даже почудилось, что в выражении блестящих карих глаз проглянула недетская серьезность.

Но только на миг! Волнистые, непокорно встрепанные, хотя и заплетенные в косу (о, сколько раз из-за этой встрепанности Наде приходилось выслушивать в гимназии замечания!), каштанового отлива волосы выказывали живость натуры. Живой краской рдела смуглая, с пушком щека. Нет, какая же это монашка? И словно в лад мимолетным впечатлениям гостя, Надя уже предстала шаловливым подростком, звонко возгласила:

— Нюра, бежим!

Аллилуев ее попридержал:

— Как покатались?

Надя взмахнула рукой. Жест был победоносный: ей, видимо, хотелось похвалиться. Но она этого себе не разрешила:

— Спроси Нюру!

Будущая подопечная Каурова независтливо ответила:

— Сегодня она всех обогнала.

Надя рассмеялась и побежала из столовой. За нею более степенно последовала старшая сестра.

Полчаса спустя Кауров, уже в детской, где уместились четыре кровати, начал свое репетиторство, побеседовал с Нюрой, ознакомился с ее тетрадками. Условились, что он будет приходить два раза в неделю.

Сергей Яковлевич на прощание заговорил относительно оплаты. Кауров его пристыдил, отказался наотрез брать деньги с Аллилуевых.

Вот гости покинули электропункт, вышли под пасмурное питерское небо, медлительно посыпающее улицы снежком. Енукидзе сказал:

— Платоныч, у меня еще одно дело к тебе. Помогите немного «Правде».

— «Правде»? Охотно. Но чем же?

— У них в редакции не хватает интеллигентных сил. Ты был бы очень нужен.

— Что же я смогу там делать?

— Тебе по Баку знакомы вопросы профессионального движения. А в «Правде» отдел профсоюзной жизни ведется слабенко. Нужны люди. Надо ходить по союзам, писать корреспонденции.— Авель добавил: — Там и заработок у тебя будет.

— Я бы пошел, но...

Кауров, признаться, не был уверен в своих литературских способностях.

— Чего «но»? Сколько сможешь, помоги.

— Попробую.

Авель обрадовался:

— Тебя в редакции уже ждут. Иди туда, обратись к такому-то.

Так в начале 1913 года Енукидзе сосватал Каурова в «Правду». Студент-математик стал штатным сотрудником. Оживление партии, рабочее движение, вновь после упадка набиравшее мощь, подхватило, понесло и его на своем гребне.

27 .

Как-то вечером, добросовестно отбив свою упряжку репетитора, похвалив Ньюру, проявившую усердие и сообразительность, Кауров собрался уходить. Однако его ученица вдруг произнесла:

— Алексей Платонович, подождите здесь минутку...

— Что такое?

Не объясняя, она лишь повторила:

— Минутку.

И быстро вышла в коридор. Он сквозь раскрытую дверь слышал удалявшиеся в сторону кухни и, кажется, дальше — к маленькой угловой комнате — ее шаги.

«Минутка» оказалась довольно долгой. Кауров рассеянно придвинул лежавший на столе том Диккенса «Дэвид Копперфилд», видно, многими уже читанный. Закладкой служила ученическая тонкая тетрадь, принадлежавшая, как явствовало из надписи, меньшей сестре, которую Кауров про себя именовал: носатенькая. Да, подошло и для нее время увлекаться Диккенсом.

Внезапно он почувствовал, что кто-то на него смотрит. Обернулся к двери. На пороге стоял неслышно подошедший Коба.

Он был одет как бы по-домашнему. На ногах — войлочные туфли. Пиджак отсутствовал. Вязаная серая фуфайка, полученная от Каурова, облегла худенькое туловище. Маленькая, щуплая фигурка могла бы принадлежать подростку пятнадцати лет. Но тяжелый его взгляд по-прежнему было трудно выдержать. Усы и скрывающая сильную нижнюю челюсть борода, по-видимому, недавно повстречались с ножницами, выглядели аккуратно. Однако тут же Коба разрушил это не вяжущееся с ним представление об аккуратности. Он без стеснения почесался, оттянув ворот фуфайки, надетой, как заметил Кауров, прямо на голое тело. Наверное, он скинул, дал здесь постирать свое белье. У Каурова невольно вырвалось:

— Ты, значит...

Он хотел спросить: «значит, здесь живешь?», но спохватился. Сколько раз в подобных случаях Коба холодно его осаживал. Однако сейчас Сталин не показал недовольства.

— Нет,— произнес он, распознав недоговоренную фразу.— Живу кочевником.— И пошутил:— Это полезней для здоровья.— Затем продолжал:— Случается, и тут переночую. Ну, а ты как, Того? Пишешь?

Коба не подмигнул, не улыбнулся. Оставалась прежней маска восточного спокойствия, некой туповатости. «Пишешь?» Откуда ему стало известно? Свои хроникерские заметки Кауров подписывал просто буквой «К.», а чаще они шли совсем без подписи. Он не знал, что Сталин, который в редакции никогда не появлялся, близко участвовал в формировании номеров газеты. Не знал и о работе, какую тот проделывал для шестерки большевиков — депутатов Государственной думы. Не от Енукидзе ли к нему дошло? Догадка заставила воскликнуть:

— Коба, так это ты подсказал Авелю?

— Экая важность: я или не я? Чего об этом толковать?

И все же под усами мелькнула усмешка, оживившая лицо. Каурову уже не требовалось иного подтверждения: Коба, именно Коба говорил тогда устами Авеля. Все устроил и держится в тени. И вот даже не хочет разговаривать о своей роли, о себе. Лишь усмехнулся. И поставил точку. И, опустившись на стул рядом с Кауровым, сам стал спрашивать. Его интересовали дела профессиональных союзов. И в особенности

настроения в связи с расколом думской социал-демократической фракции на две части: шестерку и семерку. О меньшевистской семерке он выразился резко: слякоть, сволочь, слизняки. Кауров сказал, что, сколь он на основе своих впечатлений может судить, общее настроение таково: хотят единства.

— Общее... — передразнил Коба. — И твое тоже?

Кауров затруднился:

— Какая штука... Кому же приятно раздробление сил?

— Какая штука, — опять сымитировал Сталин. — Вижу, что и на тебя действуют фразочки Троцкого.

Кобины глаза, где можно было отыскать и серый, и зеленоватый, и коричневый цвета, враз пронизала желтизна. Он жалил Каурова, будто вымещая раздражение.

Совсем недавно — в январе 1913-го — Коба провел некоторое время в Вене, где по совету Ленина писал свою работу «Марксизм и национальный вопрос». Там он впервые повстречался с Троцким, который в ту пору, воюя против «раскольников Ленина», выступил объединителем всех течений, групп, оттенков российской социал-демократии.

Троцкому были свойственны умственный аристократизм, сознание собственного превосходства, обособленность или, если употреблять позднейший термин, неконтактность. Исключение он делал для немногих. Кобу, не владевшего немецким или иным европейским языком, да и по-русски говорившего с резким грузинским акцентом, к тому же лишь синтаксически примитивными, короткими фразами, возымевшего претензию отстаивать большевизм, да еще и отважившегося лезть в теоретические проблемы марксизма, он обдал презрением. Подробности этой встречи в Вене, возможно, уже невозможны, но нельзя сомневаться: язвительный Троцкий до смерти обидел самолюбивого грузина. Так зародилась личная вражда.

Там же, в Вене, упомянем кстати, завязалась дружба Кобы и молодого большевика Бухарина, который, душа нараспашку, помог будущему Сталину разобраться в источниках на немецком языке, выбирал, переводил для него цитаты.

Скрытный по натуре, Коба не стал распространяться перед Кауровым о своих венских встречах. Сказал:

— Трощкого я повидал. Фальшивый барин.— Не удовлетворившись этим определением, он его усилил: — Фальшивый еврейский барин. Чемпион с фальшивыми мускулами. Раздень его — и что останется? Ничего, кроме желания играть первую роль. Подобным эгоцентристам в выдержанной рабочей партии места не будет. Они и стараются кое-как сляпать что-то расплывчатое, неоформленное. Какую-то слизь вместо боевой партии. Надеются в таком месиве пофигурять.

Опять логика Сталина была несокрушима. Если ты принимаешь книгу Ленина «Что делать?», тезис о сплоченной централизованной партии, о роли профессионалов-революционеров, то принимай и выводы, то есть раскол, разрыв с мелкобуржуазной бесхребетностью. И опять Каурова пленяла ясная голова, сильная воля собеседника.

— Согласен с тобой, Коба.

— А ты нагородил: общее мнение. Во-первых, у меня другие сведения. Во-вторых, если и общее, надо его переломить. Победа с неба к нам не свалится. Надо поработать. Твердо отстаивать большевистскую позицию. С этим и являйся в профессиональные союзы.

— Я как раз сегодня буду в союзе металлистов. Прямо туда и собираюсь.

— В разговорах держись твердо. Водичей вина не разбавляй.

— Ну, я пошел. Загляну только к хозяевам. Скажу: «Всего хорошего!»

— Что же, заглянем вместе.

В столовой Ольга Евгеньевна шила на машинке; Нюра прилежно склонилась над тетрадкой, Надя, обмакивая тонкую кисточку в чернила, что-то выводила на приколоченной крышке фанерного ящичка. Еще несколько таких же ящичков громоздилось на столе. Девочки не бросили своих занятий, когда в комнату вошли Коба и Кауров. Лишь мама оставила машинку.

— Дядя Сосо, — живо выговорила Надя, — хорошо у меня получается?

И продолжала водить кисточкой. Бородатый «дядя Сосо» подошел к ней, девочке, которой еще не минуло

двенадцати (кто мог тогда ведать, какие судьбы уготованы ему и ей?), и, не склоняясь, посмотрел на ее работу. Она надписывала адреса на посылках, которые уйдут в далекую Сибирь партийцам — пленникам царского правительства. Средства для такой помощи составлялись из добровольных взносов. Девочки Аллилуевы ежемесячно обходили с подписным листом известные им семьи, приносили деньги. И из квартиры Аллилуевых текли, текли посылки.

Коба проронил:

— Не имею замечаний.

Надя подняла на него глаза. Кауров снова уловил в них отцовскую серьезность. Однако носатенькая девочка тут же засмеялась:

— Мама, слышишь? Дядя Сосо не имеет замечаний! Чем горжусь.

Ольга Евгеньевна улыбнулась своей младшей. И сказала:

— Иосиф, мы вам сделали теплые вставочки. Примерьте.

Легко поднявшись, она сняла со спинки стула потертый темный пиджак Сталина.

— Надевайте, Иосиф, надевайте.

В этом доме Коба позволял называть себя и Сосо и Иосифом. Он, знавший с Сергеем Аллилуевым еще в Тифлисе и затем в Баку, теперь был принят здесь по-родственному.

Ольга ловко расправила пиджак, хотела подержать, чтобы удобнее просунулись руки в рукава. Коба отклонил эту услугу, напялил свое одеяние. Под лацканами пиджака с каждой стороны были пришиты черные, на вате, вставки, закрывавшие косячок груди и шею по кадык.

— Застегните. Или давайте я.

Коба сам застегнул вставки. Молвил:

— Спасибо.

Каурову Ольга пояснила:

— Он простуживается, застуживает горло. Да и галстука не любит. И вот мы ему придумали.

Кауров в мыслях усмехнулся. Не любит галстука. Да он попросту занашивает рубашки почти дочерна. А теперь этого и не заметишь.

В столовую то и дело глухо доносилось хлопанье входной двери. В электропункте пульсировала трудовая жизнь: сменялись, уходили по вызовам монтеры

и другие рабочие кабельной сети. Что говорить, отличный приют для нелегального ночлежника. Легко затеяться в гурьбу и незамеченным прийти, уйти.

Коба присел в своем обновленном пиджаке. Он был доволен, жмурился, подняв нижние веки.

У Каурова вновь всплыла догадка. Пожалуй, не только в «Правду», но и сюда, в дом Аллилуевых, он был привлечен Кобой. Да, да, и в этом Авеля подтолкнул Коба. И ни намеком свою роль не обнаружил!

Кто знает, уловил ли Сталин мысли Каурова. Покосившись на него, грубовато бросил:

— Чего прохлаждаешься? У тебя же дело!

Студент-«правдист» сказал всем «до свидания», погладил непослушные волосы Нади, уже отложившей кисточку, и пошел исполнять корреспондентские обязанности, добывать материал для «Правды». А заодно пользоваться всяким случаем, чтобы нестигваемо поддерживать думскую шестерку, твердо отстаивать невозможность единства с ликвидаторами и теми, кто клонится в их сторону.

29

Минула еще приблизительно неделя. Кауров приходил к Аллилуевым на свой урок, однако Кобы уже не заставал. Угловая каморка пустовала, там можно было заниматься.

Как-то днем Кауров находился в «Правде», вычитывал корректуру профсоюзной хроники. Раздался телефонный звонок. В трубке Кауров услышал:

— Того?

— Я.

Коба заговорил по-грузински:

— Хочу повидаться. Ты свободен?

— Через полчаса освобожусь.

— И куда пойдешь?

— В нашу типографию на Ивановской. Понесу гранки.

— Условились. Где-нибудь на улице я тебя встречу.

И вот на какой-то улице зимнего Питера к Каурову, неизменно носившему студенческую шинель и форменную, с синим околышем фуражку, подошел Коба. Он, как и прежде, ходил в кепке и в летнем

забахромившемся пальто. Кое-как намотанный шерстяной шарф топорщился вокруг шеи. Из-под шарфа виднелись краешки наползавших к кадыку черных, на вате, вшитых в пиджак вставок.

Коба был мрачен. Казалось, некий пламень еще истемнил смуглое лицо. Глаза, по-всегдашнему мало-выразительные, смотрели исподлобья.

— Коба, что с тобой? Ты болен?

— Нет, не болен.— Он замолчал; слова будто на-ткнулись на какое-то препятствие. Потом все же заставил себя произнести: — Ты мой друг. Только с тобой могу об этом говорить.

— О чем?

Опять точно какая-то затычка не позволила Кобе продолжать. Десяток-другой шагов они шли молча. Затем Коба опять одолел незримую препону:

— Знаешь, приключилась неважная история... Есть один товарищ... Оседлая жизнь, семья...— Отрывистые фразы разделялись паузами.— Очень хороший человек... У него жена... Понимаешь, баба... Лезет...

Он с усилием вытягивал из себя эти признания. Тут столкнулись его замкнутость и припадок искренности, какая для Кобы была невероятно трудной. И все же потребность выговориться пересиливала.

— Навязывается,— продолжал он.— Навязалась...

Внутренняя борьба, мучения Кобы, высказанные в словно обрубленных словах, были естественны, человечны. В нем жили, возвышали голос понятия подлости, понятия чести. Жили и терзали, сжигали его.

Ничье имя Коба не назвал. Извергнув свою исповедь, он сказал свободней:

— Хоть отрубай палец сам себе, как отец Сергий у Толстого.

— И отруби!

— Поздно.

— Тогда уходи оттуда.

— Куда уйдешь?

Эти слова опять трогали искренностью.

— От самого себя? — протянул Кауров.

Не ответив, Коба легонько подтолкнул друга вперед— это был жест расставания,— а сам повернулся, зашагал обратно. Его поглотил питерский зимний туманец.

Спустя несколько дней — еще одна встреча.

— Дядя Сосо! Идите же. Им уже пробили звонок.

Везде кулачок и будто потрясая воображаемым звонком, Надя другой рукой влекла «дядю Сосо» в детскую, где Кауров терпеливо гонял старшую дочку Аллилуевых по разделу «Извлечение корня».

Темная блуза Кобы была, видимо, недавно отстирана — незастегнутый воротник с посекшейся кромкой пока вовсе не лоснился. Кивнув Каурову, Коба с улыбкой, почти неприметной под усами, наблюдал, как Нюра складывала тетрадки и учебники. Надина рука все не отпускала его палец.

Нюра сказала:

— Вчера мы катались с дядей Сосо.

Кауров недоуменно выпятил нижнюю губу:

— С дядей Сосо? На коньках?

Нюра отрицательно повела головой, более непосредственная Надя хохотнула.

— На финских вейках, — объяснила она. — Сел с нами к финну в санки... И под бубенчики, — она опять потрясла кулачком в воздухе, — раскатывали по городу.

Кауров по-прежнему недоумевал. Коба и бубенчики? Несовместимо!

— Понимаешь, масленица, — сказал Коба. — И как раз получил немного денег. Гонорар за одну вещь. Уже есть набор. Ну, в честь...

Тут в детскую молодой походкой вошла мама. Голубоватый чистенький кухонный фартук опоясывал глухое ее платье. В подвижной жизнерадостной физиономии, обращенной к Кобе, выразилась укоризна. Тот, не убыстряя речи, договорил:

— В честь такого случая повеселил девочек.

— Зачем, Иосиф, вы их балуете? — Не довольствуясь этим упреком, Ольга Евгеньевна возвала и к Каурову: — Он еще их повел в кондитерскую, угощал. Сосо, вы не должны так транжирить свои деньги.

— Сбережения, что ли, делать?

— Не сбережения, а что-нибудь себе купить.

Коба оставался неподатлив:

— Обойдусь. — И не погнушался общеизвестной шутки: — Дело к весне, цыган шубу уже продал.

Ольга Евгеньевна опять апеллировала к Каурову:

— Алексей Платонович, как на него подействовать?

Платоныч комически-сокрушенно ответил:

— Безнадежно.

Эта реплика вызвала смех обеих девочек. Надя звонко повторила:

— Безнадежно!

Да, Кауров давно знал: неряха, голодранец, бессребреник, — все это, и неприятное и привлекательное, какая штука, в Кобе сплелось, не расплести.

Ольге Евгеньевне пришлось только вздохнуть.

— Будем пить чай! — объявила она.

Однако у Кобы были свои планы.

— Ольга, если не возражаете, дайте нам чай в углу. Ты, Того, свободен?

— Да.

— Пойдем поговорим. Нас тут извинят.

...Угловая была прокурена крепким дешевым табаком. Волокна, крошки из разорванной пачки этого, грубой резки, почти черного табака виднелись на листах писчей бумаги, на пухлой стопке корректурных оттисков, делала нечистым узкий стол. Там же уместилась настольная электрическая лампа под зеленым абажуром, чернильница-непроливайка, школьная тонкая ручка. На спинке стула был распялен пиджак Кобы. В гвоздь в стене служил вешалкой его пальто и кепке. Рядом раскачивался маятник ходиков. Заправленная серым одеялом койка притиснулась к противоположной стене.

Усадив Каурова на стул, Коба подал ему гранки.

— Вот дали за это гонорар. Печатают в журнале «Просвещение».

Кауров достаточно знал Кобу, чтобы сквозь небрежность тона расчухать авторскую его гордость. На первом листе значилось: *К. Сталин. Национальный вопрос и социал-демократия.*

— Поздравляю.

— Спешись. К чему поздравлять, если не прочел?

— Это же твоя первая большая работа... Сталин... Коба Сталин... Неплохо ты назвался. Тебе это подходит.

— Того, ты, кажется, преподносишь комплименты. Не нужно. Не для этого я тебя позвал.

Сталин медленно свернул самокрутку, придвинул табак гостю.

— Нет,— сказал Кауров,— мне страшноват твой горлодер.

— Изнежился.

Кауров все же предпочел папиросу из собственной коробки. Закурили.

Коба прошелся, затем отобрал у Каурова оттиски.

— Хочу прочесть тебе другое. Статью для «Правды» о нашей думской фракции. Только что закончил.

Взяв со стола исписанные ясным твердым почерком листы, он присел на койку и стал внятно читать, как бы разделяя паузами фразы. Статья начиналась так:

«В № 44 «Правды» появилось «заявление» семи социал-демократических депутатов, где они враждебно выступают против шести рабочих депутатов.

В том же номере «Правды» шесть рабочих депутатов отвечают им, называя их выступление первым шагом к расколу.

Таким образом рабочие становятся перед вопросом: быть или не быть единой с.-д. фракции?

До сих пор с.-д. фракция была едина и своим единством сильна, достаточно сильна для того, чтобы заставить считаться с собой недругов пролетариата.

Теперь она, быть может, разобьется на две части на потеху и радость врагам...»

Кауров слушал, едва сдерживаясь, чтобы не прервать Кобу. Даже прикусил губу. Как же это так? Сталин убедил его в необходимости разрыва, толкнул агитировать за раскол, а сам? Сам трубит о единстве... И кончает статью этим же:

«...обязанностью сознательных рабочих является возвысить голос против раскольнических попыток внутри фракции, откуда бы они ни исходили.

Обязанностью сознательных рабочих является призвать к порядку семь с.-д. депутатов, выступивших против другой половины с.-д. фракции.

Рабочие должны теперь же вмешаться в дело для того, чтобы оградить единство фракции».

Закончив чтение, Коба кинул листки на стол, взглянул на слушателя. Тот отчужденно молчал.

— Чего нахохлился? Выкладывай. Не обижусь.

Кауров покосился на светящийся зеленый абажур, Сталин посмотрел туда же и, припомнив, видимо, случай в Кутаиси — швырок лампы, преспокойно отпустил шутку:

— Только чужого имущества не порть. Договорились?

Каурова наконец прорвало:

— Ты мне в этой же квартире доказал, как дважды два, что необходим раскол, а пишешь теперь совсем другое. Где же твоя принципиальность?

— Продолжай. Отвечу на все сразу.

— Мы же хотим объединения! Зачем же писать противоположное?

— Значит, подарить нашим противникам великий лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»? Отдать идею единства рабочих? Раскол надо совершать тактически искусно. Тогда поведем за собой массы.

— Коба, но где же у тебя истина?

— Истина... Партия не студенческий кружок искателей истины. Мы на войне. Партия существует для того, чтобы одержать победу в демократической революции, привести к власти рабочий класс и угнетенные народные низы. И если ради победы надо тысячу раз нарушить истину, мы это сделаем. Не устрасимся взять такой грех на душу.

— Это же грязь...

— Тебе, может быть, хочется, чтобы о нас впоследствии говорили: они потерпели крушение, зато какие были чистенькие.

Тут тоненькая Надя, постучавшись, внесла поднос, где были два стакана чая, сахарница и расписная тарелка с грудой домашних коржиков. Девочка, видимо, намеревалась каким-то возгласом сопроводить угощение, но, взглянув на Кобу, вслушиваясь, молча приостановилась.

Лицо с увесистым, зачерненным щетиной подбородком, со вздыбленной над плоским лбом жесткой густой порослью не светилось вдохновением, однако источало силу. Его кодекс революционера, что сейчас он излагал, был, несомненно, до совершенной ясности продуман. Кауров ощущал, что внутренне сгибается перед этой неколебимой ясностью. Невольно смерив глазом мелкую фигурку Кобы, голову, твердо посаженную на худощавой, но, как довелось испытать, мускулистой шее, он в тот миг подумал: «Да, пожалуй, из такого материала вычеканиваются вожаки революции».

Сталин, не уделив Наде внимания, продолжал:

— Рабочие вправе послать к черту таких чистеньких, не сумевших перевернуть Россию.

— Но зачем же прибегать к неправде? Элементарная мораль с этим не мирится.

— Мы, люди партии, знаем лишь единственный моральный закон: революционную целесообразность. Наше поприще — не исповедальня! Святыми нам не быть. Но история оправдывает нас, несвященных.

Ища возражений, Кауров втайне подивился, сколь запросто Коба произнес: «история». Опять мнилось, что этот маломерок-грузин сделан из редкостного материала. Так и не разгоревшиеся, не утратившие туска глаза Сталина обратились к девочке, остановившейся у дверного косяка.

Подойдя, он костяшками двух согнутых пальцев слегка защебил ее тонкий прямой нос и, улыбаясь, потянул к себе. Она, подчиняясь этой шутке, отвечая улыбкой дяде Сосо, шагнула с готовностью к нему. Коба, видимо, теснее сжал заклиненную в его суставах мякоть носа. Надя перестала улыбаться. Тисочки пальцев давили все сильнее. Девочка не могла вырваться, не могла пустить в ход руки, что по-прежнему держали приношение, глаза мученически повлажнели, но она молчала, преодолевая боль. Коба еще надавил. Две слезы сползли по ее щекам. Как бы лишь дожидаясь этого, Коба наконец раздвинул свой зажим. Надя, отшатываясь, взбросила голову. Следы его костяшек белыми пятнами будто впечатались по бокам носа. Медленно возвращалась живая окраска.

— Дядя Сосо, вы... Вы это не нарочно?

Сталин ответил:

— Нарочно... Испытание выдержала. Можешь гордиться.

Скупым жестом он велел ей поставить угощение. Освободив руки, Надя только теперь потеряла нос. Сталин спокойно продолжал:

— Надя, ты слышала наш разговор. Как же потвосму: всегда ли следует говорить правду? Тебя кто-нибудь спросит: был ли у вас дядя Сосо? Что ты ответишь?

— Не был!

— А если станут мучить?

— Не был!

— Получи, Того, урок революционной морали.

Враз повеселев, Сталин неожиданно пропел:

Долгий сказ поведать кратко —
Вот шаири в чсм цена.

Слово «шайри» принадлежало к терминам грузинского стихосложения, обозначало введенную Руставели строфу, ту, которой был написан «Витязь в тигровой шкуре».

Обладая верным слухом, Коба, когда бывал в хорошем настроении, любил что-нибудь спеть. Сипловатый его голос становился неузнаваемо чистым, высоким.

Надя коротко рассмеялась и завторила, повторила мелодию:

Вот шайри в чем цена.

И вынеслась из комнаты.

Сталин поглядел ей вслед, шагнул к столу, взял блюдце со стаканом чая и, прохаживаясь, заговорил мягче:

— Нельзя, Того, быть простаком. Оставят в дураках. Существует искусство стратегии и искусство тактики. Мы применяем тактический прием: ведем наступление под видом обороны. Это — военная хитрость.

— Да такую легко раскусят.

— Конечно, что это за хитрость, если у нее на лбу написано: я — хитрость? Нет, она не торопится себя открыть.

Отхлебнув чая, Коба добавил:

— Старик немного склонен к торопливости. Доказываем ему: необходима выдержка. Тогда наверняка свернем шею меньшевистской шатии.

Скупым поворотом кисти он будто и впрямь сломал шею некоему куренку. Потом сказал:

— Ну, засиделись. Выходи первый. А за тобой и я отсюда выберусь. — Оглядел каморку. — Надежное местечко. Но на всякий случай переберусь. — Пошутит: — Держу ушки на макушке.

Выйдя от Кобы, Кауров еще побыл некоторое время в кухне, побалагурил с Ольгой Евгеньевной, которая крепенькими, с ямочками на локтях руками замешивала на столе тесто. Потом распрощался и, ступив в коридор, кинул взгляд на угловую. Дверь туда была полураскрыта. Колыхающимся пластом поверху выплывал табачный дым. Виднелся в профиль присевший на койку Коба. Он углубился в какую-то книгу. Его худощавый, в темной блузе стан был выпрямлен, склонена лишь голова. В этом наклоне, верней, в сочетании

выпрямленности и наклона, сквозило непроизвольное изящество, хотя, казалось бы, такое обозначение совсем не подходило Сталину. С усатого смуглого лица сошел отпечаток туповатости. Пожалуй, в эту минуту Сталин был красив.

Из детской высунулась носатенькая девочка, хотела, видно, что-то сказать уходившему, но ее внимание тоже привлекла приоткрытая дверь угловой. Надя быстро поднесла палец к губам и замерла, глядя на погруженного в чтение дядю Сосо.

...Два или три дня спустя охранка все же сумела схватить Сталина. Он был арестован на концерте, устроенном большевиками в пользу политических заключенных. И, как известно, сослан на четыре года в Туруханский край на дальнем севере. Расстояние от этих почти незаселенных мест до ближайшей железнодорожной станции составляло две с половиной тысячи километров.

В следующем году началась мировая война. «Правда» была уже закрыта. Депутаты Государственной думы — большевики, отказавшиеся стать «оборонцами», угодили под суд, приговоривший их к ссылке на вечное поселение в Восточную Сибирь. Тогда же был взят и Кауров, распространявший написанную Лениным листовку, провозгласившую необходимость «революционной войны пролетариев всех стран». Той же дорожкой, какую прошло немало революционеров, Кауров этапным порядком отправился на три года в ссылку, так и не закончив своего математического факультета.

31

Февральская революция 1917 года с силой прорвавшейся стихии сбросила в несколько дней веками существовавший царский строй.

Это политическое сотрясение, распространившееся с телеграфной скоростью круговой волной из Петрограда по всей России, застало Каурова в Иркутске солдатом запасного пехотного полка. Алексей Платонович, как и некоторые другие ссыльные, подлежал, согласно какому-то правилу военного времени, призыву в армию, был найден годным, зачислен в рядовые, что, впрочем, не избавило его от особого надзора.

В первые же сутки переворота, даже, пожалуй, в первые часы, едва известие о событиях в Питере

достигло иркутских казарм, Кауров оказался одним из вожаков полка. Огромный плац, где запасники обучались шагистике, святости строя, ружейным приемам, перебежкам, стал местом небывалого доселе полкового митинга. Санитарная фура явилась отличным возвышением для ораторов. С такой трибуны выступил и рядовой девятой роты чернобровый белобрысый Кауров, умевший еще в пятом году произносить напоенные чувством зажигательные речи, вызывавшие знобкую ответную волну. Он, большевик, сразу же обособил себя от полковых ораторов оборонческого толка, твердо и без недомолвок возгласил:

— Долой войну!

Захлопали солдатские ладони, одобрительный зык поглотил какие-то выкрики несогласия. По-прежнему высясь на возке, Кауров, не страшась мороза, стянул свою папаху и на виду у всех обернул алым лоскутом трехцветную царскую кокарду. Затем опять напаялил на белесые тонкие волосы эту папаху, уже обновленную, меченную революцией. И сильным голосом, далеко разносившимся в студеном сибирском безветрии, повторил:

— Долой войну!

Далее он бросал, развивал мысли манифеста большевистской партии, написанного еще в четырнадцатом году Лениным, манифеста, из-за которого он, Кауров, пошел в ссылку.

— И уж если придется воевать,— гулко звучал его голосище,— то пусть это будет война трудящихся всех стран против угнетателей всех стран!

Тысячная масса в шинелях опять откликнулась роко-том, хлопками.

Полк избрал Каурова в Совет рабочих и солдатских депутатов. Там по предложению солдатской секции он прошел в члены Исполкома.

И, попирая дисциплинарный армейский устав, не испрашивая хотя бы для видимости у воинского начальства никаких разрешений — революция была высшим разрешением, плечи рабочих и солдат как бы подпирали свой Совет, наделяли его властью,— бывший студент, некогда поработавший в питерской «Правде», теперь солдат с красной кокардой, забросил, разумеется, строевые занятия и всякие иные обязанности рядового. Каждый день он выступал с речами, а также стал одним из

организаторов-соредакторов иркутской социал-демократической газеты.

В Иркутске в те дни, как и в некоторых других городах, создалась объединенная партийная организация, включившая и большевиков и меньшевиков. Большевики поддерживали меж собою дружбу — политика и дружба в такие времена неразделимы, — порой отдельно собирались, но своей группы или фракции пока не оформляли. Кауров был сторонником обособления. Но письма, которые стали доходить из Питера от русского большевистского центра, не затрагивали этого вопроса. Чувствовалось, что там и не было ясности: объединяться ли с меньшевиками? Работа в редакции, Кауров гнул свое, старался так и эдак вынести на страницы газеты резкие взгляды Ленина, еще находившегося за границей, проникавшие в годы войны на отпечатанных в Швейцарии листках тонкой бумаги и в самые отдаленные колонии ссыльных.

Теперь почтовые медлительные поезда доставляли возрожденную питерскую «Правду». Она приходила с берегов Невы в Восточную Сибирь на десятый — двенадцатый день. В одном из номеров был объявлен состав редакции: Каменев, Муранов, Сталин.

Так вот она — первая весточка от Кобы! Ну, теперь держитесь, оборонцы! Хирург Железная Рука с вами не поцеремонится!

Однако в этом же номере «Правды» публиковалась статья Каменева. Кауров, читая, выкатил губу. Какая штука. Каменев писал:

«Не дезорганизация революционной и революционизирующейся армии и не бессодержательное «Долой войну!».

Но что же тогда?

«Давление на Временное правительство».

Зачем?

Чтобы «склонить все воюющие страны к немедленному открытию мирных переговоров».

А до тех пор? А теперь?

Воевать! Воевать, «на пулю отвечая пулей и на снаряд — снарядом!».

Черт возьми, это же слово в слово проповедь меньшевиков, программа оборонцев. Чего же смотрел Коба? Почему не воспротивился? Где его твердость? Впрочем, может быть, в следующем номере он выступит, скажет настоящее большевистское слово.

Да, назавтра в «Правде» появилась статья «О войне» за подписью «К. Сталин». Но она вовсе ошарашила Каурова. Коба вторил Каменеву: «Прежде всего несомненно, что голый лозунг «Долой войну!» совершенно непригоден как практический путь... Выход — путь давления на Временное правительство с требованием изъявления своего согласия немедленно открыть мирные переговоры».

По-прежнему тяжел слог Кобы, не дается ему гибкость русской речи. Но это в сторону! Если уж и он принял позицию оборончества, то... То логика приводит к объединению с меньшевиками.

Не верится, чтобы к этому склонился ненавистник меньшевистской неустойчивости — упрямый Коба. А Ленин? Он в Швейцарии. На листах послереволюционной «Правды» тогда еще не появилась ни одна его строка.

В те дни Кауров был избран одним из делегатов на Всероссийское совещание Советов, открытие которого предстояло 28 марта в Петрограде. Сперва он решил не ехать, не хотел оставлять газету, да и цеплялись, не отпускали прочие бесчисленные горячие дела. Но статья Кобы заставила переменить решение. Что-то неладное творится в партии. Поеду! Окунусь в водоворот Питера. Все там узнаю.

Еще сутки-другие Кауров, хотя уже и опаздывая на совещание, все-таки что-то доделывал, кому-то передавал неотложные обязанности и наконец, вырвавшись из когтей работы, втиснулся в вагон, покатил на запад. График движения уже постоянно нарушался, из-за этого были потеряны против расписания еще почти двадцать часов.

И лишь в ночь на 4 апреля иркутский солдат с красной кокардой ступил на перрон Петроградского вокзала.

Опясав шинель ремнем, на бляхе которого красовался оттиск прошлого — двуглавый императорский орел, вольно вскинув на одно плечо лямки вещевого мешка, уже за дорогу изрядно освобожденного от продовольственных припасов, Кауров напрямик с вокзала, полуночником, затопал к месту совещания,

в небезызвестный в российской истории Таврический дворец, когда-то выстроенный для фаворита Екатерины Второй. Там в предшествующее революции десятилетие заседала Государственная дума, а в дни февральского переворота туда хлынули делегации рабочих и солдат, вторгаясь без спроса в чинные залы, коридоры, комнаты. Хлынули и уже не отдали дворцовой территории. Думцы, в большинстве сторонники умеренности, хотя и украшенные теперь красными бантами, предпочли выбраться в более спокойную обитель из взбаламученной своей резиденции, а во дворце обосновался Совет рабочих и солдатских депутатов.

Уже надвигался рассвет, когда туда вошел Кауров, предъявивший дежурному свои полномочия, или, как тогда говорилось, мандат. Два-три солдата, то ли из ночного караула, то ли просто в спорах не уснувшие, прибрели послушать разговор, вставить словечко. Конечно, Кауров безбожно опоздал. Всероссийское совещание как раз вчера закончилось. И вот еще что он упустил: вечером, всего несколько часов назад, в Петроград приехал Ленин. Прodelал путь через Германию вместе с другими эмигрантами-большевиками в особом, запертом на ключ или, по слухам, запломбированном вагоне. Ух, какая была встреча! Нашелся тут и ее свидетель. Наверное, не меньше ста тысяч человек пришли в колоннах на площадь Финляндского вокзала. Незадачливому делегату Иркутска рассказали и про броневик, который послужил трибуной Ленину, освещенному прожекторами.

— А что он говорил?

Очевидец не стал врать, признался:

— Недослышал.

Но добавил, что броневик, на котором так и стоял Ленин, тронулся к дворцу Кшесинской,— бают, там собрались, хотя и ночь, большевики послушать Ленина.

Кауров не удерживал досадливое «эх, эх», черт побери, не повезло! Он теребил, вертел в руках папаху, почесывал розовевшую на затылке лысинку. Лететь, что ли, во дворец Кшесинской? Нет, куда там! Четвертый час утра!

Его все же утешили: делегаты совещания еще не разъехались, и завтра, то есть, вернее, уже нынче, в двенадцать часов дня в белом, самом большом зале

откроется объединенное заседание социал-демократов, соберутся вместе и меньшевики и большевики. К этому-то он еще успел. Однако Кауров опять крякнул:

— Эх...

Ему отвели койку, но сон не приходил. Лишь засветло под шумки утра окутала дрема. Поднялся он все же освеженным, энергичным. Некое бодрящее предчувствие говорило: день будет особенным.

И в самом деле: едва он вошел в столовую, уже гудящую, кто-то окликнул:

— Платоныч!

Он узнал рослого Енукидзе, сейчас тоже представшего в солдатском обмундировании. Тот крепко обнял, расцеловал давнего приятеля. Кауров ощутил: вот старый большевистский Питер, круг подпольщиков, принял его в свои объятия. И в ответ горячо чмокнул, стиснул добродушного Авеля — Золотую Рыбку.

Енукидзе сразу и расспрашивал, и вываливал новости. Через полчаса на хорах соберутся большевики — участники закрывшегося совещания. Наверняка выступит Ленин. Потом в двенадцать будем заседать вместе с меньшевиками. Повестка дня: объединение. Докладчик от большевиков — Сталин.

— Платоныч, ты с ним не повстречался?

— Еще нет.

— Что ж ты? Он где-то здесь похаживает. Пойдем, я ему преподнесу тебя на блюдечке.

Так и не позавтракав — успеется! — Кауров вслед за своим поводырем устремился в коридор. Енукидзе легко ориентировался в лабиринте кулуаров, порой раскланивался с встречными, но не задерживался, жестикулирующей и живой мимикой как бы сообщая: недосуг! На ходу он рассказал кое-что про Кобу. Сталин в декабре 1916 года тоже был призван в армию, отправлен этапным порядком из туруханской ссылки в Красноярск, где, однако, медицинская комиссия забраковала его, не вполне владевшего левой рукой. Он как-то в ссылке сильно простыл, это сказалось и на руке, усугубило порок. Не пригодному к военной службе ссыльному разрешили прожить остаток срока — оставалось-то всего несколько месяцев — на станции Ачинск. Разумеется, при первом же известии о революции Коба сел в поезд, помчался в Питер. Здесь сразу

же включился в работу Русского Бюро ЦК, опять, как и прежде, взял в свои руки «Правду».

— В свои руки? — протянул Кауров. — Но рука-то у него...

— Представь, тут задвигалась живей. Это для него лучшая медичка — революция!

Авель заглянул в фойе, уставленное диванчиками голубой бархатной обивки, потерявшей былой ворс. Проскользнул, увлекая Каурова, еще в какой-то апартамент — впрочем, это наименование тоже уже стер переверот — и воскликнул:

— Пожалуйста, вот тебе и Коба! Расписку в получении дашь потом.

И улетучился.

Комната была своего рода затишком во дворце, хотя и сквозь нее сновали люди. Сталин и Каменев мерно прохаживались вдоль окон. Золотистая грива, отнюдь, впрочем, не дикая, в меру подрезанная, выделяла большой лоб Каменева, шла его осанке, профессорскому виду. Плотного сложения, с густыми, несколько свислыми усами и неухоженной, однако и не запущенной бородкой, в окаемку которой прокралась рыжина, в добротном, обмявшемся по фигуре пиджаке, в светлой, правда не первой свежести, сорочке, в галстучке, повязанном хоть и не старательно, но и без небрежности, Каменев держал в одной руке свое пенсне, снятое с крупного носа, а в другой — исписанный листок, вглядывался в текст близорукими голубыми глазами. Руки были удивительно белыми, красивыми. Удлиненные пальцы заканчивались пухлыми подушечками. Из-под пиджачного обшлага высунулась подкрахмаленная, не блистающая белизной манжета. Читая, Каменев порой издавал странноватый звук — прищелкивал или как бы цокал языком, будто пробуя нечто на вкус. В молодости живший в Тифлисе, участник революционных марксистских кружков (еще по Тифлису, скажем в скобках, знавшийся с Кобой), затем литератор-большевик, широко образованный, быстро заработавший репутацию одного из лучших перьев партии, автор и политических статей, и экономических исследований, и книги о Герцене и Чернышевском, Каменев отличался, вместе с тем, некоей мягкостью характера, умением ладить, или, что называется, покладистостью. Войдя в качестве представителя большевиков в Исполнительный комитет Петроградского Совета, он и там

был спокойно-обходительным, считался деятелем хотя и левым, но чуждым фанатических крайностей.

Коба, сохранив свою походку горца, легко и твердо ступал по истоптанному, истемненному паркету в ногу с Каменевым. Что-то ему сказал. Каменев кивнул. Свет обширных окон позволял в подробностях разглядеть Сталина. Четыре года Кауров не видел его. Эти годы отпечатались морщинками под миндалевидными глазами Кобы. Он в это утро казался постаревшим. Нет, у Каурова вдруг возникло другое определение: посеревшим. И кожа рябого лица, и шея, и синеватая косоворотка, и пиджак — уже другой, без черных вставок — все выглядело серым. Лишь темнели усы и жесткая щетка волос.

Пришла догадка: сероватый цвет лица — это попросту бледность, след ночных бдений в редакции. А в минувшую ночь Коба, конечно, вряд ли прикорнул хоть на часок. Ездил встречать Ленина, участвовал в закончившемся только к утру сборище во дворце Кшесинской, потом, наверное, заново обдумывал предстоящий ему нынче — всего через два часа — доклад насчет объединения.

Каменев еще вглядывался в листок, Сталин молча вышагивал рядом. Его левая кисть покоилась в кармане.

Кауров, уже слегка растопырив руки для объятия, улыбаясь во весь рот, рванулся к нему:

— Коба, здравствуй!

Ничто не дрогнуло, не изменилось в будто застывшем лице Сталина.

— Чего тебе? Ты же видишь, что я занят.

Никакой эмоции не проблеснуло во взгляде. Кауров остолбенел. Неужели у Кобы после четырех лет разлуки — и каких лет! — не шевельнулось сейчас хоть какое-нибудь теплое чувство? Или, может быть, он просто не узнал Каурова в этом солдатском обличии?

— Коба, ты не узнал меня? Я же Кауров!

— Не мешай, не мешай. Занят.

И два соредактора «Правды» пошли дальше. Огорошенный Алексей Платонович не сразу сдвинулся. Потом сел на подоконник. Каменев и Сталин, продолжая ходить, опять шли мимо. Но тут Коба приостановился:

— Того, иди наверх в комнату фракции. Ежели еще есть места на стульях, занимай и для меня.

Каменев вздел на нос пенсне, оглядел солдата. Однако Сталин счел необязательным как-либо их познакомиться. Кауров узнавал прежнюю его манеру: ни лишних слов, ни лишних жестов. Обида испарилась. Он опять готов был обнять Кобу. Но тот будто оставался бесчувственным. И с холодноватой деловитостью напутствовал:

— Только имей в виду: в передние ряды не сяду. Не люблю. Лучше постоим где-нибудь сзади.

...Свободных стульев в большой овальной комнате на хорах, принадлежавших большевикам, действительно уже не оказалось. Многим пришлось стоять. Кауров поджидал Кобу у дверей. Войдя, тот не стал никуда протискиваться, остановился рядом с Того, прислонился узким покатым плечом к косяку. Место было незavidным. Взгляд низенького Кобы упирался в спины стоявших впереди. Сквозь раскрытую дверь еще и еще проходили участники собрания, тесно заполняя комнату. Коба преспокойно сносил эти неудобства.

Длинный Кауров с интересом оглядывал помещение, обнаруживал знакомых, здоровался улыбкой, помахиwанием руки.

Ленин сидел за небольшим столиком и то склонялся над грудой газет, наверное уже многодневной давности (второго, третьего и четвертого апреля газеты по случаю пасхальных праздников не выходили), шуршал листами — тогда к аудитории была обращена будто полированная, отсвечивающая округлость его лысины, — то оставлял это занятие, поглядывал на собравшихся, шуря левый глаз.

На стульях у полукруглой стены лицом к залу разместились те, кого уже обозначили собирательным именем «швейцарцы», — они вместе с Лениным выехали из Швейцарии в Россию и вчера добрались в Питер.

Виден и неброский, чуть отечный, бледноватый профиль Крупской. Наверное, утомлена и счастлива.

Собрание открыл Зиновьев.

Для своих тридцати трех лет он был излишне рыхловат, не принадлежал в Швейцарии к любителям пешеходных или велосипедных прогулок, нажил жи-

рок, отложившийся и на щеках и на подбородке, которые успел с утра побрить. Пожалуй, лишь высившиеся надо лбом черные, в путанице мелких витков, волосы как-то внешне выявляли темпераментную его натуру. Голос оказался неожиданно тонким, почти женским:

— Товарищи, в повестке дня у нас два пункта: доклад товарища Ленина и затем вопрос относительно объединения.

Ленин энергично вздернул голову:

— Два? Гм... Спрессуются в один.

Это явно ироничное замечание о повестке дня стало как бы мимолетной прелюдией к докладу.

Кауров покосился на Кобу, на крупные, величиной с ноготь мизинца, оспины, будто забрызганные пигментными крапинками, теперь, весною, рыжими. Резко очерченное худощавое лицо по-прежнему ничего не выражало, казалось сонливым.

Встав, Ленин пригладил окружавшие лысину волосы, сзади чуть курчавые. У него давно установился обычай — тщательно приводить в порядок свою внешность перед решительным часом. Безукоризненно блистают тупоносые ботинки, собственноручно поутру вычищенные щеткой и бархоткой, что среди прочих наинужнейших вещей сопровождали его из Швейцарии. Синеватый галстук затянут аккуратным узлом. Скрытая под галстуком цепочка, соединяющая две запонки, туго стягивает края белого воротничка.

Еще раз огладив голову, вынув из бокового кармана и развернув четвертушку бумаги, Владимир Ильич начал доклад:

— Я наметил несколько тезисов, которые снабжу необходимыми комментариями.

Вероятно, лишь Надежда Константиновна да еще два-три самых близких друга смогли заметить некую необычную для Ленина особенность этого простого вступительного предложения. Он не любил словечка «я», избегал «якать», тем более в публичных выступлениях. А тут вынужден был произнести: «я». Крупская знала: еще никто не заявил о своем согласии с тезисами Ильича. Никто. Только она. Зиновьев, поработавший немало лет бок о бок с Лениным, предпочел пока не определять своей позиции. «Не успели столкнуться», — мельком вчера объяснил он Крупской. Надежда Константиновна его не осудила, понимала: иные строки, что записаны на этой четвертушке мелким, наклонным,

будто бегущим почерком Ленина, ошеломляют. Скоро он к ним перейдет.

Сейчас он говорит о войне. В какую-то фразу вставляет:

— Предлагая эти тезисы только от своего имени...

Листок уже брошен на газету, обе руки выдвинуты в карманы, голова несколько наклонена, выделяются угловатые скулы, кряжистый Ильич выглядит угрюмым. Речь быстра:

— Война и при новом правительстве, которое является империалистическим, осталась по-прежнему разбойничьей, а посему для нас, кто верен долгу социалиста, верен международной пролетарской солидарности, недопустима ни малейшая уступка оборончеству.

Фраза Ленина разветвлена, не легко поддается записи, предложения втискиваются одно в другое, словно бы в стремлении сразу охватить многие стороны предмета. Сформулировав тезис, он принимается вдалбливать свою мысль. Тут приходит на помощь и рука — широкая, короткопалая, плебейская. Он впрямь будто что-то вбивает кулаком, оттопырив большой палец.

На месте ему не стоится. Это у него давнее обыкновение: шагать, произнося речь. Нет, он не похаживает, а время от времени то ступает вспять, то круто возвращается к столу. Так ходит поршень паровоза. У стены позади стола были сложены одна на другую несколько деревянных скамеек. Пятясь, Ленин иной раз наталкивался на этот штабелек и удивленно туда взглядывал. Однако минуту-две спустя опять стучался об углы скамеек и снова оглядывался.

— Даже наши большевики обнаруживают доверчивость к правительству. Такая точка зрения — гибель социализма.

Тут в дверях появился Каменев. На него оглянулись. Учтивый, осанистый, он, на ходу извиняясь, протолкался вперед, заметил единственный свободный стул, на котором ранее сидел Ленин, жестом попросил у него разрешения сюда сесть и, мягко улыбаясь, уселся.

Ленин продолжал, речь не утратила стремительности:

— Если вы, товарищи, доверчиво относитесь к правительству, значит, нам не по пути. Лучше останусь в меньшинстве, останусь даже один.

Впервые он здесь проговорил: «останусь один». Однако угрюмость уже с него слетела. Голова поднята, он плотно сбитым корпусом подался к слушающим, маленькие глаза поблескивают, один слегка прищурен, что придает Ильичу вид хитреца. Странно: режет, рубит напрямик, не смягчает резких слов никакими околичностями, а глаза хитры.

— Лучше останусь в одиночестве, подобно Карлу Либкнехту, который выступил один против ста десяти оборонцев социал-демократической фракции рейхстага.

Далее Ленин переходит к оценке статей «Правды». Жест снова изменяется. Правую руку он то и дело выбрасывает перед собой, будто всаживая в кого-то невидимое острие.

— «Правда» требует от правительства, чтобы оно отказалось от аннексий, от империалистических целей войны. Предъявить такие требования правительству капиталистов — чепуха, вопиющая издевка над марксизмом. С точки зрения научной, это такая тьма обмана, которую весь международный пролетариат, вся грядущая всемирная рабочая революция и уже складывающийся новый революционный Интернационал заклеивают как измену социализму.

И опять Ленин вытолкнул вперед правую руку.

Кауров боковым зрением заметил: бровь Сталина чуть поднялась и, всплывая, застыла. Да, это были камни в сторону Кобы.

Казалось, Ильич, подаваясь вспять, снова ушибется о грудь скамеек. Нет, оратор-поршень круто возвратился:

— Ссылаются на Циммервальд и Кинталь...

Ленин вновь целил в редакторов «Правды», в одну из статей Кобы, признававшую «всю правильность и плодотворность положений Циммервальд—Кинталя».

— У нас еще не знают, что циммервальдское большинство с самого начала склонилось к позиции Каутского и компании. Циммервальд и Кинталь — это колебания, нерешительность в вопросе, который теперь является всеопределяющим, то есть в вопросе о полном разрыве с теми, кто под флагом социал-шовинизма, защиты отечества изменил Интернационалу.

Кауров догадывался, как жестоко уязвлено в эти минуты самолюбие Сталина. Когда-то, много лет

назад, он, молодой Коба, после критических суждений, вовсе не грубых, о его рукописи скомкал, пихнул ее в карман, ушел.

А ныне... Вот черная бровь опустилась. Смуглое изрытое лицо вновь стало будто сонливым.

— Перехожу к следующему моему тезису, который охватывает вставшую перед нами не только теоретически, но и насущно практически, самую острую, главную проблему революции. Дело идет о государстве, о власти.

Снова взяв исписанную четвертушку, Ленин огласил строки: «Республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху. Уничтожение полиции, армии, чиновничества».

На какие-то мгновения он приостановился, словно для того, чтобы дать время собравшимся воспринять прочитанное. Весело, хитро оглянул комнату. Конечно, этот тезис огорошил. Как так: государство без полиции, без армии, без чиновничества? Какое же, собственно, это государство?

— Да, никакой полиции, никакой армии, никакого чиновничества! Но мы не анархисты, мы сторонники государства в переходный к бесклассовому обществу период. Чем же мы заменим машину угнетения, созданную теми, кто господствовал, властвовал над народом? Ответ уже дан историей рабочего движения, созидательной энергией масс, дан, прежде всего, Парижской коммуной. Действительная суть Коммуны, как это превосходно анализировали, выяснили Маркс и Энгельс, состояла в том, что она явила собою новый тип государства. Чиновничество, бюрократия заменяются непосредственной властью вооруженного народа. Наши Советы тысяча девятьсот пятого и семнадцатого годов — прямое продолжение революционного творчества Парижской коммуны. За Советы мы все ухватились, но не поняли их, не поняли, что только они могут стать и станут единственным правительством. Их опорой будет вооруженная пролетарская милиция, объединяющая поголовно при соблюдении известной очередности — меру, форму, практичность такого распорядка отыщет жизнь, опыт масс, — объединяющая по-

головно мужское и женское трудящееся население, которое предстанет как непосредственная власть, как прямая власть народа.

Ленин, что называется, всюду разошелся. Речь звучала увлеченной. Иностранных выражений стало меньше, он легко заменял их русскими, легко находил синонимы, как бы стремясь полнее, точнее передать оттенки. И жест переменился: сложенные щепотью пальцы будто что-то держали, поворачивали. Оратору, видимо, нравилась его последняя формулировка. Он повторил:

— Прямая власть народа!

Оба больших пальца, оттопырившись, полезли в проймы жилета. Приняв такую позу, то откидывая корпус, то опять подаваясь вперед, Ленин с явным удовольствием, с запалом продолжал трактовать проблему государства.

Надежда Константиновна сдерживала просящуюся на губы улыбку. Ей, жене, были ведомы и смешные черточки Ильича, черточки, над которыми она иной раз трунила. Да, Володя сейчас доволен собою. Не только лысина, но и лоб и щеки глянцевиито сияют. Пожухлый, нездоровый цвет его лица, какой Крупская с беспокойством, с горечью отметила, когда они вдвоем встречали над мисочками с простоквашей новый — 1917-й — год, теперь начисто смыт. Ильич снова — несокрушимый крепыш! А ведь жаловался там, в Швейцарии, когорую, бывало, называл проклятой, на головные боли, уставал от собраний, уходил ранее их конца, признавался: «нервы швах». Крупская тоже прибаливала, операция, оставившая косою шрам на шее, не излечила базедки: возобновились сердцебиения, слабость, что она старалась скрыть. Ей там, в швейцарском далеке, невольно думалось: вот как нас скрутило, мы с ним уже два больших.

Вести из России от придавленного арестами, слезкой большевистского подполья были редкими, но всякий раз воодушевляли Ильича.

— Жив курилка! — восклицал он. — Будет еще праздник и на нашей улице!

Потом вновь наступали глухие эмигрантские будни. Ленин не сомневался — к этому его привел анализ, изложенный на двух сотнях страниц книги об империализме, которую он написал в годы войны, — не сомневался, что мировая капиталистическая система

созрела для перехода к социализму, был убежден, что нарастает, приближается революция и в России. Но когда же, когда же это сбудется?

Неделями, месяцами ни одной живой дружеской строки не доходило из России. Наладить связь не удавалось. Ленин нервничал, раздражался, грустнел.

В двенадцатилетнюю годовщину «кровавого воскресения» он в Цюрихском народном доме выступил с докладом о русской революции 1905 года. Надежда Константиновна сидела среди слушателей в небольшом зале, где далеко не все стулья были заняты. Ильич говорил: — Нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата революцией. — А затем произнес слова, резнувшие ей сердце: — Мы, старики, может быть, и не доживем до решающих битв этой грядущей революции.

Впервые за два десятилетия их супружества Крупская из его уст услышала это: «Может быть, не доживем».

Месяц спустя после этой годовщины — то есть по европейскому календарю во второй половине февраля — Надежду Константиновну свалил бронхит.

Болезнь оказалась цепкой, градусник изо дня в день показывал тридцать восемь — тридцать девять. Истомленная жаром, Крупская страдала и душевно: ее мучило сознание, что на Володю свалились и уход за ней, и всяческие мелкие домашние заботы.

Его ритмичный рабочий режим — с утра в библиотеку, обед, потом опять библиотека — пошел насмарку. Он проводил дни около жены в единственной их комнате, окно которой выходило во двор колбасной фабрики, — из-за этого форточку приходилось открывать лишь ночью, когда ослабевал запах колбасы. Как-то вечером он вернулся с несостоявшегося собрания швейцарских интернационалистов — несостоявшегося из-за того, что они попросту не решились бросить вызов Центральному правлению своей партии, не пришли, — и повторял, шагая тут в клетушке: «Вся эта Швейцария для меня навек будет пахнуть колбасой!»

Именно тогда он в письме к ближайшему другу Инессе Арманд — сейчас она сидит неподалеку, ее не-

сколько асимметричное, с хрящеватым носом точеное лицо обращено к Ленину, продолжающему речь, — в письме, где Крупская по обыкновению добавила и страничку от себя, посоветовал, как бороться с хандрой, с нервным расстройством: «Втягивающая работа — самое важное для оздоровления и успокоения... Желаю вработаться».

Сам-то он вработался, увлекся темой государства (или, вернее, по его собственной формулировке, темой «пролетарская революция и государство»), переворочил в цюрихских библиотеках все относящиеся к этому вопросу высказывания Маркса и Энгельса, вытаскивая на свет из разных журналов или сборников множество забытых, как бы погребенных мыслей.

Толчком послужила статья Бухарина о государстве. Ленин в беглой заметке покритиковал его статью, а затем влез в проблему с головой. Из книгохранилищ приходил с драгоценной добычей, о которой зачастую тут же сообщал Крупской. На ее глазах, как уже не раз бывало, рождалась новая книга Ильича. Нет, Надежда Константиновна не могла примириться с тем, что Володя из-за все тянувшегося ее бронхита лишил себя этой отрады, скрашивающей душное житье-бытье, бросил ходить в библиотеку. Он противился ее уговорам, настояниям. Однако был все же достигнут компромисс: Ильич после обеда остается с больной, а утра по-прежнему отдает рабочему месту в читальне.

Возвращаясь оттуда, он проворно и безропотно исполнял свои домашние обязанности. Прежде всего отцеплял от жилета карманные часы, клал их на стол. Надя получала из его рук ложку горчайшей микстуры и смиренно выпивала эту, как она выражалась, переняв еще невесту когда иные словечки Володи, мерзопакость. Затем следовали чашка бульона и яйцо всмятку, сваренные тут же на кухне. Мытье посуды было для Ленина привычным, пустяковым делом. Далее он выгребал золу и шлак из высившейся столбиком изразцовой печки, умело, экономно закладывая растопку, разжигал, подбрасывал железной лопаточкой порции угля. Некоторое время он, по-прежнему опустившись на корточки, следил за пламенем. Остатки волос на голове, борода и усы в отсветах из раскрытой заслонки становились будто огненными, ярко рыжели. Потом

он захлопывал чугунную дверцу, присаживался к Надиной постели, просматривал здесь почту, делился новостями.

Однажды, позабывшись, засмотрелся на огонь.

— Володя, признавайся. Размечтался?

Ильич, толкнув заслонку, живо поднялся, хмыкнул:

— Не то чтобы размечтался, но...

— Но нечто в этом роде?

— Обдумываю некоторые серьезные материи. Уже вижу свою новую брошюру. Сейчас в уме ее уже читал. Еще раза два-три сбегаю в библиотеку и... разрожусь!

— От глагола «разродиться»? Или «разразиться»?

— И то и другое. Скорей первое. Но и второе не уйдет. Это будет бомба в свору социал-пошляков, прикрывающихся именем Маркса.

Ильич загорелся, из него полыхнула внутренняя лава. Но тотчас же опомнился: Надя больна, градусник и нынче показал свыше тридцати восьми, она, если дать волю тому, на чем неотвязно сосредоточены мысли, отзовется волнением, внешне почти неприметным,— он превосходно это знает. А ей нужен целительный покой.

Приглушая свою взвинченность, Ильич берется за не особенно обильную сегодняшнюю почту. Письмо из Кларан от Инессы. Письмо из Берна от Зиновьева. Две бандероли: сборничек голландских левых, книжка на французском. А из России опять ни гу-гу...

Крупская лежит, поглядывая на мужа. Ее привыкшие и к перу, и к чистке картошки, и к постирушкам, сейчас выпростанные поверх одеяла, бледноватые руки давно погрубели. Легкая кремовая кофточка, застегнутая доверху, скрывает шрам. Днем больная посмотрела на себя в зеркало: лицо, слегка розовевшее от жара, было осунувшимся. Стал заметнее вовсе не изящный, с широковатым концом нос. Верхняя губа, несколько оттопыренная, выдававшаяся над нижней, тоже крупной, запеклась.

Да, врач сказал: нужен покой. Но с Володей творится что-то чрезвычайное, что-то и радующее и тревожащее. Нередко она видела его в возбуждении, «в ажитации», как он с юморком говаривал. В какой-то день она о нем сказала: «большой нервняга». И постоянно помнила об этой Володиной особенности. Однако столь наэлектризованным, будто вибрирующим, исто-

чающим даже и без слов некие молнии, он бывал лишь в некоторые времена, когда совершал открытия, рвущиеся наружу, на бумагу, в речь.

С такой же воспламененностью, накалом Ильич в 1901 году в Мюнхене писал «Что делать?». Его сосредоточенность, поглощенность работой были так велики, что даже обед на людях в ресторанчике, пезначащие случайные встречи стали ему в тягость. Не впервой тогда Крупская взялась за стряпню.

Ильичу была свойственна манера шепотом проговаривать для себя куски будущей книги или статьи, куски, которые предстояло написать. А на прогулках, ежедневно совершаемых вдвоем, он излагал Наде ход своей работы, проговаривал — тут уже не шепотком — еще не вылившиеся на бумагу страницы, как бы читая с незримого листа. Это превратилось в привычку, стало потребностью. У них был уговор: Крупская обязана выкладывать сомнения, возражения. И даже входить в роль читателя из породы тугодумов, которого они между собой именовали «беспонятным».

Опубликовав «Что делать?», дав там свой ответ-открытие: сплотиться в партию профессионалов революционеров,— Ильич томился скудностью связей с Россией, треклятой эмигрантской оторванностью. Его преследовала бессонница. Но силы рвущейся к борьбе натуры, могучая воля были, казалось, беспредельны. Нет, напряжение перехлестнуло некий край, какие-то резервы организма истощились, возникла тяжелая нервная болезнь — воспаление кончиков грудных и спинных нервов, причинявшее мучительную боль. По удивительному совпадению это страдание, как сообщил врач-немец, именовалось: священный огонь.

— Если заболел, самое главное — сохранить ясную голову, не падать духом,— говорил Ильич.

В тот раз он прохворал около месяца.

Года полтора спустя Ленин писал свою следующую крупную вещь «Шаг вперед, два шага назад» о только что сложившемся меньшевистском крыле в партии. Вновь Надежда Константиновна была словно повитухой рождающейся книги, была посвящена в таинство, в муки рождения.

Замысел в ходе работы менялся. Ирония, высмеивание вчерашних товарищей по старой «Искре» переходили на глазах Крупской в ненависть, становившуюся день ото дня все более резкой, исключавшей примирение.

— Знаешь,— объяснял Ленин,— я теперь проделываю нечто напоминающее детскую игру в кубики. На каждой стороне такого кубика изображена часть какой-то картинки. В несобранном виде такие кубики — нелепое, бессмысленное нагромождение. Но их вертишь так и этак, прикладываешь один к другому, и вдруг получается рисунок. Получился он и у меня. Тут уже не какие-либо отдельные глупости, писк обиженного самолюбия, амбициозность, всякие выпады, шпильки, а целая политическая физиономия. Физиономия людей, которые уходят и на решительных поворотах неминуемо уйдут от революционного марксизма.

Он видел неизбежность рвать до конца с теми, кого в разговорах с Крупской честил никчемными интеллигентами, анемичными старыми девами, жульбиями, перебежчиками в стан буржуазного индивидуализма.

— С личика яичко, а внутри болтун! — восклицал Ленин.

Свойственные ему неукротимость, пламенеющий мозг, ничем не gasимое упорство сочетались в нем с трезвейшим учетом реальных обстоятельств, с хитроумностью стратега-аналитика, вступившего в длительную, тяжкую войну. И весь уклад жизни Ильича — по крайней мере до тех пор, пока исступление, внутренние бури не переворачивали установившегося обихода, — мог служить образцом трудовой размеренности, упорядоченности. Ритмично день следовал за днем: завтрак, работа, обед, прогулка, снова работа, ужин, еще раз прогулка, сон. Да, такой ритм был приспособлен для долгой-долгой, тянущейся десятилетиями борьбы.

— Вести ее по всем правилам военного искусства! Не только сметь, но и уметь! — сам себя наставлял Ленин.

На первом этапе еще преждевременно бросить меньшевикам в лицо — в преподлейшую харю, как выражался Ильич, разговаривая с женой, — вот эти клеймящие эпитеты, ругательства, издевку, что распирали

его. Надобно, не поступаясь ни капельки принципами, сохранить доказательно спокойный, почти исследовательский тон. И Ленин вымарывал слова ненависти, она уходила в подоснову пронизанного холодной логикой аналитического текста.

Это самоукрошение, борьба с самим собой, с собственным бешенством нелегко ему давались. Опять начались головные боли, пропадал аппетит, изнуряла бессонница, здоровый загар ходака и спортсмена уступил место бурому, исчерна-желтому оттенку, узкие карие глаза, а также и волосы теряли блеск.

Наконец «Шаги» были завершены, отданы в печать.

И снова кончики спинных и грудных нервов. Ленин опять высказал свое:

— Главное в борьбе с болезнью удержать ясность головы, присутствие духа.

Несколько притушив медикаментами мучительный «священный огонь», Ильич в компании с неизменной своей спутницей ушел на три или четыре недели бродяжничать в снега швейцарских гор, ища безлюдия и безмолвия. Вернувшись из целительного странствования, он опять предстал крепышом, здоровяком, который способен и выжимать гири-двухпудовки, и в один присест исписывать страницы, обретшим вновь живость движений, иронию, блеск зрачков, организатором, душою своей фракции, твердокаменным, непримиримым, преисполненным неисчерпаемого оптимизма воителем-марксистом.

Всякое бывало в последующие годы — и пики духовного подъема, и промежутки депрессий, рецидивы головных болей, знакомого нервного страдания. И восстановление здоровья в глухоты, и снова прилив сил, снова борьба.

И вот нынешний день — революционный Питер, доклад большевикам в этой комнате на верхотурке. Доклад о задачах партии.

Слегка раскачиваясь, ничуть не запинаясь, не подыскивая слов — они льются щедрой россыпью, — в излюбленной воинственной позе — большие пальцы в проймах жилета, кулаки выставлены, будто готовые к драке, — Ленин выпаливает:

— Революция делалась, а полиция оставалась, революции делались, а все чиновники и прочая шатия оставались. В этом причина гибели революций. Задача

рабочего класса в том, чтобы разрушить сверху донизу и снизу доверху всю эту машину.

Ошеломляюще новы эти тезисы. Пожалуй, лишь она одна, Надежда Константиновна, уже в подробностях знала, восприняла мысли, сейчас увлеченно излагаемые Ильичем.

...Это было в той же цюрихской комнате, окно которой выходило во двор колбасной фабрики. Крупская лежала, обессиленная жаром, державшимся уже несколько суток.

Подступили сумерки — они рано вползали сюда, в темноватое даже среди дня помещение. Владимир Ильич, уже сбросивший пиджак, подтянувший рукава сорочки, быстро и ловко прочистил ежиком стекло керосиновой лампы, ножницами обрезал нагар — его аккуратность оставалась неизменно пунктуальнейшей, — зажег фитиль. Минуту спустя лампа ярко разгорелась. Он посмотрел на больную, улыбнулся, соорудил из картонной папки заграждение, чтобы свет не беспокоил Крупскую. Однако проворство движений, улыбка Ильича не обманули жену.

Куда он денет буроватый нездоровый налет, подернувший лицо? А угловатые, монгольского рисунка скулы явственно красны. И в ловких точных движениях сквозит что-то нервическое, доступное, пожалуй, не взгляду, а передающееся словно эманация или ток. Ох, его переполняет, распирает, жжет нечто, не вылившееся еще в строчки. Особенно пугающи эти два красных пятна на скульных выступах — таким и раньше бывал признак надвигающегося нервного огня.

— Володя, если ты уже видишь новую свою брошюру, то...

Досказать не пришлось.

— Выложить тебе? Нельзя, Надюша. Тебя это утомит.

— Володя, мне будет легче, когда ты вот тут сидешь... Или, коль захочется, ходи... И всю ее расскажешь.

— Доктор за такие дела меня повесит.

— Зачем ему докладывать? Мне полегчает, поверь. А то и ты, чувствую, томишься, и у меня на душе

муторно... Буду тебя слушать, мне это покой.— Чуть сморщилась обметанная лихорадкой верхняя губа, над ней обозначилась морщинка, след улыбки.— А для большой что самое главное?

— Гм, гм... Но обещаю слушать только вполуха.

— Обещаю.

— Я же в свою очередь обязуюсь вогнуть тебя в дремоту длинными цитатами.

И без дальнейших словопрений Ильич принялся проговаривать уже почти совсем сложившуюся в уме книгу, что стала впоследствии известна под заглавием «Государство и революция». Различные выписки и заметки для нее заключала в себе толстая тетрадь в синем твердом переплете, два или три месяца сопутствовавшая Ленину в его ежедневных посещениях библиотек Цюриха.

Взяв со стола эту тетрадь, он повертел ее и положил на одеяло, прикрывавшее Надежду Константиновну. Затем весело хмыкнул и вдруг отколол коленце: сделал вид, будто поплевал на широкие ладони, крепко потер руки, как бы предвкушая топорище или черенок лопаты или весла.

— Мерзавцы! — в лад мыслям протянул он.

Конечно, не требовалось объяснять жене-другу, кого он разумеет.

— Между прочим, мне раскрылась,— продолжал Ильич,— примечательная вещь. Если изучить историю их измены, то теперь я могу указать пальцем: вот тут-то, даже в лучших ваших работах, вы подретушировали Маркса, умолчали о его истинных взглядах, обкорнали, обкрутили революционное, колючее,— Ленин ткнул в воздух рукой,— острие его анализа. Интересно, что эти первые подшабривания, первые зародыши предательства относились как раз к проблеме государства. Эва, какой орешек — тьфу, гнилой — довелось походя раскрыть.

Ленин снова взял тетрадь, видимо, чтобы подкрепить точными ссылками свое утверждение, но передумал, стал медленно листать.

Он на ежедневных прогулках, когда Крупская еще не слегла, рассказывал, как идет работа, все более втягивавшая, увлекавшая его, делился добытым. Рисунок или, верней, абрис, что он методично складывал из там и сям разбросанных высказываний Маркса и Энгельса, нередко содержащихся лишь в строках писем,

опубликованных далеко не полностью, постепенно становился цельным, обретал законченность. Но к последовательному изложению Ленин в тот вечер приступил впервые:

— Пока что еще не решил, в каком порядке расположу материал. Не знаю, с чего именно начну.— Он продолжал перебирать, охватывать взглядом страницы.— Черт возьми, я теперь еще более влюблен в Маркса и Энгельса!

— Ну, вот и начало!

Ильич рассмеялся:

— Что же, может быть, во введении как-то сие выражу.

— Глядь, сразу же и разбежишься.

— Влюблен,— повторил Ленин.

Это признание и впрямь как бы дало ему разбег. Еще минуточку-другую он посвятил, так сказать, лирике, восторгу, волнению, которые в нем вызывали творцы научного социализма. И легко вступил в круг своей темы.

Расхаживая, точно бы в камере, по коротенькой диагонали комнаты от стола к узкой кровати, где, переложив выше подушку, расположилась поудобней Крупская—вся его в единственном числе аудитория,—он обстоятельно, без спешки, но и без сколько-нибудь длительных пауз наметил вопросы, которые от главы к главе составят брошюру. Синяя тетрадь теперь то и дело исполняла свою службу. В изобилии давались цитаты—и обещанные, «длинные», и короткие, «драстически», по брошенному Лениным словцу (то есть характерно, метко, сильно), выражающие суть вещей.

В начальных главках он стремился обрисовать в целом, оконтурить учение Маркса и Энгельса о государстве:

— Революция пролетариата разобьет, сломает вдребезги, сотрет с лица земли нынешнюю машину власти, заменит ее новым государством, которое, поскольку сами трудящиеся массы возьмутся за дело управления, уже не будет представлять собой государство в точном значении слова. Оно явится своего рода переходом от государства к негосударству, станет постепенно отмирать или, как пишет Энгельс в «Анти-Дюринге», само собою засыпать. Только такое—то есть мало-помалу отмирающее, засыпающее—государство и потребует пролетариату после того, как

эксплуататорские классы будут насильственно разгромлены. Главная же историческая задача грядущей революции заключается в том, чтобы государство полностью исчезло.

Крупская слушала, не перебивая. Вот веки слегка опустили на выпуклости глазных яблок. Ильич бурлил, а она лежала успокоенная.

Наконец Ленин заметил, что глаза жены полузакрыты:

— Надюша, устала?

— Нет, мне хорошо.

— Ладно. Наговорил с три короба. Завтра продолжим. Теперь укладывайся-ка по-настоящему. И спать, спать, спать!

— Нынче усну, кажется, на совесть. Подобно твоему,— опять под широковатым носом Крупской прорезалась морщинка,— твоему будущему засыпающему государству.

— Э, не бери его в пример. Оно, во-первых, еще не появилось, а во-вторых, когда появится, то уснет не скоро.

...Привернут фитиль лампы. Больная дышит ровней, погружаясь в сон. Слух еще ловит, регистрирует движения Ильича.

Он растворил фортку. Воздух здешней мягкой зимы заструился в комнату. Почудилось, Володя бормотнул:

— Колбасный дух!

Да, ароматами колбасной фабрики о себе напомнила надоевшая до чертиков, петлей стискивающая глотку швейцарская действительность. Он еще постоял у окна. Тетрадь в синей обложке, на которой крупно выведено «Марксизм о государстве»,— его отрада, работа по плечу, мечта. Еще несколько дней он пороеется в библиотеке, дочерпывая, так сказать, остатки, а затем—писать! Ужасно хочется—он в сегодняшнем проговаривании именно так и воскликнул,—ужасно хочется написать эту книгу.

Еще несколько вечеров Ленин, руководствуясь синей тетрадью, перемежая цитаты собственными комментариями, как бы уходя иной раз в сторону, затем

с другого бока вновь развивая стержневую мысль, вычитывал, выговаривал перед Надеждой Константиновной ясный его умственному взору текст.

Простуда, державшая Крупскую в постели, мало-помалу смягчилась, жар снижался, шло выздоровление. Надежда Константиновна уже располагалась полусидя, уже могла внимательней, острее схватывать речь-читку Ильича.

В какой-то вечер он закончил проговаривание брошюры.

Крупская, которой уже было разрешено вставать, одетая в темное глухое платье, не сразу высказалась, смотрела в окно, собираясь с мыслями. Потом медленно прошла, сутулясь, заложив за спину руки. Откинула выбившуюся русую прядь:

— Володя, это для тебя очень нутряная книга. Я слушала и не могла отделаться от впечатления, что ты уже давно то так, то этак к ней подбирался, но лишь теперь отыскал все нужное, вывел здание, где одна балка крепит другую. И вместе с тем все это вкупе поражает неожиданностью, представляет Маркса каким-то новым, еще нами не известным.

— Вот-вот... И я в своих раскопках испытывал порой нечто подобное.

Получив ответы на несколько недоумений, Крупская произнесла:

— А если все-таки это, как ты его называешь, полугосударство не получится? Особенно если взять Россию. В ней же ой как сильны вековые традиции чиновничьего управления!

— Да! И как раз поэтому ой как ненавистны! Революционная ярость разнесет их в клочья. Поистине, камня на камне не оставит.

— А дальше? Предположи все-таки, что твое засыпающее государство не удастся? Не захочет засыпать. Ну, не выйдет это дело, и все тут!

— Как то есть не выйдет? Оно, повторяю, не сочинено, оно открыто революцией пролетариата.

— У тебя же много раз подчеркивается, что открыто лишь в зародыше. А если зародыш станет развиваться не по Марксу, не по твоей книге?

— Возможно. Более того, жизнь обязательно обогатит схему, внесет массу неожиданного. Реальное развитие неизбежно пойдет в другой форме, иначе, чем это написано в самых лучших книгах.

— Ну, а все-таки... Все-таки, если из зачатка вырастет не то, чего ты ждешь?

— Гм... Архиупрямый попался мне читатель.

— Уходишь, Володя, от ответа.

Ленин тотчас нашелся:

— Не упускать красной нити — вот где ключ! Надо постоянно держать в уме, мысленно видеть эту нить, хотя в жизни она будет невероятно извилистой, петляющей, запутанной. Однако в неизбежных поисках, блужданиях мы всегда будем видеть свою красную нить, указывающую начало, и продолжение, и завершение пути. Иначе дело швах!

Надя в эти минуты вновь ощутила завладевший Лениным раж, бешеное исступление, одержимость. От лысого купола опять будто исходили разряды электричества. Превосходно зная, разгадывая своего Ильича, она все же поражалась заново его характерному свойству — сочетанию фанатичности, которую ничем не поколеблешь, с противоположной, казалась бы, чертой: вкусом к трезвейшему, зоркому, далеко идущему в действительность. Жена, однако, еще не уступала:

— А если все-таки новый обиход не считается с этой красной нитью? Как тут вести себя?

Ленин почесал затылок. Не однажды за время супружества Крупская этак же ставила его в тупик. И хорошо, архихорошо, что она не сделалась только поддакивающей, не обезличилась, гоняет его, как на экзамене. Вопросец, шутки прочь, не легкий. И ответа у него, собственно, нет. Только и остается, что поскрести за ухом.

— Гм, гм... быть честным с собой. И с массами. Говорить массам правду. Ничего иного, пожалуй, не придумаешь.

С минуту Надежда Константиновна молча смотрела на мужа. Вот ласка, преклонение просияли в ее взгляде. Откинута придирчивые «если». По-прежнему флегматичная на вид, чуряющаяся громких слов, верная спутница промолвила:

— Володя, мне кажется, эта работа станет твоим новым «Что делать?».

— Не знаю. Тут предсказания невозможны.— Ленин обратил глаза к своей тетради, синевшей посреди стола.— Во всяком случае, ежели не нам, то переемникам нашим сие сгодится.— Эти слова «переемникам

нашим» были грустноватыми, невольно напомнили другие, сказанные им в Цюрихском народном доме: «Мы, старики, может быть, не доживем...»

Однако дожили.

Вовек, наверное, та минута не изгладится. Ильич после обеда уже собрался идти в библиотеку — ему требовалось еще кое-что прочесть, отпрепарировать, чтобы дня через два-три приняться за писание, — и вдруг в дверь постучали, и в следующий миг раздалось:

— Вы ничего не знаете? В России революция!

Не сразу поверилось. Пошли на улицу глянуть воочию на экстренные выпуски газет. Да, телеграфные агентства сообщали, что в Петрограде совершилась революция, войска присоединились к восстанию, министры арестованы.

Потом ходили вдвоем по берегу Цюрихского озера. Ильич мало говорил, и то лишь отрывистыми фразами. Отдаваясь переживаниям, он непроизвольно ускорял шаг, Надя ухватила его руку, придержала. Взявшись, словно молодая пара, за руки, они, долго ли, коротко ли — этого память не сохранила, побродяжничали. Мысли были поглощены Россией. Стремление действовать калило, терзало Ильича: туда, туда, скорей туда!

Долго ли еще придется сидеть здесь — в этом невыносимом далеке? Как, каким способом, какой дорогой вырваться в Россию? Через Англию пути нет — интернационалистов, призывавших отринуть защиту отечества в этой войне и повернуть оружие против имущих в собственной стране, Англия не пропустит.

Лететь на аэроплане? Ильич в какую-то бессонную ночь высказал Наде этот фантастический проект. Под ее ироническими замечаниями развеселась такая затея.

Потом у Ленина возникали еще всяческие замыслы. Например, достать паспорт какого-нибудь иностранца, гражданина нейтральной страны, скажем, шведа, и нелегально пробраться в Стокгольм. А там уже рядом и Россия.

— Володя, ты же по-шведски — ни бум-бум.

— Так буду немым!

— А когда к тебе по-шведски обратятся?

— И глухим тоже. Глухонемой швед!

— Глухонемой швед,— с улыбкой повторила Крупская, глядя в сверкающие возбужденные щелки Ильичевых глаз.— Буду теперь так тебя называть.

Крупская смеялась, но в данном случае это не подействовало. Ленин с невероятным упорством держался диковинной своей придумки.

Тем временем блеснула новая возможность: русские эмигранты едут легально через Германию в вагоне, который будет считаться экстерриториальным. Ленин без колебаний ухватился за такой план, стал вербовать сторонников, разносил сомневающимся. Они были и среди большевиков:

— Не решаюсь на такое: с дозволения кайзеровских милитаристов катить через Германию...

— А хотя бы через ад! — отвечал Ильич.

...Вот наконец и укладка в дорогу. Сбор отъезжающих назначен в Берне.

— Надя, едем туда первым же поездом!

— Что ты? У тебя и книги-то еще не сданы в библиотеку.

— Сбегаю. Успею.

Сдаваясь, она подтрунила:

— Эка, все бегом, бегом.

— Не бегом, а вскачь! — воскликнул Ленин.

И залился смехом. Разного рода смех был свойствен ему, и саркастический, и проникнутый иронией, и рожденный чьей-либо шуткой, острым словом, но иногда и этакий — совершенно детский, рационалистически вряд ли объяснимый, вызванный как бы просто-напросто радостью существования, ощущением: силушка по жилушкам. Крупская любила этот залиvistый беззаботный его смех. Теперь, значит, отодвинулось грозившее ему опять заболевание нервов, священный огонь, которого она постоянно опасалась.

Вмиг одевшись, уместив книги под мышку, взбросив на голову изрядно облезлый котелок, Ленин действительно не побежал — поскакал из комнаты.

Вернувшись какое-то время спустя, он, не теряя ни минуты, взялся за разборку своего бумажного хозяйства. Пришлось махнуть рукой на периодику, на прочие издания, ранее бережно хранимые, скопившиеся за годы войны, — эти брошюры, газеты, журналы на немецком, французском, итальянском,

голландском, английском языках были перекличкой интернационалистов разных стран, интернационалистов, которые, казалось бы, ничтожной кучкой противостояли государственной машине, бронированному кулаку, социал-прихвостням в собственных отечествах. Лишь свои детища — комплект газет «Социал-демократ» и два сборника «Коммунист» — Ильич забирает в чемодан.

Конспиративная переписка, шифры, химия летят в печку.

Вот он на мгновение опустил на корточки, перед раскрытой заслонкой. Опять, как и бывало, в отблесках пляшущего пламени ярко зарыжели, стали будто огненными разлохматившиеся сегодня остатки волос на голове, борода и усы.

В чемодан ложатся копии четырех «Писем из далека», посланных в «Правду», и незаконченное пятное, оборванное коловращением этих дней. Затем в чемодане размещаются стопки пронумерованных тетрадей, где содержатся конспекты работ Гегеля с заметками по ходу чтения — Ильич здесь много месяцев корпел над Гегелем, еще и еще довооружался диалектикой.

А вот и синяя тетрадь в твердой обложке — материалы к ненаписанной книге о государстве. Надежда Константиновна, уже упаковавшая свои рукописи и конспекты, теперь занятая укладкой белья, видит эту тетрадь Ильича:

— Ужасно хочется написать... Да?

Ленин мгновенно отвечает:

— Нет!

Крупская удивлена. Он подается к ней, почти касается губами ее уха, не закрытого прической, и, понизив голос, признается:

— Ужасно хочется это проделать!

...Питер. Пучки прожекторного света выхватывают из ночной мглы несчетное число рабочих кепок, шапок, полушалков на площади Финляндского вокзала. Это пролетариат, тот самый класс, предназначение которого некогда открыли Маркс и Энгельс. Башня бронированного автомобиля, тоже высвеченная, возвышавшаяся над морем голов, стала первой питерской трибуной только что приехавшего Ленина.

— Да здравствует социалистическая революция! — провозгласил он.

Ильич и сейчас на собрании большевиков, теснящихся в одной из верхних комнат Таврического дворца, говорит о том же — о следующем этапе революции, о вырисовывающемся впереди пролетарском государстве. Тут он не цитирует Маркса и Энгельса, для цитат нет времени, лишь бегло упоминает эти имена, надо вместить, вжать в часовой доклад свой анализ революции, ее перспектив, задач, пробежать по строю владеющих им мыслей, как бы вбить осевые колышки нового политического плана, что он предлагает партии.

Речь будто скачет, как поток от камня к камню:

— К народу надо подходить без латинских слов... Сказать о Коммуне — не поймут. Но сказать, что вместо полиции, вместо чиновничества — Совет рабочих и батрацких депутатов, это поймут. Поймут, если выступим в Советах: берите власть, берите управление, и некому нам помешать. Пробуй, ошибайся, учишь управлять.

Теперь Ленин говорил без жестов. Мысль, которую он хотел передать, внушить аудитории, всецело завладела им. Лицо едва уловимо изменилось. Пристально глядевший на Ленина Кауров не сразу смог определить, в чем же проявилась эта перемена. Но вдруг вообразил: глаза! Глаза, хотя и ушедшие вглубь, засверкали, в них выразилась крайняя сосредоточенность, что-то удивительно настойчивое. Это была видимая всем интенсивная, воздействующая почти гипнотически работа его мысли. Вместе с тем он всматривался в слушателей, а точнее, в некую блистающую точку, что его самого гипнотизировала. Необыкновенная жизнь глаз Ленина-оратора притягивала (или, как позже сказал один из его друзей, привинчивала) внимание к смыслу речи.

— Законы важны не тем, что они записаны на бумаге. Важно, кто их проводит. Если напишете самые идеальные законы — кто их будет проводить? Те же чиновники. Лишь когда Совет рабочих депутатов возьмет власть, дело революции будет обеспечено.

Опять в руке Ленина четвертушка бумаги — его тезисы. Он прочитывает еще несколько строк:

— Партийные задачи: 1) немедленный съезд партии; 2) перемена программы партии, главное: а) об империализме и империалистической войне, б) об отношении к государству и наше требование «государства-

коммуны». То есть такого государства, прообраз которого дала Парижская коммуна.

Далее он снова выдвигает требование решительного, полного разрыва и с социал-шовинистами, и с «центром», получившим преобладание в Циммервальде и Кинтале. И опять он, выбросив перед собой кулак, наносит удар по редакции «Правды»:

— Нам проповедуют примирение, соглашение с центром. Вы должны выбрать: или революционный новый Интернационал, или болото предательства.

Кауров опять покосился на стоявшего чуть позади Кобу. Тот не переменял своей спокойной позы, привалился, как и раньше, плечом к дверному брусу. Лицо оставалось безучастным, даже не вздернулась бровь. Лишь радужница глаз, полузакрытых как бы сонно спустившимися веками, стала совсем желтой, цвета столовой горчицы. Мелькнула мысль: не сыграло ли тут шутку отражение бликов солнца со сводчатого в позолоте потолка? Нет, верней было другое: столь густая прожельть немо выказала крайнюю степень раздражения.

Продолжая речь, Ленин вновь упомянул, что выступает только от своего имени:

— Лично от себя — предлагаю переменить название партии, назвать *Коммунистической партией*. Название «коммунистическая» народ поймет. Большинство социал-демократов изменили, предали социализм. Не цепляйтесь за старое слово, которое насквозь прогнило. Вы боитесь изменить старым воспоминаниям. Но чтобы переменить белье, надо снять грязную рубашку и надеть чистую.

Кауров опять краешком глаза глянул на Кобу. Теперь взор Сталина был обращен вниз, не виден, голова, словно в дремоте, свешена, руки покоились на животе.

— Хотите строить новую партию? — стремительно вопрошал Ленин. — Тогда угнетенные всего мира к вам придут. Массы должны разобраться, что социализм раскололся во всем мире. Оборонцы отrekliсь от социализма. Либкнехт выступал одиночкой. Но вся будущность за ним.

У двери, расположенной позади столика, возле которого стоял говоривший Ленин, происходило тем временем какое-то движение. Кто-то склонился к уху Зиновьева, что-то ему сообщил. Дело было в том, что

в большой зал уже сходились делегаты-меньшевики для участия в объединительном — совместно с большевиками — заседании, где, в частности, предстоял и доклад Сталина. Теперь снизу пришли с предложением или просьбой: пусть Ленин тотчас перед социал-демократами всех фракций повторит свою речь. Зиновьев быстро настрочил записку. Сидевший рядом Каменев, чувствовалось, не терял благодушия под ударами оратора, разносившего позицию редакторов «Правды», и лишь при особенных резкостях, вырывавшихся у Ленина, неодобрительно морщился. Иной раз усмешка шевелила золотистые усы. Он прочел бумажку, передал Владимиру Ильичу и спокойно на него воззрелся, поигрывая снятым пенсне. Ленин взглянул на записку, повернул голову к Каменеву. В этом ракурсе завиднелся скульный бугор и острый кончик брови, что была похожа на сорванный, обильный остью, густой колос. Словно боднув кого-то этим кончиком, Ленин опять слегка наклонил корпус к аудитории:

— Я слышу, что в России идет объединительная тенденция, объединение с оборонцами. — И вновь садал: — Это предательство социализма.

Опять под конец речи он вынужден был произносить «я»:

— Я думаю, что если вы на это пойдете, лучше остаться одному.

Суровая складка обозначила сомкнувшиеся его губы. Доклад закончился. Ильич пошел к ряду стульев, где сидела Крупская.

В комнате зашевелились, поднимаясь с мест. Зиновьев стучал по столу, давая знать, что собрание не закрыто.

Коба придвинулся к Каурову и сквозь немного скошенные внутрь зубы заговорил на грузинском языке:

— И останется один!

Помолчав, увидев в каком-то между спин просвете Ленина, подошедшего к Крупской, добавил опять же по-грузински:

— Один! Или вдвоем со своей бабой!

Затем сказал по-русски:

— Приходи ко мне вечером в «Правду». Приходи попозже, часов в одиннадцать, когда в редакции не будет толкотни. Уединимся, побеседуем.

И, добыв из кармана трубку, не ожидая каких-либо последующих выступлений, не обратив на себя ничего внимания, проскользнул в дверь.

Поздним вечером, как было условлено, Кауров разыскал редакцию «Правды», обосновавшуюся теперь на Мойке вблизи Невского, во втором этаже большого дома, где в начальные же дни революции большевики завладели типографией, принадлежавшей «Сельскому вестнику».

Дверь в редакцию была приотворена, оттуда слышался стрекот пишущей машинки. Миновав машинистку, ни о чем не спросившую вошедшего солдата, Кауров толкнул дверь в следующую комнату и сразу же увидел за письменным столом знакомое усатое лицо. Коба приветливо сощурился, приподняв нижние веки. Эта игра век свидетельствовала, по старой памяти догадался Кауров, что дневной приступ раздражительности сменился состоянием, о каком сказано: в своей тарелке. Щеки и сильный подбородок за день подернулись черноватой порослью, не тронувшей щербин. Из небрежно расстегнутого воротника рубашки проступали кадычные хрящи.

На столе простерся корректурный, с большими полями, исчерканный пером, оттиск завтрашней газеты. К ночному посетителю повернула голову стоявшая возле стола коренастого сложения женщина лет сорока, в светлой блузке, повязанной по-мужски галстуком. Что-то знакомое почудилось Каурову в широко расставленных, несколько косога разреза, карих глазах, в приметно выступающих скулах, в славянски круглом коротковатом носе, в густых, с длинными остинками бровях. Однако ничего определенного в уме не всплыло.

— Того, садись,— вымолвил Сталин.— Сейчас закончу.— И обратился к женщине: — Хватит рассосоливать.— Интонация стала жесткой, хотя он не повысил голоса.— Как я исправил, так и сделать.

— Но это же...

— Повторяю: хватит! — по-прежнему негромко перебил Сталин.— Не намерен, товарищ Ульянов, с вами дальше пустословить.

Так вот это кто! Секретарь «Правды» — младшая сестра Владимира Ильича. Да, в чертах много сходства. Ее губы обиженно сжались.

— Поезжайте-ка домой,— продолжал Коба.— Примите на ночь валерьянки, чтобы успокоить нервы. Управлюсь как-нибудь без вас.

Мария Ильинична рывком взяла со стола корректурный лист, скулы вспыхнули, она без слов быстро пошла из комнаты, выставив вперед левое плечо, этим тоже напомнив характерную манеру Ленина. За ней хлопнула дверь.

— Норовец такой же самый,— прокомментировал Коба, не считая нужным пояснить, кого с ней сравнивает.— Обомнется, пичего. На упрямых воду возят.— Он усмехнулся.— Кряхти, да гнишь, упрешься — переломишься.

Кауров мысленно отметил эти новые в лексиконе Сталина русские простонародные речения и поговорки, явно усвоенные в трехлетье последней сибирской его ссылки.

Помолчали.

— Такая штука! — с улыбкой молвил Коба, оглядывая Каурова, уже снявшего папаху, обнажившего лобные взлизы, что еще удлинняли продолговатую розовощекую физиономию.

Опять потянулось молчание. Сталин не спешил начинать разговор. Он достал из кармана короткую обкуренную трубку, выколотил о каблук стоптанного башмака прямо себе под ноги, где и без того серел втоптаный в половицы пепел, набил темным дешевым табаком, вдавил табак большим пальцем, будто подгоревшим, коричневатым, сунул гнутый покусанный мундштук под усы. Впрочем, глагол «сунуть», пожалуй, ассоциируется с быстротой. Коба же, держа трубку в левом кулаке, не согнул руку попросту в локте, а сделал всей рукой круговое движение, включив в помощь и плечо, то есть как бы занес чубук с противоположной стороны. На памяти Каурова эта рука гораздо живей действовала. Сталин поймал сочувственный взгляд друга, проговорил:

— Что-то с вчерашнего дня опять она попортилась.

— Тебе, Коба, надо бы полечить руку в Эссенуках. Там есть чудо-грязи.

— Революция не дает отпуска.— Сталин зажег спичку, прикурил, выпустил дым изо рта и из ноздрей. Затем подвигал локтевым суставом попорченной руки.— Разработается... Курить не бросил? Так угощайся папиросами.

— Да у меня свои.

— Э, мы с тобой стали забывать грузинские традиции. Хоть чем-нибудь, а друга потчуй.

Коба выдвинул ящик, извлек коробку папирос, метнул Каурову. И опять пожмурился, выказывая расположение. Да, сейчас это был как бы вовсе не тот человек, который после трех лет разлуки бесчувственно бросил: «занят», не тот, что со змеино-желтоватыми глазами прошипел: «и останется один!» Кауров взял папиросу, задымил.

— Теперь, Того, вываливай впечатления. Что насчет Старика скажешь?

— Коба, а где ты был, когда он второй раз выступал? Я уж во все стороны глядел, а тебя так и не увидел.

Сталин, однако, как и в прежние времена, пресек любопытство собеседника:

— Не важно, был, не был. Не обо мне толк.— И повторил: — Что о Старике скажешь?

Каурову пришлось совершить усилие, чтобы наперекор чему-то давящему, исходившему от Кобы, ответить без уклончивости:

— Меня, какая штука, он убедил.

Эх, прокралась все-таки «какая штука».

— Почти убедил?

Черт возьми, этот нелегкий собеседник, знававший, казалось, лишь топорно обтесанную, лаконичную речь, тонко схватывал психологические нюансы. Кауров признался:

— Почти.

— Другой коленкор.

Сталин поднялся и, покуривая, принялся ходить. Это было своего рода молчаливым приглашением: выговаривайся, послушаю.

...Выступая в этот же день вторично со своими тезисами — теперь в большом, что звался белым, зале, где собрались и меньшевики и большевики,— Ленин

построил свое слово иначе, чем перед однопартийцами, в тесноватой комнате на хорах. Там, на верхотуре, ему был дан только один час. Он лишь как бы выкинул свой флаг, изложил череду мыслей, набегавших одна на другую, составивших цельную программу, с которой и ради которой прорвался сюда, в революционный Петроград, неслыханно новую для всех, объявленную до ультимативности твердо, поневоле сжатую и из-за этого, быть может, особо удивлявшую.

В белом же зале он говорил два часа. Его появление на трибуне, позади которой над столом президиума зияла пустотой золоченая рама — в ней еще недавно обретался портрет императора, — не вызвало хлопков. Вместе со всем залом настороженно затих и левый сектор — пристанище большевиков. Ленин быстрым и, как воспринял Кауров, угрюмо непреклонным движением провел вправо-влево по рыжим усам и опять начал с заявления, что выступает лишь от своего имени.

Вновь оглашал тезисы, гвоздил и гвоздил. Теперь аргументация стала более развернутой. И хотя Ленин обращался ко всей аудитории, в которой преобладали делегаты-меньшевики, — военная форма была и для многих из них печатью времени, — Кауров не мог избавиться от ощущения, что вновь запламеневшие узкие глаза оратора и сама быстрая речь как бы выделяют, имеют в виду тех, кто уже выслушал слово на хорах.

Не заглаживая колюще-острых углов своей программы, выпаливая резкости, Ленин вместе с тем обстоятельно разбирал темы, на которые и для Каурова еще требовался ответ. Нет, это не касалось вопросов о войне, об интернациональном долге пролетарского революционера, о разрыве с любыми течениями, допускающими хотя бы на капельку — этакое «на капельку» Ленин дважды или трижды употребил в разных местах речи, — допускающими оборончество в империалистической войне. Непримируемость Ленина к болоту или так называемому центру, к краснобаям, прикрывающим революционными руладами собственную бесхребетность, тоже пришлась по душе Каурову. «Святая простота» — этим известным выражением Ильич когда-то определил его, пленившегося Эмилем Вандервельде, тоже мастаком фразы, в дальнейшем в первые же дни войны сбросившим покров интернационализма. Ныне-то он, Кауров, — по крайней мере, так

ему казалось — перестал быть простаком, способным клюнуть на приманку фальшивого словца. И был всецело солидарен с Лениным: не верить ни на капельку трубадурам соглашательства, соловьям половинчато-сти, рассыпающим ну совсем-совсем революционную трель.

Но другая проблема — наиважнейшая, центральная, как упирал Ленин, — представлялась Каурову неясной, тут после собрания на хорах в его мысли вторглась смута. Да, бесспорно центральная, в этом нет сомнения: государство, власть... Однако не выдумка ли, не плод ли умозрения, книжности, провозвещаемое Лениным государство-коммуна?

В какую-то минуту стремшина речи добирается сюда. Теперь у Ленина имеется время, чтобы основательнее охарактеризовать воззрения Маркса и Энгельса на сей предмет. Он наизусть приводит их высказывания, забытые, затерянные, не цитируемые пропагандистами и теоретиками социал-демократии. Уже выйдя из-за кафедры, сунув пальцы в жилетные кармашки, то откидываясь с носков на каблуки, то опять подаваясь корпусом вперед, он с явной охотой исполняет эту миссию марксиста-просветителя.

Но самые весомые доводы он еще приберегал. Подошла их очередь:

— Если вы полагаете, что рабочее государство фантазировано, то не угодно ли вам, товарищи делегаты Всероссийского совещания Советов, оглянуться на самих себя? Кто сочинил, кто выдумал Советы? Они рождены жизнью, рождены революцией. Нет реальной силы, которая могла бы их распустить. Они, по сути дела, власть. — Ленин выбросил перед собой обе ладони, как бы подавая, показывая свое утверждение. — Власть или, вернее, из-за присущей соглашателям нерешительности, уступчивости — полувласть. Поскольку эта полувласть существует, постольку в России уже создано на деле, хотя и в слабой, зачаточной форме, новое государство типа Парижской коммуны. Разве оно кем-нибудь придумано? Оно живет рядом с правительством капиталистов.

Некая часть сомнений Каурова рассеялась. Ленин перетаскивал и его на свою сторону. Все же бывший студент-математик, солдат сибирского полка, мог перечислить еще ряд недоумений. Отказаться от демократической республики? Издавна Кауров привык

к мысли, что большевики — самые крайние, самые последовательные демократы. Ленин подошел и к этому:

— История возложила на международное пролетарское движение задачу: вести человечество к отмиранию всякого государства.

Чудилось, его картавость вносит какую-то теплоту жизни, нечто близко ощутимое в слова: международное пролетарское... Нет, дело, конечно, не в картавости. Ленин даже интонацией выражал ставшее для него естественным, неотделимым от духовной его личности исповедание, что пролетарии всех стран составляют общность более тесную, более высокую, чем общность нации. Здесь в Таврическом дворце Кауров схватил слухом и глазом этакое естество Ильича, испытал прелесть проникновения. И сразу же доводы Ленина о необычайном государстве, сперва показавшиеся утопистикой, сделались ближе.

— Социалистическая революция, эра которой началась, обретает смысл лишь в уничтожении государства,— опять устремив сверкавшие зрачки в неведомую гипнотическую точку, с силой долбил Ленин.— Путь к этому пролегает через власть Советов. Заявляю без колебаний, что деятельность пролетарской партии стала бы бессмысленной, партия революционного Интернационала изменила бы себе, если не держаться такой перспективы, такой нити.

Он убеждал своей убежденностью. Порою с мест, занимаемых меньшевиками, доносились иронические возгласы, кто-то во всеуслышание пустил оттуда язвительно: «Бред!»— но Ленин не позволял себя отвлекать, прорубался по собственной наметке. Большевики внимали молча. А он все разбирал, рассматривал грядущую власть пролетариата, прощупывал, являл ее упоры. Лексикон был изобилен, низвергались во множестве определения, эпитеты, уподобления, видимо, уже найденные раньше в неотступном думании. И опять наряду с логикой воздействовало и что-то личное: крепчайшая вера в неоспоримость истин, которые он излагал. Чувствовалось, он с личной ненавистью отвергал систему бюрократического управления:

— Надо отбросить закоренелые глупейшие чиновничьи предрассудки, тупую казенщину навыков канцелярской России, реакционно-профессорские измышления о необходимости бюрократизма.

Далее он и тут развил предупреждение Маркса об опасностях, грозящих изнутри государству-коммуне, о возможности превращения рабочих делегатов и должностных лиц из слуг общества в его господ и, опять-таки по Марксу, перечислил меры, которые безотказно предотвратят такую возможность.

— Трудно? — спросил он, наклоняясь к аудитории. — Да! Но трудное не есть невозможное.

Эти вот слова «трудное не есть невозможное» и оказались почему-то последней гирькой, которая перетянула Каурова к ленинским тезисам. Правда, мысли еще не уложились, оставались взвихренными, взбаламученными, еще следовало думать и думать, но Кауров был уже радостно готов, как и в пронесшиеся годы, меченные Вторым съездом, революционным штурмом, поражением, новым подъемом, мировой войной, определиться в качестве ленинца.

В зале меньшевистской стороны возник гул, когда Ленин подошел к своему заключительному тезису, предложил сбросить грязное белье, отказаться от измаранного наименования: социал-демократическая партия — и возродить старое, славное, научно точное звание: коммунисты.

Пережидая шум, прищурясь и вновь обретая вид хитреца, он некоторое время смотрел на своих противников. Затем, так и не откликнувшись на выкрики, сказал еще об одной задаче: создать революционный Интернационал против социал-патриотов, а также и против тех, кто отказывается с ними рвать. На этом он без какой-либо звонкой концовки завершил речь, поставил точку...

— Впрочем, Коба, не точку, а... А сделал обеими руками округляющий жест, вот этак, и будто опустил некий круглый кувшин или вазу на край попитра. Понимаешь?

— Понимаю. Поставил, значит, на край вазу. Что же от нее в тряске останется?

— Ты уже толкуешь символически.

— Хо, попал в символисты. Ладно, давай дальше впечатления.

— Да ты информирован без меня.

— О твоих впечатлениях? Гони, Того, гони.

— Понимаешь, если брать все в целом... Я вот и сам хочу определить: в чем же смысл появления

Ленина, его приезда? И нахожу ответ: он сказал такое... Повторяю, если брать все в целом... Такое, чего никто, кроме него, ни один человек на земном шаре, не сказал бы.

— Не философствуй. А то, кажись, ударишься в теорию героя и толпы. Говори дельней. Что же там было после его доклада?

Кауров начал характеризовать прения, тоже в своем роде примечательные, но в комнату вдруг вторгся Каменев, держа в белой руке исписанные длинные листики.

Пиджак вошедшего был расстегнут, волны русой шевелюры несколько разметаны.

— Трам-бом-бом-бом! — бравурно, в темпе марша, пропел он, взмахивая листками. — Только что закончил. С пылу, с жару!

Его выпуклые голубые глаза скользнули сквозь пенсне по остроносому, с залысинами лицу солдата, которого он сегодня видел возле Кобы.

Коба перестал ходить.

— Ничего. Это мой друг, — проговорил он. — Член партии. Работал в «Правде». Нам он не помешает. — И, не тратя более слов, назвал фамилии обоих: — Каменев, Кауров.

Каменев со свойственной ему рассеянно-благодарной улыбкой поклонился, затем кинул листки на стол:

— Коба, прочитайте. Кажется, удалось обосновать взгляд нашей редакции...

— Нашей партии, — поправил Сталин.

— Совершенно верно. Взгляд партии в противоположность схеме Ленина.

Сталин без улыбки проронил:

— Ленина Ламанчского?

Каменев живо взбросил голову, приоткрыл толстые губы, поцокал языком, как бы что-то дегустируя:

— Ламанчского? Это метко! — Он раскатисто, жизненнолюбно засмеялся: — Метко! Хитроумный гидальго Дон Кихот Ламанчский. Как раз тютелька в тютельку.

Похлопав длинными пальцами по красивому выпуклому лбу, он вслух припомнил некоторые строчки «Дон Кихота»:

— Наш гидальго отличался крепким сложением, был худощав, любил вставать спозаранку и увлекался ружейной охотой. Его возраст приближался к пятидесяти годам.— Каменев снова поцокал:— Кажется, не вру. Все совпадает.— И, вспоминая продолжал:— Отдаваясь чтению рыцарских старинных романов, бедный кабальеро ломал себе голову над туманными оборотами речи и изводил себя бессонницей, силясь их понять, хотя сам Аристотель, если бы нарочно для этого воскрес, не распутал бы их... И однажды наш благородный герой взялся за чистку принадлежавших его предкам доспехов. Произвел и разные другие необходимые рыцарю приготовления. Совершив эту подготовку, почтенный Дон Кихот решил тотчас осуществить свой замысел, ибо он полагал, что всякое промедление с его стороны может пагубно отразиться на судьбах человеческого рода.

— Завидная у вас память, Лев Борисович,— проговорил Сталин.

— Однако пальма первенства в данном случае принадлежит, милейший, вам.

— Что я? Читал в школьные годы «Дон Кихота». Детское сокращенное издание. Теперь, пожалуй, придется вновь взять эту книгу.

— Всенепременнейше. И полный текст... Да-с, объявился современный Дон Кихот. Не на тощем Россинанте, а на броневике. И ходит в котелке взамен медного таза. Впрочем, кажется, уже раздобыл кепку. Да-с, вместо копья перст указующий.— Каменев комически изобразил выпад руки Ленина и, неожиданно вздохнув, произнес какое-то изречение по-латыни. Тут же перевел:— Если бы обрушилась, распавшись, твердь небесная, засыпавшие его обломки не наведут на него страха. Это из Горация... Но вот, Коба, интересно: почему у Старика был такой хитрющий вид?

— Почему?— переспросил Сталин.— Вы, Лев Борисович, мало бывали на толкучих рынках. Плядишь, человек называет цену. А глаза хитрые. Скостит, уступит. В Тифлисе я умел торговаться даже и с армянами. Удавалось сбить запрос.

— Революции всегда запрашивают,— раздумчиво проговорил Каменев.— Маркс писал об этом.

— Ладно. Займемся делом.

Коба сел за стол, придвинул рукопись Каменева, углубился в чтение. Достал не глядя из кармана свою

трубку, привычно выколотил о каблук, положил перед собой.

Вот листки и прочитаны. Коба не спеша набил трубку табаком, скупно обронил:

— Увесисто. Не имею возражений. Но кое-что я бы добавил.

— Ну-с, ну-с...

— В чем, по Ламанчскому, ныне главная задача? Разъяснить, дискутировать, пропагандировать. Нет, мы не группа пропагандистов-коммунистов, не кружок интеллигентов, искателей истины, а партия революционных масс, которая, если мы не будем дураками... Ну, это уже не для статьи.

Четыре года назад на квартире Аллилуевых Сталин почти в такой же формулировке выложил Каурову подобный тезис. Сейчас подумалось: упрямя!

Каменев охотно принял добавления Кобы.

— Превосходно ляжет. Еще пошлифую стиль. Пустим как редакционную?

Левой рукой, опять кружным путем, в обнос усов, Коба сунул трубку в правый угол рта, зажег спичку, раскурил, устремив не выражающий ничего взгляд на язычок пламени, то совсем втягивающийся внутрь чубука, то вдруг вспыхивающий.

— Вдруг, Лев Борисович, дадим за вашей подписью. А во избежание кривотолков вставьте, что редакция «Правды» и бюро ЦК не разделяют тезисов Ленина. Это будет, по-моему, самое целесообразное. Вы не против?

Умная усмешка мелькнула под стеклами пенсне.

— Пожалуйста. На ваше, милейший, благоусмотрение.— Это «милейший» гармонировало с некой барственностью Каменева. Он опять молодцевато пропел: — Трам-бом-бом-бом! Пойду отделывать.

— Садитесь. Вам здесь удобнее поработать.— Сталин поднялся, освобождая стул.— А мы с товарищем Кауровым отыщем себе место.

Неожиданно Каменев сбросил пиджак, остался в жилетке и белой сорочке со съехавшим чуть набок темным галстуком. Округлость плеч и заметное брюшко свидетельствовали, что и в бурях, в трепке он не спадал в теле. Подтянув крахмально твердые манжеты, он воскликнул:

— Драться так драться!

Узенькая комната, куда перешли Сталин с Кауровым, была будто совсем необитаемой. Не было ни стола, ни стула, ни этажерки или шкафа. Лишь у окна приткнулся диван, обитый черной клеенкой, которую кое-где продырявили вылезшие на белый свет пружины. Свет действительно был резко белым: сильная лампочка, не прикрытая каким-либо абажуром, попросту свешивалась на шнуре с потолка. Вколотенные в стену крупные гвозди служили вешалкой: на одном висела солдатская шинель, на другом — фуражка без кокарды. На полу у дивана пятнами серел втоптаный пепел.

— Мое ночное логово,— произнес Сталин.— Случается, застряну — есть где растянуться.

Словно проделывая гимнастическое упражнение, он раскинул на уровне плеч руки, несколько раз согнул и разогнул локтевые суставы. Левая по-прежнему сгибалась лишь наполовину. Коба заставил себя еще и еще поупражняться.

— Открыл бы форточку. Прокурено,— сказал Кауров.

— Ерунда. Сойдет.

Яркое, падающее сверху освещение сделало рельефной, подчеркнуло тенью продольную складочку на тяжелых верхних веках. Прежде, сколь помнил Кауров, такой складки не было. Годы проложили две дорожки и на лбу — две морщины-закорючки, витками взброшенные над переносицей.

Коба кивком указал на диван:

— Располагайся.

Он почему-то заговорил по-грузински, как бы внося этим особо доверительную ноту. Усевшись, Кауров тоже перешел на грузинский:

— Неужели ты действительно хочешь объединения с меньшевиками?

Сталин минуту походил. Встал перед Кауровым:

— У настоящей, Того, хитрости на лбу не написано, что она хитрость.

Когда-то Кауров уже слышал от Кобы этот афоризм. Да, да, это были чуть ли не последние его слова в последнюю их встречу в 1913 году. Удивительно. Сталин теперь с них же начинает.

— Ты же, Того, шахматист. Значит, должен понимать. Объединение — это ход. Конечно, объединив-

шись, мы сохраним собственную фракцию. Но сразу же займем место у руля Советов. Отсюда еще лишь шаг-другой до образования правительства советских партий. Заполучим две-три ключевых высоты. А потом при удобном случае...

Здоровой рукой или, вернее, лишь кистью Сталин сделал скупой жест — в точности такой же, как и четыре года назад в комнатке у Аллилуевых, — будто свернул шею некоему куренку.

— Вели бы наступление под видом обороны, — продолжал Сталин. — И в несколько этапов кампанию бы выиграла. Вот тебе перспектива развития революции.

— Ты говоришь это Ильичу?

— Пытался. Но, как известно, хуже всякого глухого тот, кто не хочет слышать. — В тоне опять просквозило обиженное самолюбие. — Почитал бы ты его статьи, которые он из Швейцарии прислал в «Правду»! Мы их не напечатали. Его беда: потерял ощущение России.

Сталин еще несколькими фразами язвительно охарактеризовал план Ленина. Издал щипящий звук, что-то вроде «п-ш-ш-ш».

— Диалектик! Государство, негосударство, полугосударство... Ха! Ты обратил внимание, как он ходит?

Вновь выплеснулась озлобленность Кобы. Он утрированно изобразил Ленина — выставил вперед плечо, стал кособоким и, устремив взгляд в одну сторону, зашагал в другую.

— Видишь, не туда идет, куда намеревается. — Сталин помолчал. — Так оно, думаю, и будет: не туда придет, куда глядит. И как-нибудь все утрясется.

Кауров не столько возражал, сколько расспрашивал:

— Коба, а вот как насчет войны?

Сталин, не отвечая, занялся трубкой. Кауров, однако, не проявил терпения:

— И почему ты во время войны ничем не дал знать о своих взглядах? От тебя ничего к нам в якутскую ссылку не дошло. Я не раз уже прикидывал: почему Коба не выскажется?

Сталин задымил, поднес огонька к доставшему папиросу гостю.

— А что ты написал?

— От меня, Коба, никто и не ждал этого. Но среди товарищей я не помалкивал. Бывало, махнем в Якутск вместе с Серго...

— С Серго?— живо переспросил Сталин.

— Ну да. Обитали с ним в селе Покровском. Два большевика на все село.

— Как он там переносил стужу? Был здоров? Не тосковал?

— Может быть, и тосковал бы, да...— Кауров за-
пнулся.

— Досказывай.— Сталин по-русски привел пословицу:— В чем проговорился, с тем и распростился. Что он там? Втюрился?

Кауров кивнул. Коба заинтересованно продолжал вытягивать из него подробности. Пришлось рассказывать про влюбленного Серго.

— Врезался!— все так же по-русски определил Сталин. И прокомментировал:— Отсидишь три года в Шлиссельбургской крепости, потянет к бабе.

Кауров отвел глаза. Некий нравственный запрет восставал против грубого суждения Кобы.

— Чего застеснялся, красна девица? Как думаешь, обкрутятся?

— Уверен!

— Ха, что творит Россия! Грузин нашел себе пару в Якутии.

Сталин порасспросил о других большевиках, что в войну отбывали якутскую ссылку. Не обошел и Иркутск, пытливо разузнавал о тамошних революционных делах, о настроениях, о линии большевистской фракции. Затем снова прошелся, раскурил трубку и пере-
менил тему:

— Когда мне, Того, приходится разговаривать по-грузински, то сначала я говорю легко, а потом замечаю, что нет-нет да и подыскиваю слова. А если задумываюсь, думаю по-русски. Окончательно стал русским.

Этот мотив тоже уже был знаком Каурову, хотя резкий грузинский акцент в русском произношении, ошибки в ударениях, от чего Коба так и не избавился, противоречили, казалось, его признанию. Уловив сомнение, Коба подтвердил:

— Стал русским.

— И что же?

— Что?— Сталин помедлил.— Русь, куда ты несешься, дай ответ. Не дает ответа.

На слух Каурова, эти известнейшие слова Гоголя странно звучали в устах большевика. Мысль о неис-

поведимости путей России была, разумеется, чужда русскому марксистскому движению. Оно и возникло-то в борьбе против нее. И вдруг Сталин в узенькой пустой комнате на Мойке в ночной беседе с другом вымолвил: «не дает ответа». Э, так он, кажется, вернулся к тому, о чем сперва не захотел говорить, к словно бы повисшему вопросу Каурова: почему во время войны не высказывался?

Теперь Кауров внимал, не перебивая. Сталин продолжал:

— А товарищ Ламанчский преподносит нам ответ: государство без армии, без полиции.— Пыхнув трубкой, он вынул ее изо рта и с сипотцей дунул в поднимающийся к голой лампочке дымный клубок, который тотчас космами расползся. Картинность заменила ему долгие речи. Он и далее выражался кратко:— Сбросить грязное белье... Это нетрудно, когда дело идет о всяких одежках эмигрантского полупризрачного существования. Нетрудно повернуть туда-сюда...— Сталин поупражнял пальцы, распрямляя и снова сжимая ладонь.— А поверни-ка Россию! Мы уже беремся это сделать, ведем к власти нашу партию.— Он не убыстрял слов, по-прежнему негромких, но говорил с силой, которая ощущалась собеседником.— Позволительно ли нам, революционерам России, рассматривать ее как страну без истории, страну, лишённую национального духа и характера?

Кауров слушал, испытывал опять смятение мыслей. Как отнести к Кобе? К какому направлению его причислить? Социал-патриот? Нет, совсем не то. Но откуда же это у него: Россия, Русь? В дружеском кругу большевиков этак о России не говаривали. Ни на какую полочку его не поместишь.

Многое в нем привлекательно. Вот он только что сказал: ведем партию к власти. Но сам-то отнюдь не властолюбец! Его зарок: ничего для себя. Как и в былые годы, ходит обтрепанным. Ночует на этом продавленном диване, не имея, наверное, ни одеяла, ни подушки. Работает и днями и ночами. И не выставляется, держится не на виду. Так у нас и будет: власть без властолюбия!

Окно уже чуть помутнело. Кауров стал прощаться:

— Надо бы, Коба, еще повстречаться.

— Захаживай.

Однако в считанные дни этого приезда Каурову больше не довелось потолковать с Кобой.

Солдат Кауров вновь приехал из Иркутска в Питер в том же 1917 году на исходе лета или, говоря точнее, в воскресенье двадцатого августа. Тогдашние даты легко запоминались, могли быть и впоследствии восстановлены без затруднения: из них складывался календарь русской революции, на его листках оставались метки несущихся будто наперегонки событий.

В тот ясный августовский день происходили выборы в Петроградскую городскую думу, которым в газетах, что Кауров закупил в вокзальном киоске, были посвящены аншлаги во всю полосу, аншлаги, называемые также шапками на не чуждом ему еще со времен дореволюционной «Правды» жаргоне профессионалов. Каждая призывала, напутствовала на свой лад избирателей.

Нашлась тут и невзрачная газета большевиков «Пролетарий» — орган Центрального Комитета партии. Да, полтора месяца назад «Правда» была разгромлена юнкерским отрядом и запрещена, но потребовалось лишь несколько дней, чтобы ей на смену появился «Рабочий и солдат». Временное правительство закрыло и эту газету, однако почти тотчас же ее место занял «Пролетарий».

Здесь же Кауров бегло просмотрел страницы «Пролетария». Э, передовица, помещенная без подписи, принадлежит, видимо, Сталину. По разным признакам — короткая энергичная фраза, повторы, призванные усилить речь, — можно безошибочно угадать его руку. Даже некоторые документы партии, что Кобе теперь довелось писать, были, на глаз Каурова, словно мечены некой именной печатью.

Как раз в день отъезда из Иркутска он успел заполучить дошедшую из столицы газету своей партии (тогда «Рабочий и солдат»), где было опубликовано обращение питерской городской конференции большевиков «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда». Там говорилось о восторжествовавшей контрреволюции, которая загнала Ленина в новое подполье, уpekла в тюрьму ряд выдающихся вождей отбитой революционной атаки. Сквозь набранные крупноватым шрифтом ровные столбцы как бы проступал знакомый, разборчивый — каждая буква поставлена впрямую — почерк Сталина. Кто, как не

он, мог повторить в этом воззвании строчку, уже дважды или трижды фигурировавшую в творениях Кобы-журналиста: «Мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил!»?

Однако пока что газетка неказиста. Вот куда приложить бы руки, поработать в «Пролетарии»!

— Товарищ, ваши документы!

Этот оклик возвращает Каурова под своды обширного людского пассажирского зала. К зачитавшемуся солдату-иркутянину подступил патруль — два юнкера и прапорщик. У юнкеров — винтовки с примкнутыми штыками. Лоснятся вороненая сталь. Гимнастерку прапорщика украшают белевский Георгий и нашивка за ранские. Глаза холодно озирают солдата, расценивают нерядовое обличье. Чистенько одет. Тонка кожа загоревших щек, нежный румянец сгодился бы и девушке. Багаж явно не солдатский — у ног стоят два чемодана. И впился, извольте видеть, в листок большевистской партни.

Кауров не теряется, кладет на чемодан поверх пачки только что купленных газет свой «Пролетарий», оставляя заголовок на виду.

— Документы? Пожалуйста.

Из полевой сумки, перекинутой на ремешке через плечо, он извлекает хрусткую бумагу. Милости прошу, поинтересуйтесь. Не угодно ли, — нижний чин Кауров подлежит демобилизации и дальнейшему направлению, как гласит эта уснащенная писарскими завитками грамотка, в Петербургский университет для восстановления в правах студента. Указан и соответствующий циркуляр за таким-то номером: студенты, пострадавшие от политических преследований, исключенные при царском режиме за революционные дела, возвращаются из армии продолжить образование.

Прапорщик ознакомился с бумагой, повертел ее, рассматривая оттиснутую фиолетовой краской круглую печать, потребовал еще и солдатскую книжку, затем кинул взгляд на чемоданы.

— Не желаете ли приподнять, товарищ прапорщик? — озорно спрашивает Кауров. — Должен сообщить: тяжеловаты.

— А что в них?

— Революционный груз.

— Какой?

— Не догадываетесь? Книжки! Странствуют со мной.

Не поддержав шутку, хмурый начальник патруля протягивает солдату документы и отходит, кивком зова за собою юнкеров.

Кауров посматривает вслед. Да, хватило у вас, господ, силенок вынудить Ленина уйти в подполье, а запретить партию — руки коротки! И газету «Пролетарий» обязаны терпеть! Вам, наверное, хотелось бы схватить этот листок, а заодно увести под конвоем читателя-солдата, но видит око, да зуб неймет.

Сохранив и в тридцать лет юную статью, Кауров легко подхватывает свои чемоданы, выбирается на площадь. Впереди простерта уходящая в смутноватую даль прямизна Невского, будто обычного — двигаются туда-сюда трамваи, посверкивает бликами витрин солнечная сторона. Кауров невольно останавливается, втягивает глубоко воздух Питера. И предается не всем знакомому или испытанному иными лишь мимолетно ощущению — ощущению столицы. Наконец-то он опять станет питерским студентом — э, впрочем, в такой час истории что ему попечения студента? — станет питерским работником, приобщится и к обиходно малой, и к великой первородности, к первоисточнику, к центру, откуда в необъятную сибирскую провинцию добежали волны. Здесь, на этих улицах, рождаются, происходят потрясения всей земли. И ось земного шара, если разрешить себе метафору, пролегает теперь, может быть, как раз на том вот перекрестке, где, как он в подробностях знает по газетам, днем четвертого июля демонстрацию, шествовавшую под большевистскими знаменами, заполонившую весь Невский, огрели ружейной пальбой. И загремела перестрелка.

Ленин в «Рабочем и солдате» определил смысл этих событий. Мирный период революции кончился. Пришел черед немирному.

Снова всплывает: мы живы! Да, кипит — какая штука! — наша алая кровь огнем неистраченных сил.

Найдя первый приют у брата — а дальше заведется какой-нибудь отдельный кров, — Алексей Платонович сбросил в ванной все свои одежды, немедленно изъятые

для кипячения или сухой прожарки, и с удовольствием полежал в ласково-горячей воде, потом энергично пустил в ход мочалку и мыло.

Омолодившийся, снявший со щек бритвой белесый неколючий ворс, он облачился в хранившуюся тут еще со дней отправки в ссылку свою университетскую форму. Брюки, тужурка, на которой золотился строй давно поистершихся пуговиц, пришлись, как и раньше, впору. Посмотрелся в зеркало, насупил черные мазки бровей, чтобы хоть этак согнуть с сероглазого лица налет, шут ее дери, наивности. Неужели с ней не развяжешься, в палевых ресницах она, что ли, гайтся? Водрузил на влажный еще хохолок изрядно тасканную студенческую, с синим околышем фуражку.

Пожалуйста, доподлинный вечный студент. Настоящий петербургский тип. Шагнем теперь в новую полосу жизни, в питерское влекущее горнило.

Куда же прежде всего в этот воскресный вечер держать путь? Маят разные места, но в первую голову он разыщет Серго Орджоникидзе, с которым подружился в Якутии. По праву этой дружбы Серго, уже с женой, вторгся к Каурову в Иркутске, прижился на какие-то мигом пролетевшие дни возле Платоныча. И умчался в Петроград. Вскоре от Серго дошла краткая писулька, несколько размашистых, преисполненных грузинского духа строк: если приедешь, иди сразу же ко мне, а то насмерть обидишь. Далее следовал адрес.

И вот наш вольный студент, добравшийся трамваем опять в район Московского вокзала, поглядывая на афишные тумбы, на оклеенные всяческими плакатами стены, порой запуская любопытствующий нос в неимоверно размножившиеся после революции книжные развалы под открытым небом — сейчас оно уже тронутو краской заката, — предлагающие свое обилье, главным образом брошюрное, пошагивает мимо протянувшихся параллельными линиями Рождественских, направляется к обиталищу Серго.

И вдруг — какая штука! — кого он видит среди встречных? Это же Серго! Буйная вздыбленная шевелюра, какую тот отрастил в Якутии, теперь наголо снята, лишь коротенькая поросль чернеет на непокрытой голове. А в остальном не изменился. Чесучовая навывпуск рубашка, подпоясанная кавказским, в серебряной насечке ремешком, охватывает худощавый стан. Чуть загибаются вверх острые кончики усов.

Отчетливо пролеплены тонкие нервные крылья нависающего горбатого носа. Глаза, на удивление большие, отливают блеском чернослива.

С ним рядом — в голубом холстинковом платье, светловолосая, просто причесанная Зина, с лица румяная русская крестьянка. Впрочем, не совсем русская: в слегка выпирающих скулах и в косоватой прорези глаз сказывается какая-то иная кровь.

Точно пара влюбленных, они шагают, взявшись за руки. Кауров, улыбаясь, идет прямо на них. Серго, конечно, не ожидает увидеть под студенческим околышем знакомые ямочки на свежих щеках, но гимом в глазах-черносливиных вспыхивает радостное узнавание, он, не стесняясь улицы, заключает Каурова в объятия, чмокает в губы. И восклицает:

— Зиночка, здоровайся! Платоныч, когда же ты приехал?

— Сегодня. И сразу же к тебе.

— Черт побери!

Каурову приятно слышать здесь чертыхание: Серго издавна во всевозможных обстоятельствах поминает черта. Сейчас нотка замешательства или затрудненности угадывается в его восклицании.

— Черт побери! А мы с Зиной завтра уезжаем.

— Куда же?

— В хорошие места. Подвизались там с тобой. Баку, Тифлис... Билеты уже в кармане.

— Значит, повезло, что сегодня тебя встретил. Но перед отъездом ты, наверное...

— Перестань! Не отпущу!— Однако в выразительных глазах Серго опять мелькнула затрудненность.— Извини, сделаем сперва маленькую организационную работу. Зиночка, прошу, сбегай предупреди, что приведем Платоныча.

Уроженка Якутии откликается:

— Ой, Серго, боюсь. Он меня погонит.

— Кто?— интересуется Кауров.

— Э, слетаю сам!— не отвечая, решает Орджоникидзе.— А вы идите вон в тот скверик. Садитесь на скамейку, ожидайте.

И, более не распространяясь, еще раз тепло взглянув на друга, скороходью зашагал.

— Целыми днями его почти не вижу,— произносит Зина.— Утром даю кофе, он разливает в два стакана, чтобы скорей остыло. Выпьет и бежит.

Затем Зина рассказала о своем столичном обиходе:

— Сразу здесь нашла занятие. Целыми днями простаиваю в очередях. И за хлебом, и за мясом, и за сахаром.

Широкая в кости, выносливая, она с юморком описала несколько эпизодов из текучего быта питерских очередей. Но разговориться не пришлось.

Прежней скороходью в сквер влетел Серго:

— Пойдемте.

На тротуаре Зина и Серго опять взялись за руки. Студент пристроился рядом. Два профессионала революции сразу, конечно, заговорили о своем. Серго стал рассказывать про нынешние выборы в городскую думу:

— Я себя, Платоныч, сегодня проклинал, что не могу всюду поспеть. Но видел сам и слышал от других: весь питерский пролетариат голосовал только за нас. Рабочие кварталы идут только с нами. От этого, черт побери, хмелеешь без вина!

Влажноватое сияние глаз, улыбка, приподнимавшая острые кончики усов, впрямь делали его похожим на хмельного. В ответ улыбался и Кауров. Еще бы! Всего несколько недель назад партия пережила поражение, ее сочли поверженной, растоптанной, а вот сегодня...

— Сегодня мы закатали,— продолжал, смеясь, Серго,— такую оплеуху вчерашним победителям, от которой пойдет гул на всю Россию.

Переполненный впечатлениями, он на ходу еще и еще ими делился.

— Куда ж ты, какая штука, меня тащишь?

— Понимаешь...— Словив себя на мимолетной запинке, Серго вновь рассмеялся.— К Аллилуевым.

— Да я к ним и сам запросто вхож. К чему такой церемониал?

— Знаешь, без предупреждения было бы не совсем удобно. А теперь ты приглашен. И на меня шишки не посыпятся.

— Какие шишки? Ты что-то крутишь.

— Ничего.

— Аллилуевы, значит, на новой квартире? Переехали в центр?

— Да, гляди, экий домина!

Серго указал на многоэтажное, с зодческими украшениями, с благолепным подъездом здание, предназначенное

несомненно отнюдь не для жильцов из рабочего сословия. В просторном вестибюле восседал представительный, в золоченых галунах, швейцар. На лифте поднялись до самого верха. Да, в таких домах не живут рабочие. Но Аллилуев, как сие было ведомо Каурову, принадлежал к рабочим особого рода или, верней, особенной жилки, к талантам-самородкам, редкостным электрикам, увлеченным тайнствами своей специальности, чья сметка и золотые руки доставляли заработок, примерно, рядового инженера. Теперь на электростанции он нес дежурства, зачастую и ночные, у приборов кабельной сети, раскинувшейся по Петрограду. К тому же был и членом заводского комитета.

На звонок открыла Ольга Евгеньевна. Она, видимо, только что пребывала у плиты. На покатых плечах лежали проймы цветного фартука, защищавшего свежее нарядное, с короткими рукавами платье, отделанное кружевцем вдоль грудного выреза. Жар огня, казалось, бросал еще отсвет на щеки, несколько утратившие былую округлость. Да, Ольга Евгеньевна, как мог судить Кауров, потеряла в весе, наверное излишнем, подобралась. Уже и ямочки на локтях сделались малоприметными. Однако ей, что называется, шло это похудание. Она выглядела крепенькой. И будто еще прихватила энергии. Блестели карие, напоминавшие цыганку глаза.

— А, наш репетитор!— приветствовала она Каурова.— Сколько лет не виделись!

Дружелюбно поздоровалась с Зиной.

— Сколько лет?— переспросил Кауров.— Не так много. Еще не прошло и трех.

— Верно! Зимою будет три... А я теперь, Алексей Платонович, совсем другая. Исполнилось одно вещее слово. Кажется, как раз вы его сказали.

— Я? Когда?

— Помните, мы выпили за то, чтобы мне приобрести профессию. Так и вышло! Служу в госпитале сестрой милосердия. Получила волю!

— И рады?

— Еще бы! Дом, правда, запустила. Кинула на свою старшую. И младшая, слава богу, вчера приехала с каникул. Сейчас со мной кухарит в честь этой двоочки.— Блеснув глазами в сторону Зины и Серго, она озорно пошутила:— Где двоечка, там скоро и троечка.

Серго оборвал:

— Ольга!

— Слушаюсь! Чего же мы стоим? Идемте в столовую.

Опять заговорил Серго:

— Обожди. Сначала с Платонычем зайдем к нему. Он где?

— У себя в комнате. А Зину забираю.

Серго, сопровождаемый Кауровым, прошел по коридору, постучал в дверь дальней комнаты. Оттуда донеслось:

— Угу.

Дверной проем раскрылся. Обдало куревом. И тотчас Кауров узнал Кобу. Во рту дымилась трубка. Так вот о ком Зина молвила: «боюсь». Без слов разъяснилось и поведение Серго.

Левой рукой прежним затрудненным круговым движением Коба вынул из-под усов трубку. Глаза были веселыми.

— А, Того...

Это уже четырнадцатилетней давности «Того», употребляемое только Кобой, как бы выявило вновь неизменное его упорство. Смерив взглядом студенческое одеяние Каурова, Сталин поднял бровь, но ни о чем не спросил:

— Садитесь.

Он выглядел тоже обновившимся — брюки и пиджак, видимо недавно купленные, хоть и поизмялись, но вовсе не лоснились. К отворотам пиджака были, как и прежде, когда Коба находил прибежище у Аллилуевых, подшиты изнутри высокие, черного бархата, вставки, прикрывавшие шею, а заодно и сорочку. Крутой подбородок был выбрит.

Не начиная разговора, Коба своей поступью горца, и твердой и легкой, неторопливо прохаживался по вытянутой в длину комнате, с железной, застланной белым покрывалом кроватью, небольшим письменным столом и этажеркой, на которой стояли и лежали книги.

Кауров тогда еще не знал, что в этой комнате прожил несколько дней Ленин, — несколько дней после того, как Временное правительство отдало

распоряжение о его, а также Зиновьева и Камепова аресте.

Квартира Аллилуевых в то время была почти необитаемой. Младшая в семье, посадьничья Надя, проводила каникулы около Москвы, где жили давние, еще по Баку, друзья отца. Нюра, которую когда-то репетировал Кауров, уже сдала весной выпускные гимназические экзамены, потом с усердием новобранца потрудилась в секретариате первого Съезда Советов и уехала к знакомым в дачный уголок под Питером. Аллилуевы-сыновья распрошались с домашним гнездом: один работал в деревне, другого призвали в солдаты. Ольга Евгеньевна, став медицинской сестрой, так и пребывала в госпитале, редко навещаясь в квартиру. Сергей Яковлевич, поглощенный своим делом, тоже зачастую сутками оставался на электростанции, где располагал и местечком для сна.

Пустовала и маленькая комната, предназначенная Сталину. Он, казалось, не тяготился бездомностью, жил то у Каменева, то у Енукидзе, то по-прежнему в редакции «Правды», где вытягивал черную работу, отступив в тень перед Лениным, уже главенствовавшим. И никому не сказываясь, будто и теперь блюдя навык конспиратора, лишь изредка започевывал на Рождественской. Неговорливый, овеванный всегда, даже под веселую руку, некой таинственностью, он, возможно, приберегал эту квартиру на случай чрезвычайных обстоятельств.

Они настали. Стихийное выступление питерских рабочих и солдат под лозунгом «Вся власть Советам» было подавлено. Казачьи части и отряды юнкеров хозяйничали на улицах столицы. Типография и редакция «Правды» в ночь с четвертого на пятое июля были разгромлены.

Пятого днем бойкую сестру милосердия Аллилуеву вызвали в госпитале к телефону. Она, в белой косынке, в белом госпитальном халате с нашитым на груди красным крестом, прибежала в канцелярию, взяла трубку:

— Я слушаю.

В слабом гудении мембраны возник знакомый хрипловатый голос.

— Узнаешь, кто говорит?

— Здравствуй, Сосо.

Не торопясь, Сталин сделал ей внушение:

- Сколько тебя надо учить: имен не называй!
- Ой, извини.
- Можешь ли ты домой сейчас приехать?
- Сейчас? Что-нибудь случилось?
- Зря вызывать тебя не стал бы.
- Говори же что? И с кем?

Сталин, однако, своей неторопливостью заставил ее помучиться еще минутку. Помолчав, объявил:

— Не беспокойся. Все твои живы-здоровы. Но ты нужна. Сочини для начальства что-нибудь правдоподобное. Сумеешь?

Она наконец чуть улыбнулась:

— Сумею.

...Часа два-три спустя Сергей Яковлевич Аллилуев, потревоженный телефонным звонком Ольги, вернулся с Обводного канала, где находилась его электростанция, в свою квартиру на пятом этаже благообразного дома со швейцаром и лифтом, квартиру, которую окрестил «вышкой». Жена передала слова Сталина, надо укрыть на какой-то срок нескольких товарищей. Кого именно, Иосиф не сказал.

Сергей Яковлевич с годами все более обретал вид отшельника-монаха, кого на Руси уважительно прозывают старцами. Ранняя седина посеребрила монашескую его бороду. Оголился со лба череп. Заметней обозначились провалы висков. Исхудалый длинный нос, выроставший будто прямо из лба, то есть почти без переносицы, казался костяным. Изможденность лица выделяла, делала очень большими глаза, источавшие точно бы лихорадочный блеск, пытливые, проникновенные. Ему не потребовалось раздумий, чтобы решить:

— Пускай наша «вышка» служит партии. Принимай, Ольга, жильцов.

...Вскоре Сталин привел к Аллилуевым рослого рычловатого Зиновьева, нынче выглядевшего мрачным, и миниатюрную, с твердой складкой широкого рта, с уже пробившейся в коротко подрезанных темных волосах ранней сединой Зину Лилину, его жену. Быть может, полтора десятка лет назад именно в честь Зины, которая была на два года его старше, юноша-эмигрант Радомысльский, в те времена худенький, погруженный в книги, не утративший свойственного нередко евреям мечтательно-скорбного выражения больших глаз, избрал свой псевдоним.

В несколько мужской решительной походке Лилиной — она из прихожей прошагала впереди мужа — чувствовался характер. За Зиновьевым следовал обросший щетиной невозмутимый Коба. Вошли в столовую. Аллилуев, встав, глубоко поклонился гостям.

— Сергей, — неторопливо произнес Сталин, — знакомься. Это товарищ Зиновьев. Человек, который, по нашей кавказской поговорке, глядел в глаза орлу.

Лилиной Коба не уделил ни слова. Долго прожив среди русских, он, однако, сохранял восточную манеру, согласно которой женщина, жена не заслуживала упоминания. Впрочем, спутница Зиновьева тотчас нашла способ себя представить. Подойдя к мужу, она поправила его сбившийся галстук и с мимолетной лаской провела смуглыми пальцами по его вскинутому, мелко курчавившимся густым черным волосам. Слов не требовалось: жена! Усталой улыбкой Зиновьев ее поблагодарил.

— Глядел в глаза орлу, — повторил Сталин.

— Знаю, — сказал Аллилуев, впервые пожимая мягкую руку Зиновьева. — Слышал вашу речь у особняка Кшесинской. Вы тогда сказали: птица вьет гнездо.

— А... Дошло?

— Взяло за душу, товарищ Зиновьев.

Птица вьет гнездо... Да, Григорий Евсеевич Зиновьев, конечно, не забыл эту свою метафору, явившуюся ему в минуту ораторского озарения. Пожалуй, эта его речь, произнесенная примерно через неделю после того, как «швейцарцы» добрались в Петроград, означала, что он, Зиновьев, определился, примкнул к тезисам Ленина.

Помнится, накинув пальто, Григорий Евсеевич выбрался на балкон особняка приветствовать подошедшее с Выборгской стороны шествие участников митинга, что был проведен районным комитетом большевиков. Светящиеся шары фонарей и косые полосы электричества из окон выделяли там и сям простертые над головами кумачовые полотнища, кратко взывавшие: «Хлеба! Мира! Свободы!» Кумач на свету рдел, а в сгущениях мглы казался почти черным.

Именно там какой-то не лишенный фантазии журналист ухватил этот образ — игру красного и черно-

го,— чтобы в своем завтрашнем отчете написать про цвета анархизма, мреющие вокруг штаб-квартиры Ленина.

Наследник Бакунина, анархо-большевик — такая слава явившегося из-за границы вечного раскольника, всех огорошившего своими тезисами, уже гуляла на столбцах множества газет, катилась по Руси. Уже и пером Плеханова было засвидетельствовано: «Ленин со всей своей артиллерией переходит в лагерь анархизма».

Бюро ЦК большевиков не поддержало Ленина: в Петроградском комитете его позиция собрала только два голоса, а вот Выборгский райком первым принял тезисы.

...С балкона кто-то объявил:

— Слово предоставляется члену Центрального Комитета партии товарищу Зиновьеву.

Гомон сборища стихает. Зиновьев стоит у балконных перил, непокрытая, в ободке вьющихся волос голова и крупный корпус в незастегнутом пальто явственным силуэтом вычерчены на фоне освещенной двери. Слегка склонившись, он выкрикивает:

— Товарищи!

Голос высок, почти как мальчишеский дискант. Дальнейший зачин речи идет на той же верхней ноте. Со стороны может почудиться, что в полутьме говорит не этот большемерный мужчина, а кто-то другой, скрытый за ним. Лишь постепенно отделяешься от такого впечатления. Голос уже не назовешь тоненьким, он оказывается звеняще сильным, далеко разносится в просторе улицы.

— Мы, пролетарские революционеры, требуем: вся власть Советам! Что же это такое: власть Советов? Птица вьет гнездо...

Улеглись невнятные шумки толпы. Можно слышать тишину.

— Вьет гнездо, как велит ей инстинкт, и еще сама не сознает, что же она, собственно, строит. Рабочий класс, руководимый инстинктом, создал свои Советы, но еще не совсем уяснил их смысл. Ведь он свивает, вылепливает новое общественное устройство, новую власть, принадлежащую всему народу, который сам станет управлять всеми делами без каких-либо стоящих над ним распорядителей. Это и будет истинной свободой, какую не знает ни одна буржуазная республика.

Речь льется вдохновенно, головы подняты к оратору. Боковой свет отражен в его поблескивающих волосах, в бледном, точно бы прибеленном лице. Завладев слушающими, он будто внушает: надо лишь захотеть, лишь протянуть руку — и вот она: желанная, небывалая доселе жизнь, власть мозолистых ладоней, власть Советов.

Нисколько не слабеет тонкий голос:

— Птица вьет гнездо. Пролетариат инстинктивно организует не только Советы, но и свои вооруженные дружины. Рабочие добывают оружие, еще даже не осмыслив, что поголовно вооруженный народ — это и будет новая всеобъемлющая власть, новое государство, которое явится предтечей отмирания, исчезновения всякого государства.

Зачаровавший рабочую толпу, проговоривший более часа, Зиновьев награжден взметом одобрения. Долго бухают хлопки.

С балкона он шагает в обширную комнату, где размещены несколько столов и шкаф, вся, так сказать, служба Центрального Комитета партии. Из боковой двери к нему скорой походкой идет Ленин, характерно выставив плечо, будто забияка.

— Теперь, дорогой друг, скачите в «Правду». Пригладите там за номером. У меня зарез. Наверное, ночью забегу.

Казалось бы, в деловом говорке Ильича не разыщешь отклика на речь, которая еще и в ту минуту отблескивала вдохновением на приобретенном артистизм, вскинутом, с бисеринками влаги у верхней кромки лба лице Зиновьева. Однако Старик назвал его не Григорием, не батенькой, не сударем, а дорогим другом. Обоим понятно: Зиновьев следует за Лениным, разномыслия канули, упоминать о них не нужно. А сантименты — побоку!

В том же темпе Ленин спешит обратно к оставленной на минуту работе, скрывается за дверью.

У противоположной стены в тени, отбрасываемой шкафом, стоит Коба. Поверх разлохмаченной темной фуфайки надет серый пиджак. Взгляд скошен на Зиновьева. У Кобы порою бывает этакий тяжелый, из-под лба взор, к какому подходит выражение: положил глаз. Низковатый грузин все слышит, все примечает и молчит. Зиновьев, будто ощутив некое прикосновение, оборачивается, смотрит в упертые зрачки и, приблизясь, улыбается:

— Так оно, Коба, и сбудется. Мы на своем веку это увидим: государство отомрет.

Сталин по-прежнему безмолвствует. Сдается, он и не ответит. Но все-таки цедит:

— В Швейцарии?

Реплика весома. В ней многое содержится. Зиновьев, однако, паходчив:

— Конечно, не в одной же матушке Руси.

Коба молчит.

...Недолгое время спустя тезисы Ленина собрали большинство на петроградской городской и на всероссийской партийной конференциях. Переломил себя и упрямый Коба, присоединился к Ленину. Но уже и тогда воспользовался формулой, свидетельствовавшей, казалось бы, только о скромности: «мы, практики». Так и вел себя скромнягой, пренебрегал авансценной, изредка давал короткие статьи, занимался невидной, подчас мелочной, требовавшей муравьиного упорства организаторской работой.

Теперь, после июльских потрясений, когда первым людям большевистского ЦК угрожал арест, у него, словно в предвидении такого оборота, был готов для них тайный приют.

Приведя к Аллилуевым Зиновьева и его жену, Коба в какую-то минуту сказал Ольге Евгеньевне:

— Устрой их в детской.

(К слову заметим, что «детской» в этой квартире именовалась комната, в которой жили Ольга Евгеньевна и дочери, а столовая служила обиталищем Сергеем Яковлевичу и Феде.)

Лилина объявила, что не будет ночевать. Она должна вернуться к сыну, нельзя оставить восьмилетнего Степу.

— Завтра понаведаюсь.

Григорий Евсеевич покивал. Сталин грубовато вмешался:

— Туда-сюда, товарищ Лилина, не бегайте. Дам знать, когда понадобится.

Несколько погодя Коба заглянул в свою пустующую комнату. За ним вошла и Ольга.

— Сосо, ночевать будешь?

— Нет. Проветри хорошенько, чтобы не пахло табачищем.

Такое было странно слышать от заядлого курильщика. Разъяснений не последовало. Этот дальний угол квартиры Коба предназначал Ленину.

Ленин пришел к Аллилуевым утром на следующий день. Он, разыскиваемый для ареста, прибег к некоторым мерам предосторожности: не ночевал дома и сменил кепку на купленную еще в Стокгольме круглую шляпу-котелок с загнутыми полями. Этот головной убор поразительно его менял. Сквозь тяжелую дверь и обширный вестибюль к лифту проследовал вполне приличный, профессорского вида, с рыжими усами и бородкой господин. В такт шагу он небрежно вскидывал тросточку. Его темный в полоску недорогой костюм выглядел свежим, проутюженным, синеватый в белую горошину галстук аккуратно прилегал к светлой сорочке, ботинки-бульдожки безукоризненно блестящие, — Ильич в решающие часы жизни, как однажды мы упомянули, бывал особенно требователен к своему обличку.

Днем на квартиру-«вышку» один за другим собрались некоторые члены ЦК, а также Надежда Константиновна и Мария Ильинична.

Разговоры не вязались, были натянутыми, пока наконец не зашла речь про то, что теперь нависло. Как отнестись к приказу об аресте? Должны ли Ленин и Зиновьев пойти арестовываться, чтобы затем в гласном суде дать бой клеветникам? Или же скрываться?

Обсуждение происходило в предоставленной Зиновьеву детской. Ворох свежих газет громоздился на столе — почти в каждой был перепечатан появившийся вчера донос, в котором Ленину приписывались связи с германским генеральным штабом, или попросту шпионство. Тут же возле газет горкой на тарелке красовалась клубника, которую утром принесла с базара как скромный подарок Владимиру Ильичу явившаяся из-за города старшая дочь Аллилуевых. Однако по странной иронии житейских мелочей Ильич со дня рождения не мог есть клубнику, даже одна съеденная ягода неминуемо вызывала крапивницу, медики называют это идиосинкразией.

Да и никто из собравшихся не трогал ягод. Только Сталин время от времени подходил к столу, набирал без стеснения пригоршню. Он выделялся здесь спокойствием.

Надежда Константиновна притулилась на стуле в углу. Ее лицо, посмуглевшее под городским солнцем,

утратило мягкую свою кругловатость. Щеки втянулись, крылья носа, подбородок были будто отчетливей пролеплены. В волосах, повязанных, точно у работницы, темным платком, проглядывали еще редкие сединки. Нижняя губа совсем скрыта под наползшей верхней. Сжав этак рот, жена Ленина не позволила себе ни словечка обронить. Однако во взоре, обращенном к Ильичу, явственно видны тревога, боль. Сознывая это, она отводит, потупливает выпуклые серые глаза. И снова на миг взглядывает.

Ленин энергично выступил сторонником явки. Он был бледноват — таким неизменно становился, волнуясь. Лишь двумя пятнами краснели выдававшиеся скулы. Надежде Константиновне издавна ведом этот признак клокочущего в нем огня, иступленного стремления, которое не под силу никому остановить. Он уже написал заявление, адресованное Центральному Исполнительному Комитету Советов. Лист бумаги, где содержится это заявление, белеет на столе. Почерк разборчивее, крупнее, чем обычно. «...Считаю долгом официально и письменно подтвердить то, в чем, я уверен, не мог сомневаться ни один член ЦИК, именно: что в случае приказа правительства о моем аресте и утверждении этого приказа ЦИКом я явлюсь в указанное мне ЦИКом место для ареста. Член ЦИК Владимир Ильич Ульянов (Н. Ленин)».

Ильич хочет гласности, хочет суда и выдвигает целый строй аргументов, мощью диалектики подкрепляет свой напор:

— Свообразие положения заключается именно в том, что восторжествовавшая буржуазия достаточно сильна, чтобы нас сцапать, но она не в состоянии отменить гласный суд. И таким образом сама подставляет себя под наш удар.

Как обычно, он еще и кулаком вдалбливал фразу. Поворачиваясь на каблуках, оглядел присутствовавших:

— Сталин, как о сем мыслите?

Коба стоял у окна. На этом светящемся фоне темнел его твердый, будто выделанный резцом профиль. Рядом на широком подоконнике уместился Серго Орджоникидзе. Он покусывал ноготь, не скрывая возбужденности.

Сталин повел рукой, слегка выставил ладонь, изукрашенную следами клубники, произнес:

— Мясники. До тюрьмы не доведут, пристрелят. Лаконизм как бы придавал тяжесть его выражениям.

Серго, не утерпев, выпалил:

— Поставим условие: наш конвой, наша охрана!

Коба посмотрел на него, усмехнулся. И продолжал:

— Надо бы знать мнение товарища Зиновьева. Ему в этом вопросе принадлежит слово прежде нас.

Григорий Евсеевич сидел на кровати, вольно отвалившись к подушке. Какие-то складки утомления или угнетенности, как и вчера, пролегли на бритом лице. Теперь он разом выпрямился. Решительно вскинутая голова, вдруг обретшие блеск, ожившие глаза, выделенные синевой легкой тенью в подглазьи, заставили подумать: нет, лицо да и вся стать более мужественны, чем это казалось.

Он без обиняков заявил о согласии с Лениным.

— Да, следует открыто явиться. Мы, еще едучи сюда через Германию, ждали, что, как только выйдем на питерском вокзале из вагона, нас тут же арестуют. И на это шли. Были готовы сделать своей трибуной скамью подсудимых. Такого, однако, не случилось. Революционный натиск масс по-своему определил развитие событий. Ныне же наступила ситуация, аналогичная той, которую мы, повторяю, еще в Швейцарии считали вероятной.

— Федот, да не тот,— обронил Сталин.

— Разумеется, одинаковых ситуаций не бывает. Нынешняя труднее. Но какой революционер может рассчитывать, что его будут судить лишь в удобный для него момент?

— Вот, вот,— подхватил Ленин. И кинул взгляд на Сталина.— История таких удобств не обеспечивает.

Излюбленное оружие Ильича — ирония — и в эти минуты не отказывало.

Далее Зиновьев развил еще несколько доводов. Партия, ее судьба и ее дело — превыше всего. Отказ лидеров партии явиться в суд приведет наверняка к разброду, усугубит вызванную поражением дезорганизацию большевистских рядов. У Ленина вновь вырвалось:

— Вот, вот...

После Зиновьева говорил приехавший утром из Москвы громадина ростом, не по годам осанистый Виктор Павлович Ногин. Аккуратны его пиджак, сорочка, галстук. Выходец из пролетариата, некогда ра-

бочий-красильщик ткацкой фабрики Морозова, смолоду ушедший в революцию, в подпольщики, сам себя образовавший, ставший членом ЦК большевиков, Ногин всегда отличался этой неброской чистотой. Товарищам была известна его не склоняющаяся ни перед чем искренность. Ленин давно, еще с 1901 года, знал Ногина. Помогал ему расти. Переписывался, встречался. И с некой особой теплотой относился к нему — одному из передовых пролетариев России.

Мнение этого массовика, вседневно общавшегося с партийными ячейками московских предприятий, разумеется, имело тут немалый вес. Ногин откровенно признался, что ему было бы нелегко проголосовать за то или иное решение. Слишком велика ответственность. Все же сказал, что неявка действительно станет козырем противников партии. Клевета уже внесла смятение. Имеются впрямь знаки разброда. Он пояснил это примерами. Сообщил о толках, слухах, разноречиях в партийной среде.

Присев на стул, несколько склонив к плечу большую голову, Ленин слушал. Узкие глаза уставились в какую-то воображаемую точку. Поза оставалась застывшей вопреки характерной для Ильича нервной подвижности. Крупская опять вглядывалась в него и с мучительной ясностью видела: он решился, не своротишь.

— Мы,— продолжал Ногин,— обязаны потребовать открытого рассмотрения клеветы. Широкие партийные круги и рабочий класс, насколько я могу судить, не поймут неявки.

В этот миг вскочила Мария Ильинична, до сих пор молчавшая. Сейчас ее сходство с Ильичем было разительным. На побледневшем лице явственно краснели бугорки скул. Коренастая, она сунула кулаки в карманы синей вязаной кофты, будто повторяя манеру брата. Рано изреженные каштановые волосы не закрывали краев выпуклого лба. В карих глазах сверкало ильичевское неистовство:

— Как вам не стыдно, товарищ Ногин,— прокричала она,— собирать всякие слухи да сплетни! Вы же не торговка на базаре! Куда вы толкаете Владимира Ильича? На растерзание юнкерам! Неужели это вам не ясно?

— Маняша, спокойней! — прервал Ленин. — Опасность, конечно, есть. Но революция вообще дело опасное.

— Голубь мой! — В этом нежном обращении опять

просквозило забвение всех условностей.— Умоляю, не совершай безумия! Мне сердце говорит: ежели явишься, мы тебя живым больше не увидим. Ты не имеешь права, не должен рисковать собой.

— А партией рисковать могу?

— Володя, неужели ты не понимаешь, что, если партия потеряет тебя, это будет самым ужасным для нас несчастьем. Ногин тут распространялся насчет настроений. Настроения переменчивы. Сегодня одно, завтра другое. А твоя гибель — да, да, гибель, смягчающие выражения к черту! — будет для партии ничем не возместима. Что мы такое без тебя?

— Тпру! Куда понесло? Этого слушать не желаю.

— Нет, изволь слушать. Ты и только ты дал партии все ее идеи. Ты для нее...

— Маняша, перестань.

— Именно партией ты рискуешь!

Страстные высказывания сестры не смогли, однако, переломить ильичевского упорства.

— Ошибаешься,— непреклонно сказал он.— Партия на верной дороге. И придет к победе... Жаль только, что я не успел издать свою тетрадь, где подобрано все написанное Марксом и Энгельсом о государстве. Ну, в крайнем случае и без меня пойдет в печать. Партия будет тогда знать, как вести дело на другой день после пролетарской революции.

— Товарищи, удержите же его!.. Больше не могу...

Последние слова Мария Ильинична выговорила едва слышно. Отчаяние стиснуло голосовые связки. Широкой, почти мужской походкой она подошла к Сталину.

— Дайте папиросу.

— Имею только горлодер для трубки. Вам не согдится.

— Скручу. Давайте.

— Достанем папиросу. Ногин, одолжите курева.

— Не хочу у него брать.

— Найдем в таком случае другой выход.

Коба прошагал к комоду и, будто член семьи, открыл ящик, обнаружил початую коробку недорогих папирос «Ой-ра», протянул Марии Ильиничне:

— Хозяйка иногда балуется.

Зажег спичку. Сестра Ленина, прикурив, сделала несколько неумелых затяжек и вышла в коридор.

Надежда Константиновна, стараясь не привлекать к себе внимания, тихо поднялась — какие-то душевные

ресурсы, видимо, и у нее были исчерпаны — и тоже покинула комнату.

Сталин вновь преспокойно взял горстку клубники, пошутил:

— Курить, Владимир Ильич, не разрешаете, так оставлю вас без ягод.

— Гм... А что скажете по существу?

— Значит, явка? — Интонация Сталина была то ли утверждающей, то ли вопросительной. — Что же, согласимся. — Следуя выработавшейся бог весть когда привычке, он помедлил: — Но явка с гарантиями.

— То есть, иначе говоря, неявка? — тотчас прокомментировал Ленин.

Он уже давненько примечал, что в политической игре Коба любит применять лукавый ход: говорит одно, в уме держит другое.

Сталин на реплику не реагировал.

— Явка с гарантиями! — раздельно повторил он.

Серго, так и не слезший с подоконника, загоревшимися глазами смотрел на низкорослого, хилого с виду единоплеменника. Еще десяток лет назад в Баку, когда там зашла речь о совещании рабочих и нефтепромышленников, Коба объявил: «Совещание с гарантиями! Или никакого совещания!» И большевики это отстояли. Теперь он предлагает сходный лозунг.

— Есть ли гарантия, — меж тем продолжал Сталин, — что, явившись, наши товарищи не будут подвергнуты грубому насилию? Я вас спрашиваю, товарищ Ногин, имеете ли вы такую гарантию?

Ногин буркнул:

— Откуда она у меня?

— Следовательно, вы считаете возможной явку без гарантий? Так?

Ногин смолчал. Логика Сталина была несокрушима.

— Я предлагаю, — заключил Коба, — пусть товарищи Ногин и Серго немедленно отправятся в Центральный Исполнительный Комитет Советов и выяснят: дают ли нам абсолютную гарантию...

Ленин перебил:

— Абсолютных гарантий не бывает.

— Теорию не затрагиваю. Практики мою мысль поймут. — И Коба повторил: — Абсолютную гарантию, что не будет допущено насилие. Уклоняться от явки наши товарищи не намереваются. Но без

гарантий мы их не отдадим. Так чего же терять время? Серго, пойдешь?

Серго мигом соскочил с подоконника:

— Конечно.

— Товарищ Ногин, пойдете?

— Ясное дело, пойду.

— Ну вот, Владимир Ильич, принесут гарантии, тогда станем дальше рассуждать. Что, не хотите подождать?

— Подождать можно. Однако свою точку зрения я не переменил.

— Э, случается, Владимир Ильич, что вечер мудрей утра.

Ленин оставил без внимания исправленную Кобой поговорку. И, взяв со стола свое заявление, протянул Серго:

— Передайте.

Интонация и жест непреклонны. Серго уже ранее прочитал эти строки. Теперь черные глаза вновь выхватили: «...явлюсь в указанное мне ЦИКом место для ареста». Ничего не выговорив, Серго сумрачно кивнул.

Несколько минут спустя Ленин вошел к себе — то есть в выделенную ему дальнюю комнату.

Там у этажерки с книгами сидела Надежда Константиновна. Ее ничем не занятые художавые кисти покоились возле колен. Ничего не вымолвив, властвуя собой, она лишь быстро взглянула на мужа. Ильич уже не был бледен, со скул исчезли пунцовые пятна, слегка загорелому лицу вернулась краска здоровья.

— Мы с Григорием решили явиться, — сразу произнес он. — Пойди, скажи об этом Каменеву.

— Что сделать еще?

— Еще?.. Не пропала бы моя синяя тетрадь...

Всплыл ли перед Надеждой Константиновной миг, когда Володя, порывисто склонившись к ее уху, прошептал: «Ужасно хочется это проделать»? Теперь, в узенькой комнате квартиры Аллилуевых, она ни словом об этом не напомнила.

— Подожди, — продолжал Ильич. — Напишу ему кой-что...

Присев к столу, уже оснащенному стопкой чистой бумаги, без чего Ленин нигде не обходился, он застроил своим скорым пером. Подойдя, Крупская глядела на строки, возникавшие из-под сильной, широковатой руки: «...если меня укокошат, я Вас прошу издать мою тетрадку «Марксизм о государстве» (застряла в Стокгольме). Синяя обложка, переплетенная...»

«Если меня укокошат...» Опять верхняя крупная губа Надежды Константиновны прижала нижнюю. Вот Ильич и дописал.

— Отдай Каменеву.

— Хорошо.— Она деловито сложила, упрятала записку.— Так я пошла.

И повернулась к выходу. Ленин ее остановил:

— Давай попрощаемся. Может, уже и не увидимся.

Она кинулась к нему. Губы ощутили легкое покалывание подстриженных его усов. Неужели теперь она последний раз обняла Володю? Но, как велел ей долг, не обронила ни слезинки, справилась с собой, разомкнула свои руки, сжимавшие милую голову, вновь стала собранной, ушла.

...К вечеру в квартиру на 10-й Рождественской вернулись Серго и Ногин, прошагали к Ильичу, у которого находился Сталин. Владимир Ильич, оборвав незаконченную фразу, мгновенно повернулся к вошедшим. Чуть ли не с порога Серго гаркнул:

— К чертям всякие разговоры насчет явки! Никаких гарантий никто дать не смог. И мы сказали: Ленина вам не дадим!

— Мы? И Ногина в ту же веру обратили?

Ногин не без смущения подтвердил:

— Нельзя, Владимир Ильич, являться! Они там, в президиуме ЦИКа, сами не знают, не посадят ли их завтра.

Еще несколько мгновений Ленин вглядывался в обоих — и в посверкивающие нетерпением черные, и в ясно-голубые радужки. Затем, как бы вновь обретая заряд энергии, он почти бегом выскочил в коридор:

— Григорий, идите сюда. Есть новости.

Возвратился, насвистывая — эдак он порой свистел в шахматных баталиях. И обратился к пришедшим:

— Ну-с, ну-с, расскажите-ка последовательно, как, гм, гм, провалилась ваша миссия... Серго, не поминать черта сумеете?

— Конечно, сумею, черт поберу.

В общем смехе разряжается драматичность минуты. Пусть же не пропадет для истории эта черточка: легко возникавший среди большевиков смех. Ленин сейчас же заливался, а хохотал, как бы пофыркивая. И с напускной укоризной поматывал головой. Остановившийся в дверях Зиновьев взирал на сотоварищей с вопросительной улыбкой, которая сразу его помолодила.

— Факты, факты! — став серьезным, потребовал Ильич.

Серго, дополняемый изредка Ногиным, сообщил разные подробности. Неопровержимо вырисовалось: соглашатели бессильны, они не в состоянии дать гарантии. Повстречавшийся случайно Луначарский просил передать Ленину, чтобы тот ни в коем случае не шел арестовываться, ибо фактически к власти приходит необузданная контрреволюция.

В какой-то момент Сталин негромко молвил:

— Пойду покурю.

— Заодно и помозгуйте.

— Чего мозговать? Все ясно, Владимир Ильич.

Коба подымливал в коридоре своей гнутой трубкой, когда у входной двери протрещал звонок. Пришла — уже во второй раз нынче — Мария Ильинична. С порога кинула тревожный взгляд на Сталина. Тот продлил молчание, за тем улыбнулся:

— Старика не отдадим! — И шутливо добавил: — Самим нужен.

...На следующий день Ленин написал статью «К вопросу об явке на суд большевистских лидеров». Статья заканчивалась так: «Не суд, а травля интернационалистов, вот что *нужно власти*. Засадить их и держать — вот что надо гг. Керенскому и К°. Так было (в Англии и Франции) — так будет (в России).

Пусть интернационалисты работают нелегально по мере сил, но пусть не делают глупости добровольной явки!»

Владимир Ильич и еще поработал пером на квартире-«вышке», передал наведывавшемуся ежедневно Кобе статью «Три кризиса». Вновь и неизменно он, большелобый неукротимый вождь большевиков, вы-

ступал как человек науки, восприимчивый строгого Марковского метода. Нелепо думать, что революционные кризисы могут быть вызваны искусственно. Революцию не породят самые горячие, архиблагие желания, если действительность, история не чревата ею. Это ключ к совершающемуся, ключ к грядущему. «Неужели трудно догадаться,— вопрошал он,— что никакие большевики в мире не в силах были бы «вызвать» не только трех, но даже и одного «народного движения», если бы глубочайшие экономические и политические причины не приводили в движение пролетариат?» И дал формулировку новому парадоксу борьбы, что выказал в июльские кризисные дни (в схватывании таких парадоксов он был покоряюще силен): «Это взрыв революции и контрреволюции *вместе*».

Тем временем для обоих потаенных обитателей квартиры Аллилуевых было найдено более глухое, в стороне от питерского сыска, укрытие на станции Разлив. Решили перебраться туда воскресным ночным поездом, что отходил от маленького, расположенного на городской околице (издавна так и звавшейся Новой Деревней) Приморского вокзала.

Еще накануне Ленин попросил Сергея Яковлевича принести карту Петрограда, чтобы определить, по каким улицам безопаснее пройти на вокзал. Аллилуев сказал:

— Не беспокойтесь, Владимир Ильич. Этот путь знаком мне, как свои пять пальцев. Каждый проулочек насквозь известен.

— Живали там?

— На моем попечении был районный пункт кабельной сети. И жил с семьей тут же, на пункте. Излазил, исходил по всем фидерам десятки раз.

— Фидер? Что за штуkenция?

— Если выразиться попросту, фидер — это провод к потребителю. Три фазы — три провода.

— Почему же три? — с интересом спросил Ленин. Но тотчас себя оборвал: — Впрочем, пока это оставим... Карта, Сергей Яковлевич, мне все-таки нужна.

— Да я сейчас могу нарисовать путь.

— Не сомневаюсь. Но тем не менее я сам должен знать и видеть наш маршрут на карте. Мало ли что может произойти! Вдруг в пути вынуждены будем расстаться... Словом, план Петрограда нужен мне безоговорочно.

Проглянувшаяся ленинская непреклонность завершила спор. Сергей Яковлевич в тот же день принес Владимиру Ильичу план.

С утра в воскресенье оба скрывавшихся стали готовиться к походу-переезду. Следовало по возможности изменить внешность. Ольга Евгеньевна, которая по должности медицинской сестры приобрела парикмахерские навыки, быстро срезала ножницами под гребенку мелко выщущуюся шевелюру Зиновьева, погом принялась за Ленина. Несколько закосматившиеся волосы падали рыжими острижками. Ножницы расправились и с его усами, оставив встопорщенный ворс. Бородку предстояло вовсе снять. Ловкие, в коротких рукавчиках, женские мягкие руки быстро побелили мыльной пеной подбородок Ильича, вооружились бритвой и... И вдруг новоявленная парикмахерша произнесла:

— Ой, Владимир Ильич, боюсь порезать!

— Ерунда... Смелей, Ольга Евгеньевна.

Сталин, доселе безмолвно наблюдавший за происходящим, вмешался:

— Боишься, не замахивайся. Дай сюда бритву. Дело незамысловатое. Приходилось на тифлисском рынке для хлеба насущного брить желающих. Останетесь довольны, Владимир Ильич.

Сталин поправил на толстом ногте своего большого пальца, достаточно ли наострено лезвие. Сказал:

— Тупым ножом порежешься!

Не спеша подправил бритву на ремне. Заново намылил челюсть Ильича. И уверенными точными движениями начал сбривать шуршащий под острием волос.

— Разделаем, Владимир Ильич, в наилучшем виде. Не узнаете сами себя.

Начисто удалив бороду, Сталин подсек бритвой краешки коротко ошетиленных усов и, закончив, глядя с улыбкой в трюмо, отражавшее измененного Ленина, отпустил шутку:

— Стрижем и бреем и кровь отворяем. С почтением цирюльник Верная Рука.

Когда-то вскользь отрекомендовавшийся хирургом Железная Рука, отдавал ли он себе отчет в некотором самоповторении, для него, пожалуй, характерном?

Сергей Яковлевич заранее припас две косоворотки и две кепки. Его бурой окраски пальто пришлось в пле-

чах как раз по Ильичу, лишь длина была несколько излишней.

— Ничего! — определил Коба. — Сразу видать хозяйственного мужичка, финна. Приобрел пальто с запасцем.

Действительно, в черной косоворотке, в серой выцветшей кепке, упрятавшей выпуклости лба, в вытертом длинном пальто, широкоскулый, с увесистым крутым подбородком, с рыжей щеточкой стриженных усов, с узкими, чуть вкось, прорезями глаз, вокруг которых пролегли обильные уже штрихи гусиных лапок, Ленин сейчас походил на финского крепкого крестьянина.

Еще раз его оглядев, Коба неожиданно высказался иначе:

— Нет, русский. Себе на уме дядя.

— Гм... Не выгляжу оригиналом?

Зиновьев, уже тоже обряженный в чье-то пальто и в клетчатую пеструю кепку, ответил:

— Нисколько! Копия с копии, Владимир Ильич. — Он обозрел себя в зеркале. — А я вроде бы смахиваю на коммивояжера.

— Что и удостоверяется, — лаконично скрепил Сталин.

Часовая стрелка достигла одиннадцати. Уезжавшие и провожатые выбрались из дома черной лестницей. Еще длились блеклые сумерки северного летнего вечера. Цепочку путников, державшихся в некотором отдалении друг от друга, затерявшихся среди прохожих, вел Аллилуев, то и дело на углах сворачивая согласно проложенному на карте многоколенному маршруту. Замыкающим шел Сталин.

В каменных прогалинах меж многоэтажных отвесов медленно густела мгла. Вот еще одно колено, короткий отрезок проспекта, иссеченного трамвайными рельсами, — и перед шагавшими засветлел далеко открытый глазу, смутно блистающий простор Невы. Взброшенные на чугунных столбах шары фонарей озарили набережную. Сверкающий электропунктир был перекинут и через реку, выделяя металлическую черноту моста.

Ленин надал хода, обошел Аллилуева и широким шагом, круто выперев по своему обыкновению левое плечо, будто этим плечом проламывая дорогу для идущих вслед, ступил на мост, мягко застучал ботинками-бульдожками по дощатому настилу. Здесь было люднее, чем на улицах, слышался говор, порою и смех пешеходов, проезжали туда и сюда извозчицы пролетки, дребезжали, трезвонили плотно набитые пассажирами трамваи.

Сталин легкой поступью пагнал Зиновьева, сказал:

— Старик любит ходить быстро. Придется поспешать и нам.

Рослый обладатель клетчатой кепки и низкий грузин, ничем не покрывший жестковолосую голову, зашагали рядом.

Бледно-мерклое небо отблескивало в колыхавшемся темноватом зеркале реки. Были различимы приземистая громада и характерный тяжеловатый шпиль Петропавловской крепости. Взгляд охватывал и почти воздушные, смутно голубевшие очертания Зимнего дворца, и будто твердой рукой прорисованные, не зыбкие даже в ночной призрачности силуэты зданий Сената, Синода, Морского кадетского корпуса. Зиновьев тихо выговорил:

— Бастионы...

Сталин откликнулся:

— Угу... Петруха крепенько всадил тут городок.

— Кто?

Сталин спокойно повторил:

— Петруха.

Зиновьев сыронизировал:

— А я думал — ваш кум... Императору всея Руси мы, дорогой Коба, не годимся в кумовья.

Его спутник не ответил, продолжал путь молча.

Вот мост и пройден. Далее маршрут вился по не оживленным в этот час улицам Выборгской стороны. Тут Ленин придержал шаг, опять пропустил вперед сутулого длинного электрика — знатока местности.

Несколько минут шли Большим Сампсониевским проспектом. Свернули. Прошагали вдоль растянувшихся на два квартала корпусов завода «Русский дизель». Узкий проулок вывел к излучине Невки. На земляном, задернелом, обрывистом берегу громоздились кучи бревен и теса, выгруженные из приткнув-

шихся здесь барж. С противоположного берегового склона рядами темных окон проглядывал еще один завод.

— Бастионы,— вновь произнес Зиновьев, по-прежнему шедший в паре с Кобой.

Тот лишь утвердительно кивнул. Умевший помалкивать, он не тщился оставить последнее слово за собой, легко уступал другим такого рода удовлетворение.

Ни лязга трамваев, ни цокания подков сюда не доносилось. В отдалении слышалась гармонь. Деревянные домики, иной раз в палисадниках, перемежались с кирпичными коробками. Редко-редко попадалось освещенное окошко. Вкопанные кое-где у калиток скамейки были большей частью пусты.

Ленин вновь настиг Аллилуева:

— Устали, Сергей Яковлевич?

— Нет. Ноги, слава богу, еще носят.

— Но почему же так плетемся?

— Рано прийти, Владимир Ильич, тоже нет резону. Чего мыкаться на станции?

— Не запоздать бы!

— Все, Владимир Ильич, будет, как в аптеке. Вот у фонаря сверимся с часами.

Войдя в круг света, отбрасываемого укрепленной на столбе электролампочкой, Сергей Яковлевич достал объемистую серебряную луковницу, откинул крышку, взглянул, улыбнулся:

— Идем по расписанию.

Ленин, однако, вытащил на свет из-под долгополого пальто пристегнутые почти невидимой тоненькой цепью к жилетному кармашку свои плоские, вороненой стали часы, что служили ему и в Швейцарии, проверил показания циферблата, запустил глаза в раскрытую аллилуевскую луковницу. И все-таки подхлестнул:

— Так чего же мы стоим? Пошли, пошли.

Уже на ходу Сергей Яковлевич произнес:

— Мои столбишки. Мы здесь ставили проводку в тысяча девятьсот десятом... Хотел показать вам на Сампсониевском мой районный пункт, где прожил четыре года, но засомневался: неконспиративно.

— Да, это было бы неосторожно.— Ступая в ногу с Аллилуевым, Ленин спросил:— А что же представлял собой ваш районный пункт?

Поощряемый потками живого интереса, Сергей Яковлевич охотно вдался в описания, объяснил, прибегая к профессиональным словечкам, устройство приборной доски и предохранительных выключающих аппаратов. А Ленин все дознавался: и что такое фаза, и как действует реле, и почему иной раз не срабатывали предохранители.

Жилка привязанности к своему делу, некая страсть самородка-мастера сквозили в ответах Аллилуева. Помогая себе пальцами, он старался наглядно изложить, в чем же состояла недостаточность, примитивность защитных конструкций прошлых лет.

— Теперь, Владимир Ильич, не то. За войну мы сменили аппаратуру. Новая свое исполняет.

— Что же именно?

— Во-первых, моментально автоматически выключает больной участок. Во-вторых, только этот участок, не нарушая питания энергией большинства потребителей. Но сейчас мы помышляем уже и о другом. Это будет штука стоящая.

— Ну, ну... О чем же помышляете?

— О такой аппаратуре, которая сама знает, что можно делать и чего нельзя. В Германии это уже вводится. Скажем, ежели дежурный по рассеянности или сдуру пожелал бы сделать неправильное включение, то автоматическая система ему в этом откажет. Она исполняет только верные приказы.

Неожиданно Ленин рассмеялся:

— Ловко! Исполняет только верное! — Наклонившись к спутнику, шепнул: — Эх, нужна была бы нам такая вещь для управления будущим нашим государством. Хотя бы на первых порах примитивная и недостаточная! — Другим тоном спросил: — А каковы обязанности дежурного по станции?

Сергей Яковлевич опять пустился в разъяснения. Так они и шли, занятые разговором, по пустынным ночным набережным изогнутой Невки. Даже если бы кто-либо уловил их голоса, смог бы лишь отметить: идут, беседуют о специальности, что рождена электростанциями.

— Да, без души тут нечего и братья, — сказал Ленин. — Вчуже вам архипозавидуешь.

— Как раз вы с вашим характером превосходно бы управились. Аккуратист. Ничего на веру не берете. Свой глаз — алмаз.

— А что? Если бы не обручился со своим... гм, гм... занятием, пошел бы, ей-богу, по электрической стезе. Захватывающая, черт возьми, профессия. Взрывающая прежний обиход, прежнюю технику. А то ли еще будет, когда... Впрочем, молчок... Так какие же у вас на станции назрели дальнейшие нововведения?

Снова Сергей Яковлевич говорил, Владимир Ильич слушал, вставляя беглые вопросы.

Впереди над невидимыми крышами проступило бледное пятно. Расплывчатый блик огней Приморского вокзальчика — еще не утомившегося, не отправившего ночной дачный поезд, что захватывал из города поздних воскресных гуляк. Постепенно отсветы становились явственней. Беседа прервалась. Путники опять расположились гуськом, потянулись за Аллилуевым, незаметные среди усилившегося здесь движения. Вот, опережая проводника, мелькнул неслышной легкой тенью Коба. Он уже побывал тут днем, заранее осмотрел условленное место встречи под тремя свешивающимися к Невке ивами несколько поодаль от вокзала. В этой точке должен был ждать уезжавших рабочий-оружейник Сестрорецкого завода Емельянов, кому предстояло у себя в Разливе дать новое убежище скрывавшимся. Сейчас из густой темени поникших ив негромко прозвучал меченный неискоренимым акцентом голос Кобы:

— Сергей, сюда!

Минуту спустя Ленин уже пожимал словно затверделую большую руку крупнотелого слесаря-сборщика, некогда служившего унтер-офицером в артиллерии, куда отбирали силачей. Во тьме было смутно различимо российски-круглоносое, усатое лицо оружейника, приходившегося ровесником Владимиру Ильичу. Емельянов уже купил билеты, раздал Зиновьеву и Ленину. Предложил провести Ленина к поезду кружным путем меж товарными составами в обход освещенного дощатого перрона, где шла толчея посадки.

— Что ж, двинулись, — проговорил Ленин.

Маленькие, монгольского рисунка глаза, выдавая волнение, поблескивали под козырьком кепки. Сергей Яковлевич обнял его за плечи:

— Владимир Ильич, разрешите вас поцеловать.

— Нет, нет... Это будет... гм, гм... неконспиративно. Давайте, друг мой, пятерню!

Потом Ильич вновь обратился к Емельянову:

— Ну-с, батенька, вперед! Показывайте дорогу.

Вскоре обоих поглотила мгла. Зиновьев, сопровождаемый чуть отдалившимися Аллилуевым и Кобой, зашагал напрямик к перрону. Обогнул явно нетрезвого господина, направлявшегося враскачку к поданному составу, миновал две женские фигуры в светлых длинных нарядах и растворился в путанице тьмы и огней. Затем в одном из окон последнего вагона возникла его клетчатая пестрая кепка. На миг показавшись, успокоительно кивнув — все-де благополучно, — он канул в неясную вагонную глубь.

Сипло проревел паровозный гудок, возвещающая правление. В этот миг, откуда ни возьмись, Ленин энергично проскочил к последнему вагону, рывком взбросил себя на площадку.

В раскрытой двери уплывающего тамбура еще несколько мгновений виднелась его коренастая фигура в длиннополом пальто. Знакомо упрямым оставался наклон головы, о которой, как знает читатель, когда-то было сказано: этот череп имеет намерение пробить стены.

Сергей Яковлевич сжал локоть Кобы. Оба смотрели на удаляющийся красный фонарик хвостового вагона.

— Не отдали Старика! — произнес Сталин. И, будто ничто не могло его растрогать, повторил собственную шутку: — Самим нужен.

53

С тех пор унеслось почти полтора месяца.

В комнате Кобы сидят стриженный под машинку Серго (он снял свою всегда точно бы взбитую, приметнейшую шевелюру, чтобы не привлекать к себе внимания, когда ездил в Разлив к Ленину) и раздумавшийся, возбужденный встречей Кауров в студенческой тулупке. Сталин мерно ходит, попыхивая короткой гнутой трубкой. Кауров рассказывает про иркутские дела.

Его прерывает легкий стук в дверь. Коба откликается, как бы понукая:

— Ну!

Дверь отворяется, порог переступает смуглая большеглазая девушка. Во взгляде да и во всем очерке удлиненного лица есть какое-то особенное свойство:

неисчезающая, вопреки живой улыбке, серьезность. На слегка округленную загорелую щеку падает косая узкая полоса солнца, делая заметным совсем юный пушок. Черные волосы заплетены в две косы: одна свешивается сзади, другая перекинута через плечо. Каурову вдруг вспоминается: вот так же носила свои косы молоденькая Като, жена Кобы. Впрочем, не совсем так: одна коса Като была уложена вокруг головы, но другая как раз чернела спереди, повторяя мягкую выпуклость платья. Кауров невольно смотрит на Кобу, видит, как его глаза, сейчас сощуренные нижними веками, взирают на вошедшую. Кто же она? И лишь в следующий миг приходит узнавание-угадка: это же Надя, меньшая в семье Аллилуевых. Это же ее ровно вытянутый, в отца, нос, будто вырастающий прямо изо лба, ее просвечивающее сквозь жизнерадостность, унаследованное тоже у отца, некое подвижническое выражение.

Перейдя в последний класс гимназии, прозанимавшись весь учебный год и в музыкальной школе, Надя провела лето под Москвой в семье инженера-большевика Радченко, с которым еще в Баку близко сошелся большевик-слесарь Аллилуев. Лишь вчера она вернулась.

Уже видевшись нынче и со Сталиным, и с Орджоникидзе, Надя теперь радостно здоровается с бывшим репетитором своей сестры:

— Алексей Платонович, вот вы и опять у нас! Меня сначала не узнали? Да? Стала длинная, как папа!

Кауров пожимает ее суховатые, в царапинках, как у подростка, пальцы.

— А вы, Алексей Платонович, все такой же... Такой же...— Надя затрудняется в поисках слова.

— Простота-парень?— подсказывает Серго.

Она находит собственное определение:

— Чистосердечный.

Кауров трогает рукой, показывает свою макушку, где просвечивает розоватый кружок:

— Уже, Наденька, в лысые записываюсь... Лысый студиоз.

Опустив трубку в карман брюк, Коба прислонился к круглой, обшитой жостью печке. Так и стоит, прижмурясь, в недавно купленном, еще свежем пиджаке со втачными в лацканы черными бархатными вставками.

Вот он легонько отталкивается заложенными назад ладонями, вновь прислоняется спиной к печке и опять отталкивается. Этак покачивая себя, что явно служит знаком распрекрасного настроения, нечастого у Кобы, он прислушивается к разговору.

Надя с улыбкой — эта улыбка выказывает красивые, блистающие белизной зубы — продолжает:

— Мама велела звать всех в столовую.

— Обождет! — роняет Сталин. Грубоватость даже в минуты довольства остается его второй натурой. — Еще тут потолкуем.

— Дядя Сосо, а мне у вас можно посидеть?

— Садись. Не помешаешь.

Она забирается с ногами, обутыми в домашние легкие туфли, в дальний угол крытой бордовой обивкой оттоманки. Эту оттоманку — широкий диван с подушками, заменяющими спинку, первое приобретение молодоженов Аллилуевых, — мама словно бы в память большой безоглядной любви, заставившей ее, четырнадцатилетнюю, тайком покинуть полный достатка отчий дом ради жаркого не по годам чувства к молодому мастеровому-революционеру, всюду возила с собой. И поставила сюда, в комнату, где укрывался Ленин.

Оттененные длинными прямыми ресницами, серьезные и как бы таящие удивление, глаза Нади обращены на Сталина. Мама уже вчера, переходя то и дело на шепот, не удерживаясь от восклицаний, экспансивного всплескивания руками, поведала ей, притихшей младшей дочери, целую повесть о том, что тут, под этим кровом, произошло во вторую неделю июля. Повесть начиналась минутой, когда дядя Сосо позвонил в госпиталь, вытребовал маму домой, щедро включала всякие подробности о поселившемся здесь Ленине и кончалась опять же дядей Сосо, цирюльником Верная Рука, который вместе с папой проводил скрывавшихся к воскресному ночному поезду.

Вот он, стоя у печки, все покачивается взад-вперед с явным удовольствием, о котором свидетельствует и точно бы кошачий прижмур, несколько стусевывающий редкостную для грузина твердость черт, давний друг семьи, давний квартирант Аллилуевых, то надолго исчезавший, то внезапно появлявшийся, вошедший в Надино детство незабываемыми взблесками. Разве забудешь, скажем, как он пальцами-тисками за-

щебил ее ноздри? Да, защебил. И она выдержала испытание.

Привелось и в миновавшие недели каникул порой слышать о нем. Инженер-большевик Иван Иванович Радченко зачастую оставлял дом — странствовал в Шатурских болотах, взяв поручение Московской городской управы двинуть торфозаготовки. Надя привязалась к его жене, наполовину шведке, Алисе Ивановне и к девятилетнему Алеше, тоже, как и мать, беленькому, розовощекому. В дачный мирок волнами доплескивал большой бушующий мир: июльские события, разгром и запрет «Правды», приказ об аресте Ленина, с которым, кстати сказать, еще в 1900 году в Пскове сблизился Радченко. Июль перевалил за середину, когда Иван Иванович в распахнутой черной тулупе, в украинской вышитой рубашке, в сапогах наведаясь к семье с торфоразработок. Среди множества газет он привез из Москвы и невзрачную кронштадтскую «Пролетарское дело». Там на видном месте была напечатана статья «Смыкайте ряды» за подписью: «член Центрального Комитета Российской социал-демократической партии К. Сталин». Именно в этот тягостный, опасный для партии момент, как бы противостоя распространившимся смятению и подавленности, Сталин впервые в своей деятельности счел нужным подписаться именно так. Иван Иванович прочел вслух эти столбцы жене и шестнадцатилетней петербургской гостье, пристроившейся тут же у стола.

Надя вслушивалась в определенные, словно грубой выделки, без разнообразия оборотов, отражавшие что-то сильное даже и своей негибкостью, слова далекого дяди Сосо: «Теснее сплотиться вокруг нашей партии, сомкнуть ряды против ополчившихся на нас бесчисленных врагов, высоко держать знамя, ободряя слабых, собирая отставших, просвещая несознательных».

На дачу к Радченкам вскоре заехал осанистый, вдумчиво посматривающий сквозь пенсне Ногин, один из участников только что закончившегося Шестого съезда партии. Наде показалось, что он с каким-то особенным вниманием на нее взглянул, когда Радченко, подозревая ее, сказал: «Знакомьтесь, Виктор Павлович. Это Надя Аллилуева». О чем два большевика говорили наедине, она, конечно, не знала. Но за общим ужином опять услышала имя Кобы. Тут же была упомянута коробка папирос «Ой-ра». Лишь ее Сталин

держал в руке, когда шел к трибуне, чтобы выступить с отчетным докладом Центрального Комитета. Раскрыл, положил перед собой этот коробок — на внутренней стороне крышки уместился весь конспект доклада. Теоретика из себя не строил, не возвещал новых идей, говорил как верный, твердый последователь Ленина, пребывавшего в подполье. Наде тогда подумалось: неужели речь идет о том самом дяде Сосо, нередко обросшем, который, бывало, трунил над девочками Аллилуевыми, весело к ним обращался: Епифаны-Митрофаны?

Ногин рассказывал и нет-нет опять как-то очень тепло взглядывал на дочь Аллилуевых. И только вчера, когда мама шепотком открыла своей младшей тайну квартиры — «вышки», послужившей убежищем для Ленина, Наде разъяснилось, почему обращенные к ней глаза Ногина были так теплы. Ведь сюда к Ленину приходил и Виктор Павлович. А дядя Сосо тогда всякий день здесь находился, еще и проводил скрывавшихся на поезд.

Теперь он, не покидая местечка у печи, помалкивает, посматривает на забравшуюся в уголок оттоманки Надю.

Достав из кармана трубку, Коба прошагал к столу, вылил в массивную каменную пепельницу загасшие остатки курева и, втискивая коричневатой, как бы прокопченной подушечкой большого пальца в чубук свежую порцию темного, крупной резки табака, обратил взгляд на Каурова. И протянул:

— Лысый студиоз?

Хотя истекло уже несколько минут, как Платоньч этак себя отрекомендовал, Коба лишь теперь переспросил. Видимо, не упустил ни словечка, но до времени держал в уме. Сейчас неспешно раскурил трубку, выпуская и ртом и ноздрями запутывающийся в усах дым. После паузы продолжал:

— Опять зачислился в студенты? Совсем, что ли, в Питер перебрался?

— Кажется, смогу остаться, — выдерживая долгий взор веселых, будто вовсе без прожелти, глаз, Кауров невольно прибеж к своему: — Какая штука...

Коба вставил поговорку:

— Кажется, кашница, а на дне-то горох.— И поощрил:— Ну!

Кауров объяснил, каким образом удалось разделиться с солдатским званием, вырваться из Сибири.

— Снова пристроюсь в университет. Но, конечно, не учиться! Доучусь когда-нибудь. А пока... Буду, Коба, в драке не последним! Хотелось бы пойти в газету. Сколько сумею, помогу!

— Да и на митингах он не потеряется,— сказал Серго.

— Товар знаю. Реклама не нужна.

— Сколько сумею, помогу,— повторил Кауров.

— Не торопись.— Сталин пыхнул трубкой, прошелся.— Сначала доскажи про иркутские дела.

Вчерашний солдат-сибиряк, преобразившийся в студента, вернулся к рассказу об Иркутске. С меньшевиками до сих пор не размежевались. По-прежнему существует объединенная социал-демократическая организация. Неоформленное немногочисленное большевистское крыло старается влиять на промежуточные колеблющиеся элементы, не дает воли ярым оборотцам внутри объединения.

Сталин резко сказал:

— Никаких объединений с социал-тюремщиками! Неужели этого не понимаешь? Надо рвать!

— Я-то понимаю, но другие...

— Что — другие? Хочешь воздействовать на колеблющихся, перестань колебаться сам. Это не мои слова. Взял их у Старика. Рвать, и только! В этом, как и во всем, он прав.

— Ильич?

— А кто же?

— Но ты ведь...

У Каурова едва не вырвалось: ты говорил совсем другое. Сталин мгновенно разгадал недопроизнесенную фразу. И, не вынимая изо рта трубку, бормотнул:

— Да, мы не сразу поняли его тезисы.— Усы окутались выпущенным через нос дымом. Затрудненно сгибавшаяся левая рука потянулась к чубуку:— Прав был во всем. Ну, Того, продолжай. Кто там из большевиков потверже?

Кауров назвал, охарактеризовал нескольких товарищей. Сталин интересовался подробностями, легко воспринимал юмор, смеялся.

Затем разговор перескочил на иркутских анархистов. Они там довольно сильны. С ними приходится драться.

Снова вмешался Серго:

— А я, признаться, радуюсь, если на трибуну вылезает анархист. Это всегда прекрасный случай растолковать наш взгляд на государство, всю программу Ленина. И от анархистов только летит пух.

— Да,— подтвердил Коба,— анархизм вянет, когда мы выдвигаем тезис: государство без армии, без полиции, без чиновничества.

Кауров вновь уставился на Кобу. В голубоватых глазах сквозил вопрос: ты же именно из-за этого окрестил Ленина Ламанчским. Как тебя уразуметь?

Скупое на мимику, худощавое смуглое лицо оставалось спокойным. Сталин, чудилось, даже не уловил вопрошающего взгляда. Впрочем, несомненно, приметил. Но ответил только равнодушием. Сказано же: не сразу поняли. Единожды выговорено, и хватит! Манера пошагивать, покуривать была по-прежнему неспешной.

— С этим идем на выборы в Учредительное собрание,— продолжал он.— Того, мою статью к выборам читал?

Пришлось не без смущения ответить:

— К выборам? Какая штука... Не дошла.

— Ехал, ехал, разминулся. Что же, экземпляр для тебя найдется.

Сталин подошел к стоявшей у оттоманки тумбе, улыбнулся безмолвствовавшей Наде, шутливо дернул черную косу, которая, как и раньше, была перекинута через плечо, открыл дверцу, порылся и быстро извлек, развернул понадобившуюся газету. Его статья «Выборы в Учредительное собрание» занимала три колонки на первой странице. Положив лист на скопище книг, закрывших верхнюю лакированную доску тумбы, он твердым толстым ногтем отметил какое-то место в статье, почти прорезая непрочную рыхлую бумагу. И подал своему Того:

— Просвещайся. Посмотри.

В статье с присущей Кобе сухой ясностью были по пунктам изложены воззрения и требования большевиков. Проборожденная ногтем черта схватывала следующие строки:

«11. Мы за народную республику без постоянной армии, без бюрократии, без полиции.

12. Вместо постоянной армии мы требуем всенародного ополчения с выборностью начальников.

13. Вместо безответственных чиновников-бюрократов мы требуем выборности и сменяемости служащих.

14. Вместо опекающей народ полиции мы требуем выборной и сменяемой милиции».

Обладатель круглой лысинки склонился над статьей. Коба отчеканил:

— Потому у вас анархисты и сильны, что вы доселе путаетесь с меньшевистской гнусью. Наказание поделом!

К газете подался и Серго:

— Могу сказать тебе, Платоныч, Ильичу статья Кобы понравилась. Знаем от надежного товарища: прочел и ходил вприпрыжку. И от нас требует: скорее к делу! К революции!

— Плод в свой срок созреет,— сказал Сталин.— Газету, Того, забирай. Вези с собой в Иркутск.

— В Иркутск? Я же вырвался сюда. Ведь здесь все будет решаться.

— И все-таки придется тебе ехать обратно.

— Разве тут буду не нужен?

— Посуди сам. Да, Питер — ключевой пункт революции. Но из одного полена костра не разведешь. Россия велика. Потерять Сибирь или Кавказ мы не намерены.— Затем Сталин припомнил еще поговорку, на этот раз восточную: — Расплескать воду легко, собрать ее трудно.— Погладил ус чубуком загасшей трубки.— Серго вот отпускаем в Закавказье. Кстати, там у родственников оставит свою бабу. А то очень уж с ней носится.

Серго укоризненно воскликнул:

— Коба! Хоть Надю-то побойся!

— Ничего. Пусть знает, что я такой-сякой немазанный...

Надя не откликнулась, не шевельнулась, широкие блестящие глаза опять как бы с удивлением разглядывали худенького, малорослого, в закрывавших шею черных бархатных вставках, то медлительного, то гибкого, быстрого грузина.

— Ну, пустяки к черту,— продолжал он.— Возвращайся, Того, в Иркутск. Там ты солдат, член Исполкома. Фигура. Сила. А тут ты кто? Ни два ни полтора. Почти что стрюцкий.

— Стрюцкий? Это что?

— Такие водятся и у нас в партии.— Коба повернулся к тумбе, где громоздилась беспорядочная стопка книг, хотел, видимо, какую-то взять, но передумал.— Ладно, об этом после... Мы как раз намечаем отправить из Питера в Сибирь нескольких наших людей. Какой же резон тебя здесь оставлять?

Возражений не отыскивалось. Короткие аргументы Сталина были несокрушимо логичны. Кауров молчал.

— Возвращайся и гни ленинскую линию. Рвать! Обособляться!— Пройдясь, Сталин добавил: — Но сделайте это с умом, не по-простецки. Требуется подготовка. Не спешите. Время есть. Соберите кулачок. Кой-кого пришлем. Но и не тяните. Случай всегда подвернется. И тогда бац без предупреждения! Полный разрыв с меньшевиками. Свой комитет, свои ячейки, своя газета, свои фракции в Совете, в профсоюзах, всюду. И все это — единым махом. Вдруг. Согласно Чехову. Не помнишь? Мужик и ахнуть не успел, как на него медведь напал.

— Коба, персонаж Чехова взял эти слова из басни Крылова, — мягко поправил Кауров.

— Ага... — протянул Коба. — Вдвойне весомо... — Повторил: — Мужик и ахнуть не успел, как на него медведь напал. — Не затрудняя себя какой-либо переходной фразой, продолжил: — Иди завтра в Цека, проинструктируйся, прихватишь и литературу. И наострый лыжи обратно. Не валандайся.

— А как же с моими документами?

— Ну, покажи.

Отпущенный из армии нижний чин достает из ту-
журки бережно хранимое, заверенное военной гербовой печатью свидетельство о демобилизации, выданное, как значилось, на основании соответствующего правительственного циркуляра. Глаза Кобы пробежали по строчкам:

— Бумагу повернем по-своему. Дело несложное. Отложи на год явку в университет. Бери отсрочку.

— Я бы взял, но университетская канцелярия меня, наверное, помытарит. День за днем буду ходить.

— А зачем туда соваться? Делай, не спрашиваясь. Сами дадим тебе отсрочку.

Присев к столу, Коба вооружился ручкой и стал писать наискось документа, прочитывая вслух свои выведенные крупным островатым почерком слова:

— Согласно договоренности с тов. Кауровым, он восстановится в правах студента через год. Вот и вся недолга. А в будущем году, хо-хо, вспомнится ли тебе эта бумажка? Подпишусь просто: за секретаря. Звание русскому оку привычное, секретарями держится Россия. И инициалы: Д. С.

— Почему Д. С.?

— Дядя Сосо,— расшифровал Сталин.

Наконец-то отозвалась Надя. Вскинувшись, она по-детски заплескала в ладоши.

— Шучу, шучу,— произнес Коба.— И подписался: К. Ст.— Держи, солдат. И больше об этом не заботься... А теперь, товарищи, пошли в столовую. Ольга, должно быть, уже сердится. Глядишь, сама за нами явится. Будем хозяев уважать.

Прощальный в честь Серго ужин не обошелся без Авеля Енукидзе, который, разумеется, прибыл не с пустыми руками, добавил к столу еще две бутылки грузинского вина. Одетый в гимнастерку без погон, статный, большеухий, с загибающимися вверх в прирожденной улыбке уголками губ, он шумно, с грузинским акцентом, даже более резким, чем у Кобы, всех приветствовал, а с Кауровым по случаю негданной встречи обнялся и расцеловался трижды, будто коренной русак.

Не садясь, Абель поделился впечатлениями дня. Он тоже, как и Серго, нынче с утра шастал по заводской окраине, навидался и наслушался. Да, можно не сомневаться, что на сегодняшних выборах в городскую думу рабочие и солдаты крепко поддержали наш список.

Завязался общий разговор.

Сталин, не обронивший пока ни одной реплики, выглядел и теперь благодушным, удовлетворенно жмурился. Абель выбрал себе место в застолье между Кауровым и Аллилуевым. Рядом черно блестяло пианино, купленное для девочек, или, верней, главным образом, для Нади, увлеченно и старательно одолевавшей курс музыкального училища. На стенах в темных рамах красовались два больших фото-портрета: Сергей Яковлевич, снятый, видимо, деся-

ток лет назад, дородный, с густой на зависть бородой, в крахмальном воротничке и галстукe, куда-то сосредоточенно взирающий, и Ольга Евгеньевна, неожиданно на снимке вовсе не полненькая, а с острыми чертами, с тенью впадин на щеках и под беспокойными, напоминающими чем-то цыганку глазами.

Разлили прозрачное светлое вино, Сергей Яковлевич поднялся и предложил выпить за дорогого Серго, который всегда говорит и поступает лишь по совести, за его Зину, ставшую и для нас другом, пожелал им счастливой дороги. Весело зазвенели бокалы — гордость хозяйки.

Коба чокнулся с Серго и кратко молвил по-грузински:

— Дай бог тебе победу!

Это грузинское на расставание присловье было тут знакомо даже и обеим дочкам Аллилуевым. Лишь уроженка Якутии, широкоскулая Зина не поняла восклицания, вопрошающе смотрела на Кобу. Тот, однако, по-восточному не удостоил женщину вниманием, невозмутимо молчал. Засмутившейся вдруг Зине Надя, сидевшая рядом, шепнула перевод. Они, сибирячка-учительница и петербургская гимназистка, и далее перешептывались, зачиналась их приязнь.

Надя, впрочем, сиднем не засиживалась, вскакивала, помогала маме вести стол. Вот возбужденно покрасневшаяся, похорошевшая Ольга Евгеньевна, сопровождаемая своей младшей, внесла из кухни коронное блюдо сегодняшнего ужина — жареную, потомившуюся в духовке курицу, уже разрезанную на куски, возлежащие среди соблазнительно желтоватого, пропитанного жирком риса. Коба раздвоенным на кончике носом втянул запах:

— Ну, Ольга, разодолжила... Лучшее на свете кушанье.

— Благодарю кулинарку. Надя сегодня решила блеснуть ради Серго.

— Мама, зачем хвалить, если никто еще не пробовал?

— За нами дело не станет, — произнес Коба.

Он ухватил коричневатую подпекшуюся ногу, затем набрал несколько ложек риса. Под застольный говор курица разошлась по тарелкам. Коба не воспользовался ножом, запустил зубы в куриную мякоть, держа суживающийся конец попросту пальцами. Прожевы-

вая, запивал глоточками вина. Нашел сильное выражение, чтобы изъяснить хвалу:

— Хотел бы я на своей свадьбе иметь такую курицу!

Авель мгновенно откликнулся:

— Что ж, мы тебя женим. Есть тебе невеста. Как раз сегодня ее видел. Конечно, передала тебе привет.

— Кто такая?

Шумок улегся. Все заинтересовались. Надя, уже опять занявшая место рядом с Зиной, медленно повернула голову к Авелю. Ольга тоже перестала есть.

А весельчак Золотая Рыбка разжигал любопытство:

— Угадай. Тебе под рост и под лета.

Коба невозмутимо прихлебнул винца:

— Ну, кто же?

Подержав всех в неведении еще минуту, Авель объявил:

— Мария Ильинична. Твоя Маняша.

Коба хохотнул:

— Тут, сват, ты промазал. Дадут нам с тобой по шапке.

Авель продолжал балагурить:

— А я говорю: дело может сладиться. Она два раза собиралась замуж. Но с одним женихом Владимир Ильич разошелся по аграрному вопросу, с другим — насчет самоопределения наций. И уж не до свадьбы! А тебе, Коба, все карты в руки.

В туске глаз Сталина, будто не отражавших света, ничего нельзя было прочесть. Не помня себя, побледнев, взброшенная какой-то силой, прямоноса, сейчас вдруг ставшая особенно похожей на отца, словно перенявшая строгий его облик, Надя, в упор глядя на Енукидзе, негромко, внятно ему бросила:

— Стыдно смеяться над такими людьми!

И, оттолкнув стул, выбежала из комнаты.

— Господи, что с ней?—воскликнула Ольга Евгеньевна.— Извините.

И побежала вслед за нарушившей веселый черед ужина дочкой.

Орджоникидзе не смолчал:

— Молодец девочка! Тебе, Авель, так и следует!

Авель смущенно развел почти не принимавшими загара белыми мягкими руками:

— Пойду объяснюсь...

— Не трепыхайся,—процедил Сталин.

Авель подчинился, не покинул стола. Коба неспешно извлек из кармана коробку папирос:

— Закурим.

Вскоре он выпустил клуб дыма и, сильно дунув, последил, как рассеивается сизая кудель. Его сонный или туповатый в эту минуту вид служил, что и по прежним временам было ведомо Каурову, своего рода броней, через которую не сквозил внутренний мир. О чем Коба сейчас думал, как отнесся к происшедшему — оставалось тайной. Он прошелся взглядом по смуглому кругловатому лицу заметно обеспокоенной старшей дочери Аллилуевых:

— Епифаны-Митрофаны... Подливай, Аня, гостям. Хозяйничай.

Ужин, разговор, казалось, пойдут дальше своей колеей, будто и не было девичьей вспышки. Серго с этим не примирился. Он, решительно встав, тоже, как и Ольга, пошел к Наде.

Коба молча покуривал.

Минуту-две спустя Серго появился вместе с Надей. Каурову запал в память этот миг. Коротко стриженный Орджоникидзе улыбался. Улыбка играла и в глазах, и в явственно проступившей ямочке на подбородке, и в задорном разлете усов, которых почти касался кончик мясистого горбатого носа. Большой рукой он обнимал Надю за плечи. Она еще переживала мгновение своего взмета, глядела, дичась, из-под лба, над которым белела в гладком зачесе прямая линия пробора. Губы еще были обиженно, по-детски надуты, но вот они дрогнули в улыбке. Одна коса по-прежнему ниспадала через плечо. К ней, девушке-подретку, потянулись руки Зины.

Вскоре опять хлопотала у стола Ольга Евгеньевна. Ей помогали дочери. Опустошенные тарелки были заменены чайной посудой. Понадобились и мужские руки, чтобы внести из кухни самовар. Не позволив Сергею Яковлевичу утруждать себя этим, Авель легко втащил, водрузил этот самовар, булькающий, поблескивающий медными округлостями, исконно русский.

Наш пострел везде поспел,— незлобливо сказал Коба.

К нему вернулось хорошее настроение. Он опять весело поглядывал, пошучивал, глоточками тянул вино. Не отверг и чая. Ольга Евгеньевна заметила всплывшую длинную чайнику в стакане, который протянула ему. И хотела ложечкой ее извлечь. Сталин отмахнулся:

— Сойдет. На Руси чаем еще никто не подавился.

Подала реплику Зина:

— А у нас это считается приметой. Нечаянная радость.

— Слыхивал,— проронил Сталин.

Попивая чай, он лакомился иззелена-черным ореховым вареньем, присланным с какой-то оказией из Грузии.

Выдался промежуток молчания. Минуту-другую никто не заговаривал. Неожиданно Сталин предложил:

— Споем! — Посмотрел на Каурова. — Споем, сибиряк, тебе напутную.

По привычке конспиратора он плотно затворил окно. И без дальнейших предисловий неузнаваемо чистым, как бы освободившимся от постоянной сипотцы, верным голосом повел:

Ревела буря, дождь шумел,
Во мрак молнии летали.

За столом дружно подхватили:

И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали...

Державший мелодию запевала легко взял высокие ноты в этом протяжном: «бу-ше-ва-ли». Ни в чем не погрешая против лада и меры, он, первый голос, опять заводил в одиночку:

Во славе страстино дыша,
В стране суровой и угрюмой...

Снова вступили подголоски:

На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.

Коба пел, сложив на груди руки. В ту минуту Каурову подумалось: не сам ли ты Ермак? Сталин звонко тянул балладу-думу дальше. Принадлежащая

перу Рылеева, широко распространившаяся в городах и весях, однако несколько длинная для застольной песни, она в народе как бы обкаталась, обрела сжатость. Но Коба придерживался рылеевского оригинала, выпевал строфы, не вошедшие в повсеместно принятый сокращенный вариант:

Кто жизни не щадил своей,
В разбое золото добывая,
Тот думать будет ли о ней,
За Русь святуго погибая!

Не зная, видимо, этого текста и не пытаясь вторить, Надя смотрела, что называется, во все глазенки на просветлевшего, ставшего красивым Кобу. И вдруг подошла к пианино, неслышно откинула крышку. Стоя, не глядя на клавиши, тонкой суховатой кистью принялась подбирать мелодию, переливы которой ясно выделял высокий голос:

Своей и вражьей кровью смыв
Все преступленья буйной жизни
И за победы заслужив
Благословения отчизны...

Каурову вдруг вспомнилось, как однажды много лет назад в далеком отсюда Кутаисе Коба негромко произнес: «Тебе одной...» Это были начальные слова известного любовного грузинского стихотворения: «Тебе одной все, что дано мне с высоты Богом». Именно тогда, в кутаисском парке, Кауров ощутил, что в душе этого постоянно скрытного, занятого только делом человека вибрирует и струна лирики. И не звучит ли в высоком чистом голосе, столь разнящемся от его обычного, прокуренного, и теперь эта струна? Перехватывая пытливым взгляд Каурова, продолжая петь, Коба встал, подошел, потрепал его плечо.

Нам смерть не может быть страшна,
Свое мы дело совершили
Сибирь царю покорена,
И мы — не праздно в мире жили

Дальнейшие строфы Коба допел стоя. Настал черед и завершающей:

Носились тучи, дождь шумел,
И молнии еще сверкали .

Придерживаясь замедленности, что исходила от первого голоса, включился единым ладом хор:

И гром вдали еще гремел,
И ветры в дебрях бушевали.

Помолчав, Сталин опять положил руку на плечо Каурова:

— Тебе напутная... Не праздну, Того, проживем на свете!

Вынул папиросы, закурил. Раскрыл окно. Уселся.

— Начала, Надя, так продолжай. Отчебучь нам что-нибудь на этой штуковине.

Дымящимся окурком он указал на пианино. Надю не смутил этот его самобытный стиль. Не чинясь, она села за инструмент. И уведомила:

— Шопен.

В ее репертуаре были шопеновские плавные вальсы и пронизанные раздумьем баллады, но сейчас она заиграла пламенную бурную мазурку. Окончив, повернулась. Раздались хлопки, слова одобрения. Однако Надя смотрела лишь на дядю Сосо, опять по-кошачьи жмурящегося, ждала его высказывания. Он весело произнес:

— Этот Шопен настоящий кавказец!

Улыбка приоткрыла Надины ярко-белые зубы. Подумав, она объявила:

— Бетховен.

С подъемом, будучи, что называется, в ударе, Надя исполнила темпераментную трудную сонату. Оперевая похвалы других слушателей, Коба воскликнул:

— И Бетховен тоже кавказец!

57

После музыкальной части опять завязался общий разговор. Сталин пригляделся к Орджоникидзе:

— Ты, Серго, сегодня что-то не в себе. Где-то витаешь...

— Душа, черт дери, не на месте. Лечу уже мыслями в Грузию.

— Летишь? А меня, признаюсь, туда не тянет. Корней там не оставил. Мои корни здесь.

— Кто же только что зачислил композиторов в кавказцы? А сам-то уже не кавказец?

— По крови кавказец, но ставший русским.

В беседу вмешался Кауров:

— Коба, нравственно ли отринуть свою национальность? Не пострадают ли, какая штука, нравственные основы личности?

Этот вопрос задел, видимо, Кобу. Он резко ответил:

— Не запутывайся в абстракциях! Разберись конкретно. Какая нация? В какую эпоху? Ныне есть в мире нация, стать сыном которой не зазорно, не безнравственно для пролетарского революционера.— Повторил с силой: — Для пролетарского революционера, откуда бы он ни был родом! Эта нация—русские! Россия теперь прокладывает путь человечеству. И я—русский! Русский кавказец! Но не серединка на половинку, не из стрюцких...

Коба, кстати... Что ж такое стрюцкий?

Один писатель объяснит тебе это лучше меня.

Сталин было привстал, но переменял намерение.— Надя, послужи. В моей комнате на тумбе найди книгу Достоевского. И тащи сюда.

Довольная поручением дяди Сосо, Надя вприпрыжку побежала. Тот проводил ее долгим невыразительным взглядом. И опять обернулся к Каурову:

— Мы уже не люди малой нации. Рассчитались с отличительной ее психологией.

Кауров возразил:

— Не подменяешь ли ты классовую отличительность национальной?

— Ничуть. Существует не только, скажем, психология мелкобуржуазности, но и мелкогосударственности.

— Мелкогосударственности? Откуда такой термин?

— Не я придумал. Старик однажды этак выразился про швейцарских социалистов: заражены психологией мелкогосударственности.

В столовую влетела Надя, протянула книгу. На кремовой обложке выделялось: «Ф. М. Достоевский. Дневник писателя». Однако Сталин сперва договорил:

— Я лишь иду за Стариком.

Поглядел на замершую перед ним девушку. Забрал у нее том, не поблагодарив хотя бы движением головы. Кратко сообщил:

— Купил как-то на развале. Вещь любопытная.— Неторопливо полистал. Отыскал нужное место: — Статейка называется: «Что значит слово: стрюцкие?». Ознакомиться бесполезно. Прочту заключительный кусок.

Ограничившись таким предуведомлением, Коба огласил строки Достоевского:

— «Итак, «стриюцкий» — это ничего не стоящий, не могущий нигде ужиться и установиться, неосновательный и себя не понимающий человек, в пьяном виде часто рисующийся фанфарон...» — Прервал чтение.— От себя замечу: и не в пьяном тоже. Да и вообще хмелек бывает всякий.— Опять опустил взгляд в текст: — «...часто рисующийся фанфарон, крикун, часто обиженный, и всего чаще потому, что сам любит быть обиженным. И все вместе: пустяк, вздор, мыльный пузырь, возбуждающий презрительный смех: «Э, пустое, стрюцкий».— Посмотрел на Каурова.— Уразумел?

— Как тебе сказать... Все-таки чувствуется душок реакционности.

— Того, пощади! — едко бросил Сталин.— Сами с усами. Лучше послушай-ка еще.— Опять принялся читать: — «Слово «стриюцкий, стрюцкие» есть слово простонародное, употребляемое единственно в простом народе и, кажется, только в Петербурге».— Обратился к Аллилуеву: — Сергей, что скажешь?

Вдумчиво внимавший мастер отозвался:

— Присоединяюсь. Стрюцких рабочий народ не уважает.

Сталин засмеялся, то есть выдохнул несколько отрывистых, как бы ухающих звуков, напоминавших смех. Сочтя, видимо, излишним комментирование, обретя свою обыденную скупую манеру, повторил:

— Вещь любопытная.

И отодвинул книгу. Ее повертел Авель, передал Каурову. Беседа за столом коснулась каких-то иных тем. Коба слушал, покуривал. Так и не вмешавшись в разговор, он встал:

— Серго, пойдем ко мне. Кой-чем займемся. Ольга, за курицу тебе нижайшее... Ублаготворила.

— Скажи спасибо Наде.

— Мама, к чему?... Дядя Сосо, я принесу вам чаю.

— Принеси.

Надя вмиг подхватила стакан Кобы, сполоснула, налила щедрую толику густой заварки.

— И вам, дядя Серго?

— Конечно. Чего спрашивать? — сказал Коба.

Блеснули взглянувшие на него Надины большие серьезные глаза. Он спокойно вышел. Вскоре и Надя с подносыком, на котором уместились стаканы чая и варенье, скользнула за ним.

Извинившись, приложив руку к груди опять-таки в знак извинения, еще не прощаясь, Серго выбрался из-за стола. На пути к двери приостановился, обернулся к Аллилуеву:

— Сережа, ты заметил, какими глазенками она смотрит на Кобу? Приглядывай.

...Кауров все сидел, листал незнакомый ему том Достоевского. На некоторых страницах твердый ноготь Кобы оставил свои вдавлины. Вот отмечены несколько строк в главе: «К истории глагола «штушеваться»: «...Похоже на то, как сбывает тень на затушеванной тушью полосе в рисунке, с черного постепенно на более светлое, и наконец совсем на белое, на нет». А вот и еще резкий след ногтя. Э, странная пометка. Глава называется: «Меттернихи и Дон Кихоты». Бороздкой на полях выведены строки: «Дон Кихот, хоть и великий рыцарь, а ведь и он бывает иногда ужасно хитер и не даст себя обмануть». Опять Дон Кихот, какая штука! О ком же Коба мыслил, всаживая тут мету? Кто же этот ужасно хитрый Дон Кихот?

Но тотчас Кауров устыдил себя. Какое право он имеет толковать-перетолковывать оттиснутые Кобой черточки? Говоря начистоту, это непорядочно. Кобу, наверное, просто интересуют великие образы мировой литературы. И нечего, какая штука, еще строить догадки. Долой их из головы!

...Платонычу в те дни больше не довелось поговорить с Кобой. Побывав наутро в Центральном Комитете партии, покрутившись еще сутки в Петрограде, член Иркутского совета рабочих и солдатских депутатов большевик Кауров возвратился в далекую Восточную Сибирь.

С той поры и до вчерашнего юбилейного, в честь Ленина, вечера — то есть более двух с половиной лет — Кауров не встречался с Кобой.

Поразительный кусок истории, неохватный перегон уложился в эти короткие два с половиной года. Кауров в те времена так и не знал иной одежды, кроме воинской. Член штаба вооруженных сил Иркутского Совета, комиссар боевой группы, которая дралась с чехословаками, захватившими узловые пункты сибирской магистрали. Комиссар дивизии, которая в один летний день 1919 года вступила наконец в Сибирь, преследуя надломленного Колчака. Политработник, переброшенный на Южный фронт против Деникина. Большевик из считанного числа старых (хотя ему минуло только тридцать лет), возглавлявший парткомиссию своей армии, парткомиссию, немилосердную к разрушителям коммунистической морали. И одновременно лектор партийной школы, неперемный докладчик по текущему моменту на всякого рода собраниях, постоянный и безотказный сотрудник фронтовой газеты.

Что же несет ему вырисовывающаяся впереди мирная — впрочем, в мыслях Кауров привычно выразился поточней: более или менее мирная, — новая полоса революции? Не придется ли еще оставаться в армии? Не предстоит ли переброска на польский фронт, откуда нависает опасность?

Вчера при негаданной встрече Сталин ему сказал: «Приходи в три часа в Александровский сад». Кауров загодя пришел сюда, в сыроватый по-весеннему сквер, протянувшийся в низинке вдоль стены Кремля. Еще утром эта стена была подернута белесым слоем инея, ломкая корочка простерлась на садовых тропках, а теперь, в середине дня, солнце растопило и иней и лед.

Поджидая Кобу, Кауров облюбовал скамейку на припеке, удобно расположился, снял фуражку, обнажив ребячески тонкие светлые волосы. В саду кое-где нежно зеленели стебельки молодой травы, пробившейся сквозь темную палую листву. На еще голых вековых липах смолисто поблескивали набухающие почки. Востроглазый фронтовик углядел и несколько едва развернувших голубую чашечку подснежников, притаившихся близ серой груды рухнувшего бетонного памятника Робеспьеру. Так укрылись, что никто из гомонящих поблизости детдомовцев, увлеченных «палочкой-выручалочкой», не обнаружил, не тронул хотя бы один голубоватый глазок. Захотелось сорвать эти неприметные цветы, украсить весенним букетиком распахнутую свою

шинель. Алексей Платонович с безотчетной мальчишеской улыбкой приподнялся, но тотчас себя остановил. Куда его, какая штука, понесло? Где его солидность ответственного военного политработника? Можно не сомневаться, Коба вскинул бы бровь, вышутил бы его букетик.

Кауров метнул взгляд по сторонам: не идет ли уже Сталин? Нет, среди прохожих в длинном просвете аллеи тот не обнаружился.

Что же, у Каурова с собою в шинели — пачка сегодняшних газет, добытых в Политуправлении Красной Армии. «Правда» и «Известия» уже читаны, в обоих помещены небольшие заметки о вчерашнем чествовании Ленина. Выступлению Сталина уделено лишь две-три строки. А вот и газета Московского комитета партии «Коммунистический труд». Э, тут гораздо более подробный отчет. Автор, видимо, делает только первые шаги на журналистском поприще, его выручает непосредственность:

«Ленин нарочно созвал,— говорят,— на 8 часов вечера заседание Совнаркома, чтобы не идти на юбилей».

Даны кусочки речи Горького. И схваченный журналистом с натуры штрих:

«Характеризуя огромную фигуру Ленина, Горький поднимает широкую руку выше головы. Этот жест руки, поднимаемой выше головы, когда он говорит о Ленине, повторяется все время».

Наскоро очерчен и Сталин. Позволим себе привести полностью эту относящуюся к нему выдержку, документ времени, не тронутый ни фимиамом, ни обличениями позднейших годов:

«Слово получает Сталин, бессменный цекист с подпольных времен, грузин, не умеющий говорить ни на одном языке, в старину один из преданнейших подпольных работников, ныне победитель Деникина на Южном фронте. То обстоятельство, что Сталин говорить совершенно не умеет, именно и делает его речь крайне интересной и даже захватывающей. О Ленине говорить хорошо, красиво нельзя. О нем можно говорить только плохо, не умея, только от души».

Кауров пробежал это с улыбкой, которая сделала приметными ямочки на еще бледноватых после болезни щеках. Победитель Деникина. Приятно, что этак сказано о Кобе. Вспомнилось: Коба когда-то казался

ему будущим русским Бебелем. Конечно, параллель была наивной. Платоныч легко признает тогдашнюю свою наивность. Русская революция, как ей и предназначено, породила своих выдающихся людей, ни с кем из прошлого не схожих. Никому не уподобишь и Кобу, ее сына!

Далее в отчете содержатся впечатления о появившемся Ленине:

«После перерыва все-таки привезли Ленина, веселого, брызжущего жизнью и радостью, по-видимому, после только что оконченной работы. Зал весело гудит и встает».

Кауров дочитывает заметку и опять улыбается, поглядывая по сторонам.

Э, вон, кажется, завиднелся шагающий Коба. Да, приближается сюда от Троицких ворот. Идет не быстро и не медленно в веренице прохожих, не оглядывающихся на него. Голенища сапог скрыты полами длинной шинели. Плотной надвинута меховая потертая шапка-треух с подвязанными наверху боковинами. Хлопчатая левая рука одета в варежку. Что-то он в ней держит. А, вяленую крупную воблу. Вот сильными пальцами правой руки Коба отламывает рыбку голову, швырком запускает в сторону. Содранная чешуйчатая шкурка тоже летит наземь. Зубы отдирают кусок спинки. Так он и идет, пожевывая, держа в варежке распотрошенную воблу, — народный комиссар по делам национальностей, член Революционного Военного Совета Республики, член Политбюро и Оргбюро Центрального Комитета партии.

Кауров поднимается навстречу:

— Здравствуй, Коба.

— Здравствуй, мыслитель.

По тону, по взгляду не уловишь, что же кроется за этим «мыслитель». Насмешка или, может быть, уважение? Свежевыбритое лицо испещрено веснушками, что забралось в самую глубь оспин. Усы молодо торчат вразлет, заостряясь к кончикам. Верней всего, он просто дружески шутит.

Но кто эта женщина, остановившаяся вместе с Кобой шагах в трех-четыре позади него? Кауров

мельком заметил еще издали, что следом за Сталиным двигалась женская фигурка в темном жакете, в темной же матерчатой шляпке. Голова идущей была наклонена, глаза потуплены. Чудилось, от нее веет чем-то грустным. Однако Платоныч не сразу ее распознал, внимание было отдано подхитившему Кобе. Затем кинуло к ней:

— Наденька, вы?

Кауров и сам не понял, откуда взялось его удивление. Ведь было известно, что Надя стала женой Кобы. Но как-то не вязалась с отложившимся в памяти обликом то игривой, то серьезной носатенькой девушки, умевшей и взбунтоваться, представляя взору картина: жена плетется позади мужа, словно блюда патриархальщину Востока. Да еще несет какой-то упакованный в газетную бумагу, стянутый бечевкой, видно увесистый, сверток. Быстро она изменилась...

Однако Надя смотрит с улыбкой на Каурова:

— Я, Алексей Платонович, я...

Черт дернул, пожалуй, ему лишь показалось, что от нее веет разочарованием. И вовсе она не поникшая. В оттененных прямыми черными ресницами больших глазах искрится юморок. Приоткрывшиеся белые зубы, как и раньше, красят смуглое, правильного овала, лицо. Да, проглянула прежняя веселая добрая девочка. То есть, конечно, уже не девочка. Но сколько ей лет? Кауров прикинул: какая штука, всего девятнадцать. А что? Пожалуй, по виду больше и не дашь. Даже не верится, что минуту назад она показалась ему совсем другой.

— Наденька, как я вам рад.

Она тотчас откликается:

— Нечаянная радость?

Этот ее возглас как бы вызывает из минувшего квартиру-«вышку» на 10-ой Рождественской, столовую с портретами четы Аллилуевых, с черно блестящим пианино у стены. Ольга Евгеньевна намеревалась вынуть из поданного Иосифу стакана всплывшую чайинку. Тихая тут, Зина Орджоникидзе проговорила: «А у нас это считается приметой. Нечаянная радость». И Сталин изрек: «Слыхивал». Неужели именно в тот вечер ему, не знававшему мягкосердечия революционеру, судьба принесла нечаянный дар—вдруг занявшуюся пламенем любовь шестнадцатилетней девушки,—девушки, которая, должно быть, тогда еще не сознала,

сколь глубоки, неистребимы ростки впервые изведанного чувства, пронизавшие ее цельную натуру.

Нечаянная радость... Несколько месяцев спустя в той же квартире, в той же столовой справили свадьбу Сталина и Нади. Опять участниками вечеринки были и Абель Енукидзе, который при регистрации брака расписался как свидетель со стороны жениха, и вернувшийся с Кавказа Серго Орджоникидзе. Лишь не было Каурова, обретавшегося в сибирском далеке, клокочущем, как и вся Россия. В какую-то минуту пирушки Сталин дал волю страстям, которые его переполняли, схватил со своей тарелки куриную ногу и с маху швырнул в стену. Сергей Яковлевич укоризненно качнул головой. Коба ударил себя в грудь:

— Кавказец!

Так и осталось на обоях несмываемое подтекшее пятно — след счастливейшего дня, памятный знак свадьбы.

...Теперь близ стены Кремля Коба, поглощая воблу, безмолвно прислушивается к разговору Нади и Каурова. Она сообщает Платонуичу кое-что о себе: обучалась машинописи, была в 1918 году вместе с Сосо в Царицыне, жили в вагоне, там же находился и ее, машинистки, рабочий столик.

— Заболтались! — прерывает Сталин. — Ему твои рассказы неинтересны.

Осекшись, Надя сводит на миг брови, потупляется, но тотчас верх берет живость характера. Взглянув вновь на Каурова, она комически сокрушенной улыбкой как бы извиняется за грубость Кобы. В глазах можно прочесть: вы же его знаете. Кауров говорит:

— Надя, мне слушать вас очень интересно.

— Ты, Того, известный бабий угодник.

Жена Сталина уже не решается распространяться о себе. Лишь произносит:

— Работаю теперь в Секретариате Совнаркома. Опять машинисткой.

— Ну, наговорила? Долго ли еще заставишь ждать?

Понукаемая Кобой, Надя переходит на скороговорку, к тому же несколько смущенную:

— Алексей Платонович, я узнала, что вы в Москве болели. И всего два или три дня, как поднялись... Вот вам...

Она протягивает ему обернутый газетный тючок.

— Что это? Зачем?

— Пустяки. Две банки какао. Сахар. Коржики моего изготовления. Вам для поправки.

— Надя, ни в коем случае! Пусть это пойдет Кобе. Видите, какой он у вас худенький. Ему тоже нужно сладкое.

— Не думайте, его не обездолим. Он этого не ест. На сладкое предпочитает воблу. После обеда засовывает в карман и...

Опять шаловливо-сокрушенная гримаска оживляет лицо Нади, она вновь будто просит извинить его чудачества.

— Бери, Того, бери. Чего ее обижаешь?

Кауров принимает подарок. Чем же отплатить? Подмывает нагнуться к голубым цветкам, припрятанным меж обломков памятника, и вручить Наде букетик. Однако взор Кобы тяжел, даже молчанием он как бы повелевает жене: уходи, не отнимай времени!

Она, больше не задерживаясь, прощается с Кауровым. И, быстро ступая в незатейливых, на низком широком каблуке, ботинках, удаляется по тропе сада, оставляя мужчин наедине.

60

— Садись, Того, потолкуем.

Оба усаживаются на скамью. Сталин освобождается от меховой шапки, пятерней зачесывает, как гребнем, свои жестко вздыбленные волосы. Затем вытаскивает из шинельного кармана еще рыбину, потчует Каурова:

— Грызи!

— А ты? У тебя же больше нет.

— Ну, разделим надвое по-братски.

В руках Кобы трещит, переламываясь, хребетик воблы, рвутся напитаемые солью волокна, сыпятся сухие чешуйки, он протягивает другу лучший кус, довольствуясь меньшей частью.

— Какие, Того, у тебя планы? Куда думаешь податься?

— Думать не приходится. Поеду к себе в армию.

— Но сам что бы хотел делать? Открывай свои задумки.

— Кое-что замыслил. Мечтаю написать книгу.

— Книгу? О чем же?

— О коммунистической морали.

— И какова главная мысль?

— Понимаешь ли, если сказать коротко, буду трактовать проблему: власть и мораль.— Кауров выбрасывает ладонь, указывая на громоздящиеся остатки памятника.— Кстати, и Робеспьер когда-то говорил: власть без добродетели гнусна, добродетель без власти бессильна.

Э, Коба, кажется, заинтересовался. Во взгляде мелькнуло знакомое вбирающее выражение. Он, однако, возражает:

— Во-первых, абстрактной добродетели не существует. Для нас добродетельно лишь то, что служит победе революции. Во-вторых, сначала отстоим нашу власть, а уже потом будем писать книги.

— Разве мы ее не отстояли?

— Раненько успокаиваешься.

— Да вовсе я не успокаиваюсь. Придет опасность, окажусь в деле. Но ты меня спросил про мои мечтания.— Кауров смущенно добавляет:— Лежал больным, какая штука, а на уме книга.

— Ладно, пока это отложим.— Коба швыряет обглоданный хребетик.— Что скажешь о моем вчерашнем выступлении? Выкладывай напрямик.

Кауров все же сперва запинается. Ему требуется, как и не раз в прошлом, одолеть некую словно бы пригибающую незримую силу, источаемую Кобой.

— Ты, какая штука, всегда оригинален. Я бы назвал тебя большим оригиналом.

— Комплимент сомнительный. Ну, не ходи вокруг да около. Давай по существу.

— Видишь ли... Что же у тебя получается?— Кауров наконец перестает мяться, слова вольно полились.— Ленин велик, не видит ни ям, ни оврагов на своем пути.

Коба слушает, не перебивая. Его собеседник продолжает:

— И потом... Как же это так? Октябрьская революция произошла вроде бы вопреки тому, что он советовал.

— Ты не понял. Не вопреки... Старик— великий стратег партии. Он указал нам единственно верное направление действий. Мы, практики, лишь кое в чем

его поправили. Некоторые конкретные подробности нам, небольшим людям, были виднее.—Коба по давнишней манере отделяет паузами фразу от фразы.— А как же иначе? Как иначе может жить партия?

Он упирает взгляд в Каурова, ожидая ответа. Платоныч не находит опровержения. В самом деле, как опрокинешь эту несокрушимую ясную логику? Сталин высказывается далее:

— Да, в отдельных частных несогласиях мы проявили твердость против Старика. А как же иначе?— Речь привычно уснащена повторением риторического оборота.— Как же иначе? Мы идем за ним не слепо, а с открытыми глазами. Он и сам не потерпел бы другого к себе отношения. Лишь какой-нибудь фальшивый аристократ духа, фальшивый барин жаждет слепого преклонения.— Коба выговорил это со злостью, которую перед Кауровым не счел нужным скрывать.— В марксистской партии такие долго не заживутся. Теория героя и толпы, культ личности нам чужды и, надеюсь, не проникнут в нашу партию... Что, не согласен?

Кауров не может не признать убедительность слов Кобы. И произносит:

— Согласен.

— Что же, по этому случаю закурим трубку мира.

Сняв варежку с несвободно двигавшейся левой руки, Сталин достает из кармана трубку и жестянку с табаком, выбивает чубук о скамеечную доску, смахивает пепел. Кауров говорит:

— Все-таки надо бы тебе полечить в Эссентуках руку. Кавказ теперь стал нашим. Лечись.

— Когда-нибудь съезжу. Возможно, и с тобой там повидаемся.

— Э, меня-то туда, наверное, не отпустят.

— Как знать... Попросим, отпустят.

Платоныч поднес Кобе спичку. Свернул и для себя самокрутку. Подымили, помолчали. Опять заговорил Сталин:

— Новые времена — новые переброски. Перебросим, Того, и тебя в другое место.

— На польский фронт?

— Польша — эпизод. Последняя тучка рассеянной бури. Будем глядеть дальше. Россия, Того, велика. Всюду нужны люди. Намечаем демобилизовать тебя

из армии, послать на мирную партийную работу. Что скажешь?

— Да мой сказ тебе известен: куда партия пошлет, туда и отправлюсь.

— Не очень, впрочем, мирную. Штатские ботиночки нам с тобой надевать рано. В Дагестан тебя сватаем.

— В Дагестан? Коба, но я же никогда там не бывал. Не знаю уклада, обычаев...

— А где наберем знающих? Бывал, не бывал, Россию спланировать надо. Старый кавказец, сориентируешься. Да и тут немного познакомим с обстановкой. Будешь работать заместителем секретаря Дагестанского обкома и редактором газеты.

Сталин затем кратко информирует: получена телеграмма Серго Орджоникидзе, который объездил города и аулы Дагестана, откуда Красная Армия прогнала деникинцев. Основная масса населения встречает нас восторженно. Но существует опасность появления банд, опирающихся на богатые верхи. Есть, конечно, и промежуточные элементы, коим доверять нельзя. Серго умоляет дать крепких работников. На Кавказе прежде всего встретишься с ним, он введет в курс дела.

— А твое, Коба, напутствие?

— Будь тверд. Покажи колеблющимся, кто мы такие... Пожалуй, перед твоим отъездом еще поговорим.

Откинув шинельную полу, Сталин извлекает из кармана брюк белый свежий платок, о котором, наверное, позаботилась жена, вытирает поблескивающие жирком воблы пальцы. И достает из голенища военную полевую книжку.

В эту минуту откуда ни возьмись промелькивает оса, рано оживленная теплынью. И вдруг, вернувшись, принимается летать над головой Кобы, очерчивая и очерчивая круги. Тот отмахивается.

— Ты с ней осторожней! — говорит Кауров. — Это сумасшедшая. Вылетела раньше срока. Ужалит.

— Чего ей от меня понадобилось?

— Должно быть, в тебе есть что-то особенное.

— Того, это лезть? Не надо. Не люблю.

Оса близко носится над Кобой. Явственно видны черные и желтые полосы брюшка. Коба последил за ней:

— Ну, летай, летай. Полетаешь, устанешь и сядешь. И тогда я тебя убью.

Более не обращая внимания на крылатое, вооруженное жалом существо, повторяющее и повторяющее свои круги, он спокойно раскрыл книжку, взял находившийся в ней карандаш, стал перебрасывать страницы.

— Зайди в среду в девять утра в Наркомат национальностей. К этому дню утвердим тебя постановлением Оргбюро. В наркомате подготовим кой-какие материалы... Да, еще вот что: если тебе скажут, что меня нет, все равно иди ко мне. Они не знают, что я на месте.

— Странный у тебя порядок.

— Хожу через черный ход прямо к себе.

Оса меж тем опустила на слегка скошенный лоб Кобы, поползла к краю волос и замерла. Сталин словно бы с полной невозмутимостью что-то черкнул в своей книжке. И вдруг поистине молниеносным движением его рука взметнулась и... Расплющенная умертвленная оса свалилась на шинель.

— Лихо! Не ужалила тебя?

— Обошлось.

Щелчком Сталин стряхивает на землю недвижимое маленькое туловище, да еще втоптывает подошвой.

— Не только убей, но раздави!

Он поднимает упавший карандаш, уместает в книжку, сует за голенище.

— Коба, все-таки объясни. Почему ты завел это: в наркомат с черного хода?

— Меньше будут видеть, больше будут бояться.

Опять не разгадаешь, то ли Сталин шутит, то ли говорит всерьез.

Натянув шапку, он встает. Живо вскакивает и Того.

— Меня не провожай,— повелительно роняет Коба.

И ничего к этому не добавляет. Чудится, что, как и в минувшие годы, его окутывает некая таинственность. Крепким рукопожатием распрощавшись с Кауровым, невысокий человек в шинели и шапке не быстро и не медлительно шагает вдоль вековой зубчатой стсны в направлении Красной площади, теряясь среди прохожих, не оглядывающихся на него.

ТАКОВА
ДОЛЖНОСТЬ



ПОВЕСТЬ

ЗНАКОМСТВО

Помнится, это было в 1935 году. В воскресный день я впервые пришел к Степану Семеновичу Дыбецу. Он занимал квартиру в недавно возведенном у Москвы-реки, близ Каменного моста, многоэтажном доме, который назывался тогда Домом правительства.

Обстановка квартиры не запечатлелась в моей памяти, хотя впоследствии я не раз бывал у Дыбеца. По-видимому, никаких особенных, как-либо привлекающих внимание вещей там не водилось: на положенных местах находились более или менее обычные, не очень дорогие стулья, столы, радиоприемник, диван. Как я узнал несколько позже, квартиры в этом доме первым жильцам предоставлялись с мебелью. Пожалуй, несколько примечательной была книжная полка: наряду с корешками красочных твердых переплетов виднелось немало неказистых. Чувствовалось, что хозяин берег эти книги.

Сейчас он стоял, спокойно разглядывая меня, ожидая моих слов. В его одежде не замечалось никакой небрежности или, так сказать, солдатской нетребовательности, характерной тогда и для работников промышленности. Серый костюм был хорошо сшит, свеж, отлично выутюжен. Белейшую сорочку красил в меру яркий галстук. Легко было догадаться, что Дыбец находил время для парикмахера: темные волосы, уже чуть отливающие сединой, были аккуратно подстрижены. Слегка блестели безукоризненно выбритые щеки и широкий, с небольшой ямкой подбородок.

Представившись, я достал бумажку, адресованную этому плотному, моложавому, под пятьдесят лет человеку, начальнику Главного управления советской

автомобильной и тракторной промышленности. В бумажке говорилось о задачах серии сборников «Люди двух пятилеток» и содержалось обращение к Дыбцу: «Редакция убедительно просит Вас, уважаемый Степан Семенович, поведать свою жизнь, рассказать обо всем, что Вы пережили и повидали».

— Богатая идея! — произнес Дыбец. — Широко размахнулись.

Я поспешил это подтвердить.

— Широко размахнулись, — повторил он. — Надо полагать, что ничего не выйдет.

Дыбец не улыбнулся, тон был серьезен, но в карих глазах засветились искорки. Я понял, что передо мной человек с юмором.

— Возможно, что не выйдет, — согласился я. — Но давайте все же воспользуемся случаем, запишем ваши воспоминания для истории.

Глаза моего собеседника утратили юмористическое выражение. Сейчас Дыбец взвешивал: стоящая ли идея предложена ему?

— Тем более, — продолжал убеждать я, — говорят, что вы, Степан Семенович, несколько раз встречались с Лениным.

— Да, было дело.

— Ну вот... Грех не записать это для истории.

Дыбец не ответил. Мне показалось: он колеблется. Следовало усилить напор, проявить изобретательность.

— Степан Семенович, а не сохранилось ли у вас каких-нибудь памяток о встречах с Ильичем, каких-нибудь его записок?

— Сохранилось.

Из нижнего ящика письменного стола Дыбец достал большой, перевязанный бечевкой конверт, развязал, высыпал содержимое на стол. Я увидел не очень объемистую книгу в потрепанном, даже захватанном, картонном переплете. Заглавный лист был наклеен на этот картон. Я прочел название: «Основы счетоводства, коммерческой арифметики и исчисления себестоимости». Вместе с книгой в конверте хранилась некая толка бумага. Я взглянул на голубоватый билет делегата на съезд профессиональных союзов в 1917 году. Чернилами было вписано «Дыбец» и строчкой ниже: «анархо-синдикалист».

— Степан Семенович, вы были анархо-синдикалистом?

— А как же? Записано пером.

— Когда же вы...

— Когда успел? Еще в Америке... По молодости лет, а отчасти и по другим обстоятельствам была каша в голове... Первостатейная каша, как сказал мне однажды Владимир Ильич.

— Вы жили в Америке?

— Да, поскитался там десяток лет. Удалось после всяких мытарств обосноваться слесарем-сборщиком на фабрике киноаппаратов. А в тысяча девятьсот одиннадцатом году стал одним из основателей «Голоса труда», газеты русских анархо-синдикалистов в Америке. Потом все мы, участники «Голоса труда», стали членами Ай-Даблью-Даблью.

Держа записную книжку, я не подал и виду, что мне известно это произнесенное Дыбецом загадочное наименование. Хотелось услышать объяснение от него. На чистом листке Дыбец вывел три буквы по-английски.

— Ай-Даблью-Даблью,— повторил он.— Индустриальные Рабочие Мира. Свою красную книжечку, членский билет, я получил из рук в руки от Билла Хейвуда.

Имя Хейвуда Дыбец произнес не мягко — Биль, как обычно выговариваем мы, а твердо, на американский манер: Билл.

— От Хейвуда? Того, который похоронен в Кремлевской стене?

Дыбец ответил, что в Кремлевской стене замурована лишь половина пепла, оставшегося после кремации Хейвуда. Хейвуд завещал перевезти в Америку другую половину, захоронить рядом с могилами казненных чикагских анархистов.

— В прошлом году,— продолжал Дыбец,— когда я ездил в Америку заключать договор с Фордом, выкроил денек, съездил на чикагское кладбище, посидел около Билла. От Ай-Даблью-Даблью теперь ничего не осталось... Лишь воспоминания.

Дыбец помолчал. Я показал на книгу с сугубо прозаическим бухгалтерским названием, что лежала перед нами.

— А это вы, Степан Семенович, почему храните?

— Разверните.

Я откинул переплет и на титульном листе вдруг увидел надпись. Насколько помнится (конечно, я понимаю, что

свидетельство памяти может быть и не вполне точным), все это вместе — крупный типографский шрифт заглавия и ниже несколько рукописных строк — выглядело так:

ОСНОВЫ СЧЕТОВОДСТВА, КОММЕРЧЕСКОЙ АРИФМЕТИКИ
И ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

Загем от руки:

Или, что то же
(как сие ни парадоксально),
ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ
ЛЕНИН

И дата — какой-то день 1922 года.

Я недоуменно смотрел на эту надпись.

— Полистайте,— предложил Дыбец.

Развернув книгу, я прочел на случайно открывшейся странице: «У Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинял, сфантазировал «новое» общество. Нет, он изучает, как естественно-исторический процесс, рождение нового общества из старого, переходные формы от второго к первому».

«Нет и капельки...» Ленинский характерный оборот. Удивленный, я воскликнул:

— Позвольте, какое же это счетоводство?!

— Догадались? «Государство и революция» в виновном переплете. Этот экземпляр повидал виды...

Я стал перелистывать книгу, проглядывая подчеркнутые карандашом строки. Должен покаяться, в ту пору приемы профессионала, добывающего рассказы бывалых людей для горьковского «Кабинета», слишком в меня въелись. Я умел, что называется, «завести» собеседника, пробудить в нем дух противоречия, легко находил, пускал в ход маленькие ловушки. При этом бывал и легкомысленным. Впрочем, нужны ли оправдания?

Я простодушно сказал:

— Не кажется ли вам, Степан Семенович, что капелька утопизма все-таки туда проникла?

Еще не договорив, я уловил, что достиг цели: мое замечание затронуло Дыбеца. Спокойное, нелегко, по всей вероятности, выражающее внутреннюю жизнь лицо чуть изменилось. Подбородок стал упрямым. Дыбец ответил:

— Ленин этого не находил.

— Вы разве его спрашивали об этом?

— Спрашивал. Именно об этом. Собрался с духом и спросил.

— И что же?

Держа карандаш наготове, я глядел на Дыбеца.

— Долгая песня,— сказал он.— Начинать надо издалека.

— Вот и хорошо... Наша заповедь, Степан Семенович, не спешить, не комкать.

— Нет, это займет слишком много времени. Но в сокращенном виде я, пожалуй, мог бы рассказать.

Дыбец невозмутимо смотрел на меня. Смугловатое лицо вновь приобрело добродушное выражение. Я взволновался, запротестовал. В сокращенном виде? Нет, ни Дыбец, ни я не имеем права сокращенно излагать, сокращенно записывать историю его жизни, в которую вплетено столько событий, столько встреч. И о разговорах с Лениным тоже сокращенно? Я даже не допускаю этой мысли. Нам с вами, Степан Семенович, не простят этого будущие поколения. Если понадобится, затратим двадцать, тридцать вечеров, но запишем полностью всю вашу жизнь. Запишем даже то, что кажется будто незначительным, ничего не пропустим. Так, только так, Степан Семенович, нас приучают работать в горьковской редакции. В общем, я выложил лавину аргументов.

— Что ж, попробуем,— наконец согласился Дыбец.

Обрадованный, я предпочел промолчать. Дыбец взял книгу, положил ее в конверт, стал собирать и другие бумаги. Мое внимание привлекли две или три газетные вырезки. Невольно я спросил:

— А это что такое?

— Трехи молодости: некоторые мои газетные статьи...

— Так покажите же.

— Пожалуйста.

Я просмотрел вырезанные из газеты столбцы не очень отчетливой печати на плохо выбеленной, рыхловатой бумаге первых лет революции. И вдруг меня поразили строки: «Отметит ли когда-нибудь историк эту повседневную, кропотливую, не крикливую работу самих масс? Придет ли когда-нибудь к нам, участникам великого переворота, который

совершается в самых глубинах жизни, попросит ли нас, пока мы живы: свидетельствуйте перед историей?»

Дважды прочитав эти строки, я в удивлении заглянул даже на обратную сторону: да, я держал небольшую статью Дыбеца, вырезку из «Правды» 1922 года. А он невозмутимо поглядывал на меня.

— Так вы, Степан Семенович, собственно говоря...

— Угадали... Поджидал вас много лет.

— Но почему же вы мне этого сразу не сказали?

Дыбец улыбнулся. Теперь улыбка была откровенно лукавой. Многие она сказала. Примерно вот что: если ты меня прощупывал, «заводил», то и я тебя взял на зубок — тот ли ты, кого я ждал?

Но взамен всех этих объяснений Дыбец лишь вымолвил:

— Такова должность.

Да, не зря, видно, ему вверили целую отрасль промышленности, и еще какую — автомобильную и тракторную. Не зря посылали заключать договор с Фордом. «Советский Форд» — так называли Дыбеца американские газеты.

Нет, это не Форд. Это один из тех, кого мы именуем людьми двух пятилеток. Мне, посланцу «Кабинета мемуаров», он сам расскажет о себе.

Так произошло наше знакомство, так начались встречи, во время которых Дыбец повествовал, а я слушал.

* * *

Пользуясь случаем, добавлю еще несколько слов о «Кабинете мемуаров». Мы, несколько молодых литераторов, были привлечены туда в качестве беседчиков — этим неуклюжим наименованием обозначалась наша профессия. Увлеченные делами своего времени, мы умели увлеченно слушать, допытываться, поощрять собеседника, что как бы дарил нам, современникам, — да и потомству — устную повесть своей жизни, нередко изумительную.

Так мы ходили по людям — творцам революции, творцам пятилеток, — приносили записи. Постепенно в сейфах «Кабинета» набралось несколько сот стенограмм. Помнится, это собрание называли стенотеккой.

К сожалению, после смерти Горького многие принятые им начинания сошли как-то на нет. Прекра-

тилась работа и редакции «Люди двух пятилеток», готовившей выпуск ряда сборников к 1937 году, к двадцатой годовщине Октября. Обидно погибли и материалы «Кабинета мемуаров» — их не поберегли. Доселе не вполне ясно, как, где они утрачены. Думается, следовало бы изучить обстоятельства этой пропажи — может быть, что-нибудь еще отыщется. Немногие записи, к тому же и не в полном виде, сохранились у меня. К ним принадлежит как бы вырванная из некоей книги стопка воспоминаний Степана Семеновича Дыбеца.

Привожу эти уцелевшие страницы. Кое-где я опустил малозначительные эпизоды и сократил некоторые длинноты, кроме того, разбил этот сравнительно обширный текст на главы, обозначенные цифрами.

РАССКАЗЫВАЕТ ДЫБЕЦ

(Уцелевшая часть стенографической записи)

1

...В минуты душевных потрясений, пока я отчета себе не отдам, я ни с кем не разговариваю. Роза Адамовна — она, как я упоминал, тоже скрывалась со мною в Бердянске — изучила эту мою черту. Когда у меня внутри сумятица, я могу молчать месяц. Дам себе отчет — на моем языке это называется сбалансировал, — после этого могу разговаривать. А пока мучаюсь — все пуговицы застегнуты и никто лишнего слова не добьется.

Найдя приют в Бердянске, я, как сказано, работал ради хлеба насущного на кооперативном заводике, переехавшем из Америки в Россию. Он так и назывался: Русско-Американский инструментальный завод, или сокращенно РАИЗ. Но чем бы я ни занимался — стоял ли у тисочков, орудуя напильником, или исчислял кредит и дебет в бухгалтерии, которая была более укромным уголком, — своей чередой в голове шли размышления.

Вновь и вновь я себя пытал: чему же научила меня в Кронштадте и в Колпине моя деятельность анархосиндикалиста? Каждое столкновение с большевиками отбрасывало меня в контрреволюционный блок, то

есть к сторонникам такого социального устройства, которое всей душой я отвергал. Но опять я терзался необходимостью признавать государство. И лишь книга Ленина «Государство и революция», попавшая какими-то путями в Бердянск вот в этой безобидной обложке «Основы счетоводства», книга, которую товарищи сунули и мне, покончила с последними моими колебаниями.

Примерно к осени 1918 года я пришел к выводу: революция есть революция, идеализировать рабочих и крестьян нельзя, революционными делами надо руководить и при этом придется применять силу, чтобы преодолеть всякие препятствия. А ежели сила — значит, государство. Пришлось уразуметь, что самое мощное орудие в общественной борьбе — это, конечно, государство, которое я по своему невежеству дотоле отрицал. И больше я к этому не возвращался. Я могу болеть долго, но, выздоравливая, излечиваюсь уж до конца.

В октябре я сказал некоторым моим товарищам большевикам, тоже работавшим на этом Русско-Американском заводе:

— Я, ребята, фактически сдал позиции. Расписываюсь в несостоятельности анархо-синдикализма. Готов перейти к большевикам.

Товарищи меня знали еще по Америке, знали, что я не случайный революционер, приняли мою протянутую руку. Однако в Бердянске, который в 1918 году был захвачен немцами, передавшими затем власть русским белогвардейцам, водворилась тогда такая реакция, что мы некоторое время ничего не предпринимали. Принесет кто-нибудь новость. Обсуждаем ее группой в пять-шесть человек. Другого дела, собственно говоря, не было, хотя в уезде, как я вам уже рассказывал, происходили крестьянские восстания, действовали партизанские отряды.

Примерно в январе или в первых числах февраля 1919 года у белогвардейцев в Бердянске началась паника. Они принялись грузиться на пароходы. Пулеметы трещат по всему городу, а они срочно грузятся с имуществом и лошадьми. И уходят в неизвестном направлении, оставив город совершенно без власти.

На сцену выплыла бывшая городская дума. Обсудив положение, мы, горстка большевиков — в эту горстку уже был включен и я, — решили так: к чему пренебрегать властью, если она плохо лежит? Надо

ее поднять. И украситься хотя бы красным флагом, а там будет видно. Пока пулеметы трещали, мы собрали за городом фракцию, то есть главным образом рабочих, о которых мы знали, что они, как говорится, большевистски настроены. На собрании постановили, что, как только последний пароход отойдет, нужно хватать власть и создать ревком. Делегаты в ревком выбирались на заводах. Наш заводик делегировал меня, остальные большевики прошли в ревком от других заводов.

На первых порах мне было дико все согласовывать. Я не привык согласовывать. Если вопрос для меня ясен, я тут же объявляю решение. Но порой товарищи меня одергивали. Это было первое стеснение, которое я почувствовал как член партии. Впрочем, ребята хорошо меня знали и не крепко били за излишнюю самостоятельность, тем более что в ту пору — это нужно сказать — у меня был, что называется, непочатый край инициативы, то есть попросту бесконечная инициатива.

Как только мы сформировали власть и выпустили листовки, что вот волей рабочего класса организован ревком, которому принадлежит вся власть в городе, что рабочий класс принимал участие в выборах ревкома, делегировав от таких-то заводов таких-то товарищей, так тотчас же начали сколачивать и свою собственную вооруженную силу для поддержания порядка в городе. Вытащили у кого какие были ружья. Оказалось, что большая часть винтовок испорчена, без затворов. Самое досадное — не было патронов. Исправных винтовок сотни три все же набралось, но на каждую винтовку приходилось лишь по два-три патрона. Тем не менее все это было извлечено, взято на вооружение. Соответствующим проверенным товарищам поручили организовать боевой отряд.

А мне на заседании ревкома был выделен финансовый отдел, поручено вести финансовое хозяйство. Тут моя хозяйственная инициатива развернулась на полный ход. В банке я нашел три рубля бумажками, но тем не менее была по всем правилам произведена национализация банка. Далее я начал разрабатывать проекты, как жить дальше, как обложить имущую часть населения, чтобы получить деньги. Начал брать на учет и обнаруженные в городе различные ценные материалы: металл, кожу и т. д.

Примерно через неделю после того, как мы провозгласили власть ревкома, к городу подошли махновские отряды. Нестор Махно тогда был в такой ипостаси: командир третьей советской крымской бригады имени батьки Махно. Эта бригада входила составной частью в регулярную армию наркомвоенмора и командующего Крымским фронтом товарища Дыбенко. Махно таким образом явился в качестве командира бригады Красной Армии. Нам ничего другого не оставалось, как его приветствовать: все же советские войска.

Каков он был из себя? Ну, что сказать? Был низенького роста. Носил длинные волосы, настолько длинные, что они свисали на загорбок. Признавал единственный головной убор — папаху, служившую ему и зимой и летом. Владел прекрасно всеми видами оружия. Хорошо знал винтовку, отлично владел саблей. Метко стрелял из маузера и нагана. Из пушки мог стрелять. Это импонировало всем его приближенным — сам батько Махно стреляет из пушки.

Тут надо упомянуть, что в 1905 году моя Роза (то есть в ту пору еще не моя, так как познакомились мы только в Америке) сидела в екатеринославской тюрьме, и тогда же в той же тюрьме сидел и Махно. Анархисты слышали, что меня занесло в Бердянск, что я стал большевиком, членом коммунистической партии. А Роза еще оставалась анархисткой. Встреча ее с Нестором — это встреча старых бойцов. Затем Махно подходит ко мне.

— Здравствуй, Дыбец. Значит, ты ренегат теперь?

— Здравствуй. Значит, ренегат.

— Выходит, совсем большевик?

— Выходит, совсем.

— Да, многие продаются большевикам. Ничего не поделаешь.

— Значит, продаются. И я продался.

— Но гляди не пожалей.

— Пляжу.

Такой примерно разговор, не в дружеских, как видите, тонах, но и не на высоких нотах, у нас произошел. Я держался с ним спокойно. Мы друг другу не подчинены. Хожу я тут с достаточным авторитетом.

Здесь надобно сказать, что Бердянск отличался от других городишек тем, что там подвалы были полны

вина. Махновская бригада вошла к вечеру, а наутро мы увидели, что если армия постоит в городе еще два-три дня, то никакой армии не останется — просто перепьются.

Наутро, когда мы в ревкоме получили сведения о том, что делается в городе, я связался с махновцами и сказал, что мне нужно поговорить с Махно. Махно явился. Другие большевики, члены ревкома, как-то меньше с ним имели дело, а мне по наследству, как бывшему анархисту, главным образом и приходилось вести с ним переговоры.

Я ему сказал:

— Ты войсками город занял зря. Если хочешь спасти свои войска, надо их немедленно выводить на фронт. А город будет вас снабжать обмундированием, продовольствием. В пределах возможности поможем. Судя по сводке, которую я имею, твоя армия перепилась вдребезги. А присосавшись к вину, она не уйдет, пока все не высосет. Однако вина здесь столько, что твоя бригада будет пить целые месяцы.

Махно мне ответил, что в таких советах не нуждается. Сегодня его приказом будет назначен комендант города. Этому коменданту мы обязаны подчиняться, ибо когда армия занимает город, то все учреждения подчиняются армии, город переходит на военное положение.

Я ему заявил, что мы на это не пойдем, что мы собственными силами гарантируем здесь порядок. Он как командир бригады может предъявить нам требования. Все его требования мы постараемся удовлетворить. Но самоустраняться от власти мы не собираемся. Так что ему придется арестовывать весь ревком. (Это я не согласовал с товарищами, но был уверен в их поддержке.) Махно повторил, что назначит своего коменданта.

— Мы не возражаем насчет коменданта, однако и у ревкома есть свои права. Если желаешь, будем об этом договариваться.

Должен сказать, что если бы я имел дело с обычным командиром красноармейской части, то все равно воспротивился бы хозяйничанию такого военного человека. Ну а что касается Махно, то тут, как говорится, нам сам бог велел ему власть не сдавать.

Наш разговор ничем не кончился. Я отправился в уездный комитет партии, или, как тогда мы

говорили, в уком. Собрали бюро и начали обсуждать нашу линию поведения. Пришли к заключению, что власть не уступим. Превратить ревком в некое безличное учреждение, подчиненное Махно,— это не выйдет, тем более что слава про Махно идет не совсем ладная. Поговаривают, бандитствует. А нам нужно укреплять советский порядок, советскую власть. Так что не выйдет. Мы должны отстаивать свои права как революционная советская организация. Городом и уездом мы должны управлять. Махно может оставить своего коменданта, поскольку это касается военных нужд, военной защиты города. А для поддержания порядка надо довооружить патронами тот батальон, который мы создали, и у нас будет своя надежная военная сила для охраны города с тем, чтобы, если ворвется грабитель или разложится какая-либо воинская часть, мы могли бы твердой вооруженной рукой водворить порядок.

К вечеру Махно действительно вновь к нам приехал. Мы выступили с нашей декларацией. Он заявил, что ему такая декларация ни к чему. Он человек военный и признает только военную власть.

— Эдак не пойдет. Тогда арестуй нас сразу. Город мы не уступим никому. Тем более что надо насаждать советскую власть в селах. Что же, ты и в селах будешь военную власть организовывать, туда ставить комендантов? Смотри, тебе это невыгодно.

Такие аргументы на него подействовали, он пошел, что называется, на попятный:

— Да, зерно и фураж уездная власть должна нам дать. Поэтому черт с вами, оставайтесь, будете нас снабжать. И надо найти контакт.

Было ясно, что ссоре с нами он предпочел компромисс. Мы, однако, понимали, что, несмотря на такой компромисс, он все же будет грабить город.

Тут надо сделать небольшое отступление. К моменту, когда махновцы пришли в Бердянск, вероятно, именно в эти же дни подъехала группа коммунистов, которые работали здесь раньше, были организаторами первого Совета, а потом в разное время покинули город, когда оккупанты-немцы, а затем и отечественные белогвардейцы чинили в городе расправу. Эта группа состояла из таких товарищей: Могильный — теперь он работает в Совнаркоме, Волков — теперь член Московской контрольной комиссии, Кулик — теперь

в «Главсоли», и некоторые другие. Названные товарищи были наиболее опытными, закаленными в разных передрягах коммунистами. Вот из них-то и из выдвинувшихся местных коммунистов и организовался уком. Да, с ними еще прибыл Яковлев — питерский рабочий. Его вскоре выбрали секретарем укома.

В эти же дни мне поручили быть председателем ревкома. Моим заместителем стал Волков. Могильный был назначен уездным военкомом, Кулик — уездным комиссаром продовольствия. У Кулика работал заместителем Журков, болгарин, очень энергичный человек. Хорошо работали, как я уже сказал, и несколько местных товарищей. Таким образом, коммунистические силы у нас были. Тут я уже был оформлен как член партии, получил партийный билет. Меня ввели и в члены укома.

Так начали мы совместное жительство с махновцами.

3

Махно был из тех анархистов, которые принципиально отрицали всякую организованность. Такие люди или, верней, лучшие из них идеализировали движение масс и в особенности крестьянский бунт. Они не понимали, что среди крестьянства есть кулак, середняк, бедняк, рассуждали о крестьянстве вообще, будто оно являло собой что-то сплошное.

Махно запутался в своих политических воззрениях. Не раз доводилось мне спорить с ним на эти темы. Спрашиваю:

— Какая же у тебя программа?

— А вот свергнуть сначала белых, потом большевиков.

— Ну, а дальше?

— Дальше народ сам будет управлять собой.

— Как управлять? Дай ты себе отчет.

В ответ он туманно излагает анархические идеи о безначалии, о крестьянских коммунах, не подчиненных никакому государству, никакому организующему центру.

— Наша же деятельность, — говорит он, — только агитация и пропаганда. Народ делает все сам. Этого мы придерживаемся и в военном деле. Сама армия собою управляет.

— Чепуха. Полнейшая чепуха.

Но Махно твердит:

— Вот посмотришь. Разделаемся сначала с белыми, потом с большевиками.

В его ближайшем окружении находилась разная шантрапа, представители анархо-бандитизма. К нему слетелись разоруженные анархисты из Москвы и Петрограда, некоторые вырвались из тюрем, ушли от чекистских пуль. Были и попросту уголовники-грабители, всякие дегенераты — Никифорова Маруся, Черводемский и другие. Позднее к Махно примкнул и такой анархо-синдикалист, как Волин, человек доктринерского ума, не умевший и не желавший видеть действительной жизни, лично мне известный еще по Америке. Он мог бесконечно разглагольствовать, но всегда терял нить мысли. По любому вопросу готов выступить с докладом или с лекцией, начнет, растекается, говорит по три часа.

— А какие же выводы?

— О выводах побеседуем завтра.

В политотделе махновской армии Волин был, пожалуй, наиболее чистой личностью.

Сам Махно не отличался высоким уровнем развития. Он, как анархист, читал кое-что Кропоткина, Оргияни, а также, может быть, Бакунина, но этим и ограничивался его багаж.

Думается, Махно обладал недюжинными природными задатками. Но не развил их. И не понимал, какова его ответственность. Ему льстило, что вокруг него собралась такая большая армия. Но что делать завтра — этого он себе не представлял.

Предотвратить грабежи, которыми то и дело занималась его армия, тем самым отталкивая от него крестьянство, он был не в силах. Иногда он карал грабителей, расстреливал десяток-другой своих приближенных, но затем опять давал волю стихии, поднявшей его на гребень, и грабежи возобновлялись. Он не мог систематически с этим бороться, будучи противником организованности.

Около него группировалась еще и кучка его родственников и земляков по Гуляй-Полю, которые снабжали его выпивкой, шелковым бельем и тому подобным.

Пил он несусветно. Пьянствовал день и ночь. Развратничал. Ему, отрицателю власти, досталась почти

неограниченная бесконтрольная власть. И туманила, кружила голову.

Свою военную деятельность Махно начал как батько-атаман небольшого партизанского отряда. Совершил несколько лихих набегов в тылы белых. Проявил в этом дерзкую изобретательность. И постепенно в селах распространилась слава о нем. Может быть, тут была вина и молодой советской власти, когда ему создавали популярность как герою. И пошли даже на то, чтобы его войско, уже многотысячное, звалось бригадой имени батько Махно.

А он плыл по течению, которое несло его неведомо куда.

Случалось, я опять разговаривал с ним с глазу на глаз, снова спрашивал:

— Что ты будешь делать завтра?

— Будет народная коммуна. Анархическая республика.

Однако, толкуя о будущем, он обнаруживал полное невежество, особенно в таких вопросах, как экономика, промышленность. Знал лишь, что завод — это такая вещь, которая должна выпускать изделия, а во всем остальном — откуда брать сырье, каким образом осуществлять хозяйственные связи, хозяйственный план — оставался совершенно темным. Повторял свое:

— Коммуна.

— Посмотри ты на свою коммуны. Ты даже не знаешь, что она выделяет. Твои войска грабят кругом.

— Подойдет время — перестанут.

— Да они завтра же повернут винтовки против тебя, если ты их попробуешь прижать. Неужели ты этого не видишь, слепой ты человек!

Мои аргументы были настолько весомы, что Махно лишь говорил:

— Ренегат.

Это был его самый убийственный довод против меня. Другими возражениями он не располагал.

Махно оставил в Бердянске начальника штаба своей армии — Озерова. Озеров был военным по профессии, родом из кубанских казаков, некогда

командовал конной сотней. Позднее я близко узнал этого довольно интересного человека. Он уверял, что принадлежит к левым эсерам. Однако, по-моему, это был политически мало развитый вояка. В гражданскую войну он успел получить несколько ранений. Кисть правой руки была совершенно раздроблена. Но каким-то образом он ухитрился носить в этой руке нагайку, которой стегал направо и налево, наводя дисциплину в махновской вольнице.

К Махно его направил Дыбенко, балтийский матрос-большевик, который в ту пору был командующим советской крымской армией. Озеров, как начальник штаба, чувствовал, понимал свою ответственность, но все его усилия навести порядок в войсках Махно оставались тщетными. Никак не удавалось превратить бригаду батьки Махно в регулярную воинскую часть.

Надо сказать, что вся эта бригада имела весьма своеобразное строение. Ни полков, ни батальонов в ней не имелось. Были отряды. Отряд такого-то, отряд такого-то. При этом численность отрядов все время менялась.

Если, скажем, в отряде Щуся насчитывалось, по его словам, две тысячи человек, то, когда мы с Озеровым пошли проверять, оказалось, что сегодня в отряде налицо триста бойцов, завтра — пятьсот. Спрашиваем:

— Откуда появились двести человек, которых вчера не было?

— Подошли из деревни.

— А куда девались остальные? Ведь у вас числится две тысячи.

— Ушли в деревню.

Более или менее постоянное ядро в этих отрядах состояло из командира и его штаба, а все остальное — текучий состав. Как набиралась эта армия? Объезжая уезд, я однажды в каком-то селе стал свидетелем следующей сцены. Пожилая крестьянка срамит парня, своего сына:

— Ты же ни черта не делаешь, да и делать сейчас по хозяйству нечего. Шел бы к Махно. Посмотри на ребят из нашего села. Вот Николай, вот Иван Федорович пробыли у Махно три месяца, привезли по три шубы, пригнали по паре лошадей.

Так крестьяне и шли к Махно. Вступив в отряд, можно было пограбить. Потом вернуться восвояси.

А через некоторое время снова пойти на войну. Из-за этого в отрядах происходила непрестанная текучка.

Были исключения. Крепко сколоченным являлся отряд села Новоспасовка. Там подобралось несколько требовательных, твердых военных людей. И завели настоящую воинскую дисциплину.

Но почти все остальное представляло собой некие таборы, то разраставшиеся, то внезапно тающие.

Озеров метался из отряда в отряд, переживал свое бессилие. Не однажды наедине со мной он плакал, называл себя мучеником, трагической фигурой, предрекал себе роковую участь.

Мне, как председателю ревкома, полагалось бы заниматься лишь, так сказать, гражданскими вопросами и не вмешиваться в армейские дела. Я бы и не занялся изучением махновской армии, если бы ко мне не пришел Озеров и не заявил, что, по сведениям его разведки, сосредоточиваются офицерские войска генерала Шкуро. Озеров при этом заявил, что если я не отдам ему своего батальона, то он не сможет отстоять город. И не исключено, что уже через сутки, а то и через два часа сюда войдет Шкуро и вырежет нас, как кур. Мне было очень жаль расставаться с батальоном. Как мог ревком лишиться себя вооруженной силы, когда в городе то и дело происходили грабежи? Я заподозрил Озерова в том, что он норовит нас разоружить и даст таким образом свободу рук своим махновцам, любителям пограбить.

— Поедем,— сказал я,— посмотрим твой участок, а после этого будем решать, как быть.

Он согласился. Мы поехали. Это был мой первый выезд в махновские войска. Фронт пролегал между Бердянском и Мариуполем. Мы поехали от края к краю по всему этому фронту. Я уже говорил, что не было ни полков, ни батальонов — только отряды неопределенной переменной численности. Наконец среди этого разброда встретился отряд, который представлял собой действительно боевую единицу. Бойцы, как ранее я упомянул, были новоспасовцами, жителями большого села Новоспасовка.

Там, в Новоспасовке, мы обнаружили интересный порядок. Во-первых, мы познакомились со всеми лидерами села. Настроения махновские, однако народ организован. И даже отряд, который они выслали на фронт, назван батальоном. В батальоне четкие

подразделения: роты, взводы. В селе — штаб тыла. Штаб этот регулярно изо дня в день снабжает своих фронтовиков продовольствием, ежедневно получает сводку о наличии бойцов в ротах, не сбежал ли кто. Если сбежал, никуда дальше не уйдет, как к себе домой. Секут за самовольную отлучку. Двадцать пять — пятьдесят нагаек — это норма, если парень ушел без разрешения командира.

Побыли мы и в новоспасовском батальоне на фронте. Увидели настоящий военный порядок: окопы, сторожевое охранение, часовые, связь. Командиром батальона был двадцатитрехлетний парень Куриленко, военная косточка, лихой кавалерист. Он, крестьянин из середняков, не очень развитой, тоже разделял махновские воззрения. Но управлял твердо.

В батальоне имелась кавалерия. Для нее были взяты лучшие кони из села. Обзавелись и пулеметами.

— Кто вам дает оружие?

— Да вот разживаемся у белых. Сколько отберем — все наше!

Новоспасовцы заранее разведывали через крестьян, где и какие обозы находятся у белых, затем совершали налет, захватывали пулеметы, патроны и таким способом довооружались. И хороший запас держали. И в продовольствии не нуждались: снабжались из села. Новоспасовка мобилизовала и соседние селения. Оттуда тоже шло подспорье. Сапоги, например, были новыми у всех бойцов. Но уж если какой-нибудь боец отнял лошадь у крестьянина, получай пятьдесят — сто нагаек.

— Стрелять не буду, — объяснял Куриленко, — а шкуру спущу.

На каком-то другом отрезке фронта, ближе к Мариуполю, мы нашли греческий отряд. В греческих селах офицеры-каратели учинили беспощадную расправу за революционные дела. Греки возненавидели белых. Так возненавидели, что только приказы — пойдут в бой. Железная дисциплина была введена в греческом отряде. Таким образом, на всем фронте дисциплинированными, боеспособными были только эти два формирования.

Во всех остальных — ералаш, если не употреблять более крепких выражений. Никакой связи по фронту. Никакого правильного командования. Приказы Озерова, в которых требовалось сообщить о том, где рас-

положена данная часть и с кем держит связь, не выполняются.

Тут мне довелось видеть, как Озеров своей искаленной рукой перепорол командиров.

— Приказ получил?

— Получил.

— Связь с кем держишь? С кем по приказу должен держать связь?

— Да я позабыл.

— Как так позабыл? Ты знаешь, кто я?

— Так точно. Озеров.

— Озеров... Не Озеров, а начальник штаба!

— Так точно, знаю.

— А с кем связь держать — не знаешь?

— Да позабыл, товарищ Озеров.

— Так я тебе напомню.

После этого Озеров командует:

— Сейчас же разошли связь. Свяжись с такими-то участками.

Этот наш объезд фронтовых частей многое показал Озерову, а еще больше мне. Я впервые собственным глазом посмотрел, каков этот фронт, какова эта армия, бригада Махно, которая грудью защищает подступы к Бердянску.

Кстати тут надо заметить, что в детстве я ездил верхом, а теперь, проехав в седле первые сорок километров, едва мог ходить. Пришлось пересесть на тачанку, а Озеров ехал на коне. Однако я изо дня в день тренировался и недели через две, к концу нашей поездки, стал неплохим кавалеристом, в тачанку больше не садился, не отставал от Озерова на своей верховой лошади.

5

Возвращаясь с фронта, мы с Озеровым пришли к твердому убеждению, что, если войска держать в бездействии, не продвигать дальше, они совсем разложатся. Озеров обратился в штаб Дыбенко, просил разрешения перейти в наступление на Мариуполь, просил дать хоть сколько-нибудь патронов.

С этим своим рапортом он пришел ко мне.

— Прочти. Отправляю нарочным. Но Дыбенко моему рапорту вряд ли поверит. Ты же теперь

большевик. Добавь от себя несколько слов. Подтверди мою бумагу.

Я приписал, что положение на фронте Озеров охарактеризовал правильно.

Озеров затем продолжал:

— Вы, коммунисты, здесь на месте сами видите: я делаю все, чтобы бригада стала организованной боевой силой, но я не могу из песка без цемента слепить что-то крепкое. Дайте мне коммунистов в армию.

Мы и без его просьб уже пробовали давать. Однако нередко случалось, что в махновских отрядах коммунистов резали. Коммунист не позволял грабить. А раз так, значит, это враг. Чик — и поминай как звали.

Вместе с тем махновцы разводили демагогию: как воевать — так большевиков нет, не сыщешь их на фронте, а как город взят — они тут как тут, сразу объявляются, хватают власть. Зная эти настроения, я, когда мы объезжали фронт, везде и всюду представлялся председателем уездного ревкома и большевик.

Озеров затем снова просил передать ему батальон ревкома.

— Ты же убедился, — говорил он, — что мы висим на волоске. Разве мы можем удержать город этой армией? Стукнут — и я не даю тебе никакой гарантии. Мне нужен ваш батальон со всеми командирами и политработниками, чтобы закрыть любой прорыв.

Условились, что батальон остается в нашем распоряжении, а в крайности выступит на фронт.

Вскоре Озеров получил приказ Дыбенко о переходе в наступление. С этим приказом он опять пришел ко мне.

— Едем на фронт. Поведем армию в наступление. Тебе, Дыбец, это выгодно. Наживешь политический капитал в войсках. Посмотришь, как наступают, и будешь мне помогать.

Я об этом доложил в уюме. Товарищи высказались так: мне следует ехать, надо показать, что большевики не страшатся идти в бой, делят судьбу фронтовиков. Я, таким образом, получил разрешение вновь ехать на фронт в качестве председателя ревкома.

Со мной снарядили несколько подвод белья, сапог. Это предназначалось бойцам, которые дерутся. Если самоотверженно дерешься, получай пару белья, чтобы тебя, боец, не ела вошь.

Под Мариуполем расположено село Шарог. Там обосновались белые. Наши части изготовились захватить это село. Патронов у нас было маловато, примерно восемнадцать — двадцать на бойца. Причем под давлением Озерова Куриленко поделился своими запасами. Больше неоткуда было взять.

Новоспасовский батальон должен был наступать с правого фланга. Озеров и я приехали туда. Рядом с новоспасовцами заняли исходные позиции и три-четыре отряда — довольно ненадежные отряды. Озеров, как умный вояка, одну новоспасовскую роту расположил в тылу. И приказал:

— Если кто побежит обратно — пристреливать!

Цепь, которой предстояло атаковать, залегла против села. Озеров верхом поехал вдоль цепи. Рядом с ним трусил на своем коне и я. Белые окатили нас, двух всадников, ружейным и пулеметным огнем. Для меня это было боевым крещением. Уши ловили неприятное посвистывание пуль. Но Озеров оставался спокоен, не пригибался к гриве, не убыстрял ровного аллюра. Конечно, и я следовал его примеру.

Бойцы нас провожали взглядами. Вон под огнем начальник штаба Озеров и председатель ревкома большевик Дыбеч.

Артиллерийской стрельбы белые не вели. Позже выяснилось, что у них не было снарядов.

Наши двинулись перебежками к селу. Белые лежат, стреляют. Пулеметы строчат по нашей цепи. Там-сям пуля срезает бойца. Но наши все сближаются с противником. Наконец приходит критический миг. Белые так близко, что надо или броситься в штыки, или...

Белые уже прекратили пальбу. Значит, к чему-то готовятся. Вероятно, только ждут, чтобы наши поднялись, и встретят пулеметами, встретят таким огнем, которого не одолеть. Здесь я имел случай увидеть, сколь необходим в решительную минуту какой-то психологический толчок. Не знаю даже, как это назвать — военная демагогия, что ли. Мы с Озеровым уже спешили. Он мне тихо говорит:

— Пожалуй, вперед дальше не пойдут. Скомандуешь: «Вперед!» — а побегут назад. Надо принимать меры.

И Озеров вскочил на коня, ударил нагайкой. Конь рванулся. Я, разумеется, поспевал за Озеровым. Он подлетел к командиру передовой цепи:

— Встать!

Командир вскочил. Озеров сплеча огрел его нагайкой.

— Я тебе, сволочь, говорил, чтобы держать интервалы! Учил тебя, дурака, соблюдать интервалы в три-четыре шага между бойцами! В каком порядке цепь? Почему нет равных интервалов?

И нагайка действует без усталости. Бойцы глядят: Озеров лупит командира, у того уже лицо в крови, кричит об интервалах. А белые все выжидают, не открывают пальбу.

— Цепь, вперед! — во все горло орет Озеров.

И цепь поднялась, ринулась вперед. Пулеметы белых ее не остановили. Наши ворвались в село, вышибли противника, забрали восемь пулеметов, пятьдесят — шестьдесят подвод с патронами, три пушки, что стояли без снарядов.

Вот как решается иногда бой.

Озеров потом целовал избитого командира:

— Не тебя я бил! Я всю твою цепь лупцевал! Надо было психологически воздействовать.

Это сражение, в котором меня по всему фронту видели рядом с Озеровым под огнем, создало мне среди махновцев славу: Дыбец, бывший анархист, а ныне коммунист, пуль не боится, будет драться вместе с нами, привез белье, — значит, наш брат, к нему можно апеллировать, ходить к нему как к своему коммунисту.

6

Пробыв на фронте три-четыре дня, я вернулся в Бердянск и опять взялся за свои обязанности председателя ревкома. Обозначим, кстати, дату: подходил к концу март 1919 года.

В Бердянске пришлось решать неотложные задачи. Махновцы продолжали грабить город. И из волостей все чаще поступали жалобы: махновские отряды самовольничали, забирали зерно на ссыпных пунктах, кормили пшеницей лошадей. Из-за этого срывались наши продовольственные заготовки. Следовало что-то предпринимать.

Между прочим, в эти же дни обнаружилось настоячивые поползновения махновцев вывезти различные

запасы из Бердянска в Гуляй-Поле, где располагалась, так сказать, ставка батьки Махно. Особенно они покушались на главное наше богатство — кожу. Дело в том, что к моменту ухода белых из Бердянска в городе оказалось вагонов двадцать отлично выделанной кожи, принадлежавшей различным спекулянтам. Мы ее реквизируем, открыли большую мастерскую, где шились и шились сапоги. Этими сапогами мы прежде всего наделили наш батальон. Давали и войскам Махно.

Само собой разумеется, нам не хотелось выпускать кожу из Бердянска. Я решил, что уж если нас вынудят расстаться с этой кожей, то отошлем ее только в Москву, не иначе. Тем временем представители Махно учинили нам скандал и категорически потребовали, чтобы мы направили кожу в Гуляй-Поле. Они берут на себя снабжение своей армии. Они нами недовольны: ревком плохо их снабжает. Армия воюет без сапог.

Под конец, после долгих словопрений, я делаю вид, что отдаю махновцам эту кожу. В их присутствии погрузили двенадцать вагонов.

На пути из Бердянска в Гуляй-Поле находится узловая станция Пологи. Там переформируются поезда. На станции Пологи работал мой старый друг еще по 1905 году Ваня Гончаренко. Этого парня я вызвал в Бердянск. Мы с ним договорились, что вагоны с кожей будут прицеплены к любому пассажирскому поезду, идущему в Москву. Сие и было проделано в наилучшем виде. Своих сопровождающих махновцы не догадались послать. Вагоны проскочили Гуляй-Поле. Таким образом удалось переправить в Москву под охраной наших людей главные запасы кожи. Кое-что по соглашению с махновцами мы оставили у себя. Наши мастерские работают, выпускают сапоги.

Получив шифрованное сообщение, что вагоны благополучно проследовали, я с недельку выждал, а потом, когда махновцы обращались ко мне за сапогами, говорил:

— Адресуйте в Гуляй-Поле. Туда отправлено столько-то вагонов.

И возразить нечего. Все видели, как шла погрузка кожи. И вагоны ушли по назначению в Гуляй-Поле: так гласили железнодорожные документы.

Далее я стал этой кожей козырять на всех собраниях, когда там участвовали махновцы. Вот мы такие-

сякие, недобрые люди, а отправили двенадцать вагонов кожи по требованию вашего штаба. Видимо, Гуляй-Поле будет крепко снабжать вас сапогами. Махновцы растерялись. Где же все-таки вагоны? Исчезли.

А мы наседаем, нас не остановишь:

— Эх вы, не могли вагоны получить. Двенадцать вагонов на глазах людей были погружены. Вот, значит, как у вас поставлено снабжение. Вот, значит, какая у вас организация. А если нет организации, не беритесь за дела, с которыми не способны справиться, предоставьте это людям, умеющим работать.

Дело приняло настолько скандальный оборот, что в Бердянск приехал Махно. Мне он говорил:

— Не знаю, где кожа. Если бы я знал, кто украл кожу, тут же своей рукой бы расстрелял. Но пойми, Дыбец, мое положение. Кожу сперли, а ты кричишь: двенадцать вагонов! Бога ради, перестань кричать об этой коже, а то войска начинают меня трепать.

Кожа долго оставалась моим козырем. Толкуем, препираемся с Махно, и чуть что — я непременно ввертываю:

— А кожа?

Это был убийственный аргумент при переговорах. Когда у нас опять пытались отобрать какие-нибудь запасы, мы неизменно отвечали:

— Ну, это опять — кожа. Лучше мы сами вас снабдим.

О том, куда девалась эта кожа, знали только два-три человека из укома.

Нам, коммунистам-организаторам, приходилось проделывать большую работу. Следовало заготовить и вывезти хлеб. В уезде было очень много хлеба. Но ревком не имел денег, чтобы расплачиваться за этот хлеб. Мы наложили на буржуазию города контрибуцию в пять миллионов рублей.

Скажу несколько слов о том, как мы ввели эти деньги. Махновцы тогда уже завели свою контрразведку. И первый попавшийся гражданин, который имел деньги, запросто оказывался узником этой контрразведки, где его пороли нагайкой. Сию операцию проделывали в номере девятнадцатом гостиницы, и весь город знал о мрачном номере девятнадцать. Мы боролись с такой практикой, сколько хватало сил, но в вооруженные столкновения не вступали. У Махно — армия, а у нас только один батальон для внутренней

охраны. И мы не могли ввязаться в драку против махновцев, драку, которая заведомо кончилась бы не в нашу пользу. О махновских безобразиях, о вымогательствах, грабежах, избиении граждан мы не однажды говорили самому Махно, он кое в чем с нами соглашался, но был бессилён утихомирить своих молодцов. Он не мог регулировать их поступки, для этого ему надо было бы свернуть знамя анархии и перестать быть батькой Махно.

Итак, мы обложили буржуазию города на пять миллионов рублей. Технику этого дела мы провели следующим образом. В Бердянске, как и во всяком другом городе, была купеческая биржа. Когда мне поручили взыскать контрибуцию, я созвал биржевиков и заявил:

— Городу нужны деньги. Необходимо в город подвозить хлеб. У нас денег нет. Если сбором контрибуции займется Махно, то несколько человек будут расстреляны совершенно зря. В наши планы не входит расстреливать зря людей.

Я сказал, что сбор контрибуции надо провести в организованном порядке.

— Мне трудно знать, насколько состоятелен тот или иной гражданин, а вы, биржевики, всех знаете. Составьте мне списочек, с кого сколько можно взять. Я полагаюсь на ваше благоразумие. Если вы этой работы не сделаете, мы ее сделаем сами, но, конечно, с ошибками. А если передадим Махно, то вам совсем плохо придется.

Мои слова возымели действие. Биржевики представили мне через неделю хорошо проработанный список. Мы, насколько могли, постарались его тщательно проверить, утвердили и получили пять миллионов довольно безболезненно. Далее после длительной словесной перепалки со штабом Махно мы ему уступили три миллиона, два взяли себе. Армия тоже нуждалась в деньгах, хотя махновцы никогда не расплачивались, если что-либо забирали у крестьян или горожан.

Полученных денег нам хватило ненадолго. И заготовлять хлеб мы снова не смогли. Под конец приходилось брать у крестьян хлеб под какие-то расписки. Заготовленное зерно мы отправляли в Москву, однако вагонов постоянно не хватало.

Вскоре назрела необходимость созвать уездный съезд Советов и избрать уездный исполком. Агитацию

за уездный съезд уже усиленно вели левые эсеры, блокировавшиеся с анархистами. Несколько раз в городе на митингах выступал Махно. Он не однажды давал волю языку и изрекал, что коммунистов надо вырезать. В связи с одной из таких его речей я имел с ним очень неприятное объяснение. Он выступил в совершенно пьяном виде. И, может быть, искренне, а может быть, неискренне на следующий день сказал, что совсем не помнит, о чем говорил. Я заявил:

— Нам от этого не легче. Если ты будешь травить большевиков, мы готовы уйти и предоставить тебе полную свободу действий. Пожалуйста, управляйте сами. Но ты уже убедился, на что вы способны как организаторы. Возьми случай с кожей. Такой сумбур будет у вас всюду. А без четко работающего тыла воевать нельзя. Так не мешайте нам организовать тыл. Давай по-серьезному подойдем к этому. Иначе мы, большевики, освободим для вас все наши посты, снимемся отсюда и уедем в Киев.

Когда мы этак ультимативно поставили вопрос, Махно понял, что дело действительно серьезное. Ему в то время не улыбалось разорвать с большевиками. Мы настаивали, чтобы махновцы не разъезжали по уезду, не грабили крестьян, не восстанавливали их против себя и против советской власти.

— Все заготовки,—говорил я,—мы будем вести в организованном порядке. И организованно же будем вас снабжать. Давайте установим нормы. Определим количество едоков. Введем порядок.

В этом споре принял участие весь штаб Махно и весь наш уком. Долго их уламывали, повторяли угрозу, что мы уйдем, оставим их и пусть хозяйничают, как хотят. Далее покрывать их грабежи мы не согласны, так дело не пойдет.

Эти словопрения закончились договоренностью. Был издан приказ за совместными подписями председателя ревкома Дыбеца и командующего батьки Махно о том, что никто из командиров не имеет права что-либо забирать ни у крестьян, ни у горожан, что все требования командиры направляют в свой штаб. Штаб в свою очередь предъявляет эти запросы уездному ревкому, который обязан, придерживаясь выработанных норм, удовлетворять требования. Этот исторический приказ сохранился до сих пор у одного из моих товарищей по Бердянскому ревкому.

Но приказ приказом, а грабежи не прекратились, ибо Махно не мог контролировать как следует свои отряды, не мог держать в руках своих командиров.

7

Тем временем продолжалась война. Наше наступление приостановилось. Кое-где белые продвинулись. Бердянск по-прежнему в опасности. Я еще раз ездил на фронт и снова видел разброд в махновской армии.

Случалось, какой-нибудь отряд вдруг уходит с фронта верст на восемьдесят в тыл на отдых. И оставляет фронт открытым. Белые могут завтра же ворваться в город.

Такие отряды, срывающиеся со своих позиций, нередко отдыхали под Бердянском. Они облюбовали эти места потому, что тут было много вина. Разбивали бочки в винных подвалах, напивались до потери человеческого облика.

Это заставило меня собрать виновладельцев. Я сформулировал им такой ультиматум:

— Или вы в три дня все вино обращаете в уксус, или я выливаю вино в море.

Потом связался с Екатеринославом, предложил:

— Мы можем прислать вам два эшелона вина.

Ответ был такой:

— Ты с ума сошел. И у нас ведь будут пить, пока не выпьют все. Да и по пути начнут взламывать вагоны, вскрывать бочки. Хочешь, чтобы остановилась железная дорога? Никуда не вывози. Власть на местах. Распоряжайся.

Я заявил, что вылью в море.

— Выливай. Действуй в зависимости от обстановки.

И вот я вылил тысяч тридцать ведер хорошего дорогого вина в море. Люди пили из канав это вино. Жуткая картина.

Но дело кончено. Нет больше бердянского вина. Махновские отряды стали отдыхать где-то в других местах.

К этому времени нам пришлось все же отдать наш хорошо сколоченный рабочий батальон, потому что такой-то батька ушел с отрядом отдыхать в неизвестном направлении и на фронте образовалась брешь.

Мы сформировали другой батальон для охраны города.

Тут кстати прибыли двадцать пять красных командиров. Зеленая молодежь, красивая молодежь, окончившая какие-то курсы. В большинстве они были выпущены командирами взводов, некоторые годились в командиры рот. Их прислали для укрепления махновской армии. Однако Махно в этом усмотрел подкоп против него со стороны большевиков и не принял командиров. Мы забрали их себе.

Фронт оставался неустойчивым. Белые большими силами перешли в наступление от Мариуполя, махновские части отступали. Сейчас не вспомню всех событий.

Однако, так или иначе, мы имели собственные сведения о делах на фронте, ибо махновский штаб и даже Озеров не сообщали нам об изменениях военной обстановки. И вот однажды в четыре часа утра меня разбудил телефонный звонок. Мне названивал Озеров. Он объявил:

— Армия отступает. Оставляем город и переходим на новые позиции у Мелитополя. Предлагаем вам эвакуироваться.

Только благодаря тому, что мы располагали собственными сведениями, сообщение Озерова о сдаче города не застигло нас врасплох. Используя весь наш авторитет, мы сумели быстро мобилизовать сотни три-четыре крестьянских подвод и вывезти из Бердянска наши главные богатства — немалые все еще запасы кожи и другое имущество. Потянулся наш обоз на Мелитополь.

Здесь надо сделать вставку, иначе обрисовка времени будет неполной. Более богатой картины самостоятельности масс, чем мы имели в гражданскую войну, нельзя себе представить. Тома можно написать и не исчерпать всей инициативы, которую проявляли люди, творившие революцию. Они, как пчелы, несли и несли капли своего вклада. И так как уездный ревком, затем ставший исполкомом, пользовался исключительным авторитетом (в отличие от Махно, который ни у рабочих, ни у сельчан не завоевал авторитета), весь этот прибой инициативы устремлялся в уездный исполком.

Приходит, например, ко мне матрос. Несколько матросов достали трехдюймовую пушку и хотят уста-

новить ее на катерочке. А этот катерочек сам еле держится и в хорошую волну может просто развалиться. Вызываю инженеров. Те говорят, что на этом катере нельзя ставить пушку. Со второго-третьего выстрела он от сотрясения даст течь и пойдет ко дну.

Матросы утверждают: «Ничего подобного!» Настваивают. В конце концов они все же смонтировали на катерочке эту пушку и разъезжают, патрулируют.

Позднее эта пушка сыграла свою роль. Произошло следующее. В какой-то день на рейде Азовского моря появились миноносцы. Наши знатоки дела объявили: французские. Один, другой, третий. Не помню, кажется, никакого ультиматума мы от них не получали. Или, возможно, они просили разрешения войти в порт, а мы не разрешили. Так или иначе, но они довольно нахально подошли и стали обстреливать город. И вот тут пригодилась пушка наших моряков. С этого несчастного катера они ухитрились попасть двумя снарядами в миноносец. Наши наблюдатели зафиксировали эти попадания. Миноносцы отошли подальше и оттуда обстреливали город. Выпустили сотни две снарядов, убили нескольких человек. Чем был вызван обстрел? Вероятно, французский адмирал и сам этого не знал. Тем не менее Франция расписалась в том, что в нашей гражданской войне она помогает белым.

И еще вот о чем попрошу вас. Приходится в этом рассказе о своем пути слишком часто повторять: я, я. Но если вы подумаете, что Дыбец — гениальный человек, если в таком духе будете рисовать его портрет, выйдет чепуха. Моя жизнь — жизнь обыкновенного рабочего. Обыкновенный рабочий, кое-что прочитавший, думающий. Его увлекает революция. Она его лепит и лепит. Потом он закаляется и становится способен руководить десятками тысяч людей.

В чем моя сила? Революционный инстинкт внятно мне подсказывал, что большевики правы. И я шел в их рядах, шел вместе с массой. Мне верили, меня растили и всякий раз корректировали, выравнивали. И я имел влияние не как Дыбец, некая особенная личность, а как человек ленинской партии, как работник, обретающийся в гуще масс. Всего этого я не охватываю. Необходим такого рода корректив к моему рассказу.

Итак, мы покинули Бердянск. Эвакуацию провели организованно. Вытянулся наш обоз — больше трехсот подвод с разным добром. Мы полагали, что оставляем город не надолго — на неделю, на две, пока Москва даст подкрепления. Махно не может сдержать наступление белых. Это было ясно всем.

Значит, подойдут регулярные советские войска. И хотя мы верили, что вскоре вернемся, все же решили подчистую эвакуировать город. Ушли все пекари, чтобы лишиться белых печеного хлеба, ушли моряки, ушли рабочие. Город опустел. Остался только обыватель.

Рабочие и моряки организовали боевые отряды. Где-то раздобыли винтовки. Откуда винтовки, кто снабдил винтовками — ведь централизованного снабжения не было — понятия не имею. Но факт остается фактом: рабочие и моряки вооружены. И патроны у них есть. Таким образом сформировались два новых батальона. Они выступили с нами. Мы вынесли решение: подчиняться штабу Махно не будем, наши вооруженные силы нужно объединить в полк, а уездному исполкому взять командование.

Без каких-либо происшествий вся наша колонна прибыла в Ногайск. Тут мы развернули свои боевые силы, которые заняли береговую линию и окопались под Ногайском. У нас уже насчитывалось больше тысячи бойцов. Войска Махно расположились левой.

Так постояли два-три дня. Неожиданно ко мне является крестьянская делегация — с рыжей по пояс бородой крестьянин Голиков и другие представители ближайших сел. Поздоровались. Спрашиваю:

— В чем дело?

— Разрешите, товарищ Дыбец, от вашего имени сформировать полк.

— Гм... Надо обдумать.

— Да нет, нечего думать. Вы только дайте ваше согласие. Мы же ничего не просим. Винтовки есть.

— Откуда?

— В земле были схоронены. И кони есть. Все села дают коней. Даже по секрету скажу: найдутся пулеметы. Поняли?

— Хорошо. Соберем исполком, вы подождите.

— Да нет. Зачем собирать? Вы только дайте согласие. А уж остальное мы сделаем. Будет полк в шесть тысяч бойцов.

Это предложение мы обсудили на фракции. Ни к чему, разумеется, называть полк именем Дыбеца. Не станем подражать в этом Махно и другим батькам. Однако надо ли формировать полк? А почему нет? Обзаведемся серьезной военной силой. Тогда и Махно не очень разнуждается. И белым по зубам дадим. Я предложил назвать полк Бердянским. Фракция поддержала. Совещание длилось недолго. Я вышел к крестьянским делегатам и объявил решение:

— Можете формировать от моего имени: вот Дыбец призывает крестьян организовать полк. Называться полк будет Бердянским. Красиво. Все будут знать наш Бердянский полк. Только, товарищи, я никогда не командовал.

— Если не скажем, кто командир,— ничего не выйдет. Тебя крестьяне знают. Ты только дай разрешение твоим именем пользоваться. Без тебя скомандуем.

— Ладно, пользуйтесь. Согласен.

Действительно, крестьяне сформировали полк: четыре батальона, по четыре роты в каждом, все как следует. И свою полковую конницу. Села дали отличных кавалерийских лошадей. И седла и сабли откуда-то взялись. Мы, уездный исполком и уком, принимали первый парад этого полка. Конечно, не очень стройными рядами он прошел походным маршем. Все шесть тысяч бойцов были вооружены винтовками и патронами.

Тут, правда, выявилась одна беда: винтовки были неоднородными. Попадались и французские, и австрийские, и японские, и старинные русские берданки, и обычные наши трехлинейки. Мы решили, что будем постепенно вооружать полк одинаковыми винтовками. Но, так или иначе, силенок стало у нас больше.

В эти же дни выяснилось, что новоспасовцы, отступившие с махновской армией— их батальон уже вырос в полк,— находятся близко от нас. Ко мне приехал командир Новоспасовского полка Куриленко и намекнул, что, зная нас как солидных людей, он охотнее бы работал с нами, чем с Махно.

Я, как председатель исполкома, объехал боевой участок, занятый нашими силами, то есть теми, ко-

торые мы сформировали, заглянул и в Новоспасовский полк, проинспектировал войска.

В этом мне помогал Озеров. Он после сдачи Бердянска был вызван телеграммой в штаб Дыбенко. Однако Озеров сообразил, что ему придется держать ответ за потерю города, за недисциплинированность, неразбериху, разложение в махновской армии и его, наверное, в два счета расстреляют. Он пришел к нам и сказал, что к Дыбенко не поедет, а хочет остаться с нами, берется быть, если мы не возражаем, начальником нашего штаба при исполкоме. Мы не возражали — взяли такой грех на душу. И Озеров прижился у нас.

— Я же сторонником Махно никогда не был, — объяснял он. — С какой же стати пойду отчитываться за всю махновщину, будь она проклята. Пусть Дыбенко приведет в христианский вид махновские войска. Их надо переформировать, перетереть с песочком, а самых отъявленных бандитов наградить пулей в лоб для примера прочим.

Мне пришлось стать командиром наших исполкомовских вооруженных сил. Никто меня командиром не назначал. Никаких приказов обо мне не было издано. Но как-то вышло само собой, что я сделался командующим боевого участка. Ординарцы являлись ко мне с донесениями, у меня спрашивали распоряжений. При чем все мои приказы исполнялись. Так волей-неволей я вышел в полководцы. Обстоятельства заставили. Никуда не денешься. Уйти нельзя. А тут еще нужно и кормить всю эту армию. Значит, баб надо сагитировать, чтобы пекли хлеб. Да и молоко и мясо надо дать бойцам. А войск набралось до десяти тысяч: уже и Новоспасовский полк перешел под наше крылышко.

На подступах к Ногайску исполкомовские части выдержали стычку с белыми, стукнули им по зубам, заставили отсочить. Наши в азарте боя ударились преследовать. Я, посоветовавшись с Озеровым, отдал приказ вернуться на свои позиции, чтобы бойцы не зарвались, не угодили в ловушку. У нас все еще не было связи с командованием регулярных соединений Красной Армии. По-прежнему мы занимали свой участок. Плавное, чего я добивался: не стрелять зря. Требовал, чтобы каждый патрон был на учете. Озеров ввел в крестьянских полках правило: кто выстрелит зря —

двадцать пять нагаек. Приходилось закрывать глаза на это. Полк, сформированный из рабочих и моряков, конечно, в таких методах дисциплинарного воздействия не нуждался.

В какой-то день меня срочно вызвал к себе председатель Мелитопольского уездного исполкома Пахомов (теперь он народный комиссар водного транспорта). Уже началась осень. Дождь. На дорогах месиво. Автомобилем нельзя было проехать. Сел на тачанку. Крестьяне дали мне таких лошадей, что это змеи, а не лошади. Никогда еще таких хороших лошадей я не видал.

Приехал я в Мелитополь. Пахомов проинформировал меня, что делается на белом свете. Во-первых, Дыбенко скомандовал отступление и вывел свои войска из Крыма. По дополнительным сведениям, его армия займет фронт по берегу Днепра.

Далее Пахомов сказал:

— Дыбенко сообщил нам, что надо вывезти из уезда все имущество.

С Пахомовым мы обсудили, какую дорогу избрать для отступления. Наш общий обоз составит не меньше тысячи подвод. Да и племенной скот мы вовсе не собираемся оставлять белогвардейцам. Как будем гнать гурты? Как прикроем войсками отход всей этой махины? Наконец, нужно обеспечить переправу.

Кроме того, я узнал у Пахомова, что Махно объявлен вне закона и на его место назначен опытный, энергичный командир Корчагин, который должен покончить с махновщиной, привести к повиновению махновские полки, наново их переформировать. Мне по приказу Дыбенко следовало связаться с Корчагиным, доложить ему, на какие силы он может опереться, и действовать в дальнейшем согласованно.

На обратном пути я заехал к Корчагину. Его штаб находился на станции Федоровка. Корчагин произвел впечатление серьезного человека. Высокий, широкий в плечах, он отличался военной выправкой, был в свое время эскадронным командиром в старой армии.

Я подробно изложил ему фронттовую обстановку. Здесь вот стоят такие-то части, на которые он может рассчитывать. Тут Новоспасовский полк, в котором

усилилось наше влияние. А далее — левее — махновские отряды.

— Как хочешь, так и приводи их, товарищ Корчагин, в божеский вид.

Потолковали и о наших нуждах. Корчагин сказал:

— Насчет снабжения патронами сделаю все, что в моих силах. Но не очень-то полагайтесь на меня. Дать много не смогу. Что отобьете у белых, то и ваше.

Вернувшись в Ногайск, я сообщил своим товарищам о новостях, об указаниях. Мы стали готовиться к отходу, отправляли постепенно обозы с грузом.

Махновские войска, как уже я говорил, находились левее нас. Белые собрали около Большого Токмака сильный кулак и решили, видимо, расправиться с махновской армией. Махно чувствовал, что решается его судьба. Или он докажет советской власти, что он сила, и тогда найдет дорогу к примирению, останется в какой-то командной роли, или будет окончательно разбит, раздавлен. И он сконцентрировал все свои наиболее сильные отряды (за исключением Новоспасовского полка, который уже не исполнял его приказы).

В течение целой недели шло сражение в районе Большого Токмака. Дольше Махно выдержать не мог.

Белые расколошматили Махно, хотя и у них погибли лучшие полки. Но они одержали верх, потому что были лучше вооружены, да и воинская выучка сказалась.

Исход этого сражения заставил нас не медлить с отступлением. Я получил указание от Корчагина оттягивать свои части на Мелитополь и быть готовым отходить дальше.

В боевом порядке мы постепенно отступали, занимая все новые позиции. День отдохнем, потом покроем тридцать километров, снова дневка и опять — тридцать километров. У нас хватило времени для этой организованной эвакуации. Отступали мы вместе с мелитопольцами.

Предстояло переправляться через Днепр. Пахомов предложил мне:

— Съездим посмотрим, что за переправа. Как бы там не застрять. А то не успеем переправиться, и белые нас сбросят в Днепр.

Поехали в обгон наших обозов. Переправа была слабой, еще более ненадежной, чем мы предполагали. Наши грузы уже двигались на другой берег — лошади, повозки. Но образовался изрядный затор. Грузились на ветхий паром. Дело поневоле шло медленно. Это было у села Малая Лепетиха. Мне сопроводовала Роза. Я выставил там караул из своих бойцов и поручил Розе поддерживать порядок и наладить связь. А сам вернулся к своим главным силам.

Я распорядился сбавить скорость нашего марша, потому что, если поторопимся, увеличим лишь толкотню у парома. Связался с Корчагиным. Он мне заявил:

— Ты поезжай, бери в свои руки переправу. А я тут покомандую и правым флангом. Ты нужней на переправе.

Переночевав, я опять помчал в Малую Лепетиху. Здесь я увидел неотрадную картину. К этому времени основная часть подвод с бердянскими грузами была уже у берега. Их начали теснить подводы мелитопольцев. Подошли к переправе и матросские броневые автомобили. Этим броневиков я насчитал у Днепра до тридцати штук. Братишечки-матросы требуют очистить им дорогу, кричат, что должны сохранить свои боевые машины и переправиться в первую очередь. На берегу я застал и кавалерийский полк. Эти конники тоже требовали для себя первоочередности. Появился и пехотный полк. Беспорядок отчаянный. Гурты скота. Волы, кони, коровы. Вопли. Рев. Повозки трещат, ломаются. Жуть, ужас на берегу. Нужно навести какой-то порядок, иначе все это может очутиться, несомненно, под водой.

Я убедился, что совершенно беспомощен в этом хаосе. Однако я знал, что неподалеку, в Никополе, находится Дыбенко. Решил пробраться к нему. Переправился с невероятными усилиями. Два раза меня чуть не сбросили в Днепр. Но все же добрался к Дыбенко. Это был высокий здоровенный человек в кожаной куртке. Во взгляде, в повадке чувствовалась воля. Он спросил:

— Ну как твои бердянцы? На когтях?

«На когтях» — это значило бегом, то есть рвут когтями землю. Я ответил, что мы отходим в полном боевом порядке.

— Что же тебе нужно?

— Вы, видимо, не знаете, что тут у вас творится.

— А что такое?

Я обрисовал дела на переправе. Дыбенко внимательно слушал. Я сказал:

— Там нужна крепкая воля. Может быть, туда следует бросить батальон моряков, иначе все будет в Днестре, а имущество ценное.

— Гм... Котов, взять пулемет, взять двадцать бойцов. Сейчас поедем на ту сторону Днестра.

Я поехал вместе с Дыбенко. Интересно, как же он сумеет навести порядок? Уже в то время он был легендарной личностью. Словечко «храбрый» не подойдет для его характеристики. Храбрый — это каждый из нас. Ему была свойственна ошеломляющая храбрость.

Между прочим, именно он с тремя-четырьмя сопровождающими прискакал незадолго до этого в штаб Махно и объявил там Махно вне закона. И, не стесняясь в выражениях, облаял весь штаб Махно. Приказал ему явиться в ревтрибунал армии. Заявил:

— Я тебя, подлец, расстреляю, если не выполнишь моего приказа.

Отчитал, как только мог, приспешников Махно, повернулся и уехал. Когда Махно узнал, что Дыбенко приезжал чуть ли не в одиночку, тогда как около штаба находились две или три тысячи махновцев, то с досады кусал ногти. Не мог себе простить, как это он выпустил Дыбенко. И потом при встречах со мной всегда жалел, что не схватил Дыбенко.

Итак, еду с Дыбенко. Перебрались на ту сторону Днестра. Десятка два матросов, которых он взял с собой, проложили ему дорогу. Дыбенко, в бурке, строгий, высоченный, с нагайкой в руке, выходит на берег. У причала уже сгрудился кавалерийский полк на лошадях.

— Командир полка, ко мне! — Голос у Дыбенко такой, что перекрывает весь рев у переправы. — Смирно! Где командир кавалерийского полка?

Слышу, как по скопищу пошло:

— Дыбенко... Дыбенко...

Это имя всем было известно.

Появляется командир полка — смуглый, цыганского типа, подтянутый кавалерист. Дыбенко выпрямляется во весь свой мощный рост.

— Командир полка?

— Так точно.

— Ты зачем тут оказался?

— Переправляться, товарищ Дыбенко.

Дыбенко вытаскивает наган. Раз! На месте ухлопал командира. Водворилась мертвая тишина. Казалось, даже быки перестали реветь.

— Помощник полкового командира, ко мне!

Все застыли. Тишина. Слышен лишь зычный голос Дыбенко:

— Где помощник полкового командира? Прячься, гад!

К Дыбенко идет ни жив ни мертв помощник командира.

— Возьми свой полк, выстрой, как положено. И отсюда убирайтесь. Выступай на шестьдесят километров прикрывать отступление. Понятно?

— Понятно, товарищ Дыбенко.

— Кругом марш!

— Есть!

Заиграли трубачи. Кавалерийский полк тотчас выступил в полном порядке. Но тут еще и броневики. Опять Дыбенко вызывает командира. Появляется молодой матрос в черном бушлате, в бескозырке. Нелегко ему шагать. Встал перед Дыбенко.

— Командир броневиков?

— Так точно.

Вокруг замерли. Но Дыбенко ведь тоже матрос. Как-никак — братишки.

— Ты чего тут околачиваешься?

— Мы, товарищ Дыбенко...

— Какой я тебе товарищ? Тикаете! Позорите армию! Немедленно выступить отсюда на сто верст на встречу белым. Понятно?

— Понятно.

— Ступай, выполняй.

— Есть!

Броневые автомобили покатили в степь. Подводы заняли свои места в длинной обозной череде.

Так удалось в порядке переправиться.

Еще будучи на левом берегу, мы созвали наш уездный исполком и поставили вопрос: как существовать дальше? Уезд потерян. Значит, и уездному исполкому приходится складывать полномочия. Поручили двум

товарищам — один из них страдал костным туберкулезом, другой был стариком и очень износился в этой нервной обстановке, — поручили ехать в Киев и сдать там дела уездного исполкома, в том числе и денежный отчет. Далее решили, что все остальные члены исполкома пойдут в Красную Армию.

Все вместе мы отправились в политотдел армии. Начальником политотдела был уже Пахомов. Мне он предложил стать комиссаром боевого участка, которым командовал Корчагин. Я спросил:

— А инструкция? Я же не военный. Какие обязанности у меня будут?

— Голова на плечах у тебя есть. И, судя по твоей деятельности, она варит неплохо. Впрягайся в пару с Корчагиным. Работы там непочатый край. Сообразишься с обстановкой. Ясно?

— Более или менее ясно.

— Все. Получай мандат. Езжай.

Я поехал в имение какого-то великого князя — не то Николая Николаевича, не то Михаила Александровича, — в Грушевку на Днестре, где отыскал штаб Корчагина. Его боевой участок протянулся от Грушевки до Херсона. Сюда я постарался переташить Бердянский и Новоспасовский полки как наиболее дисциплинированные части. И перешел на военную службу.

Махно, как сказано, был объявлен вне закона, скрылся в неизвестном направлении. Командование потрепанными его войсками перешло к Корчагину.

Примерно неделю я присматривался к работе штаба и к самому Корчагину. Высокого роста. Широкий в плечах. Лихой рубака. Прекрасный наездник. Несколько раз он демонстрировал обученных им лично лошадей, которые при определенных понуканиях танцевали или становились на дыбы и ходили на задних ногах со всадником в седле. Это создавало ему определенный ореол.

Был он беспартийным. Командовал в царской армии взводом или эскадром. Офицерский чин у него был там небольшой. Революцию встретил где-то на румынском фронте и оттуда вернулся на Кубань, где стал командиром красного партизанского отряда. Участвовал в тяжелейшем отступлении красных войск через безводные астраханские пески, где, по моим сведениям, проявил уйму инициативы, мужества, энергии.

Но подготовлен ли он к командованию таким количеством войск? Одно дело командовать лихим эскадром, иное — когда у тебя тысяч пятнадцать войск. Я начал донимать Корчагина вопросами.

Мои вопросы были таковы: правильно ли расположены у нас на боевом участке силы, правильно ли вооружены наши части, известно ли нам с тобой их вооружение? У меня уже имелся опыт: все виды винтовок в исполкомовской армии. Каков план снабжения наших войск оружием, боепитанием? Как это организовано? Ведаем мы этим или не ведаем?

Все это оставалось неясным.

Вскоре вместо Озерова нам прислали начальника штаба. Молодой красный командир, недавно окончивший высшую военную советскую школу, товарищ Седин. Этот молодец был потолковее. От него я впервые услышал некоторые военные термины, например «естественное препятствие». Такого рода естественным препятствием, которое могло прикрывать наши войска, служил в данном случае Днепр.

Прибыли и еще несколько человек с военным образованием. В общем, сформировался штаб боевого участка.

Штаб Дыбенко по-прежнему был расположен в Никополе. Однажды Корчагин, Седин и я были туда вызваны. С нами разговаривал Федько — начальник штаба. Это был молодой начинающий штабной работник, когда-то имевший профессию столяра, коммунист и, что называется, дельный мужик, умница. Он выдвинул перед нами требование: отобрать лучшие боевые части и направить под Екатеринослав. Группа белых, которая разгромила махновцев, теперь устремилась к Екатеринославу. Федько говорил:

— Под Екатеринославом надо дать генеральный бой. Поэтому все, что у вас имеется здоровое и лучшее, немедленно передайте нам. Мы заменим некоторые крестьянские необученные части. Иначе не сможем дать белым отпор у Екатеринослава.

Пришлось отдать несколько наших лучших полков — в том числе и тот, что был составлен из бердянских рабочих, и другой, сформированный, если вы помните, от моего имени. С грустью я расставался с ними. Дыбенко забрал эти полки и двинулся под Екатеринослав давать сражение.

В беседе с Федько, естественно, всплыл и вопрос, о котором я уже говорил Корчагину: надо знать, чем

мы обладаем. Федько предложил нам такое решение: Седин и я должны объехать весь наш фронт, расположенный по берегу Днепра от Грушевки до Херсона, и произвести переформирование войск. Инструкций никаких. Действовать на месте в зависимости от обстоятельств. В виде напутствия Федько дал несколько советов. И наделил меня военной кожаной сумкой через плечо. В сумке я обнаружил так называемую полевую книгу, которой еще не касался карандаш, и копировальную бумагу. На бланках из этой книги можно было писать распоряжения и приказы.

Вернувшись в свой штаб, мы с Сединым взяли единственный в нашем боевом участке автомобиль и выехали на фронт.

Прибыли прежде всего в третью Крымскую бригаду, которая отошла сюда из Крыма. Командовал бригадой бывший поручик Маслов. Из двухчасового разговора с Масловым мне стал ясен его облик. К белым он не перейдет. Свою судьбу он связал с красными. Какой случай заставил его воевать на стороне красных против белых — господь ведает, но к белым ему дороги нет. Идеология, коммунисты — это у него постольку поскольку. Комиссар — неизбежное зло, а война — увлекательный спорт. И он был спортсменом войны. Боевые действия, вооружение — все это являлось для него предметом спорта. Он охотно рассказывал о всяких военных эпизодах, о том, как, имея шесть тысяч человек, гнал шестнадцать тысяч, как нажимал, выбрасывал конницу наперерез, не давал опомниться. Эти случаи он расписывал увлекательно, словно охотник, рассказывающий, как он настиг лису. Война для него была своего рода искусством для искусства.

За ним приглядывал спокойный, деловитый комиссар. Фамилию сейчас трудно вспомнить. Кажется, Губин. Очень дельный коммунист, умница, расторопный. Он, как мы заметили, пользовался авторитетом серьезного политического руководителя, незаметно правил и Масловым, направлял Маслова на путь истинный.

Проконтролировали мы эту бригаду. Войска в порядке. Вооружены довольно бедно. Винтовки разнокалиберные. Посоветовали командованию провести некоторую реорганизацию: создать роту французских винтовок, роту таких-то винтовок, чтобы знать, как эти роты снабжены патронами. Маслов и Губин приняли наши указания.

Пробыв дня два в этой бригаде, мы двинулись дальше в своем автомобиле. В дороге потек радиатор, мы его кое-как залатали.

Проинспектировали еще одну бригаду. Далее по фронту располагались так называемые крымские полки. Федько, напутствуя нас, сказал, что эти полки вызывают у него особенные опасения. Там надо потщательнее присмотреться. И поступать решительно. Расформировать и, если будет возможность, разоружить.

Крымские полки действительно не могли внушать доверия. Они точь-в-точь напоминали махновскую армию, мне достаточно знакомую. В полку можно было насчитать лишь четыреста — пятьсот бойцов. Нам сначала говорили: в нашем-де полку шесть тысяч человек. Мы требовали выстроить полк, и в наличии оказывалось лишь несколько сот. К тому же они отнюдь не были похожи на бойцов. Не умели подравняться. Команду «смирно» не признавали. Стояли в строю вразвалку, поплевывали, покуривали.

Но вооружены были богато. На четыреста — пятьсот бойцов приходилось двенадцать пулеметов, обильный запас патронов. Таким полкам всюду сопутствовали тысячи голов скота и бесконечное количество вozов. На вozах располагались женщины. И полк больше беспокоился о безопасности своих женщин, своих овец и волов, чем о выполнении боевого задания. Распушенность тут заразила каждого. Мы пытались говорить о дисциплине. И выяснилось из таких разговоров самое отвратительное впечатление.

От нас требовали еще пулеметов. И пушек-де у них нет. И боевые задания они не выполняли из-за того, что не имеют пушек. И патронов они от нас не получают.

Эти сетования заставили нас более тщательно проверить наличие вооружения. Обнаружили еще уйму патронов. И выявили арсеналы винтовок. Подсчитали. На каждого бойца пришлось десять — двенадцать винтовок.

Спрашиваем командира:

— Зачем тебе столько? Почему не доносишь, что лежит мертвое имущество?

— Это трофеи. Мы их кровью добывали!

В общем, постепенно картина прояснилась. Однако мы решили так: пока не закончим объезд, никаких мер

не принимать. Все организационные мероприятия будем проводить на обратном пути.

Последним пунктом этого нашего объезда стал небольшой город Берислав. В тот раз до Херсона мы не добрались. У нас была уверенность, что Херсон обладает сильными коммунистическими кадрами. По нашим сведениям, на участке, что прилегал к Херсону, был сосредоточен достаточно крепкий кулак. Там стояла бригада. Относительно нее и Корчагин и Федько имели заверения из Херсона, что это проверенная боевая единица и на нее можно полсжаться. Не доехав до нее, мы повернули обратно в крымские полки, чтобы начать их переформировку.

Это, как вы понимаете, оказалось делом не простым. Сразу же вышло столкновение с полковым командиром. Он стал горланить, развел демагогию насчет штабов. Мы вновь убедились, что эти полки нельзя даже свести в бригаду. Слишком уж озабочены они своей самостоятельностью. Я и Седин не сомневались, что от увещаний тут толку не будет. И мы начали действовать по-другому. Вызывали к себе батальонных и ротных командиров. Поговорили с каждым. Нашли время ознакомиться с их биографиями. Наметили лиц, которые, по нашему впечатлению, обещали быть сравнительно дисциплинированными. И я писал распоряжение: полковой командир сдает командование такому-то. Этому имяреку приказывается принять полк и выступить со всем вооружением в определенный пункт и там влиться в полк такой-то. Мы уже загодя продумали, какую сделать передвижку, чтобы расформировать, рассеять крымские полки.

Приказ встречали криком, руганью, угрозами. Грозилась нас тут же расстрелять: «Мы кровью завоевали...» — и так далее.

Атмосфера настолько накалялась, что всякий из отстраненных командиров мог действительно застрелить тебя на месте. Но оказалось, что власть есть власть, и если твердо и умело ею пользоваться, то можно и вдвоем быть сильнее толпы горлопанов.

Полевая книжка — подарок Федько — мне тут пригодилась. Вынимаю ее, строчу — получается внушительно. Спокойно вывожу слова приказа, подписываем вдвоем: начальник штаба и комиссар боевого участка. В книжке остается копия.

Предлагаю отстраненному командиру выбор:

— Не выполнишь распоряжения — объявим вне закона. А подчинишься, сдашь командование и вооружение, то отправляйся потом в штаб боевого участка, там получишь новое назначение.

— Какое?

— Там будет видно. То ли тебе полк дадим, то ли батальон. Я сейчас этот вопрос не могу решить.

Вам я излагаю это в довольно милых тонах. Но человека, который обладает тысячной ватагой, пулеметами, обозами, скотом, нелегко уговорить. Впрочем, мы и не уговаривали:

— Мы приехали не спорить, а вами командовать. Понятно?

Неохотно откликается:

— Понятно.

— Не донесешь об исполнении — считай себя вне закона. Вышлю чрезвычайный отряд и разоружу. Понятно?

— Понятно.

— Вот думайте и обсуждайте. И вот тебе срок, чтобы прибыть в штаб боевого участка.

Так от полка к полку и двигались. Автомобиль наконец вовсе отказал. Добыли коней, пересели в седла. В очередном полку опять проделывали свою работу. Опять нами возмущались, обступали нас толпой, орали, что не будут подчиняться.

— Что же, не подчиняйтесь. Я приказ отдал. И неужели вы думаете, что я буду тратить время на разговоры с вами? Буду убеждать, что дисциплина в армии нужна? Если не знаете этого, сдайте оружие. Если знаете, исполняйте приказ высшего командования.

— Мы кровью доказали. Не позволим нас расформировывать!

— Не позволяйте — сдавайте оружие. Война — это значит слушаться приказа. Не нравится — уходите на ту сторону. Мы будем знать, кто с нами и кто против нас.

Аргументы убийственные. Тон спокойный, будто за мной отряд. И хотя никакого отряда не было, я иногда о нем упоминал.

— Не подчинитесь приказу — прибурлит отряд и всех вас разоружит.

— На нашу голову комиссаров сволочей сюда нагнали!

— Сволочи или не сволочи, а комиссары. И им даны права, которые извольте признавать. Иначе не выйдет. Надо воевать. Надо быстро привести части в порядок, пока мы отделены от белых естественным препятствием — Днепром. Если бы этого естественного препятствия не было, то, пока вы на меня орете, белые бы уже сюда нагрянули. Нам предстоят серьезные сражения. Надо знать, какими силами мы располагаем. Не можем воевать — так нечего позориться. Можем — так нужен порядок, учет сил.

Спокойный тон производил чуть ли не гипнотическое действие.

Полки выступали в указанные им места, сдавали запасы оружия. Таким образом более здоровые части, но слабо вооруженные были подкреплены вооружением. Сразу появился авторитет нашего штаба. Штаб вооружает! Почувствовалась железная рука, которая начинает шерстить. Почувствовалось армейское строгое устройство. Что, собственно говоря, и требовалось доказать.

12

Мы вернулись в штаб из первой своей инспекционной поездки. Доложили обо всем, что нами проделано. Узнали, что наши лучшие полки, которые от нас потребовали под Екатеринослав, были там разбиты. Почти полностью в бою погиб и наш Бердянский полк. Белые заняли Екатеринослав. Фронтная обстановка становилась все серьезней.

Вероятно, неделю мы еще спокойно простояли, вели свою работу, устанавливали связь с бригадами и отдельными полками нашего участка, проверяли, как исполняются отданные нами распоряжения, и т. д.

В эти дни к нам прибыли на переформирование некоторые части, разбитые и потрепанные под Екатеринославом. Это были главным образом кавалеристы, совершенно деморализованные и разложившиеся. Уже по первому впечатлению было видно, что никакой боевой стойкостью они не обладали. Среди них распространились открыто бандитские настроения. Едва эти полки появились в нашем расположении, тотчас же крестьяне стали жаловаться: грабят, жгут огнем пятки и вымогают деньги.

Пришлось круто воздействовать, применить власть. Как-то привели ко мне четырех грабителей. Три человека — явно уголовный элемент, переступивший последнюю черту морального падения. Лишь глянешь — это видно сразу. Четвертый — мальчишка лет шестнадцати. Он плачет.

Я их поочередно допросил. Из короткого допроса (на долгие нет времени) установил, что первые трое заведомо промышляют бандитизмом, и решил тут же их участь. Потом взялся за подростка.

— Как тебя звать?

— Шурка.

Стало его жаль просто как мальчишку. Я учинил ему самый жесткий допрос с пристрастием, выясняя обстоятельства, при которых он попал в компанию уголовников. От этого Шурки я узнал, что он вырос без отца, жил у матери, познакомился с тремя кавалеристами. Они научили его играть в карты и, конечно, обыграли так, что он задолжал им сотни тысяч. И поэтому занялся для них разведкой, указывал богатым крестьян. Он и разведывал, и участвовал в ограблении.

Их жертвой был крепкий мужик, хозяин, кулак. Схватили его, потребовали денег. Тот отдал деньги, где-то спрятанные. Тут же находился и Шурка. Это уже был не первый их налет. Когда мужик уперся и больше денег не давал, они его связали и принялись горячим железом калить пятки. За этим прекрасным делом их застала очередная облава нашей комендантской роты.

Пока я продолжал допрашивать Шурку, ворвалась его мать. Она рыдала, как рыдала бы и всякая другая мать. Пошадите ее ребенка. Пожалейте. И я еще сильнее ощутил жалость. Прочел мальчишке лекцию, что и его надо было расстрелять. Но так как тебе только шестнадцать лет и ты не совсем испорчен, то, если дашь слово искупить свои грехи, поверю тебе, прошу. Он с ревом обещал. Я еще добавил:

— Ты увидишь, как расстреляют этих твоих приятелей.

Действительно, мы расстреляли этих трех бандитов перед строем полка в присутствии Шурки. Полку я объявил, что и мальчишку следовало бы расстрелять, но этого не будем делать.

— Думаю, — говорил я, — что он еще может вырасти честным бойцом, если попадет под хорошее

красноармейское влияние. Если же влияние будет вредным, он пропадет. Поэтому оставляю его при штабе. Сам послежу за ним.

С тех пор Шурка очень привязался ко мне. Исполнял самые рискованные, самые отчаянные поручения. И не покидал меня в труднейшие моменты, о которых дальше расскажу.

Еще один эпизод можно отметить. Мне стало известно, что у командира одной из растрепанных частей, которые к нам были присланы, имеется сестра, которая разлагает и его, и весь комсостав полка, достает спирт, доставляет проституток и т. д. Я ее вызвал:

— Предупреждаю, если ты будешь спаивать командиров и заниматься прочими своими зловредными делами, не считаюсь, что ты женщина,— расстреляю перед строем.

Она ревела, каялась. Я ее отпустил. Но потом довелось снова с ней столкнуться. Она была самым отъявленным моим врагом. Хотела выцарапать мне глаза, когда махновцы меня арестовали. К этому мы скоро подойдем.

13

Однажды меня разбудили среди ночи:

— Товарищ комиссар, срочно к телефону.

Беру трубку:

— В чем дело?

— Прорыв фронта.

Ушам не верю. Может быть, со сна померещилось? По телефону докладывают:

— С правого фланга полк такой-то и с левого фланга полк такой-то не могут установить связи с мелитопольским полком, который расположен между ними.

— Куда же он делся?

— Неизвестно.

Ничего не пойму. Пытаюсь выяснить:

— Может быть, было сражение, противник ворвался, погнал?

— Никаких выстрелов никто не слышал.

По-прежнему ничего не понимаю. Приказываю выслать усиленную разведку в оголенный промежуток

фронта. Разведке пройти всю эту местность до соединения с ближайшей воинской частью, донести к утру, что по фронту восстановлена живая связь. Разузнать в селах, куда делся исчезнувший полк.

Часов в восемь нам в штаб доносят: мелитопольский полк ушел на хутора. Отступил километров на пятнадцать в тыл — и вся недолга! Это был крестьянский полк с махновскими замашками. Зная, что в полку есть такой душок, мы вплоть до переформирования не давали туда пулеметов.

Обсудили в штабе происшествие. Приняли решение Дыбецу и Седину выехать в мелитопольский полк, вернуть его на место, а в случае неповиновения разоружить.

Опять выехали с Сединым. К этому времени нам удалось отремонтировать свой автомобиль. Но бензина не было, двинулись на чистом спирте. Путь лежал к Херсону. Прикатили на нашем вдребезги разбитом, скрипучем автомобиле в городок Берислав. Далее линия фронта прерывалась, тянулся покинутый, опустевший промежуток.

В Бериславе нам рапортовал начальник гарнизона Луин, подтянутый, волевой командир. От него мы узнали, что мелитопольский полк действительно отошел в тыл и расположился отдыхать.

Взяв с собой Лунина, мы втроем на конях поехали к командиру мелитопольского полка. Нашли его где-то на хуторе. Типично бандитская рожа. На бритой башке чуб. Сам здоровенный, откормленный, потянет, пожалуй, пудов на семь. При нем лихой начальник штаба.

— Кто разрешил отступать?

— Да вот народ эдак надумал. Нужно и переформироваться, и одеться, и помыться.

— Значит, помыться захотелось. Но вы же стояли на Днепре. Воды для вас там не хватило?

— Горячей воды надо.

— Что же, может быть, и надо. Но кто разрешил? Кто позволил уйти с фронта в баньки? Разрешеше ты спросил?

— А у кого спрашивать? Никто о полке не заботится. Полк доведен до такого состояния, что патронов нет, пулеметов нет, обуви нет...

Он в повышенном тоне стал перечислять свои нехватки. Наконец выговорился.

- Дело серьезное. Ты же военный человек?
- Военный.
- В старой армии ты служил?
- Служил.
- Так чего же тебя учить? Командир взвода вместе с бойцами оставил фронт. Что с таким взводным сделает командир полка?
- Я же не сам. Теперь армия народная.
- А в народной армии, по-твоему, нет приказов? Ну, был бы ты на моем месте начальником или комиссаром боевого участка. И у тебя в боевой обстановке полк самовольно снялся и ушел. Что с таким полком и с таким командиром делать?
- Я же вам говорю: народ.
- А ты донес?
- Не донес.
- Что же ты думаешь? В солдатики мы тут играем? Это потешный полк или воинская часть? Если думаете играть, так и скажите. Оставьте оружие, а мы дадим тем, кто может носить оружие с честью.
- Сидит, молчит, закурил трубку.
- Что замолчал?
- А что говорить? У меня народ.
- Так кто же ты? Сельский председатель? Или командуешь боевой единицей? Раз ты командир, для тебя обязателен приказ.
- А народ не слушает.
- Относительно народа мы еще рассудим. Но сначала с тобой. Ты что думаешь — награду тебе за это дать? Или как?
- Потягивает трубку, молчит.
- С твоим полком мы поговорим. А тебе вот предписание: сдать командование заместителю, а самому направиться в распоряжение начальника боевого участка в штаб. Ясно?
- Достаю из сумки полевую книжку. На чистой странице появляется из-под моего карандаша приказ. Отрываю лист. Вручаю. В книжке остается копия.
- Распишись.
- Это всегда очень сильно действует. Он нехотя расписывается.
- Должен тебя предупредить: если не явишься, мы это расценим, что ты перешел к белым. Понял? Командование сейчас же сдай. Пиши приказ. А полк пусть выстроится на митинг.

Отстраненный чубатый командир, прищурясь, об-
ращается к своему начальнику штаба:

— Собери полк.

Тот, видимо, уловил какой-то знак.

— Есть. Слушаюсь.

В окно видим: начальник штаба вскочил на коня,
помчался.

Мы тем временем еще нажали, заставили командира
подписать приказ о том, что он сдает командование.

14

Затем на конях отправились на митинг. Семипудро-
вый исполин, которого мы сместили, тоже сел в седло
и поехал с нами.

Полк уже был выстроен замкнутым квадратом.
Пехотный полк. У всех винтовки. Такого приказа —
построиться с оружием — мы не давали. Очевидно,
главари полка пытались оказать психологическое воз-
действие на меня, Седина и Лунина. Мы перегляну-
лись. Седин был горячим парнем. И в минуты опас-
ности бесстрашным. Лунин — более спокойный, вы-
держанный, но тоже решительный. У нас — лишь по
нагану, даже сабель не было.

Переглянулись мы и, не сворачивая, не приостанав-
ливаясь, врезались лошадьми в строй. Бойцы рассту-
паются, дают дорогу. Но вслед за нами строй смыка-
ется.

Въехали в центр. Всем мы видны. Приказываю
полковому командиру:

— Открывай митинг, давай мне слово. Я объявлю,
зачем приехал.

Со всех сторон — несусветный галдеж. Командир
призывает к порядку — ни черта не выходит. Явно был
умысел нас припугнуть: вот-де какая масса непокор-
ная, как ею командовать? Я шепнул Седину:

— Бери председательствование и гаркни «смирно»,
чтобы все услышали.

Седин подождал минуты три и как гаркнет:

— Смирно! Слушать меня! Или вы полк — и тогда
стойте смирно, или вы попросту толпа — и тогда с ва-
ми разговаривать нечего. Открываю митинг. Слово
предоставляется комиссару боевого участка товарищу
Дыбцу.

Все это он произнес громко, отчетливо, по-военному. Шум схлынул. Я начал свою речь:

— Полк самовольно ушел с фронта. Все другие полки боевого участка пребывают разоружить вас.

В ответ:

— Долой! — И угрожающий рев: — А-а-а-а!..

Седин опять зычно скомандовал:

— Смирно! Что это за выходки? Слушать начальника!

После нескольких «смирно» установилась тишина. Я продолжал:

— Можно ли воевать, если каждая воинская часть будет по собственному усмотрению оставлять фронт? Как командовать такой армией? Партизанские отряды могут передвигаться на свой риск, но вы же являетесь полком регулярной армии. И обязаны исполнять законы армии.

— Мы народ! Почему сместили командира? Он ни при чем.

— Если вы народ, а не полк, сдайте оружие. И мы будем знать, что вы не полк.

— Не сдадим!

— Кровью себе добыли оружие!

— Не посмеете забрать оружие!

И винтовки уже взяты наперевес, строй ошетиился штыками. Меня это мало смутило. Если эти парни набрались нахальства поднять винтовки, то озлился и я. И повел речь по-другому:

— Я думал, что вы красноармейцы, а вы просто пособники белогвардейцев.

Ух как зашумели! Винтовки еще грознее поднялись.

— А как же вас назвать, когда вы направляете винтовки против красных командиров? Вы себя позорите! Опустить винтовки! Иначе ни слова больше не скажу.

Гляжу, винтовки опустились.

— Что, испугать меня хотели? Думаете, я правду говорить не буду, если винтовки на меня уставлены? Дураки!

Стали меня слушать, не перебивая.

— Я имею решение командования, чтобы вы снова заняли свой фронт. Откровенно говоря, я не уверен, можно ли вас послать на фронт. Кто вы, если подняли винтовки на своих командиров? Можно ли на вас положиться как на боевую часть? Я лично в этом

сомневаюсь. Но сомневаюсь или не сомневаюсь, приказ боевого участка я обязан выполнить. Предлагаю в трехсуточный срок занять прежние позиции. Полкового командира мы сменили. Вместо него назначен такой-то. Если приказание, которое вы от меня слышали, не будет в срок исполнено, мы вас разоружим. Имейте в виду, что у советской власти хватит сил на это. Клянусь — в случае неповиновения я вас разоружу!

И ничего больше не прибавил. Тронули мы своих коней. Строй перед нами раздвинулся, мы втроем выехали. Затем спокойно, легкой рысью двинулись по степной глади. Никакой погони, ни одного выстрела в след. Вернулись без помех в Берислав в штаб Лунина.

Стали мы судить-рядить, что же будет дальше? Так или иначе, какой бы оборот дело ни приняло, надо быть готовым применить силу.

Не возложить ли на полк Лунина эту задачу? Нет. Мелитопольцы там, мелитопольцы и здесь.

Надо где-то в другом месте отыскать надежную, крепкую часть. Покатили мы с Сединым в Новоспасовский полк. Там по старому знакомству мне обрадовались. Мы приняли рапорт, расспросили про фронтное житье-бытье, про дисциплину. Нас с гордостью заверили, что новоспасовцы исполняют приказы лучше всех, что дисциплина в полку строгая. Никто без разрешения командира не только лошадь, но и хотя бы полпуда овса не заберет у крестьянина. Действительно в полку был виден порядок.

Здесь следует сказать, что Куриленко уже не командовал новоспасовцами. Несколько ранее произошел инцидент, о котором я не упомянул. Изложу коротко эту историю.

Однажды, еще до отхода за Днепр, Дыбенко инспектировал наши войска. С ним ездили Корчагин и я.

В ту пору Дыбенко наведалься и к новоспасовцам. О полковом командире Куриленко он был наслышан, знал о его причастности к махновщине. И с места в карьер по своей горячности начал пушить командира новоспасовцев.

— У тебя полк не в порядке.

— Укажите, в чем же беспорядок.

— Сам об этом знаешь. Тебе была поставлена задача ударить по белым, когда они перли на Токмак. Ты ее не выполнил.

Куриленко заявил, что в тот момент, когда он получил задание, в полку было лишь по двенадцать патронов на бойца, о чем он немедленно донес и в том же донесении просил дать патроны.

Я в то время не очень ясно разбирался в подобного рода делах. Возможно, Куриленко схитрил, не хотел идти туда, где дрались махновские отряды,— он тогда, как уже говорилось, все решительней разрывал с махновщиной,— и, по-моему, не дал полка, рассудив так: ничего не выйдет, кроме того, что полк будет разбит.

Дыбенко в присутствии многих новоспасовцев продолжал честить их командира, не считаясь с его самолюбием. Не менее горячий Куриленко под конец довольно дерзко отвечал. В итоге, когда мы выехали из полка, Дыбенко отдал такой приказ: снять Куриленко с командования и направить к нему в Никополь.

Это распоряжение Корчагин не мог выполнить до отхода за Днепр. Да и потом не стал трогать Куриленко. Я тоже не ворошил этого дела. Полк очень крепкий, наша опора, так пусть Куриленко остается.

Однако Дыбенко не позабыл о своем приказе. Однажды он просматривал перечень полков, занявших линию фронта по Днепру, и увидел фамилию Куриленко. И вновь подтвердил прежнее распоряжение.

Эту операцию пришлось проводить мне. Такого рода неприятные вопросы Корчагин неизменно взваливал на мою комиссарскую спину. Я послал Куриленко телеграмму: сдать командование полком заместителю, а самому прибыть к нам в штаб.

И вот явился Куриленко с эскадронном кавалерии. Я к эскадрону не вышел. Ведь был вызван Куриленко, а не эскадрон. Этак каждому захочется в разговоре с начальником иметь под рукой свой эскадрон. Хорошо же мы тогда будем!

Требую к себе Куриленко. Он входит с восемью делегатами. Говорю:

— Я звал одного Куриленко, а вас, товарищи, не приглашал.

— Товарищ Дыбец, с тобой хочет эскадрон поговорить.

— Эскадрону тут не место. И вам здесь делать нечего, можете идти. Мне нужен только Куриленко.

Поговорю с ним, а затем подумаю: может быть, буду разговаривать с эскадронам, а может быть, не буду.

Новоспасовцы хорошо знали меня и не ожидали такого афронта. Всегда их хвалил, много раз выступал перед бойцами, и вдруг такая резкая перемена.

— Мы, товарищ Дыбец, конечно, выйдем. Но ты нас потом прими.

— Если найду время, может быть, приму.

— Нет, ты уж, пожалуйста, прими.

— Хорошо, приму. А пока что до свиданья.

Ушли, оставив меня с глазу на глаз с Куриленко. Я напустился на него:

— Как ты выполняешь распоряжение? Зачем привел сюда эскадрон? Если каждый полковой командир станет выкидывать такие номера, что же это будет? Армия или что?

Он выслушал, не потеряв внешнего спокойствия. Кажется, раньше я его уже обрисовал. Это был действительно красавец воин двадцати четырех лет, белокурый, лихой. Не знаю, скольких усилий ему стоила в ту минуту сдержанность. Но он собой владел.

— Товарищ Дыбец, не я вел эскадрон, а эскадрон привел меня как арестованного.

— Брось эти сказочки.

— Хотите — верьте, хотите — нет. Полк меня иначе не отпускал. Я готов, товарищ Дыбец, выполнить любое распоряжение. Но об одном тебя буду просить. К тебе я приехал, а дальше не поеду. К Дыбенко не явлюсь. Мне несдобровать. А ты знаешь, что я делал, всю мою боевую деятельность видел. И я смею думать, что в Красной Армии пригожусь. Я честно служил и честно дрался с белыми. Все боевые задания исполнял за исключением одного, которое выполнить не мог.

Он говорил стоя. Плечи были по-военному развернуты, руки держал по швам.

Обдумывал я, обдумывал: как тут поступить? Нет, не отдам этого воина. Он же действительно дисциплинированный хлопец.

— Ладно. Подумаем. Ты иди к своим ребятам, успокой их, скажи, что за эскадрон тебе влетело. А я тут в штабе посоветуюсь.

Пошел я к Корчагину, вызвали мы Седина и стали держать совет. Я предложил попросту спрятать Куриленко у нас в штабе. Оставить его во главе полка

нельзя, ибо полковые командиры на учете у Федько и у Дыбенко. Снимем и, пока суд да дело, приютим у себя в штабе. Корчагин упирался. Седин хмыкал, не сразу высказал свое суждение. Но он сам горячий парень, сам может надерзнуть. А я рассказал всю историю, как она фактически произошла. Ведь разнос, который учинил Дыбенко, был не очень обоснованным. Ты, Корчагин, там присутствовал. И все знаешь. Если бы мы бросили на Токмак новоспасовцев, которые действительно нуждались в патронах, то сегодня мы не имели бы этого полка.

Седин принял мою сторону. Корчагин поколебался-поколебался и внял моим уговорам:

— Черт с тобой. Спрячь где-нибудь под свою ответственность.

Получив такое разрешение, я вышел к новоспасовцам. Позвал делегацию из восьми человек к себе.

— Вот что. Приказ штаба остается нерушимым. Куриленко должен сдать своему заместителю командование полком. Если вздумаете послушаться своего нового полкового командира, расформируем полк, разбросаем роты по другим полкам. Вы уже нарушили дисциплину, явившись с эскадреном. Это по закону военного времени строго карается, но так как я знаю ваши боевые заслуги, то из этого факта не делаю выводов, которые требовали бы предать вас суду.

Вот такую декларацию я им объявил, хотя все мои симпатии были на стороне этих уже закаленных воинов. В делегации были опытные, уважаемые новоспасовцы, некоторые с бородами. Принялись они меня усовещивать:

— Мы помним, как ты приезжал к нам в Новоспасовку, как ты нам помогал. Хорошая молва о тебе идет. Тебе мы верим. Большевик и коммунист. Это знаем. И доверяем тебе нашего командира. Ты понимаешь, Дыбец, угроза тут неуместна, мы люди военные, но если что-нибудь с ним случится, с тебя будем спрашивать. Ты не обижайся. Но только таких, как Куриленко, у нас мало. Имей в виду, что твои приказы будут выполнены. Но не дай бог выйдет какой случай с Куриленко. Не дай бог его нам потерять.

Я сказал:

— Вы угрожаете? Думаете, что Дыбец трус и из трусости не решится поступить с Куриленко по закону?

Или считаете, что вообще военного закона нет? И революционного закона нет?

— Ты не сердись. Ты подойди по-человечески. Ей-богу, жалко Куриленко.

— Не надо меня в этом убеждать. Мы знаем цену Куриленко и его побережем. Теперь забирайте свой эскадрон, чтобы этой демонстрацией и не пахло. Понятно? И не вздумайте еще когда-нибудь нас припугнуть. Так легко вам это не сойдет. Возвращайтесь в полк. А Куриленко останется в штабе.

На этом покончили. В дальнейшем я сообщил Федько, что Куриленко находится при штабе. Федько это санкционировал:

— Держи у себя. А там будет видно.

16

Итак, приехали мы с Сединым к новоспасовцам. Потолковали с командиром полка насчет разоружения мелитопольцев. Он покрутил головой:

— Не подниму этого дела. Мы бердянцы, они мелитопольцы. Соседи. Свои люди. Тут, товарищи, будет осечка.

— Но ты же командир!

— Не хватит моего авторитета. Вот ежели бы Куриленко...

— Что Куриленко?

— Если он встал бы во главе, за ним пошли бы... А без него лучше не лезть в такую кашу. Только смутим бойцов.

Вернуть Куриленко в полк мы, конечно, не могли. Что делать? Доводы командира были вескими. Побывали мы еще в полку и пришли к выводу: да, посылать новоспасовцев — это рискованный шаг. А рисковать нельзя! Переplet такой, что действовать следует наверняка.

Где же найти силу, которая без колебаний разоружит ушедший с фронта полк?

Стали мы прощупывать дальше по фронту — нет ли надежных частей, которым можно поручить разоружение. Добрались почти до Херсона, в бригаду, расположение которой захватывало и этот город. Командир бригады доложил, что имеется одна воинская часть, вполне пригодная для предстоящего нам дела. Она стоит в Херсоне, сколочена из

моряков и спартаконцев-немцев. Херсонский ревком о ней заботится, держит ее под своим влиянием. Этот отряд сильно вооружен, отлично дисциплинирован, выделяется сознательностью.

Тем временем, пока мы ездили туда-сюда, истек трехдневный срок, что был дан мелитопольцам. Полк на фронт не вернулся. И смещенный командир не сдал командования. Что же, надобно применять силу.

Выехали в Херсон. В дороге, как назло, наш автомобиль вовсе отказал. Пришлось опять двигаться на лошадях. В Херсоне мы сначала явились в уком. Нас направили в ревком. Пришли к Кириченко, председателю ревкома. Он созвал заседание.

Я выступил с речью. Во-первых, предъявил членам ревкома свой мандат. Вот, товарищи, я комиссар боевого участка Грушевка — Херсон включительно. По закону военного времени все гражданские власти и все воинские части, независимо от их назначения, подчиняются командованию, несущему ответственность за боевой участок.

— Как, товарищи, правильно я понимаю свой мандат или неправильно?

— Правильно, но мы подчинены Одессе как укрепрайон.

— Без наших войск вашему укрепрайону грош цена. Если мы левым флангом начнем отступать и прикажем сдать Херсон, ничего другого вам не останется, как уходить. Сила ваша в том, что наш боевой участок имеет столько-то тысяч войск. А что у вас? Один отряд особого назначения и десяток пушек. Ненадолго этого хватит. Мы держим бригаду под Херсоном. Если придется вести бой за Херсон, мы бросим сюда еще одну бригаду. Или вы думаете защищаться этим отрядом? Чепуха, несерьезно.— Далее я сказал: — Я приехал осуществить здесь свои права. Отряд моряков и спартаконцев нужен нам для одной операции. Сообщу вам по секрету: у нас начинается разложение фронта. Если фронт разложится, то и вам здесь делать нечего. Мне нужно разоружить полк. И для этой операции я беру этот отряд как наиболее надежный. Понятно?

Херсонцы начали со мною спорить. Отряд—это их единственная вооруженная опора. Я понимал ревкомовцев, но говорил твердо:

— Я приехал не спорить, а объявить приказ штаба боевого участка. От этого приказа я не отступлю.

— Мы должны снестись с Одессой.

— Одесса нами не командует. Мы получаем распоряжения от Федько. И все войска в пределах нашего боевого участка нам подчинены. Благоволите выполнить мое приказание добровольно. Не выполните — введу в город бригаду и заставлю выполнить.

Председатель ревкома заявил, что он еще посоветуется в укоме и потом даст ответ.

— Никаких ваших ответов ждать не станем. Вам приказ объявлен. И мы будем действовать.

Пока шло заседание, мы заметили, что по городу бегает несколько прекрасных автомобилей «пирс-эй-лау». Седин мне шепнул:

— Я буду не я, если один автомобиль не отниму, а то обратно не на чем ехать.

На другой день к нам прибежали наши шоферы:

— Тут шесть автомобилей, а мы мучаемся. Ей-богу, берите один автомобиль.

Грешным делом, и я склонился к тому, чтобы взять у херсонцев один автомобиль. Но пока послал шофера к командиру отряда особого назначения:

— Разущи его. И скажи, чтобы немедленно ко мне явился.

Пришел матрос — командир отряда. Я подал ему свой мандат. Парень долго и внимательно читал.

— Понял, — сказал он.

— Что же ты понял?

— Понял, что нахожусь в вашем распоряжении. Ваши приказы для меня обязательны.

Я вздохнул с облегчением. Порадовала дисциплинированность.

— Теперь ты мне вот скажи, брат. Предстоит такая-то операция. Как отнесется твой отряд? Пойдут твои ребята на это дело?

— Мои ребята пойдут в огонь и в воду.

— А спартаковцы?

— И они тоже.

— Сколько у вас пушек?

— Четыре трехдюймовки, две гаубицы и две шестидюймовых.

— Пулеметов?

— И пулеметов достаточно. Есть и «максимы», есть и кольты.

— Хорошо. — Я вынул свою полевую книжку. — Так писать тебе предписание? Но писать я буду только

в том случае, ежели ты выполнишь. А то зачем зря марать бумагу.

— Выполню.

— Вот тебе письменное приказание комиссара боевого участка и начальника штаба. На рассвете выступить в таком-то направлении. Боевое задание тебе устно передается, на бумаге не фиксируется, потому что это секретно. Собери командиров, объясни задачу. Бойцам объявишь лишь перед началом операции. Выступи со всем вооружением.

— И с пушками?

— И с пушками. Ясно?

— Ясно. Но вопрос в том, что надо бы отряд перебросить на подводах. А лошадей у меня нет.

— Скверно. Тогда мы вот что сделаем.

В городе был уездный военный комиссариат. Его возглавлял военком. Вызвали мы этого товарища.

— Военком?

— Да.

— Познакомься с моим мандатом. По уставу ты подчиняешься командованию боевого участка.

— Так точно.

— Вот тебе задание: мобилизовать до рассвета всех тяжеловесных лошадей у возчиков и передать командиру отряда.

— Времени осталось мало.

— Что значит времени мало? Действуй энергичней! Это боевое задание. Находимся в боевой обстановке.

— Я должен свестись с Одессой.

— С кем хочешь. Дело твое. Распишись, что получил предписание мобилизовать к утру столько лошадей, сколько требуется командиру отряда. Всё. Идите.

Военком и командир-матрос ушли. Конечно, ревком всполошился. Что же вы делаете? Забираете всех лошадей. Забираете все пушки. Опять я заявил:

— Всю ответственность за город беру на себя. Не будете выполнять моих распоряжений — займу город бригадой. Я же, товарищи, приехал сюда не дискусию разводить, а дело делать. Не дадите к утру лошадей — самые крутые меры утром примем.

Эти споры закончились часа в три ночи. Мы с Сединым легли на столах спать. Но и долго спать на столе неудобно, и времени в обрез. Проснулся я с рассветом. Разбудил Седина.

— Идем к военкому проверять, что он успел сделать.

В военкомате обнаружили только дежурного. По телефону вызываем военкома. Нет его, и только. Соединяемся с командиром отряда.

— Пришли мне шесть бойцов в мое распоряжение.

— Есть. Сейчас пошлю.

Приходят шесть матросов. Спрашиваю:

— Знаете, где живет военком?

— Знаем.

— Приведите его под конвоем сюда.

И вот через полчаса уездный военком под конвоем матросов явился в свое учреждение. Матросов мы отпустили.

— Где лошади?

— Не было времени. Мы же с вами до трех ночи заседали.

— Лошади где?

— Товарищи, что вы от меня хотите? Я же не мог исполнить.

Тут мой горячий Седин размахнулся и влепил бы оплеуху, если бы я его не придержал. Посадили мы военкома рядом с нами и начали его руками управлять городом. Как и у каждого военкома, у него была какая-то воинская часть.

— Вызови командира.

Явившемуся командиру приказали:

— Мобилизуйте всех тяжеловесных лошадей города. Понятно?

— Понятно.

— Через час доложи, сколько собрал лошадей.

Через час нам доложили, что смогли мобилизовать только пятнадцать или двадцать лошадей. Все коновозчики узнали, что забирают лошадей, и сбежали из города.

— Значит, не можете дать больше двадцати? Хорошо же вы исполняете приказ боевого участка. Взять лошадей из всех пожарных частей города!

Прибегает председатель ревкома.

— Караул! Что делаете? Оставляете город без пожарных лошадей!

— Да. Чего же вы моргали, вместо того чтобы исполнять мое распоряжение? Садись, помогай раздобыть лошадей!

Тут мы, кстати, узнали, что военком располагает новым, очень хорошим «пирс-эйлау». Седин настроил записку: «Мой автомобиль передаю в полное распоряжение начальника штаба боевого участка Седина и комиссара Дыбеца. Военком такой-то». Пришлось военкомом поставить свою подпись.

— Ваня!

Ваня, наш шофер, из-под земли явился.

— Получай записку, принимай автомобиль и подавай сюда!

Через полчаса Ваня на новом автомобильчике к нам катит и облизывается, как после сладкого. Запас горючего такой, что можно ехать хоть до Мелитополя, хоть до Бердянска. Все в полной исправности. И шины и камеры запасные — все Ваня прихватил.

Примерно к часу дня отряд особого назначения смог выступить. Сначала ряды бойцов прошли передо мной и Сединым. Моряки и спартаковцы. Хорошая боевая выправка. Вооружены единообразно трехлинейками. С ними пушки, пулеметы, двуколки, груженные боеприпасами.

Дали им подводы. Мы с Сединым уселись в наш новый автомобиль, обогнали отряд.

17

Приехали в Берислав к Лунину. Он нам сообщил, что мелитопольский полк на фронт не вернулся, по-прежнему отдыхает и распевает украинские песни. Вместе с тем мелитопольцы что-то затевают, посылают свои делегации в ближайшие полки, агитируют, чтобы те их не разоружали. Две делегации Лунин перехватил и арестовал.

Обсудив положение, мы с Сединым решили объявить по фронту, что из Херсона идет чрезвычайный отряд, который разоружит неповинующийся полк. Штаб боевого участка шутить не будет.

Наш херсонский отряд двигался довольно медленно. Прождав сутки, мы выехали ему навстречу. Взяли с собой в автомобиль матроса, который прекрасно владел ручным пулеметом. Выехав за город, мы увидели, что мелитопольцы цепь за цепью занимают позиции на холмах, готовятся дать бой нашему отряду. Значит, и до них уже дошла весть об отряде.

Никто не остановил нашего автомобиля. Примерно через десяток километров мы встретили отряд Сообщили командиру обстановку. По моим расчетам и по расчетам Седина, можно было ехать полным ходом еще восемь километров, а потом следовало спешиться, идти боевым строем. Командир с нами согласился.

Часам к десяти утра мы подошли к мелитопольцам на расстояние ружейного выстрела. Залегшие на холмах цепи были ясно видны. Матросы уже знали, на что они идут. Спартаковцы-немцы тоже это знали.

По количеству бойцов преимущество было у мелитопольцев. Отряд насчитывал лишь шестьсот — семьсот человек, а в полку числилось несколько тысяч. Но нашу сторону усиливали сознательность, решительность, железная дисциплина, лучшее вооружение.

Командир отряда спросил нас: желаем ли мы командовать сами или это предоставляется ему? И я и Седин во избежание каких-либо недоразумений отказались от командования. И решили так: мы пойдем в цепи. И немцы и матросы шли прекрасно, без малейших колебаний. Было ясно: это твердо спаянный отряд.

Тут мне явилась мысль: подойдя ближе к мелитопольцам, залечь и применить психологическое воздействие, устроить. Для этого надо, чтобы загрохотала наша артиллерия. Продемонстрируем свою мощь. Седин одобрил. Командир наше предложение принял с великим удовольствием. Он даже поторопился схватиться за эту мысль. Мы его охладили, сказав, что психологическое воздействие следует обрушить перед самым столкновением, с чем он тоже согласился.

Дальше произошло следующее. Мелитопольцы выслали делегацию для переговоров. Делегатов принял командир отряда. Они повели такую речь: мы тоже красные бойцы, зачем же проливать братскую кровь, не идите против нас, вас натравили. Командир выслушал и заявил, что вы-де не бойцы, а гады, которые предали Красную Армию.

— Вам предлагали вернуться на позиции, которые вы бросили. Но вы не вернулись. Теперь вас нужно только разоружить!

Переговоры длились минут десять. Наши цепи двигались, не останавливаясь. Мы двигались еще без перебежек.

Минут через двадцать мелитопольцы выслали вторую делегацию. Ей было сказано:

— Никаких переговоров. Ни на какие уступки мы не идем. Сдавайте оружие.

Делегация обещала, что мелитопольцы немедленно выступят на фронт. Командир ответил:

— Не уполномочен принимать ваши обещания. Сдавайте оружие.

А наша цепь шагает. Затем, когда до противника осталось полкилометра, мы залегли и стали продвигаться перебежками. И вдруг ахнули наши орудия. Сначала шестидюймовые, потом гаубицы, потом трехдюймовки. И в заключение залп из всех этих пушек.

Далее случилось именно то, чего я ожидал. Полк был ошарашен, парализован нашей неожиданной пушечной пальбой. И раньше, чем кто-нибудь из мелитопольцев успел опомниться, матросы рванулись вперед, подбежали вплотную к цепям полка и заорали:

— Сдавайте, гады, оружие!

Мелитопольцы не приняли боя. Они бросали, отдавали винтовки. Мы складывали их оружие грудами. А обезоруженных погнали в город.

Надо отметить и такой эпизод. Когда белые на другом берегу Днепра услышали, что у нас началась артиллерийская стрельба, они в свою очередь стали обстреливать нас из пушек. Это вызвало азарт. Ко мне подлетел спартаковец-артиллерист:

— Разрешите выпустить по белым двадцать снарядов. Мы двадцатью снарядами остановим их огонь. Больше не надо.

В армии бывают такие случаи, когда вопреки вашему здравому смыслу нужно разрешить даже явную глупость, иначе это сделают без позволения. В данную минуту было глупо бухать двадцать снарядов, ибо каждым снарядом приходилось дорожить. Но если бы я запретил, мое приказание не было бы выполнено. Тут властвовал азарт, и поэтому ради сохранения дисциплины лучше разрешить. Это нужно улавливать чутьем. Я дал разрешение. И ровно на двадцатом снаряде наш огонь был прекращен.

Вся операция по разоружению была закончена к семи часам вечера. Полк как организованная сила перестал существовать. Мелитопольцев, как я уже сказал, приводили в город. Однако ввиду того, что белые довольно густо шлепнули шрапнелью, я приказал распустить обезоруженных, велел им спастись кто как может, а утром вновь собраться.

Огромное количество винтовок, которые мы отняли, надо было как-то охранять и куда-то отвезти. Мобилизовали крестьянские подводы и под специальным конвоем отправили это оружие к нам в штаб в Грушевку.

На следующее утро мне пришлось терпеливо ожидать, пока наконец мелитопольский полк был выстроен поротно. Прежние бородатые командиры вместе со своим чубатым главарем поубегали. Их замещали какие-то молодые командиры. Я понял, что на этих молодых командиров полагаться никак нельзя, и приказал их арестовать порядка ради. Арестованных тотчас увели.

Иду вдоль строя. Рота стоит, вытянулась. Выбираю наиболее подходящую физиономию, по которой можно угадать старого солдата. Подхожу к нему:

— В старой армии служил?

— Так точно.

— Сколько времени служил? В каком чине?

Если чин был невелик — скажем, ефрейтор или младший унтер-офицер, — то мне как раз это и требовалось.

— Фамилия?

Записываю фамилию.

— Имя, отчество? Село, деревня?

Опрашиваю других:

— Верно ли он говорит?

— Все верно.

— Так назначаю тебя командиром этой роты. Если хоть один человек убежит, спросим с тебя. Задача состоит в том, чтобы доставить в полном порядке всю роту в Грушевку.

— А подводы будут?

— Никаких подвод.

В те дни уже шла уборка урожая.

— О подводах и не думайте. Дай бог только ваше оружие довести. Поведешь роту походной колонной. Понятно?

— Понятно.

И так от роты к роте. Они поочередно уходили в двадцатикилометровый марш на Грушевку. Требовалось загодя организовать кормежку и ночлег на их пути. Не уйдешь от такой заботы. Парни еще будут воевать. Следует только взять их в хорошие руки — и станут достойными бойцами Красной Армии.

Арестованных молодых командиров мы отправили под конвоем в штаб боевого участка. Они уже пустили слезу, плакали: зачем-де согласились занять места командиров. Мы решили: приедем — разберемся.

Таким образом операция по разоружению мелитопольского полка была закончена. Я составил приказ, оповещающий об этой операции все наши фронтовые части: «Политработникам проработать приказ в ротах с тем, чтобы положить решительный конец всякой недисциплинированности, всяким партизанским настроениям. Начальник штаба боевого участка Седин, военный комиссар боевого участка Дыбец».

Выехали в Грушевку. Останавливались по дороге в наших бригадах и полках и с удовлетворением констатировали, что разоружение мелитопольцев возымело превосходное оздоравливающее действие на весь наш фронт. В истину вплелись фантастические слухи: каждые десять бойцов чрезвычайного отряда имеют на вооружении пулемет, пушек видимо-невидимо, моряки и немцы-спартаковцы знают приемы психической атаки. Спортсмен войны Маслов мне сказал:

— Ну, кулачок нашелся. Дисциплинка теперь будет.

В Грушевке мы расквартировали около себя разоруженные мелитопольские роты. Укрепили эти роты командирами, которые, окончив военные школы или курсы, прибывали к нам. Дали и политработников. Задача была в том, чтобы расхлябанные роты превратить в боевую силу.

Недели через две мы выстроили всех мелитопольцев и объявили: полк расформируется, роты передаются таким-то полкам. Я держал речь:

— У вас имеется два выхода: или честно заслужить доверие советской власти и смыть позорное пятно, которое на себя вы наложили, или кто с этим не согласен, тот должен знать — он будет беспощадно раздавлен как дезорганизатор и враг Красной Армии.

После такой не очень-то приятной речи мелитопольцы все-таки кричали во всю глотку «ура». Мы отправили их маршевыми ротами на пополнение других наших частей.

Прошла еще неделя или дней десять. Наведался к нам Пахомов. Это было уже накануне отступления. Возник вопрос: что делать с арестованными командирами? Пахомов сказал мне:

— Решай сам.

Ну, раз «решай сам», мы в штабе обсудили это дело. Попались же не главари, а случайные люди, невинные ребята. Привели эту молодежь ко мне — их оказалось, помнится, двадцать шесть человек, — поставил я их перед собой и начал читать мораль. Опозорили Красную Армию, стали пособниками контрреволюции! Довел ребят до слез. Затем спрашиваю:

— Какое наказание вас должно постигнуть в любой армии?

Они с ревом отвечают:

— Расстрел.

— Верно, измена воинскому долгу, неповиновение в любой армии карается расстрелом. Но советская власть не кровожадна. Мы считаем, что расстреливать вас не нужно. Вы только подставные фигуры, темные люди. Вашей темнотой воспользовались враги. Не будем вас расстреливать. Слушайте наше решение. Идите, вы свободны. И те из вас, кто искренне захочет искупить свое преступление, пусть придут через три дня ко мне в кабинет. Я пошлю вас туда, где вы действительно сможете послужить революционному делу, и сам прослежу, чтобы из вас выработались настоящие, преданные воины Красной Армии. А теперь идите на все четыре стороны.

Ровно через три дня они все как один явились ко мне. Я оказал им доверие, они мне ответили доверием.

Надо сказать, что к тому времени у нас установились надежные связи с нашими людьми, которые находились по ту сторону Днепра, в расположении белых. Каждое утро к нам приходили пятнадцать — двадцать человек с той стороны, подробно информировали, как расставлены белые полки, какое вооружение. Отсюда получали задания, литературу и по ночам возвращались за Днепр.

Роза имела немалый опыт во всяких конспиративных делах, и по предложению Корчагина она возглавила разведывательное управление боевого участка.

Всех этих молодцов, явившихся ко мне, я ей целиком передал. Тут опасные поручения. Можно искупить свою вину. Роза прекрасно их использовала. Не было

случая, чтобы кто-нибудь из ребят отказался выполнить самые отчаянные задания. Они приносили исчерпывающие сведения. У них за Днестром были большие связи. Там пролегал их родная степь. Им было достаточно перебраться на другой берег, чтобы сразу найти земляка. А Роза тщательно инструктировала каждого своего посланца. Она двадцать раз переспросит: как ты будешь вести себя, если попадешь в такой-то переплет, как сумеешь вывернуться? И человек чувствовал, что его не просто посылают, а о нем заботятся. И они все уцелели на этой работе.

Да, позабыл рассказать о Куриленко. Он мучался бездельем, умирал с тоски. Наконец он как-то пришел ко мне:

— Больше не могу. Или расстреливайте, или дайте дело.

Ну, если человек сам просит — «расстреливайте», значит, дошел до точки. Обсудили в штабе. Мы не имели ни одного дисциплинированного кавалерийского полка, а у Куриленко конники всегда были дисциплинированными. Снеслись с Федько и с Пахомовым: нам разрешили дать Куриленко командную должность. Я его вызвал:

— Вот тебе боевое задание. Формируй кавалерийский полк. Лошадей нет, седел нет, сабель нет, ничего нет. Но ты старый партизан, старый фронтовик. Выполнишь задание.

Куриленко со слезами сжал мою руку.

— Спасибо за доверие. Через неделю полк в конном строю пройдет перед тобой.

— Но имей в виду, Куриленко. Нам придется отступать, и память о себе мы должны оставить добрую. Если твои люди начнут отнимать лошадей у крестьян, не пощажу.

— Клянусь, Дыбец, ни одной жалобы не будет. Конечно, вначале соберу полк небольшой — человек четыреста — пятьсот. Потом постепенно вырастет.

И вот через неделю ко мне опять входит Куриленко и просит принять полк. Вышли мы к его полку. Всадники сидят верхом без седел. Вместо седел какие-то мешки. Стремья нет. Лошади далеко не первоклассные — захудалые одры. Вооружение разномастное: у кого пика, у кого сабля, у кого и вовсе лишь дубина. Одеты — кто во что горазд. Но все же полк

в пятьсот бойцов уже существовал, был налицо. И настроение у хлопцев было бодрое.

Куриленко заявил:

— Вы видите, что полк наш, так сказать, не совсем довооружен. Лошади тоже не блистают качеством. Поэтому к вам просьба: дайте такой участок, где мы могли бы у белых достать лошадей, достать сабли. А мы клянемся, что все достанем. И не будет ни одного задания, которое мы не могли бы выполнить.— Затем Куриленко выложил мне еще одну свою просьбу: — Дай в полк такого комиссара, который мне в работе не вязал бы рук. И притом кавалериста.

— Кавалериста сейчас у меня нет. На первый случай пошлю такого, какой есть. Потом подмену.

И действительно, я потом нашел для него подходящего комиссара. Хороший партиец. Кавалерист. Послал я его к Куриленко. Мы уже отступали к Кривому Рогу. Примерно через неделю этот комиссар заехал ко мне и рапортовал, что принят и даже выдержал экзамен.

— Какой экзамен?

Комиссар рассказал следующее.

— Дело было так. Прибыл я к Куриленко с мандатом и с твоей запиской: это-де тот военком, о каком ты просил.

Куриленко прочел и сказал:

— Что же, товарищ, очень хорошо, что Дыбец тебя прислал. Мы тебе рады. Ну, а в войсках ты понимаешь? Поедем посмотрим, как расположен полк.

Поехали, побывали в эскадронах.

— Может быть, у тебя, комиссар, есть замечания?

— Нет, обойдусь без замечаний. Ты же опытный полковой командир. Поработаю, позабочусь о бойцах, чтобы они бодро жили.

— Правильные слова. Теперь еще одно к тебе дело. Прикинь-ка, какое тут расстояние до следующего села?

— Черт его знает. Пожалуй, верст пять-шесть.

— И это правильно. Глаз у тебя хороший. В бинокль на село хочешь посмотреть?

— Давай.

Он дал бинокль, я приложил к глазам. Рассмотрел на улице села конный разъезд белых.

— Казачий разъезд видишь?

— Вижу.

— И я видел. А теперь едем туда молоко пить.

Куриленко стегнул свою лошадь. Мне ничего не оставалось, как ехать за ним. Подъехали к ближайшей хате — а казачий разъезд был в другом конце села, — попросили у бабы молока. Куриленко сунул ей керенки — эти деньги тогда всюду еще ходили. Баба моментально притащила молоко. Подскакивает казак.

— Откуда вы? Какой части?

— А ты какой части? Вижу, что донец. — Разговаривая, Куриленко попивает молоко. — Много вас тут? Сотня где стоит?

— Там-то.

— А кто командир сотни?

— Такой-то.

— Ага, так я и думал. Поворачивай и доложи своему командиру, что приезжал в гости молоко пить красный полковой командир Куриленко. Понял, что я тебе говорю?

Казак с места не может двинуться, оцепенел. Это же нахальство... Покончив с молоком, Куриленко вытаскивает свой маузер.

— Если не поедешь докладывать, стреляю.

Казак — вихрем от него. А мы хорошей рысцой возвращаемся к себе.

— Теперь вижу, — сказал Куриленко, — что ты настоящий военком. С таким работать можно.

Вот вам бывший махновец Куриленко во всей своей красоте. Смельчак! Это создавало ему славу. И весь полк по нему равнялся в лихости. Самые дерзкие налеты удавались куриленковцам.

Новый военком еще доложил:

— Лошади в прекрасном состоянии. Отличные седла. И бойцов уже не пятьсот, а свыше тысячи.

Мы крепко опирались на полк Куриленко. Двадцатичетырехлетний командир, которого я как-то назвал старым партизаном, старым воином, ввел и примерную воинскую дисциплину. Если где-нибудь обнаруживалась неустойчивость, мы перебрасывали на подмогу этот полк. И не было случая, чтобы Куриленко не выполнил приказа.

Вспомнился сейчас один штришок нашей политпросветработы. К нам приехал целый поезд артистов. Там имелась и кинопередвижка. Впервые мы таким красочным способом просвещали бойцов. Артисты привезли и новую песенку: «Эй, ребята, не тужите по сторонущке родной, выше головы держите, за Советы

идем в бой!» Неплохая песенка. Дня три-четыре прививали ее нашей комендантской роте. Так и не привилась. Но как-то артист московской оперетты выступил с одесской ерундовой песенкой: «Алеша, ша, возьми полтоном ниже и брось арапа заправлять». На другой день повсюду раздавалась эта песня. «Алеша, ша» вошла в обиход. Бывало, так и кричат на кого-нибудь: «Алеша, ша!»

Вскоре всех артистов и весь свой культотдел я направил в поездку по фронту. Выступления имели большой успех. И участились перебеги к нам из белой армии. У нас на правом берегу музыка, кино, а у них там ничего.

Моя работа в штабе протекала вот как. Не позже пяти часов утра кто-нибудь обязательно ко мне вламывался, поднимал с койки. До пяти караульный уговаривал:

— Недавно лег. Имейте совесть, дайте, черти, ему поспать.

Приходили командиры и комиссары полков, бригад. У каждого дело. Начинаю прием. С каждым поодиночке разговариваю. Принимал по пятьдесят — шестьдесят человек в день, до обалдения. Еле-еле выкроишь перерыв на обед, поешь борща и опять на место. Вечером сводку получаешь. Прочтешь, проанализируешь. Обсудим в штабе. Потом сам составляешь сводку для передачи в армию. Рабочий день кончается в два, в половине третьего ночи. И постоянно недосыпаешь при такой нервной, напряженной работе.

Мы уже с некоторого времени знали, что придется еще глубже отходить. Наконец получили приказ отступать левым флангом от Днепра. Правый фланг оставить в Херсоне, а левым отойти на Кривой Рог. Сзади нас белые войска стремились сомкнуть кольцо, вырисовалась опасность, что нас могут отрезать, и надо было отступать на соединение с главными силами. Штаб перенести в Кривой Рог, занять такие-то позиции, установить связь. На подготовку к отходу нам предоставлялось сорок восемь часов.

Приказ мы получили ночью. Собрали штаб и стали обсуждать, как быть. Тут проявилась инициаторская

жилка Седина. Парень действительно был полностью предан нашему делу. И опыт у него имелся, и военный нюх. Он сказал, что если мы попросту скомандуем отход и начнем откатываться, то рискуем не остановиться. Может быть, задержимся у Кривого Рога, а может быть, белые на наших плечах ворвутся в город. Не исключено, что при отступлении нас рассеют. Тем более что на левом фланге у нас ненадежный полк — весьма схожий с тем, который мы разоружили. Седин предложил: нужно в двух-трех местах перейти в наступление. Переберемся на тот берег и сделаем демонстрацию наступления. Застигнем противника врасплох. Белые отступят. После этого мы сможем перегруппироваться и отступить в порядке.

— Поверьте моей практике. Я отступал. Я знаю, как это делается,— заключил Седин.

Долго спорили (долго — это часа полтора). Корчагин поддержал инициативу Седина. Связь с высшим командованием была уже прервана. Мы сами решили: лучше отсрочим начало отхода еще на сорок восемь часов, но отступим, будучи уверенными, что войска остановятся в указанных им пунктах.

Наметили самые удобные участки для переправы. От наших разведчиков мы уже имели подробнейшие сведения о том, как расставлены белые полки, какова их боеспособность. В эту операцию мы послали свои самые боевые части. Темные ночи благоприятствовали такой диверсии. Задание было блестяще выполнено. На лодках, на паромках наши полки переправились и застали белых спящими. Заработок был приличным. Взяли пушки, пулеметы, патроны. Наша разведка потом доносила: наделали мы переполоху. «Большими силами большевики перешли в наступление». А мы только налетели в трех местах и забрали, что под руку попало.

Лишь в расчете времени немного мы ошиблись. Думали, что уложимся в добавочные сорок восемь часов, а простояли еще четверо суток. Нас задержала перевозка трофеев. Пушки, знаете ли, жалко было бросать.

Объявили войскам приказ об отступлении на Кривой Рог. Для них это было как снег на голову. Тут у противника паника, а мы вдруг отступаем. Чего же будем отходить, когда надо наступать? Всюду пошел ропот.

Все же отступили в порядке. Полки уходили и на подводах и пешим маршем. Прибыли мы в Кривой Рог. Наладили связь. Получили распоряжение не располагаться на длительную стоянку и готовиться к дальнейшему отходу.

Уже в те дни, когда наши войска занимали новые позиции у Кривого Рога, стало ясно: армия поддается разложению. Несколько полков нам заявили: не будем закрепляться, хватит отступать, надо идти в наступление, надо родные дома отвоевать. Опять сказались всякие партизанские настроения. Пришлось помитинговать, а кое-где и пригрозить.

Так или иначе заняли фронт, выровняли. Дня три-четыре бойцам дали отдохнуть. Разослали приказ: всем вымыться, следить за чистотой, чтобы не было болезни. А болезни начинались. Жара. Арбузы.

Несколько дней спустя мы получили новый боевой приказ: отступить дальше на линию Долинская — Николаев. Теперь отступали со скандалами. Войска начали явно колебаться, митинговали, не хотели отходить. Самые надежные наши полки стали разлагаться, терять дисциплинированность. Белые это учуяли, кое-где нас потрепали.

Полков пять или шесть отказались отступать. Пришлось опять действовать и добрым словом и угрозами. Еле-еле заставили их выступить. Тавричане тянутся в Таврию, мелитопольцы — на Мелитопольщину. А тут все дальше уходим, шагаем по херсонским степям. Подводы, скот, крестьяне, женщины — нет конца отступающему множеству. Обоз несусветный, и нельзя от него избавиться: семьи идут с полками.

И вот с этой армией мы отступили на рубеж Долинская — Николаев. Наш штаб обосновался в Новом Буге. Стали поступать сведения из частей. Слева расположилась бригада Маслова — довольно-таки крепкая. А как раз против штаба должен был заслоном стать 6-й Заднепровский полк. Проходит день, другой — не находим 6-го Заднепровского полка. Командовал им Калашников. Выслали туда-сюда конную разведку. Нет никаких признаков, что где-нибудь белые напали, истребили полк. Значит, где-то задержался. Наверное, отступая со скотом, с подводами, не управился вовремя прийти.

На третьи сутки установили телефонную связь с Николаевом, где находились Федько и Пахомов.

Доносим о новых позициях, о состоянии полков — состояние-де очень дрянное. Что мог мне сказать Пахомов? Только то, что я уже и делал.

— Вливай в полки всех своих политработников, чтобы противостоять деморализации.

На заре следующего дня, часа в четыре утра, в комнату, где я спал, стучат:

— Просят в штаб. Экстренная телеграмма.

Открываю дверь. Вваливаются человек восемь. У меня в углу стояла винтовка. Отрезают меня от винтовки.

— Пожалуйте в штаб.

Все это мне показалось подозрительным. Но рожи наши — не из белого офицера.

— Как Заднепровский полк? Пришел?

— Пришел.

Иду в штаб с этой гурьбой. Входим. И вот:

— Возьмите еще одного арестованного.

Вслед за мной привели и Розу. Выяснилось, что в ночь в Новом Буге появился 6-й Заднепровский полк и арестовал нас — весь штаб боевого участка. Калашников, принадлежавший к тому типу командиров, который был порожден махновщиной, решил на такое дело. Когда-то он командовал отрядом в махновской армии. Выходец из крестьянской семьи. Его полк вместе с другими махновскими частями, оставшимися без Махно, попал в наше подчинение. И дрался-таки против белых. Он дожидался своего часа. Этот час пробил, когда мы отступали от Кривого Рога. Калашников арестовал всех своих военкомов, всех политработников и объявил, что большевики изменяют. Доберемся до штаба и арестуем изменников. Это и было проделано.

Меня втолкнули в комнату, охраняемую караулом. Седина тут не было. Еще не сцапали и Корчагина. Но в числе арестованных уже находились политотдельцы, военкомы и некоторые работники штаба. Уже было известно, что штаб занят полком и Калашников взял на себя общее командование.

Вскоре привели, впахнули к нам раненого Корчагина. Оказалось, он отстреливался, когда за ним пришли. И нескольких человек ухлопал. Потом его рубанули саблей по руке. И приволокли в штаб.

Постепенно комнату набили арестованными. Коммунисты, которым удалось избежать ареста, постара-

лись скрыться. В том числе и Седин как-то вырвался, но его поймали и, по сведениям, которые впоследствии мы получили, пристрелили.

Маслову стало известно, что началась заваруха в Новом Буге. Не будучи уверенным в своих полках, где тоже распространилась махновская зараза, он собрал все, что было здоровым, надежным, сколотил эти силы в батальон и на подводах, на тачанках перебрал к штабу Федько. Наш отряд моряков и спартаковцев не смог пробиться ни к нам, ни к Федько и был истреблен махновцами. Полк Куриленко, а также и новоспасовцы очутились в махновском окружении и объявили, что придерживаются самостоятельной политической линии.

Обо всем этом мы, разумеется, узнали позже. А в Новом Буге события развивались так. Калашников вместе с разными анархистами, которые вдруг выплыли, созвал митинг и во всеуслышание сообщил, что штаб боевого участка арестован за измену.

— Давно нам казалось непонятным, почему мы отступаем. Теперь ясно. При аресте Корчагина и Дыбеца мы нашли у них миллион рублей золотом. Они продали фронт за миллион рублей.

И ни одному умнику не пришло в голову спросить: где этот миллион золотом, покажите его нам.

Так или иначе, митинг подлил масла в огонь. Калашников подыгрался к массе, не желавшей отступить.

— Пойдем на соединение с Махно,— провозгласил Калашников.— Махно поведет нас в наступление.

Спустя день каким-то образом заработала связь с Федько. Оттуда вызвали Дыбеца по прямому проводу. Меня повели, чуть ли не тыча в бок револьверами.

— Говори, что мы тебе прикажем.

Выползает лента. Читаем:

— У аппарата Пахомов. Дыбец, ты?

— Я.

— А я не верю, что это ты. У нас сведения, что тебя убили.

— Нет, я жив.

— Если это ты, скажи, при каких обстоятельствах мы с тобой встретились.

Я произношу несколько слов, из которых он понимает, что с ним разговаривает действительно Дыбец.

— Теперь я уверен, что это ты. Расскажи, какая у тебя там обстановка.

Тут диктуют телеграфисту без моего участия. Пахомов отвечает:

— Это не твой язык и не твое построение доклада.

А вожаки заднепровцев от моего имени потребовали, чтобы сюда слали снаряды, пулеметы, лошадей. Я доволен. Пахомов, значит, уясняет, что тут происходит. Далее он спрашивает:

— Передай, каково состояние полков.

Эти архаровцы отвечают, что полки в полном порядке.

— Где шестой Заднепровский?

— Шестой Заднепровский занял указанную ему линию.

Пахомов передает:

— Видимо, штаб захвачен шестым Заднепровским. Тебя не расстреляли, а держат под арестом. Сводка о состоянии войск не твоя. Ты, должно быть, в плену.

Кричат мне:

— Отвечай, сукин сын, что ты болен!

Телеграфист выстукивает:

— Болен.

Пахомов заключает:

— Обстановка мне понятна. Кончаю разговор.

В руках Калашникова оказались различные наши части численностью до двенадцати тысяч бойцов. Он увидел, что снабжать такую армию нелегко, и двинул ее на соединение с Махно. Штаб Махно находился где-то близ Одессы.

Всем нам, рабам божьим, Калашников заявил, что пока расстреливать нас не будет, а довезет к Махно.

Нас везли на подводах под конвоем. В какой-то момент появилась женщина, сестра командира одного кавалерийского полка, которую когда-то я обещал расстрелять.

— Где Дыбец? Дайте мне Дыбеца, я его растерзаю. Дайте я ему глаза выщарапаю!

А к нам была приставлена рота мелитопольского полка, того самого, который мы разоружили и расформировали. Калашников рассчитывал, что на эту роту он вполне может полагаться, ибо мелитопольцы, как он понимал, числили за нами особенный должок. Между прочим, в эту роту были направлены и молодые

командиры, которых я не расстрелял, а передал Розе в качестве разведчиков. Им, пострадавшим, махновцы во главе с Калашниковым полностью доверяли. Однако разведка Калашникова тут проморгала. Эти ребята уже были нам преданны, признавали, что мы с ними справедливо обошлись. Рота никого к нам не подпускала. И эту озверелую бабу прогнали прикладами. Были и еще случаи, когда нас пытались растерзать, но рота никому не позволила тронуть арестованных. И оскорблять не разрешала. Должно быть, ребята рассуждали следующим образом: «Он нас держал под арестом, но с нами обращались правильно, не издевались. И наше обращение с теми, кого мы сейчас возем, будет таким же. Это же свой брат, не белогвардейцы».

Я получал немалое душевное удовлетворение, поглядывая на конвоиров. Как-никак, а мы уже сумели переиначить, переделать этих мелитопольцев. И не случись такая катастрофа, они были бы образцовыми красными воинами.

Калашникову пришлось считаться еще с тем, что некоторые полки, хотя и двигавшиеся с ним к Махно, оставались в той или иной мере нашими. Полк Куриленко был за нас, новоспасовцы тоже. Они открыто заявили Калашникову, что если на пути к Махно что-либо произойдет со штабом, то перестреляют весь 6-й Заднепровский. И, как я заметил, новоспасовцы даже выделили своих делегатов, которые наблюдали, чтобы ничего с нами не стряслось.

Кроме того, некоторые анархисты, сгруппировавшиеся вокруг Калашникова, тоже противились возможной расправе над пленными. Среди этих анархистов был Уралов, которого я знал еще по Бердянску. Он отличался постоянной взвинченностью, даже истеричностью, случалось, споря, хватался за револьвер, и все же запомнился мне как наиболее здравомыслящий из всех махновцев в Бердянске. Он пробирался к Махно по железной дороге Долинская — Николаев, узнал, что в Новом Буге учинен такой переворот, и явился туда. Он был известен и Калашникову. Облеченный теперь званием начальника гарнизона, он нам обещал, что никаких эксцессов по дороге к Махно не допустит, и тщательно следил, как нас охраняют.

На всем пути в ставку Махно меня сопровождал Шурка — парнишка, которого я спас. Он, как вы знаете, был моим ординарцем, но остался на свободе. Его

заботой был продовольственный вопрос. Каждую остановку Шурка использовал для того, чтобы всех нас накормить. Он доставал молоко, жарил яичницу, мясом нас кормил. И всегда, ночью и днем, старался быть около меня, как верный ординарец.

Итак, везут меня, Розу, Корчагина, еще некоторых работников штаба. Тут же на подводах — арестованные военкомы полков и батальонов.

В селе Добровеличковке Махно на белом коне встретил эту армию, которую вел к нему Калашников. Расцеловался с Калашниковым. Тут же остановились и наши подводы. Калашников указал на нас:

— Вот доставил на твое усмотрение штаб боевого участка.

Махно в нашу сторону даже не взглянул.

— Что же, всех расстреляем.

В разговор вступил Уралов:

— Как же расстрелять, когда там Дыбецы? И он и она.

— А, Дыбецы... Ну-ка, дай его сюда!

Подвели меня к Махно.

— Здравствуй, Дыбец.

— Здравствуй, Махно.

— Как же, Дыбец, ты сюда попал?

— Твоя доблестная армия везла меня к тебе, как зверя в клетке.

Он ухмыльнулся:

— Известно ли тебе, что я теперь коммунистов расстреливаю, так как объявлен вне закона?

— Известно.

— Ну так вот что. Рука у меня не поднимается на этого старого ренегата. Может быть, это моя слабость, но я его не расстреляю. И приказываю, чтобы волос с его головы не упал в расположении моих войск. Кто на него руку поднимет, того лично расстреляю. Слыхали?

— Слушаемся.

— Отпустить Дыбеца с женой на волю, а остальных держать до моего распоряжения.

Так мы с Розой оказались на свободе среди скопища махновских войск. Уралов нашел нам комнату в Добровеличковке.

Там, в этом селе, был отчаянный кавардак. Поезда остановились. Бродили пассажиры. Получилась каша. Здесь же обретался Щусь со всей своей кавалерией.

Щусь — это правая рука Махно. Расквартировались в Добровеличковке и другие махновские части. Все войска разложены. Горланят спяна песни. Не разберешь, где обыватель, где армия, какого полка бабы на возах.

Отсиживаясь в нашей комнатенке, я постарался спокойно обдумать, что же теперь делать. И задался целью собрать партийцев, каких найду, и, если удастся, выйти из Добровеличковки, чтобы пробраться к частям Федько, которые находились где-то поблизости. Тут, кстати, я встретился с Андреем Могильным, большевиком из Бердянска, где мы вместе поработали в ревкоме. Могильный ехал из Одессы в Киев, но из-за того, что железную дорогу перерезали махновцы, застрел в Добровеличковке. Меня с ним связал Уралов.

Значит, собрать партийцев и уходить к Федько. Однако мои товарищи, штаб и военкомы боевого участка оставались арестованными. Я не терял надежды, что смогу как-то им помочь, используя свои старые связи с анархистами. Достаточно близко еще по Америке, а затем по Питеру мне был знаком Волин, пребывавший у Махно в роли литературно-идейного вдохновителя. В свое время я был, как вам известно, одним из основателей анархо-синдикалистской группы «Голос труда», сотрудничал в газете, которую издавала эта группа, и мое имя было известно анархистам. Роза тоже кое-кого знала по своим тюремным мытарствам в пятом, шестом и седьмом годах, даже и самого Махно.

Прошло, вероятно, дня два-три. Как-то я вышел на улицу и встретил Щуся. Он поздоровался очень любезно, радушно.

— Что, Дыбец, делаешь?

— Ничего не делаю.

— Тебя Махно хотел повидать.

— Если Махно хочет со мной увидаться, он мог бы мне это передать.

— Так он и просил передать, чтобы ты к нему зашел.

— Ладно, зайду.

— А то пойдем сейчас вместе к нему.

Приглашает меня с такой улыбкой, прямо вся рожа расплылась. Я подумал, подумал:

— Пойдем.

Зашагали рядом. Привел меня Щусь в какое-то помещение и скомандовал:

— Примите арестованного.

И я вновь оказался под стражей.

Здесь, пожалуй, будет уместно вкратце обрисовать Щуся. Он мечтал быть народным героем. И я с ним познакомился еще в свою бытность председателем бердянского ревкома. Мы с ним ехали в автомобиле, когда я впервые выбрался на фронт. Щусю, видимо, порассказали обо мне: влиятельный, мол, деятель и даже литератором в «Голосе труда» работал. Щусь начал расписывать свою личность. Был когда-то матросом Балтийского флота и прославился там как непобедимый в спортивной борьбе. Знает приемы французской борьбы, бокса. Смыслит и в японском джиу-джитсу. Может собственными руками без напряжения удушить человека. Язык у того вываливается, а он давит на горло. Щусь с таким вкусом живописал, изображал эту операцию, что меня взял ужас. И омерзение.

Носил он, как и Махно, длинные волосы, но черные. Высокий, здоровый, статный детина. Одевался в какой-то фантастический костюм: шапочка с пером, бархатная курточка. Сабля, шпоры. На пирах у Махно Щусь сидел, как статуя, и молчал. Он всерьез мечтал, что будет увековечен в легендах и сказках. Однажды он показал мне стихи какого-то украинского поэта о том, что батька Щусь один уложил наповал десять полицейских. Я, по своей бестактности, высмеял и Щуся и стихи. Этого он, очевидно, не забыл. Отряд его был сугубо бандитский. Конники Щуся без зазрения грабили, могли тут же и прирезать, и пятки калили горячим железом.

Сдал меня Щусь своим подручным. Однако, как после я узнал, за мной в некотором отдалении следовал Шурка. Он побежал к Розе и затем к Уралову, дал знать, что я арестован Щусем.

Никаких обвинений сначала мне не предъявляли. Держали меня в одиночном заключении. Сiju день, другой. Потом приходит ко мне Белаш, анархист из штаба Махно, и говорит:

— Вас обвиняют в том, что на митингах вы заявляли: махновцы играют на руку белогвардейцам, открыли белым фронт и тому подобное.

— Что же, это для меня не новость. Я же выступал на митинге, а не шептал. Да и теперь скрывать свои взгляды не намерен. Я с махновщиной боролся, это верно. Так что я не собираюсь защищаться. Мою линию вы знаете. Кто я—тоже вам известно. Вот и все.

Парень замялся:

— Не знаю, что будет, но только твое дело плохо.

— А разве я ожидал от вас чего-нибудь хорошего? Я был даже удивлен, что Махно меня освободил. Плохо так плохо. Принимаю это к сведению.

Началась длинная музыка. Пошли допросы. После я узнал от Розы следующее. Она кинулась в штаб, а затем и в своего рода политотдел махновской армии. Там, как выяснилось, было два течения. Калашников требовал расстрела. Его поддерживала группа Щуся Щусь, как было уже сказано, командовал всей кавалерией. А кавалеристы жаждали отмщения, помнили, как я за грабежи круто расправлялся. И было такое на строение, что пора Дыбеца убить. Но, с другой стороны, часть анархистов высказывалась за то, чтобы Дыбеца не убивать, а дать ему возможность мирно уйти Старого революционера расстреливать неудобно. В анархическом движении его знают, организатор, не изменник. В чем дело, за что же убивать? Поэтому тянулась волянка следствия. Предстоял какой-то надо мной суд.

Неделю меня тягали на допросы. Как я потом узнал, это была тактика того крыла, которое хотело меня освободить. Идиотские допросы меня утомили, но я разговаривал.

— Выступал против Махно?

— Выступал.

— Говорил, что махновцы — пособники контрреволюции?

— Говорил.

— Так что ж, ты же против нас?

— Всегда был против вас. Я же не скрываю.

— Полк разоружил?

— Разоружил.

— Людей расстреливал?

— Расстреливал. Если освободите, опять буду расстреливать всех грабителей. Меня расстреляете — ваше дело.

Такие разговоры продолжались изо дня в день.

Предъявляли мне свидетелей моих преступлений. И затем снова:

— Ты же враг наших идей.

— Ваши идеи — болтовня. Все равно, как ни верти, нужна организация. Весь вопрос в том, какова будет эта организация. На сей счет взгляды у меня определенные. Я коммунист. Если вам угодно, расстреливайте меня за это.

А обстановка в эти дни была такая. Махно со своими отборными частями куда-то выехал в разведку и где-то давал бой. И пока он не вернулся, допросами тянули время.

Наконец Махно опять появился в Добровеличковке. И хотя его охраняли несколько барбосов, которые могли зарубить всякого, кто пытался подойти к Махно, Розе удалось пробиться сквозь эту братву.

— Нестор, выслушай меня.

— Здравствуй, Роза. Слушаю.

— Дыбеца арестовали. Собираются расстрелять. За что?

— Да, мне доложили, что он арестован. Говорят, он против меня выступал, заявлял на митингах, что я открыл белым фронт.

— Ты сам с ним поговори. Ты знаешь, он врать не будет. Скажет, где выступал, о чем говорил.

— Да я наизусть все знаю, что он мне будет говорить. Ну ладно, обсудим.

И вот Махно созвал у себя своих присных. (Это я рассказываю по сведениям, которые к нам дошли поздней.) Он поставил на голосование вопрос о моей участи, и большинством я был приговорен к смерти. Когда проголосовали, Махно долго молчал, а потом сказал:

— Нет, не дам его расстрелять. Таких людей нельзя расстреливать.

Думаю, на Махно тут повлияло еще и следующее обстоятельство. Несколько ранее Федько соединился с ним по телефону и сказал:

— Если расстреляешь штаб боевого участка, пусть ни один махновец не ждет от нас пощады.

Потом Федько передал трубку Куриленко. Тот со своим конным полком сумел где-то оторваться от махновцев и примкнул к частям Федько.

— Махно, слышишь меня? Говорит Куриленко.— Он подтвердил предупреждение Федько и еще добавил

несколько слов насчет меня.— И Дыбеца не тронь. Иначе, кого ни встретим из махновцев, будем резать беспощадно. До сих пор церемонились, а теперь всех вас предадим анафеме.

Это повлияло. Но и самому Махно, видимо, не хотелось меня расстреливать. Политически ему это было невыгодно. Многие анархисты высказывались против расстрела, протестовали и эсеры (существовала в махновском стане какая-то эсеровская фракция). Кроме того, некоторые полки из тех, что привел с собой Калашников, тоже вступались за нас. Вероятно, Махно все это учел.

А я в одиночестве сидел под арестом и ничего не знал о борьбе течений, не знал, кто за меня, кто против меня.

22

В один прекрасный вечер меня переправили в какую-то хату, которую сделали арестным домом. Народ в хате менялся: кого-то приводили, кого-то уводили. По ночам расстреливали. Я ждал своей очереди. Для меня это было уже решенным делом: отсюда я не вырвусь.

Однажды мой Шурка принес — он все время считал своей обязанностью меня обихаживать, оставался начальником моего «продовольственного отдела», — принес вареные яйца и молоко на ужин. Я поглядел на Шурку. Чем-то он сильно взволнован.

— Что с тобой, Шурка?

Он вдруг заревел.

— Чего ты?

— Уралов сегодня рассказывал, что весь штаб тебя приговорил. Нынче ночью тебя будут стрелять.

— Ну что же. Тут ничего, брат, не поделаешь. Не один революционер погиб. Бывает, что надо умереть революционеру. Чего ты реवेशь?

— Жалко. Я не могу. Я соберу человек десять, мы придем с винтовками. Мы вас освободим.

— Бросьте, ребята. Не выйдет. Как ты освободишь, когда здесь двадцать тысяч вооруженных? Не надо твоей головой рисковать. Это просто глупо.

— Нет, я не могу. Давайте бежать.

В представлении Шурки побег из нашей кутузки — дело легкое.

— Иногда, Шурка, вредно убежать. Революционер должен уметь и расстаться с жизнью. Я никуда не убегу. А ты успокойся. Иди к Уралову и передай, чтобы он пришел ко мне часиков в десять. (На расстрел выводили в полночь.) Я напоследок с ним поговорю.

Ревет мой Шурка. Я стараюсь быть собранным, владею собой. Весь разговор слышит и Роза. Я забыл сказать, что ее во избежание недоразумений тоже арестовали, и уже три-четыре дня мы сидим вместе.

Затем Шурка по своей наивности начал настаивать, чтобы я поужинал. Как же — он днем усердствовал, добывая эти яйца! Я пытался его уговорить, чтобы хоть горшок с молоком унес, потому что сегодня нет аппетита. Но он настаивал, что самое главное — поужинать. Действительно, во всякой трагедии проглянет что-то комическое. Я улыбнулся его наивности.

— Оставляй, поужинаю. А ты обязательно поймай Уралова. Это тебе боевое задание.

Шурка вытер слезы и отправился.

Потянулись часы ожидания. Мое настроение, как вы понимаете, было не сильно повышенным. Но твердым — ибо я заранее приготовил себя к тому, что не спасусь. Так что вопрос заключался только в том, когда, где и как выгоднее умереть. Смерть — это тоже политическое дело. Пусть и она послужит борьбе. Такой расстрел сорвет с Махно остатки его ореола. Вся его армия меня знает. Убережь свою шкуру — нет, это меня не занимало. Вопрос о собственной шкуре передо мной не стоял. За все время революции я никогда не думал о том, что и мне угрожает пуля. Может быть, именно поэтому я и влиял на людей, что презирал смерть. Я давно понял: революция требует жертв.

В хате находились не только мы с Розой. Сидели там два-три спекулянта. Какой-то кулак был тоже ввергнут в это узилище за то, что сопротивлялся, когда его грабили. Кто-то шепотом молился.

Кажется, я уже упоминал о том, какой у меня характер: в самые критические моменты не люблю разговаривать. Надо дать самому себе отчет, привести себя в порядок. И я как бы остаюсь наедине с собой, наедине со своими мыслями.

Немного походил от стены к стене. Роза знала, что, пока я молчу, со мной лучше не заговаривать. Водворилось тягостное молчание на час или полтора.

Вдруг тишина прерывается звяканьем шпор, бряцанием сабель. Чей-то голос спрашивает:

— Дыбец здесь?

— Здесь.

Отворяется дверь, Махно со всем своим штабом входит в нашу темницу.

— Где же тут Дыбец? Спит?

Отвечаю:

— Не до сна. И ты бы на моем месте не заснул, ожидая участи.

— Это верно. Так вот, Дыбец, в чем дело. Мой штаб приговорил тебя к смерти.

— Что же, дело ваше.

Говорю совершенно спокойно, бровью не шевельнул. Плядит на меня Махно и продолжает:

— Звонил мне Куриленко по прямому проводу. Клянется, черт его не видал, что, если тебя казним, он будет расстреливать каждого из моих войск, кто ему попадетсЯ в руки. И Федько твой грозит. Но на это я плюю.

Пауза. Я не отвечаю. Махно спрашивает:

— Они еще дознавались про коммуниста такого-то. Ты не слыхал, где он?

— Не знаю.

— Вот и я ни черта о нем не знаю. Они считают, что он расстрелян. А я его не видел. Будь они прокляты, твои коммунисты! Десять раз объявляют меня вне закона и обещают расстрелять.

— Но не расстреляли же...

— Не расстреляли. Руки коротки.— Он выругался.— Мать-перемать, режут друг друга, а я за все должен отвечать.

Снова пауза. Молчим.

— Ну вот что, Дыбец. Я уже своему штабу объявил. Не поднимается у меня рука на такого старого революционера, как ты. Правда, ты ренегат, давно не анархист, и черт тебя знает, во что ты превратился. Но рука не поднимается. Я решил тебя освободить. Комендант!

— Я.

— Чтобы волос с сего головы не упал, пока он находится на территории моих войск. Я тебя лично застрелю, если с ним что-нибудь случится. Повтори.

Комендант, запинаясь, повторяет:

— Лично вы меня застрелите, если с ним что-нибудь случится.

— Заруби это на носу. Ну, все. До свидания.

Подает мне руку. Что сделаешь? Протягиваю свою. Рукопожатие. Его штаб почтительно стоит, наблюдает эту сцену. Все они, кто с ним сюда вошел, обряжены в кавалерийскую форму с саблями, со шпорами. Махно тоже носил шпоры.

Спрашиваю:

— Что передать, если я выберусь к своим?

— Ничего не передавай. Десять раз вне закона объявляли. Не буду больше с большевиками работать.

— Что ж, тебе видней.

Этим встреча закончилась. Махно повернулся и вышел со своей свитой. Комендант остался в нашей горнице-тюряге, едва освещенной каганцом. Стоит бледный, чуть ли не полуживой. Не знает, как поступать дальше. Я говорю:

— Ты, парень, не журишь, а пошли ординарца к Уралову с моей запиской. Дай клочок бумаги.

Пишу записку Уралову: Махно меня освободил, приходи и заведи из арестного дома.

Не прошло и пятнадцати минут — явился Уралов. Я рассказал ему подробности. Комендант обрадовался, что может кому-то меня передать. Он, конечно, опасался, что сюда ворвется какая-нибудь бесшабашная ватага и зарубит меня тут. А ответит он собственной головошкой.

Смотрю — Уралов не торопится. Мне хочется поскорей уйти, но он удерживает:

— Не спеши. Надо обождать.

И поглядывает на часы. Наконец говорит:

— Пойдем.

Вышли втроем — Роза, Уралов, я. Ночь темная. Уралов свистнул. Поблизости раздалась ответные свистки. Оказывается, он расставил роту мелитопольцев, под охраной которых мы, арестованные, двигались к Махно. Теперь они вновь нас охраняли на случай, если нападут кавалеристы Шуся или другие мои знакомцы.

Мелитопольцы провели меня к себе. Я пока там приютился. Роза пошла к Могильным. Добралась она туда. Стучит. Те оба спали или, быть может, просто затаились. Ночной стук в Добровеличковке дело не из приятных. Роза настойчиво добивается. Наконец Могильный откликнулся:

— Кто там?

— Откройте. Это Роза.

Могильные узнали от Уралова, что я приговорен к смерти. Им подумалось: меня расстреляли, и Роза присутствовала при расстреле. Они близкие наши друзья. Тяжело пережить такое. Онемели, не шевелятся. Роза требует:

— Откройте же, черт вас побери!

Наконец Андрей зажег лампу и открыл. Розаглянула на чету Могильных и расхохоталась. У них был такой трагический вид, что это ее рассмешило. А им показалось, что Роза сошла с ума. Степку расстреляли, и Роза лишилась рассудка. Она долго убеждала, что я освобожден, долго уговаривала прийти и проведать меня.

Наконец Андрей прибежал удостовериться, что Роза не сумасшедшая, что я действительно выпущен на волю. Обнялись. Затем он сразу обратил внимание на мои сапоги. Дело в том, что я привез из Америки красные сапоги. Они были очень приметны. В этих сапогах я ездил по фронту, выступал перед полками.

— Сапоги скинь, а то они тебя выдадут.

Нашлась для меня пара армейских сапог. Переобулся.

— И нужно тебе спастись.

Но загвоздка была в том, как же спастись. Уралов взялся наметить путь, по которому мы с Розой могли бы пройти к частям Красной Армии. Однако через два-три дня он выяснил, что нигде никакой связи с нашими частями нет. Кругом махновцы. Везде рыщет кавалерия Щуся. Эти молодчики при первой же встрече со мной меня зарубят. Мы посоветовались и решили: лучше идти в ту сторону, где местность занята белыми, и прорываться к своим сквозь белый стан.

Выработали нам маршрут. Уралов раздобыл для нас подводу. Роль возницы мне пришлось взять на себя. Переоделись мы с Розой в крестьянскую робу и на рассвете выехали. Нас снабдили и деньгами. В тех местах ходили и николаевские кредитки, и керенки, и украинские карбованцы, так что надо было запастись разными деньгами. Нам дали тысячи две рублей. Но это и деньги и не деньги. Они дешевели со дня на день. За пятьдесят пшеничных рублей (какие-то ассигнации были выпущены под обеспечение пшеницей и звались пшеничными) нельзя было купить буханку хлеба.

Ехали до глубокой ночи. Наверное, уже километров шестьдесят осталось позади. Ночевали в какой-то школе. Я, конечно, добросовестно позаботился о лошадях: разжился для них сеном, подкормил. На следующий день опять ехали. Ночь провели у какого-то бедняка. А утром покинули наш выезд на его попечение и ушли пешком: подвода вызывает больше подозрений, чем пара пеших.

Надо сказать, что я получил от Уралова бумагу, которая гласила: такой-то (фамилия моя) был задержан махновскими войсками, снят с поезда и, по его заявлению, у него отобраны все документы. Следовала подпись: начальник караульных частей махновской армии Уралов. И приклепнута печать. А дальше я уже мог врате напрапалую. Этот документ был нужен на случай столкновения с белыми.

Расставшись со своей подводой, мы шли пешком, делая приблизительно по тридцать километров в день. Научились шагать. Избрали путь на Киев, рассчитывая, что там застанем красных.

В каком-то городишке увидели наконец и беляков, местечко было только что занято разездом белой армии. И сразу же стал восстанавливаться обыкновенный дореволюционный порядок. На улицах уже торчали полицейские. Мы разыскали базар. Потолкались на базаре. Узнали, где помещается полицейское управление. Евреи, конечно, ожидают погрома.

Мы с Розой твердо решили идти прямо в полицию и прописать свой вид на жительство.

Приходим. Полицейский надзиратель — очевидно, из прежних, недорезанный, — красуется в мятых погонах и изображает индюка. Я объяснил, что я такой-то и сякой-то, ездил с женой в Одессу, лечиться на лимане, потом возвращались поездом в Киев, где работаю на заводе главным бухгалтером (это самое безобидное занятие). Поезд остановили махновцы, ограбили. Вот в каком виде уносим от них ноги. Вынуждены идти в Киев пешком.

Полицейский смотрел-смотрел на нас и отказался подписывать мой документ. Дал сопровождающего и велел нам обратиться к военной власти. Сопровождающему приказал сдать нас под расписку.

Добрались к военному начальству. Там нами занялся молодой офицерик. Я опять плел ту же историю: вот-де я главный бухгалтер, ездил на лиман, лечился от ревматизма и так далее.

— Ограбили махновцы. Обобрали дочиста. Единственно, что дали,—эту бумажку. Возвращаюсь на свою службу в Киев. Жить-то надо.

— А я при чем?

— Полицейский к вам направил. Я его просил, чтобы он подписал мой документ.

— Идите вы, куда хотите. Некогда мне с вами возиться.

— Но дайте записку, чтобы полицейский как-то узаконил наш документ.

— И записки не буду давать. Убирайтесь вон.

А рядом стоят два унтера. Рожи такие звероподобные, что хоть пиши картину. Один в казачьей фуражке, другой в жандармской.

Мы вернулись к надзирателю. И с нахальством, которое я могу проявить, когда это необходимо, говорю:

— Начальник войск отослал нас к вам обратно и приказал, чтобы вы обязательно прописали мой документ.

И мы выцарапали у этого полицейского чина надпись на обороте моего липового удостоверения. Он всего-навсего черкнул: прошу содействовать в посадке на первый отходящий поезд. Но по всей форме приложил какой-то полицейский штампик и печать. Ну, теперь живем.

Потопали мы на железнодорожную станцию. Комendant станции проявил, конечно, подозрительность, но раз записка с печатью, позволил сесть в товарный поезд. Мы втиснулись в теплушку и отправились на Киев. В дороге узнали, что Киев—у белых. Черт возьми, вот незадача! В Киеве мы знали лишь единственного человека—сестру жены одного моего приятеля по Русско-Американскому инструментальному заводу. Девичью фамилию этой женщины я помнил. Но она вышла замуж, а фамилия мужа нам неведома. Припомнилось, что она живет на Кузнецкой улице, а номер дома, хоть убей, не знаю.

Часов в пять утра поезд прибыл в Киев.

Побрели мы на Кузнецкую улицу, прочесали дом за домом, называли девичью фамилию этой нашей знакомой. Не нашли.

И так устали, ничего не евши, что Роза уже едва шагала. Приплелись на Еврейский базар и сели. Дальше просто не можем двигаться.

На Еврейском базаре торгуют кто чем попадая. Воистину толкучка. Тут надо сказать, что эта знакомая, которую мы тщетно искали, приезжала в Бердянск со своим братишкой лет двенадцати-тринадцати. И вот мне показалось, будто промелькнул этот мальчишка. Кинулся я за ним, но ноги были ослабевшими, и догнать я его не смог.

Разочарованно вернулся, сел в изнеможении. Положение отчаянное. Можно было бы переночевать за городом, просто в степи. Но нет сил выбраться туда. Ну, безвыходное положение. Деньги, правда, есть, но нужна какая-то зацепка.

Просидели мы, вероятно, еще с полчаса. И бывает же такое: идет этот мальчишка с кувшином воды. Он торгует самой обыкновенной водой. Продает по десять копеек стакан. Я ринулся к мальчишке. Он меня узнал. Спрашиваю:

— Где вы живете?

— Да вот напротив.

То есть буквально в десяти шагах от нас — лишь пересечь улицу — находилась квартира единственного человека, к которому мы могли прийти.

Наша знакомая встретила нас гостеприимно. Мы сначала сказали ей немного: так и так, вырвались от Махно, теперь нужно здесь как-то прописаться. Посидели, поговорили. Потом мы с Розой взглянули друг на друга: почему мы должны скрывать? Я сказал:

— Мы пробираемся к красным.

Женщина ответила:

— Надо обдумать, как это сделать.

Она повела нас к своей сестре. Та замужем за каким-то мастеровым-немцем, специалистом по настройке пианино. Он успевал и торговать. Продавал пианино. Весь Киев, казалось, жил только торговлей. Трудом в то время в Киеве не прокормиться.

Объяснили мы все начистоту. И выяснилось, что первым делом нужно добыть паспорт, а потом с паспортом можно уйти с территории белых, ибо до красных не очень далеко. Жена настройщика сказала, что у них дворник на все руки мастак и она с ним поговорит. Дворник объявил цену: столько-то керенок. Цена оказалась сходной: керенки у меня были.

На другой день мы пошли с дворником в полицейское управление к приставу. Дворник собрал подписи своих собратьев и сам удостоверил, что знает меня со дня моего рождения, что я никогда не был причастен к революции, что я действительно ездил в Одессу на лечение.

Мне и Розе выдали паспорта. Стали мы обдумывать, как быть дальше. Надо умеючи выйти из Киева и умеючи пройти деревнями. Но точных сведений не могли заполучить. Самые темные слухи. Вот красные в десяти километрах. Вот красные в ста километрах. Вот красные в Гомеле. Все, что хотите. А белая газета сообщает, что враг разбит, Москва окружена, Ленин улетел на аэроплане из Москвы,— такая белиберда, что уши вянут.

Миновало еще несколько дней. Ночуем, чтобы не вызывать подозрений, то у одной сестры, то у другой, которая обитала на Бибикивском бульваре.

Однажды просыпаюсь там — на Бибикивском. Что такое? Идет стрельба по всему бульвару. Выбегаю, оказалось — красные ворвались в Киев, гонят белых.

Ну, тут наше спасение! Однако на улицах стреляют так, что ходить рискованно. Э, была не была, надо же связаться со своими. Но подступиться к ним не просто. Это же регулярная армия в бою. Я все-таки подошел.

— Здравствуйте, товарищи.

— Здравствуйте.

— Какая это часть?

— А тебе какое дело?

— Не Федько ли командир?

— А ты откуда знаешь?

— Полагается мне кое-что знать.

— Смотри, будешь много знать — голову не сносишь.

— Это ничего. Где же Федько-то?

Нет, не отвечают. Народ неразговорчивый. Я с удовольствием отметил, что красноармейцы начеку. И продолжал допытываться:

— Федько, видимо, не скоро приедет. А где у вас штаб полка? И какой это полк?

— Тебе зачем?

— Нужно для связи.

— Ты что, подпольный?

— Да вроде так.

— Ну, так полк наш пятьдесят второй.

— Лунин у вас командир?

— Да.

— А где штаб Лунина?

Раз я назвал фамилию командира, красноармеец уже отнесся ко мне с доверием.

— Тут Федько должен проехать. Жди.

Пляжу — катит по улице автомобиль. Красноармеец подсказал:

— Ага. Это автомобиль Федько и есть.

Я вылетаю на середину улицы и вздымаю руки, чтобы остановить машину. Но, во-первых, я оброс бородой за это время. Во-вторых, на мне была довольно дрянная шинелька. Все же автомобиль остановился.

— Здравствуй, Федько.

Он на меня уставился.

— Черт побери! Дыбец?

— Дыбец.

— Как же ты сюда попал?

— Еле-еле вырвался из махновских лап.

— А жинка, где? Жива?

— Жива. Мытарствуем вместе.

— Беги за ней. Тащи ее сюда. А я поеду на Крещатик, посмотрю, как мы там воюем. Буду проезжать обратно через полчаса. А ты с жинкой стой на этом же месте. Я вас подберу.

— Понятно. Бегу.

— Погоди.— Федько сунул мне пачку николаевок.— Денег небось ни черта нет. Наверное, живешь у бедняков. Расплатись. И возвращайся сюда с жинкой.

Автомобиль тронулся. Я опрометью бросился на Кузнецкую улицу — минувшей ночью Роза спала там. Прибегаю. Розы нет. Куда-то отлучилась. Наконец отыскал ее. Спешим к назначенному месту. Но пока мы туда подоспели, белые уже оттеснили наших, захватили улицу. На всякий случай огрели и нас пулеметной очередью. Снова мы отрезаны. Разочарование такое, что только силой воли себя сдерживаешь.

Ну, что же делать? Еще терпеть уже не вмоготу. Единственное спасение — убираться по Днепру.

К этому времени мы уже знали, что из-под Гомеля, находившегося на территории красных, люди ездят в Киев на лодках, закупают в Киеве соль и везут

обратно. И это занятие очень прибыльное. И таких лодок очень много.

Стали ходить на берег присматриваться. Действительно, именно так дело и обстоит. Подошли к одному дядьке:

— Пассажиров вверх будете брать?

— Каких пассажиров? С тобой хлопот не оберешься.

— Обыкновенных граждан. Паспорт в порядке.

— Тогда ничего. Можно.

— Сколько возьмешь?

— Николаевские есть?

— Есть.

— Хорошо. Цена такая: сотенную с носа.

Пришлось поторговаться. Он согласился за сто рублей перевезти двух человек. Потом вновь оглядел меня.

— Ты так не ездил. Во-первых, возьми пуда два картофеля. А то чем будешь кормиться? Ехать ведь десять дней по Днепру. Во-вторых, купи соли. А то спросят: зачем едешь?

— К родственникам.

— Не поверят. Ты скажи, что будешь торговать солью. А мы скажем, что ты наш крестьянин.

Внял я благому совету. Купили мы с Розой около пуда картофеля. Загнали ее последнее кольцо, которое она получила от матери. Загнали ее часы. Я не любитель обременяться большим грузом, но кроме картофеля приобрел и полпуда соли.

Однако дядьку, с которым я условился, мы упустили. Он уехал без нас. Договорились с другим. Тоже бородатый мужик. Тут я был уже умудрен опытом: еду-де с солью.

— Ладно, за сто рублей царскими двоих возьму.

И мы отчалили. Этих лодок было множество. Называются они дубы. Многие десятки таких дубов всякий день уходили вверх из Киева. Поднимает эта лодка пудов двадцать пять — тридцать. А условие такое: сел, бери весло, гребь. Грести против течения — чертова работа. У меня моментально вздулись мозоли. Но все-таки гребу. Плыдем.

Двигаемся день, другой. На пути — пограничная охрана белых. Проверка паспортов. У меня все оказалось в порядке. Никаких подозрений.

— Зачем едете?

— Как зачем? Соль везем.

— Ишь ты, спекулянт.

— А чем жить? Надо же кормиться.

Офицер спрашивает:

— Где же твоя соль?

Я неопределенным жестом показываю на лодку. Она полна мешками с солью. Не разберешь: где моя, где не моя.

— Ну, ладно, иди.

Охрана у кого-то водку отняла, у другого продукты отобрала. У нас с Розой отнимать нечего. Словом, дуб был проверен. Мы отъехали.

Бородатый хозяин дуба долго на меня смотрел.

— А я хотел тебе сказать, что у тебя солишки маловато. Но ты сам сообразил, показал на лодку. Видать, парень с головой.

— Не бойся, твоя соль мне не нужна.

— Да я не к тому. Я к тому, что котелок у тебя работает.

Плывем дальше. Это была, как сказал наш бодродач, последняя белая стража, особенно опасная, а дальше путь свободен. Но на дубе мы еле продвигались. Кое-где нужно было брать веревку, впрягаться по-бурлацки и вытаскивать на себе этот проклятый дуб.

А уже шел октябрь. Ночи холодные. На ночь останавливаемся, разжигаем костер из тальника. От такого топлива больше дыма, чем огня. Около костра и спали. На мне шинелишка, на Розе синий больничный халат, который не спасал от холода. Брюки мои окончательно приняли неприличный вид, протерлись на задку от непрерывной гребли. Но днем я опять упорно греб.

Дня через два встретили бронепароход под красным флагом. Ох, наконец свои! С парохода дали команду: лодкам подъехать! Подъехали. Командир спрашивает:

— Что там в Киеве? Какие пароходы у белых?

Я в ответ кричу:

— У них три парохода.

— А пушки установлены?

— Устанавливаются.

— А, значит, додумались.

Я сообщил общие сведения о войсках в городе. Рассказал, что Федько врывался в Киев.

— Это знаем без тебя. Ну, отваливай. Чего ждете? Отчаливай, а то будем стрелять.

Мы отчалили. Гребем, удаляемся от парохода. Дядька на меня поглядывает:

— А глаз у тебя хороший.

— Что же, человеку глаз дан для того, чтоб видеть.

— Оно верно. Ну, ребята, навались, гребите.

Снова и снова работаю веслом. А по ночам все холодней. Злющая осень. Неожиданно выпал снег. Это уже была беда. В наши с Розой планы вовсе не входила такая ранняя зима. Мужики стали говорить, что утром, может быть, реку схватит лед. Всю ночь от холода не спали. Натянули крестьяне шатер. Внутри развели костер. Ну, мочи нет — один дым. Тальник сырой, кое-как тлеет. Выйдешь из палатки — холод, войдешь — дым. Промучились всю ночь.

Наутро мужики посоветовали:

— Лучше идите пешком. Часто бывает, что лодки вмерзают в лед среди Днепра, а потом мы сами на подводах выбираемся.

Мы с Розой подумали-подумали, решили идти пешком. Привязал я свои полпуда соли на спину, туда же взвалил и мешок с остатками картошки, и двинулись мы в путь. В первый день сделали около двадцати километров. Такие концы нам уже были не внове. У какого-то крестьянина переночевали. Ужинали картофелем. Поделились и с хозяином.

На следующий день прошли еще километров двадцать пять. Опять падал снег и тут же на земле таял. У нас целыми днями мокрые ноги. Но когда идешь, ничего, ноги не стынут. А ночью забираешься в крестьянскую избу и отогреваешься.

Утром мы увидели на реке другой бронепароход под красным флагом. Днепр все-таки не замерз. Вот он, пароход, рукой подать, но как к нему подойти? Он стоит на середине Днепра. Зашагали мы в ближайшую деревню. Прокрутились до вечера. День-то короткий. Искали, у какого мужика есть лодка. Вечером никто не решился ехать. Переночевали. А рано утром подрядили парня, чтобы он довез нас на лодке к бронепароходу. К нашему счастью, пароход подошел к берегу

и набирал дрова. Значит, лодочник нам не понадобится.

Мимо часового я вбежал на пароход. За мной проскочила Роза.

— Ведите к капитану! — потребовал я.

Однако капитан оказался не военным человеком. К нам вышел военный комиссар. Я представился:

— Так и так, я такой-сякой, бывший военком боевого участка Красной Армии.

— А документы?

— Какие же документы, когда я прошел пешком столько-то верст сквозь расположение белых? Вот паспорт, выданный белыми.

— Ничего не выйдет. У меня жесточайший приказ: никого не брать на борт. Я не могу послушаться.

— Как хочешь, но меня только силой снимешь.

— А нам недалеко ходить за силой. Сбросим, и точка. Приказ для меня не шутка.

Разговор идет на высоких нотах: я ругаюсь, он ругается. Подходят матросы. И вдруг возглас:

— Товарищ Дыбец! Здравствуй!

Кто-то меня обнимает. Я его не помню, а он меня узнал.

— Ты что, военком? На кого напал? Да ты знаешь, кто это такой! Он у нас богом был. Иди, товарищ Дыбец, с женой в кубрик. Никому тебя в обиду не дадим.

Комиссар сделал вид, что чем-то занят, и ушел. Нас провели в кубрик. Сидим, отогреваемся. Входит комиссар.

— Сейчас будем отчаливать. Вы лучше сойдите.

— Нет, не сойду, брат.

— Тогда договоримся по-хорошему. Мы через два часа должны остановиться около плавучей базы. И вас пересадим на базу. Дайте слово, что перейдете на базу, и я прикажу отчаливать.

— Ладно, даю слово. Но ты уговори, чтобы база нас взяла, а то, если и она откажет, придется нам только прыгать в Днепр.

Пароход отчалил. Мы с Розой сидим среди матросов. С нами наша картошка и соль. Поделились с братишками. Кто-то вскипятил чаек, и за кружкой чая этот матрос, который меня узнал, расписывал мои подвиги. В такой беседе время, как вы понимаете, для меня пролетело незаметно.

Действительно, часа через два пристали к плавучей базе. Я прошел к капитану базы. Тот говорит:

— Это не мое дело. Я тут по сути только лоцман.

— А с кем разговаривать?

— С воснкомом.

— А где он?

Капитан показывает на человека, который стоит ко мне спиной. Я обращаюсь:

— Послушайте, товарищ. Я Дыбец, военком такого-то боевого участка.

И вновь повторяется прежняя сценка. Человек быстро оборачивается, обнимает, целует меня. Этого-то парня я узнал. Когда-то в Бердянске он был одним из тех, что с моего благословения устанавливали на катерке пушку. Я помнил его простым матросом, теперь встретил военным комиссаром плавучей базы. Тут подошли и еще наши бердянские матросы. Всё честь честью: обнимаемся, жмем руки.

— Немедленно тащи сюда свою робу.

— Какая там роба? У меня остались единственные полпуда соли.

— Тащи. Пригодится и соль хорошим людям.

Я притащил Розу и соль. База должна была передать продовольствие двум бронепароходам и потом возвратиться в Гомель.

Тут в каюте на плавучей базе впервые за много-много дней я увидел наконец советскую газету. Это был небольшой листок, издаваемый политотделом. И к нашему восторгу, мы прочли оперативную сводку за 20 или, может быть, 21 октября 1919 года: Орел взят красными войсками, Красная Армия перешла в наступление на Южном фронте.

Не могу тут миновать одного характерного маленького эпизода. Надо вам сказать, что в последние две недели мы с Розой питались так скудно, что буквально готовы были волка съесть. Бердянец на пароходе было человек восемь. Они радушно нас устроили. Мы отогрелись. Испытываешь такое чувство, что в родную семью попал. Тепло. И возле тебя лежит газета с сообщением о победном ударе Красной Армии. Какого еще счастья желать после всех наших передраг, всех переживаний?

И, вообразите, подают большой казанок супа с картофелем и мясом. Мы с Розой вооружились ложками, сели за этот казанок и пришли в себя только в ту

минуту, когда он оказался пустым. Я посмотрел вокруг, увидел вытянувшиеся лица. Выяснилось, что мы съели паек всех восьми человек. Этого я пикогда не забуду. Мне стало так неловко, что готов был провалиться на дно речное. Вслух я сказал:

— Ребята, мы увлеклись. Теперь опомнились, но поздно.

Бердянцы, однако, не обиделись, договорились с военкомом, чтобы позаимствовать от ужина толику мяса. И суп был восстановлен.

База снабдила два бронепарохода продовольствием и повернула на Гомель. Все было бы хорошо, но погода злилась. Мы уже вошли в реку Сож. Пароход идет только днем. Ночью он стоит. Легли мы спать. Проснулись утром — пароходу нет дальше пути: реку сковал лед. До Гомеля осталось пятьдесят — шестьдесят километров. Сообразили мы с Розой, что на базе нам делать нечего, надо двигаться на Гомель. Попрощались с военкомом, с братишками-бердянцами и снова — в который уже раз — обратились в пешеходов.

Идешь по снегу. Проваливаешься. Ветер, холодно. Переночевали у одного крестьянина, переночевали у другого с таким расчетом, чтобы утром 7 ноября — в годовщину революции — прийти в Гомель.

И действительно, 7 ноября часов в десять утра мы оказались в Гомеле. Народ выстраивается на парад, а у нас ботинки разевают пасть, одна видимость осталась от подметок. А тут еще и оттепель, под ногами вода и талый снег. Последние двенадцать километров вдобавок ко всем прелестям нас поливал дождь. Шагаем, ботинки чавкают. Но Роза мужественно выдерживала эти невзгоды. Удивительно выдержанный, спокойный человек. Я больше нервничал от всяких лишений.

Так или иначе, прибыли мы в Гомель, расспросили, где городской партийный комитет. Явились туда. Как и следовало ожидать, из членов партийного комитета никого не застали — все пошли на парад. Дождь дождем, а парад парадом.

Нам сказали:

— Вот талоны. Идите в столовую. А потом придут секретари, поговорите.

Отправились мы с Розой в столовую. Невредно было нам поесть. Затем перебрались к натопленной голландке. Стали сушиться. Тут тоже обнаружилась газета. Мы узнали, что на Южном фронте наше наступ-

ление развивается вовсю. Был взят Воронеж, белые отступали к Курску. А на Украине, на фронте 12-й армии, к которой в свое время принадлежал и наш боевой участок, красные войска тоже двинулись вперед и как раз к празднику завладели Черниговом. В сводке говорилось и о боях под Петроградом. Там совершился перелом в военных действиях, войска Юденича были отброшены. В наши руки перешли Красное Село и Гатчина. Упоминалось и Колпино. Там, у стен Ижорского завода, наши прорвали фронт Юденича.

Многое, наверно, в этот час промелькнуло в мыслях. Ровно два года назад в день Октябрьской революции колонна бронепоездов, изготовленных Ижорским заводом, вышла в Питер в распоряжение Военно-революционного комитета. Я, председатель завкома, тоже находился в одной из этих боевых машин. Кое-где пришлось столкнуться с юнкерами, пустить в дело пулеметы. К Смольному мы подошли ночью, когда уже открылся Второй съезд Советов. И не опоздали к той исторической минуте, когда на трибуну вышел Ленин, ранее скрывавшийся в подполье. Раскаты аплодисментов не давали ему говорить. Это, видимо, его смущало. Он обеими ладонями оглаживал свою лысую голову, будто на ней еще обретался парик, который он смог наконец сдернуть, придя в Смольный.

Да, было о чем вспомнить! Однако говорю Розе:

— Нам с тобой надо явиться в штаб Двенадцатой армии. Нас или там оставят, или пошлют в дивизию. Попросимся к Федько, к своим ребятам. И вообще уходить из армии я не собираюсь.

— Правильно, Степа.

Стали спрашивать, где находится штаб 12-й армии. Выяснилось — в Новозыбкове.

— Далеко это отсюда?

— Три-четыре часа поездом.

— А поезда часто ходят?

— Не то два раза в неделю, не то один раз какой-то поезд ходит.

Погрелись-погрелись мы у печки, Роза предлагает:

— Знаешь что, Степа, идем на станцию. Поезда не ходят — это сказки. Наверное, товарные воинские ходят. Как-нибудь пристроимся.

— Пойдем.

Сказано — сделано. Пришли на станцию. Отыскали коменданта. Расспросили, ходят ли пассажирские поезда.

— Пассажирский — раз в неделю.

— А товарные?

— Вон стоит товарный. Но это товарный воинский. Там стреляют, если к ним полезешь.

— Все-таки попробуем.

Зашагали к поезду. Паровоз был уже прицеплен. Значит, действительно состав скоро отправится. Попытались влезть в теплушку. Нет, не пускают: «Отойди, будем стрелять». Тогда мы взобрались на тормозную площадку. Решили — три-четыре часа как-нибудь потерпим.

Поезд тронулся, и мы стали замечать, что оттепель сменяется морозом. Ноги у нас мокрые. Они сразу дали нам знать о морозе. Стоим, коченеем на открытой площадке. Ну, бывает такое состояние, что нет мочи. Зубы выбивают дробь. Я уже решил, что мы пропали. Но человек — такое существо, что все выдерживает. Поезд остановится — бегаем около вагона.

Промучились несколько часов и прибыли наконец в Новозыбков. У семафора остановился проклятый поезд. От семафора добежали к станции, на бегу согрелись.

Дальше — политотдел армии. Там встретились с Пахомовым. Нас обмундировали, выдали ватные телогрейки и австрийские ботинки, такие, что Роза обе свои ноги в один могла засунуть. И отпустили на месяц отдыхать в Москву.

Ровно через месяц мы с Розой опять явились в свою 12-ю армию...

* * *

...На этом обрывается сохранившаяся запись.

<1969>

ПОЧТОВАЯ
ПРОЗА



Передо мной мои давние герои — металлурги. Вещь, посвященная старшему, уже ушедшему, и более молодым поколениям советских металлургов, у меня, что называется, — в работе. Мобилизованы, извлечены из шкафа десятки папок, записных книжек и тетрадей. Отысканы, легли на стол и пачки моих старых личных писем.

Перечитав эти письма, относящиеся к тридцатым годам, адресованные Лидии Петровне Тоом, я подумал, что многое в них и само по себе, независимо от будущего произведения, пожалуй, представляет интерес, характеризуя в какой-то степени время, литературные искания, связанные с «Историей заводов», «Кабинетом мемуаров», а также мои первые шаги в качестве писателя-прозаика.

Вычеркнув из писем все, что не идет к делу, я воспроизвожу их в том виде, как они тогда вылились из-под пера. Кое-где, так сказать, по ходу действия, как бы дополняя письма, я позволил себе привести некоторые мои неопубликованные наброски и отрывки. Разумеется, потребовались и примечания или, лучше сказать, пояснения.

В итоге получилась эта книжка. Чеканные пушкинские строки — «доныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык», — строки, которые я не отважился избрать эпиграфом, дали ей название.

МОСКВА — НОВОКУЗНЕЦК

1932. Февраль — июль

Приходится сразу начинать с пояснения.

Еще в 1931 году превратности судьбы, — о них сказано далее в некоторых письмах, — забросили меня на

московскую окраину на завод «Красная Пресня». Побитый в литературных драках критик, я нашел пристанище в редакции заводской многотиражки «Вагранка», зарабатывал себе на хлеб как штатный труженик, едва ли не единственный, этого еженедельного листка.

Мой адресат, уехавший по партийной мобилизации на строительство Кузнецкого металлургического комбината, стал там, исполняя задание главной редакции «Истории заводов», организатором «Истории Кузнецкстроя».

Хочется для зачина привести письмо Л. П. Тоом — ее первое письмо с площадки Кузнецкстроя. Делаю это, конечно, с разрешения писавшего.

14 февраля 1932 г. Кузнецкстрой

...Многим я тебя удивлю. Какими мы были паивными в своих представлениях о Кузнецкстрое! Мы воображали, что жить я буду в бараке, стирать в тазике себе белье и варить кашу на керосинке. Нет, держи выше.

Но расскажу по порядку. Начну с поезда. Как уже было сказано в моей открытке с дороги, поезд шел без вагона-ресторана. Более того — и на станциях нигде не было обедов. Но наше купе оказалось очень дружным. Ехали: хозяйственник-коммунист из Востоккокса, командированный в Кузнецк к пуску коксохимкомбината, вузовка-коксохимик, которой предстояла практика, и молодой нормировщик-строитель. Все свои припасы мы делили между собой. Ели консервы, сыр, молоко, чай, печенье.

...Я в дороге не теряла времени даром и старательно занималась. Во-первых, усердно расспрашивала соседей о коксохимическом производстве, и они добросовестно мне отвечали. Во-вторых, проштудировала книжку «Доменное производство», так что в грубых чертах с этим делом познакомилась.

Подъехали к Кузнецку 13-го в 11 часов вечера. Из Новосибирска я послала телеграмму секретарю Франкфурта: «Еду командировке ЦК. Приеду тринадцатого. Прощу встретить». Спутники уверили меня, что никто не встретит, так как поезд опоздал на 11 часов. Поэтому по приезде я наняла возницу-крестьянина и велела везти себя в гостиницу. Приехали в «гостиницу» — паршивый дом в так называемом соцгороде (будь он неладен, до чего там скверно, — зачем только эдак позорить слово

«социалистический»), в Нижней колонии. Конечно, мне объявляют: комнат нет. Тут же в прихожей сидят люди, ожидают номеров, но неизвестно, будут ли они. Что делать? Я села на табурет и тоже жду. Вдруг входит дядя огромных размеров в военном, пристально всех оглядывает и в особенности меня.

— Вы из Москвы?

— Да.

— Телеграмму Франкфурту давали?

— Да.

— Тоом?

— Да.

— Где ваши вещи? Едем.

Забирает мои вещи и несет... в автобус вместимостью человек на тридцать. Кидает в машину мой тощий багаж, подсаживает меня, и мы едем. Едем долго-долго. Наконец приезжаем в Верхнюю колонию. Здесь хорошие, небольшие, термолитовые (деревянные с прокладкой) дома, где живут инженеры, а также иностранные специалисты и т. д. Входим в один дом, так называемый правительственный (в нем, кстати, живет и Франкфурт). Дядя в военном ввел меня в комнату, большую, хорошо меблированную, и, любезно пригласив располагаться, попрощался.

Я на славу выпалась. Здесь, конечно, ванна и все удобства. Это дом для командированных из разных высоких учреждений. Здесь живут недели по две. Однако сегодня здесь были сведущие люди и сказали, что меня, может быть, оставят тут совсем, так как этот дом хотят превратить в постоянное жилье.

Я уже заказала и полку для книг, и вообще комнату хотят еще «обставить». И вот еще что. Для нас, тут обитающих, есть домработница, которая всех обстирывает, убирает, ходит в лавку, варит, если это ей поручишь, и т. д.

Боюсь, не потурят ли меня отсюда? Может быть, меня, как ревизора, за кого-то принимают, не подозревая, что я лишь проштрафившийся литератор? Да и посланный в скромном звании работника будущей «Истории Кузнецкстроя».

Рядом здесь столовая иностранцев и их закрытый распределитель. Уборщица говорит, что я могу быть туда прикреплена. Уже сегодня купила мне там десяток яиц. Сахар здесь продается свободно, без карточек. Словом, край сей изобилен.

Но каков же Кузнецкстрой? Я мало видела, но все же скажу: удивителен. Чем? Едешь тысячи километров пустыней, поросшей чахлой растительностью, и вдруг — такой кусок кипучей человеческой энергии! Кругом красивые горы, воздух чист, небо голубое, солнце, несмотря на мороз, прямо-таки южное, и все здесь разворочено, всюду упрямо копошатся, работают люди. Все живет, кипит. Впечатление сильное.

Очень интересно: перед заводоуправлением, прямо на земле, книги, целый Госиздат. Внутри — опять два прилавка. И народ все покупает да покупает. Я купила «Донбасс героический» Гудка-Еремеева, «Горькую линию» Шухова (про Сибирь), «Дело чести, славы, доблести и геройства» (кузнецкстроевский сборник) и кое-что еще.

Вообще, наверное, здорово обросту тут книгами.

Следующее утро

...Так вчера и не смогла отправить это письмо: здесь нет конвертов. Прими к сведению и вышли.

Конверты, разумеется, я выслал. Слал и письма в этот удивительный Кузнецкстрой, уже заваленный книгами, но еще не снабженный почтовыми принадлежностями.

Впрочем, и я строчил на чем попало, на листках, что находились под рукой. Эти наскоро заполненные страницы, что я привожу следом за письмом Л. Тоом, повествуют про мое житье-бытье в Москве.

27 февраля. Москва

...Эти дни, эти месяцы я ощущаю как дни перелома в моей жизни. Я действительно всерьез пишу свою повесть. Сажу над ней, точно прикованный. Утром пишу, вставая ежедневно в шесть часов, а на заводе, куда прихожу к десяти, продолжаю исподволь эту же работу, выясняя ряд вопросов, углубляя свое понимание дела, разговаривая с людьми о том, о чем пишу.

Буквально — врезаюсь в жизнь. Это страшно интересно. Чем дальше, тем больше. Это втягивает. Но задача невероятно трудна. Ведь я не хочу так, от нечего делать, написать повестушку. Да и ничего хорошего у меня не получится от такой любительщины.

И вот вопрос — сумею ли я овладеть новой профессией, достигнуть в ней хотя бы некоторого совершенства? Именно такую задачу я перед собой ставлю: овладеть профессией, выучиться которой не легче, чем профессии инженера или летчика. Хватит ли у меня сил и упорства на то, чтобы преодолеть трудности ученичества?

Мне придется очень тяжело. Я к этому внутренне готов. Не зря писательство называют каторгой. А ученичество — это, наверное, каторга вдвойне. Особенно для меня, никогда раньше и не помышлявшего о том, чтобы стать писателем-художником, автором художественной прозы.

Я уже и теперь трижды перечеркнул, сделал наново отрывок, который хочу более или менее отделать. Трижды, а удовлетворения написанным все-таки нет. Однако каждый раз получается, по-моему, немного живее, интереснее. И чем дальше я вникаю, проникаю в самую жизнь, тем больше новых штрихов, черточек мне хочется внести в отрывок.

Работа в «Вагранке» у меня теперь опять-таки связана с моим писательством, которое не выходит у меня из головы. После четырех я беседую с нужными мне людьми, иногда привожу их даже к себе домой и здесь разговариваю по два-три часа.

Но изучение — это ведь далеко еще не все. А думать образами? И видеть то, что излагаешь, выражаешь словами на бумаге? А сюжет? Все трудно, трудно, трудно, и все в тысячу раз интересней критики. Тут работаешь над самой жизнью, постигаешь жизнь, стремишься выразить это свое постижение. Год, два, три упорного, неустанного, каторжного труда, и я научусь писать искусно. Верю в это, как маньяк.

...У вас там, на Кузнецкстрое, сейчас праздничные дни: пускаются коксовые батареи, центральная электрическая станция и т. д. Повезло же тебе — приехать как раз к пуску.

4 марта

...Вчера был на «Страхе» в МХАТе. Представь, очень понравилось. Есть в этой вещи настоящее искусство, которое теперь, занимаясь своей повестью, я начинаю понимать. Эта вещь как-то покоряет, хотя, поразмыслив, не все в ней принимаешь. Сейчас я разбираюсь в своих впечатлениях и преодолеваю глубокое

влияние, которое оказал на меня этот спектакль. «Главное в искусстве простота. Поле. Кольшется рожь. Просто. А это волнует, трогает». Так в пьесе говорит старая коммунистка Клара. И места, построенные на этом принципе, самые сильные в пьесе. А верен ли он?

9 марта

...Писание у меня идет очень, очень туго. Работаю каждый день, и не нравится мне то, что я написал. Накатано уже листа три, но все надо будет переделывать, сжимать, прессовать, чтобы из трех остался один.

...Нет-нет и опять возвращаюсь мыслями к «Страху». Там есть тип, который всякий раз, когда к нему обращается ребенок, бросает лишь единственное слово: «Отстань». Одной этой мелочью Афиногенов раскрывает, что человек перед зрителем нехороший, не настоящий. Это искусство, и это действует. Вот так и я хочу писать. Чтобы показать человека и завод в правдивой жизненной мелочи. Но пока не выходит Буду овладевать, одолевать.

13 марта

...Сейчас у меня большое переживание, хочу поделиться. Читаю последний номер «Красной нови», рассказ Чумандрина «Белый камень». Различаю его писательские приемы, вижу, что сделано. Рассказ мне не нравится. Не глубок. Обычная приевшаяся история. Организуется штурм — люди работают по две смены. Сколько раз я об этом уже читал. У меня повесть, думается, гораздо интереснее, — там по замыслу нечто иное.

Первая глава у меня штурм; поначалу это выглядит почти как литературный штамп, но с новыми линиями, которые потом разовьются (новизна в том, что показывается безобразная организация производства, — хотя читатель еще очень-очень смутно ощущает это безобразие или не ощущает совсем, — безобразная организация производства, которая отнюдь не устраняется штурмом). Показывается геройство. Потом дальше, во второй главе, вскрывается ограниченность этого геройства, и ему противопоставляется более глубокое геройство людей, взявшихся за реорганизацию производства. И наконец, третья глава показывает ограни-

ченность и этого геройства, когда оно выливается в порыв, во вспышку. И тут я нарисую, стремлюсь нарисовать еще более высокое и незаметное геройство упорного овладения техникой, геройство длительной работы, которая долгими месяцами преодолевает косные традиции, далеко не сразу дает результат. Людям, которые проделывают такую работу, всерьез изменяющую лицо завода, и будет, собственно говоря, посвящена моя повесть. «Серьезные люди» — меня подмывает так ее назвать.

Новое здесь будет в том, что изображается планирование на заводе, вопросы уравниловки, организации производства со всей тщательностью, правдивостью, подробностью... Иной рассмеется, когда скажешь, что такая тема возможна. Но она возможна и нужна. И именно такова моя тема.

И вот, читая рассказ Чумандрипа, я сразу как-то загорелся: выходит ли у меня хотя бы так, как пишет он? Смогу ли я без отвращения прочесть то, что мной написано?

Ведь когда я начинал писать, я не мог себя читать без отвращения. До того все было не то, не так, до того все сбивалось на газетную статью.

Но сегодня я прочел начало своей повести без отвращения. Написано плохо, однако уже так, что можно читать не без интереса. Есть, кажется, даже удачные места.

Вновь решаю работать, стиснув зубы, над тем, чтобы стать писателем. Понимаешь, в этом случае и, пожалуй, только в этом случае по-настоящему получит смысл и оправдание вся моя забубенная, неудачливая и все же не зряшная жизнь.

И вот я, не имеющий, вероятно, почти никакого художественного таланта, хочу воспитать, вырастить, развить его в себе. Я знаю, что это осуществимо. Нужно лишь зверское упорство. Нужны годы непрерывной, неустанной, ежедневной работы. И я на это иду. И у меня уже есть первые малюсенькие успехи.

2 апреля

...Не знаю, аккуратно ли ты получаешь газеты? Посылаю тебе вырезку — письмо о Кузнецкстрое немецкого коммуниста Макса Гельца. Это, конечно, документ будущей «Истории Кузнецкстроя».

Газетная вырезка сохранилась в конверте и поныне. Привожу несколько абзацев.

«Макс Гельц. Домны переделывают руду и людей. (Письмо о Кузнецкстрое.) ...Временная дорога из Нижней колонии ведет мимо заводууправления через площадку к Верхней колонии. Германский прокатчик из Генингсдорфа, которому приходится по ней каждый день проходить по три-четыре раза, заявляет:

— Здесь движение, как на Фридрихштрассе в Берлине.

И действительно, это колоссальное скопление людей, эта огромная масса движущихся рабочих, повозок и автомобилей напоминает самые оживленные улицы европейских городов.

...Прокатчик — иностранный специалист — видел бурный восторг рабочих, когда коксовый комбинат дал в полуночный час первый кокс.

— Это *наш*, *наш* первый кокс.

Он часто слышал, как рабочие говорили:

— *Наша* домна.

В этом словечке «*наша*» тайна победоносной неисчерпаемой силы советских ударников. «Их работа, которую они любят, не основывается только на стремлении заработать деньги» — вот какие слова осмелился написать этот наш ворчун прокатчик в письме своим родственникам».

6 апреля

...Я пишу и пишу. С трудом, со скрипом, но дело движется. Рою, копаю, ищу золотonosную жилу. Сначала шла только грязь и вода, теперь уже попадают камни и маленькие блески металла. Или это игра света? Буду рыть, рыть, рыть!

24 апреля

...Приходит ко мне сегодня утром В. и говорит:

— Поздравляю.

— С чем?

— С ликвидацией РАППа.

Да, В. оказался прав. Сегодня опубликовано постановление ЦК о ликвидации РАППа. Это крепкий удар по разношерстной группе, которая захватила РАПП. Теперь монополия этой группы сброшена. Руководить литературой будет коммунистическая фракция общего

Союза советских писателей. Удельный вес (количественный) бывших вождей РАППа в этой комфракции будет незначителен, хотя влияние их, вероятно, останется еще немалым и самые жестокие бои, думается, еще впереди.

Уже сегодня я вновь почувствовал себя человеком в литературе. Могу опять заняться литературной критикой, теперь дверь к этому открыта. Как же мне быть дальше? Не оставить ли мысль о писательстве? Я раздумываю об этом. Заново взвешиваю разные «за» и «против».

Не зря ли я взялся за художество? Ведь никогда раньше меня не тянуло писать рассказы или повести. Боюсь, что решился я на это вовсе не по неодолимой внутренней потребности, которая называется призванием и, как мы знаем из множества биографий, обычно еще с юности томит будущих людей искусства, а лишь потому, что жизнь, как говорится, загнала «в собачий ящик». Вспоминаю недавнюю встречу с К. Он, некогда мой товарищ, а потом рапповский вельможа, увидел меня у раздевалки в Доме советского писателя и процедил:

— Этот труп еще здесь появляется?

Да, пришлось испытать судьбу «утробленного» критика, чтобы зародилась мысль и мечта о писательстве.

Ныне, после ликвидации РАППа, эта вынужденность убрана. Пожалуй, можно возвращаться в критику. Но, представь, не хочется. Что-то во мне уже проросло, пустило корешки. Я уже испробовал вкус постижения жизни. Постигнуть и выразить — для меня это теперь самое интересное на свете. И уже по доброй воле остаюсь верным своим планам.

Однако на чем же, если не строить иллюзий, они зиждутся? Рассчитывать на то, что разумеют под словами «божьей милостью», я не могу. Но маленькая искорка, возможно, во мне есть. Буду ее раздувать. На нее надежда. Без нее — дело пропащее.

8 мая

...Сегодня кончил работу в «Вагранке». Этот полугодовой период пройден мною, в общем, с честью.

Еще не знаю, где и как буду зарабатывать. Быть может, придется туговато. В душе по-прежнему муки, сомнения, колебания относительно моего писательства. Ведь ничего готового еще нет.

...Сообщаю литературные новости. Выделен Оргкомитет нового Союза. Бывшие руководители РАППа получили только два места (Фадеев и Киршон) из двадцати. Председатель Горький, заместитель Гронский (редактор «Известий»).

БРИГАДА. МЫ—НА ПЛОЩАДКЕ КУЗНЕЦКСТРОЯ

1932. Август

По-видимому, отдельные мои письма потерялись. Во всяком случае, в переписке почти ничего не сказано о том, как я собирал бригаду литераторов для поездки на площадку Кузнецкстроя. Кое-что все же уцелело.

В конце июля я получил письмо из Новокузнецка. Вот некоторые строки:

«...Мне пришла мысль, что ты мог бы на время приехать сюда. Ты меняешь ведь работу. А нам работники нужны до зарезу. Работы—горы, делать ее некому. И вот подумалось: было бы хорошо, если бы приехал ты в помощь «Истории Кузнецкстроя». В горкоме партии это одобрили. И предложили вызвать бригаду,—человека три.

Сегодня послана тебе телеграмма, но как-то не надеюсь на успех. Если не приедешь, то хоть бы подыскал нам в Москве организатора по цехам. Мы просто пропадаем от отсутствия сил. Каждый грамотный комсомолец здесь на счету, и его не выдерешь, не дадут.

А с бригадой было бы замечательно. Мы дали бы каждому рублей 300 на дорогу и рублей 300 в месяц. Можно было бы не бог весть каких больших писателей. Их направили бы в цехи, работа сдвинулась бы. Подумай, у нас ведь десяток цехов—крупных заводов».

...Это приглашение в Кузнецкстрой взволновало меня. Помнится, я не колебался, решил ехать. В бригаду мне удалось привлечь одного настоящего писателя, скромного, милого Н. Г. Смирнова, который был уже автором небезызвестных книг «Дневник шпиона» и «Джек Восьмеркин—американец». Наряду с ним в бригаду включилась и З. А. Крянникова, молодой

критик, жена писателя А. И. Тарасова-Родионова (тоже таким образом приобретшего некое касательство к бригаде). Крянникова хотела, пыталась перейти на очерки, на прозу.

Лишь одно мое письмо говорит о наших сборах.

3 августа. Москва

Ну вот мы, кажется, едем. Должны были бы ехать сегодня, но в представительстве Кузнецкстроя нам сказали, что на сегодня есть два билета в международный и один в мягкий, а пятого будут три международных. Я настаивал, чтобы ехать сегодня, но «бригада» порешила отложить до пятого, сесть всем в одно купе.

Мы едем трое: я, Смирнов и Крянникова. Я не особенно хотел брать Крянникову, но никого больше подыскать не мог, — все говорят, что невыгодные условия. Крянникову я взял еще и потому, что она хочет остаться в Кузнецке на год, — возможно, это как раз будет организатор по цехам.

Денег мы из Кузнецка не получили ни копейки. Знаю, это не ваша вина, а вина почты. В представительстве нам выдали (вчера мы получили) по сто рублей.

С нетерпением жду отъезда. В эти дни — с тех пор, как получил телеграмму с приглашением, — я совершенно выбит из колеи, все жду, когда наконец сядем в вагон и поедем.

В моих позднейших записях сохранились некоторые первые впечатления приезда на площадку. Приведу отрывок.

...Мы стояли у окна вагона. Скорый № 12 шел осторожным замедленным ходом, словно нащупывая путь. Колея была проложена недавно, балласт еще оседал и требовал постоянной подсыпки.

Начинались первые складки отрогов Алтая. Полотно прорезало мелкие взгорья, заслоняющие горизонт. Мы напряженно вглядывались в даль. Не эта ли выемка последняя, не за этим ли пригорком покажется наконец то, что так хочется скорей увидеть?

И вдруг за каким-то поворотом он открылся сразу, целиком, всей панорамой — Кузнецкий металлургический завод. Разговоры оборвались, стало тихо, все прильнули к окнам. Вероятно, многим, кто подъезжал

в те годы к Кузнецкстрою, на всю жизнь запомнилось волнение этой первой минуты, первого взгляда на площадку.

Он возник перед нами множеством строений, протянувшихся на километры, изрытый котлованами, в строительных мачтах, в грудах наваленной земли, в движении паровозов, грузовиков и кранов. Над всем возвышались черные башни, две дымились, две другие, еще не законченные монтажом, вырисовывались в небе могучими железными сплетениями.

Одна из башен внезапно озарилась снизу красным.

Кто-то воскликнул:

— Пускают чугун!

Но поезд уже остановился, скрежеща тормозными колодками. На дощатом бараке, заменявшем вокзал, крупными подтекшими буквами было написано: Новокузнецк.

Так, в августе 1932 года мы, небольшая группа литераторов, прибыли на площадку Кузнецкстроя для работы над историей завода.

На другой день после приезда мы шагали через площадку, взметывая ботинками изжелта-серую пыль, к строителю и главному инженеру завода академику Бардину.

Мы шли, останавливаясь на каждом шагу. Из высокой железной трубы первого мартена вылетало пламя: происходила сушка печи. Внизу, под железобетонной эстакадой, стояли четыре паровоза, окутанные клубящимся паром. Подземная паровая магистраль еще не была готова, пришлось использовать локомотивы для производства пара, нужного мартену.

Секретарь Бардина без задержки впустил нас к нему. Не поднимая глаз, Бардин что-то буркнул. Несколько позже близкие Бардину люди рассказали, что, от природы застенчивый, он в минуту смущения говорит отрывисто, невнятно.

На стене висел большой синий лист, густо пересеченный в разных направлениях цветными линиями, с надписью «План подземного хозяйства Кузнецкого завода». После нескольких незначущих вопросов один из нас попросил пояснить этот план.

Высокий, костистый, крупный, слегка сутулясь, словно для того, чтобы не казаться таким большим, Бардин подошел к стене, обвел пальцем контуры завода и сказал:

— Вы видите, что конфигурация завода поразительно напоминает очертания чайки на занавесе Московского Художественного театра.

Минута смущения миновала. Сухощавое лицо Бардина теперь выглядело мягче, добрее, проблеснули глубоко запавшие маленькие ясные глаза.

Раздался телефонный звонок. Бардин взял трубку. Он говорил, как можно было понять, с начальником железнодорожного цеха. Внезапно побагровел и, словно забыв, что в кабинете присутствуют посторонние, вспылал, ударил кулаком по столу. Какое-то его приказание оказалось неисполненным. Ругательства академика были свирепыми.

— Я тебя, бродягу, в землю вколочу! — кричал он.

Тяжело дыша, Бардин бросил трубку, что-то пробормотал, все еще переживая разговор. Было видно, что он действительно забыл о нашем присутствии. Взглянув в нашу сторону, он опять покраснел, на этот раз от смущения, насупился, опять спрятал глаза под лохматыми бровями. Затем, подойдя к плану, продолжал объяснения.

Растворилась дверь, и в кабинет вошел грузный человек, одетый в замасленную рабочую спецовку, из-под которой выпирал живот и массивные округлости плеч. В его пальцы въелась черная пыль металла, толстый крепкий ноготь большого пальца был изуродован. Местный товарищ, пришедший вместе с нами к Бардину, шепнул:

— Главный механик завода.

Главный инженер и главный механик стали что-то обсуждать. Через некоторое время они заговорили о памятном знаке, который следовало изготовить для чьей-то могилы. Да, о памятном знаке на могилу Константиныча. О ком же они говорят? Какого Константиныча?

Главный механик уже направился к двери, когда, не выдержав, я спросил:

— Кто этот Константиныч?

Исполин медлительно повернулся, оглядел меня, словно раздумывая, достоин ли я ответа, и сказал:

— Это был наш доменный поп. Позови он — и за ним люди по льду босиком пошли бы.

Механик произнес это и вышел. Я вопросительно посмотрел на Бардина. Тот ответил:

— Михаил Константинович Курако. Лучший русский доменщик. Помер здесь в тысяча девятьсот двадцатом году.

— Здесь? В двадцатом? Ведь тогда здесь не было никаких домен.

— Он приехал сюда из Юзовки...

Вновь раздался телефонный звонок. Бардин проговорил в трубку:

— Да, да, сейчас иду.

Надев кепку, он сказал:

— Расспросите публику — южане его знают. Вот механик с ним работал. Да и не только он.

ЗИМА

1932—1933

Мы прожили на площадке Кузнецкстроя без малого пять месяцев.

В наше распоряжение были выделены две стенографистки, обе «съездовские» (существует такой термин), обе москвички. Одну из них — П. Н. Мельникову — не могу не упомянуть. Она оказалась и героем-тружеником и превосходным товарищем, — вскоре мы стали ее называть попросту Полиной.

Располагая стенографисткой, мы кинулись беседовать с кузнецкстроевцами-старожилами, выискивали интересных рассказчиков.

Несчастный случай, происшедший с Иваном Павловичем Бардиным (он ночью упал в незакрытую, неосвещенную яму и сломал ногу), позволил нам провести немало вечеров у его постели. В результате мы обогатились двенадцатью или четырнадцатью его стенограммами. Это были рассказы не только о Кузнецкстрое, но и о всем пути большого человека, инженера-доменщика, ученика Курако.

Свой материал — воспоминания участников истории завода — мы добывали исподволь, не хищнически, начинали с живого интереса к собеседнику-рассказчику, зачастую с его биографии, чтобы потом как бы с разгона подойти и к Кузнецкстрою.

Для нас подобные стенограммы были сырьем, рудой, которой предстояло идти в плавку. Могу к нашей чести сказать, что мы уважали, берегли эту руду, понимали, что она имеет собственную, непреходящую, первоуродную ценность.

Постепенно нам вырисовывались контуры истории Кузнецкого завода, охватывающие не только совре-

менность, но и дореволюционные времена и первые годы революции.

Нас волновали, радовали наши открытия, или «свежатины», как говаривал Смирнов.

Я с ним сдружился. Мы часто рассуждали об увиденном, услышанном, о том, как писать книгу. Порой, поднявшись вдвоем на пригорок, мы подолгу разглядывали живую панораму стройки и уже дымящие заводские цехи. У Николаши — мы с ним уже звали друг друга по именам — я учился писательскому зрению. Мы могли, например, потратить полтора-два часа лишь на то, чтобы перебрать, перечислить один за другим все дымы завода, определить словами особенный цвет, особенный вид каждого.

Ударила сибирская стужа. На воздухе небольшие черные с сединой усики Николая Григорьевича быстро белели, заледеневали, но в полшубках и валенках, выданных нам Управлением Кузнецкстроя, мы кружили и кружили по площадке.

В какой-то день — по-видимому, это было в декабре — к нам нагрянул из Москвы муж Зинаиды Крянниковой Тарасов-Родионов, довольно видный в те времена писатель. Не помню, как это случилось, но в конце декабря мы всей бригадой, а также и Тарасов, поехали в Москву, для того чтобы явиться в главную редакцию «Истории заводов», доложить о своей работе, получить, как говорится, указания и т. д. Заодно мы решили разыскать в Москве людей, знавших по личным воспоминаниям историю Урало-Кузбасса, побеседовать с ними. Я взялся по пути заехать в Свердловск и Магнитогорск, провести и там нужные нам беседы. Со мной командировали и стенографистку — все ту же неутомимую Полину.

26 декабря. Свердловск

...Приехали сюда вчера. Обстоятельства пока складываются не особенно удачно. Икс в отпуску — приедет в первых числах января. Колгушкин в Москве — приедет через три дня.

Удалось поймать только Терехова, да и тот лишь сегодня приехал. Вечером буду с ним беседовать.

Примечание. Здесь названы некоторые партийные и хозяйственные работники Урала. Ф. Т. Колгушкин был в 1929 году первым управляющим Кузнецкстроя.

27 декабря. Свердловск

...Сейчас пускаюсь с Полиной в геройский путь — идем на вокзал встречать Зомбе. На улице вьюга, мороз 40 градусов, трамвайные пути замело, трамваи не ходят, пойдем пешком. Хочу узнать у Зомбе новости о заседании горкома и т. д.

...Сегодня провел беседу с Карклиным — бывшим секретарем Магнитогорского райкома. Свежатины множество. Колгушкин приехал. Терехов тоже. С обоими назначены встречи на послезавтра. Завтра будем беседовать с Кабаковым.

Примечание. М. И. Зомбе — работник Кузнецкого горкома партии. И. Д. Кабаков — секретарь Свердловского обкома.

2 января 1933 г. Свердловск

...Ведь я так и не встретил Зомбе. Ждал поезда до двух ночи, не дождался, плюнул.

Через два часа выезжаю с Полиной в Магнитку. Едем не без приключений. Должны были выехать утром — оказывается, нужный поезд не пришел и сегодня не придет совсем. Едем вечером с пересадкой в Челябинске. Вообще в Свердловске с железнодорожным транспортом — кошмар. За билетом — по броне! — стояли три часа. На вокзале давка. Чтобы сдать на хранение вещи, надо простоять два с половиной часа. На трамвай попасть почти невозможно.

...В Свердловске мы провели семь бесед. Особенно интересны воспоминания Колгушкина. Ради одного этого стоило ехать. Он рассказал массу нового, дал несколько «крупятин» и, главное, бросил какой-то новый свет на Бардина и вообще на весь 1929 год. На обратном пути из Москвы я думаю снова с ним покалякать.

Беседуя с Карклиным (а потом и с Кабаковым), я постарался выяснить основное в истории Магнитки. Эта история изумительно похожа на нашу кузнецкостроевскую — прямо-таки до чертиков. Но к писанию истории в Магнитке еще не приступили — пока работают лишь над историей цехов. Мы их обогнали.

5 января. Магнитогорск

...Добрались до Магнитки. Сейчас осматриваю рудодробилку. Вечером назначены беседы. О новостях буду сообщать.

Кстати, первую новость, случившуюся до нашего приезда, преподношу тебе в виде газетной вырезки. Знай, куда мы попали.

«Снежный буран на Магнитострое. Над Магнитогорском 27 декабря ночью пронесся жесточайшей силы буран при морозе до 40 градусов. Несмотря на принятые меры, все же работа на площадке была парализована. 20 паровозов были потушены. Сила урагана была настолько велика, что снегоочистители оказались бессильны. Со стороны Пермской дороги были преграждены подходы к Магнитной. Ураганом свалены стропильные фермы, несколько колонн и балок. Особенно пострадал водопровод, где лопнули колонки. Значительные повреждения нанесены также ковшевому хозяйству и разливочным машинам.

В течение 28—29 декабря домам пришлось работать попеременно. Выплавка чугуна 28-го велась на второй домне, 29-го — на первой, и лишь 31 декабря начали работать обе магнитогорские домны. Потребуется еще два-три дня для полного восстановления работы Магнитогорского завода».

Примечание. Мои письма из Магнитки, по-видимому, пропали. Я, однако, разыскал позднейшую запись — набросок о тех днях. Привожу ее.

...В январе 1933 года мне довелось побывать на Магнитогорском заводе. В Кузнецке мне сказали, что там я встречу М. Ф. Жестовского, начальника доменных печей Магнитки, на руках у которого тринадцать лет назад скончался Курако.

Я разыскал Жестовского на площадке доменного цеха. Огромная магнитогорская печь, домна номер два, кажется, величайшая в мире, работала первую зиму, проходя жесточайшее испытание морозом. Площадка была загромождена бесформенными глыбами чугуна и шлака. Ледяные наросты и сосульки, величиной в телеграфный столб, свисали с железных конструкций. Сверху из прорвавшейся трубки хлестала вода и тотчас замерзала у подножия печи в полукруглый скользкий ком. Стекланные глазки-гляделки, сквозь которые видна внутренность домны, обычно нестерпимо яркие, потемнели. Печь требовала кокса и кокса, а каучуковая лента, которая, непрерывно

двигаясь, должна подавать домне кокс, затвердела от холода и остановилась. Ее отогревали паром, в морозном воздухе пар сгушался в белый туман. Казалось, судно терпит бедствие во льдах.

Мне указали Жестовского. Я увидел упрямо склоненную голову, выдвинутый тяжелый подбородок, резко обрисованные скулы над ввалившимися щеками, красноватые от бессонницы глаза.

К нему подошел корреспондент центральной газеты и попросил уделить пять минут для беседы. Жестовский сердито и резко отказал. Не стесняясь в выражениях, он отдавал приказания, к нему было страшно подойти. Я все же решился.

— Товарищ Жестовский, я приехал, чтобы побеседовать с вами о...

— Не могу,— раздраженно ответил он, не дав договорить.

Я все же закончил:

— ...о Михаиле Константиновиче Курако.

— О Курако?

Жестовский мгновенно изменился. Я ощутил, что произнесенное мной имя вдруг сблизило нас. Я торпливо сообщил, что пишется книга о Кузнецком заводе, в которой будет рассказано и о Курако, сообщил, что приехал сюда, чтобы расспросить о нем Жестовского и других «куракинцев». Я видел, как потеплели глаза Жестовского, в них зародилась симпатия. Он воскликнул:

— Смерть придет, и то соберусь с силенками, обожду помирать, чтобы рассказать о Константиныче. Приходите ко мне в полтретьего ночи.

...В ту ночь мы побеседовали. Потом он еще выкраивал время. Четыре стенограммы Жестовского, ценнейшую добычу, я увез с собою из Магнитки.

17 января. Москва

...Вчера вечером приехал в Москву.

...Мы, вероятно, раньше 8—10 февраля не вернемся в Кузнецк, потому что Крянникова поехала в дом отдыха до 3 февраля, а я решил обязательно съездить в Караганду к Федоровичу.

Примечание. И. И. Федорович был до революции директором-распорядителем акционерного обще-

ства «Копикуз» («Копи Кузбасса»), которое замыслило выстроить Кузнецкий завод.

22 января. Москва

.. У нас такие новости. Во-первых, Тарасов-Родионов нас «информировал» (так он выразился) о своем разговоре с Хитаровым.

(Примечание. Р. М. Хитаров был в это время секретарем Кузнецкого горкома партии.) Суть разговора якобы в том, что надобно усилить темпы, скорее кончать сбор материала, скорее писать. И, уже чувствуя себя верховным комиссаром, приставленным к нашей бригаде, Тарасов взял курс на крайнюю гонку.

В центральной редакции в начале февраля будет наш (по всей вероятности, мой) доклад и будет принято то или иное решение. Возможно, выделят главную редакцию «Истории Кузнецкстроя» или главного редактора.

Мы со Смирновым не теряем времени, проводим по две беседы в день.

26 января. Москва

...Пишу с Октябрьского вокзала. Еду в Ленинград за материалами Гипромеза (Государственного института по проектированию металлургических заводов).

...Виделся на днях с Л. Сейчас он производит впечатление надломленного человека.

— Вот,— говорит,— нашел подлинный приказ об аресте Беранже и его стихи на этом приказе. Таковы,— говорит,— мои радости.

Это грустно. Какая интереснейшая работа у нас по сравнению с этим!

1 февраля. Москва

...Ну вот, скоро мы тронемся снова на площадку Я решил сейчас в Караганду не ездить, может быть, загляну туда весной на обратном пути.

Я всячески подстегиваю, чтобы скорей ехать, а Смирнов оттягивает, да и Тарасов склонен отложить отъезд числа до восьмого.

Завтра в центральной редакции у нас будет совещание бригады под председательством Леопольда Авербаха (он там правая рука у Горького). Доклад, как видно, придется делать мне.

Уже хочется начинать писать. У меня уже творческий зуд, то и дело возникают, мерещатся разные лица, эпизоды из будущей книги.

3 февраля

...Вчера был наш доклад у Авербаха. Прошел с большим успехом. На прощание Авербах пожал мне руку и сказал:

— Поздравляю, хорошо работаете.

Доклад делал я. Его особенно выигранным местом был перечень людей, с которыми мы беседовали. При этом я вкратце сообщал, что из себя представляет тот или иной человек, и передавал кое-что из того, что этот человек нам рассказывал. В общем, немножко тряхнул материалом. Это произвело впечатление.

Они (Авербах и другие) одобрили все наши установки — и методы работы, и предполагаемую беллетристическую форму изложения (сквозные фигуры, сюжетные узлы и т. д.).

Авербах особенно подчеркнул:

— Надо говорить в книге всю правду, полную правду.

Я дал реплику:

— Ничего не лакировать.

Авербах: — Не только не лакировать, этого мало, но и ничего не прятать, не скрывать.

Тут всполошился Смирнов.

— Наша история, — говорит, — это ведь не история Петра Великого...

Авербах (иронически): — Да, это наблюдение, не лишнее меткости. (Смех.)

Мы привели Авербаху некоторые примеры. Так и так. Разве можно писать все о живых людях? Он категорически стоял на своем, — все писать, обо всем писать.

Авербах заявил: с сегодняшнего дня мы включаем вас в число тридцати заводов, с которыми работаем, и будет назначена главная политическая редакция во главе с членом ЦК. Кто это будет — еще неизвестно. Авербах предполагает в марте приехать на Кузнецкстрой дней на десять и на месте ознакомиться со всей работой, дать указания на ходу и т. д.

По-видимому, наша история будет одним из его козырей. В общем, все идет хорошо, подъем у нас большой. Хочется скорей ехать.

ПРОБЫ ПЕРА

1933. Февраль — апрель

Вернувшись на площадку, мы продолжали работу, которую между собой именовали «перелистыванием людей». В этом «перелистывании» опять совершались находки, открытия, обнаруживались интересные рассказы, — на них мы задерживали внимание.

Я по-прежнему дружил со Смирновым. Его выражения «свежати́на», «крупня́тина», «пресня́тина» стали и моими любимыми словечками.

Все чаще возникал вопрос: как же писать? Я впитывал размышления Смирнова, знатока, мастера сюжетной прозы.

— Пишите сценами. Это совет Горького, — говорил он. — Ничего другого мы не выдумаем.

— Николаша, а что такое сцена?

— Сцена это не сценка. Это переход из одной ситуации в другую.

Уже более или менее ясно представляя себе фигуры неумного Курако и его антипода Федоровича, капиталистического организатора, я как-то высказался:

— Вот золото, валюта для книги: два противоположных характера.

Николай Григорьевич ответил:

— Валюта — это действие, драматизация действия.

Я мало с ним спорил, не пускался в отвлеченности. Предпочитал вслушиваться, учиться.

Тем временем наша бригада составила план книги, обсужденный и утвержденный затем на заседании городского комитета партии.

Мы, наша троица, распределили между собой будущие главы. Мне досталась среди ряда других глав и история Курако. Начались первые пробы пера, работа за столом. Меня потянуло написать вступление к книге, дать как бы всю ее программу. Я это сделал. Вступление понравилось моим товарищам. Привожу его.

ВСТУПЛЕНИЕ

Когда в Америке полдень, в Сибири полночь.

На глобусе Кузнецк и Чикаго стоят друг против друга на одном меридиане. Если длинной булавкой

проткнуть насквозь Чикаго, конец пробьет центр земного шара и выйдет в точке, где можно разобрать «Кузнецк». Мистеры Фрейн, Уилкоккс и Эвергард, о которых будет поведено в этом повествовании, любят повторять, что Кузнецкстрой находится на полпути вокруг света.

Место действия нашей книги Сибирь — Америка — Москва.

* * *

Из ворот завода Гэри, близ Чикаго, вышел мастер. Не повышая голоса, он сказал:

— Э ман фор слаглейдель.

Это означает: нужен шлаковщик.

Из толпы вышло семеро. С края стал высокий, исхудалый, жилистый, с бритым сухим обветренным лицом, как у шведского шкипера. Из-под нависших бровей не было видно глаз.

Мастер взглянул и пробурчал:

— Но гут.

Это означает: не годен.

Человек отошел. Ему не везло. 30 марта 1910 года он выехал из России в Америку, имея 183 рубля и инженерский диплом в кармане. Восьмую неделю он подходил к заводу Гэри.

Завод Гэри близ Чикаго величайший в мире. Из своих двенадцати домен он выдавал больше чугуна, чем вся довоенная Россия.

В Америке — половина мировых запасов руды и самые большие заводы.

* * *

— В Азии нет руды. Вы извините меня, товарищ Эйхе, но в Азии ее нет.

Профессор Усов виновато улыбнулся. Эйхе был сдержан и сух, как всегда. Он сказал, что можно бросить еще несколько миллионов рублей на разведки. Он настаивал.

Усов гнулся под напором, пересыпал речь извинениями, но не уступал. Набравшись духу, он спросил:

— Вы помните день — четырнадцатое марта тысяча девятьсот двадцать седьмого года?

Нет, Эйхе не помнил этого дня.

— В этот день вы приехали в Томск и вызвали меня. Помните? Я с вами поехал в Москву и заявил в Главметалле, в Совнаркоме, в печати, всюду, что у нас на Тельбессе, близ Кузнецка, два миллиарда пудов руды. Где же они, эти миллиарды? Каждая буровая скважина резала меня ножом. Видите, у меня седые волосы.

Эйхе все же настаивал.

— Нет, товарищ Эйхе, нет. Если позволите, это последнее мое слово. Ведь, между нами говоря, Китай, Индия и Сибирь не историей осуждены, а обижены самой природой. Если вы сомневаетесь, читайте.

Усов развернул толстую книгу в тисненном переплете. Это был фундаментальный труд американских геологов об Азии. Усов нашел главу о рудах.

Глава начиналась так:

«Железных руд в Азии нет».

* * *

Голдобин, инженер Кузнецкстроя, после возвращения из Америки рассказывал:

— Осматривал я большой металлургический завод в Мильвоки около Чикаго. Пригласили меня на завтрак. Собрались инженеры. Они интересовались, какой завод мы строим, считали, что завод очень крупный. Я сказал, что мы приехали учиться. У них лица довольные. А потом говорю: мы поставили себе задачу догнать и перегнать вас. Как только я сказал, они встали и ушли не попрощавшись. Вот такая со мной штука приключилась.

* * *

О всех этих людях и событиях будет рассказано на страницах нашего повествования.

И еще:

О румынском солдате Д..., который ранней весной переплыл Днестр и приехал ломать камень на площадку Кузнецкстроя. Его фамилии нельзя в книге пазвать, потому что в Румынии у него отец. Старик проводил сына до Днестра и, когда тот разделся, достал бутылку водки.

— Выпей, сынок, здесь и выпей там.

Когда Д... вылез из черной холодной воды, на нем было лишь румынское военное кепи и в кепи бутылка. Он всхлипывал и смеялся.

О директорском выпуске Санкт-Петербургского императорского горного института. В 1900 году среди других институт кончили шестеро. Проходит 15 лет, идет год 1915-й. Шесть горных инженеров стали директорами крупнейших акционерных компаний. Они держат в руках уголь, железо и золото России. Проходит еще 15 лет, идет год 1930-й. Шестеро приговорены к расстрелу. Среди них действующие лица нашей книги — Пальчинский и Федорович. Им немало места уделено в толстом томе под названием «Процесс Промпартии».

О Франкфурте — директоре Кузнецкого металлургического комбината, Франкфурте, на которого в ноябре 1920 года вознегодовали секретарши Совнаркома, потому что Ленин на два часа заперся с ним в кабинете и у географической карты выпрашивал все до тонкости о великой Сибирской пустыне.

О самом знаменитом доменщике Юга Михаиле Константиновиче Курако и об анархисте Рогове, сибирском Махно. Курако проектировал в годы гражданской войны Кузнецкий металлургический завод. Отряд Рогова разрушал города, сжигал церкви, истреблял буржуев и инженеров. Курако мечтал построить в центре Азии завод американского типа. Рогов мечтал во всем мире уничтожить железо, чтобы Азия сразу поравнялась с Америкой.

О шорце-охотнике Майдакове, который водил по тайге геологоразведочные партии и перед революцией менял шкурки на черных тараканов, ибо они — шорские божки.

Об АИКе — Американской индустриальной колонии, о жившем вместе с колонистами в Кузбассе Билле Хейвуде. Прах Хейвуда, разделенный по его завещанию надвое, захоронен и в московской Кремлевской стене и на кладбище в Чикаго. О Хейвуде, и об инициаторе, создателе АИКа голландском коммунисте Рудгерсе, и о его сподвижнице, некогда секретаре Клары Цеткин, Брониславе Корнблит, которую все называли Бронкой, и о тысяче революционных эмигрантов разных наций, приехавших из Америки в Кузбасс создавать новую, иную Америку в Сибири — строить руд-

ники, коксовые печи и Кузнецкий металлургический завод.

Об Андрее Кулакове, любимце горняков Кузбасса, первом секретаре Кузнецкстроевского райкома. Его переросло дело, выращенное им самим, он уходил с дракой и с болью.

И еще и еще о многих, чьи жизни пересеклись в Кузнецкстрое.

* * *

Видели ли вы деревянные пушки?

Из них палили красные партизаны Сибири. Несколько деревянных пушек сохранились. Их осматривают в музее — Новосибирск, Красная, дом № 107.

* * *

В Америке стулья странно легки. Они сделаны из тонкой стали и выкрашены под дерево. Горы для лыж и салазок сделаны из стали.

* * *

В 1929 году инженер Щепочкин увидел в тайге страшную картину. По наезженной просеке ползли полчища клопов. Они перебирались с Сухаринки на Одрабаш вслед за ушедшими людьми.

* * *

Год спустя Щепочкин сошел с парохода в Нью-Йорке. По улицам автомобиля ползли полчищами, как клопы.

* * *

В Гипромезе споры затягивались до утра.

Буров (председатель Гипромеза, большевик): — Американские домны объемом в тысячу кубометров нужны для нашей страны.

Павлов и Липин (ветераны русской металлургии, в один голос): — Да вы с ума сошли?!

Мистер Томас (главный инженер фирмы Фрейн, американец): — У вас нельзя строить больших печей. Руда не та, кокс зольный, грязный.

* * *

Спустя четыре года, 3 апреля 1932-го, дала чугуна первая домна Кузнецкстроя.

Через несколько дней американский инженер Фергюсон получил письмо с родины. Он выстроил в Америке двадцать доменных печей. Письмо сообщало, что промышленный кризис душит и душит американские заводы, потушена последняя домна из его двадцати.

Фергюсон был одним из тех, кто вышел не попросившись из столовой, когда Голдобин ляпнул: «догнать и перегнать».

* * *

13 декабря 1932 года актив Кузнецкстроя слушал высокого жилистого человека с бритым сухим, обветренным лицом, как у шведского шкипера. Из-под нависших бровей видны маленькие живые глаза. Двадцать два года назад его не приняли шлаковщиком на завод Гэри близ Чикаго. Это Иван Павлович Бардин — главный инженер Кузнецкого завода, металлург, строитель, академик.

— Во всем мире нет лучшего района, чем район Кузнецкого завода, — сказал Бардин. — Разбита легенда о том, что в Азии нет руды. Неисчислимы запасы угля и руды лежат рядом.

В докладе развертывался план на пятилетье. Новый завод, перед которым Кузнецкий — дитя. Кокс отправлять на Урал по двадцать поездов в сутки. Всесоюзный центр вагоностроения, чтобы вагоны с коксом уходили отсюда и не возвращались.

* * *

В улусе, где живет охотник Майдаков, сидит шорец Токмаков. Он пишет историю Горной Шории. Солнце бьет в окно на белую бумагу — товар, которого не знала Шория.

Когда в Кузнецке полдень, в Чикаго полночь.

Темнеют погасшие домны на заводе Гэри близ Чикаго.

ЕЩЕ ПРОБЫ ПЕРА

Там же, на площадке, мы начали писать. Это были поиски, пробы: следовало придать какую-то литературную форму старательно собранному материалу.

У меня уцелели некоторые тогдашние мои наброски. Перечитывая их ныне, вижу, что тогда лишь ощупью подходил к элементарному правилу прозы: рисуй людей, рисуй характеры, ничто иное не сделает живым, — и, тем более, живым надолго — твое повествование. Однако, быть может, эти наброски все же заслуживают, чтобы друг-читатель их пробежал хотя бы, что называется, по диагонали.

ОСЕНЬ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО

...В октябре бюро окружкома постановило: секретарем Кузнецкстроевского райкома рекомендовать товарища Андрея Кулакова, члена партии с 1919-го, в прошлом ленинградского рабочего и комиссара полка в Красной Армии, члена президиума окружной КК — РКИ.

Кулаков выехал на площадку с Лотиковым, заместителем секретаря окружкома.

Неторопливый, нешумливый Лотиков ехал прощупать положение на месте и сватать Андрея.

— Знаешь, Лотиков, — раздумывал вслух Андрей, — я начну работу так. Неделю ни во что вмешиваться не буду. Пусть работают, как работали. Полазаю по баракам, по столовым. В артелях побываю, с народом покалякаю. А потом возьмусь. Правильно?

— Ну что же, валяй, валяй...

Приехали ночью. Кое-как нашли коней и двинулись в контору. Первое впечатление — фантастическая грязь.

По всей стране и сейчас, в тысяча девятьсот тридцать третьем, — позволим здесь себе такое отступление, — и сейчас гуляют рассказы о кузнецкстроевской грязи. А ведь год от года ее становилось меньше. Весной тридцатого ноги грузли по колено. Осенью двадцать девятого Бессонова — нынешний секретарь Франкфурта — увязла в грязи по грудь в самом центре площадки, где клали фундамент заводууправления. Сапоги засосало, и они навсегда остались в болоте.

Изгвазданные грязью, наши путники-партийцы добрались до конторы. Разбудили дежурного. Он оказался знаком Кулакову. Дежурный не обрадовался встрече. Летом в Кемерово Кулаков проводил чистку советского аппарата. Среди других он вытряхнул по первой — самой злой — категории одного прохвоста, от-

нюдь не болевшего душой за свое дело, заведующего телефонной станцией Кемеровского рудника. Это и был дежурный по конторе Кузнецкстроя.

Наутро, когда один за другим потянулись к столам сотрудники конторы, Кулаков узнал еще несколько подобных типов,—лично им вычищенных служащих Кузбассугля, коксового завода и т. д. Они, как и дежурный, тоже не обрадовались встрече.

* * *

Вечером пошли по баракам. Моросил обложной сентябрьский дождь. С потолков на столы, на нары падали коричневые капли. Сверху для тепла бараки были укрыты слоем навоза. Оттуда кое-где протекала вода. Ноги и под крышей скользили в хлюпающей грязи.

Сквозь щели задувал, погуливал ветер. Бараки шили в одну доску из сырого теса. Щели конопатили. Но почти вся пакля выпала, торчали лишь клочки.

Вошел рабочий. Сапоги облеплены блистающей грязью. Изрядный ком отвалился с задника. Не раздеваясь, рабочий лег. Доски не стали грязней. Новая грязь была неотличимой от старой, сырой, непросыхающей, черной. Матрацев на нарах не было. Здесь спали вповалку, как в теплушке.

— Уборщица в бараке есть?

— А тебе что? Проваливай, откуда пришел.

— Пришел из ячейки.

— Из ячейки? Беседу проводить? Лучше-ка объясни, откель эта штука произошла.

Парень запустил пятерню в штаны и, покопавшись, извлек белую крупную вошь.

Уборщиц в бараках Кузнецкстроя не было.

— Коммунисты в бараке есть?

Молчание. Коммунистов не было в бараках Кузнецкстроя. Из шестидесяти членов и кандидатов партии только четверо жили в общих бараках. Четверо на три тысячи рабочих.

В одном из баракв Кулаков увидел знакомого кемеровского строителя-каменщика Киселева.

— Сматываюсь, Андрей,—сказал Киселев.—Занесла нелегкая. Сегодня бегу и расчета не беру. Зимой тут погибнешь. Пропадешь как муха.

Киселев порассказал Андрею о том, что тот уже видел сам.

Печей в бараках — где не было совсем, где поразвалились. Дров в бараки не подвозили, воды не подвозили.

Как бактерии в питательном бульоне, плодились в бараках контрреволюционные речи.

Ежедневно на станцию Кузнецк прибывали вербованные и самотечные рабочие. В среднем по сто человек в день. И по сто человек в день убегало. Советские вагоны на обратном пути развозили по всей стране антисоветский груз — рассказы о кузнецкстроевской жути. Барак на первое октября 1929 года было тридцать четыре. Площадь — пять с половиной тысяч квадратных метров. Рабочих три тысячи. С семьями вдвое. На человека приходилось меньше метра.

Но было бы страшней всего, если бы бараки опустели, если бы в них совсем не осталось постоянных обитателей. А это могло, это должно было случиться.

Все говорили об одном — бежать, бежать, пока не ударила зима.

* * *

На другой день вечером сошлись коммунисты площадки. Собрались где-то в сарае на Верхней колонии. Десятилинейная коптилка горела без стекла. Скамеек не было. Некоторые присели прямо на пол.

На повестке дня стоял вопрос об организации райкома. Но Кулаков заговорил об ином. Райком-то будет, от нас это не уйдет, а рабочих на площадке не останется. Позор. Немедленно отеплить бараки. Отставить все дела и бросить партийные силы — всех до единого — на отепление барakov.

— Хребет будем ломать, кто попробует стоять в сторонке.

Ячейка Кузнецкстроя не видела еще таких работников. Твердый голос, крепкая рука. Размах, напор.

Утром на заре, поднимающейся над площадкой, заготавливали дерн. Высветленные по краю лопаты срезали крепкую, не ломкую верхнюю кромку земли, прошитую корнями травы. Эти жесткие корни скрепляли землю, как железная арматура скрепляет бетон. Подходили и отъезжали телеги. Барачные жители были мобилизованы — если требовалось, то и принудительно — на обкладку дерном дощатых барakov.

Часть бараков отеплялась по-другому. Ставили вторые дощатые стены в полуметровом расстоянии от первых и в просвет засыпали землю. Толстым слоем обваливали весь низ. Такая насыпь называлась «завалинкой».

За каждый барак отвечал коммунист по списку. Не Кулаков придумал обкладку и засыпку. И то и другое было предусмотрено в планах. Но по живучей обломовской привычке дотянули до края, до мороза. Кулаков зверски поругался с Цветковым — начальником конторы. Цветков затвердил директиву: средства вбивать только в капитальные сооружения по жесткому плану из Томска, где расположилось Управление Кузнецкстроя. Но Андрей все же вдолбил Цветкову свое, и когда тот понял, то сам начал носиться по площадке, гонять стекольщиков и кровельщиков. Вставляли стекла, чинили крыши. На каждые пять бараков был назначен комендант.

Цветкову уже нравились энергичные выражения Кулакова.

— Хребет буду ломать, — заявил Кулаков комендантам, — если дров не подвезешь, если оставишь без воды.

Это была маленькая победа, взятая рывком. Кемеровский каменщик Киселев не уехал. Потеплело в бараках и потеплело в глазах людей.

* * *

— Теперь поговорим насчет созыва конференции, — сказал Кулаков.

Оргбюро по созданию новой районной организации собралось в маленькой комнатухе Дома приезжих. Цветков ни в какую не давал помещения для райкома. Не мог дать. Лотиков придумал выход. Под будущий райком была занята комната Колгушкина в Доме приезжих. Вынесли кровать, поставили два стола, на дверь прилепили бумажную вывеску.

Здесь, на втором этаже, над итээровской столовой, зародился первый райком Кузнецкстроя.

После заседания Лотиков сказал:

— Ну вот, неделя пролетела. Как же твой план, Андрей?

— Какой?

— Неделю похожу, а потом возьмусь.

— А я ведь и забыл... Как это так, черт побери?

Первая районная кузнецкстроевская партконференция открылась 20 октября 1929 года.

К открытию подготавливалось торжество — приход первого паровоза на площадку. Однако работы задержались, и паровоз в тот день не пришел.

Доклад мандатной комиссии был утвержден без поправок. Новая районная организация составила из 348 членов и кандидатов партии, разбросанных на сто километров по одиннадцати ячейкам. Это были: ячейка площадки, ячейка кирпичного завода, пять ячеек по линии железного пути к руде, ячейки на рудниках Тельбесс и Темир-Тау, на Осиновских угольных шахтах и еще одна с длинным названием — советско-административно-кооперативная.

Норма представительства была: один делегат от четырех действительных членов партии. Всего делегатов насчитывалось: пятьдесят девять с решающим и девять с совещательным голосами.

В президиуме сидели:

Лотиков — заместитель секретаря окружкома, крестный новой организации;

Кулаков — секретарь оргбюро, рвущийся к работе непоседа, будто земля горела у него под ногами;

Морозов — заместитель начальника Кузнецкстроя, металлист, сибиряк, первый из мобилизованных крайкомом на стройку сибирского гиганта;

Елизаренко — председатель рабочкома, бывший председатель окружного исполнительного комитета, посланный вниз, в массы, в пекло Кузнецкстроя;

Локуцаевский — инженер-строитель, старик, член партии с 1901 года, измотанный и нервный;

Реутов — Сережа Реутов, летчик, шофер, рабкор, парень — заглядение.

В почетный президиум среди других был избран Блюхер — командарм Дальневосточной. В те дни бойцы-дальневосточники дрались. Длился вооруженный конфликт в районе Китайско-Восточной железной дороги.

Фронт пролегал и по реке Сунгари. Там бухали минометы Стокса. Врытые в землю, уставившие рыла в небо, они выкидывали по крутой траектории гранаты с огромной разрывной способностью. Этой новинкой снабдила Англия предательскую и жалкую китайскую буржуазию.

Отрывались от самолетов и падали тяжелые бутылки с толуолом, который взрывчатой силой в сто раз превосходит порох.

Щелкали затворы винтовок и фотоаппаратов. Корреспонденты всего мира слетелись на границы Китая и Советского Союза. В огне двадцать девятого года проверялась Красная Армия. Это был малый огонь, малая война, малая кровь.

А в недрах истории набухали и зрели будущие столкновения. Вряд ли мы, профаны в искусстве войны, можем представить, каковы они будут, Возможно, никто из нас не понимает до дна, до конца, до последней глубины, что такое Кузнецкстрой.

Лишь тогда, когда загрохочет и на западе и на востоке, когда сквозь завесы оружейного огня будут прорываться эскадрильи самолетов, лишь тогда мы поймем: ага, вот оно что такое — Кузнецкий металлургический завод.

Узнайте, какова скорость военных самолетов. Узнайте, сколько часов они могут продержаться без посадки. Ни один не долетит до Кузнецка. Если Ленинград будет дымиться в развалинах, если Донбасс и южные заводы будут охвачены десантами вторжения, если даже схватят за горло Москву, социализм будет продолжать борьбу. У него есть Урало-Кузбасс, у него есть Магнитогорский и Кузнецкий заводы.

На первой партийной конференции Кузнецкстроя, которому история отвела, быть может, немаловажную роль в мировых судьбах, не было ни одного газетного корреспондента. Ее протоколы не переписывались на машинке — в ту пору на площадке не было ни одной машинистки. Они лежат с обтрепавшимися и загнутыми краешками. Первые страницы исписаны крупным размашистым почерком синими, а потом зелеными чернилами. Дальше идет карандаш, мелкий неразборчивый почерк, недописанные, с оторванными хвостами слова.

Эти протоколы будут переписываться и перепечатываться. К ним будут прикидывать глаза историков.

* * *

В ходе конференции на центральное место, ломая повестку, выпер без спросу, самочинно маленький прозаичный вопрос о кооперации.

Так складывается история: наша будущая участь в какой-то степени зависела и от того, хорошо ли работала кооперация где-то в заболоченной сибирской долине на берегу Томи.

Доклад от имени оргпартбюро сделал на конференции Кулаков. Куда устремить внимание, чтобы скорее построить завод? Кулаков отвечал — социалистическое соревнование, очищение партии, вербовка честных рабочих, воспитательная работа в бараках и артелях, партучеба, выдвижение, кооперация. По докладу выступило семнадцать человек. Четырнадцать из них говорили о кооперации.

Так бывает, так повелось, — в прениях по первому отчетному докладу высказывают наболевшее, натертое, зудящее.

На пять дней остановилась прокладка железной дороги на Тельбесс, потому что кооперация не доставила хлеба. В разгар работ на неделю закрыты магазины на переучет, и рабочие остались без продуктов. Сгноили и выкинули под отвал яйца, бочки с экспортным маслом, сотни кило колбасы, рыбы, мяса. За один месяц три продавца сбежали с деньгами. Рабочие не имеют горячей пищи. Мука мокнет под открытым небом, пачки мануфактуры и ярусы пакли сложены в топкой грязи. Правление окопалось в старом Кузнецке и не желает перебираться на площадку.

Один за другим выходили делегаты площадки, Тельбесса, кирпичного завода и били, бомбардировали кооперацию тяжелыми увесистыми фактами.

На трибуну быстро прошагал маленький подвижной чернявый человек. Это был председатель правления Центрального рабочего кооператива Кузнецкстроя Чурсин. Он начал говорить на ходу, не дойдя до столика, предназначенного для ораторов.

— По части пакли это верно. Пакля не закрыта. И мука, — верно, — находится незакрытая. Это мы изживем. По части плохого питания — верно и отрицать не приходится. Но почему?

Чурсин повернулся к президиуму. И издали словно бы боднул Морозова.

— Вот... Управление Кузнецкстроя не идет нам навстречу. Мы подрядили возчиков для подвозки хлеба на Тельбесс, а контора дала им дорожке, и они возят землю для насыпи. Оборудования для столовых Управление категорически не дает. И я со всей

ответственностью заявляю, что больше сорока процентов рабочих я горячей пищей не обслужу. Помещений для правления нам на площадке не дают. И со всей ответственностью я завсряю конференцию, что на площадку мы не переедем, пока не предоставят помещений. Мы свои педочеты сознаем, но корень зла вот...

Чурсин ткнул пальцем в сторону Морозова.

Морозов поднялся. Он снял кепку с седоватой головы, медленно прошел большими шагами к столу и постоял молча, ожидая, пока отойдет Чурсин. Потом начал говорить, говорил пегромко, не спеша, делая паузы между словами.

— За этот год, товарищи, мы получили четыре миллиона. На будущий год нам ассигновано тридцать миллионов. К этим миллионам летят со всех сторон, как бабочки,— кооперация, профсоюз, пионеры, школы и т. д. Правительство и партия дали нам эти деньги, чтобы строить завод, а не что-либо иное. Мы совершим преступление, если вместо заводских сооружений будем строить магазины, жилые помещения, контору кооперации и т. д. Кооперация — дело самого легкое. Изыщите средства сами, не затрагивая заводских ассигнований. Вот задача большевиков кооперации. Если с этой задачей вы не справились, не вините Управление Кузнецкстроя. Нам партия поручила строить завод, а не здания для торговли.

Елизаренко и Реутов считали, что Морозов неправ. Реутову показалось даже, что Морозов подпал под влияние Ивана Павловича Бардина.

В резолюции конференция резко отметила безобразную работу кооперации. Стычка между Чурсиным и Морозовым в резолюции отражения не нашла. Конфликт будет решен в округе, в крас, а быть может, даже в Москве.

* * *

Первый паровоз пришел на площадку, когда конференция уже закончилась.

Этот паровоз, дымящий на площадке, олицетворял вторую победу Кузнецкстроя. Вторую после майской, когда огонь заплясал в новой гофманской печи кирпичного завода. План Бардина воплощался в жизнь.

Подъездная ветка была капитальным сооружением — она прослужит столько лет, сколько простоит завод.

Маленький маневровый паровоз, украшенный алыми флажками, притащил по незабалластированному, на живую нитку закрепленному пути платформы с лесом и кирпичом.

Рельсы прогибались, шпалы оседали под паровозом. Четыре километра от станции поезд шел пятьдесят минут. За ним поспевали пешком. На временный деревянный мост через Абушку паровоз ступил сначала одним скатом, потом, будто помедлив, подвинул другую пару колес. Мостик закричал и пропустил поезд.

У котлованов заводууправления паровоз закричал, как мальчишка, диким озорным гудком. Он свистел несколько минут. Со всех сторон бежали грабари, землекопы, плотники. Встреча не была назначена заранее. Чем черт не шутит — вдруг конфуз.

Летучий митинг открыл с паровоза Елизаренко.

Когда народ разошелся, Морозов сказал Кулакову:

— Видишь?

— Ну?

— В эту ветку мы вложили четыреста тысяч. Как по-твоему, эти деньги лучше бы кооперации дать? Или гостилицу выстроить?

Кулаков промолчал. Сейчас, когда нахлынуло волнение от первых побед стройки, ему не хотелось спорить.

Поезд подался назад. Кирпичи для Кузнецкстроя поплыли с рук на руки с платформ.

НЕТ, ЧУРСИН! НЕТ!

Они были боевыми ребятами — два партийца с Кузнецкстроя. Они решили пробиться, если нужно, до Михаила Ивановича Калинина. И добрались к нему

Кулаков, отправляя их, сказал:

Душа винтом, а чтоб термоса были!

На площадке лишь один рубленый дом был занят под столовую. Кроме того, две летние столовые расположились под навесами. Здесь же на воле были сложены и кухни-временки. К зиме их законсервировали. Сняли плиты и заслонки. Раскрытое нутро печей завалил снег.

Чурсин требовал помещения и оборудования для новых столовых. Морозов отказывал. Конфликт странствовал по инстанциям. За ноябрь прибыло две тысячи рабочих. Утекло полторы.

Кулаков брякнул: «Душа винтом...»

В Москве с помощью Калинина посланцы Кузнецк-строя получили двенадцать термосов и три походных кухни. Термосы были выданы с армейского склада на Шаболовке. С двойными стенками, вместимостью по четыре ведра. Они сверкали зеленой краской. Крышки привинчивались наглухо. Гайки откованы с крыльями, как бабочки. Винтовая нарезка оставляла машинное масло на ладонях.

Термосы гнали на площадку пассажирской скоростью. Кухни — на товарных платформах.

* * *

Партийная ячейка площадки избрала секретарем Реутова.

Снег укрыл цепочку кольев, вбитых вдоль оси завода. Бараки на пригорке, где стояли также шесть рублевых двухквартирных домиков, назывались Верхней колонией. По другую сторону оси завода в ровной болотистой низине предполагалось заложить соцгород. Пока там сколачивали тесовые бараки. Они назывались Нижней колонией.

Все члены ячейки были прикреплены к баракам для политбесед. Реутов с утра начинал проверку, посещали ли члены ячейки свои бараки. Он гонял тех, кто отлынивал, отсиживался. Он вытягивал письменные отчеты о каждом посещении барака.

Отчеты были похожи один на другой. Некоторые сохранились. Прочтем:

«В ячейку ВКП(б) заводской площадки

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

О проведении беседы в бараке № 27 на тему «Международное положение».

При обсуждении рабочие отмечали слабое снабжение продуктами и плохие обеды... Да мы лучше уйдем в тайгу. Как видно из выступлений, есть часть кулацких агентов. Мне, беседуя до двенадцати часов ночи,

удалось расколоть, выявить бедноту, сочувствующих, которые стали выступать в поддержку.

Суворов Н. А. 12. XI—29».

* * *

Андрей Кулаков вставал в шесть. Он будил похудевшего Елизаренко. Они вместе выходили из дому.

Елизаренко по профсоюзной линии имел задание — добиться чистоты в бараках. Шел конкурс чистоты. Соревнование барака с бараком, койки с койкой. Премии: радиоприемник — победительнице-койке, громкоговоритель — бараку.

Зимой на Нижней колонии продолжали рубить новые дома. Сюда Кулаков пришел после обеда. Еще издали он увидел, будто на бревне уселись в линию одна за другой птицы. Он не удивился. Так уж бывало. У плотников волынка. Они всаживали в бревно топоры, — всаживали в длинный ровный ряд будто по линейке, — и бросали работу. Валялся опрокинутый термос. На снегу застыла сероватая лужа. Были видны ломтики моркови, бурые макароны, кусочки мясной крошечки. Бок термоса был вдавлен, — кто-то, видимо, сильно пнул сапогом.

— В чем дело?

Плотники сунули Кулакову белый вываренный плоский кусок. Это была гузненная кишка. В ней накапливается коровий кал.

Несколько дней спустя прибежали в райком и бросили на стол Кулакову хвост и две лапки крысы. Они были найдены в борще. Слух о борще с крысиным наваром разнесся по площадке. Термосы полетели в снег. Площадка полдня не работала.

Люди бежали с площадки. Артели бузили. Вербовщики сообщали:

— Вербовка идет туго. По всей Сибири разошлись люди, побывавшие на Кузнецкстрое. Собираешь народ, и обязательно кто-нибудь вылезет. «Я там был. Пришлось бежать. Даже заработок оставил».

* * *

Арестовали в столовой пять человек. Затихло. Потом опять. В супе — тряпки. В колодце на Нижней колонии найденадохлая собака. Как она попала туда? Сама? Брошена ли?

Так или иначе это был козырь кулака, удар по коммунизму. Коммунизм отвечал термосами, теплыми бараками, чистыми матрацами.

Чурсин! Чурсин! Видишь ли, слышишь ли эту схватку?

Чурсин, на твоём тебе доверенном — участке ожесточается бой. Ворвись наконец в драку! Добейся образцовой столовой! Перетащи правление на площадку! Ночуй на столах в райкоме, в конторе, если не дадут квартиры!

Чурсин! Еще раз, последний раз зовет тебя партия!

Несколько раз Кулаков говорил с Чурсиным начистоту. Бюро райкома дважды делало Чурсину предложения.

Чурсин отсиживался в старом Кузнецке. Доходили слухи о пьянках. Он требовал помещений. Морозова называл сквальгой.

И вот... В дошедшей до нас старой райкомовской папке мы читаем:

«Товарищ Кулаков!

Я готов нести какое угодно наказание, но только не высшую меру. Я готов на любую ударную работу. Я спрашиваю себя: не сон ли это? Я в ужас прихожу, я плачу. Ты говоришь: «Какая же это болезнь, если ты лежишь и пьешь?» Возьми том Большой Советской Энциклопедии, найди слово «алкоголь» и ты поймешь, в чем дело. Исключение из партии для меня смерть — смерть бесславная. Меня нужно бить, но не до смерти. Ты говоришь: в назидание другим. Это слишком жестоко. Я стою на грани душевного заболевания. Прошу, умоляю тебя — пересмотри свой взгляд на меня.

К. Чурсин».

Нет, Чурсин. Нет! Поздно.

Председатель Центрального рабочего кооператива Чурсин был первым, кого вновь организованный райком исключил из партии.

1933 ПИСЬМА ИЗ МОСКВЫ И МАЛЕЕВКИ В НОВОКУЗНЕЦК

Проведя в Кузнецке февраль, март и апрель, наша бригада в начале мая была отпущена в Москву писать первую книгу истории завода. Был установлен срок

возвращения на площадку с рукописью — 1 сентября. Затем, в перспективе, предполагалась и вторая книга. К бригаде в некоем странном качестве наблюдателя и контролера был прикреплен Тарасов-Родионов, опять появившийся на какое-то время в Кузнецке.

Намечалось, что все мы поселимся в подмосковном Доме творчества «Малеевка» и напишем там книгу.

16 мая 1933. Москва

...Вчера приехали в Москву.

..В дороге для меня окончательно выяснилось: с Тарасовым я работать не буду. Если он будет участвовать во второй книге, то я в ней не участник. Это совершенно твердо и окончательно. Смирнов тоже под опекой Тарасова работать не будет. И по всей вероятности, — на 90 процентов, — работать будем мы, а он и сам не захочет. Придется в будущем распротеститься и с Зиной, чтобы совсем избавиться от Тарасова.

Это мое решение определилось после небольшой стычки в вагоне. Я сказал что-то вроде: «Интересно будет узнать у Авербаха, как дела на других заводах». Тарасов взбеленился: «Я прошу тебя к Авербаху не ходить и ни о чем с ним не разговаривать, я запрещаю» и т. д. Разозлился и я: «Как так — запрещаю? Да что это такое?»

В общем стычка закончилась более или менее мирно, я обострять не стал, хотя свои права говорить с кем угодно отстаивал. Но для меня ясно, что Тарасов хочет совершенно изолировать нас от центральной редакции, чтобы полностью держать в своих руках. Он даже заявил, что нам сейчас вообще не нужна центральная редакция, пока не будет готова книга.

Я думаю разрушить эти его планы, но осторожно, чтобы не поссориться с ним вдрызг. Такая ссора сейчас, накануне работы, совершенно ни к чему.

17 мая. Москва

...Сообщаю новости. Вчера вечером мы все собрались. В Малеевку Тарасов нас устроил, и 1 июня мы катим туда. Нам он сказал: «До первого июня работайте каждый самостоятельно». Зина собирается на несколько дней в Ленинград к родным. Я запротестовал. Зачем же тащили меня в Москву? Почему не дали съездить к Федоровичу в Караганду? Мы посидели часа два, причем Тарасов быстро смылся на какое-то

заседание, а мы втроем основательно хорошо потолковали.

Завтра или послезавтра я сажусь писать.

Еще никак не могу привыкнуть к разнице во времени на четыре часа — ложусь рано, так и тянет спать, просыпаюсь в шесть утра.

24 мая. Москва

...Есть интересная новость, — скоро, по-видимому, будет созвано всесоюзное совещание по истории заводов. Об этом я узнал в центральной редакции. Кажется, совещание будет приурочено к съезду писателей.

Посещение центральной редакции не произвело на меня хорошего впечатления. Авербаха я не застал, его заместитель Шушканов словоохотливостью не отличается. Там какая-то мертвечина. Я слышал, что Авербах там не бывает и почти забросил это дело. В Москву приехал Горький, и, возможно, он встряхнет работу. Вероятно, в связи с его приездом и возник вопрос о совещании.

...Москва не радует меня. Я чувствую себя выбывшим из литературы. Многие не здороваются. Другие здороваются, но почти никто не спрашивает: «Ну, как, Бек? Что делаешь? Откуда? Над чем работаешь?» Есть только одно средство борьбы с людским равнодушием — работа, работа, дьявольски упорная работа.

Литература не верит намерениям, хорошим душевным качествам, страданиям, помыслам, она верит только книгам.

Выход один — работа. Этот выход есть, он не закрыт.

29 мая. Москва

...Насчет приглашения писателей для второй книги мне еще ничего сделать не удалось. Некоторые надежды возлагаю на Малеевку. Ведь мы там пробудем три месяца, — возможно, что за это время попадется кто-нибудь подходящий. Через два дня едем туда.

30 мая. Москва

...Да, надо бы уже привлекать писателей для второй книги. Пока хотя бы одного. Ему предстоит поработать и на площадке и в Москве. Поиски материала в Москве для второй книги прямо необходимы. Здесь столько материалов в ЦК, в ЦКК — РКИ, в Наркомтяжпроме,

что, если всерьез писать вторую книгу, без них не обойтись. Если этого не изучить, то и писать не стоит.

31 мая. Москва

...Здесь весь май стоит очень плохая погода. Каждый день дождь и дождь. Проходят и проходят, пролетают деньки. Эти полмесяца были малопродуктивны. Работал вяло, бесед провел всего четыре. Зря уехали. Зря болтаемся в Москве. Ну, ничего, завтра уже в Малеевку.

31 мая. Москва

...Пишу сегодня вторую открытку. Оказывается, в Малеевку завтра мы не едем. Новый дом не готов. Он откроется только шестого, и мы выедем пятого вечером, не раньше.

Меня сначала огорчила эта новость, — очень тяготит вынужденное бездействие или полубездействие. Хочется писать, засесть вплотную, и вдруг — срыв. Но я решил: с завтрашнего дня начну с полной нагрузкой писать в Москве. Опять возьмусь за своего Курако.

...Николай Григорьевич удивляется поведению Полины. Почему она не расшифровывает, не высылает стенограмм наших бесед с Франкфуртом? Или тоже расклеилась?

1 июня. Москва

...Нынче у меня первый день полноценной настоящей работы. Пишу главу о Курако. Как много все-таки значит — иметь возможность заниматься писательским трудом, погрузиться в это, ни о чем больше не думая, будучи обеспеченным ежемесячной заработной платой. Этим мы обязаны «Истории Кузнецкстроя».

...Опять возникают мысли, что у меня талант журналиста, а не художника. Но, думается, и талант журналиста можно отточить так, что он приблизится к художественному. Надо работать и работать.

...Теперь насчет второй книги. Я все больше склоняюсь к тому, что она должна быть цельным, единым повествованием. Это будет более ценная вещь, чем очерки. И думаю, что мне грешно было бы отказаться от возможности изучить всю до тонкости стройку и описать правдиво (поелику возможно), как она шла. Ведь там действительно масса интересного. Взять тот же соцгород — всю эту проблему надо специально изучить. А кризис первой домны зимой? Это тема для

романа. А Сибирь? Проблема: Сибирь и Кузнецкстрой. А люди, люди, люди? Трудно их описывать, а интересно.

Я думаю, нам удастся создать «элегантную», как говорит Смирнов, книгу. А вторая книга тоже потребует по меньшей мере года работы.

Подготавливай ее, опрашивай людей,—чем больше материала, чем больше подробностей, тонкостей, тем богаче, сочнее будет написано.

3 июня. Москва

...В Москве все дождь и дождь. Каждый день льет с утра и до утра. Не знаю, сможем ли пятого выбраться в Малеевку. Боюсь, что скверная погода задержит там работы. Тарасов чувствует себя виноватым. Я говорил по телефону с Зиной. Она сказала: «Я начну писать только в Малеевке. Надо быть всем вместе. Жаль, что пять дней вычеркивается из бюджета». Потом трубку взял Тарасов: «Знаешь, говорит, ничего нельзя сделать. Я нажимал. Но не готова крыша. Раньше пятого никак нельзя».

С Зиной и Тарасовым я почти совсем не вижу. Со Смирновым часто, почти каждый день. Он обедает в Доме Герцена и часов в пять обязательно стучит ко мне в окно. Частенько ходим с ним в Ленинскую библиотеку, читаем о Сибири, о доменном деле, об истории металлургии. Но и он в Москве ничего не пишет. Тоже ждет, пока окажемся в Малеевке. И только я, писака-мученик, усадил себя за стол.

Третий день работаю по-настоящему. Начинаю писать в десять, сажу до двух, потом меня пронимает голод, я иду обедать, после обеда сплю, потом в семь опять принимаюсь писать и до одиннадцати.

Сегодня кончил главу о Курако, которую делал еще на площадке. Получилась длинная, на машинке будет страниц пятнадцать. Раза два ее придется еще переписать, тогда она примет приличный вид. Следующая глава «Уголь» (ее должен писать Смирнов), потом «Роговщина» (это за Зиной), а дальше 1920 год в Сибири (я). Это очень трудная глава — в ней масса разнообразного материала, в том числе и смерть Курако. Я сейчас раздумываю над этой главой.

7 июня. Москва

...Мы все еще сидим в Москве.

9 июня. Малеевка

...Вот я и в Малеевке. Только что приехал. Сажу на кровати и пишу. Почему на кровати? Потому что в комнате нет еще стола,— его делают, и только завтра к утру он будет готов. Мы поселились в новом доме. Он огромный, комнат на пятьдесят — шестьдесят. Пока готовы только пятнадцать. Остальные доделываются, стучат топоры, молотки, скрипят пилы. Над моей комнатой только вчера или позавчера настелили крышу, и комната пока попросту мокрая,— ведь три недели лили дожди, поэтому и стены и полы совершенно сырые. Растоплена печь, открыты окна, комната просыхает.

Добрался я до Малеевки с мучением, натерпелся, можно сказать. Дорога от шоссе (там меня высадили с попутного автобуса) напоминает Кузнецк — такая же топкая грязь. Я сразу промочил ботинки, разулся, выжал носки и зашагал босиком, таща на спине чемодан со стенограммами, книгами. Жара, грязь, я в пальто, с чемоданом, вспотел, устал.

Смирнов со мной не поехал, он выезжает завтра. Воображаю, как он дотащится. Выйду его встречать. Впрочем, к завтраму, может быть, высохнет, потому что второй день погода стоит превосходнейшая. Зина и Тарасов придут, вероятно, дня через два.

...В последние дни в Москве я читал кое-кому свои страницы — вступление, главу о Курако, еще кусочки. Представь, всеобщее одобрение. Я прямо удивлен — люди буквально восторгаются, говорят, что очень хорошо, замечательно и т. д. Ф. и Н. аплодисментами прерывали вступление. Это все меня порадовало и зарядило. Я поэтому решил: позвонил Авербаху — «хочу тебе кое-что почитать, в частном порядке, посоветоваться, поговорить». Он назначил на одиннадцатое вечером. Отъезд я все-таки не стал откладывать. Съезжу к нему отсюда. Прочту ему вступление, Курако (отделаю еще завтра здесь в Малеевке), кое-что еще, набросанное в Москве. Во всяком случае, это будет интересная встреча.

11 июня

...Еду из Малеевки в Москву. Пишу в поезде. Клониет в сон. Встал я сегодня в пять утра и отправился на станцию. Дорога пустынная, на шоссе почти нет движения. Всего две подводки и два человека попались мне

навстречу. Я шел пешком. Ямщиков нет,— их раскулачили и послали рубить лес. На автобус попасть можно только с боем.

В Малеевке надоедают комары, в остальном все хорошо. Кормежка приличная. Вчера сюда добрался Николаша.

...Работая, я думал о Сибири. Да, если всерьез становиться на писательский путь (а это, как видно, так), к Сибири придется вернуться. Но не в очерковом романе. Меня тянет к сюжетным вещам с человеческими судьбами и т. д. Типа, например, «Судьбы Шарля Лонсевиля» Паустовского. Мне очень нравится эта вещь, она напечатана в альманахе «Год шестнадцатый».

Я знаю, когда-нибудь мне придется вернуться к теме Кузнецкстроя на высшей основе. Сейчас наша вещь будет, конечно, недоработанной, недоспелой. Когда-нибудь вернусь к Сибири, к «Копикузу», к Федоровичу, к сибирской геологии, к Усову, к Урало-Кузбассу. Мы еще и не копнули как следует этой целины. Так хочется знать как можно больше. Вот и сейчас я еду не только для того, чтобы повстречаться с Авербахом, но и на беседу с интересным человеком — геологом Гапеевым, который исследовал Кузбасс в 1914—1920 годах. Поработать лет тридцать, написать пятнадцать — двадцать хороших, добротных книг на большие магистральные темы, открыть, воссоздать новые характеры, некий кусок жизни, еще неведомый литературе,— можно умирать спокойно.

...Я подумываю найти Паустовского и соблазнить его кузнецкстроевскими материалами, привлечь ко второй книге.

14 июня. Малеевка

...Завтра утром Тарасов едет в Москву, оставляя нам Зину. Я передаю это письмо с ним и попрошу его бросить в Москве, авось дойдет быстрее.

Встреча, о которой я писал в последних письмах, не состоялась. Она будет, очевидно, в следующий мой приезд в Москву. Но с Гапеевым увиделся. Он рассказывал часа три.

...В Малеевке наша тройца-бригада еще раз обсудила, как разделить работу. Вместе с тем поточней наметили содержание и объем глав. Курако моего здорово подмяли, о нем-де слишком много, придется сокращать, сжимать. Зато я немало интересного узнал от

Гапеева о Кузбассе, о Сибири. Это отчасти войдет в главу, которую я как раз сейчас пишу. В ней говорится о геологических исследованиях, о поисках угля на востоке в предреволюционные годы. Эту главу передали мне. Здесь был у нас пробел. Теперь беседой с Гапеевым я его восполнил.

Смирнов выдвинул интересную мысль,— жалко, не удастся ее провести. Он вспомнил, что «Копикуз» заполучил угленосный край в концессию от Кабинета его величества. Раньше эти земли были кабинетскими. И вот интересно было бы показать этот самый Кабинет, придворные сферы, интриги, разные ходы, посредством которых учредителям «Копикуза» удалось оттягать эдакий кус. Если бы все это узнать в конкретности, было бы интересно изложить в начале книги. Теперь поздно, и осуществить это вряд ли удастся.

А вот в той вещи, которую, возможно, я когда-нибудь буду писать о Сибири, обязательно надо будет показать этот Кабинет, вторжение капитализма. Все в лицах, в действии. Вообще роман о Сибири мыслится мне так, чтобы половина действия протекала на месте, а другая — в Петрограде, в Москве, на Урале, на Юге. Вообще меня тянет к широким полотнам с массой исторического материала. Читать это, думается, будет интересно.

...Вчера у нас было столкновение с Тарасовым. Не хочу писать об этом в письме, которое повезет он. Завтра опишу подробно.

15 июня. Малеевка

...Я уже писал, что свидание с Авербахом не состоялось. Он уехал одиннадцатого на дачу и двенадцатого не вернулся. Возвратившись в Малеевку, я решил сразу определить отношения с Тарасовым. Я ему сказал прямо:

— У нас внутри бригады должны быть отношения более тесные и интимные, чем с тобой. Мы будем читать друг другу, а тебе нет. Тебе мы дадим уже готовый текст. Ты имей это в виду и не обижайся.

Он что-то промычал и перевел разговор на другое,— что-де надо начинать писать четырнадцатую партконференцию. Я отказался. Заявил, что считаю это нецелесообразным, что мы начнем с первых глав. Был спор, Тарасов уступил.

Мы без него уединились и стали разрабатывать главы первой части, намечать их размеры и т. д. Вышло восемь листов.

И вот за обедом разыгрался скандал.

Тарасов заявил, что больше шести листов он не допустит. Я сказал, что это его не касается, не входит в его компетенцию. Нам дано для всей первой книги, для ее трех частей, 24 листа, и мы распределяем листаж так, чтобы воплотить свой замысел.

Он раскричался. Я говорю:

— Тогда пиши сам.

Он кричит:

— Горком партии дал мне директиву: не допускать первую часть больше шести листов.

— Ну, тогда пиши сам.

— Если вы мне не подчиняетесь, я распушу бригаду.

— Нет, лучше мы попросим в главной редакции, чтобы нам дали другого редактора.

Это на него подействовало. Он притих.

Сейчас Тарасов к нам не лезет, зря получает от «Истории Кузнецкстроя» по 400 рублей в месяц. (Да, он угрожал, что не даст нам денег, не будет выписывать зарплату,— ему и это предоставлено. «Пожалуйста,— говорю я.— Смирнов получил сейчас пять тысяч за «Джека Восьмеркина» и всегда меня выручит.)

Пишется хорошо. Первая часть, думаю, выйдет стремительной, богатой, если, конечно, Тарасов не испортил.

17 июня. Малеевка

...Работа движется у нас так,— я иду впереди, написал уже начерно две с половиной главы, Смирнов отстает, набросал лишь несколько страничек, а Зина совсем зашилась, что-то высиживает, нам не читает, работает в одиночку и до сих пор не сделала полглавки о Кольчугинском восстании. К роговщине она еще не приступила. Она, очевидно, выписывает каждую фразу и хочет блеснуть.

Я работаю по-другому— стараюсь сначала написать все до конца, выяснить общий ход действия, а потом приводить в порядок. Это мне кажется правильным. Ведь и скульптор не лепит сначала нос, а делает из глины всю фигуру, и художник сперва намечает на полотне общую композицию.

С Тарасовым мы продолжаем пикироваться.

— Смотри,—сказал он сегодня,—они и без тебя сумеют написать.

— Возможно,—отвечаю я.— А без тебя сумеем, это уж вне сомнения.

— Ну, это тебе не удастся.

В общем, без столкновения не обойдется. Посмотрим, как это выйдет.

...Около Малеевки в деревне живет Виктор Шкловский с семьей. Мы со Смирновым к нему понавелись. Николаша относится к Шкловскому с большим уважением. Сказал однажды мне:

— Свежати́на — это то, чего не знает Шкловский.

20 июня. Малеевка

...У нас в бригаде прорыв. Смирнов заболел. Лежит третий день. Температура 38 и даже 39. Врач говорит: грипп. На недельку, вероятно, Николаша из строя выбывает. Я за ним ухаживаю.

Все дни стояла прекрасная погода, а сейчас страшнейший ливень с громом и молнией.

21 июня. Малеевка

...Сейчас Смирнова отправили в Москву. Его повезли Тарасов и Зина. У него четвертый день температура 38, 39, сегодня ночью было даже 40.

Он очень боится: «Останусь ли жив?» — и т. д. Но доктор говорит, что грипп. В Малеевке в смысле удобств почти ничего не изменилось, я понял это во время болезни Смирнова. Часто нет даже кипяченой воды.

23 июня. Малеевка

...У нас неприятная новость — оказывается, у Николая Григорьевича сыпной тиф. Значит, он выбывает из строя на месяц, на полтора. Это в лучшем случае.

Мне неясны еще все последствия этого события. Работа во всяком случае затормозится, хотя темпов я не сдам.

24 июня. Малеевка

...Спутаны все карты, смешаны все перспективы.

Сегодня я еду на несколько дней в Москву. Меня попросили это сделать, потому что некоторые отдыхающие опасаются: ведь я все время ухаживал за Смирновым. Проведу в Москве дней пять — семь и вернусь.

Меня продезинфицировали, белье отправили в дезокамеру, комнату мою залили такой вонючей жидкостью, что второй день шибает в нос. За себя я не боюсь, я сыпняком болел. Но за Николашу тревожусь, хотя в Москве у него хороший уход.

Эх, напрасно, напрасно мы поспешили уехать из Кузнецка, не написав там черновика книги. Если бы мы имели черновик, временное выбытие Смирнова не очень отразилось бы. А сейчас в Москве и здесь он не написал почти ничего, набросал лишь самый конспективный черновичок одной главы.

Что же сейчас делать? Выходов два: или срезать план, или сорвать срок.

План срезать можно — например, кончить 16 партсъездом, перенеся конфликт Франкфурта с Кулаковым, стройку домны, закладку мартена и т. д. во вторую книгу. Это я считаю наиболее целесообразным. Тогда, возможно, выиграет и вторая книга (интересное начало, сразу конфликт, завязка), и первую мы сумеем в сентябре кончить.

Я лично смогу заменить Смирнова по первой части (там он должен дать несколько кусков). Собственно говоря, за исключением двух глав, всю первую и так предстоит написать мне. Мне даже хочется написать ее самому. Она мне нравится, и, думаю, будет хороша. Она сама по себе будет представлять отдельное произведение, и — поверь мне, скромнику, — очень интересное, такое, с которым мне не стыдно будет показаться в люди. Дальнейшие главы (кое-что из них мы уже писали на площадке) потянет Зина. Возможно, ей поможет Тарасов. Пока там все страшно эмпирично, не доведено до конфликта, не дожато. Я с Зиной разделюсь, то есть потребую, чтобы в книге было указано, кто что писал.

Если же не урежем план, то раньше декабря книга кончена не будет. А по-моему, лучше поскорей издать. Тарасова я к своей части не подпущу. Плохо лишь, что он ведает деньгами. Ну, как-нибудь я из-под него выберусь. Главы у меня, кажется, хорошие. Я их отделаю и дам на машинку.

Очень долго я сидел над главой «1920 год», которая заканчивается смертью Курако. Не мог найти конфликта, стержня, сцен. Конфликт обнажился передо мной постепенно. Теперь все найдено и черновик есть.

О болезни Смирнова напишу сегодня Власову.

Примечание. П. И. Власов — редактор газеты Кузнецкстроя «Большевицкая сталь». Он был утвержден и редактором «Истории Кузнецкого завода».

27 июня. Москва

...Сегодняшняя ночь была последней для Смирнова. Умер, умер наш Николаша.

Меня обступили заботы. Несколько раз побывал и в горьком писателей, и в комиссии по похоронам. Наведываюсь и в его семью. Сейчас опять еду к ним.

Он умер сегодня утром в девять часов. Пишу и плачу. Жалко Николашу, ах как жалко.

Не могу сейчас больше писать.

29 июня. Москва

...Напишу о смерти Николаши.

В Малеевку он приехал 10 июня. Я выходил на мост его встречать.

Все время в Малеевке он кис. Жаловался, что нездоровится, не работает, не нравится новое место. Он набросал за семь дней черновичок только одной главки: «Гора Тельбесс». 17-го он хотел ехать в город. Написал родным, что 18-го будет в Москве. Как раз 16-го вечером из Малеевки шел грузовик прямым сообщением до Москвы. Он решил уже садиться, но в последний момент раздумал. «Что-то плохо себя чувствую. Что я такой в Москву поеду?» 17-го вечером он слег. Попросил меня достать термометр. Температура — тридцать восемь с хвостиком. Мы решили, что ему надо пропотеть. Я достал аспирин. Он здорово потел, переменил несколько рубашек. Утром опять тридцать восемь. Что такое?

Вечером пришел доктор. Осмотрел. Говорит: грипп. Опять аспирин, опять потение. Аппетита нет. Курить перестал.

— Вот, говорит, — будет польза от болезни. Отучусь курить и брошу.

Наутро — тридцать девять. Вечером — это уже 19-го — опять был доктор. Опять сказал, что грипп. На следующий день снова тридцать девять и вечером — сорок. Доктор выдвинул другую гипотезу: засорение желудка. Николаша ухватился за это.

— Ах, — говорит, до седых волос дожил, а какого я маху дал. Конечно, жар от желудка. Как сразу не догадался!

Достали слабительного. Подействовало. Ну, думаю, к утру болезнь должна пойти на убыль.

Утром 21-го — опять тридцать девять. Я уже вижу, что дело не шуточное.

— Сейчас же, Николаша, надо ехать в Москву. Пойду попрошу до станции лошадь.

Дали лошадь. Оделся он и говорит:

— А ведь я умру, Бек. Как думаете?

Я говорю: ерунда.

Тут подвернулся Тарасов. Он собирался ехать в Москву на следующий день. Когда увидел лошадь, заявил: и я поеду.

Я, кажется, уже писал, что в обычных условиях добираться на станцию чертовски трудно, надо где-нибудь нанимать лошадь. Он взял Зину, сел сам, и двинулись они с Николашей на станцию. Для меня места не осталось.

...Сижу в Малеевке, работаю. У меня и мысли не было, что сыпняк. И никто не подозревал. Кто-то взял матрац, кто-то — одеяло с постели Смирнова: тут вообще всего этого нехватка.

Вдруг 23-го приезжает Ляшкевич, председатель горкома писателей, с известием, что у Смирнова сыпной тиф. Он специально из-за этого приехал. Страшно нагорело врачу, заведующему, экономке, что не было дезинфекции. Сейчас же произвели дезинфекцию в его и моей комнате, взяли вещи, его и мои, отправили в дезокамеру, и мне говорят: «Уезжай ты пока отсюда. Народ здесь мнительный, а ты все время был около него». А доктор меня не выпускает, пока я не пройду дезинфекции. Паника.

24-го вечером я уехал. Звоню на квартиру Николаши. Мне отвечает Оля, его жена. Она только что приехала из Харькова. Он ведь заболел без нее. Она числа 6-го уехала в Харьков. Там у нее умер отчим, осталась беспомощная мать. Туда дали две телеграммы. Оля приехала утром 25-го. Николаша был уже в больнице.

Я тут же поехал в больницу вместе с Олей. К нему, конечно, не пускают. Пускали только его сестру Лидию, потому что она врач и ведет в этой больнице научно-исследовательскую работу. Она к нему ходила два раза в день.

Мне она сказала по телефону:

— Плохо, очень плохо.

— Что, почему?

— Организм сопротивляется вяло.

Мы с Олей спрашиваем врачей: ну, как? Они отвечают более успокоительно. Привезли его, говорят, в ужасном состоянии, а сейчас лучше. Будем ждать кризиса.

Кризис бывает на 13—14-й день, самое раннее на 12-й. Идем с Олей к главному врачу. Просим, чтобы ее пропустили на свидание. Отказывает наотрез.

— У нас,— говорит,— допускают только к умирающим.

Просим положить его в отдельную палату. Я выступаю от имени горкома писателей. Тоже отказывает.

— Не можем. У нас есть несколько отдельных комнаток. Там лежат только гибнущие люди.

Больница — Басманная очень хорошая, очень чистая, много персонала, прекрасные светлые палаты. Мы с Олей идем к окну той палаты, где он лежит. Николашу подняли, он минуту на нас посмотрел и снова лег. Я его не узнал — голова стриженная, оброс седой щетиной, усики в ней потерялись.

Потом он сестре сказал, что нас узнал.

Мы уехали. Оля очень огорчалась, что он в больнице. Угнетала бездеятельность. Она страшно любит что-то делать, трудиться, чем-то помогать. А тут — ничего.

На следующий день 26-го я созвонился с Авербахом. Был у него. Читал отрывки. Словом, связался. Результат очень хороший. Ему понравилось. Подробности в другой раз.

Иду от Авербаха, у меня заболела голова. Думаю, уж не сыпняк ли у меня во второй раз. Пришел домой, смерил температуру — нормальная. Решил уснуть. Часов в восемь лег и уснул.

В одиннадцать звонок по телефону. Меня спрашивает сестра Николаши.

— Бек, вспомните, в какой день вы с Колей были в пионерском лагере (около Малеевки)?

— А что?

— Да вот Коля говорил одному товарищу, что видел его сына в лагере, но тот не мог с ним разговаривать, потому что чувствовал себя плохо.

— А при чем здесь лагерь? Что случилось?

Оказалось, что у Николаши утром 26-го температура снизилась, — сначала тридцать восемь, потом тридцать семь.

У меня сердце так и упало. В Малеевке, когда узнали, что у Смирнова тиф, пошли разговоры о сыпняке. Кто-то рассказал, как умер от сыпняка Полонский (редактор «Нового мира»). Врачи боролись, но когда на девятый день температура поползла к тридцати семи, сказали, что все кончено. Оказывается, если температура падает, когда еще не наступил кризис, значит, организм перестал бороться и смерть неизбежна. Кто-то потом говорил, что иногда удается снова поднять температуру и спасти человека, но в этот момент в голове пронесся только рассказ о Полонском. Сестра стремилась точно определить, какой день болезни. А вдруг двенадцатый? Тогда кризис и все хорошо. Слег он семнадцатого. Значит, десятый. Но в лагере мы были за два дня до того, как он свалился, так, может быть, он ходил с температурой и сейчас двенадцатый?

Я не верил в счастливый подсчет (правда, Николаша все время жаловался, но вряд ли ходил с температурой), однако старался обнадежить.

Лидия звонила из дому,— Оля там делала кофе для него, они собирались в больницу. Я сказал, что и я сейчас подъеду. Приехал я раньше их и встретил у ворот.

Сестра пошла внутрь, а мы с Олей — к окну, откуда раньше на него смотрели. Заглядываем, а няня открывает форточку и, как-то путаясь, говорит:

— Его здесь уже нету, его перевели в отдельную палату.

— Почему?

— Около него врачи, а тут это будет мешать другим больным.

— Ну, как он?

— Не знаю. Температура упала. Спросите у доктора.

И захлопнула.

Я понял одно: пришла смерть. Вспомнил, что говорил нам главный врач об отдельной палате. Мы с Олей идем, ищем окно этой палаты. Я молчу, тут нечего говорить.

Нашли окно. Видим,— комнатка; врачи что-то возятся, вливают физиологический раствор, что ли; сестра его стоит и держится руками за лицо. Уже эта поза ее мне все сказала.

Выходит она. Говорит:

— Прямо скажу, положение жуткое.

Выходят врачи и говорят другое. Пульс хороший, сердце работает. Олю к нему не пускают. Это единственная наша соломинка. Мы прохаживаемся, смотрим в окно.

— Поезжайте,— говорит доктор,— домой. Опасности пока нет. Пульс хороший. Приедете утром. Берегите себя.

И эдак весело говорит.

Выбежала нянька.

— Что вы здесь? Все хорошо. Поезжайте, поезжайте домой.

Оля не хотела ехать. Я ее уговорил. Признаться, они разговаривали так уверенно и весело, что я сам поверил: это двенадцатый день, это кризис, а потом выздоровление.

Было два часа ночи. Трамваи не ходили. Начался рассвет. Где-то нашли такси и поехали. Прощаясь, я даже сказал:

— Ну, ничего, еще напишем с Николашей роман о Сибири.

Добрался домой и лег. Начал опять хладнокровно подсчитывать, и опять мне стало ясно, что это конец, что словами о двенадцатом дне я обманываю сам себя.

Из больницы обещали позвонить, если что-нибудь случится. Только я лег—звонок. Говорит его сестра: «Нам сейчас звонили из больницы, просили приехать».

Значит...

Я вышел. Было полчетвертого. Пошел пешком. Солнце всходило как раз там, куда я шел. Оказывается, Басманная на востоке. Думал, как мы будем без Николаши.

Пришел я раньше их. Опять заглядываю в окно. Меня увидел доктор и зовет внутрь — к нему. «Можете пройти»,— говорит. Я уже знал, что это значит. Я не пошел. Не хотелось идти туда первым,—показалось, что это будет оскорбительным для Оли, если кто-то чужой, а не она около него. Я вышел их встречать.

— Конец?—спросили они.

— Еще нет.

Оказалось, через полчаса после нашего ухода у него произошло кровоизлияние в мозг. Он начал корчиться, выгибаться. Пульс пропал. Началась агония. Врачи отошли, отступились.

Оля сидела около него. Я был там. Она сама поддерживала уже почти мертвого кислородом, камфарой, физиологическим раствором.

Потом я оставил палату, ходил около окна. В девять подошел к окну. Из-за стекла Оля кивнула головой, как будто говоря: «да». Она вышла и сказала:

— Он умер пятнадцать минут тому назад.

Ну, вот и все.

1933. ЕЩЕ ДВАДЦАТЬ ПИСЕМ ИЗ МОСКВЫ
И МАЛЕЕВКИ В НОВОКУЗНЕЦК

29 июня. Москва

...Сегодня похоронили Смирнова. Был потом часа три с его семьей.

30 июня. Москва

Вчера я собирался резко говорить с Тарасовым. Оказалось, что резкого разговора не понадобилось и мои предложения они приняли.

Соглашение наше заключается в следующем.

Первое: кончаем книгу 16 партсъездом, конфликт с Кулаковым и далее передается во вторую книгу. В нашей книге, таким образом, получится всего две части, одна «доисторическая», другая — с 1929 года до 16 съезда.

Второе. Первую часть пишу я и несу за нее ответственность. Все Зинины главы, которые она дала или даст, использую как сырье, как тесто, которое леплю как угодно. Зина делает остальное — все, что написано для ее части мною и Смирновым, использует как сырье.

Третье. Срок 1 сентября сохраняется.

Таким образом, мы размежевались и на этой почве сохраним добрые отношения.

Да, еще вот что. Авторство каждого выделяется. В книге будет указано, что первую часть писал я, вторую она, причем главы, сделанные Смирновым, тоже будут указаны.

Таково примерно наше соглашение. Мы оформим это протоколом. Я его составлю.

Конечно, это выход из положения. Тарасов, к удивлению, сразу уцепился за это, Зина тоже воспрянула.

Раньше я предполагал, что вторая часть вряд ли у нее получится. Теперь думаю, что, может быть, мои скептические предположения неверны. Возможно, она сделает очень недурно и своеобразно. То, что в сравне-

нии с нашими главами казалось у нее размазней, может выглядеть как стиль, как особенность, как своеобразие, если она напишет все сама от начала до конца.

Конечно, массу материала, «свежатин», много лилий она не сумеет использовать и пропустит их. Например, у нее пропадет вся история переговоров с фирмой Фрейна и вообще вся интрига с проектированием, пропадет и история перелома в 1930 году, как он проходил в Москве, в Ленинграде, в ЦК и т. д.

Что же, это останется для второй книги, и она очень обогатится. Я уже начинаю ее представлять, а раньше не представлял.

Буду подыскивать одного-двух писателей в бригаду для второй книги. Им бы уже надо изучать историю перелома 1930 года. Это страшно интересно. Вообще перспективы интереснейшие, работа замечательная. И пет, нет с нами Николаши!

Я живу сейчас в Москве. Пробуду здесь еще дня три-четыре. Да, не написал о встрече с Авербахом. Ну, про это в другой раз.

2 июля. Москва

...Проходят дни, а я еще не начинал работать после смерти Николаши. Послезавтра уеду в Малеевку, денек передохну и окунусь в работу.

Я обдумывал — как мне писать: то ли оставить в черновом виде главы до смерти Курако, сейчас к ним не притрагиваться, а прямо дописывать первую часть до конца, то ли эти первые главы обработать, перепечатать, послать в Кузнецк и дать Авербаху, а затем двинуться дальше. Я решил встать на второй путь. Надо показать что-то более или менее готовое. Это, конечно, тоже еще будут черновики, и к ним я вернусь (когда буду все перебеливать), но уже похожие на окончательный текст, которые не стыдно предъявить. На это я кладу три пятнадцатки. Затем придется опять ехать в Москву, проведу там несколько бесед, потом обратно в Малеевку и к концу августа закончу в личном виде свою часть.

...С Авербахом у меня установились неплохие отношения. Приехав в Москву, позвонил ему. Его нет дома. Звоню на службу. Тоже нет. Спустя час он звонит сам и назначает свидание у него дома.

Прихожу. Хочу ему почитать. Он говорит, что на слух не воспринимает. Даю ему читать при себе. Даю

вступление. Прочел, говорит: «Очень интересно. Это сейчас же можно давать в печать».

Потом даю ему читать еще одну главу в карандаше. Это глава, которую я написал в Малеевке. Называется «Открытие Кузбасса». Он прочел, говорит:

— Добротная реалистическая проза. Что же? Значит, мы открываем в Беке беллетриста?

Потом я ему прочел еще главку вслух. Он говорит: — Мне нравится.

Те главы, в которых идет речь о Курако, я ему не прочел, не успел, хотя это выигрышная вещь. В общем, восхищения с его стороны не было, но одобрение полное, безоговорочное.

Затем поговорили о Тарасове. Я рассказал все напрямик.

Он сообщил, что Тарасов ему жаловался, что у меня формалистические выверты.

Авербах просил дать рукопись скорее, чтобы показать Горькому.

3 июля. Москва

...Завтра еду в Малеевку.

...Мне очень хочется в дальнейшем написать роман, который мы задумывали с Николашей. Роман о том, как мы писали историю завода. Дать типы писателей, типы строителей, сброшенных жизнью, и тех, кто на коне, дать острый сюжет. Могла бы выйти замечательная панорама. Тема, тема хороша. Материала, впечатлений масса. И Тарасова и Смирнова здесь показать, Франкфурта, Кулакова, Колгушкина, Бардина, черт-те кого. Дать массу неожиданностей. Стоит, ей-богу, стоит этим заняться.

...Полина, бедная, наверное, плачет о Николаше. Сердечный ей привет.

4 июля. Москва

...Сейчас я уезжаю в Малеевку. Пишу с вокзала. Еду с грустным чувством. Каждый день думаю о Николаше.

Вчера был у Бардина (он сейчас в Москве) и взял у него бумажку — ходатайство о пенсии дочке Смирнова. Каждый день я бывал в семье Николаши, а вчера даже ночевал там. Они прекрасные люди и любили его страшно.

6 июля. Малеевка

...Вчера приехал в Малеевку. Здесь меня ждали два пакета стенограмм и материалов из Кузнецка. Теперь не хватает лишь одной стенограммы Франкфурта и, кажется, чего-то еще.

Вчера же получил из Кузнецка два письма. Одно от Полины. Ужасно долог промежуток от написания до получения писем. Здесь все уже изменилось — умер Смирнов, я пережил все это, а из Кузнецка приходят письма еще как бы с другого этапа нашей жизни. Десять — двенадцать дней идет письмо, как много может перевернуться в эти дни.

Погода третий день сквернейшая — дождь, дождь, дождь.

Работать я еще не начал, хотя так и тянет к бумаге, к столу. Вчерашний и нынешний день я решил провести в безделье, в отдыхе, а с завтрашнего утра начну работать напряженно — по восемь часов в день.

Хочу довести свою часть до того, чтобы внимание читателя было приковано с первой строки и до последней. Мне очень много дал Николай Григорьевич, он обучил меня, собственно говоря, ремеслу писателя, передал мне секреты профессии. Но я далеко, далеко еще не овладел ею.

Здесь живет Ваня Рахилло. Он сейчас летчик и пишет роман из жизни летчиков. Он читал мне отрывки. И мне запомнилось вот что:

«Он летал десятки раз. Летал, как все, и никаких особенностей не было приметно постороннему глазу. Но только в сто двенадцатый свой полет — не двадцатый, не пятидесятый, не сотый, а именно сто двенадцатый — он вдруг почувствовал себя хозяином машины. Ее тайна, ее душа открылись ему. Наслаждение этим новым чувством овладения охватило его».

В общем, что-то в этом роде. У меня не было моего сто двенадцатого полета, и я жду, жду его. И знаю, что он придет.

11 июля. Малеевка

...У меня две просьбы.

Сейчас я обнаружил в стенограммах Бардина пробы — годы войны. Он рассказывал об этом — о своем пребывании на Енакиевском заводе, но без стенограммы, и у меня стерлись в памяти подробности. А мне

теперь же надо дать в книге — хотя бы страничку — упадок южной металлургии во время мировой войны. Возьми Полину, и проведите об этом с ним беседу. Пусть это опять будет в порядке личных воспоминаний. (Здесь такие моменты: Курако в Енакиево, главный инженер Шлюпп — зять директора бельгийца Потье, конфликт у «русской партии» со Шлюппом, Курако, кажется, съездил ему по физиономии, приезд «птичьей комиссии» — генералы Орлов и Соловьев, уход Курако из Енакиева.) Надо спросить и о забастовках военного времени, о причинах падения выплавки металла, о том, как показала себя русская металлургия в годы войны (война как проверка). Мне об этом надо написать одну страницу, но я хочу иметь порядочно материала. Вытягивайте живые детали, маленькие «свежатины». И высылайте стенограмму. Я ее использую при окончательной отделке.

Поделюсь, кстати, одной мыслью в связи с Бардиным. Я думаю, что было бы хорошо как-нибудь при случае написать о Бардине самостоятельную вещь примерно в таком жанре, как «Василий Иванов» Бориса Галина. Материал для этого — стенограммы Бардина и десятки высказываний о нем — у нас есть. Свою вещь Галин написал чудесно, не зря «Год XVI» открывался ею. И вот что интересно, — и мы, и Галин, не сговариваясь, одновременно пришли к каким-то новым способам литературной работы. Значит, это жизненно. Но Галину принадлежит первенство, он первым вышел с этим в печать.

Следующая просьба — съездить с Полиной на Гурьевский завод. Описывать его придется мне, а я там не был. Мне хотелось бы убожеством этого завода подчеркнуть пустынность Сибири. Возможно, и даже непременно, вы найдете там людей, которые дадут интересные штрихи из истории этого завода и вообще из истории сибирской металлургии. Это было бы очень пужно.

...Беседу с Бардиным проведите поскорей, в первую очередь. Чтобы было понятно, почему для меня важно дать военное время на южном металлургическом заводе, сообщу композицию, на которой я остановился. Первая глава: «Курако». Она дает этого человека и историю южной металлургии — иностранный капитал и бешеная эксплуатация дешевых русских рабочих рук. Заканчивается глава пятым годом, арестом Курако.

Концовка главы такова: «Идут годы — шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, перекатываются волны времени, — о Курако ничего не слышно на Юге».

Следующая глава: «Копикуз». Пойдет речь о Кузбассе, Тельбессе, Федоровиче, о поездке Трепова с иностранцами в Сибирь, кончается глава так: телеграмма относительно объявления войны застаёт Трепова на Тельбессе, и все уезжают. Тельбесс брошен. Здесь о Курако ни слова.

Следующая глава: «С Югом кончено, барбосы!» Молочный брат Курако, возвращаясь из ссылки, встречает его на Юзовском заводе. Бардин. Мечты о заводе американского типа, и неосуществимость таких замыслов. Переход в Енакиево. Война. Не хватает металла. Забастовки. Бурная сцена на Енакиевском заводе. Курако уходит оттуда, и ему уже нечего делать в России. Телеграмма от «Копикуза» с приглашением строить завод в Сибири. Здесь придется рассказать, что правительство решило дать деньги на металлургический завод, что война обнаружила слабость русской металлургии (вот тут у меня пробел). Кончается глава Февральской революцией.

Следующая глава: 1918 год, советская власть, Ленин.

И затем далее события по нашему плану.

14 июля. Малеевка

Живу тихо, мирно, погруженный в работу. Сегодня целый день читал материалы к главе, которую должен был писать Николаша: «Копикуз» при Колчаке». Составил план и завтра думаю взять этот барьер.

Здесь сейчас Перцов. Он издавна, еще со времен «Лефа», ценит очерк, документальную прозу. Теперь он и сам ступил на этот путь, сдал в «Историю заводов» книжку о заводе «Фрезер» — одиннадцать листов. Говорит:

— Не вышла последняя глава о реконструктивном периоде. Никак не могу написать.

— А большая глава?

— Три авторских листа.

Конечно, овладеть современной темой — это нелегкая и особая задача. Писать вторую книгу будет трудней и ответственней, чем первую. Но, думаю, справимся.

17 июля. Малеевка

...Тут новость — Тарасов и Зина не будут больше жить в Малеевке. Они уехали уже неделю назад, а вчера приехала Зина за вещами.

Не знаю, как Зина совладеет со второй частью. Она вчера мне сказала, что вторая часть составит четырнадцать листов (куда к черту!). Неужели она предполагает пустить все, что мы писали в Кузнецке, лишь слегка обработав? По-моему, все это надо бы перестроить заново, переписать и сделать листов восемь.

Думаю все же, что у нее получится прилично. Не блестяще, но удовлетворительно. Я передал ей вчера главу о приезде в Кузнецк И. Косиора, это числилось за мной, и я добросовестно выполнил свое обязательство. Она должна была привезти главу о роговщине, но не привезла. Ну, и ладно. Обойдусь без Зины.

...Наверное, в конце месяца я вышлю в Кузнецк свои перепечатанные главы (первые восемь).

20 июля. Малеевка

...Я по-прежнему работаю утром и вечером. Послезавтра поеду диктовать на машинку, — первая половина моей части будет готова, кроме главы о роговцах.

...Сюда приехал Борис Агапов. Последнее время я следил за его подвалами в «Известиях». Думаю, что если уж привлекать кого-либо ко второй книге, то стоило бы пригласить Агапова. Это очень работоспособный человек, прекрасно знающий заводы, с хорошим стилем. У него можно кое-чему поучиться, хотя бы умению строить фразу, ловить детали, — правда, не детали характеров, но времени и обстановки. Это у него выходит крепко.

23 июля. Москва.

...Вчера вечером приехал в Москву. Сегодня, завтра, послезавтра буду диктовать машинистке. Потом передам в главную редакцию для Горького и pošлю в Кузнецк. Чувствую себя усталым. Завтра напишу письмо Полине.

24 июля. Москва

...Сегодня продолжал диктовать. Вчера уже дал Шушканову три первые главы (Авербах уехал в отпуск, вместо него Шушканов). Завтра отнесу ему остальное.

Завтра или послезавтра вышлю главы в Кузнецк.

...Творческая работа здорово утомляет. У меня в Малеевке был такой режим — пишу четыре часа утром и три часа вечером. Потом вечернюю работу я сократил до двух часов. Даже и это трудно выдержать — начинается плохой сон, ночью в голове бегают Кураки, Федоровичи, фразы из книги и т. д.

...Я действительно прошел писательский вуз. Как будто специально послали меня учиться и даже репетитора взяли — Николашу, который меня обучал ежедневно. Он таки меня выучил. Я уже чувствую, что в отличие от моего прежнего писательства обладаю некой школой, неким методом. Это сделала для меня «История Кузнецкстроя».

26 июля. Москва

...Заклеил, завязал и сейчас посылаю в Кузнецк первые восемь глав.

Над ними еще много нужно поработать. Трудно, конечно, судить о своем, но у меня вот какие сомнения.

В третьей главе плохо вводится Бардин. Бездейственно. А ведь каждый ввод нового лица — это особая задача. Можно заметить, что у меня хорошо удаются люди в сценах. «Пишите сценами», — говорил мне Николаша. Напомню, что сцена — это не сценка. Сцена — это превращение одной ситуации в другую, противоположную (пример: мытарства Гапеева в Москве и вызов его в Кремль). Сцена — противоречье, коллизия, драма, действие. Вот написать всю вещь сценами — это искусство. К этому я стремился. Это самое трудное.

Плохо введен геолог Катульский. Сомневаюсь: нужно ли вводить жену Федоровича и давать ее смерть? Это очень рискованная страница, но, кажется, она проходит.

Как вообще пятая глава (1919)? Не слишком ли там много «прыгания»? То есть пестроты? Плоховато там сделан ответ Курако Груму. Затем нужна какая-то ремарка там, где сообщается, что Федорович давал ночевки подпольщикам. Вообще много надо переделывать, доводить до спелости. Хочется, чтобы вещь была, как хороший кокс, — звонкой, легкой, спелой, серебристой. Сейчас она еще не такова. Потом придется над этими главами поработать еще месяц.

...Сообщаю: все написано мной, за исключением конца второй главы (Трепов на Тельбессе, — Смирнов), двух страниц о Кольчугинском восстании (использован

черновик Крянниковой) и концовки восьмой главы (эту концовочку мне подарил Рахтанов на память о том, как мы вместе жили на площадке). Все это, конечно, пошло у меня в переделку.

...Шушканов прочел три главы, которые я дал ему сначала. Говорит: очень интересно, оригинально, ни на кого не похоже. Спросил: верно ли все это исторически? Сегодня я ему дам все полностью для передачи Горькому.

27 июля. Малеевка

...Сегодня вернулся в Малеевку.

...Здесь встретил Паустовского и говорил с ним. Впечатление такое, что он, возможно, согласится участвовать во второй книге. Дал ему читать свои главы, и через три дня будем говорить окончательно.

28 июля. Малеевка

...Мирно живу в Малеевке. Идет дождь. Топится печка. Время от времени подкидываю полешки (буквально, а не фигурально). Вспоминаю, что означало у нас с Николашей выражение «подкинуть полешко». Впрочем, мы лишь изредка себе это позволяли.

Вчера отдохнул, сегодня опять взялся за работу. Тружусь над следующими главами. Очень жду, каков будет отзыв из Кузнецка. Само собой разумеется, я готов по несколько раз переделывать свои главы. И даже независимо от замечаний редколлегии я в сентябре буду их переделывать, улучшать. Николаша считал, что самая настоящая работа начинается, когда вещь написана до конца.

...Сейчас веду переговоры (или, скажу проще, разговоры) с Агаповым и Паустовским.

Паустовский только что перенес тиф. Это человек низенького роста, в морщинах (это, наверное, после болезни), скромно одетый. Его глаза становятся лукавыми, в них загораются огоньки, когда он начинает рассказывать. И тогда испытываешь к нему не только симпатию, прямо нежность. Талант. А у меня есть какое-то чутье на талант, слабость к таланту. Может быть, мое писательское качество — быть певцом таланта. Паустовскому сорок один год. А по его вещам я полагаю, когда не был с ним знаком, что он молод. Писать он начал совсем недавно. Правда, пробо-вал уже давно, все тянулся к этому.

Вот хороша была бы бригада — Паустовский, Агапов и я.

Агапов не хочет порывать с «Известиями». Он теперь примерно раз в месяц дает туда заметные, большие, — на газетный масштаб — вещи, превосходно, классно сделанные. Я предложил ему взять во второй книге такую линию — параллель с Магниткой и «Кузнецкий завод строит вся страна», чтобы он мог разъезжать и раз в два месяца давать подвалы в «Известия» — о Кузнецке, о Магнитке, о южных заводах и т. д. Возможно, он согласится. Тогда эта важнейшая линия была бы у нас обеспечена.

Паустовский говорит: «Мне надо три месяца отдыхать после тифа. Потом хочу сделать сценарий по книге «Кара-Бугаз». Я высказываю предположение, что он сможет это сделать в Кузнецке. Он отвечает: «Нет, когда я чем-нибудь занимаюсь, я ухажу в эту работу весь и ничего другого делать не могу». Мне это понравилось. Я ему говорю, что можно выехать в Кузнецк первого декабря. Это как будто его устраивает. Мои главы он прочтет через два дня, тогда будем говорить более конкретно.

...Мне работать хочется. И хотя я устал от первой книги, готов сразу же броситься на вторую.

31 июля. Малеевка

...Поработал несколько дней, набросал главку и чувствую — устал. В голове утомление, сажусь за стол с трудом. Решил два, а может быть, и три дня ничего не делать. Это даст мне потом возможность взять хороший темп и с охотой сесть за новые главы.

Сегодня провел утро на реке, на солнце. Но в голове по-прежнему вертится книга и, главное, вертится уже написанное. Сейчас я почему-то обращен не столько к будущим главам, сколько к уже пройденным. Вероятно, это объясняется тем, что написанные восемь глав уже представляют собой нечто законченное, некую целостную повесть. За два-три дня я должен выветрить это из головы, чтобы форсированным маршем двинуться вперед.

Я сразу ошарашу читателя (это советовал Чехов: бейте читателя по морде), дам 1925 год, ура, подъем, строим, строим, и вдруг Усов — «руды нет». И как только я это скажу — вещь покатится сама в хорошем быстром темпе. Надо так остро построить, чтобы

вещь, как говорится, писала бы сама себя. Это тоже из уроков Николаши.

...Паустовский отказывается ехать. Он прочел мои восемь глав и очень, очень хвалит. Уверяет, что Горькому обязательно понравится.

4 августа. Малеевка

...Мне продлили путевку до 24-го. Здесь я опять хорошо работаю. И теперь твердо уверен, что к 24-му я свою часть кончу. Если бы я переехал в Москву, это было бы сомнительно. Пришлось бы думать о хозяйстве, о чае, об обеде, черт знает о чем. Тем более что за хлебом очереди. А здесь все готовое, думай только о работе.

Да, 24-го я уеду отсюда с законченной рукописью. Представляю себе это: все дела упакованы, материалы уложены,— к ним я больше не прикасаюсь. Какое счастье! Первого сентября — отдыхать в Крым! Блаженство! Вот что творит усталость.

7 августа. Москва

...Вчера приехал из Малеевки в Москву. Завтра — обратно до 24-го.

...Сейчас утро. Сегодня у меня такие дела. Загляну к Тарасову, вручу ему рукопись, которую выслал на площадку и дал в главную редакцию. Потом зайду в особняк Горького. Вчера вечером я звонил Шушканову, спрашивал: прочел ли Горький? Он не знает. Он передал мои главы Авербаху (оказывается, Авербах под Москвой), а тот должен передать Горькому. Сегодня все это выяснится.

Я спросил Шушканова, как ему понравилось. Он ответил: «Хорошо, очень хорошо». Очевидно, таково же мнение и Авербаха. Иначе Шушканов ответил бы уклончиво.

Если Горький прочел, постараюсь добиться с ним свидания. Одним словом, к вечеру все выяснится.

8 августа. Москва

...Можешь поздравить с победой, с полнейшей победой.

— Виктория! Виктория! — как закричал бы Петр Первый.

Только что пришел от Авербаха. Всю дорогу от Покровки до Тверского бульвара шел пешком — переживал.

Авербах со мной говорил, как с настоящим писателем. Complimentов масса.

Авербах сказал, что он с Горьким проговорил два с половиной часа об этой вещи. Горький хорошо оценил ее. Он считает, что материал исключительный, но еще надо работать, дорабатывать. Как я понял, его не удовлетворяет краткость. Он даже высказал мысль, не привлечь ли крупного писателя, чтобы помочь мне доработать, но Авербах поручился, что я справлюсь сам.

В общем, положение таково. После сентября, после того как я вернусь из Крыма, главная редакция дает мне средства, и я еду к Федоровичу в Караганду, затем в Ленинград, собираю недостающие сведения и еще месяца два работаю над своей частью. Авербах непосредственно будет руководить.

Я буду сидеть с тобой, говорит, над каждой страницей. Эта книга, мол, может произвести переворот в литературе.

Конечно, Авербах любитель таких слов, я это понимаю. Но, видимо, он увлечен искренне.

Потом вещь сразу пойдет в альманахе «Год XVII». Они закрепляют ее за собой. Это превосходно.

Авербах передал слова Горького: главное — не торопиться, не спешить. Когда я заикнулся, что на последующую книгу понадобится не менее полутора лет, Авербах сразу согласился и одобрил.

В общем, отношение ко мне изменилось в корне. Авербах говорит:

— Я читал главы Киришону, Сутырину. Все хвалят. А потом объявляю, что это писал Бек, и никто не верит.

И еще наговорил много разных разностей.

Сказал: дадим денег, Горький сам напишет в Кузнецкстрой, что вещь такая-то — такая-то, и надо еще работать, нельзя в незрелом виде давать драгоценный материал и т. д. и т. д. В общем, говорит, ни о чем не думай, думай только о работе.

10 августа. Малеевка

...Как тяжело, как тяжело приниматься за работу.

Сейчас утро, позавтракали, надо садиться писать — и не хочется. Сегодня опять была бессонная ночь. Устал, здорово устал.

...Рад телеграмме о твоём выезде в Москву. Это последнее мое письмо из Малеевки в Кузнецк.

...Вследствие усталости новые главы получаются очень, очень сырыми. В них мало находок. Но все-таки я допишу. Когда текст лежит на бумаге, даже самый черновой, видишь слабости и провалы.

Я вижу, что у меня нет образа Эйхе. Эйхе есть, появляется тут и там, а образа нет. Я и раньше это как-то понимал, но сейчас это режет глаз. А ведь Эйхе — одно из центральных лиц в дальнейших главах. Надо так же любовно его вылепить, как и Курако. А я почти ничего об Эйхе не знаю. Значит, надо работать, собирать материал, просить, чтобы о нем рассказали, идти к его жене, к его друзьям, к нему.

Меня очень интересует и образ Бурова — председателя Гипромеза (да и образ — собирательный — самого Гипромеза). Это тоже не доработано. Также не доведено до степени образа.

Но я не унываю, не страшусь. Верю, что дело мне по силам. Нужно только время, время, время.

Меня здорово подбодрил Авербах. Вот у них правильная установка — не торопись, доработай до спелости. Как я за это благодарен! Мне самому этого хочется больше всего — доработать, довести, — и я боялся, что не позволят. Авербах предлагал мне взяться одному за писание всей истории Кузнецкстроя. Надо обдумать. Но об этом поговорим, когда приедешь.

ПРОЩАЙ, ИСТОРИЯ КУЗНЕЦКСТРОЯ

1934. Февраль

Следующая пачка писем относится уже к 1934 году. Ее открывают листки, датированные февралем.

Кратко изложу некоторые события моей жизни начинающего писателя-прозаика, что произошли за месяцы, не отмеченные письмами.

В октябре 1933 года я съездил по командировке главной редакции в Караганду к бывшему директору-распорядителю «Копикуза» Федоровичу. Встреча с ним обогатила мои главы неизвестными фактами, новыми подробностями. В ноябре эти главы были отшлифованы, готовы для печати.

Авербах, замещающий А. М. Горького и в редакции альманаха «Год XVII» (сам Алексей Максимович в это время жил в Крыму), сдал мою рукопись в набор. Она

называлась: «Главы истории Кузнецкстроя». Сверстаный номер альманаха — надо ли говорить, какие чувства возбуждает в авторе вид уже оттиснутых на станке листов его первого произведения? — был послан Горькому.

Некоторое время спустя меня вызвал Авербах. Блестящая своей лысиной, которая чуть ли не с юности сделалась его отличием, он без дальних слов перешел к делу:

— Садись. Сегодня от Горького прибыла верстка. А также получено его письмо. Вот что он пишет о твоей вещи.

И я выслушал горьковские строки, прочитанные мне Авербахом. Содержание, как мне помнится, было приблизительно таким. Моя вещь Горького не удовлетворила. Она, как и прежде, показалась ему конспективной, рваной, скачкообразной, не плавной. Эти строки о необходимости плавного повествования мне точно помнятся. Указывались, наверное, и другие недостатки. Были, кажется, и приятные для меня слова, но, не полагаясь на память, о них я умолчу. Так или иначе, Горький посоветовал переработать, развить вещь.

Авербах небрежно сказал:

— Если бы я с ним повидался, все в пять минут было бы улажено. Я уговорил бы. И напечатали бы. Но у меня нет двух дней, чтобы съездить в Крым.

Действительно, Авербах тогда был поглощен организацией огромной коллективной книги «История Беломорско-Балтийского канала». Это варево уже кипело. Великолепный пароход, уже поданный к причалам московского Северного порта, ожидал пассажиров-писателей. Я, еще не опубликовавший ни одного абзаца прозы, порой лишь поглядывал со стороны — и, возможно, не без зависти — на эту притягательную кутерьму в главной редакции.

— Сейчас ничего нельзя поделать, — заключил Авербах. — Приходится тебя выкинуть из альманаха.

Мне и теперь больно вспоминать эти минуты. Но надобно было хоть что-нибудь спасти. Я сказал:

— Однако верстка у нас все-таки есть. Что ей пропадать? Давай тиснем тысячу экземпляров на правах рукописи.

Читателю надо пояснить, что подобные издания практиковались в те времена главной редакцией «Истории заводов». Авербах согласился.

И вот неделю-две спустя я привез из типографии увесистые связки моей книжки. На обложке значилось: «А. Бек. Главы истории Кузнецкстроя (1913—1920 гг.). На правах рукописи для обсуждения. Государственное издательство «История заводов». На обороте так называемой титульной страницы можно было прочесть: «Подписано к печати 17 декабря 1933 г. Тираж 1000 экз.».

Завалив этими связками багажную полку в купе, оставив запасец и в Москве, позабыв горечь,—напротив, испытывая удовлетворение своей маленькой авторской победой,—я отправился в Кузнецк. На вокзале в Новосибирске купил свежий номер «Сибирских огней» и... был ошарашен неожиданностью. Номер открывался отрывками из моей рукописи, которые редакция озаглавила «Доменщик Курако (Из материалов по истории Кузнецкого завода)». Мне было одновременно и радостно и неприятно. Редакция использовала, не спросив меня, ранний, весьма сыроватый вариант моих глав, что были посланы на площадку несколько месяцев назад. Подумалось: ладно, это все же признание, и не малое!

Но не тут-то было. Уже в следующем номере журнала редакция сообщила читателям, что считает ошибочным помещению моей вещи и, назвав ее—благодарю покорно!—вредной, обещала в ближайшем номере дать—ох!—развернутую критику.

Пришлось вновь пережить проработку, на этот раз сибирскую. О ней можно судить по заметке в газете «Литературный Сталинск». «23 января,—гласила заметка,—состоялось заседание редколлегии «Истории Кузнецкого завода» с участием бригады краевого оргкомитета Союза писателей, местных писателей и литкружковцев... О работе московской писательской бригады рассказал тов. Бек. После сообщения развернулись оживленные прения. Центральным вопросом прений была книжка—первые главы истории завода, написанные тов. Беком. Книгу критиковали за то, что она содержит ряд явно политически неправильных положений, ряд исторических неточностей. Тов. Бек героями истории Кузнецкстроя вывел людей, ни в какой степени не являющихся ими, и умолчал о подлинных инициаторах и организаторах этого величайшего строительства. Редколлегия предложила тов. Беку коренным образом переработать брошюру».

Затем меня пригласили в Новосибирск и там на собрании писателей разнесли или, как говорится, изрубили в капусту мои главы. Я лишь побряхтывал.

И все же решил не бросать дело, договорился с редколлегией, что буду еще и еще изучать реальную историю, разыщу в Сибири и в Москве большевиков, причастных к истории Урало-Кузбасса, выпрошу их.

На этом порешили, хотя мои предчувствия были мрачными. Мне дали командировку в Новосибирск и в Москву.

Кажется, чуть ли не в день моего отъезда на площадке был получен из Новосибирска для опубликования документ под заглавием «Резолюция». На двух страницах машинописного текста содержался нещадный разнос «Доменщика Курако». Тут же сообщалось, что резолюция была принята такого-то числа собранием новосибирских писателей. Но я и сам присутствовал на этом собрании. Никакой резолюции оно не приняло.

Как же работать дальше? С тяжелым сердцем я сел в поезд.

12 февраля 1934 г. Новосибирск

...Второй день я в Новосибирске. Вчера отправил телеграмму Авербаху. Вот ее текст: «Столковался редколлегией по всем вопросам но ввиду поведения краевого оргкомитета напечатавшего в припадке восторга черновики без разрешения автора ныне припадке раскаяния начавшего кампанию проработки категорически заявляю отказе дальнейшей работы заявление высылаю почтой днями буду Москве Бек».

Заявление я составляю окончательно завтра утром (вчера и сегодня весь день — беседы для книги).

Немедленно послать телеграмму заставило меня следующее обстоятельство. В крайкоме встречаю В.— это бородач, член здешнего оргкомитета, претендующий на роль идеологического вождя в Новосибирске, заявляющий себя участником больших революционных событий в Сибири,— встречаю В. и говорю:

— Вот мне с вами надо провести беседу.

Он отвечает:

— Никаких бесед я с вами вести не буду, никаких материалов не дам, я не считаю вас способным писать историю завода.

Добавляет:

— Разговаривать с вами не стану, выскажусь в печати.

И все это нервно, брызжа слюной, задыхаясь.

Как хорошо, что я заранее решил, как буду реагировать на подобные афронты. В душе я даже обрадовался вспышке В.— внесена ясность: работать нельзя. Пишу телеграмму и иду (по совету Андрея Кулакова, с которым я встретился и поболтал) к культпропу крайкома Колотилову. У него на столе как раз лежит перепечатанное на машинке письмо в главную редакцию по поводу моей книги, которое припесено ему на подпись. Уголкем глаза вижу: «Культпрон возражает против издания...»

Я даю ему свою телеграмму (копию) и в возмущенном тоне рассказываю про резолюцию. У меня осталось впечатление, что резолюция была согласована с Колотиловым (он ее защищал по существу), однако он сразу сказал:

— Я первый раз слышу, что вещь напечатана без вашего согласия. Это меняет все дело.

И тут же позвонил в «Сибирские огни». Итина — ответственного редактора — не было, его зам Коптелов ответил, что он слышал об этом, но точно не знает.

Я заявляю, что на собрании не было принято никакой резолюции.

— Значит, это подлог? — спрашивает Колотилов.

— Безусловно.

Рассказываю про В. Прощаюсь, оставляя Колотилова в некотором смущении.

Потом я зашел в редакцию «Сибирских огней». Там Итин и кто-то еще. Итин пытается кое-как выпутаться, сваливает все на Кудрявцева (которого в городе нет). Расстаемся так: я ругаюсь, они виновато молчат.

Но, в общем, все это пустяки, мышьяная возня, которая, признаюсь, мало меня трогает. Все идет так, как нужно. Мой поступок приостановит кампанию в печати, а там посмотрим.

В Новосибирске провел несколько интереснейших бесед, — об этом в другой раз.

13 февраля. Новосибирск

...Новостей никаких не произошло. Через три часа уезжаю в Москву.

...Я удивительно спокоен, и вся происходящая история совершенно не отражается на моем рабочем настроении. Стремлюсь в Москву, к работе, хочу вцепиться в новое произведение, мечтаю, что оно будет прекрасным.

15 февраля. Свердловск

...Подъезжаем к Свердловску. До Москвы еще двое суток. Нынешний день я решил поголодать,—ничего нет полезнее одного дня полной голодовки для человека, который ел много мяса (такого мнения придерживался Билл Хейвуд). А вагон самое подходящее для этого место—ни двигаться, ни работать.

18 февраля. Москва

...Приехал вчера в Москву.

...Побывал на гражданской панихиде по Багрицкому...

...Там издали раскланялись с Авербахом. Он не выразил во взгляде ни малейшего удивления,—очевидно, телеграмму получил и знал, что я приеду.

Поговорить с ним и даже созвониться пока не удалось,—домашний телефон у него испорчен. Вероятно, увижусь сегодня.

Работать хочется,—прямо горят руки. Начну деятельность завтра с утра—только подавай. Начну устраивать беседы, сидеть в читальне, докапываться до тайн 1918 года.

...В главной редакции тактика моя будет такова: решительно, категорически стоять на своем (на отказе).

20 февраля

...В моих делах по-прежнему неопределенность. С Авербахом до сих пор не встретился,—он по каким-то делам целыми днями пропадает... Впрочем, одно то, что он не пригласил меня к себе, а предложил прийти на службу, показывает, что я сейчас у него не в фаворе, что ветер дует не в мою сторону.

Ко всему этому я отношусь довольно равнодушно,—весь поглощен работой. Сейчас я похож на рыболова, который раскинул свои удочки и ждет, где клюнет. Ловлю таких людей: Кржижановский, Ломов, Милютин, Осинский, Бонч-Бруевич, Вениамин Свердлов и т. д. Все они должны поделиться со мной

воспоминаниями, я обязан этого добиться. Каждому передана моя книжка (часто приходилось давать две книги — одну для высокого лица, другую секретарю: очень важно заручиться секретарским расположением). Через секретарей всем подробно объяснено: в книге бегло, бледно показаны большевики, а надо сделать их центральной силой, без воспоминаний самих большевиков этого не сделаешь.

Завтра-послезавтра жду первых результатов. Надеюсь, дня через два начнутся беседы. Порой хочется воскликнуть: «Не будь я Бек, если, товарищи хорошие, к вам не пробьюсь!»

22 февраля

...Я заболел, грипп меня зацапал. Впрочем, болезнь протекает легко, температура тридцать семь с десятыми, самочувствие хорошее. Возможно, завтра или послезавтра встану.

Сейчас лежу и позваниваю секретарям — проверяю свои удочки.

Успех пока наметился только в двух местах: у Кржижановского и у Савельева. Секретаршам того и другого книга понравилась, и они (то есть секретарши), по всему видно, оказывают мне всякое содействие. С Осинским у меня провал — через секретаря наотрез отказал в беседе. Придется охотиться на него какими-нибудь окольными тропами. От Ломова и Милютина пока не имею ничего определенного: ни согласия, ни отказа. Завтра опять буду всем названивать.

Лежу, обдумываю план новой книги. Возможно, это будет отличная вещь, если смогу иметь достаточно времени, чтобы ее написать. Там будут скрещиваться и пересекаться три линии: банкиры, большевики центра и рабочие Кузбасса. Рисуются три главных героя: Прокл (или Прошка, его так называли) Батолин, едва ли не самый богатый человек в России, «русский Стиннес», затем Франц Суховерхов, рабочий Кузбасса, большевик, и неясно, кто еще из крупных людей партии. Думаю о Ленине.

24 февраля

Вот я и здоров. Вчера и сегодня нормальная температура. Сегодня провожу две беседы.

С Авербахом не виделся. У меня был Рахтанов. Принес груду листков, испещренных крупным его по-

черком. Это кусочки его детской повести, которую он пишет для журнала «Пионер». Читал мне с пылу с жару. Потом, между прочим, рассказал, что Авербах увлечен сейчас новой идеей — дать коллективную книгу о тихоокеанской проблеме (в связи с Японией). К участию в книге привлекаются американцы (Драйзер, Дос Пассос и др.), китайцы, японцы — вообще бум на весь мир.

Я надеюсь организовать свою работу помимо Авербаха, исподволь выясняю такую возможность. Это было бы самое лучшее.

О Власове ни слуху ни духу. А ведь он уже должен быть в Москве.

В столовой Дома Герцена я ежедневно получаю комплименты по поводу моей книжки. Особое впечатление произвела на меня похвала Митрофанова. Он, как и прежде, щеголяет с вечно расстегнутым воротом. Странно, бывший типографский рабочий усвоил небрежность одежды и прически российского интеллигента. Оригинален в суждениях. Я его ценю как настоящего художника. Он теперь подвизается в качестве редактора в издательстве «Советская литература».

Примечание. Приведу здесь с разрешения моего адресата ответное письмо с площадки, грустное и не лишённое резонов.

«...Ты пишешь: «Это будет отличное произведение, если смогу иметь достаточно времени». Ну, а если времени ты не получишь? Думаешь ли ты о реальных перспективах? Ведь, заметь, эти реальные перспективы очень не блестящи. Где твоя опора? В главной редакции? Нет. В Крае — против. На площадке сам Франкфурт может, того и гляди, прекратить кредиты истории завода.

...Ты пишешь «мировые» произведения. Их хвалят за чашкой чая и за тарелкой щей, но не печатают и в печати ругают.

Прости мое малодушие, но не могу всего этого не высказать. Не утешайся, не придавай значения литературной болтовне в Доме Герцена. Тот же Митрофанов не напечатал бы книгу в «Советской литературе».

...Здесь я готовлюсь к новым бедам. Хотелось бы только, чтобы не очень много было позора. Писания Зины никуда не годятся, и если подведешь и ты, то скандала не миновать. Пойдут разговоры

и о полученных деньгах, и тому подобное (будь спокоен — это будет).

Сейчас тяжело здесь. Никто больше и не спрашивает, как дела с историей. От столовой и распределителя меня открепили. Говорят, сам Франкфурт вычеркнул. Потом дали пятый магазин и двадцать седьмую столовую. Это ничего. Как бы совсем не вычеркнули».

Без комментариев перейду вновь к своим письмам.
Лети дальше, почтовая повесть.

26 февраля

...Я хожу сейчас словно в чаду — в чаду работы.

Чертовски интересное дело выясняется с этой группой «Стахеев», где главным воротилой был Прошка Балотин. Необыкновенно интересно. Это действительно был русский Стиннес — овладел колоссальным количеством предприятий и все гнул одну линию: на восток, на восток.

И каждый день мне приносит новости. Позавчера узнал, что эта группа «Стахеев» имела свои департаменты, наподобие министерств, сугубо тайные. Во главе горного «департамента» стоял директор Геологического комитета Богданович, во главе железнодорожного — товарищ министра путей сообщения Борисов и т. д. Вчера узнал, что они вели Бухарскую железную дорогу и эмир бухарский был у них в руках. И все это было тайно, тайно, сугубо законспирировано.

Словом, что ни день, — свежатина! Какое это наслаждение проникать в исторические тайны! И какое нетерпение — скорее бы проникнуть! Я прямо рою землю.

В общем, по линии капиталистической я продвигаюсь вперед, а вот по линии коммунистической нет еще ни одного успеха: ни с кем из моего списка не было еще ни одной беседы. Никак не пробьюсь к большим работникам, политикам. А ведь я с полной искренностью, от всей души написал во вступлении к «Истории Кузнецкстроя»: «И прежде всего и больше всего будет рассказано о партии, великой партии коммунизма, шестнадцать лет назад взявшей власть в измученной разоренной стране». И я стучусь, стучусь в двери политиков, деятелей партии. Мечтаю наговориться с ними. Но пока безрезультатно. Как бы им объяснить, что писатель не может ограничиться лишь документами, старыми газетами, что ему нужны личные впечатле-

ния, живой рассказ. Душа раскрыта, чтобы узнать, полюбить таких людей, увлечься ими, но пробиться, встретиться с ними я еще не мог. Здесь нужна невероятная настойчивость. И выдержка. Я ежедневно жму и жму и верю, что на днях все же начнутся встречи, разговоры, и потечет, потечет совсем новая река свежатин. Как это было бы великолепно!

Ну, теперь о делах. Вчера у меня были Власов с Тарасовым-Родионовым. Они не застали меня и сегодня вечером придут опять. Моя тактика — не отказываться наотрез, но и не брать заявления обратно, пока не будут даны какие-то реальные гарантии нормальной работы. Какие же это гарантии? Одернуть оргкомитет Новосибирска, осадить В. (чтобы это было сделано Эйхе, чтобы были какие-то письменные следы и т. д.). Очевидно, вопрос останется пока открытым, я буду продолжать работу, не связывая, однако, себе рук.

Сегодня, возможно, увижусь с Авербахом. Я ему приготовил тонкий крючок, на который он должен клюнуть. Буду рассказывать о группе «Стахеев» и намекну, будто невзначай, что здесь один из ключиков к дальневосточной проблеме. Он наострит уши, и я, возможно, приму участие в тихоокеанской книге.

Кое-кто мне советует: никому не рассказывай! А я не боюсь, что перебьют материал: он настолько труден, настолько покрыт тайной, что, наверное, никто, кроме меня, его не раскопает.

28 февраля

...Я весь завален новостями, сижу по горло в новостях.

Ну-с, начать с того, что от «Истории Кузнецкстроя» я свободен, освобожден. Этому рад.

Позавчера, как я писал, ко мне пришли Власов и Тарасов. Не застали меня, оставили записку: придут-де на следующий день в шесть вечера. А тут, как нарочно, в пять часов мне звонит... угадай, кто? — Валерий Иванович Межлаук и спрашивает: не могу я ли к нему сейчас заехать? (Я ему раньше послал книгу.) Я, конечно, еду. О свидании с ним потом. В шесть часов приходят Власов и Тарасов и узнают, что меня пригласил В. И. Межлаук. Они ждут до семи.

Я приезжаю оживленный, рассказываю, что Межлаук очень хвалил книгу (очень хвалил — это действительно

так; подробности ниже). Они сидят печальные. Потом Власов говорит, что мое заявление произвело свое действие и с первого марта я свободен. Он был очень угнетен и расставался со мной с болью душевной. Он сказал: своим заявлением вы поставили всех в такое положение, что все должны или стать перед вами на колени, или отказаться от вас. Созданное положение мог бы поправить только Эйхе, но Эйхе поправлять это не захотел, книга ему не понравилась и вмешиваться он отказался.

Ну, поговорили. Все шло очень сердечно и мило, но расставание испортил один инцидент. Тарасов потребовал, чтобы я сейчас же, не выходя из дома, сдал все стенограммы (очевидно, пока-де не успел припрятать). Я запротестовал,—ведь в Кузнецке имеются копии, Тарасов поднял шум, я вынул стенограммы и отдал.

В общем, была нехорошая сцена. С особым сожалением я выложил все стенограммы по АИКу. Ведь этот сюжет—история аиковцев—моя тайная любовь. Я лелеял эту тему, подбирался к ней исподволь, без спешки, зная, что когда-нибудь,—возможно, очень не скоро,—напишу вещь об АИКе. Но, слава богу, по АИКу у меня есть несколько тетрадей моих личных заметок.

Тарасов собственноручно составил под копирку опись и акт передачи. Потом все было увязано, получились два тяжелых тюка. Поднимая, Тарасов крикнул. И тут—буквально в последнюю минуту—я сказал:

— Товарищи, оставьте это мне во временное пользование. Я сам доставлю все стенограммы на площадку. Все до единой по описи.

Представь, разрешили. Одним словом, я подписал обязательство доставить стенограммы в Кузнецк или сдать по первому требованию в Москве.

И вот еще что. Власов усиленно просил меня писать роман о Кузнецкстрое в личном, так сказать, порядке, предлагал даже заключить договор, дать деньги, но я сказал, что сейчас ничего обещать не могу.

Они мне сказали, что Тарасов подыщет писателя, который в три месяца напишет первую часть.

Конечно, «Истории Кузнецкстроя»—конец.

И вообще неизвестно, что будет с «Историей заводов». Авербах получил назначение—секретарем горкома ВКП(б) Нижнего Тагила (постройка крупнейшего

вагонного завода). Сегодня он пригласил меня к себе, был очень любезен. Не подул ли опять каким-то благоприятствующим мне ветерком?

Теперь о встрече с В. И. Межлауком. С виду это человек европейской складки: отлично одет, свежесбрирован, причесан. И располагающе приветлив, мягок, приятен. Ох, как хотелось бы узнать, постигнуть скрытый за светскостью внутренний мир этого крупного работника, члена ЦК. Он просил меня исправить одну дату в нашем плане «Истории Кузнецкстроя» (я ему послал вместе со своей книжкой номер «Большевистской стали», где напечатан этот план). Его разговор со Сталиным о металлургии был не в 1928-м, а в 1929 году. Собственно, из-за этого он меня и вызвал в таком экстренном порядке.

Книжку он прочел, ему понравилось. Федорович очень похож, сказал Межлаук, Курако великолепная фигура и т. д. Приглашал заезжать, звонить. На днях еще раз буду у него.

Мои намерения, перспективы? О них в другой раз.

«КУРАКО» ИДЕТ В «ЗНАМЕНИ»

1934. Март — апрель

1 марта. Москва

...Вероятно, в апреле буду на площадке, — дорога в Кузнецк ведь у меня оплачена. Надо отдать отчет в командировке и очиститься в денежном отношении.

...Вчера был в МХАТе, встретился с Межлауком, познакомился с его женой. Он опять приглашал зайти.

2 марта

...Итак, о планах. Прежде всего, я хочу написать книгу, которую уже ношу в себе, — Прокл Батолин, ВСНХ, Франц Суховерхов. Не пропуская ни одного дня, веду работу по этой книге, нахожу, опрашиваю людей.

Как же с финансами? А вот как. Я хочу включиться в коллектив по дальневосточной проблеме (принимают меня туда очень охотно). Эта книга будет писаться, несмотря на безначалие в «Истории заводов» в связи с уходом Авербаха. Я в этой книге возьму именно главку о группе «Стахеев», — главку, которая будет и некоторой исторической новинкой. Ведь они —

я имею в виду прежде всего Прошку Батолина — вели Южно-Сибирскую магистраль, охватывающую влиянием Монголию и Китай, вели Бухарскую железную дорогу, овладели Кузбассом и вообще шли на восток, на восток. Их сибирский уполномоченный Остроумов, строитель Южсиба, стал после Колчака управляющим Китайско-Восточной ж. д.—представителем китайской стороны. Словом, точек соприкосновения с тихоокеанской темой много.

Эта работа будет, очевидно, хорошо обставлена (поездки, стенографистки).

Кроме того, на днях начну переговоры в Наркомтяжпроме о собирании стенограмм интересных, крупных людей нашей индустрии. Быть может, придется попросить субсидию у Орджоникидзе. Свою книжку я ему послал. И написал, что в дальнейшем хочу дать историю ВСНХ первого периода.

...Предполагаю напечатать «Копикуз» (то есть главы в виде повести под таким заглавием и без всякой ссылки на «Историю Кузнецкстроя») в «Красной нови» у Ермилова. Подробности об этом завтра.

3 марта

...У меня завязывается совершенно неожиданный альянс с Ермиловым. Борис Левин, Митрофанов, Перцов настойчиво советуют мне напечатать мою работу (она же вышла лишь на правах рукописи). Где? Конечно, в «Красной нови». Этот журнал самый солидный, там ценят искусство, он дает марку.

Хорошо. Звоню Ермилову. Он чрезвычайно любезен, разговорчив, обрадован. Книжки еще не прочел, много слышал о ней, и беглый просмотр его очень заинтересовал. Говорит:

— Я хочу обязательно привлечь тебя к работе в «Красной нови».

...В общем, Москва сейчас встречает совсем не так, как полгода назад. Чувствую дружелюбие, мне говорят много приятного.

...Через месяц, числа десятого апреля, я буду на площадке,—ведь мне надо сдать отчет по командировке. Хорошо бы взять с собой стенографистку и провести сотню бесед—по две в день. Если я заключу договор с Наркомтяжпромом, мне надо будет взять воспоминания Курчина, Ровенского и других ветеранов металлургии кузнечан. Может быть, у меня будут дела

и в других местах Сибири (даже наверное), придется поездить. А пока проводи беседы, пополняй собрание стенограмм, используй Полину сколько сможешь.

4 марта

...Получил твое письмо с вырезкой из «Литературной Сибири». Гроза, как вижу, разразилась уже в ослабленном виде. Резолюции как бы и не было, только отзыв Ансона, и то не очень кровожадный. Для компенсации перепечатали, однако, ядовитую заметку из «Лит. Сталинска».

...Трудно дается мне моя работа. Ужасно тяжело добиваться свиданий с большими работниками. Больше двух недель веду осаду, и пока пробита лишь одна брешь — В. И. Межлаук. Был еще раз у него, он рассказал много интересного. На послезавтра я приглашен к Бурову (на дом), он мне порасскажет и об Урало-Кузбассе и о Гипромезе.

Вот, собственно, и все мои успехи. А к Ломову, Милютину, Кржижановскому и пр. и пр. я все еще не могу проникнуть и проникну ли — не знаю. Я убедился, что книжку с моим замыслом (особенно Ленин, внутрипартийная борьба, ВСНХ и т. д.) вряд ли сумею написать, — не могу добраться к материалу, к людям. А Прошка Батолин, взятый сам по себе, вне борьбы капитализма и коммунизма, для новой литературы малоинтересен. Во всяком случае, его биографом я быть не намереваюсь.

4 марта

...Сегодня виделся с Авербахом. Со мной он мил. Известие о том, что я вольная птица, принял совершенно спокойно и даже чуточку с одобрением. Его дух уже отлетел от «Истории заводов». Он откровенно говорит, что здесь дела застынут. Мне он сказал:

— Редакция «Истории заводов» будет тебя рекомендовать на любую работу, какую ты захочешь.

Я поблагодарил. Думаю использовать «Историю заводов», чтобы взять там соответствующую бумажку куда-либо, а работать самостоятельно, без редколлегий.

5 марта

...Пожалуйста, возьми в библиотеках на Верхней и на Нижней колониях отзывы о моей книге. Бюллетень

«История заводов» хочет дать обзор. Я обещал им представить отзывы.

...В письмах я сообщал о всех новостях, но так как это письмо идет с оказией и, наверное, обгонит почту, я вкратце повторю.

Сейчас я держу курс на то, чтобы 1) напечатать в журнале свою вещь просто как повесть, а не как историю Кузнецкстроя и 2) найти новую работу, которая совпадала бы с моими замыслами и давала бы примерно такие же материальные средства, как и Кузнецкстрой.

Насчет продвижения в печать начал разговоры с Ермаиловым («Красная новь»). Он рассыпался в любезностях — это на него действует общественное мнение, — но книжку еще не прочел. Надеюсь, что сегодня — завтра буду иметь с ним обстоятельный разговор.

Что касается работы, держу пока курс на участие в дальневосточной (тихоокеанской) книге. Если это дело будет застопорено, напишу, возможно, одну-две мелкие вещи. Пока неопределенность.

7 марта

...Вчера мы назначили в Оргкомитете «свидание друзей» — Паустовский, Рахтанов, Софья Виноградская и я. Это приблизительно состав бригады, которую я — пока суд да дело — сколачиваю для поездки на Петровский забайкальский завод. Видишь, влечет, влечет меня Сибирь!

Пленум Оргкомитета был, однако, перенесен (по просьбе Горького) на сегодня. Вчера наша встреча не состоялась.

У меня бродят такие мысли: не запустить ли мне сейчас в работу тот роман, который был у меня в плане — именно «история домны», если называть условно. Сюжет его примерно такой: группа доменщиков-куракинцев, сторонников больших печей американского типа, и группа так называемых «антиамериканистов» (Свицын и др.). Их давняя борьба. Ее этапы: до революции, затем Гипромез, борьба течений и, наконец, решение строить заводы американского типа. Ученики Курако ведут воздвигнутые домны, зима, кризис, домны не идут. Свицын потирает руки («я-де говорил»), Жестовский чуть не стреляется, и, наконец, победа. Сюжет прекрасный, полный действия, драматизма. (Сюда бы еще американцев ввести, представителей капиталисти-

ческого мира.) Это была бы повесть, и вместе с тем по ней можно было бы сделать сценарий.

Насколько я понял Власова, Кузнецкстрой стал бы такую работу финансировать. Тогда я смог бы проводить на площадке беседы, моя поездка в Кузнецк стала бы деловой.

Видишь, сколько у меня планов, проектов, сюжетов, и ни на одном я пока не остановился. Это не есть разбрасывание, я в себе не волен, для любого плана нужна солидная финансовая база,— я же ничего не могу выдать без огромнейшего изучения,— без серьезной базы нельзя и начинать, а где ее найти? Где я ее добьюсь, там и заработает инструмент. А потом — мне, конечно, надо писать такую вещь, которая безусловно бы прошла, нельзя же, чтобы каждое мое творение продиралось сквозь колючки.

8 марта

...Действительно, сейчас наступает какой-то новый этап литературы, ищут новых форм и вообще нового (вот мы, например, нашли же новую методику и, наверное, подобных изобретений не мало), и страшно нужен новый тип критика — критика-организатора, критика-созидателя. А таких людей почти нет.

...Мне все больше нравится мысль написать повесть «Кризис домны», но на площадке об этом никому ничего не говори. Я не хочу навязываться, хочу, чтобы Власов сам пригласил меня, когда я буду в Кузнецке. Конечно, можно сделать великолепную и вместе с тем не слишком острую — пишу это со вздохом — вещь.

...Пленум Союза писателей очень интересен. Дан, очевидно по инициативе ЦК, новый лозунг, который я приемлю всей душой. Лозунг таков: за высокое художественное качество, за овладение техникой литературного мастерства. Это центральный пункт, гвоздь докладов. При этом сейчас отменяются старые разговоры об отставании от темпов и т. д. Наоборот, дается четкая директива: работай год, два, три над произведением, но добейся отличного качества, первоклассного мастерства.

Очевидно, сейчас будет равнение на мастеров (и Панферову придется туго, его и критикуют в связи с этим поворотом).

Думается, настает благоприятное время для выношенных, сделанных надолго вещей. Возможно, и моя

попадет в точку. Впрочем, не сглазить бы,— с Ермиловым и с Фадеевым еще разговора не было, будем толковать после пленума.

9 марта

...Кажется, дело с бригадой, которая поедет на Забайкальский завод, вытанцовывается. Соня Виноградская, очевидно, будет бригадиром. Она скромный, приятный человек — не мажется, не жеманничает, работает над книгой «Портреты инженеров», уже написала Рамзина, Винтера, хочет написать Бардина.

Мы, очевидно, поедем как бригада Оргкомитета по Бурятско-Монгольской республике для подготовки к съезду писателей. Республика маленькая, писателей не много, так что оргработы почти не будет. Вероятно, я заеду сначала в Кузнецк, потом догоню бригаду в Забайкалье. И снова вернусь на площадку.

11 марта

...Думаю, что призывы к умеренности, к тому, чтобы не делать большой ставки, не писать мировых произведений, неправильны. Я, конечно, рисковал, но все же чего-то достиг, какой-то серьезный рубеж переступил. Переступил, если даже все останется так, как оно есть сегодня: книга не издана, с Кузнецкстроем и Сибирью порвано и т. д. Я уже признан писателем, со мной хотят вместе работать, меня привлекают.

Только с такой — отличной или хотя бы заметной — работой можно было показаться в люди. Средняя, посредственная работенка не перекрыла бы в литературной среде прежнее отчуждение.

Сейчас я собираюсь ехать в Сибирь с Соней Виноградской, Рахтановым и, возможно, Паустовским. Виноградская хорошо относится ко мне. У этой маленькой женщины, которая так много повидала (начиная еще с 1918 года, когда она была секретарем Марии Ильиничны в редакции «Правды»), есть настоящая литературская устремленность, волевой заряд. Вчера я пригласил Соню с собой на одну беседу, в инженерский дом, куда и сам пошел первый раз. Там меня (мою книжку) так хвалили, что Виноградская сказала: вот настоящий успех. Потом начали беседу. Когда она увидела методы моей работы, она была потрясена

(прошу извинения за сильное слово). Тем более что сама она работает над схожими темами — портреты инженеров и т. д. Я, по ее словам, открыл ей новый мир — мир настоящей работы, понимания того, что и документальная проза — это истинное, настоящее искусство.

14 марта

Я хочу до отъезда подготовить к сдаче в набор свою книжку. Она нигде еще определенно не принята, но, по всей вероятности, этот вопрос решится в ближайшие дни. А пока я не теряю времени и начинаю править, делаю вставки и т. д.

...Вчера я был у О. Ему очень понравилась книжка. Он дал мне хороший совет: назвать повесть не «Копикуз», а «Курако». Здесь-де просто попытка дать портрет доменщика. Конечно, все это казуистика, но совет правильный.

...Меня грызет какое-то беспокойство и разбивает настроение. Может быть, это из-за неопределенности моих дел. Много думаю: за что мне взяться?

Очень, очень не хочется порывать с Кузбассом, с Кузнецкстроем. Что ни говори, все мои главные темы здесь — Урало-Кузбасс, АИК, история домны и т. д. Пожалуй, не буду заниматься Петровским заводом — да и поездка туда, кажется, срывается, — а возьмусь за роман о Кузнецкстрое. Эх, если бы еще месяца на три в моем распоряжении была бы стенографистка на площадке. Не знаю, рассчитывать ли на обещания Власова. Реальна ли такая помощь? Я же к этому склоняюсь все больше и больше.

15 марта

...И сегодня определенности в моих делах еще нет. Виноградская ведет переговоры в Оргкомитете о поездке, выясняет: едем ли? Хорошо, что она взяла это на себя, она собранный, дельный человек. Сейчас звонил ей — нет дома.

Относительно печатания повести «Курако» тоже пока неясно. Ермилов обещал прочесть к завтрашнему дню.

...Провожу беседы, главным образом о том, каковы ошибки и упущения в моей книге. Очень хочется взяться уже за какую-нибудь определенную работу и сфокусированно — в моем стиле — двинуть ее.

16 марта

...У меня некоторые неприятности.

До сих пор мне подчас влетало за то, что книга недостаточно хороша или вовсе не хороша, теперь попадает за то, что она хороша, слишком хороша, чрезмерно хороша. По Москве ходят слухи, что сию книжку написал не Бек, а Смирнов. Да-с! И что будто бы об этом заявляет вдова Смирнова.

Вчера позвонила Соня Виноградская очень тревожно:

— Я что-то узнала в Оргкомитете о вашей книжке, приходите ко мне сейчас же, я хочу вас предупредить.

Я заволновался. Оказалось, Соня дала книжку Кирпотину,— тот взглянул и сказал:

— Я слышал об этой книге. Говорят, замечательная книга, а написал ее не Бек, а Смирнов!

Вот такая неприятность! Вчера вечером я хотел подавать заявление в Оргкомитет или в горком, но решил прежде всего съездить к Ольге Владимировне (жене Смирнова). Она расплакалась, сказала, что никаких слухов не распространяла, никому ничего не говорила, что этот вопрос уже стоял в «Истории заводов», был разрешен и с тех пор она никому ничего не говорила и т. д.

Сегодня утром я зашел к С. и Л. Они категорически отсоветовали мне поднимать какое-либо дело, надо игнорировать все слухи и писать следующую книгу. К этому и я склоняюсь.

18 марта

...У меня много новостей, как всегда. Прямо какой-то поток новостей,— как только нервы выдерживают.

Вчера мне сказали в журнале «Знамя», что они приняли мою книгу. Ее недавно попросил у меня Вашенцев,— он зам. редактора, любит, лелеет свое «Знамя», на нем, как мне кажется, держится журнал. Сам попросил, и вещь была прочитана в редакции буквально за два или три дня. Вот так и надо работать. Повесть они хотят печатать в майском номере (конечно, это пока секрет, не надо никому говорить) и просят все поправки сделать в десятидневный срок. Я им сказал, что ходят слухи о том, что книгу написал не я, а Смирнов, предупредил их об этом. Они отнеслись к этому как к пустякам и предложили завтра подписать договор. Ермилова я никак не могу поймать по

телефону и решил: бог с ним, с «Красной новью», пусть повесть идет в «Знамени», журнал хороший.

Итак, в «Знамени» отнеслись к слухам как к пустякам, но я продолжал ломать голову: как же поступить? И сделал сегодня отличный маневр.

Было так. Вчера я позвонил Агапову, чтобы посоветоваться с ним. Разговариваю, и вдруг выясняется, что он-то и является первоисточником этих слухов. Он говорит:

— Я виноват перед вами, Бек. Мне позвонила жена Смирнова и сказала, что авторские права Смирнова затираются, что его роль в книге Бека очень велика и т. д. И попросила поговорить об этом с Авербахом. Я с Авербахом поговорить не успел, но о разговоре с женой Смирнова начал рассказывать. И вот пошло...

Агапов выразил готовность как-то исправить свою вину передо мной (если я прав) и вообще держал себя как безусловно порядочный человек.

Сегодня утром мне пришла мысль пригласить его и заставить потратить два-три часа на просмотр черновики, на задавание мне всяких казуистических вопросов, вообще на то, чтобы у него создалось какое-либо определенное впечатление об этом деле.

Я позвонил ему, он согласился. Тогда я еще обратился к Виктору Шкловскому, попросил и его в порядке товарищеской услуги прийти ко мне и заняться тем же, а также вызвал и Рахтанова (в качестве свидетеля событий и ассистента).

Все пришли. Я разложил черновики по главам, на каждую главу пришлось четыре-пять черновики, и предложил:

— Выбирайте любую главу.

Шкловский взял первую главу («Курако»), Агапов — последнюю («Партбилет»). Они просматривали первые варианты, потом вторые, третьи, видели, как вырастал литературный текст. Шкловский на прощание сказал: «Когда я взял самый ранний черновик, я ужаснулся, до того это ни к черту не годно (ведь ему попали самые первые мои попытки, теперь при всем желании я не смогу написать таких черновики). Потом,—говорит Шкловский,—из этой дряни от одного варианта к другому вырастает произведение».

Я показал им черновики второй главы («Открытие Кузбасса»), где есть пометки Смирнова.

Обилие черновиков поразило их. Затем я предложил следующее:

— Открывайте книжку на любой странице, давайте любую фразу, и я укажу, откуда она взята, где ее основание, укажу или свою личную запись, или стенограмму, или книгу и т. д.

Шкловский открыл книгу на той странице, где рассказывается биография Свицына. Я достаю свою тетрадку, в которой записана моя беседа со Свицыным (она шла без стенографистки), записаны мои впечатления, и начинаю читать. Эффект замечательный.

Открывает страницу Агапов. Он читает фразу: «Федорович стал председателем временного правления «Копикуза». Я достаю стенограмму бухгалтера «Копикуза», нахожу там подобную фразу и показываю. От дальнейших проверок они отказались.

— Теперь о роли Смирнова,— говорю я.— Я написал об этом.

И достаю свои наброски примечаний к повести. У меня был такой замысел: дать в конце повести комментарии к каждой главе. Там, в этих набросках, имелась страница о Смирнове. Агапов прочел эту страницу и сказал:

— Кто мог написать такую страницу, тот может написать книгу лучше этой.

— Что, хорошо написано?— спрашивает Шкловский.

— Отлично.

Прочел и Шкловский. Я знаю: страница в самом деле хорошая.

Все выразили полное убеждение в том, что ни тени подозрения на меня не может упасть.

Шкловский сказал Агапову:

— Вы должны пойти к Кирпотину и сказать, что от вас исходил слух, абсолютно неверный.

Агапов ответил:

— Да, это мой долг. Я это сделаю.

Я попросил его сегодня же позвонить Виноградской. Он исполнил мою просьбу. Вечером я с ней говорил по телефону. Она сказала, что Агапов ей звонил, все подробно рассказал и заявил, что абсолютно убежден: книжка моя от начала до конца.

— У меня сейчас сидит Рахтанов,— сказала Виноградская,— и тоже подробно обо всем рассказывает.

Примечание. К сожалению, я не смог отыскать в моих бумагах страничку о Николае Григорьевиче Смирнове, которая упоминается в этом письме. Она не была опубликована и, как я полагаю, находилась по-прежнему в папке, где хранились наброски примечаний к повести «Курако». Это папка погибла во время войны вместе с рукописью моего вчерне написанного романа «Инженер Макарычев», вместе со всеми материалами к этому роману,— все это сгорело в 1941 году на даче под Москвой.

20 марта

...Чувствую себя счастливым. Да, прямо-таки счастливым. Все клеится, все ладится, жизнь полна, планы прекрасные.

...Книжка (она будет называться «Курако», подзаголовок — повесть) идет в «Знамени». Сегодня будет готов договор. (Пока еще не составлен, поэтому опасуюсь, что все пойдет насмарку, ведь со мной это бывает.)

...Только что мне звонил Ермилов. До него, очевидно, дошла весть, что книга принята в «Знамени», и он спохватился. Извинился, что еще не прочел, и просил подождать два дня и не решать с печатанием где-либо, кроме «Красной нови». Я не обещал ему этого. Говорю:

— Вы долго чешетесь, а у меня, возможно, сегодня дело будет закончено.

Потом говорю:

— Мне интересно твое личное мнение и вообще хочется с тобой поговорить независимо от печатания.

Сейчас я занят некоторой переработкой вещи, чтобы не раздражить слишком разных гусей. Да, история у меня не вышла, а повесть получилась.

21 марта. Телеграмма

Подписал договор журналом Знамя выезжаю третьего.

Примечание. В ответ я получил телеграмму: «Поздравляю реально смотри будущее Власова не надейся ищи базу опору Москве».

21 марта

...Договор со «Знаменем» вчера подписал,— по 550 рублей за лист, шесть листов, полторы тысячи получил на руки.

...С издательством буду заключать договор после появления вещи в журнале,— так будет верней.

23 марта

...Вчера мне звонил Тарасов, закидывал удочку: не соглашусь ли я снова взяться за «Историю». Наверное, ему не удалось найти ни одного писателя. Я сказал, что не могу дать никакого ответа.

24 марта

...Мои дела идут так хорошо, что я начинаю побавиться. Ведь во всяком деле бывают приливы и отливы. Сейчас у меня идет такой прилив, что поневоле думаю: не достиг ли он предела и не начнется ли завтра отлив? Ведь мы так привыкли к коротким приливам.

Договор со «Знаменем» есть. Я в редакции сказал, что Тарасов против моей вещи, они расхохотались.

Вчера получил письменный отзыв на свою книгу от Савельева, председателя Комакадемии. В 1918 году он был председателем горно-металлургического отдела ВСНХ, вел все дело по Урало-Кузбассу, я с ним часа два побеседовал. В своем отзыве он очень хвалит книгу и делает незначительные, мелкие поправки.

«Московское товарищество писателей», неважное, правда, издательство, предлагает заключить договор.

Да, в «Литгазете» пойдет статья (подвал) о моей книжке — статья Перцова, одобрительная.

Одним словом, все нашему козырю в масть. Спрашивается: использовать ли успех сейчас или подождать появления вещи в «Знамени»? Тогда можно будет вместо «Московского товарищества» разговаривать с «Советской литературой», получить лучшие условия и т. д. Нормальный расчет говорил бы: обожди! Опасения пуганого Бека говорят: лови момент, все может пойти прахом. Придется, пожалуй, ловить.

Работаю над подготовкой повести к набору, кое-что исправляю (не порчу). Разыскал людей, знающих историю АИКа. Беседую с ними. Это золотая тема.

26 марта

...Сiju, исправляю вещь. У Федоровича яснее выступает характер.

Сегодня ко мне приходил Тарасов, опять предлагал

включиться в «Историю». Я ответил, что согласен быть только собирателем материала. Он сказал:

— Я гарантирую, что тебе будет предоставлена эта возможность и работа будет оплачиваться.

28 марта

...Кажется, на площадку я опять приеду не болтуном, а дельным человеком. Сегодня в «Литгазете» похвальная статья Перцова. Это редкий случай: статья о книжке, вышедшей на правах рукописи. Перцов сделал как раз то, что надо: он не превозносит до небес, но дает полную политическую и художественную апробацию.

Выслал пять экземпляров газеты,— обязательно дай в горком Петрову, чтобы попала Хитарову, и дай секретарю Франкфурта, чтобы прочел и тот. Это хороший ответ Новосибирску.

...Итак, выезжаю третьего. Привезу с собой стенографистку, которая сможет быть и организатором-секретарем. Хотелось бы сразу послать ее в Прокопьевск, она разыщет там старожилов рабочих и осевших в Прокопьевске аиковцев, подготовит почву для бесед, затем туда поеду я. Это разрешено мне в принципе Власовым и практически Тарасовым,— он даст мне соответствующее письмо.

Я знаю, что на Власова нельзя надеяться, нетвердый человек, ну что же,— на месте посмотрим.

3 апреля

Предполагал сегодня выезжать, но заболел. Болезнь пустяковая—ангина, но температура высокая, лежу. Билеты пришлось перезаказать на одиннадцатое.

...Подумай, как дорого достается успех вещи: тут и недовольство Сибири, и подозрение в литературной краже и т. д. Нужно было на все это пойти, все это встретить грудью.

...Мне хотелось бы, живя на площадке, выезжать в Кузбасс и гнать АИК. Я решил с АИКом так: разделить эту работу на две части. Первая будет заканчиваться провалом идей Ай-Даблю-Даблю (Индустриальные Рабочие Мира) и отходом Хейвуда от АИКа. Вторая часть—до конца, до смерти Бронки. Первая часть, возможно, так и будет называться: «Хейвуд». Я узнал здесь, что Бронка ультимативно по-

требовала его ухода, была большая борьба, и он ушел с трагедией. Трагедия Хейвуда страшно интересна — гигант, истинный революционный вождь, оказался ненужным, неспособным, когда надо было строить. Его взгляды (синдикалистские), которых он так и не преодолел, потерпели крах. Вообще я чувствую, что смогу написать АИК, и вряд ли кто другой сделает это. Верю, эта вещь будет лучше, чем «Курако».

...Перед сдачей в набор я много поработал над текстом повести. Показал Федоровича в отношениях с рабочими, с местными большевистскими организациями Кузбасса. В последней главе председатель томской чека предлагает его расстрелять, рассматривая засылку денег, одежды, оборудования в далекую пустынную Осиновку как контрреволюционный акт, вспоминая, что Федорович участвовал в формировании карательного отряда (раньше я ввел эту сцену не грубо, а мягким показом, как это я люблю). Читатель поймет, воспримет это требование расстрела как некую закономерность. Вениамин Свердлов отстаивает жизнь Федоровича, спасает его. Это тоже закономерно. И думаю, — тут более высокая закономерность. Крупный капиталистический организатор, инженер с большим размахом, — разве такой должен быть отринут, уничтожен нами? Можно и нужно ему многое простить (разумеется, не затушевывая при этом правды). В новом обществе есть для него место, применение его силам.

Редакция «Знамени» одобрила переработку, и вчера повесть уже отправлена в набор. Она появится вся целиком в майском номере.

Я сделал маленькое вступление от автора, где сказал, что на площадке Кузнецкстроя работал писательский коллектив. Написал о смерти Смирнова, о его значении для нас и в заключение выразил горячую признательность всем, кто с нами поделился воспоминаниями.

10 апреля

...Черт возьми, опять пришлось пере заказывать билет.

Идет счастливая полоса. Как я досадовал, что надо вылеживать и отложить отъезд, но вдруг и это обернулось удачей.

Вчера вечером мне позвонили из редакции «За индустриализацию» и просили приехать, захватив с со-

бой два экземпляра моей книжки. Я, слава богу, был уже здоров,— сразу оделся и помчался.

Меня провели прямо к зам. редактора. К нему собрались и еще несколько работников. С места в карьер я получил предложение: сейчас же, не выходя из редакции, подготовить для газеты отрывки из книги— три-четыре подвала, то есть, собственно говоря, всю линию Курако.

Слово за слово— и мне сообщили, что книжку прочел Серго Орджоникидзе. И в тот же вечер, когда он прочел (или, может быть, на следующий), к нему пришли металлурги— Орджоникидзе постоянно общается с ними,— он стал расспрашивать о Курако и чуть ли не два часа слушал о нем. Как раз тут в кабинете Орджоникидзе появился Таль (редактор «За индустриализацию»), Серго похвалил ему мою книжку, посоветовал дать в газете выдержки.

И вот в трех номерах пойдут подвалы.

Конечно, я сделал монтаж отрывков не в редакции, а сегодня утром дома. И уже отвез. И все уже прочитано, сдано в набор.

А вчера у зам. редактора мы долго и славно поговорили. Кстати, секретарем редакции оказался мой давний товарищ по гражданской войне, по 9-й армии. Мы вспомнили те времена, когда он работал в армейской газете «Красное знамя», а я выпускал маленький листок— газетку 22-й дивизии.

Вообще народ в редакции «З. И.», кажется, подобрался превосходный. У меня впечатление: они любят свою газету, очень инициативны, знают и любят индустрию. Я им рассказал о методах своей работы, о том, как мы у постели Бардина из вечера в вечер слушали и застенографировали повесть его жизни, рассказал и о множестве других бесед. Не скрыл и своих затруднений. Представь, они очень заинтересовались. Сказали, чтобы я ни с кем не договаривался, а вел бы такую работу при редакции «З. И.». Иначе говоря, возникла мысль создать в «З. И.» собрание стенограмм.

Конечно, это пока лишь первые наброски,— может быть, ничего и не получится,— но они отнеслись к такой мысли горячо. Возможно, это будет моя база. Я обещал не задерживаться на площадке, а поскорее вернуться в Москву.

Первый подвал пойдет послезавтра,— вот какие темпы! Сделано коротенькое вступление от редакции.

Вот такое: «Помещаем отрывки из книги А. Бека «Главы истории Кузнецкстроя» (издание «Истории заводов» — на правах рукописи), посвященные характеристике интересной и своеобразной личности М. К. Курако — одного из лучших русских металлургов, создавшего целую школу «доменщиков-американистов».

Снова скажу: я счастлив! Разумеется, не могу уехать, пока не пройдут подвалы.

12 апреля. Телеграмма

Газета «За индустриализацию» печатает отрывки трех номеров сегодня напечатан первый выезджаю пятнадцатого.

ПРОБЛЕМА ВТОРОЙ КНИГИ. «КАБИНЕТ ЗАПИСЕЙ»
В ГАЗЕТЕ «ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ»

1934. Июль

На площадке Кузнецкстроя я сдал стенограммы и денежный отчет. Была, что называется, подведена черта.

Опять я думал над вопросом: что же дальше?

Перечитывая ныне письма, с которыми уже знаком читатель, я предвижу его недоумение. Он вправе спросить: ведь у вас была масса впечатлений, огромный материал, множество сюжетов, неужели вы не могли избрать, облюбовать какой-нибудь из них и погрузиться в следующую повесть, вверившись, хотя бы до некоторой степени, творческому вымыслу, воображению?

Думается, в моих колебаниях, поисках сказалась прежде всего естественная трудность, которую, как я теперь знаю, испытывает почти всякий писатель, приступающий ко второй книге. Как-то от одного умного литератора я даже слышал выражение: «проблема второй книги». Кроме того, в те времена я упрямо не доверял своему воображению, опасался заполнить воображением «белые пятна», которые еще зияли в каждом моем сюжете, не позволял этого себе.

Я так и сяк рассматривал всякий свой замысел, книгу, которая возникала в уме, — в ней для меня еще как бы не хватало то здесь, то там многих страниц, еще не отысканных, не прочитанных мною.

Как же заполнить эти провалы?

Я отвечал себе твёрдо: только изучением — изучением людей, моих будущих действующих лиц. Поэтому я стремился не только отыскивать характеры в реальной жизни, в реальной истории и впечатляться ими, но и, как тогда в уме я выражался, «отпрепарировать» каждый свой сюжет. Я был убежден, что если не смогу продолжать изучения, доводить его, имея в виду ту или иную определенную историю, так сказать, до насыщенности, меня постигнет неудача.

Но где же найти средства для такого изучения? Кто их даст?

Вырисовывалась, как знает читатель, некая новая возможность в редакции газеты «За индустриализацию».

В мае 1934 года я вернулся из Кузнецка в Москву.

2 июня. Москва

...По возможности, уделяй время каждый день для работы над АИКом. Вот некоторые советы. Воспользуйся ими, проводя беседы.

Выясняй мельчайшие подробности быта колонистов,— что они ели на завтрак, на обед, как проводили день, что делали по вечерам, как развлекались, вопрос о женах, о ревности и пр. и пр. У меня в стенограммах этот вопрос выяснен плохо. Поработай над этим.

Еще и еще вытягивай все из Чарли Шварца. Он был в Кемерово как раз в тот период, который охватывает первую часть. С ним осталась непроведенной еще одна беседа (тема — взаимоотношения с русскими), но разных мелочей из него можно вытянуть еще очень, очень много.

Теперь общее замечание о методике бесед. Я делаю обычно так: пусть человек сначала расскажет в хронологическом порядке все, что он знает, здесь я сравнительно мало перебиваю его вопросами, а возникающие у меня вопросы записываю для памяти, чтобы поставить их потом. Следующий этап — более подробное выяснение разных интересных *эпизодов*. Следующий — ты просишь обстоятельно рассказать об интересующих тебя *лицах*, выпрашивая разные подробности, случаи, черты характера, штришки, причем непременно добивайся конкретизации. Например: «он скупой», ты спрашиваешь: в чем это выразилось, какие случаи привели вас к этому заключению? И наконец,

следующий этап — твои вопросы касаются разных *проблем*: вопрос быта, организаций труда, организации общественной жизни, взаимоотношения с русскими и пр. и пр. И обязательно опять эпизоды, штришки, детали, детали и детали.

Таким образом, ты переворачиваешь, перелопачиваешь весь материал несколько раз и получаешь все, что человек может дать. Во время беседы *обязательно* подбадривай рассказывающего выражением заинтересованности, изумления, восклицаниями: «вот как!», «эге!», «это интересно» и т. д. Конечно, подоплекой таких восклицаний служит неподдельный интерес. Фальшивить не надо, неискренностью можно все испортить. Пусть будет удивительна хотя бы лишь крупица, но непременно как-то ее отметить. И, глядишь, твой собеседник разойдется, одолеет смущение или какие-то другие свои тормоза, рассказ польется свободней, интересней.

Да, вот еще что. Если человек мнется, не решается что-то выложить под стенограмму или говорит: «это не записывайте», ты оборачиваешься к стенографистке и произносишь: «Напишите: не для печати». Эти три словечка почти всегда действуют магически, как-то сразу успокаивают рассказчика, и беседа продолжается. Но если что-то действительно не пришлось застенографировать, это надо в тот же вечер или на следующее утро хотя бы кратко записать: потом это в памяти стирается.

Кстати, порасспроси у Чарли о тех людях, о которых рассказывал Нелсон (рядовые аиковцы) — они очень интересны. В книге обязательно должна быть отлично подобранная галерея вторых ролей.

3 июня. Малеевка

...Приехал на недельку отдохнуть в Малеевку. Второй день льет дождь. Скучновато.

Продумываю свои сюжеты, перебираю их. Хочется дать пересечение нескольких линий, столкнуть капитализм и социализм. Смогу ли дать в романе «Доменщики» острогу такого столкновения? Очень хотелось бы написать о Прошке Батолине, взяться за эту нитку, — тут и капитализм, и Ленин, и борьба левых коммунистов, и рабочие Кузбасса. Это, конечно, самый замечательный, наряду с АЙКом, из моих сюжетов.

В общем, еще неясность. Буду работать, изучать материал, — все это потом войдет в роман.

Примечание. В этом письме впервые появляется заглавие: «Доменщики». Читатель, однако, не должен смешивать этот лишь обдумываемый мною в ту пору роман «Доменщики» (которому затем я дал название «Инженер Макарычев»), роман, погибший в дни войны, о чем я уже говорил, и книгу моих повестей «Доменщики», включившую, кстати сказать, и повесть «Курако».

5 июня. Малеевка

...Вот и подходит к концу мой недельный отдых.

...Надо знать, что в творческой работе *обязательно* будут моменты — и, быть может, длительные — сомнения в своих силах, будет казаться, что ты не способен справиться с темой, не сможешь написать и т. д. Это будет обязательно, и у всех бывает. Самое важное при этом — не прерывать работу. Это вообще главнейший принцип: каждый день что-нибудь делать для своей будущей книги.

...Если я узнаю, что проведены новые беседы по истории АИКа — беседы с Чарли, с Чезари, с Ригманом, с Казарновским, — это будет для меня самая большая радость.

7 июня. Москва

...Только что приехал из Малеевки.

...Приехал и побежал проверять дела на своих фронтах. Зашел в «Знамя», — там приятнейшая весть: уже есть контрольный номер с моей вещью. Очень, очень я рад. Представь, в последние дни в Малеевке меня все время, даже ночью, томило беспокойство: вдруг задержат журнал, вдруг снимут повесть и т. д.

...Сейчас пойду проверять другой свой фронт — «За индустриализацию».

8 июня

...В «З. И.» я вчера не застал человека, который должен со мной договариваться. Надеюсь, что сегодня дело выяснится окончательно.

...Вчера был на совещании очеркистов, встретил там Итина, он мне сказал, что в «Советской Сибири» была о моей книге статья под заглавием «История лжи и клеветы».

Разумеется, я взволновался, отправился в читальню, прочел эту статью и успокоился. До чего она

пуста! И, главное, содержание совершенно не соответствует заглавию. Нет ни одного указания на то, что я сообщил что-либо ложно. Буквально нет даже попытки опровергнуть какой-либо факт или все в целом. Просто зубоскальство, главным образом насчет жены Федоровича и «мелодраматических эффектов» повести. Очень нестрашная статейка.

Но опять в душе всплыло все, что я пережил во время сибирской проработки. Какой парадокс! Обвинили во лжи и клевете меня — человека, который предан изучению жизни, отыскивал и нашел немало нового, выверял разными путями каждую свою находку, каждый факт. Мои обвинители отрицают художественное (да и историческое) исследование, открытие. Ведь о Курако до моей вещи и до выступлений Бардина, которые родились из его стенограмм, то есть опять-таки при нашем участии, еще ни словечка никем не было написано. А в Новосибирске с ним разделались сплеча: не тот герой! Несовременно! На деле же Курако — мой Курако — оказался настолько современным, что авторитетнейшая боевая газета отдала свои подвалы, чтобы познакомить читателя с этой фигурой.

А ведь достаточно было бы мне проявить слабость, малодушие, и меня бы подмяли товарищи новосибирцы (как, наверное, с иными уже это сотворили).

9 июня

...В «З. И.» — небольшая задержка. Там я (то есть «Кабинет записей», он будет пока существовать в одном моем лице плюс стенографистки) уже включен в смету, и остановка только за тем, чтобы утвердил Таль, причем он дал уже свое разрешение и не хватает лишь его подписи. К завтрашнему дню мне обещали все это провести. Моя первая командировка будет в Сибирь, в Кузбасс. У меня есть дерзкая мысль: не тащиться поездом, а вылететь.

...Два дня провел на совещании очеркистов. — Очень хвалили мою книгу в личных разговорах Михаил Кольцов и Борис Галин. Кольцов сказал: «Мне очень, очень, очень понравилось». Однако с трибуны о ней никто не говорил. Лузгин делал доклад об изданиях «Истории заводов» и ничего не сказал о моей книге. Рахтанов крикнул ему с места:

— Почему вы ничего не говорите о книге Бека? Это замечательная книга!

Ей-ей, он меня растрогал, верный Рахташа.

Лузгин ответил:

— Книга Бека очень интересная работа, но она выходит из нашей области, в ней есть недостатки, но у меня сейчас нет времени о них говорить.

Вот и все. Как ни странно, меня это удовлетворило. Главное, чего я боялся,— разгрома. Раз этого нет — ну и слава богу.

11 июня

День моего отъезда еще окончательно не выяснился. В «З. И.» — некоторая проволочка. Таль смету утвердил, но перед заключением договора я должен составить список людей, с которыми предполагаю проводить беседы. Сегодня я этим занимаюсь. Возможно, заключим договор 13-го или 14-го.

Так или иначе вопрос в днях, и «Кабинет записей» начнет работать.

...Вчера я проводил беседу с Котиним об АИКе. Проговорили три часа. Очень интересно. Котин из рабочих, серьезный, вдумчивый человек, был одно время управляющим треста Кузбассуголь, сейчас — управляющий Дальуглем. Он очень хвалит аиковцев.

И вообще чрезвычайно интересно, как говорит об АИКе русский. Он замечает, ему бросается в глаза то, что сами аиковцы совершенно не видят, для них это нормально и привычно. Наоборот, американцы удивляются тому, что для нас обыденно.

Например, Татьяна Герштейн (переводчица мистера Вейла) сказала мне о его воспоминаниях: «Там много неинтересного для нас, — он на целой странице объясняет, что такое телега».

Но в этом-то как раз и интерес. На этом надо очень тонко играть на всем протяжении произведения. Трудная задача. Ничего, вывезем.

12 июня

...Сегодня провожу в одиночестве вечер выходного дня. Мог бы пойти в театр, но не захотелось. Буду печь оладьи, пить чай с вином, читать Мериме (вот у него можно учиться сюжетной прозе, мне теперь, после «Курако», становятся ясны его приемы. Читаю, словно зрячий).

...В «З. И.» подпишу завтра договор и на днях выведу.

После длительных раздумий я, как говорят военные, принял решение: буду писать роман о доменщиках, прообразом центральной фигуры романа станет Бардин. Позже, уже работая над произведением, я назвал его, этого нового моего героя, инженером Макарычевым.

У меня сохранился набросок, в котором содержалась попытка наметить на нескольких страницах этот характер, как бы выделить самое существенное в Бардине. Позволю себе познакомить читателя с этим наброском.

ЯНВАРСКАЯ НОЧЬ

Из заграничной командировки Бардин вернулся в день смерти Ленина.

В пути из-за мороза лопнул рельс. Поезд опоздал на несколько часов и прибыл в Москву вечером на следующие сутки.

На улицах пылали костры, с окраин по тротуарам и по мостовым шли люди, свет костров и фонарей вырывал из темноты двигающиеся над толпой траурные знамена и венки.

Москва не спала в эту ночь. Не спал и Бардин. Сумрачный, угрюмый, сутулясь от пронизывающего холода сильнее, чем обычно, бродил он близ Дома Союзов, предаваясь нерадостным думам.

Тысячи и тысячи людей, простоявших много часов на морозе, медленно проходили в раскрытые двери Колонного зала. Молчаливо было это нескончаемое шествие; стоявшие цепью конные милиционеры говорили вполголоса, если приходилось что-нибудь сказать.

В тишине Бардин вдруг услышал отдаленный грохот динамитных взрывов. Звук донесся глухо, многие его не уловили, но Бардин мгновенно угадал на слух, на особый слух инженера, что это именно динамит, что динамитом рвут землю. Он произвольно насторожился, ожидая, что вот-вот пальнет запоздавшая бурка, и секунду спустя действительно ухнул едва слышимый одиночный взрыв.

Бардин тяжело вздохнул. Точно такие же удары глухо рвущегося динамита раздавались в Енакиеве, когда он, начальник доменного цеха, взрывал фундамент отслужившей сломанной домны, очищая место для новой, самой большой в России печи, спроектированной им под руководством Курако. К весне семнадцатого года новая печь была готова, ее загрузили дровами и коксом, но из-за разрухи, затем из-за начавшейся гражданской войны она, его детище, его создание, так и осталась бездыханной. Как ему хотелось бы вновь строить, особенно теперь, после того как он побывал в Бельгии и в Англии!

Ноги уже несли его туда, к Красной площади, к Кремлю, откуда слышались подземные удары.

На площади перед заиндевевшей зубчатой Кремлевской стеной строили ленинский Мавзолей, тогда еще временный, деревянный.

Длинные пучки яркого до голубизны света падали из прожекторов на развороченную мостовую: землекопы расчищали после взрыва котлованы, разбивая ломами и клиньями многопудовые глыбы остеклевшей земли; плотники торопливо обтесывали бревна; скрипели полозья саней, подвозивших лес из Замоскворечья.

Бардин провел тут всю ночь. Он продрог, густой иней навис на бровях. Время от времени он яростно тер перчаткой нос, щеки и уши и притопывал ногами в отвердевших, стучавших, как дерево, галошах.

Невдалеке пылали костры, Бардин туда не уходил. В пяти минутах ходьбы его ждала теплая комната гостиницы, но он не мог оторвать взгляда от того, что происходило в Москве на Красной площади в траурную ночь.

В отсветах прожекторных лучей смутно проступали кремлевские башни, каменная подвысь лобного места, памятник Минину и Пожарскому. В каждой пяди земли оттиснулись здесь судьбы народа. И вновь площадь принимала глубокую зарубку истории. Сознание возвращалось к действительности, к думам о стране, о Ленине.

В сердце инженера опять поднималась тоска, ни на один день не оставлявшая Бардина с момента закрытия завода. «Завод закрыт!» Эти слова он выкрикнул, вернувшись домой с заседания, в апреле 1923 года. В передней стоял стул, он в ярости ударил ногой по сиденью и продырявил насквозь.

Вместе с тремя тысячами рабочих, оставшихся от шестнадцатитысячного штата в голодном, разоренном Енакиеве, Бардин продержал завод на ходу все годы гражданской войны и разрухи. В 1920—1921 годах на Юге потухли все доменные печи, за исключением одной-единственной в Енакиеве. Эта историческая домна, самая маленькая среди шести енакиевских печей, снабжала газом силовые установки, что давали электрический свет, качали техническую и питьевую воду, двигали клетки и насосы в угольном руднике завода. Погасни эта последняя печь, и Енакиево осталось бы без света, угля и воды.

Бардин, ставший главным инженером после бегства бельгийцев, которые ранее управляли заводом, вряд ли знал в эти годы хоть одну спокойную ночь.

Жизнь его сложилась так, что лишь на заводе он ощущал себя полноценным человеком. Ему, сыну сельского портного, обосновавшегося в Саратове, в Плебучевом овраге, близ свалки городских нечистот, не удалось попасть в гимназию. Сначала он учился в ремесленном, потом в земледельческом училище. При помощи добрых интеллигентных людей, встретившихся Бардину-подростку, он рано понял, что единственное его спасение — попасть в высшее учебное заведение.

В 1909 году он был выпущен из Киевского политехнического института с дипломом инженера-металлурга. Диплома, впрочем, он на руки не получил, ибо за эту бумагу следовало уплатить десять рублей, а у него, кормившегося случайными студенческими заработками, не было таких денег.

Он поехал по заводам искать места. Его нигде не приняли. Российская металлургия много лет пребывала в застое, новые инженеры ей не требовались. Жизнь, словно нарочно, старалась оправдать мрачные его предчувствия. Нужда, черная нужда вытолкнула Бардина из России. Он уехал в Америку в поисках работы. У него были рекомендательные письма от профессора, но Бардин постеснялся их предъявить и поступил не инженером, не техником, не чертежником, а простым рабочим на завод Гэри Иллинойс — величайший в мире, с двенадцатью доменными печами.

Бардина взяли от ворот. На этом заводе, где все механизировано, где почти нет ручного труда, судьба сумела отыскать для него уголок, где люди, в боль-

шинстве негры, исполняли вместо машин изнуряюще тяжелую работу. Ему пришлось таскать клещами раскаленные обрезки рельсов. На этой жаркой работе он по неопытности пил слишком много воды, через год сердце стало пошаливать, порой Бардина охватывала внезапная слабость, он шатался, едва удерживаясь на ногах. Его состояние было замечено, и вскоре он был уволен без объяснения причин.

На последние доллары Бардин купил билет в Россию и бежал из Америки.

В 1912 году ему удалось поступить в чертежное бюро Юзовского завода. Начальником доменного цеха Юзовки был дерзновенный Курако, знаток не только доменных печей, но и человеческих сердец. Он разгадал Бардина, понял, что за его вечно хмурой, замкнутой наружностью, за мрачным взглядом таятся сдавленные силы, жаждущие применения. Вскоре Курако предложил мрачному чертежнику пойти сменным инженером в цех. Бардин согласился с радостью. Наконец-то, три года спустя после окончания института, он получил работу по специальности.

В лице Курако Бардин обрел человека, который поверил в него. Укрепленный этой верой, он испытал радость, самую большую за тридцать прожитых лет, когда убедился, что его слушаются люди и домны. Завод стал единственной точкой во всем мире, где бурно прорвались его затоптанные капитализмом силы. Там, у доменных печей, он превосходил всех, перед кем тушевался вне завода. Доменные печи стали его жизнью, его судьбой, его счастьем, он проявил исключительный талант инженера. Психологи называют это сверхкомпенсацией.

...И вот он стоит у могилы Ленина, томимый тоскою, главный инженер закрытого завода.

Ко дню смерти Ленина из сотни доменных печей металлургического Юга действовали только четыре, выплавка чугуна не достигала десяти процентов довоенной. Кому же нужен Бардин? Поездка в Бельгию, где там и сям развернулись индустриальные стройки, принесла Бардину новые терзания; на одном заводе он увидел точную копию своей непущенной печи, сооруженной по чертежам, увезенным бельгийцами из Енакиева.

...Начинался рассвет, прожекторные лучи поблелили, на истоптанном снегу стали заметнее комья

разметанной взрывами земли, явственно проступили очертания Кремля, подъемный кран вздымал длинные бревна, работа кипела.

Вспомнилось, как на субботних сборищах Курако, сев верхом на стул, ораторствовал о новой России, откуда будут изгнаны заносчивые иностранцы и где никому не позволят топтать и мучить человека, о России, которая станет страной металла и доменных печей.

Бардин вздохнул и, понурый, поплелся в гостиницу. На площади у Дома Союзов сквозь морозный рассветный туман он опять увидел нескончаемые ряды людей. В этот час, как и всю ночь, народ шел сюда со всех концов Москвы. Среди людей, одетых по-городскому, виднелись большие группы крестьян в овчинных полушубках и тулупах. Некоторые были в лаптях.

Бардин подошел поближе к людям, и ему вдруг стало легче — поверилось, что народ, поднявшийся в эту ночь, не отступит, не сдаст, победит. Отыскав где-то за много кварталов конец непрерывно пополнявшегося траурного шествия, Бардин встал в ряды и, смешавшись с народом, медленно пошел вместе со всеми.

ПОЕЗДКА В ХАРЬКОВ И В ДОНБАСС

1934. Ноябрь — декабрь

В 1934 году мой адресат перебрался в Москву. Поэтому многие последующие письма я посылал в Москву из различных городов, куда меня влекла работа.

Пользуясь некоторой материальной поддержкой редакции «За индустриализацию», я энергично вел беседы.

Интереснейшим человеческим документом явилась объемистая, в несколько сот страниц, стенограмма моих бесед с Владимиром Ивановичем Гулыгой, — поразительная исповедь этого инженера-доменщика, побывавшего на своем веку и молодым казачьим офицером, и студентом-горняком, и сменным инженером у Курако, и проникшим в придворные круги дельцом, поклявшимся заграбастать миллион, чтобы выстроить доменную печь по чертежам Курако, и командиром

бронепоезда в армии Деникина, и эмигрантом, принесшим покаянную советской власти, прощенным, возвратившимся в Россию и назначенным техническим директором завода в бывшей Юзовке.

Нить жизни Бардина, теперь ставшая моим путеводителем, привела меня вновь к Валерию Ивановичу Межлауку, некогда председателю Главметалла, а также к его брату Ивану Ивановичу, который в своем поезде члена Реввоенсовета 2-й армии приехал директором завода в Енакиево, где безотлучно находился Бардин. Далее И. Межлаук, в прошлом учитель латинского языка, организовал и возглавлял несколько лет трест «Югосталь». Повествование Ивана Ивановича, не однажды встречавшегося с Лениным, захватило меня.

Начались и встречи со Степаном Семеновичем Дыбецом — он некогда был заместителем Межлаука в тресте «Югосталь». Слушая рассказы Дыбеца, я, как это ни удивительно, опять подошел с какой-то новой стороны к притягательной для меня истории АИКа: в свое время Дыбец, юноша-рабочий, эмигрировал в Америку, примкнул там к движению Индустриальных Рабочих Мира, знал Билла Хейвуда, а затем, став в Советской России коммунистом, имел некоторое касательство к АИКу.

Все эти люди, — а также и немало других, к которым я обращался за рассказами, — были необыкновенно интересны.

Тут, однако, выявилось некоторое недовольство редакции «За индустриализацию» моей, так сказать, добычей. Я стремился познавать характеры, их формирование, а для «Кабинета записей» газеты «За индустриализацию», куда я доставлял стенограммы, требовалось нечто иное: не юношеские искания Дыбеца или Межлаука, разные психологические кризисы, а организаторская деятельность командиров индустрии, дела, дела, дела. Мне были тесноваты эти рамки. Я объяснял, что изучаю характеры, добивался, чтобы меня поняли.

В результате какого-то очередного разговора было придумано следующее (кажется, эта идея принадлежала Вернеру, заместителю редактора «За индустриализацию», человеку неистощимой инициативы, которому я навсегда благодарен за внимательное, теплое отношение ко мне, к моей работе): обратиться

в объединение «Сталь», руководившее южной металлургией, с просьбой выделить мне, автору будущей книги о доменщиках Юга, некоторые средства для поездок и для оплаты нужных мне стенограмм.

Снабженный необходимыми бумагами, я поехал в Харьков, где находилось объединение «Сталь».

22 ноября. Харьков

Ну вот, я и в Харькове.

Здесь все чертовски дорого, — никаких льгот для командировочных, все по коммерческим ценам: и гостиница, и столовая, и т. д.

Завтра или послезавтра предприму атаку на Шлейфера (председатель объединения «Сталь»), — вот когда пригодится новый костюм.

Устроился в гостинице (отдельный номер), принял ванну, назначил на завтра беседу, в общем блаженствую.

22 ноября. Харьков

В Харькове у меня предполагаются беседы с Геналком (председатель «Трубостали», когда-то работал вместе с Бардиным), с Луговцовым (соратник Бардина, с ним я уже виделся и договорился начать беседы завтра) и еще с тремя людьми. Завтра запущу машину на полный ход — по две беседы ежедневно — и плюсом отыщу и начну обследовать архив «Югостали».

Затем предстоит решающий (денежный) разговор со Шлейфером. Я думаю просить у него 16 тысяч по такой смете:

200 стенограмм	— 10 тысяч руб.
Разъезды (ж. д. билеты)	— 1 тыс. »
Гостиницы	— 1 тыс. »
Суточные (100 дней)	— 2 тыс. »
Машинистка (перепечатка архивных документов)	— 2 тыс. »
	<hr/>
	Итого: 16 тыс. »

Получать бы в течение пяти месяцев по 3200 руб! Вот мой скромный план. Интересно, что из него выйдет?

Харьков изменился здорово. Появился новый центр города, полчаса ходьбы от старого центра.

В этом новом центре и находится, между прочим, та гостиница, в которой я поселился. Рядом с гости-

ницей — Дом госпромышленности, знаменитое строение: десять десяти- или двенадцатизэтажных корпусов. И вокруг масса таких же огромных новых зданий — стиль пока старый, «железобетонный», вроде московского Дома правительства. Неподалеку строятся и еще здания. Вероятно, они будут повеселей. Впрочем, и «железобетонный» не плох, он впечатляет своей мощью, монументальностью.

Прошу извинения за слишком меркантильное письмо.

24 ноября. Харьков

...Спешу дать отчет о вчерашнем дне. В общем, можно поздравить меня с некоторой победой.

Прихожу к секретарю Шлейфера, — изящная дамочка Белла Яковлевна. Даю ей письма от «Знамени» и от Вернера. Она восклицает:

— Это вы, товарищ Бек? Ах, я читала вашу повесть. Какая чудесная повесть! Илья Осипович здесь. Я сейчас же ему доложу.

Я остановил ее, поблагодарил («очень приятно» и т. д.) и говорю:

— Я не хочу идти к товарищу Шлейферу именно сейчас. Вы спросите, когда у него будет свободных полчаса. Я тогда приду, и мы с ним потолкуем.

Она уходит к Шлейферу, быстро возвращается:

— Знаете, у него как раз сейчас свободное время. Через пять минут он может вас принять.

Боже мой! А я в темной затрапезной рубашке. Неужели синяя шикарная рубашка не будет использована в решающий час?! И самое главное — я не захватил с собой папку стенограмм, которые должен был разложить, как образцы товара. Я говорю:

— Я сейчас побегу в гостиницу за материалами и через восемь минут буду здесь.

И побежал. Гостиница расположена довольно близко. Влетел в номер, сорвал рубашку, высыпал на стол запонки, надеваю перед зеркалом новую рубашку, задняя запонка не держит, воротник сзади отрывается, я хотел уж бросить ее, надеть старую, но сказал себе: «спокойствие, спокойствие», приладил еще раз, осмотрелся, схватил папку и помчался обратно.

Белла взглянула на меня с некоторой усмешкой (или это мне показалось). Интересно, заметила ли она мое переодевание?

Вхожу к Шлейферу. Благообразный человек с очень белым лицом и клинообразной, хорошо расчесанной рыжей бородой (очевидно, он ее любит и холит). Спокойный, тихий голос, подчеркнутое спокойствие жестов.

Я начинаю ему рассказывать о своей работе. Вынимаю стенограммы. Он придвигает к себе стенограмму Межлаука, пробегает несколько строк и... Представь, начинает читать. Читает страницу, другую, третью.

Я сижу, смотрю в потолок. Время идет, он читает, я молчу. Наконец он опомнился:

— Дайте мне, товарищ Бек, на выходной день почитать эти материалы. Помощь я вам окажу. Я уже написал Вернеру, что вся нужная помощь будет вам оказана.

Я говорю, что нужны деньги на стенограммы.

— Сколько, сколько? — торопит он.

Я отвечаю, подсчитывая вслух смету:

— Двести стенограмм по пятьдесят рублей — десять тысяч.

— Ого! — восклицает он. — Для этого мне нужно специальное разрешение... А сколько нужно до конца года?

— Две с половиной тысячи.

— Хорошо, — говорит он, — полторы тысячи вы получите от нас и тысячу от «Трубостали». Я отдам распоряжение, чтобы на эту сумму оплачивались счета.

На этом пока кончился наш разговор. Я считаю положение превосходным. Деньги на стенографисток обеспечены. Буду вести беседы, Шлейфер платит!

25 ноября. Харьков

...Вчера провел беседу с проф. Рубиным. Пришлось потратить много нервной энергии, чтобы убедить его рассказывать при стенографистке. Бойтся: как бы чего не вышло. Побеседую с ним и наедине.

26 ноября. Харьков

...Ну, у меня машина закрутилась. Провожу по две беседы в день, стремлюсь даже к трем.

Вчера начал беседы с Луговцовым, другом Бардина. Это человек маленького роста (он с детства был заморышем), с жидкими усами и прекрасными добрыми глазами. Вот здесь я напал на золотую жилу — дед

горновой, отец горновой, а самому ему, юноше, Курако помог стать инженером. Милый человек, изумительный рассказчик!

27 ноября. Харьков

...Работа у меня движется удовлетворительно. Проведено шесть бесед, и на следующие дни назначено по две беседы ежедневно.

Узнал много о Межлауке (Иване). Оказывается, у него, когда он был директором Енакиевского завода, умерло двое детей — от голодовки, неустройства.

Особенно восхищают меня беседы с Луговцовым, — это как раз такой тип, которого мне не хватало, чтобы роман стал полноценным. Там, в той картине, которая складывается из разных судеб, мне не хватает народа, низов, страдания, проклятия капитализму. Все это есть в фигуре Луговцова. Его отец горновой, детство прошло в Юзовке, кругом смерти, страдания. С этого я и начну вещь. И потом он, Максим Луговцов, всюду идет вместе с Бардиным, как друг и помощник. Этим и линия Бардина укрепляется, — она у меня еще до сих пор слабовата.

Числа шестого декабря поеду в Мариуполь к директору «Азовстали» Гугелю, оттуда в Сталино, и 20-го — 25-го буду в Москве.

28 ноября. Харьков

...Сейчас я написал письмо Ивану Ивановичу Межлауку — рассказал, что делаю, как идет работа, предупредил, что приеду в конце декабря.

Мои литературные планы немного меняются. Я предполагаю довольно быстро написать «Доменщиков», отделив эту вещь от «Югостали». Луговцов дал материал, который позволяет выделить из большого замысла отдельную первую повесть. Потом засяду за «Югосталь».

30 ноября. Харьков

...В этих письмах я будто говорю с самим собой.

Все дело сейчас в труде, в труде и в труде — только это нужно. Собирать материал как можно больше, прощупывать со всех сторон историю, которую надо изложить, изучать, изучать, не боясь уклониться в сторону. Ненужное потом отсеется, и вещь встанет перед тобой очищенная и богатая.

Главное, надо жить в этом мире — в мире своих образов.

...Мысль порой возвращается к АИКу. Нелегко будет дать американские главы... Следующий нетронутый пласт — враги АИКа (или, условно говоря, линия Федоровича). Этих людей тоже надо будет разыскать, поговорить с ними, понять их, одним словом, поработать и этот пласт.

...Мне здесь очень не хватает одной маленькой вещицы — часов! Когда же наконец я решусь на них потратиться? В таких поездках, когда беседы назначаются в точно определенное время, очень трудно без часов.

2 декабря. Харьков

...Работа идет у меня хорошо. Мне очень повезло с Луговцовым. Беседую с ним ежедневно часа по три. С фигурой Луговцова повесть «Доменщики» делается полноценной. Мне уже хочется ее писать. Я уже вижу первые главы. Они будут сильными.

Забота теперь в том, чтобы и последние были бы на такой же высоте.

3 декабря. Харьков

...На 6 декабря я заказал билеты и выезжаю со стенографисткой в Мариуполь, потом вернусь в Харьков. Со стенографисткой! Не удивительно ли?

Да, я тут комбинирую всячески. Денег у меня почти нет. В отдельный карман отложено то, что надо заплатить за номер (очень дорого, 12 рублей в сутки, за 15 дней 180 рублей. Ужас!), и, кроме того, на расходы осталось 20 рублей.

Посмотрю Никополь-Мариупольский завод, где начиналась слава Курако, посмотрю Юзовку, через которую, по выражению Гулыги, проходит ось земного шара.

В Сталино познакомлюсь с Максименко (молочным братом Курако), начну беседу с директором завода Макаровым, — пробуду там дней семь-восемь.

Думаю попросить у секретаря обкома Саркисова следующее: чтобы он разрешил мне поселиться в Сталино месяца на два со стенографисткой за счет завода, и, если это выйдет, в феврале туда поеду. И там же буду писать.

В общем, только я способен на такие штуки, — еду без денег, да еще со стенографисткой, — вести беседы,

беседы, беседы. Наверное, привезу с собой приблизительно сорок стенограмм. Так и написал моим шефам в «За индустриализацию».

5 декабря. Харьков

...Чувствую себя очень хорошо,—какой-то ровный творческий подъем. Хочется, хочется начать писать. Поездка уже дала очень много.

Повесть «Югосталь» (я уже писал: она отделяется от «Доменщиков») вырастает в нечто очень острое и волнующее. Мне И. Межлаук как-то вскользь сказал о Лобанове — дескать, это был мой главный враг. Этого Лобанова я разыскал и начал вчера с ним беседы. Интересная личность. Во времена «Югостали» он был председателем Южбюро металлистов. И вместе с тем одним из вожаков рабочей оппозиции,— он подпisał и заявление двадцати двух в Коминтерн в 1922 году.

Он рабочий, учился в 1908—1909 годах у Горького на острове Капри (там была партийная школа с богдановскими уклонениями), много раз видался и беседовал с Лениным, словом, рабочий-большевик, впавший в синдикализм. Изобразить его, изобразить рабочую оппозицию, дать борьбу Лобанова против Межлаука,— каково? Не свежати́на ли?

6 декабря. Харьков

...Вчера случилась со мной неприятность (маленькая катастрофа), которая страшно меня расстроила.

Представь, вчера первый и единственный раз в жизни сорвалась беседа по моей вине.

Это была беседа с Лобановым. Назначили мы ее на десять часов вечера. Часов в восемь я принял ванну (в порядке подготовки к отъезду), прихожу в номер, спрашиваю у коридорной: сколько времени? Пять минут десятого.

Ну, думаю, полчасика можно отдохнуть, подремать. Прилег. Сладко сплю, и вдруг — «шось вдарыло». Вскочил — и ничего не могу сообразить. Знаю, надо что-то делать, а что — сразу не припомню. Потом вспомнил — Лобанов! Выскакиваю в коридор: сколько времени? Мне говорят: без десяти одиннадцать. Не может быть! Бегу вниз, спрашиваю у одного, другого: одиннадцать. Боже мой! Что делать? Звонить? Решил лечь спать, — не звонить сразу, а утром

спокойно подумать, как поправить дело. Всю ночь ворочался. Проснусь и вспомню. Ругал себя, клеймил — действительно безобразие.

Сегодня утром пришлось выдумать, что у меня был приступ малярии.

До сих пор не могу успокоиться — как я допустил такую штуку?!

Вообще меня беспокоит моя склонность к сонливости, — сплю я ведь очень много, засыпаю легко, сплю после обеда. С одной стороны, это как будто хорошо, — я всегда сохраняю свежесть, бодрость и тот энтузиастический, полный энергии, тон, который мне постоянно свойствен. Усталости во мне нет. А с другой стороны, — быть может, это время надо бы затрачивать на чтение. Ведь читаю я мало. Главные силы я отдаю беседам, а на книги уже почти ничего не остается. Сейчас я собираюсь к Луговцову и думаю попросить у него с собой в поездку несколько книг.

Хорошо лишь, что не трачу время на ухаживание за женщинами, на разную рассеянную жизнь.

...Мое прегрешение немного облегчается тем, что сорвалась не первая, а вторая беседа с Лобановым. Первая прошла очень удачно. Эх, надобны часы, часы!

8 декабря. Мариуполь

...Сейчас поеду на завод, пойду на домны.

...Гугеля на месте нет, он придет только завтра или послезавтра. Сегодня буду беседовать с Кравцовым — это главный инженер завода, работал несколько лет с Бардиным в Енакиево.

9 декабря. Сталино

...Пишу из Сталино. В Мариуполе Гугеля не оказалось, — он придет лишь одиннадцатого, — и я решил, не теряя времени, ехать в Сталино, а потом обратно в Мариуполь. Это всего три с половиной часа езды.

Был на здешнем заводе. Тут меня знают, книгу читали. Сегодня же начну серию бесед с Максименко. Впервые я увидел этого своего героя (я ведь описывал его в повести) и весь дрожу от нетерпения: скорей бы услышать его рассказ.

Говорил с директором завода Макаровым, он меня встретил очень тепло. Его отношение ко мне похоже на отношение Дыбца, — уважение и что-то вроде нежности.

Видел дом, где жил Курако, остановился в бывшей «Великобритании», теперь она называется «Металлургия».

11 декабря. Сталино

...Хочется рассказать о всех моих новостях: что я делаю, чем живу?

Сначала неприятности. У меня сложились очень скверные отношения со стенографисткой, которая работает со мной. И, пожалуй, в этом виноват я сам. Дело было так. Сначала, когда мы выехали из Харькова, я несколько за ней ухаживал, был чрезмерно любезен, в Мариуполе ходили по городу под ручку, разговаривали о современной женщине и современном мужчине.

На следующее утро я проснулся и решил, что из этого добра не будет, эти фривольные отношения надо кончить и стать на более официальную ногу. Тем более что и повод был для такой перемены,— она познакомилась с каким-то инженером и льнула к нему.

Сказано — сделано. Тон меняется, под руку не беру, отношения суше, официальнее. Соблюдаю полную вежливость и свойственную мне кротость: в Сталино встретил ее на автомобиле, на следующий день перенес ее чемодан из гостиницы в заводской Дом приезжих и т. д. Но одновременно мучаю ее работой, вожу черт знает в какие трущобы (вроде кузнецкстроевских, через ямы, бугры), к старикам рабочим, с которыми надо беседовать. Она — Крянникова в квадрате, беспомощная, боящаяся жизни. А я ее гоняю. И чувствую — она зла, как кошка. Потом она имеет дурную привычку приписывать часы — вместо полутора часов ставит в счет два, а то и два с половиной. Я прошу ее этого не делать, быть совершенно точной. В общем, приобретаю в ней врага, — человека, который может меня, кроткого из кротких, смертельно возненавидеть.

Вот как много написал о стенографистке. Но лишь потому, что это сейчас наиболее уязвимый участок на моем фронте (это меня заботит, беспокоит), и приходится думать, как бы здесь исправить дело и не нажить из-за собственной глупости или, может быть, мелочности врага в женщине, с которой я работаю.

Во всем остальном у меня дела очень хороши.

Было свидание с Сергеевым, культпропом Донецкого обкома. Мне удалось что-то в нем затронуть. Меня предупредили, что он очень занят, и просили пройти только на пять минут. А я просидел у него час. Как начал ему рассказывать о Бардине, Гулыге, Луговцове, Межлауке, Свищине, Лобанове — он заслушался. Ну, просто увлекся. Я показал ему стенограммы, оставил их на денек у него. Мой метод, очевидно, показался ему очень интересным, он даже просил, чтобы я доложил о своей работе донецким писателям. И я, чувствую, говорил очень хорошо: с подъемом, с энтузиазмом.

Вероятно, я получу здесь полную поддержку — 14-го пойду к Сергееву для окончательного разговора. Моей повести он еще не читал, но я его так заинтересовал, что он сказал: «Я прочту ее в этот же вечер». Я вышел от него в прекрасном настроении.

С Макаровым бесед пока не начал. Веду беседы с рабочими — старыми доменщиками, с Максименко и др. Добрался-таки я наконец и до рабочих, с удовольствием слушаю их. Сегодня провел беседу с Сидоровым, — он учился вместе с Луговцовым в школе и вместе работал в химической лаборатории. Завтра беседа с матерью Луговцова и еще с одним его другом детства. Пока эти рассказчики дают мне немного — некоторые штришки. Мне это нужно, чтобы сразу по приезде в Москву начать писать первую главу.

13 декабря. Сталино

...Сегодня начну беседовать с Макаровым. Пока в Сталино особенно интересных бесед не было. Максименко оказался чертовски неразговорчивым, каждое слово приходится из него выжимать.

Зато есть ценнейшая находка. Оказывается, отец Луговцова, старик горновой (он умер в прошлом году), в последние годы жизни писал свои воспоминания — исписал несколько тетрадок. Теперь эти тетрадки у меня в чемодане. Ура! Ура! Ура!

14 декабря. Сталино

...Мне немного не повезло. Оказывается, сегодня вечером Макаров уезжает, и я проведу с ним только одну беседу. Жаль. Сегодня или завтра я уеду из Сталино. Затем несколько дней в Мариуполе, два дня в Харькове и домой в Москву. Вот мой план.

Со стенографисткой положение выправилось. Мы с ней как следует поругались и помирились. Полезно бывает поругаться.

15 декабря. Сталино

...Через два часа уезжаю в Мариуполь. Здесь, в Сталино, у меня дела очень хороши. Вчера начал беседы с Макаровым. Он очень неразговорчивый, но раскачался. Рассказывал два часа о своем детстве, дошли до одиннадцатилетнего возраста. Он вошел в колею, понял, чего я от него жду, и мы договорились, что придется провести еще бесед пятнадцать. Это очень хорошо.

Был еще раз у Сергеева (это, как я уже писал, культпроп обкома). Ему повесть понравилась. Я сказал, что мне надо приехать со стенографисткой месяца на два и на это потребуется тысяч пять, помимо денег, ассигнованных «Сталью». Он сказал, что я могу на это рассчитывать.

15 декабря. Сталино

...Сажу на станции, жду поезда, он опаздывает на два часа.

...Чувствую себя хорошо,— выпил в буфете две рюмки водки и готов обнять весь мир.

Ну, не молодец ли я? Целый месяц разъезжаю на четыреста рублей — билеты, гостиница, пропитание — и все-таки держусь на поверхности!

16 декабря. Мариуполь

...Вот я и снова в Мариуполе.

...Читаю записи старика Власа Луговцова. Вспоминаю, что мне рассказывали о нем его сверстники, его родные. Он будет прекрасным типом в «Доменщиках». Вечный труженик. Смирение и труд — его философия. Когда прорывается чугун и гремят взрывы, он сбрасывает горящую рубаху и бежит к печи — спасти чугун, направить его в канаву. Старый Юз сказал ему: «Вы самый лучший рабочий на заводе» — и этими словами всю жизнь гордился Влас. Прекрасный, колоритный тип. Находка.

У меня сейчас чешутся руки. Хочу сесть писать. Плод начинает созревать, опасно и неправильно дать ему перезреть.

Как только приеду в Москву, сяду писать первые главы. Первая глава у меня в голове ясна, вторая —

тоже, третья — туманнее, но хотелось бы написать и ее. Тогда вся вещь прояснится.

Потом опять поеду добирать материал по линии Бардина. Енакиево, енакиевский период, — у меня слабое место. А все остальное, кажется, укреплено солидно. «Доменщики» будут второй проверкой метода, — должен же он дать результаты, и не простые, а поразительные, исключительные. Иначе зачем этот труд?

18 декабря. Мариуполь

...Хочется скорей в Москву. Но держит, не отпускает Мариуполь. Вчера провел первую беседу с Гугелем. Он не особенно интересный человек, дает не особенно много, и, пожалуй, я мог бы сейчас обойтись и без него.

Собственно говоря, повесть у меня в голове почти готова, — в крайнем случае я мог бы уже сейчас сесть и написать ее. Но хочется добрать кой-какой материал. Это «добирание» очень тягостное и скучное дело, — почти все, что рассказывают, уже более или менее известно, что-либо новое, свежее попадает уже крайне редко, и беседы становятся томительными. Это уже признак зрелости вещи. Но добирать все-таки надо, чтобы укрепить слабые места.

Очень хочется начать писать. Уже мечтаю о том, чтобы засесть за стол, прочесть все материалы и строчить страницу за страницей. Но надобно еще съездить в Ленинград к первой жене Бардина (кстати, я узнал, что его мать живет в Харькове), и хочется разыскать еще хотя бы одного хорошего рассказчика, который рассказал бы про Енакиево.

19 декабря. Мариуполь

...Ну, вот — в кармане билет до Москвы и плацкарта до Харькова.

...Вчера беседовал с Гугелем с девяти вечера до четырех утра. Представляешь? Он вынужден был дежурить на заводе (произошла авария), и мы этим воспользовались и в ночь закончили все. Беседа была более интересна, нежели я предполагал.

Встретился с Гольденбергом — он директор строительства Керченских рудников. Очень славно побеседовали часа два.

ЕЩЕ ОДНА ПОЕЗДКА В ХАРЬКОВ
НАЧИНАЮ ПИСАТЬ СВОЮ ВТОРУЮ ВЕЩЬ

1935. Январь — февраль

В январе 1935 года я вновь поехал в Харьков, главным образом затем, чтобы продолжить беседы с Луговцовым. Роль этого прообраза возматала в моем замысле.

10 января. Харьков

...Приехал в Харьков и два дня устраивался. Вчера устроился окончательно и весьма неплохо. Живу я не в гостинице, а на частной квартире, как и предполагал. Эта комната арендована (или снята на год) газетой «За индустриализацию», сейчас она свободна и мне ее предоставили. Так что будет большая экономия на гостинице.

Эта экономия мне очень и очень кстати, ибо, вероятно, придется задержаться здесь дольше, чем я хотел бы. На Луговцова надо будет вести длительную осаду. В «Стали» сейчас нервная, напряженная атмосфера, — не до бесед. Эти морозы парализовали движение на железных дорогах, ударили по заводам, и вместо 19 тысяч тонн ежедневной выплавки «Сталь» дает по 12 тысяч. Все нервничают, днями и ночами сидят у телефонов.

Луговцов сказал мне:

— Езжайте в Москву, отложим до другого раза.

Но не на того напал. Я ему ответил:

— Не могу уехать.

И обрисовал свои стесненные материальные дела. В другой раз, мол, не сумею приехать, не наберу денег. И если сейчас не проведу с ним бесед, меня постигнет крах.

Такие доводы действуют на него очень сильно, и, вероятно, с выходного дня, с 12-го, мы начнем беседы.

Сегодня провожу три беседы — с матерью Бардина, с Красненко (он был директором Енакиевского завода при Бардине) и с Лобановым. Вообще мой конь не застоитя — дела хватит.

В свободные часы пишу. Черновик заправки — рассказ Власа Луговцова — уже есть. На днях буду делать черновик всей первой главы.

11 января. Харьков

...Вчера провел три беседы, сегодня две и еще одна предстоит вечером.

Прекрасные беседы были с матерью Бардина. Она очень хорошо рассказывает — откровенно, подробно. Рассказывает о всех интимных вещах — как Ваня женился, как разошелся с женой и т. д. Завтра опять буду с ней беседовать.

Я в своей комнате обзавелся кой-каким хозяйством: купил электроплитку, большую кружку, чтобы кипятить в ней воду, стакан, нож, ложку.

12 января. Харьков

...Очень разумно провожу свои дни — позавчера три беседы и вчера три, даже можно считать четыре, потому что целый час сидел у Луговцова и болтал с ним.

Регулярные беседы мы с ним наметили начать с 15-го. Меньше, чем в десять бесед, мне никак не уложиться. Таким образом, я приеду в Москву 26-го или 27-го. В общем, просижу здесь, пока хватит денег.

13 января. Харьков

...У меня трудовая однообразная жизнь провинциала, — нигде не бываю, кроме как на беседах, ничем не развлекаюсь. Работаю, как пчела.

Вчера опять беседовал с Бардиной, — она дает много красок для моей картины. Образ Бардина наконец-то становится сочным и богатым.

15 января. Харьков

...Мне что-то не везет с Луговцовым. Вчера он уехал в командировку. Когда я узнал об этом, страшно расстроился. Не знал, что делать, — хоть подавайся восвосяи.

Потом выяснилось, что он уехал только на два дня и завтра должен вернуться. Разумеется, я решил его подождать и, когда вернется, сразу взять в свои руки. Если это не удастся, тогда придется не солоно хлебавши возвращаться в Москву и назначить для встреч с Луговцовым какое-нибудь другое время.

Во всем остальном судьба мне улыбается. Особенно повезло со старухой Бардиной. Четыре беседы я с ней уже провел. Она действительно вбивала Бардину с малых лет в голову, что он никуда не годен, что из него ничего не получится и т. д.

Когда умер брат Бардина, мальчик, она билась и кричала:

— Ну, есть ли бог? Почему ты не взял этого, негодящего, недоноска, а взял здорового, любимого?

Каково было это слышать Ване?

...С сегодняшнего дня я приступил к писанию. Ох и тяжелое же это дело. Прямо каторжный труд! Несколько раз готов был бросить, но удерживал себя только тем, что должен просидеть от десяти до часа.

Чертовское напряжение требуется для того, чтобы написать первый черновик. И особенно когда только начинаешь, когда еще не втянулся в работу. Здесь может помочь лишь одно: сиди три часа — и баста!

Зато, когда пишешь, начинает прочищаться образ, проникаешь в смысл отдельных деталей, по-новому понимаешь то, что тебе было давно известно. Написал пятнадцать страниц.

Примечание. Видимо, в тот раз мне так и не удалось побеседовать с Луговцовым. Долг инженера-металлурга, к которому зывали расстроенные домны Юга, оказался для него сильней обязанностей перед литературой и историей. Что ж, это было тоже характерно.

Мои последующие письма адресованы в санаторий, марки погашены штемпелем Москвы.

8 февраля. Москва

...Я совершенно здоров, вошел снова в работу, пишу.

Вчера у меня был день сплошных неудач — очень мелких, но сплошных. Бывают вот такие дни: все подряд неудачно и неудачно.

Пошел получать деньги, которые мне перевели из «Знамени» (750 руб.). Бац — оказывается, причитается получить только 500. Что такое? Вычли 250 руб. за заем. Я взбеленился. Почему сразу? На всю сумму? Было много разговора, — в конце концов рассрочили на два месяца. И ведь, главное, срок займа еще не окончился, но бухгалтерия решила воспользоваться случаем: кто, мол, знает, когда вам переведут еще.

Оттуда пошел в издательство «Молодая гвардия», хотел предложить «Курако». Никаких разговоров, — план заполнен, можно будет говорить только через три месяца.

Оттуда — на беседу. Оказалось, мой рассказчик уехал в командировку.

После обеда я с горя решил пойти в Дом писателей — сыграть в шахматы или на бильярде. Прихожу — там все закрыто, готовится банкет в честь 15-летнего юбилея кинематографии.

Пришел домой, лег спать. Вчера, можно сказать, почти не работал.

С нынешнего дня начинаются трудовые будни, — всю пятидневку дома, утром четыре часа работы и вечером четыре часа. Прогулка, и все! Твердокаменный режим.

...Конечно, эти маленькие неудачи — сущие пустяки. Сообщаю о них только для того, чтобы описать свое времяпрепровождение. Решающие битвы идут у меня сейчас за письменным столом.

9 февраля

...Сегодня хорошо поработал. Набрал 16 страниц. Третья глава — центральная и самая трудная — вытанцовывается очень недурно. Возможно, за эту пятидневку я ее кончу. Пишу легко и с воодушевлением.

Вчера встретился с Соней Виноградской. Рассказала, что написала повесть о девушках метро. И хочет почитать.

12 февраля

Сегодня провел беседу с Дыбцом об Америке. Он рассказал только половину, — в следующий выходной будем заканчивать про Америку. Стенографировала Левицкая, я с ней сговорился, что деньги она получит в марте из Харькова.

...Сегодня выходной. Я играю и пляшу.

14 февраля

...Я работаю сравнительно хорошо — пишу каждый день приблизительно по пол-листа самого грязного черновика. Что такое черновики, всяческие наброски? Это своего рода распределение огромной нагрузки на ряд мелких тяжестей. Главная моя забота сейчас — построить сюжет, изложить весь материал в сценах. Это выходит довольно удачно.

Вечера использую слабо. Много отвлечений. То был на сеансе одновременной игры Капабланки, то

у Сони Виноградской (был у нее вчера, она читала повесть, мне понравилось, я очень похвалил). Хотелось бы работать вечерами регулярнее.

У меня дело движется быстро. Вчера я закончил черновик первой части, три главы, приблизительно листов шесть. Сегодня взялся за вторую. Всего у меня будет три части по шесть-семь листов. Первая — «Юзовка», вторая — «Война», третья — «Бардин» (революция).

К концу месяца у меня, вероятно, будет набросана вторая часть. Затем поеду в Харьков к Луговцову.

К 1 мая я должен дать в «Знамя» (для просмотра, для обеспечения дальнейшего получения денег) первую часть в отделанном виде. Постараюсь это сделать.

17 февраля

...Уже мечтаю о лете... Буду где-нибудь под Москвой писать, размеренно работать и вместе с тем пользоваться лесом, солнцем, водой.

Летом у меня будет сравнительно легкая и приятная работа — отделка черновигов, превращение их в нечто полноценное. Теперь же я занимаюсь нудным, неприятным делом — гоню первый черновик. Через это надо пройти, как через самый тяжелый этап во всей работе. Сажусь за стол каждое утро без подъема, без вдохновения и пишу три — три с половиной часа, накидываю двенадцать — шестнадцать страниц. Каждый день, каждый день, как машина. Листов семь или восемь уже накарябано, но я еще не дошел до половины.

Композиция получается довольно стройная, три части по три главы. Каждая глава занимает два — два с половиной листа. Мечтаю о том времени, когда черновик будет весь написан и я начну вытачивать свою вещь.

19 февраля

...В выходной день я был в кино.

...После кино раздался звонок по телефону, — оказывается, приехал Гулыга, позвонил мне. Я сейчас же пригласил его к себе, купил печенье и лимон, угостил чаем и провел беседу по вопросам, которые у меня были заранее записаны.

Наутро под впечатлением беседы и потому, что как-то не хотелось браться за тяжелую работу,

я позволил себе маленькую вольность: вместо того чтобы писать дальше, стал переписывать главу о Гулыге. Да, перебелка действительно приятная работа, ее делаешь с удовольствием, с увлечением, не замечаешь, как бежит время.

Сегодня я уже откажу себе в этом удовольствии, буду гнать дальше: главу о Бардине. Сейчас у меня половина черновика вещи уже готова, половина еще впереди,—но вторая половина легче первой, потому что есть разгон, инерция.

ГУЛЫГА

Примечание. Эта глава о Гулыге, написанная мною в те дни, как бы вобрала в себя его стенограмму-исповедь.

Вместе с различными заготовками и многими главами романа о доменщиках стенограммы Гулыги погибли во время войны, однако двадцать страничек моей рукописи, посвященные ему, волею случая уцелели.

1

Под звуки ресторанной музыки, под шелест карт, скользящих по зеленому сукну, под звон и стук золотых монет появляется новый герой нашего романа.

В черной казачьей черкеске до колен, с погонами поручика, он входит летним вечером 1904 года в игорный зал бакинского «Артистического клуба». У него юное лицо с голубыми глазами; стриженные наголо волосы не скрывают правильных круглых линий черепа без впадин и шишкообразных выпуклостей; высокая фигура, обтянутая в талии черкеской, поразительно правильна в своих пропорциях. Можно угадать, что этот отборный экземпляр человека создан поколениями, не знавшими ни упорной работы мозга, ни изнуряющего физического труда, поколениями, культивировавшими ловкость и силу тела; это были, судя по черкеске, поколения казаков, когда-то вольных птиц, проводивших полжизни на коне.

На груди офицера серебряный солдатский Георгий, запястье правой руки обвито кожаной петлей, на ней покачивается стек.

Колыхаются слои папиросного дыма, игроки сидят вокруг столов, многие без пиджаков, некоторые верхом на стульях, спинкой к столу; их обступают зрители, в зале много женщин. За центральным столом банк мечет горный инженер, засучив рукава форменной тужурки. Инженер видит офицера и кричит:

— А, поручик Гулыга! Давно ли с границы? Не угодно ли карту? В банке ровно тысяча для вас...

Офицер отвечает через зал:

— Выехал вчера. Сутки в седле, и готов к услугам всех милых дам города Баку.

Он идет к столу, разглядывая незнакомых женщин и улыбаясь им.

Инженер повторяет:

— В банке тысяча. Угодно карту?

Тысяча... Нет, это много для Гулыги. Шесть месяцев он провел на персидской границе, в пограничном кордоне, затерянном среди гор. Шесть месяцев копил он деньги, чтоб вырваться на неделю в Баку и пустить их по ветру. Тысяча рублей, пожалуй, у него наберется. Это шестимесячное офицерское жалованье плюс плоды мелких выигрышей в копеечной игре офицеров-пограничников, плюс подарок от отца — сто рублей ко дню рождения. Поставить сразу это все на карту? Если проигрыш — значит, снова в седло, сутки на коне и снова на границу, в пустыню, в безлюдные голые горы, где нет женщин и электрического света. Нет...

— Ну? — спрашивает инженер.

— Карту! — говорит Гулыга, и его голос, обычно звонкий, неожиданно хрипит. — Иду ва-банк...

Инженер небрежно бросает карты, Гулыга поднимает свои, играют в девятку, у него девять, это высшая карта, он выиграл. Шуршащая кучка бумажек и золота придвигается к нему. Он рассовывает деньги в карманы, и пальцы слегка дрожат.

Насмешливая улыбка появляется на лице инженера. Он спрашивает:

— Вы не торопитесь, поручик? Угодно на две тысячи?

Он еще выше засучивает рукава на мускулистых волосатых руках, будто перед ним молодой бычок, предназначенный к убою.

— Карту! — отвечает Гулыга.

Из соседнего зала, где расположен ресторан, доносятся заглушенные звуки оркестра; двухсотсвечовые

лампы сквозь дым папирос льют белый свет на зеленые столы; игроки и зрители молча следят за битвой между инженером и молодым офицером. Карты сданы.

— Шесть,— говорит инженер.

— Семь,— отвечает Гулыга, открывая карты.

Он выиграл. Инженер предлагает играть на четыре тысячи. Гулыге бешено везет, он выигрывает в третий раз. Инженер разводит руками, признавая себя побежденным, расплачивается и передает карты известному бакинскому адвокату.

— В банке сто рублей,— объявляет адвокат.

Взметнувшаяся на гребень игра скатывается к своему низшему уровню, чтобы снова взметнуться после нескольких схваток.

К Гулыге подбегает приятель, пехотный капитан.

— Пойдем скорей, все в сборе, ждем тебя.

Гулыга вспоминает, что по дороге в клуб сговорился с капитаном играть сегодня в винт. Он прячет деньги и отходит от стола.

Адвокат кричит вслед:

— Куда же вы, поручик? Испугались?

Гулыга мгновенно останавливается, подбегает к столу и вытаскивает из карманов кредитки и золотые монеты. Поверх кучи денег он кладет бумажник и еще раз обшаривает карманы, там не осталось ничего.

Вскинув голову, разъяренный, он кричит:

— Здесь восемь тысяч! Идет на все!

Секунда молчания. Все стихает около стола.

— Испугались? — торжествующе вырывается у офицера.

Не отвечая, адвокат сдает карты. Гулыга поднимает свои и швыряет открытыми на стол. У него девять.

— Ого! — раздается восклицание женщины.

Гулыга поворачивается и видит смущенное девичье лицо. Большие карие глаза смотрят на него восхищенно. Золотые волосы, взбитые и слегка растрепанные спереди, колеблются и дрожат, отражая свет. Очень темные густые брови, будто счастливо найденный художником неожиданный и решающий штрих, делают заметными и подчеркивают все детали лица: и светящиеся волосы, и широко раскрытые глаза, и замечательную розовую кожу, покрытую пушком. В волосах, в ушах и на шее сверкают бриллианты. Тяжелое бледно-сиреневое бархатное платье облегает высокую выпуклую грудь.

— Получите деньги, поручик,— говорит адвокат.

— Ты сумасшедший, Владимир! — шепчет капитан и под руку увлекает Гулыгу в соседнюю комнату, там их ожидают винтеры.

Партнеры знакомятся. Играют вчетвером — два офицера, инженер средних лет и старик, бакинский нефтепромышленник.

Во время игры в комнату вбегают вприпрыжку девушка в бледно-сиреновом платье. Она видит Гулыгу, от неожиданности приостанавливается и краснеет. Гулыга жадно глядит на нее. Смутное ощущение несоответствия между девичьей легкостью движений и тяжелым бархатным платьем коробит его.

Она подходит к старику нефтянику. Ласкаясь, она прижимает свою золотистую голову к его желтой щеке, исподлобья смотрит, улыбаясь, на Гулыгу и просит:

— Папочка, дай мне еще денег...

— Все проигрываешь, шалунья? На, держи, стрекоза...

Она протягивает сложенную горсточкой руку, он вынимает кошелек и сыплет золото на маленькую розовую ладонь. Она чмокает старика в блестящую лысину и убегает.

«Славный старикашка», — думает Гулыга.

Партия в винт заканчивается после полуночи.

Гулыга поднимается.

— Господа! Сегодня я выиграл пятнадцать тысяч в девятку. Позвольте мне пригласить всех ужинать.

Обращаясь к нефтянику, он добавляет:

— И вашу дочь тоже...

— Простите, это не моя дочь, это моя жена.

Старик идет к дверям большого игорного зала и зовет:

— Ляля... Лялька... Лялечка...

Она вбегает в комнату.

— Знакомьтесь. Елена Николаевна... Владимир Иванович Гулыга.

Они смотрят друг на друга и одновременно опускают глаза. Гулыга повторяет приглашение. Нефтяник отрицательно машет рукой, он утомлен и поедет домой. Во время игры Гулыга не обращал внимания на руки старика, сейчас он замечает пожелтевшие длинные ногти, загнутые вниз, сухую дряблую кожу и темные, слегка вздутые вены. Замечает рот с выпяченной нижней губой.

— Ну, папка. Какой ты... Мне хочется остаться...

— Что ж, детка, оставайся... Поручик и капитан тебя проводят.

Нефтяник уезжает. Компания переходит в ресторанный зал. Там на подмостках играет женский румынский оркестр. Гулыга требует шампанского, фруктов и цыган.

Он вызывает метрдотеля, сует ему триста рублей и приказывает сейчас же среди ночи достать корзину цветов для Ляли. Он приглашает ее завтра вечером кататься верхом. Она подымает узкий высокий бокал с желтым прозрачным вином и восклицает, беспричинно смеясь:

— Выпьем за завтрашний вечер!

Вмешивается капитан:

— Позвольте, Елена Николаевна, ведь мы идем завтра с вами в театр.

— Нет, мне хочется кататься. Владимир Иванович научит меня скакать по-казацки.

Капитан мрачнеет и бормочет под нос:

— Конечно, он выиграл пятнадцать тысяч, у него больше денег.

Гулыга слышит. Не раздумывая ни секунды, он с размаху ударяет капитана стеком по лицу. Вдоль щеки ложится белая полоса, она мгновенно вздувается и наливается кровью. Капитан выхватывает револьвер, к нему бросаются сзади, гремит выстрел, пуля дырявит стену, легкое облачко белой пыли отделяется от штукатурки. Офицеры с соседних столиков держат капитана за руки.

2

Дуэль назначена на это же утро за Сураханами, на берегу Каспийского моря. По степи, поросшей диким кустарником, Гулыга скачет верхом к месту дуэли. Норд несет пыль, чуть пахнущую нефтью. Вдали темнеет неприветливое серое море.

На Стенькином кургане Гулыга останавливает коня, поворачивается и смотрит на город нефти, на сотни маслянисто-черных деревянных вышек. Мимо по дороге струится в город поток рабочих, в этот час они идут на работу. Как черное изваяние, как призрак, над ними высится всадник на вороном коне, в черкеске, в кубанке, с нагайкой в руке.

Гулыга смотрит на дорогу, на проходящих рабочих. Через двадцать минут в него будут стрелять, он думает о себе.

Год назад, в сентябре 1903-го, он видел лицом к лицу эту серую массу, взбунтовавшуюся, грозную. Промыслы забастовали, к центру города направилась демонстрация, Гулыгу вызвал командир полка, приказал взять сотню, встретить демонстрацию оружием и пустить кровь для успокоения.

Развернув сотню в боевой порядок, Гулыга выехал навстречу многотысячной человеческой лавине. Он поскакал вперед с трубачом и предложил разойтись, необозримая масса людей надвигалась на него, он махнул рукой, тревожно пропела труба, и казаки карьером врзались в толпу.

Гулыга помнит — какой-то рабочий схватил за повод его лошадь, он едва не вылетел из седла и хлестнул нагайкой по темным рукам.

Рабочий выкрикнул:

— Собака, сколько тебе платят за это?

И плюнул на офицерскую черкеску.

Сколько ему платят за это? В месяц несчастных сто двадцать целковых. Он вспоминает «Артистический клуб», свои дрожащие пальцы и презрительный взгляд инженера с засученными рукавами. Они швыряют деньгами, эти люди, умеющие найти и взять нефть, они создали город черных вышек, на них работают эти тысячи рук.

А он? Как сторожевой пес, за сто двадцать рублей в месяц он охраняет властителей жизни от бунтов. Нет, черт возьми, он оседлает свое счастье, и пусть другие охраняют его самого.

Гулыга дает шпоры коню и несется с кургана к месту дуэли.

Там уже все собрались.

Гулыга равнодушно смотрит, как секунданты каблуками проводят две черты на песке. Рядом ревет море, сейчас они будут стрелять друг в друга на расстоянии двадцати шагов.

Капитан подходит к черте, тщательно и долго целится в голову Гулыги. Гулыга ждет, он уверен в своем счастье, капитану не попасть. Капитан стреляет. Мимо. Гулыга поднимает револьвер, спускает, не целясь, курок, пуля пробивает руку капитана. Подбегает доктор, капитана увозят в закрытой карете.

Гулыга верхом, пустив коня шагом, возвращается к себе в номер гостиницы.

Дверь номера почему-то приоткрыта. Гулыга толкает дверь, навстречу бросается Ляля в простом белом платье.

Она пытается несвязно объяснить, что не могла ждать и пришла из дому сюда в тревоге за него.

Гулыга молча схватывает ее обеими руками, поднимает, целует в губы.

...Две головы лежат на одной подушке, голая женская рука обвивает шею мужчины.

— Зачем ты живешь с этим стариком?

— Живу с ним, а люблю тебя. Если захочу, разведусь в любой момент.

— Почему же ты не разводишься?

— Потому что никого не полюбила.

— А теперь?

— Теперь люблю тебя...

Пауза.

— Знаешь, Лялька, разведись и выходи за меня.

— За тебя?

Женщина начинает хохотать. Она хохочет всем телом и, чтобы удобнее смеяться, высвобождает руку из-под шеи Гулыги и садится на постель.

Гулыга краснеет, сбрасывает одеяло и тоже садится.

— Чему ты смеешься?

Они сидят рядом — весело хохочущая, изнеженная роскошью двадцатилетняя жена миллионера и оскорбленный казак-офицер, игрок и сорвиголова.

— Чему ты смеешься?

Ляля справляется со смехом.

— А на что мы будем жить? Подожди, он скоро умрет, я стану богатой, и тогда...

— Тогда я буду жить на твои деньги, да? Ты думаешь, я сам не сумею их добыть?!

Ляля отвечает с гримаской:

— Какие деньги могут быть у офицера?

Гулыга вскакивает, взбешенный и бессильный. Он выкрикивает:

— Слушай, если ты любишь меня, то разведешься со своей старой обезьяной, или... Или я завтра же уеду на японскую войну...

Ее забавляет рассерженный полуголый Гулыга.

Улыбаясь, она вытягивается на кровати и говорит:

— Никуда ты не поедешь. Любим друг друга — и хорошо. Иди сюда, глупый...

— Не поеду? Посмотрим...

Он лихорадочно одевается, бросая по сторонам яростные взгляды, и выбегает из номера, сжав кулаки.

Выйдя из гостиницы, он шагает на почтамт и на телеграфном бланке пишет:

«Петербург Военному министру.

Покорнейше прошу направить меня в конную часть действующей армии».

Он расписывается и ставит номер полка.

На следующий день в штаб полка приходит телеграфный приказ об откомандировании поручика Гулыги на Дальний Восток, на театр русско-японской войны.

3

Прорезывая бесконечные равнины Сибири, поезд мчится в Маньчжурию. Гулыга сидит в купе международного вагона.

Четыре года назад, в 1900-м, он неся в таком же экспрессе очертя голову на Дальний Восток на подавление боксерского восстания.

Как имя той девушки в пестром сарафане? Он так и забыл спросить... Гулыга улыбается воспоминаниям. Четыре года назад в международном вагоне ехал только он один. Было скучно, он пошел курить на площадку соседнего вагона третьего класса. Там стояла молодая крестьянка в ситцевом сарафане, повязанная белым платком. Он, девятнадцатилетний юнкер в бескозырке, переполненный нерастроченной силой, жадно взглянул на ее свежее, румяное лицо. Они молча смотрели друг на друга полминуты.

— Служивый, хошь? — спросила она.

Он потащил ее в свое купе.

Только эти два слова были сказаны между ними. Роман из двух слов. Через пять минут она убежала, и он не мог разыскать ее в поезде.

«Служивый, хошь?» — к этому сводится история всех его многочисленных любовей, начиная с институтки-елизаветинки, которая забеременела, когда он был еще кадетом. «Любовь» — Гулыга произносит это слово пренебрежительно, без мягкого знака. Он давно не верит ни в любовь, ни в бога, ни в царя, ни в человечество.

Веру в бога он потерял, будучи кадетом четвертого класса. Ученье давалось ему без труда, он шел первым по всем предметам, почти не уча уроков. Подвижным, острым умом он уловил противоречие между естественными науками и библейским сказанием о сотворении мира.

На уроке закона божия он спросил священника:

— Батюшка, мы учим, что вначале бог сотворил свет, а потом небо и землю, а по физике выходит, что свет есть колебание эфира. Как же мог быть свет без эфира?

— Кто это тебе сказал?

Кадет сослался на учебник физики Краевича.

— И ты болван, и твой Краевич болван. Захотел бог — и пустил свет без эфира, захотел — и эфир заколебал. Отвечай урок!

Уехав летом на каникулы, Гулыга в первый же вечер, глядя на одиннадцатилетнего брата Жоржа, вставшего на колени, чтобы помолиться перед сном, сказал:

— Знаешь, Жорж, возможно, что все это чепуха. Кажется, бога нет.

— Ну?

— Давай проверим. Я плюну на икону, что будет?

В изголовье кроватей у братьев висели иконки, у одного — Святого Владимира, у другого — Георгия Победоносца. Володя велел брату настезь отворить все двери, чтоб был свободный ход на улицу.

— В случае чего успеем убежать.

Жорж открыл двери и в длинной ночной рубашке наблюдал за братом из соседней комнаты, заслонившись креслом.

Старший плюнул в своего святого и мгновенно присел, прячась за кровать. Мальчики напряженно ждали, замерши в своих убежищах. В комнате было тихо, ничего не случилось, с иконки стекали слюни. Володя встал, подошел к кровати Жоржа и плюнул в святого Георгия. С этого вечера он перестал верить в бога.

Гулыга вырос в потомственной казачьей семье на Кубани. Его дед был лихим казачьим офицером, участником суворовских походов, его отец — казачий генерал. Когда-то отец имел поместье на Кубани, потом прокутил и теперь жил на жалованье, командуя пластунской бригадой.

В корпусе и в юнкерском училище Гулыга много читал и видел из книг, что героем новой литературы является не офицер, а штатский. В романах Мамина-Сибиряка и Боборыкина перед ним вставали фигуры золотопромышленников, фабрикантов и строителей железных дорог. Их жизнь была полна до краев делом и деньгами. Тысячи и миллионы рублей мелькали на страницах, деньги текли рекой. Еще мальчишкой Гулыга понял, что отец не имеет состояния, тысяча для него большие деньги, понял, что поток золота и кипучей работы несется где-то далеко в стороне, не касаясь отцовского дома.

В юнкерском училище Гулыга прочел Достоевского. «Преступление и наказание» ошеломило его. Достоевский стал его любимым писателем, не сравнимым ни с каким другим, добирающимся до сокровенных человеческих глубин. Романы Достоевского вызывали в нем острее мучительное наслаждение, будто писатель, обнажая человеческую душу, копался в нем самом. В эти моменты молодой офицер, удалец, шалопай и игрок, ощущал себя жалким героем Достоевского, загнанным в подполье и на задворки жизни.

Еще не зная жизни, сохранив невинное выражение мальчишеского круглого лица и голубых глаз, он успел усвоить взгляды Достоевского на человечество. Слегка рисуясь, он нередко повторял фразу из «Подростка»: «Человечество можно любить, заткнув нос и закрыв глаза».

Четыре года назад, прочитав экстренные выпуски газет о вступлении русской оккупационной армии в Китай для подавления боксерского восстания, Гулыга не раздумывая сел в тот же день в поезд и поехал добровольцем воевать с китайцами. Он сам не отдавал отчета, зачем это сделал. Его томила неудовлетворенность, надоело юнкерское училище, дисциплина, ежедневное однообразие, захотелось авантюры, захотелось каким-то скачком изменить свою жизнь.

Он ехал четырнадцать суток, утомительных и долгих. В Маньчжурии он увидел строительные работы. Под охраной русских солдат, тысячи и десятки тысяч китайцев укладывали полотно дороги. Некоторые работали на лошадях, большинство таскало землю, песок и камень маленькими корзинками на коромысле.

Он помнит — его потрясло тогда ощущение грандиозности сооружения. Он ехал четырнадцать суток по

столбовой дороге мира от океана к океану, позади лежало семь тысяч километров железного пути. Они, ему неизвестные люди, инженеры и дельцы, перебросили этот бесконечный путь через реки, пробили туннелями горы и нажили здесь миллионы. Вот она, река, по которой течет золото!

А он? В Маньчжурии он узнал, почему восставшие китайцы называются боксерами, их эмблемой был большой кулак. Везде и всюду, в Маньчжурии и в Баку, он, офицер, охраняет чужое золото от бунта этих согнутых фигурок, от их большого кулака.

При взятии Пекина он получил Георгия. Было так. В предместье китайской столицы наступающая кавалерийская часть встретила упорное сопротивление из огромного здания арсенала, обнесенного высокой каменной стеной. Следовало подождать артиллерию, чтоб разбить снарядами тяжелые дубовые ворота и ворваться внутрь.

Командир не захотел ждать, он вызвал охотников, чтоб перелезть под огнем через стену и открыть ворота. Тому, кто перелезет первый, был обещан Георгиевский крест. Из строя вышло восемнадцать человек, среди них Гулыга. Они бросились к арсеналу взапуски, Гулыга обогнал всех. Чувствуя необычайную легкость во всем теле, он вскочил на стену и не оглядываясь прыгнул вниз.

Он смутно вспоминает Пекин, дворцы и молельные башни-пагоды с резными драконами на крышах.

Вместе с другими офицерами он разбивал и грабил ломбарды и ювелирные магазины, набивая карманы золотыми кольцами, ожерельями, часами и браслетами. Он помнит — в узкой улице, в подворотне, он выбрасывал из карманов золотые вещи в руки китайца-скупщика, мимо кто-то пронесся верхом; подняв голову, Гулыга увидел человека в русской инженерской фуражке с двумя молотками и перехватил презрительный взгляд.

Вечерами в Пекине офицерство кутило и дулось в карты. В ночь перед отъездом из Китая Гулыга выиграл в штос шесть тысяч рублей.

Он решил вернуться в Россию морем, поехать на выигранные деньги вокруг света. Он сел на пароход в ноябре 1900 года и прибыл в Москву в мае 1901-го. От шести тысяч осталось у него три рубля. Он кинул их извозчику перед юнкерским училищем и не взял сдачи.

В этом путешествии он швырял, не считая, деньги и от порта к порту растрачивал неистощимую силу на японских гейш, на баядерок с острова Цейлон, на маитянок, малаек, на одесских евреек, осевших в публичных домах Порт-Саида, и на проституток Лондона. В каждом порту он приказывал гиду вести его в кабаки и притоны.

На Таити он поехал в глубь острова, в какой-то деревне купил шестнадцатилетнюю голую темнокожую девушку, трое суток они провели у океана, в тропическом лесу, как звери, не зная ни одного слова, понятного обоим.

В Сан-Франциско — столице Калифорнии — ему не удалось достать женщины. Это был город золота и мужчин, выросший на пустом месте в несколько лет. В ресторанах люди клали перед собой на столы рядом с вилкой и ложкой длинные револьверы, женщины здесь были редкостью, за них платили кровью.

Здесь, в Сан-Франциско, в городе золотой лихорадки, ему вдруг захотелось бросить все, Россию, офицерскую карьеру и остаться где-нибудь у ручья промывать золотиносный песок, ходить в длинных болотных сапогах на двойной подошве и класть около себя на столике револьвер. Предстоящий труд и скитания не страшили его, он чувствовал в себе силу пробиться и обогнать других. Его остановило смутное предчувствие, будто ему суждено нечто иное.

Он стоял на борту, когда пароход отвалил от мола, и смотрел на вечерние огни Сан-Франциско, которых, наверное, не увидит больше никогда. Не пропустил ли он случай, который мог перевернуть его жизнь и вознести на вышину? Ему захотелось прыгнуть в море и плыть к огням, он сжал медные поручни и удержал себя.

Через год он окончил юнкерское и был выпущен офицером в казачий полк на Кавказе.

И вот прошло три года, он волочился за женщинами, играл в карты, разгонял рабочих в Баку и скучал на границе.

Он вспоминает обед, который дали молодые офицеры-кубанцы в честь уезжавшего бригадного генерала. Генерал пробыл на Кавказе три года, жил далеко за городом на даче с молодой женой и два раза в год делал смотры в Баку.

Подвыпив, при прощании с офицерами генерал сказал:

— Молодежь, я вас очень люблю и всем желаю счастья. А счастье, по-моему, в безделье, потому что труд — это физическое страдание. Поэтому желаю каждому из вас стать бригадным генералом, то есть ничего не делать.

Вот и он, Гулыга, к пятидесяти годам станет бригадным генералом. Неужели судьба готовит ему это?

Он встает и подходит к окну. Навстречу поезду несутся однообразные скудные сибирские пейзажи. Он закрывает глаза. Бесконечная линия рельсов, стремящихся к океану сквозь необозримые пространства, бежит перед ним. Сколько здесь уложено железа, сколько здесь нажито миллионных состояний! И снова, как когда-то, его пронизывает ощущение грандиозности великого сибирского пути.

Поезд тормозит, Гулыга спрыгивает, чтоб промяться на станции, и ходит по шпалам вдоль рельсов, блестящих на солнце накатанными поверхностями. Он наклоняется, рассматривает рельс, словно никогда его не видел, и читает выпуклые буквы на железе: «Юзовский завод». Эти слова ему ничего не говорят. Три звонка, он вскакивает на подножку, поезд трогается и развивает скорость.

Может быть, там, на Дальнем Востоке, куда он мчится по рельсам, ему выпадет наконец какой-нибудь неожиданный и долгожданный случай?

4

Прячась в кустарнике, они лежат на вершине холма, полсотни спешенных казаков во главе с Гулыгой. Два заколотых японских солдата валяются рядом. Утренняя мокрая трава обрызгана свежей кровью, еще не успевшей почернеть.

Холм освещен первыми лучами солнца, а внизу, в долине, колыхается туманная дымка рассвета.

После четырехдневного Лаоянского боя в августе 1904 года русская армия отступала форсированным маршем, выполняя план Куропаткина. Ей удалось оторваться от японских частей. Нескольким кавалерийским отрядам была поручена разведка расположения неприятеля.

Одним из отрядов в полсотни всадников командует Гулыга. Всю ночь их вел через лес китаец-лазутчик. Перед холмом отряд спешил, оставив коней в лесу. Китаец пополз вперед и бесшумно приколол двух сторожевых японцев.

Солнце подымается выше, туман в долине тает, перед глазами Гулыги возникает множество белых палаток среди зелени, на палатках флажки с желтым кружком в середине — символ восходящего солнца. В центре лагеря Гулыга находит артиллерию, он наводит бинокль и считает орудия. Перед ним на расстоянии четырехсот шагов японская дивизия, двенадцать тысяч солдат, он определяет это по количеству орудий, их тридцать шесть. Он наносит на карту месторасположение лагеря, потом оглядывает своих казаков, залегших цепью на холме. Две недели назад они, и он вместе с ними, так же лежали в цепи в дни Лаоянского боя. Он помнит свое тогдашнее отвратительное состояние. Кто-то другой управлял его волей, он не имел права без приказа двинуться ни вперед, ни назад, все четыре дня боя он молча бесился от тягостного ощущения обезличенности.

Сейчас он хозяин этой минуты. Перед ним двенадцать тысяч японцев, ряды палаток поразительно четки, будто прочерчены по линейке. Захочет он, Гулыга, и воздух наполнится грохотом и к черту взорвется спокойствие аккуратного лагеря. Нет, это глупо, пора уходить.

Гулыга еще раз оглядывает цепь и вынимает маузер. Полным голосом, далеко слышным в утренней тиши, он командует:

— Прицел шестнадцать... Взвод...

Казаки целятся, прижав приклады к плечам. Гулыга замирает на секунду и кричит:

— Пли...

Залп. Все изменилось в мгновение. Мечутся фигурки в желтых фуражках, раздаются беспорядочные выстрелы и крики, срываются с коновязей лошади.

Гулыга смеется от всей души, как ребенок. Потом снова командует:

— Пли...

Залп. Еще залп.

Суматоха в лагере принимает какие-то определенные очертания. Очень похоже, употребляя современное сравнение, на мультипликационный фильм,

когда палочки и точки, будто брошенные небрежной рукой на экран и сталкивающиеся в беспорядочном движении, вдруг складываются в фигуры и буквы.

Пора уходить!

Гулыга командует, и отряд бежит с холма к лошадям. Наперерез из лощины вылетает конная японская часть.

До лошадей уже не добежать, китаец поворачивает на ходу и, пригибаясь, чтобы укрыться за низким кустарником, несется к лесу по другому направлению. Все следуют за ним.

Сзади стреляют, пули разрывают листья и срезают ветки, один за другим падают казаки, люди бегут к спасительному лесу, задыхаясь и не оглядываясь на упавших.

Остатки отряда ведет по лесу китаец. Люди растянулись цепочкой, впереди китаец, сзади Гулыга. Они пробираются без тропы, останавливаясь при малейшем шуме и не произнося ни слова.

Неожиданно, как молния, в тишине раздается залп и тотчас пронзительный предсмертный крик китайца. Они наткнулись на японцев. Лес гремит выстрелами. Гулыга кидается в сторону и бежит, как слепой, ударяясь о деревья. Ноги скользят, он проваливается куда-то, боль пронзает голову, сознание погасает.

Он приходит в себя ночью в полной темноте. Сверху падают капли дождя, он делает движение и вскрикивает от дикой боли в руке. Он лежит в яме, наполовину в воде, он упал сюда утром с разбегу, ударился головой о камень и сломал левую руку. Рука распухла, малейшее движение вызывает в ней нестерпимую боль. С закрытыми глазами он сидит в воде неподвижно, как одеревенелый, сверху капает дождь, он старается не думать, что надо вылезать из ямы, и ожидает рассвета. Вдруг проносится мысль: только по ночам он может пробираться к своим, днем его захватят японцы.

Корчась и мыча, ухватившись здоровой рукой за край ямы, вцепившись зубами в выступающий корень, он выволакивает себя наверх. Он один в лесу со сломанной рукой, мокрый, дрожащий и жалкий. Куда идти? Он вынимает светящийся компас и направляется на северо-запад, к своим. Он бредет, закусив губы от боли, и спустя несколько минут спотыкается обо что-

то мягкое. Ногами он нащупывает труп. Здесь легли навсегда его казаки. Радость прорывается сквозь боль: как хорошо, что убили их, а не его!

В нем пробуждается голод. Он садится на корточки и обшаривает карманы мокрого мертвого казака. Схватив хлеб, он выпрямляется, по лицу текут слезы от непереносимой боли, он жадно жует и бродит вокруг, отыскивая ногами новые трупы. Надо бы еще взять хлеба, чтоб сделать запас, но он не решается нагнуться — слишком страшна боль при этом движении. Он уходит и бредет по компасу всю ночь, испуская протяжные громкие стоны и не присаживаясь ни разу.

Перед рассветом он спотыкается о корень и падает ничком. Острая невероятная боль пронзает его, ослепительный свет ударяет в глаза, он теряет сознание.

Спустя много часов, днем, он открывает глаза. Он лежит, уткнувшись головой в ствол дерева с темной шершавой корой. Он пытается встать на четвереньки, корчится и не может подняться.

Идиот! Зачем он ушел от японцев? Пусть придут они, подберут его и делают с ним что хотят. Лишь бы остаться живым.

Кончено навсегда с этим миром: он, Гулыга, исчезнет и все исчезнет вместе с ним — солнце, женщины и деньги. Почему он не остался в Сан-Франциско? Идиот, идиот!

В бессильной ярости он впивается зубами в кору дерева, рвет и разбрасывает ее вокруг, рыча, как обезумевший зверь.

Сознание мутнеет, он ползет вперед, за ним на ремне волочится маузер. Рукой он достает револьвер, тянет к себе и из последних сил несколько раз нажимает курок. В лесу раздаются выстрелы.

Придите сюда кто-нибудь, русские, японцы, — все равно, спасите, спасите его!

Через час казаки генерала Ренненкамппа, привлеченные выстрелами, нашли в лесу Гулыгу.

На следующее утро в госпиталь приходит дежурный штабной генерал. В полусознании Гулыга передает записи разведки и карту.

Генерал что-то говорит раздраженным и крикливым тоном. До слуха доходит фраза:

— Вы погубили людей и коней!

— Идите к черту! — отвечает Гулыга и закрывает глаза.

Через месяц с рукой в гипсе он возвращается постаревшим, взгляд стал серьезнее и сосредоточеннее. Ночь в лесу изменила его, он вошел в нее мальчишкой, вышел взрослым.

5

— Поручик Гулыга, войдите! — говорит адъютант.

С забинтованной рукой на черной повязке, с Георгиевским крестом на груди Гулыга шагает в кабинет великого князя Константина Константиновича.

Константин, генерал, академик и поэт, покровитель офицерской молодежи, длинный, как все Романовы, исключая Николая, ласково встречает офицера.

— Здравствуй. Знаю твоего отца. И ты, вижу, молодчина... Что нужно? Проси смело.

— Рад стараться, ваше высочество! У меня небольшая просьба: хочу оставить военную службу.

— Как? Что ты? Твой отец генерал, твой дед вояка, брат прекрасный офицер, а ты?

— Ваше высочество, у меня сломана рука.

— Пустяки, вылечим. Об этом не стоит говорить.

— Ваше высочество, я решил испробовать свои силы в инженерной деятельности.

На Дальнем Востоке еще продолжается война, в военное время ни один офицер не может выйти в отставку без особого разрешения, Гулыга пришел просить об этом великого князя Константина.

Константин выходит из-за стола и начинает ходить по кабинету.

— Нет, господа! Офицер был, есть и будет первым человеком в России.

Князь выкрикивает эти слова с неожиданной горячностью и искренностью. Он ходит по кабинету от стены к стене и говорит, не обращаясь к Гулыге, а будто продолжая незаконченный спор:

— Кто создал империю, шестую часть земного шара? Мы, военные! Кто сохраняет ее цельность и могущество? Мы, военные! Величие России в офицерстве.

Гулыге хочется спросить: «А деньги у кого?»

Князь останавливается и сурово смотрит в упор на Гулыгу, как бы ожидая возражений зеленого поручика.

Гулыга протягивает прошение об отставке.

— Ваше высочество, разрешите просить вас об удовлетворении моего ходатайства.

Константин читает, зовет адъютанта и хмуро диктует ему: «Подлежит увольнению в отставку, прошу не чинить препятствий для приема в высшее учебное заведение». Адъютант подает бумагу на подпись, князь смотрит на Георгиевский крест офицера, сокрушенно качает головой, бормочет: «Твой дед суворовский вояка» — и размашисто пишет: «Константин».

Двадцатипятилетний Гулыга становится студентом первого курса Петербургского политехнического института. Он самый старый среди восемнадцати- и девятнадцатилетних первокурсников. Ах, как он опоздал, как он отстал от других в беге на длинную дистанцию к карьере и деньгам.

Он живет на пятьдесят рублей в месяц, которые присылает отец, дает зарок не пригубить вина, пока не получит диплома, не притрагивается к картам, не встречается с офицерской компанией, зубрит и зубрит в будни и по воскресеньям, не давая себе передохнуть.

Какую специальность ему выбрать? Электротехника, химия, производство стали, нефть — все манит его.

Решение созревает на лекции профессора Михаила Александровича Павлова. В тот день профессор читал об авариях в доменном деле. Картины работы с огромными огненными массами, заключенными в тонкую непрочную оболочку печи, картины потрясающих взрывов вставали перед слушателями.

Некоторые примеры особенно поражают Гулыгу.

Около доменной печи на песке несколько рабочих. Один внезапно замечает, что из-под его ног бьют маленькие фонтанчики песку, будто кто-то снизу дует сквозь землю. Испуганный, он с криком бежит прочь, товарищи смотрят ему вслед, ничего не понимая. Секунду спустя из-под земли вырывается жидкая лавина чугуна, разъевшего фундамент печи, прорывшего ход сквозь почву и скопившегося подземным озером глубоко под поверхностью. Кусок земли, на котором остались три человека, поднят волной чугуна, она понесла его, как река несет плот. Несколько мгновений люди видны сквозь дым и пламя и слышны их

крики. От них не осталось ничего, не нашли даже пепла.

Доменное дело, говорит профессор,— самое крупное по масштабу и самое опасное в современной технике.

Самое крупное и самое опасное? Не стать ли ему, Гулыге, доменщиком?

После лекции он долго сидит, задумавшись и мечтавая, потом выходит в коридор института и слышит, как кто-то у окна рассказывает группе студентов о молниеносной, похожей на легенду, карьере Свицына, который стал начальником доменного цеха спустя три года после окончания института. Он получает сорок или пятьдесят тысяч в год. Рассказчика плохо слушают, это 1904 год, сегодня не Свицын кумир студенчества, а вожди близящейся русской революции.

Гулыга идет из института домой по улицам Питера, встречный ветер метет колючий, мелкий снег и раздувает полы его студенческой шинели.

Крутящиеся вихри снежинок напоминают ему о песчинках, взлетающих в воздух от неведомой причины, будто кто-то снизу дует сквозь землю. Картина аварии, о которой рассказал профессор, почему-то засела у него в мозгу. Красная волна чугуна, пышущая огнем и нестерпимым жаром, несущая на гребне пласт земли с людьми, настолько ярко вырисовывается в его воображении, будто это случилось с ним самим.

Нагнув голову, спрятав руки в карманы, он шагает против ветра. Будь он проклят, если не перегонит Свицына!

Кончается 1904 год. В стране назревает революция, студенчество бурлит. Гулыга сочувствует эсерам, у него чешутся кулаки, чтоб вмешаться в драку. Он ходит на сходки и участвует в философском кружке.

Однажды на собрании кружка докладчик-студент читает реферат о философии Шопенгауэра. Он говорит, что идея этой философии сформулирована Шопенгауэром в трех словах: «мир — это я».

— Как?— вырывается у Гулыги.

Студент повторяет.

— Значит, умер я и не станет мира?

Гулыга сидит изумленный.

«Мир — это я!» — повторяет он про себя.
Замечательно! Это его, Гулыги, философия выражена так коротко и просто — в трех словах.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПИСЬМА ИЗ МОСКВЫ

1935. Февраль

20 февраля

...Не кажется ли тебе, что в моих письмах почти всюду писательство рассматривается лишь как ремесло? Или, говоря иначе, лишь как технология? Все словно бы разложено на простейшие составные части — вот-де способы изучения жизни, «перелистывания» людей, собирания множества подробностей.

Собрал, выбери ценные зернышки и складывай из них произведение. Но как же складывать? Для этого тоже имеется своя рецептура. Ты знаешь, я в значительной степени перенял ее от Смирнова.

В последние дни несколько раз вспоминал о нем. Пишу главу, вижу своих героев, и вдруг неведомо откуда встает перед глазами площадка Кузнецкстроя, милая улыбка Николаши. Он мягко, дружески наставляет меня:

— Пишите сценами. Валюта — это действие.

Мы ходим и толкуем, я учусь, схватываю секреты сюжетной прозы, которые мне раскрывал Смирнов.

Таким образом, в профессии, которая теперь стала моею, все как будто ясно, все доступно. А между тем в писательстве — я имею в виду настоящую большую литературу — содержится, помимо ремесла или технологии, и нечто такое, чему, думается, нельзя научить. Что же это?

Я люблю слова Родена: «В искусстве прекрасно характерное». Вот это чутье, чувство характерного, пожалуй, дается «божьей милостью». Перед тобой сотни людей, каждого можно изучить, но в ком из них отражен, ярко преломлен характер времени? Или, верней, где тот срез, тот поворот, который делает лицо характером?

Тобой собраны тысячи подробностей, но лишь чутье или талант позволит выбрать характерные — то есть опять же выражающие в чем-то малом и порой

мельчайшем характер героя, обстановки, делающие произведение художественно сильным.

Когда-то я тебе писал, что маленькая искорка таланта, вероятно, во мне есть, писал, что на нее надежда, а то — дело пропащее. Да, пожалуй, мне дано, — хотя, кто знает, в какой мере, — чувствовать, схватывать характерное. Без этого вся технология, все ее тонкости, — безусловно, для меня нужные, необходимые, — немного бы стоили.

И вот моя мечта: отдать годы труда роману о домениках, принести, подарить читателю этот еще неведомый литературе мир — мир новых характеров, рожденных новым веком.

Раз уж в этом письме я прибег к цитатам, то напоследок согрешу еще одной, теперь из Луи Пастера: «Удача приходит лишь к тем, кто к ней подготовлен».

Перечитывая теперь, много лет спустя, это письмо, не могу удержаться, чтобы не привести еще краткую выдержку — бесподобное изречение о таланте, которое я вычитал у артиста Л. М. Леонидова: «Чтобы приготовить рагу из зайца, надо иметь по крайней мере кошку».

22 февраля

...В Москве весна, все тает, некоторые тротуары уже сухие, тепло. Чудесно гулять в такую погоду.

Вот уже два дня, как я чувствую себя неважно, и работа двигается плохо. Достаточно однажды выбиться из колеи, и потом уже трудно опять ввести себя в ритм ровного труда. А я выбился, как дурак, по собственной вине. Соблазнился преферансом. Позавчера вечером меня пригласил Н., я согласился, вернулся домой в четыре утра, и готово — режим сорван.

Позор! Как мне не стыдно так безобразно относиться к своему «чудесному инструменту»! Зато теперь я решил — когда я занят творческой работой, в этот период никаких преферансов! Это отвлекает меня, засоряет голову. Два потерянных дня! Не скоро я их забуду.

Для отдыха у меня есть благородное увлечение — шахматы. Моя цель — достигнуть того, чтобы постоянно обыгрывать Ф.

А прогулки? Час прогулки — это отличный отдых. Иногда кино, театр — в общем, режим, режим.

...Пишу главу о Бардине. Пишется трудно, но выходит хорошо, и образ матери получается хорошим, не прямолинейным, жизненным.

24 февраля

...Опять я вошел в работу — хожу, ем, разговариваю, а думаю о своем. Это верный признак: мозг настроился, творчество берет сполна сок из организма. Это пришло только теперь — через месяц после начала писания. Собственно, так уже было неделю назад, но я сам сорвал это несчастным преферансом.

Сейчас все мысли у меня сосредоточены вокруг главы о Бардине. Эта глава получается жидковата по части событий, и я ломаю голову над тем, как сделать ее насыщенной, полной. Кое-что придумал. Можно будет ехать на Максиме Луговцове. Сейчас очень скандозывается отсутствие дополнительных бесед с ним.)

Несколько новых бесед с Луговцовым мне обязательно нужны. Без всех других можно кое-как обойтись. Числа десятого марта я непременно постараюсь съездить в Харьков. К этому времени весь черновик будет, возможно, кончен, — вот счастье-то!

25 февраля

...С главой о Бардине, которая меня мучила, кое-как справился. Иду дальше.

26 февраля

...Я живу скромно, нигде не бываю, днем и вечером сижу дома, по утрам пишу, по вечерам читаю. Пишу без увлечения, будто отбываю повинность. Кажется, так было и тогда, когда я начал писать «Курако». Воодушевление, вдохновение, любование написанным появляются у меня лишь тогда, когда я начинаю обрабатывать черновик. Это время скоро придет, я о нем мечтаю.

Никуда не денешься, — придется выпить эту горькую чашу: безрадостное, мучительное писание первого черновика.

28 февраля

Вчера звонил в Харьков Луговцову. Он опять отложил мой приезд, — теперь уже на вторую половину марта. Может быть, это и кстати.

.. Мой план таков. Сегодня закончил черновик второй части — до Февральской революции. Писал так, как курица ляпает, — лишь бы выяснить построение и наметить сцены. Теперь осталась третья часть, одновременно самая легкая и самая трудная. Легкая потому, что небольшая, трудная потому, что там не хватает материала, и я боюсь, чтобы не было пустовато, легковесно и скучновато.

Две-три главы я сделаю до отъезда так, чтобы можно было бы прочесть их в Юзовке и в Енакиеве. Очень хорошо было бы закончить набело (предварительно) всю первую часть и потом поехать. Может быть, я и сумею это сделать к началу апреля.

Таковы мои планы. Я уже предвкушаю сладость писания набело. Еще шесть — восемь тяжелых дней на черновики, а потом более приятная работа.

«КАБИНЕТ МЕМУАРОВ» ПРИ РЕДАКЦИИ «ЛЮДИ ДВУХ ПЯТИЛЕТОК»

ЕЩЕ ОДНА ПОЕЗДКА В ХАРЬКОВ И ДОНБАСС

1935. Апрель — май

В апреле 1935 года по инициативе А. М. Горького была создана главная редакция серии сборников «Люди двух пятилеток». В моих бумагах сохранился такой документ:

АКТ

7 апреля 1935 г. Гор. Москва. Мы, редакция «Люди двух пятилеток» в лице заведующего редакцией тов. Цейтлина М. А., с одной стороны, и тов. Бек А. А., с другой, составили настоящий акт в приемке от тов. Бека следующих стенограмм...

(далее в перечне стенограмм, наряду с прочими, значатся):

Бардин	— 22 стенограммы.
Бардина (мать)	— 4 »
Гапсев	— 3 »
Гугель	— 4 »
Гулыга	— 5 » (первая папка)
	— 14 » (вторая папка)
Дыбец	— 4 »

Лобанов	— 5 »
Луговцов	— 4 »
Межлаук В.	— 2 »
Межлаук И.	— 5 »
Рабинович	— 10 »
Рутгерс	— 6 » (первая папка)
	— 8 » (вторая папка)
Мартенс	— 3 »
Свицын	— 5 »

Всего было сдано 172 стенограммы.

Возможно, это и была закладка «Кабинета ме-муаров». Я стал одним из его работников, кото-рые именовались «беседчиками». Здесь уже не при-ходилось испытывать ограничений,—только произ-водство, только дело,—которые налагал «Кабинет записей» при газете «За индустриализацию». Мы, работники горьковского «Кабинета», могли руко-водствоваться девизом: человек нам интересен це-ликом.

Профессиональный «беседчик», я теперь добывал стенограммы, нужные одновременно и мне, автору рождающегося произведения, и горьковскому «Кабинету», двери которого были открыты для писателей. Конкуренции других литераторов я не опасался,—слишком богата была сокровищница стенограмм. К тому же мой замысел принадлежал только одному мне, а каждая деталь получала значение, характер-ность, лишь просвеченная замыслом.

По командировке редакции «Люди двух пятилеток» я в привычном качестве «беседчика» поехал в середине апреля 1935 года в Харьков и Донбасс.

17 апреля. Харьков

...Вчера благополучно прибыл в Харьков. В гости-нице получил довольно приличный номер и хорошо устроился.

...Вчера же вечером читал Луговцову свою первую главу. Ему очень понравилась первая сцена — маль-чика, говорит он, видишь перед глазами, как живого. «Жизнь Власа» тоже понравилась, но меньше — там, говорит он, повествовательно, мало картинности, не представляешь себе внешности людей, они не встают перед глазами. Это замечание надо учесть и учесть.

Придется еще работать и работать над первой главой. Я сам сейчас очень остро чувствую ее недостатки.

Вообще мне думается, это очень хорошее чувство — неудовлетворение написанным. Оно движет вперед, заставляет совершенствоваться вещь.

После читки к нам зашел Шлейфер. Луговцов меня похвалил. Я немного смутился, хотя мне это было очень приятно.

Сегодня и завтра буду, вероятно, беседовать с Луговцовым. Потом он уезжает. Я тогда поеду в Сталино.

18 апреля. Харьков

...Дела мои складываются невесело. Луговцов завтра уезжает, сегодня беседовать не может, и я опять остаюсь без бесед. Своими постоянными отлыниваниями он ставит под удар весь роман.

Сегодня уезжаю в Сталино. С Луговцовым назначили встречу на пятое мая.

19 апреля. Сталино

...Вчера приехал в Сталино и вчера же успел провести две беседы с Макаровым и Жестовским (Жестовский после Магнитки работает здесь). Это мой успех. Хочу ежедневно проводить по две беседы.

Здесь очень плохая погода. Четвертый день непрерывно льет дождь. Для меня это очень неприятно, — изрядно стесняет свободу движений, как-то не хочется шлепать по грязи. Впрочем, добрые люди одолжили мне галоши, и это меня спасает, а то ботинки полетели бы к черту.

...Сегодня утром думал о композиции своих «Доменщиков». Хорошо ли, что я начинаю биографиями, — в первой главе биография Власа и Максима, во второй — биография Гулыги? Не пресно ли это, не скучновато ли? Хочется перестроить — сразу дать действие, борьбу, сразу ввести читателя в сердце повествования. Пожалуй, самое логичное и правильное было бы начать со сцены проводов Гулыги, когда он уходит с Юзовского завода и отправляется сколачивать миллион. Это один из центров повести. Здесь, кстати, появляется и Бардин.

Если бы мне удалось ввести еще сюда Власа Луговцова и дать его жизнь в связи с историей Юзовки, —

это было бы отлично. Не знаю, удастся ли это. Если нет — в таком случае отступить в 1910 год, дать сцену встречи Нового года в доменном цеху, Курако становится начальником цеха и т. д.

22 апреля. Сталино

...Наконец-таки сегодня первый солнечный день после непрерывных дождей. Я вздохнул радостно, а то опустился было, ботинки грязные, брюки грязные, пальто — мое изящное пальто — тоже. Сегодня я приоделся и почистился.

Только что был в обкоме партии. Сергеев (культ-проп) сделал свою приписку на ходатайстве журнала «Знамя» насчет субсидии от Енакиевского завода. Дней через десять туда поеду.

Вчера провел три беседы — с сестрой и матерью Луговцова (это одна общая беседа), с женой Макарова и с Жестовским. Всего проведено пять бесед, это еще очень мало.

Интересная беседа будет в выходной день с профессором-хирургом, который делал операции (одинаковые) Макарову и Гвахария (директору Макеевского завода).

25 апреля. Сталино

...Успехи у меня очень хорошие, — с Макаровым здорово продвинулись вперед. Вчера был выходной день, — мы начали беседовать в одиннадцать утра и кончили в одиннадцать вечера с двухчасовым перерывом на обед. Работали две стенографистки, сменялись через каждые два часа. Еще один такой день, и воспоминания Макарова будут закончены.

Это прекрасная фигура, изумительный характер, дикая непокорность Пугачева соединяется в нем с железной выдержкой и дисциплинированностью члена партии. Он войдет у меня в последнюю главу «Доменщиков» и безусловно будет украшением повести. Это очень, очень крупный («крупнятина») и радостный успех для меня.

Дело у меня сейчас налажено недурно, — каждый день провожу по две-три беседы. Ни о какой работе над рукописью не может быть и речи, — я занят только организацией бесед, приглашением стенографисток (а с ними здесь очень трудно) и т. д. Дни пролетают незаметно — в труде.

27 апреля. Сталино

...Я продумываю свой роман и отказался от мысли начинать с узла. Пусть первая глава останется такой, какова есть, иначе Влас и Максим пропадут, и, кроме того, Гулыга будет выпячен еще сильнее, и весь роман может свестись к роману о Гулыге. Этого я не хочу.

Макаров будет прекрасным мощным заключительным аккордом книги,— действительно, в повесть войдет изумительная фигура рабочего-большевика. Материал для этого он мне уже дал. В общем, будут и рабочие, и инженеры, и большевики. Хочется писать.

Вчера опять беседовал с Макаровым,— дело двигается. Сегодня назначено свидание с Гвахария, жду от него машину.

29 апреля. Сталино

...Здесь я скомбинировал так, что провожу беседы сразу в двух городах — в Сталино и в Макеевке (расстояние между ними 20 километров). В Макеевку езжу беседовать с Гвахария — директором завода. В одиннадцать часов вечера приходит от него машина, я сажусь со стенографисткой, и в четыре утра машина доставляет нас по домам. Работали уже две ночи, сегодня вернулся на рассвете, и сегодня же предстоит третья ночь. А потом еще четвертая. Беседы изумительно содержательные, захватывающие, поражаешься какой-то полной раскрытости души и у Макарова и у Гвахария, когда они рассказывают. Эта раскрытость подарена не мне — истории. И хотя такие беседы волнуют, приносят радость, но от бессонных ночей сейчас чувствую себя довольно кисло.

Горжусь успехами — уже есть двадцать бесед очень хорошего качества с виднейшими металлургами. Отличная добыча для «Кабинета мемуаров».

4 мая. Енакиево

...Пишу из Енакиева. Приехал сюда вчера и мельком видел Пучкова, директора завода. По всей вероятности, у меня пока ничего здесь не выйдет. Оказывается, он не получил моей книжки, которую я оставил для него в Москве в номере гостиницы.

Разговор назначен на сегодня. Я решил сегодня ничего не просить, а дать экземпляр «Знамени», вручить бумажку с просьбой оказать содействие и от-

ложить все дальнейшее примерно на месяц до тех пор, когда он прочтет мою повесть.

Вчера осматривал Енакиево, поселок и завод, места, где жили мои герои — Бардин, Курако, Луговцов. Видел знаменитую печь номер шесть, которая не оставалась всю революцию и гражданскую войну.

Ах, как хочется месяца три непрерывно, не отвлекаясь ничем посторонним, живя в мире своей повести, посидеть на ней.

...Сегодня вечером уеду в Сталино, получу там расшифрованные стенограммы Гвахария, через несколько дней — в Харьков.

«Кабинету мемуаров» привезу знатную добычу.

СУДЬБА «КАБИНЕТА МЕМУАРОВ» НЕКОТОРЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ

Читатель вправе спросить: где же ныне находятся эти стенограммы, о которых вы так восторженно, так много пишете? Как с ними познакомиться?

К величайшему сожалению, богатейшее собрание стенограмм, хранившееся в несгораемых шкафах «Кабинета мемуаров», было, насколько мне известно, уничтожено в 1941 году. Подчеркиваю свою оговорку: «насколько мне известно», ибо ни акта, ни письменного распоряжения об уничтожении видеть мне не довелось. Тем не менее полторы или две тысячи стенограмм, накопленных «Кабинетом мемуаров», сгинули.

Архив «Кабинета записей» при газете «За индустриализацию» тоже не разыскан. Не исключено, что и его постигла сходная судьба.

Я оставлял у себя копии всех стенограмм, где фигурировал в качестве «беседчика». Однако, как я уже упоминал, и это принадлежавшее мне собрание, — будто стенограммы преследовал некий рок, — сгорело в дни войны на подмосковной даче.

И все же теперь то тут, то там объявляются счастливые находки, обнаруживаются копии стенограмм (ведь они все печатались на машинке в четырех экземплярах). Недавно, например, в архиве «Истории Надеждинского завода» были отысканы невесть как туда попавшие шесть стенограмм Рутгерса, некогда сданные мною в горьковский «Кабинет». Известны

и еще подобные находки. Верится, что они будут множиться.

Однажды — уже после Отечественной войны — мне позвонила стенографистка, которая когда-то, во времена «Кабинета мемуаров», бывала подчас моей напарницей, приходила со мной к нашим рассказчикам. Она сказала, что производит сейчас генеральную расчистку, уничтожает всяческую бумажную заваль, в том числе и случайно сохранившиеся свои тетради, заполненные стенографическими знаками. Несколько тетрадок заключают в себе рассказ Дыбеца, вернее, какой-то кусок этого рассказа. И ей подумалось, не позвонить ли мне, прежде чем рвать эти тетради, в свое время уже однажды расшифрованные.

Не буду описывать своей бурной реакции, радостных возгласов. Разумеется, я бил челом, попросил вновь расшифровать давнюю стенографическую вязь.

И был так взволнован всколыхнувшимися воспоминаниями о встречах с Дыбецом, что, отодвинув какую-то свою очередную работу, попытался набросать картину нашего первого знакомства. Этот отрывок так и озаглавлен: «Знакомство»¹.

МОЙ ДНЕВНИК

1935. Сентябрь — октябрь

Среди прочих бумаг я отыскал и свой дневник, начатый в последних числах сентября 1935 года. В записях отражены размышления о работе, моя жизнь литератора. По стилю дневниковые строки примыкают к письмам, — это все та же скоропись, беглость и порой попросту, к моему сожалению, бледность пера. Тут не изводишь, если употреблять ходячую цитату, «единого слова ради тысячи тонн словесной руды».

У меня не раз возникало желание поработать над этими страницами, сделать их лаконичными, емкими, или, как мы, литераторы, говариваем, «густыми». Но

¹ Подглавка «Знакомство» полностью вошла в повесть «Такова должность» и поэтому здесь опущена. (Примеч. ред.)

я отверг такой соблазн,—была бы утрачена подлинность, пропал бы документ времени. Меж тем именно в подлинности, как мне кажется, заключены и сила и слабость этой книги. И сила и слабость — здесь их не отделишь.

Разрешив себе это излишние, перехожу к дневнику.

28 сентября

Работа над романом идет хорошо. Такова моя оценка. Какие же признаки? Пожалуй, главным является то, что все время думаю о нем, роман торчит в голове. Утром просыпаюсь — в голове роман, иду по улице — роман, засыпаю — роман. Огонь горит непрерывно. Летом было не то или далеко не то.

Объективный показатель: пишу порядочно — четыре-пять страниц в день (на машинке это две — две с половиной).

Прихожу в библиотеку Ленина к десяти утра, занимаю столик, но раскачиваюсь не сразу, посматриваю на часы, читаю свежие газеты, в общем отвлекаюсь, напишу фразу и зачеркну, только ко второй половине рабочего дня получается некоторый разгон.

Сколь ни странно, я забыл, как я писал «Курако» (свое самочувствие). Надо бы посмотреть свои письма той поры. Больше ли я был погружен в произведение, чем теперь? Помню, что и тогда черновик писался очень трудно, иной раз было воистину физическое мучение. А кое-что написалось легко и неожиданно (например, Гудков в вагоне). Вот таких легких неожиданностей у меня пока нет (быть может, только ужин у Свицына).

Сейчас передо мной стоит такой вопрос: отделять ли первую часть («Ночь») и потом браться за вторую («Гулыга») или сначала закончить черне и ту и другую? Во второй части главная тема — разочарование Гулыги в профессии инженера, бессилье инженера в дореволюционной России.

Сегодня утром я склонялся к тому, чтобы отделать первую часть и дать ее в «Знамя», но теперь, после разговора с Вашенцевым, думаю иначе. Пусть удар будет крепче! Пусть вещь будет более весома! Возьму высоту с разгона. Мне потребуется приблизительно полтора месяца, чтобы, работая и днем и вечером, дать хороший черновик первой и второй части.

Затем месяца два отделки. Во всяком случае, надо писать с разгоном днем и вечером до 15 октября. Там уже придется по вечерам делать что-то другое для заработка.

Теперь проблемы первой части. Боюсь, не перегрузить бы вещь отступлениями. Их надо сделать очень хорошо, сжато, динамично. Очень ясные цельные характеры Курако и Власа. Еще не ясен Максим. Надо над ним поработать. Он не действует в первой части, а болтается. Надо прояснить, прочистить его характер. Пожалуй, его мотив — служение людям. Повторение отца на иной ступени. Все это надо продумать. Каждый его шаг, каждую реплику. Ввести его в действие я думаю так: сначала он увлекается Курако, потом отшатывается от него, потом готов «идти за ним по льду босым», когда Курако спасает Власа и клянется, что построит печь, которая не убьет ни одного человека.

У Максима тогда будет роль, будет игра, будет своя линия, а не поддакивание, не реплики. Это и у Власа сначала не было роли, линии, потом появилась.

Не вполне хорош Свицын. Я до сих пор не улавливаю в нем единого корня, цельного характера. А без этого мне люди не удаются. Как его характеризовали?

«Топчи всех, лишь бы самому было хорошо» (Гугель).

«Жонглер» (Бардин).

«Идеальный приказчик капиталистов» (В. Межлаук).

Все это вопрос, вопрос, вопрос.

Свицын для меня все еще загадка, и это очень плохо.

Человек, продавший свое первородство за чечевичную похлебку? Это, пожалуй, тема. Общечеловеческая тема. Тут есть о чем подумать. Тогда дать драму на этой почве. Его выбор? Возможные пути? Надо будет работать и работать еще над этой фигурой. Поговорить о нем с горняками, его сокурниками. С кем еще?

Хорошо бы ежедневно или время от времени записывать ход работы над произведением и свои мысли. Интересно будет сравнить замысел и исполнение.

29 сентября

Сегодня продолжал девятую главу. Находки: «Вот мой диплом» и речь-программа Курако в 1905 году. Писалось довольно хорошо, но когда стрелка стала приближаться к двум (я решил сегодня кончить в два, чтобы пойти в «Гудок»), я уже стал писать кое-как и стремился скорей освободиться. Так и не досидел четверти часа до двух.

...Записываю вечером. Было собрание в «Гудке». Возможно, придется поехать в командировку дней на десять.

Ставлю перед собой задачу:

- 1) в ближайшую пятидневку гнать вещь утром и вечером ежедневно,
- 2) если поеду, писать там.

Примечание. Поясню упоминание о «Гудке».

В те дни при газете «Гудок» была организована редакция сборника «Люди железнодорожной державы». Намечалось, что сборник должен выйти в свет к двадцатилетию советской власти. Дело ставилось по образцу, что уже был заведен в редакции «Люди двух пятилеток»,— привлекались «беседчики», создавалось собрание стенограмм. Участвовать в этом был приглашен и я.

1 октября

Некоторые мысли: принцип сцен стоит применять и к беглому вставному изложению биографии. И там давать резкие повороты судьбы, «ударять читателя по морде». Потом стоит давать картинки, хотя бы немного,—я чувствую, что это лучше. Придется в этом направлении работать.

2 октября

Вчера вечером работал три часа, сегодня днем пять часов. Сейчас опять сажусь на вечерние три часа.

Работа идет хорошо, хотя нет особенно блестящих находок. Однако диалог Свицын—Курако лепится. Оглядывая в целом первую часть, я ею доволен.

Мысль, которая занимает меня сегодня: стоит ли ехать по командировке «Гудка»? Рассуждения у меня такие. Без какой-то дополнительной работы ради

хлеба насущного мне не обойтись. Так или иначе вынужден вечером делать что-то для заработка. Поездка привлекательна. Но меня смущает: смогу ли я там писать, не выбьет ли поездка меня из темпа? Все-таки много значит привычная обстановка, условный рефлекс обстановки. Вдруг я не найду там отдельной комнаты? Конечно, весь день отдавать беседам я не буду, займусь этим помедленней, чтобы сохранить силы для писания.

Вопрос о зарплате всегда стоит у меня в голове. Мой идеал иметь в резерве тысячу рублей. Если поездка даст мне эту тысячу, то потом месяц я смогу писать спокойно. Поэтому она соблазняет меня.

8 октября

Днем закончил «Ночь под Рождество», то есть всю первую часть. Насчет Максима решил так: не надо с ним мудрить, пусть в «Ночи» у него будет второстепенная роль. Потом эта фигура разовьется.

Результаты вечерней работы сказываются, вчера долго не мог заснуть. Рад этому — значит, мозг всецело поглощен темой.

Сегодня вечером не хотелось писать. Полежал, подумал, решил поработать часа два. Если сегодня напишу хоть одну страницу новой части, завтра будет легче.

9 октября

На днях еду. Может быть, послезавтра. Во всяком случае, вопрос о командировке решен и деньги получены.

Вчера до меня дошло, как плохо, как безобразно я веду себя в денежных вопросах. Выгляжу каким-то рвачом. Говорю о деньгах с повышенной нервозностью, будто это самое главное, слишком быстро начинаю об этом говорить и слишком много говорю об этом.

Недипломатично, нетактично я себя веду в этих делах. Я прямо мучался вчера весь вечер, впервые это осознав.

Примечание. Далее следуют письма из командировки.

15 октября. Славянск

...Сейчас без четверти девять утра, а я уже сижу за столом и готовлюсь взяться за роман. Уже оделся,

умылся, сделал гимнастику (это обязательно) и позавтракал.

Впрочем, все по порядку. Приехав, я отправился в Политотдел, а Вера Ивановна (стенографистка) с вещами осталась на станции. Оказалось, здесь поместиться нелегко. После долгих хлопот предложили одну маленькую комнатку в Доме приезжих, это для В. И., а мне пришлось бы обосноваться в общежитии, в комнате, где живут еще четыре человека. Это меня очень огорчило.

И мы придумали другое, — обратиться за помощью к нашим героям. В результате В. И. устроилась в семействе Кривоносов, а я в домике машиниста Рубана — это учитель Кривоноса, с ним тоже надо беседовать.

Приняли нас на редкость радушно. Вчера пришлось в гостях выпить (ничего не поделаешь, нельзя было отказаться), а сегодня с утра я один во всем домике и сейчас начинаю работать над романом.

Если мне удастся во время поездки ежедневно писать, уделяя для этого лучшие утренние часы, это будет чудесно.

...Здесь мы побудем дней шесть, потом двинемся в Красный Лиман.

17 октября. Славянск

...Дни проходят однообразно — по утрам четыре часа пишу, вечером провожу беседы.

...Беседы не особенно интересны, очень хороших рассказчиков я здесь не нашел, и часто приходится вымучивать, вытягивать слова.

Сегодня у одного машиниста будет вечер кривоносцев (Кривонос, двадцатипятилетний машинист, и есть тот человек, которым я занимаюсь в Славянске).

...В общем, по две беседы в день — это моя вечерняя норма, и без особого напряжения я привезу «Гудку» 25—30 стенограмм и, возможно, стенограмм пять для «Пятилеток».

Так протекают мои дни, — работа и работа.

19 октября. Славянск

...Вот уже пятый день, как я в полдевятого утра сажусь за роман и в час поднимаюсь из-за стола. Пока не пропустил еще ни одного дня.

Первые дни было так: кончишь работу, и голова сразу наполняется другими мыслями. Теперь же после нескольких дней регулярного четырехчасового писания мозг самопроизвольно продолжает работу над романом. Мысли о романе, разные сцены пробегают уже и перед сном, и во сне, и утром при пробуждении.

Беседы у меня здесь сложные. Человек, с которым и о котором я беседую, Кривонос, получил орден за то, что быстро ездил на паровозе. Это большое дело: ускоренный, форсированный темп. Кривоноса заметили, подняли, чтобы его пример стал достоянием всех. И теперь я выискиваю в нем оригинальный характер, сильную страсть, большую мысль, богатую душу. Но пока не отыскал. Он, окончивший среднюю школу, еще по-юношески розовощекий, взошел на иных дрожжах, чем увлекшие меня разнообразные мои герои. Политические страсти миновали его, от сего плода он не вкусил, душевных противоречий не знавал.

Это новый для меня тип,— возможно, новый и для всей нашей действительности. В нем все же ощутимо нечто крупное или, во всяком случае, основательное. Стараюсь это выявить, извлечь на свет. Победа в беседе тоже дается нелегко, вопреки двусмысленному комплименту, который однажды по моему адресу отпустил Шкловский: «Бек вскрывает людей, как консервные банки».

21 октября. Красный Лиман

...Вот мы и в Красном Лимане.

...Начинает сказываться утомление от поездки. Вчера и сегодня ничего не писал, это дни переезда.

Сегодня провели уже одну беседу с Цейтлиным, начальником станции. С ним беседовать легко, хороший рассказчик, умный, мыслящий человек. Не надо из него выжимать, сам говорит, развертывает панораму.

После большого напряжения в Славянске я теперь берегу себя для писания, живу как бы в полхода, не особенно оживленный, не очень остроумный, не напрягаюсь полностью во время беседы, берегу нервную силу для творчества, иначе буду слишком утомлен и опустошен.

22 октября. Красный Лиман

...Сейчас после двухдневного перерыва сел за роман. А писать не хочется. Тянет свалиться на постель, взять книгу, немного почитать и уснуть. Вчера очень поздно кончили беседу (в час ночи), лег в полвторого, спал неважно, и сейчас голова совсем не хочет работать. Но четыре часа я все-таки просижу за столом.

...Конечно, это не работа, а мучение, но вещь все-таки движется. Это мой девиз — каждый день продвигаться хотя бы на вершок. До чего однообразны мои письма. Одно, наверное, похоже на другое.

26 октября. Красный Лиман

...Через два дня мы уезжаем из Лимана. Поедем в Артемовск. Там есть еще один человек, железнодорожник, с которым надо побеседовать для книги «Гудка».

Из Артемовска я, возможно, поеду к Гвахария. Я уже звонил по телефону на Макеевский завод. Выяснилось, что Гвахария в отпуску и вернется, сказали, двадцать пятого. Если он опоздает и двадцать восьмого его не будет, то из Артемовска еду прямо в Москву.

...Я понимаю, что новые порядки в «Двух пятилетках» очень тягостны.

Примечание. Для того чтобы читатель уяснил, о чем в данном случае идет речь, привожу с разрешения моего адресата выдержку из его письма.

«Не знаю, что станется с «Кабинетом мемуаров». Там сейчас очень плохо.

Девятнадцатого состоялась беседа с Озерским (это тот, который двадцать лет прожил в Америке). Он рассказывал сочно, интересно. Следующую встречу назначили на двадцатое.

В час дня двадцатого прихожу в «Две пятилетки» за путевкой. Но нет Цейтлина.

— Приходите снова в три часа.

Прихожу, мне начинают уже выписывать путевку, но вдруг Цейтлин заявляет:

— Как? А где первая беседа? Нет, мы не можем дать путевку, пока не прочтем первой беседы.

Сегодня же опять звонок оттуда.

— Приходите немедленно.

— Зачем?

— Нужно выполнить формальности, связанные с проведением бесед.

— Нельзя ли завтра?

— Нет, непременно сегодня.

Прихожу, и мне дают прочесть и подписать правила. Все. Вот как там гоняют людей. Проведя беседу, надо снова зайти, взять ее, выправить «в двадцать четыре часа» и получить подпись рассказчика. Ну, можно ли работать?»

Возвращаюсь к моему письму.

Мне тоже в последнее время не очень приятно бывать в «Кабинете мемуаров». Там сейчас, конечно, сидят сухари. Разве можно требовать, чтобы рассказчик подписывал свою стенограмму? Мы всех эдак распугаем. Беседы—это нечто душевное, интимное, формалистика тут все погубит. Можно лишь надеяться, что все обомнется, образуетя. Ненужные формальности отметет жизнь,— конечно, если дело будет жить. Если же станет совсем невоготу, надо спокойно отойти.

...Моя работа над романом хоть и черепашьям шагом, но все-таки движется, ползет. С нетерпением стремлюсь сесть в Москве за стол и гнать полным ходом, днем и вечером. Хочется сделать вещь, чтобы была как легкий изящный корабль, несущий в себе большой тяжелый груз.

28 октября. Красный Лиман

...Через несколько часов уезжаем из Лимана, едем в Артемовск, работа для «Гудка» подходит к концу, еще три беседы—и шабаш.

...Роман я продвинул. Писал не так много, как много думал. Все сцены в последовательном порядке живут в голове, все получается богато, даже радуюсь. Теперь хочется скорее сесть за стол, чтобы ничто не мешало, и проверить свои решения на бумаге.

Ведь бумага—это наша лаборатория. Появилась мысль, картина, на бумаге можно быстро проверить: верна ли она. Набросаеть, и будет тебе ясно: получается ли? Если да—закрепить. Если нет—отбросить. Хочется, как Максиму, скорей в лабораторию.

ЗАВЕРШАЮЩИЕ СТРАНИЦЫ. ВТОРАЯ ПОВЕСТЬ НАПЕЧАТАНА
СОМНЕНИЯ, ОТКЛИКИ, ИТОГИ

Дневник

15 ноября 1935 г.

Наконец после месячного перерыва, когда я работал над «Доменщиками» лишь отдельными рывками, сегодня снова сажусь вплотную за роман.

Месячный перерыв. Здорово все-таки он выбил меня из колеи.

1 декабря

Работаю хорошо. Роман торчит в голове. Сплю плохо, чувствую себя отлично.

13 декабря

...Некоторые размышления о Курако. Я показываю его несколько узко, почти исключительно как доменщика. Надо больше показать как человека — человека большого кругозора и большой души.

27 декабря

Давно не запомню такого тягостного состояния. Работа не идет, на душе тоскливо. Не дается глава о Свицине!

...Все время думаю о Свицине, концепция создавалась, но не достигла простоты и ясности, когда испытываешь удовлетворение от решения задачи.

29 декабря

Вот уж действительно переход от уныния к восторгу. У меня был тот же материал, что и сейчас, и я томился, тосковал, ничего у меня не лепилось, готов был впасть в отчаяние.

А сегодня пишу и сам себя похваливаю. Все лепится, становится острым, интересным. Боюсь даже подходить к телефону, чтобы не сбить себя, не спугнуть свое состояние. А где причина? Работа, неустанная работа. Разве можно этого добиться, если работать не ежедневно, урывками, с прохладцей?

3 января 1936 г.

Сегодня мне исполнилось тридцать три года. А что сделано? Очень, очень мало. Но все же удалось

«запустить пятерню в бочку жизни и посмотреть, что там находится». Так, кажись, говорил Гёте.

19 января

После небольшого перерыва вновь иду на приступ,— на этот раз, надеюсь, последний.

За эти дни у меня многое переменялось. Я решил писать не огромный романище в 50—60 листов, а 6—7 сравнительно коротких вещей. Это, думается, очень разумное решение, и первый роман я надеюсь окончить через месяц.

2 марта

Ну вот, повесть (теперь уже повесть) «События одной ночи» готова. Остаются небольшие доделки, и послезавтра идет в машинку. Сейчас я ею доволен. Пожалуй, будет иметь успех.

А совсем недавно (жаль, что я не записывал) был период, когда повесть мне очень не нравилась, когда я тяготился ею, приближался к ощущению «бросить». И действительно дважды ее оставлял, давал себе несколько дней отдыха. Вещь мне казалась неправдивой. Я сомневался, способен ли Курако сложа руки допустить закозление домны, мог ли он пойти на это в борьбе с «горной породой». И вообще все казалось фальшивым, не настоящим. Чувствую, что остатки такого настроения сидят во мне еще и теперь. Но от них, вероятно, скоро не останется ничего, и я, возможно, даже забуду, что такие настроения были, потому что сейчас мне повесть нравится, она стала любимой. Вот я совсем забыл, появлялись ли у меня такие сомнения при работе над «Курако».

Как все-таки безобразно медленно я работаю. «События одной ночи» — шесть листов, и это за два года работы. Надеюсь, дело теперь пойдет быстрее, потому что материалу собрано на шестьдесят лет.

...Сейчас дует суровый ветер. В печати достается некоторым музыкантам, художникам, писателям. На днях выходит «Курако», — боюсь, чтобы и мне не упал кирпич на голову. Пронеси нелегкая.

5 марта

Странное у меня отношение к «Ночи». Сегодня ее перепечатали на машинке, я выправил, принес в «Знамя». Вашенцев спросил:

— Вы уверены, что нам понравится?

Я не мог воскликнуть: «безусловно». Как-то смутился и только через минуту сказал:

— Думаю, что понравится.

Когда я о ней размышляю, вижу, что вещь хорошая, но где-то гнездится сомнение. Хочется, чтобы кто-то уверил меня, что вещь действительно хороша. Тогда я и сам поверю.

14 марта

Так оно и случилось. Меня уверили, и я поверил. Вот как это было.

Отнес Вашенцеву, он прочел сразу и позвонил в тот же вечер: «Прочел не отрываясь». Но сказал, что все же впечатление смутное и предложил развить фигуру Максима и кончить Максимом.

Он попал в самую точку. Я сдал вещь седьмого, десятого она должна была идти в набор. Я сделал из черновиков главу «История Максима». Эти страницы у меня давно лежали, и я жалел, что они не входят, не влезают в повесть.

Оказалось, влезли. Да и влезли еще так, что дали равновесие, звучание вещи. Теперь она зиждется на противопоставлении Свицына и Максима, чего раньше не было. Все сразу изменилось, осветилось, приобрело новое, чистое звучание. И Максим, который «болтался», для которого не было «роли», внезапно стал центральным и лирическим героем. Замечательная удача.

Мунблиту — он прочел рукопись — *очень* понравилось. Кажется, он ни о ком не говорит: «очень». И уже многие (Гибрилович, Канторович, Фиш) мне говорят: «Я слышал, вы написали хороший роман». Это показилось из редакции «Знамени». И сам я ходил все эти дни, как охмелевший. Вся повесть заново встала в голове. Я люблю ее, вспоминаю отдельные куски, фразы, хожу очарованный собственным творением. Ночью долго не могу заснуть, но это сладостная бессонница, в голове усталость, но приятная, вообще эти дни было ощущение полного, глубокого счастья.

Наверное, забуду, что считал повесть неудачной.

19 марта

Все яснее вырисовывается план повести для «Двух пятилеток». Пока это будет еще не «Югосталь».

Выяснилось, что надо писать быстро, к ноябрю рукопись должна быть представлена.

В основу беру историю Бардина на Енакиевском заводе. В центре характер Макарычева (Бардина), ясный мне. Неудачник с самого часа рождения (недоносок), всюду ненужный, негодный, он лишь у доменных печей находит единственную точку, где живет, творит в полную силу. Доменный цех — это его мир. Он представитель домен, их мозг, их представитель, их сознание. В его лице производительные силы судят капитализм и коммунизм.

22 марта

...Позавчера беседовал с И. И. Межлауком. Довольно трудно было восстановить отношения. Вообще длительные перерывы в беседах действуют очень вредно.

Но постепенно Иван Иванович разошелся, разогрелся. Читал мне свой юношеский дневник. Там есть фраза: «Я честолюбив, как Фемистокл». Меня вновь поразила душевная раскрытость. Кремль, кабинет управляющего делами Совета Народных Комиссаров, серые умные глаза Ивана Ивановича, его чисто выбритое тонкое лицо (он всякий раз встает, когда ему звонит Чубарь или Молотов), и течет откровенный рассказ-исповедь. И звучит фраза: «Я был честолюбив, как Фемистокл».

10 мая

Из рассказа «Груньки» — так когда-то ее, свою первую жену, звал Иван Иванович. А она называла его «Алик».

— Алик, ты очень умный?

— Очень.

— Ты все можешь?

— Все.

— Стихи можешь написать?

— Могу.

И Межлаук пишет. Гекзаметром.

15 мая

Встретил Шкловского. Несколько дней назад он мне сказал о «Событиях одной ночи» лаконично: «Хорошая вещь».

Сегодня иначе:

— Дочитал вашу вещь до конца. Есть ряд возражений. Во-первых, у вас Курако — гений, он ходит на руках и прочее, все остальные перед ним ничтожества, у вас не два героя, а один. Во-вторых, некий антиинженерский дух. Дальше — красивость (дешевая), светские женщины, черная роза и т. д. Но хорошо то, что вы пишете о таких вещах, которыми искусство обычно не занимается.

19 мая

...Итак, не закрывая глаз на истину, надо признать: вещь получилась неудачная.

Вчера я был в Доме творчества в Голицыне и в этом убедился. Пилюля была позолочена, но преподнесена.

Вирта сказал: вещь хорошая, я прочел ее залпом. И продолжал: если быть откровенным, все говорят, что ожидали большего.

Рыкачев в мягкой и вежливой форме сказал, что не удался ни Максим (этой тривиальной истории он не мог читать, пропускал страницами), ни Свицын. Только Курако получился.

Итак — неудача, правда, неполная, но разочаровывающая. Вот как будто общее мнение, общественное мнение писателей. Грустно, но факт.

Да, друг, ты утерять в этой вещи темп, быстроту действия, легкость, напряженность. Придется, возможно, разрушить эту повесть, чтобы в ином качестве вставить ее в роман.

Макарычева, друг, пиши иначе. Действие, действие, действие!

6 августа

Пришла «Литгазета» со статьей о «Событиях одной ночи». Вещь оценена чуть ли не на пятерку (во всяком случае, на четверку с плюсом). Мне было очень приятно прочесть.

Вот я и перевалил за вторую повесть. Теперь я действительно заработал репутацию настоящего писателя — надежного, основательного, не однодневки.

Ровно четыре года назад я уехал в Кузнецкстрой, мечтая стать писателем. Это осуществлено. Чего же еще желать? Только сил и спокойствия для труда.

11 августа

...Читаю роман Синклера Льюиса «Эрроусмит». Сильная вещь. Не могу не выписать нескольких строк:

«У Мартина, хотя он и двигался ощупью, как любитель, была одна черта, без которой не существовала бы наука: неугомное, пытлиное, всюду сующее свой нос, негордое, неромантическое любопытство, и оно гнало Мартина вперед».

Глаз колет некоторая небрежность переводчика («пытлиное... любопытство»). Но в остальном... Пожалуй, и о себе я тоже мог бы сказать так: всюду сующее свой нос, негордое, неромантическое (я бы добавил: непоучающее) любопытство».

14 августа

Работаю хорошо. Количественно делаю, правда, немного, но неплох рисунок. Макарычев выходит разносторонне, живо. Пришло в голову новое название: «Страсть». Это очень подходит к образу Макарычева — человека настоящей дикой страсти.

...Характерная штука. Сейчас я стараюсь вообразить, что чувствуют, что переживают мои герои. Кажется, в общем мне это удастся. В «Курако» я принципиально отказывался от этого, давал только то, что досконально было мне известно (во всяком случае, сознательно придерживался этого принципа).

7 октября

На днях были две интересные встречи.

Первая с Иваном Катаевым. Сейчас он в трудном положении. Говорили о моих вещах. «Событиям» он дал высокую оценку. «Я, говорит, выделяю эту вещь из наших многих, нет, даже из немногих хороших произведений». Максим и Влас ему показались бледноватыми (где-то что-то вроде этого уже читано), но Свицына считает образом наравне с Курако. Нравится ему достоверность, ощущение достоверности. Вскользь отметил, что и сам стремится работать в этом же плане, то есть какую-то нашу близость.

Очень интересно он говорил о поэзии и прозе. «У вас нет поэзии, вы пасквозь прозаик. Автор с потической жилкой может воображать, создавать образы из

фантазии, прозаик обязан строго следовать действительности, иначе у него не получается».

Говорил о языке. Считает, что язык у меня невыработанный, не яркий. Нет красноречия, нет периодов, разветвленной фразы, как например, это есть у Бальзака или у Толстого. В качестве попытки красноречия показал свое вступление к «Отечеству». Мне очень хочется с ним дружить.

Вторая встреча — со Ставским. Я пришел к нему в Союз писателей просить его содействия в получении денег под новую работу и несколько беспокоился, ибо знал, что по старым рапповским воспоминаниям он относится ко мне плоховато. Он сразу начал:

— Это ты написал повесть в «Знамени»?

— Я.

— Отличная работа! То, что надо!

Его похвала очень мне приятна. И очень важна.

...Раньше меня хвалили «западники». Теперь они меня поругивают, но основное ядро, люди с корнями, люди, глубоко проникающие в жизнь, меня признают. Это хорошо, хотя еще лучше было бы общее признание.

16 октября

Вчера в Доме советского писателя был вечер пятилетия «Истории заводов». В афише — вступительное слово Ставского. Я предполагал, что он обязательно скажет и обо мне. Так и вышло. Ставский сказал:

— Вот, например, этот самый Бек. Он здесь сидит и пусть на меня не обижается. Ведь он болтался в литературе. А теперь написал вещь в «Знамени», вещь подлинной рабочей большевистской страсти. Ведь там все настоящие живые люди. Вот об этой вещи наша критика должна писать.

Это успех. Потом меня называли именинником и шутили: «Бек, ты на меня не обижайся, ты написал прекрасную вещь». Шушканов в конце вечера преподнес мне новые издания «История заводов». И я был так возбужден, что дома долго не мог заснуть и почти не спал ночь.

В своей речи Ставский перешел ко мне после следующей мысли:

— Вот будут говорить: какой талантливый писатель, а ведь он все взял из жизни, нашел в ней все свои образы.

Да, что касается жизни, я могу это лишь подтвердить. И думается, здесь — основное для литературы.

После речи Ставского и Шкловский сказал мне:

— А вы, Бек, все-таки молодец! Поставили на своем.

Хочется написать Ставскому письмо, поблагодарить его.

20 октября

Кажется, в нашей жизни, в нашем обществе что-то заканчивается. И что-то идет новое. Но что?

<1962>

РОМАН О РОМАНЕ



Из дневников
1964–1972

По давней привычке я до сих пор кое-что записываю в дневник. Листки дневника, а также некоторые приложения и составили повествование, с каким далее познакомится читатель. Перебеляя ныне свой беглые заметки, я, разумеется, не отказался от литературной отделки, а иные расширил, благо все повороты, так сказать, сюжета еще не остыли в памяти. На этих страницах нет вымышленных фамилий. Лишь в редких случаях, когда это требовалось необходимостью, то или другое имя заменено каким-либо буквенным обозначением.

Теперь после этого краткого предваряющего слова раскроем мой дневник.

1964 год

15 октября

Итак, роман сдан в редакцию.

Собственно, «сдан» — это не совсем точно. Утром мне позвонил Евгений Герасимов, заведующий отделом прозы и член редколлегии в «Новом мире». Он сказал:

— Я засду сам. У вас все готово?

— Все. Можете получить.

Я это выговорил с какой-то грустью. Почему-то грустно, когда вещь, с которой много-много дней, складывающихся в годы, ты оставался с утра наедине, паразитивал, вытаскивал главу за главой, вещь, которая была твоей, только твоей, — и тем более эта, задуманная, как твоя Главная книга — или, во всяком случае, первое звено такой книги — вдруг от тебя уходит, идет в плавание, будет сама жить, сама себя отстаивать.

Как ее воспримут первые оценщики? Что скажут в редакции?

Герасимову, его вкусу, его взгляду, я доверяю. Не вспоминаю ни одного его грубого промаха в оценках. Не могу припомнить, хотя мы друг друга знаем, наверное, лет тридцать.

По телефону он сказал, что торопится на поезд, едет на три последних дня недели, как это у него установилось, в свой загородный домик. Я вышел с толстой папкой к остановке метро ему навстречу.

— Давайте!— Он сразу потянулся к папке.— Сейчас же в поезде и начну читать.

И взял от меня мое творение.

Минуты две-три мы еще поболтали. Повидаться с Герасимовым мне всегда приятно. Говорят, мы с ним схожи внешне. Был случай, когда его теща (или, кажется, тогда еще лишь будущая его теща) обозналась, приняла меня за Женю Герасимова, хотя я порослей, потяжелей. Что же, я не прочь быть на него похожим. Мы однолетки, каждому уже чуть за шестьдесят, но, значит, и у меня такой же не расползшийся крепкий круглый нос, не обвисший подбородок, маленькие, с блеском хитрецы, глаза. Пожалуй, я даже располагаю форой: не обзавелся лысиной, которую нажил Герасимов (розовая, еще небольшая, на затылке). Оба носим очки, хотя Евгений частенько появляется без оных. В общем, если говорить о приметах возраста, мы с ним, черт дери, еще крепыши.

Ну вот, он упрятал мою папку в портфель, пожал мне руку, скрылся в метро.

Я снова у себя. Можно убрать письменный стол, порвать залежавшиеся еще тут черновики, какие-то последние вставки, которые я делал, готовя текст для машинистки.

Попалась страничка — перечень заглавий для романа. Уже давно кто-то меня научил этому,— запиши все заголовки, что приходят на ум, даже явно неудачные (они тоже могут стать подсказкой, привести к чему-то подходящему), и потом один за другим вычеркивай. Что-нибудь останется; просматриваю этот перечень:

История болезни № 2277.

Дело, только дело.

Человек без флокенов (флокен — это микроскопическая трещина-волосок в стали).

Солдат Сталина.

Солдат.

Все эти названия мною забракованы. Мелькало и еще одно: «Черная металлургия». То есть такое же, какое взял Фадеев для своего ненаписанного злосчастного романа. Признаться, меня очень влекло это заглавие, тем более что в моей вещи рассказана именно та история, которую Фадеев, как это видно из посмертных его записей, избрал сюжетным узлом своего романа. Да и сам он, названный просто Писателем (лишь потом я наименовал его Пыжовым), у меня выведен в двух главах. Но и этот заголовок я отверг. Он звучал бы вызывающе.

Казакевич — вот кто умел дать имя произведению. Правда, и у него это не всегда получалось сразу. Когда-то он у себя на даче в Переделкине — помнится, его подбородок и щеки щетинились седой не по летам порослью, нередко в увлечении работой ему было эдак не до бритья — прочитал мне вступление к своему роману, который, как и фадеевский, тоже должен был, по замыслу автора, охватить громадную панораму металлургии и тоже оказался недописанным, лишь начатым. В тот вечер Казакевич мне сказал:

— Думаю назвать: «Новые времена». Как потвоему?

— Новые времена? Гм... Это уже есть у Чаплина.

Казакевич ничего не ответил. Но потом нашел отличное название: «Железный век».

Странно, что оба эти романа о металлургии настиг какой-то недобрый рок. Иногда мне мерещилось: может быть, и я не допишу. Нет, все-таки закончил.

И после всяческих сомнений нарек свое детище: «Сшибка». Тяжеловатое, неблагозвучное слово. Однако оно привлекло меня точностью. Сшибка — научный врачебный термин, введенный И. П. Павловым. И кроме того, по прямому смыслу сшибка — это схватка, столкновение, сеча, сражение.

Ну, иди в сражение, моя «Сшибка». Доброго тебе пути!

Вечером того же дня

Вот так неожиданность! Днем отдал рукопись, а сейчас узнал поразительную новость: отстранен, смещен Хрущев.

Наверное, я бы попридержал роман, если бы известье дошло до меня раньше. Ну, ладно, пусть это

событие станет добавочным испытанием для вещи. Время, история еще и не так будут ее испытывать.

Во всяком случае, засеку: роман сдан в день падения Хрущева или, говоря точнее, в день, когда Москва узнала о падении Хрущева. Такую «точку отсчета» не забудешь.

28 октября

В «Новом мире» роман встречен хорошо. Герасимов сказал примерно так:

— Комплиментов подносить я вам не буду. Обойдусь. Говоря коротко, эта вещь вам удалась. Вы дали новый характер и через него характер времени. На этом закончу славословие. Вашу рукопись передал читать другим членам редколлегии. Будем ее готовить в первый номер, откроем год вашим романом.

Я слушал с волнением. Долгий опыт научил меня ценить скупые слова, короткие вердикты, произносимые в редакциях. Это не отзывы добрых знакомых, тех, которые стараются сказать тебе приятное или хотя бы не очень огорчить, а нечто определенное, решительное: берем либо не берем, печатаем либо не печатаем.

Герасимов, впрочем, тут же нарушил свое намерение «обойтись без комплиментов». Он продолжал:

— Знаете, у меня правило: сажусь в поезд и читаю захваченную из редакции рукопись. Приезжаю часа через два на свою станцию, закрываю папку, прихожу к себе, отстраняю все московские дела, принимаюсь за свою повесть. И возвращаюсь к чужой рукописи только на обратном пути в Москву. А тут изменил этому правилу. Читал и за обедом, и весь день, пока не кончил. Забрало. Пожалуй, это самая сильная ваша работа.

Потом он высказал свои редакторские предложения:

— У меня два замечания. Во-первых, я убрал бы страницы, где рассказывается, как молодой Онисимов чистит, ловит на вранье молодого Берию. Эта глава не очень содержательна. В ней появляется какая-то недостоверность. К тому же в романе такая глава необязательна. Достаточно упоминания: тогда-то Онисимов и Берия уже сталкивались. Во-вторых, советуЮ выбросить описание детства и юности Петра Головни. Там интерес падает. И хорошо, казалось бы, написано, а скучно.

Герасимов говорил ясно, убежденно, однако за очками в небольших серых глазах я уловил какое-то будто упрасивающее выражение. Оно, как я понял, означало: «Мы напечатаем роман и с этими слабыми страницами, с длиннотами, если ты будешь настаивать. Но прошу, прошу: согласись со мной!»

И что же? Должен признаться, я в душе сразу согласился. Я и раньше испытывал неуверенность насчет иных мест романа, но едва внятную, такую, что могла бы полностью рассеяться, если бы люди, которым доверяю, произнесли: это хорошо. Однако когда твоя собственная неуверенность высказана, облечена в слова кем-либо другим, то она в тебе вдруг как бы твердеет, кристаллизуется. И ты уясняешь: да, это длинно, малосодержательно, скучновато, плохо. И внутренне готов вымарывать не удавшиеся тебе страницы. Но в других случаях — то есть когда ты себе веришь, когда тебя не подтачивает сомнение — ты упрям, упрям, ничем тебя не сдвинешь.

Теперь я рассудил так. Главу о Берии и Онисимове вполне можно перенести в следующий роман («Молодость Онисимова»), где, кстати сказать, она будет более уместна. Еще и поработаю над ней. А биографию Петра Головни действительно придется выкинуть.

Странная получилась штука: ведь главным героем романа, по моему замыслу, должен был стать Петр, один из тех дерзновенных инженеров, о которых я не однажды и не без успеха писал. Но первое место — вопреки ранним наметкам — занял Онисимов. Рисуя его, я ощущал: каждый штрих значителен. А Петр, сколько я над ним ни трудился, все, как говорится, не тянул. Возможно, единственное средство как-то спасти этот образ — сокращать и сокращать. Так я соображал, слушая Герасимова. Но предпочел не торопиться. Кто знает, может быть, я слишком строго сам себя сужу. И я ответил:

— Не будем решать этого с маху. Я обдумаю. И подожду, что еще скажут другие.

В отделе прозы мой роман побывал и у Аси Берзер. Это всегда бледная, даже на взгляд немощная, маленькая женщина с мужским характером, мужественно прямая в суждениях. С ее вкусом, мнением, как я знаю, очень считаются в редакции. Мне она сказала:

— Прочла с интересом. (Это ее «с интересом» — великое признание.) Узнала много нового.

— Как вам понравился герой?

— Исполнитель, даже раб. Но вы все же им любуетесь: какой блестящий исполнитель. Эпоха блестящих исполнителей. А наверху деспотичный Сталин.

— Ну, как он получился у меня?

— Сказано же: прочла с интересом. (Черт возьми, из Аси не выжмешь фимиама.) Тут у вас тоже сквозит любованье. Это ваша давнишняя склонность любоваться сильной личностью.

Я про себя улыбнулся. Проницательная Ася, конечно, ухватила что-то, действительно мне свойственное. Однако, может быть, такие свойства (то есть некий оттенок любования) были, наряду с другими, тоже необходимой «присадкой», чтобы выплавить роман? Не знаю, дело сложное. Какая-то мера отыскивается под пером. А затем и самому себе не дашь отчет. И пред Асей я помалкивал.

Потом зашагал на второй этаж. Редакция «Нового мира», переехав недавно в новое помещение, расположилась на двух этажах. Комнаты первого этажа заняты отделами. А второй принадлежит, так сказать, главной редакции. Там кабинеты редактора, его двух заместителей, ответственного секретаря.

Зашел к Алексею Ивановичу Кондратовичу, который, как мне сообщил Герасимов, тоже прочитал мою рукопись. Два слова о Кондратовиче. Ему уже под пятьдесят, он, однако, сохранил удивительную молодость. В меру художавое лицо хорошо вылеплено. Участник войны, он и поныне строен по-военному, брющка не нажил. В нем так и видится дельный, красивый, усвоивший несколько небрежную манеру офицера для поручений. Здесь, в «Новом мире», он в качестве заместителя редактора ведает, как я понимаю, внешними сношениями — бывает у цензоров, посещает ЦК, представляет от журнала на всякого рода заседаниях. А также, разумеется, читает рукописи, те, что намечены в печать отделами.

— Что скажете, Алексей Иванович, о моем романе?

Без какого-либо оживления, даже скорей вяло, Кондратович произнес:

— Печатать можно.

Конечно, я ожидал отклика погорячей. Но что же делать? «Печатать можно» — и то хлеб! И надо же понять, что некоторая вялость или, рискуя сказать,

томность Кондратовича есть не что иное, как непровольная защита нервной системы. Его работа, особенно отношения с цензурой, столь дергает нервы, что приходится себя беречь, нельзя себе позволить взволнованных, ярких реакций: в два счета сгоришь.

Впрочем, он тут же с улыбкой, которая вызвала на щеках ямочки, заговорил живой:

— Я разгадал многих ваших персонажей. Онисимов, ясное дело, Тевосян.

Я усмехнулся:

— Это же собирательный образ.

— В основе все же Тевосян. У вашего Онисимова даже и кровь наполовину армянская.

— Но ведь всего наполовину. Этим штришком, если желаете знать, я хотел подчеркнуть что-то восточное в Онисимове. Ему, сколь я могу судить, в романе даны и какие-то черточки, роднящие его с героем «Волоколамского шоссе», который тоже сын Востока. Да и еще бралось откуда-то.

— То есть ваш Онисимов лишь в некоторой доле Тевосян?

— В процентах этого не высчитаешь,— осторожно сказал я.

Далее разговор коснулся и других действующих лиц. Кондратович то правильно указывал прототипов, то называл фамилии известных работников индустрии, о которых я и не помышлял, вырисовывая фигуры, населившие роман.

Под конец он повторил:

— Печатать можно.—И добавил:— Дадим еще Дементьеву. Если он выскажется за, будем редактировать и ставить в номер.

— А Твардовский? За ним же окончательное слово.

— Твардовский в отъезде. В набор посылаем без него. Приедет, прочтет в набранном виде.

На этом мы расстались.

Из редакции я шел в отличном настроении. Роман на конвейере! Тьфу, тьфу, чтобы не сглазить.

2 ноября

Дал читать роман друзьям и некоторым близким знакомым. Отзывы хорошие. Анатолий Рыбаков сказал:

— Отличная вещь!

Ему не свойственна лицеприятность. Человек с характером. Не постесняется выложить то, что думает о твоём произведении. В крайнем случае замкнется, промолчит, если ты не выносишь критики. Он нередко желчен, что, возможно, в какой-то мере вызвано желудочной болезнью, которая мучает его, кладет желтоватые тона на смуглое, не мягкого рисунка лицо. Мне нравится его талант, резкость его утверждений, его отрицаний. В ближайшем номере «Нового мира» должна появиться его повесть, о которой я давно от него знаю. Там в каком-то преломлении дана трагедия учиненных Сталиным расправ, обнажены незарубцевавшиеся еще раны. Эта тема клокочет в груди у Рыбакова. Он, думается, утратит дыхание, погибнет как писатель, если не передаст ее бумаге. Из повести пришло, как говорит Рыбаков, многое вырвать. Нелегко он на это соглашался. В цензуре повесть еще не послана. Рыбаков в ожидании нервничает, зол. Однако признал мой роман отличным. Я порадовался.

На днях провел вечер еще у одного своего друга — Николая Корнеевича Чуковского. Мы с Н. (расшифрую эту букву, начальную в имени Наталия — так зовут мою жену) любим этот дом. И нас там любят. Приятно потолковать с Николаем Корнеевичем о литературе, о политике. Он, по обыкновению, удобно устраивается на тахте или в глубоком кресле, подымливает толстой папиросой и, обратив ко мне мясистый длинный нос, делится новостями и новостями, каких у него всегда немало, либо рассуждает о современности и об истории.

Теперь, сидя в клетчатой домашней куртке, он, взыскательный, опытнейший профессионал-литератор, живший с мальчишеских лет интересами литературы, что пропитали дом его отца Корнея Ивановича, высказывался о моей «Сшибке».

— Рукопись сенсационно хороша! — таково было его определение.

Затем начался разбор по косточкам. Разбор тонкий, дельный, умный. Не буду на этом останавливаться. Но вот биографию Петра Головни и Николай Корнеевич нашел скучноватой. Досадно. Не задался, черт побери, у меня этот образ.

А в общем, «Сшибка», выйдя в плавание, держится пока — тьфу, тьфу — устойчиво.

20 ноября

Безмятежные странствования моей рукописи кончились.

Вот как это произошло.

Рукопись в «Новом мире» взял Александр Григорьевич Дементьев. Но все не находил времени прочесть,—готовил большую статью для новогоднего первого номера. Этот номер, кстати сказать, будет юбилейным: «Новому миру» исполняется сорок лет. Разумеется, в иные минуты я испытывал гордость, предвкушая, что на юбилейных страницах займет немалое место мой роман.

Итак, погрузившись с головой в статью, ото всех прячась, Дементьев в эти дни навещался в редакцию лишь наскоро, урывками. Однако мне как-то удалось настичь его по телефону:

— Александр Григорьевич, вы не забыли обо мне?

— Прочту, прочту, дорогой мой,—забасил он, налегая по-волжски на «о».

Когда я слышу это дементьевское низко рокочущее «о», иной раз подмывает назвать его «отец диакон», тоже с волжским оканьем. Конечно, этого себе не разрешаю.

Он продолжает:

— К воскресенью, кажись, высвобожусь. И на той неделе обязательно буду готов с вами беседовать.

— Когда же вас ловить?

— Во вторник в четыре часа приеду в редакцию.

И вот в назначенный час ожидаю Дементьева на втором этаже редакции. Четыре. Пять. Его все нет. Побродив по комнатам, устраиваюсь в легком, современного стиля кресле. Два-три таких кресла расставлены в не очень просторном коридоре.

Наконец в двери, что ведет сюда с лестничной площадки, возникает Дементьев — рослый, грузноватый, в пальто, в шляпе, с объемистым портфелем в большой белой руке. При встрече он мне обычно улыбается, отпускает шутку. Сейчас почему-то не улыбнулся. Тень мрачноватости лежит на его удлиненной, с круглым носом, физиономии. Всегдашний румянец, как мне показалось, захватил и скулы. Думаю: свалились, наверное, какие-нибудь неприятности, за что-нибудь влетело.

— Ну, как, Александр Григорьевич, прочли?

— Нет.

И не извинился, ничего не объяснил.

— Но когда же?

— Вы не уходите. Подождите. У нас сегодня редколлегия. До заседания я с вами поговорю.

Он прошел в пустующий кабинет Твардовского: того все еще нет в Москве.

Туда стали сходить члены редколлегии, они же и «рабочие лошадки» журнала. Раньше редколлегия «Нового мира», как и других наших толстых журналов, составлялась преимущественно из «имен». Заседали одни, редакционными трудягами были другие. Твардовский ввел иное: пусть подписи тех, кто изо дня в день, номер за номером, вытаскивает на своих плечах журнал, и значатся на последней странице. Сперва это было внове, потом стало привычным. «Отец диакон», как я понимаю, играет в журнале особенную роль. Приобретший смолоду закваску партийного работника, образованнейший историк литературы, автор весомых работ, он не столь давно вел в качестве главного редактора журнал «Вопросы литературы». И, отнюдь там не проштрафившись, предпочел, однако, перейти в «Новый мир» на положение, так сказать, второго человека. По существу же, и Твардовский и он являются, пожалуй, соредакторами. Обоих связывает, как мне довелось замечать, близкая и уже долгая интеллектуальная дружба. Наверное, почти все, чем ныне приметен «Новый мир», ими выношено вместе. Кроме того, Дементьев, по моему разумению, является и как бы ангелом-хранителем Твардовского, умеет предотвратить всякие недозволенности, наделен, как выражаются мастера шахматной борьбы, чутьем опасности.

Снизу пришел Евгений Герасимов.

— Слушайте,— говорю я,— Дементьев-то моей вещи не прочел. И вообще держится как-то странно. Не стряслось ли что?

— Ничего не знаю.

— Где он нынче побывал? Откуда таким, не в своей тарелке, появился?

— Не знаю. Пойду выясню.

Герасимов прошагал в кабинет.

Несколько минут спустя-он меня позвал.

— Пойдемте.

— А что там?

Он досадливо махнул рукой:

— Не пойму Дементьева. Какая-то мура. Пошли.

В кабинете сидели и стояли несколько членов редколлегии: не утративший обычного спокойного вида, ничему не удивляющийся Кондратович; горбоносый, со всегдашней ироничной искоркой в глазах Лакшин; рыхлый добродушный Марьямов, встретивший меня с какой-то беспомощной улыбкой. Дементьев, уже без пальто и шляпы, занимал центральное место за обширным письменным столом. Мне показалось, что он еще раскраснелся. Были розовы и залысины, глубоко вдававшиеся в темную, небрежно зачесанную шевелюру.

Некоторое время все молчали.

Дементьев обратился ко мне:

— Садитесь.— Затем спросил: — Что вы нам дали?

— Как что? Роман.

— Кого в нем вывели?

— То есть что значит кого?

— Это, дорогой мой,— вновь загромыхали его диаконовские «о»,— значит вот что. Вдова Тевосяна подала заявление, что у вас выведен ее покойный муж.

— Позвольте, во-первых, я ей рукописи не давал.

— А мы тем более не давали. Разбирайтесь сами, каким способом эта вдова... Ну, как ее зовут?

— Ольга Александровна Хвалебнова,— подсказал я.

— Да, да, Хвалебнова... Разбирайтесь сами, почему она оказалась такой сведущей. Так или иначе, ей ваш роман известен. Она там узнала своего мужа. И возмущена. Вас обвиняет в клевете. Обратилась,— движением головы он показал наверх,— обратилась в высокий адрес с заявлением.

— Позвольте, я хочу спросить...

— Нет, я хочу спросить! — Дементьев явно распялся.— Что это за метод натаскивать в роман действительных людей? Кто вас этому учил? Ничего, кроме скандальных последствий, вам это не прибавит.

— Александр Григорьевич, да мой герой вовсе не Тевосян. Было бы смешно, если я вам стал бы разъяснять, что такое художественный образ.

Однако Дементьев уже, что называется, зашелся и меня почти не слушал. Он перескочил к роману «Тля», недавно вышедшему, действительно скандальному, антихудожественному, в котором слегка завуалированные вымышленными именами действуют плоские фигурки реальных участников литературной борьбы.

Вмешался Герасимов, до сих пор молчавший:

— К чему вам еще понадобилась «Тля»?

— Вот к чему. Мы выступаем против «Тли». А сами, что же, будем печатать роман, изготовленный по такой же рецептуре?

— Александр Григорьевич,— возразил я,— вы же не читали.

— Не читал. Но принципиально отвергаю этот бесцеремонный метод перелицовки подлинных людей в персонажи литературы.

Разумеется, я был ошарашен. И не столько вмешательством вдовы Тевосяна (такую возможность я предусматривал, когда отстуканные машинисткой экземпляры от меня, с моего стола, уходили на люди), сколько выпадами Дементьева. Его, обычно умницу, я просто не узнавал. Интересно, как случилось, что он эдак вышиблен из равновесия? Узнаю ли когда-нибудь тайну сию?

Собравшись с мыслями, я вступил в спор. Пустился и в теорию. Откуда же нам брать свои сюжеты и своих героев, как не из действительности? Изучение жизни. Что это — пустые слова? Для меня писательство без этого немислимо. А классики? Вот вам Тургенев. Нам же известны прототипы Рудина, Базарова, многих других тургеневских героев. И вместе с тем Рудин все же не Бакунин. Если писателю удалось создать характер, произведение искусства, прототипы, откуда бы он их ни взял, перевоплощены, преображены.

Конечно, Дементьев перебивал, твердил свое, но мало-помалу стал слушать внимательней. Раз-другой мелькнула свойственная ему умная усмешка. Я еще так и сак отводил обвинения вдовы.

— Повторяю, Александр Григорьевич, мой Онисимов — это не Тевосян.

— Не знаю. Не читал.

— Прочтите же. Потом будете судить.

— Нет, дорогой, возьмите свою рукопись домой. Обдумайте. Потом, наверное, сочтете за благо поработать. А пока вот вам лист бумаги. Запишите-ка по пунктам, чем же именно вызван протест вдовы.

Дементьев достал блокнот и, заглядывая туда, продиктовал мне восемь пунктов, в которых вдова Тевосяна (или, как выяснилось, семья Тевосяна) указывала на возмутившие ее черты моего героя. Вышла кратенькая сводка:

1. Служака. До политики нет никакого дела.
2. Недобрый оскал, жестокий оскал. Преданная собака Сталина. Именно поэтому не был арестован.
3. Оправдывает репрессии тридцать седьмого — тридцать восьмого годов, несмотря на гибель сестры.
4. Подлый поступок: предал Орджоникидзе.
5. Тормозит развитие металлургии. Отставили, и дело пошло в гору.
6. Совершенно не выносит людей, которые с ним не соглашаются.

7. Отрицательная характеристика жены.

8. Сын не видит в отце своего идеала.

Вот диктовка и окончена. Я спросил Дементьева:

— Что же я должен делать с этим синодиком товарища Хвалобновой?

— Имейте в виду: от нее вы никуда не денетесь. Ее не обойдете, не объедете.

— Александр Григорьевич, — снова воззвал я, — у меня же художественное произведение! При чем тут вдова Тевосяна?

— Было бы неплохо получить от вас объяснительную записку. — Дементьев уже говорил миролюбиво. — Так и так: мой герой не Тевосян.

— Ох... Подумаю.

Члены редколлегии, что слушали наш разговор, не мешали «отцу диакону» меня отчитывать. Думается, редакционная этика не позволяла тому или иному выразить при мне несогласие с Дементьевым. Лишь Герасимов, как сказано, один раз не сдержался.

Дементьев добыл из портфеля мою голубоватую, цвета надежды, увесистую папку. Все ее тесемки были аккуратнейше завязаны.

— Берите. Дома над ней пораскинете мозгами.

— У меня экземпляр есть.

— И этот забирайте.

Герасимов не без язвительности вставил:

— Подальше от греха.

Расстроенный, я всем откланялся. Меня проводили с шутками, наверное, чтобы приободрить. Я тоже выдал какую-то остроту. Шутки, конечно, звучали несколько искусственно, не развеяли моей подавленности. Держа папку, я оставил кабинет.

Следом вышел Герасимов. Мы остановились. Он тоже расстроился, нижняя губа была недовольно оттопырена. Неужели и у меня такой же вид? Герасимов буркнул:

— Черт знает что он городил!

Нам долгих слов не требовалось, чтобы понимать друг друга. И я и Герасимов прошли примерно одинаковую литературную школу, умеем смастерить добротный очерк, приобрели навык в «дельной прозе» (это наименование, пущенное еще Белинским, ныне частенько употребляет Твардовский), знаем, что это за штука — изучение действительности, хождение от человека к человеку, искусство вести беседу, слушать, собирать черточки, крупицы, из которых — а также из всего, что имеешь за душой, — слагается в терпеливом труде мир или хотя бы мирок произведения. А тут Дементьев рубанул сплеча.

— Надо бы, — продолжал Герасимов, — сунуть ему статью Томаса Манна «Бильзе и я». Помните ее?

Конечно, я помнил и любил эту вещь Томаса Манна. Да, в нашем споре пришелся бы очень кстати Томас Манн. Жаль, в смятении я это упустил.

— Девятый том. Первые страницы, — еще добавил мой союзник.

— Знаю.

— Ладно, я ему сам преподнесу. А свой роман на свежую голову снова посмотрите. Ей-ей, когда я читал, ни о каком Тевосяне у меня не было и мысли. Приходите ко мне, посоветуемся. Что-то, может быть, сделаете. Потом опять несите мне. Приедет Твардовский, дам прямо ему.

22 ноября

Предавшись на день унынию, теперь опять размышляю о деле.

Пусть в дневнике будет записано, каким же путем моя рукопись попала к вдове Тевосяна.

Ее, Ольгу Александровну Хвалебнову, я знаю лишь очень отдаленно. Когда-то она — если не ошибаюсь, в 1940 году — стала работать в Союзе писателей секретарем партийной организации. Беспартийный, я почти не соприкасался с этой, заново появившейся на нашем горизонте, женщиной. Не завелось даже и так называемого шапочного знакомства.

Все же на каких-то собраниях я, конечно, ее видел. Вероятно, довелось слышать и какие-нибудь ее выступления о задачах литературы и так далее. Впрочем, не берусь утверждать этого, память не сохранила ни одного высказывания Ольги Александровны. Осталось

лишь некоторое неотчетливое впечатление: статная женщина-руководительница. И ничего отличительно-го, оригинального. Разумеется, я не мог предугадать, что спустя годы вдруг возникнет эта нынешняя ошибка, а то ближе присмотрелся бы к секретарю писательской парторганизации.

В Союзе писателей Ольга Александровна проработала сравнительно недолго. Уехав внезапно в октябре 1941 года в эвакуацию, она к нам, то есть в нашу литературную обитель, больше не вернулась.

И лишь после промежутка почти в двадцать лет опять обозначилась в моем кругозоре — теперь уже заместителем председателя общества «Знание».

Да, это было, как ныне восстанавливаю, по-видимому, в 1960 или 1961 году. В то время я уже энергично прояснял заинтересовавшую или, точнее, захватившую меня историю, которая могла бы составить — таков был мой замысел — основу увлекательного многофигурного романа. Толчком к этой работе явились беседы с Ильей Ивановичем Коробовым — дерзновенным доменщиком, директором завода. Это излюбленный мой тип, одаренный страстный инженер-изобретатель. Новый способ плавки стал делом его жизни. И втянул его в жесточайшую борьбу. Перипетии этой борьбы необыкновенно интересны, поразительны. Я исподволь распутывал узлы и узелки, находил сведущих людей, выспрашивал, сказанное одним проверял у других, собирал, накапливал подробности, действовал по испытанной своей методике, для которой все не придумаю определения. Следовательская? Исследовательская?

В числе прототипов, постепенно намечавшихся, некоторое место занимал и Тевосян, тогда уже покойный. Мало-помалу этот человек, о котором я многих расспрашивал, все сильнее меня влек, завладевал мыслями. Черт побери, центр будущей вещи уже начинал смещаться. Но я уже ничего не мог с собой поделаться: некий демон, — сродни тому, о каком говорил Томас Манн, — привязывал меня к этой фигуре государственного деятеля, через него мне как бы открывалось время.

И вот однажды вечером — в 1960 или 1961 году — я позвонил Хвалебновой:

— Ольга Александровна, здравствуйте. Говорит писатель Бек. Мы с вами незнакомы, но, возможно, вы обо мне знаете.

— Слышала. Здравствуйте.

— Ольга Александровна, хотелось бы встретиться с вами. Я сейчас поглощен работой над новым романом. Возвращаюсь в нем к тому, с чего когда-то начинал: к металлургии. Мне много рассказывали об Иване Федоровиче Тевосяне. Вы слушаете?

— Да.

— В этом романе я рисую, стремлюсь нарисовать среди других героев и примерно такого же, как Иван Федорович. Примерно. То есть это будет вымышленная личность, но человек этого же типа.

К подобным формулировкам я издавна научился прибегать. Не имярек, но человек этого же типа. Сие не какая-либо хитрость, а выработанный взгляд. Тебе, писателю, дана способность, частью безотчетная, сотворять характеры, живые индивидуальности, такие, что еще более верно, более выразительно передают действительность, чем тот или иной реально существующий прообраз. Впрочем, не буду отвлекаться.

Возвращаюсь к нашему телефонному разговору. Я продолжал:

— У меня, как я чувствую, несколько не хватает теплых красок для этой фигуры. Надо бы почерпнуть их из жизни. Возможно ли, Ольга Александровна, побеседовать с вами?

Потянулось молчание. Вероятно, Ольга Александровна раздумывала. Потом твердо произнесла:

— Нет, о нем с вами беседовать не могу.

И положила трубку.

Что же, пришлось писать свой роман, не получив никаких красок, никакого содействия от Хвалебновой. Характерные черточки, необходимые для обрисовки Онисимова, я отыскивал другими путями. Ну и, разумеется, черпал из собственного воображения.

И вот вещь готова. От Тевосяна я далеко отошел. Теперь мне и в голову не приходило обратиться к его вдове. Но она-то была начеку.

И произошло следующее. Я дал рукопись Мике (Мика — сестра моей Н.), чтобы прочитала с карандашиком. Эта скромная женщина наделена отличным литературным вкусом, чувством слова. Ее замечания, пометочки всегда ценны. Вручая роман, я разрешил, чтобы его прочли, если пожелают, и Микины домашние. И никто более. В число «домашних» по просьбе недавно вошедшей в семью невестки включился и ее

брат Адриан <Рудомино>. Он получил рукопись всего на одну ночь. Этого было достаточно. Оказалось, что Адриан льнул к «высшему обществу», водился с сыном Тевосяна, ну и услужил приятелю пли, верней, его бдительной матери.

Когда я об этом узнал, то сразу сказал:

— Теперь будет заявление, моя героиня действовать иначе не умест.

Это была горькая шутка. Ведь Хвалебнову я почти не знал, а разумел тип из своего романа. Да, великое дело — собирательный образ, тип. Прошло немного дней, и угадка оправдалась: в какую-то высшую инстанцию (видимо, в ЦК) поступило заявление — те самые восемь пунктов, которые позавчера продиктовал мне Дементьев.

23 ноября

Надо, черт побери, готовить объяснительную записку для Дементьева. Прежде всего буду отстаивать свои права писателя. <...>

26 ноября

Опять занимаюсь объяснительной запиской. Следил такой набросок:

Справка для редакции

С удивлением я узнал, что семья покойного И. Ф. Тевосяна без моего ведома ознакомилась с рукописью новой моей книги. Еще более меня удивило сообщение, что эта семья возражает против опубликования романа, считая, что там-де изображен Тевосян, к тому же клеветнически. При этом до моего сведения были доведены восемь пунктов, содержащихся в заявлении семьи Тевосян.

Ниже я остановлюсь на каждом из этих пунктов.

Сначала же со всей категоричностью считаю нужным сказать, что героем моей вещи является не Тевосян, не какое-либо иное конкретное лицо, а собирательный, обобщенный образ, который я назвал Онисимовым, образ, за которым стоят три десятилетия моего общения с работниками индустрии.

Коснусь биографии Онисимова. Его отцом является, как сказано в романе, русский ремесленник, матерью — украинка-поденщица. Тевосян же, насколько известно, армянин. Места работы Онисимова —

Главэлектросталь, Наркомат танковой промышленности, Министерство металла, Комитет по делам топлива и металлургии. Все эти учреждения, названия которых звучат достоверно, являются вымышленными, их не найдешь ни в каких справочниках.

Остановлюсь теперь на каждом из упомянутых выше восьми пунктов.

1. Герой романа-де служака. До политики ему нет никакого дела.

Мне трудно согласиться с такой характеристикой моего героя. Однако со стороны видней. Примем эту оценку. Будучи не очень близко знаком с покойным И. Ф. Тевосяном, я все же вместе с его семьей убежден, что он был не таков.

2. У героя книги недобрый оскал, жестокий оскал.

И. Ф. Тевосяну, конечно, такая черта вовсе не свойственна. Повторяю, не могу о нем судить, но охотно верю, что каким-либо жестоким оскалом он не отличался.

В этом же пункте содержится и такая формулировка: «Преданная собака Сталина. Именно поэтому не был арестован».

Не ясно, что значит в данном случае «собака». Своего героя я так не называю. Да, он человек, преданный Сталину, слепо в него верующий. Готов допустить, что И. Ф. Тевосян был не таков, критически относился к Сталину, однако поклонение Сталину разделяли с моим Онисимовым тысячи и тысячи деятелей партии. Можно ли считать ее приметой какого-либо конкретного лица?

3. Оправдывает репрессии тридцать седьмого — тридцать восьмого годов, несмотря на гибель арестованной сестры.

Герой романа не оправдывает репрессий, он пытается раздумывать о них, но приходит к выводу: «не мое дело, не мне судить».

Судя по заявлению семьи, И. Ф. Тевосян относился к репрессиям по-иному, то есть осуждал их. Что же, могу лишь повторить: мой Онисимов не Тевосян.

4. Подлый погупок с Орджоникидзе.

Став свидетелем ссоры между Сталиным и Орджоникидзе, Онисимов, не понимая, о чем идет спор, все же слепо верит Сталину и соглашается с ним.

Не возьму на себя смелость называть это подлым поступком. Но с некоторым усилием готов предположить, что, будь на месте Онисимова Тевосян, он дал бы

отпор Сталину. Что делать, созданный мною Онисимов не был на это способен. В борьбу против Сталина никогда он не вступал. Насчет же Тевосяна не могу судить — не знаю.

5. Тормозит развитие промышленности. Отставили, и дело пошло в гору.

Развитие промышленности тормозила окостеневшая при Сталине система управления, не дававшая простора инициативе снизу. Мой Онисимов был воспитан этой системой. Вероятно, это относится и к Тевосяну. Тут, несомненно, имеется совпадение. Однако оно относится к немалому числу работников. И является чертой именно собирательного образа.

6. Совершенно не выносит людей, которые с ним не соглашаются.

Да, это примета лишь Онисимова, но отнюдь не Тевосяна.

7. Отрицательная характеристика жены.

Жена Онисимова тоже вымышленный образ. Думается, никаких совпадений с женой Тевосяна, которую я знаю лишь отдаленно, в романе не содержится.

8. Сын не видит в отце своего идеала.

Насколько мне известно, сыну Тевосяна уже больше тридцати лет. Сыну же моего Онисимова всего четырнадцать. Они и по внешности являются антиподами. В чем же сходство?

Охотно верю, что сын Тевосяна видит в отце свой идеал. У меня же и мальчик и отец совсем другие.

Вывод: в заявлении семьи Тевосяна, по сути дела, приведены доказательства, что Онисимов — не Тевосян. Это же утверждаю и я. Думается, нет нужды что-либо еще добавлять к этой моей авторской справке.

Александр Бек.

Ух, неохота ввязываться в войну заявлений и справок. Дело не для меня. Больше никаких объяснительных записок сочинять не буду. Ограничусь устными объяснениями в редакции. А уж редакция пускай пишет.

9 декабря

Опять принес Евгению Герасимову рукопись, над которой еще поработал. Он повторил, что даст ее прямо Твардовскому.

Но возникло новое опасение: Твардовский, наверное, зарежет главу о Писателе, в которой, как ни верти, угадывается Фадеев. К памяти Фадеева у Трифонича (так в «Новом мире» среди своих заглазно именуют главного редактора) какое-то болезненное отношение, некий, пожалуй, комплекс вины. За день или два до самоубийства между ними произошла ссора. Твардовский наговорил Фадееву резкостей и под впечатлением этого разрыва воспринял его смерть. И не пропустит в журнале ни одного осуждающего слова о Фадееве.

А я не хочу — ши в какую не хочу! — лишаться этой главы. Так что же делать?

— Может быть, превратить писателя в кинорежиссера? — нерешительно сказал Герасимов. И сам себе ответил: — Все равно, характер же останется...

Так или иначе, надо предвидеть это новое затруднение, связанное уже с Твардовским.

На вечерней прогулке повстречал Ивана Тимофеевича Козлова. Мы живем в соседних домах, отношения самые добрые. Козлов — и редактор и критик. Не раз он хорошо отзывался в печати о моих работах, а я это помню: не избалован. Он с недавних пор ведает отделом прозы в журнале «Знамя». Прогуливаемся, разговариваем о том о сем. Конечно, зашла речь и о моем новом романе. Козлов попросил:

— Дайте познакомиться.

И я дал. <...>

Теперь надо терпеливо выждать. И главное, дожидаться, что скажет Твардовский (он сейчас в Италии).

Что же, пока буду писать. Я уже начал маленькую повесть о Серго Орджоникидзе. Сегодня, после всех потрясений, вновь принимаю за нее.

1965 год

15 января. Малеевка

Итак, я снова в Малеевке, в нашей общей писательской усадьбе, в Доме творчества. Люблю здесь поработать.

Немного о моих делах. Рождественские каникулы провел с Таней (ей скоро шестнадцать) и с Н. в Ленинграде. Ленинград — родина Н. Вот мама с дочкой и занялись осмотром города, музеев, беготней по гостям.

Я же почти каждый день усаживался за письменный стол. Кое-что написал. У меня сейчас в работе небольшая повесть «Серго». Я ее хорошо себе представляю. Думаю, она будет интересна. Надеюсь, что месяца через два я ее сделаю. И постараюсь все это время пробыть в Малеевке.

С романом положение пока без перемен. Твардовский еще не читал. Герасимов сказал, что только двенадцатого или тринадцатого даст ему рукопись. Не знаю, взял ли уже Трифонович.

Кроме того, я обратился к Константину Симонову, сказал, что хочу знать его мнение о только что законченном своем романе. И принес ему рукопись. Симонов теперь не ведет какого-либо журнала, я просто хочу с ним посоветоваться как с умным и опытейшим литератором. Звонил ему отсюда. Он еще не прочитал.

Что же, спокойно гоню повесть. Знаю, что и роман еще потребует много труда. Готов к этому.

25 января

Уезжал в Москву. И теперь все не приду в себя, не могу работать, взволнован нашим московским писательским собранием, переживаю.

На собрании держал себя невыдержанно, вскакивал, задавал вопросы (о кворуме и т. д.). Не знаю, надо ли было это делать. Не лучше ли избрать роль созерцателя? Прихожу к мысли (и уже не впервые), что общественная борьба — не для меня. Нервная система не выдерживает. Вот и теперь после собрания — верней, после того, как я выразил там свои несогласия, требование соблюдать устав, выразил, не перейдя границ, лишь приставая с вопросами — не могу прийти в себя. Надо беречь свою расположенность к работе, не растрчивать себя в мелкой борьбе. Мой фронт — это письменный стол, моя борьба — произведение. И заруби себе это, Саша, на носу.

Теперь о романе. На собрании во время перерыва я подошел к Твардовскому. Он выглядит ужасно, весь какой-то желтый, мятый. Говорят, с Нового года болел.

— Александр Трифонович, тебе дали мой роман?

— Читать не буду.

— Почему?

— Через суд хочешь печатать? Я с этой бабой связываться не стану.

Говорит раздраженно, взгляд тяжелый. Отвечаю:

— Ну, раз так, не обижайся, если я отдам в другое место.

Он немного сбавил тон:

— Ты поговори с моими людьми в журнале.

— Зачем мне идти к ним, когда я говорю прямо с тобой. Так будешь читать или нет?

Он, видимо, опять раздражился:

— Принеси мне бумагу от семьи Тевосяна, что они не возражают против опубликования. Тогда прочту.

— Нет. Я этого никогда не сделаю.

— Как хочешь.

— Ладно. Но не обижайся, не считай меня морально неправым, если я буду иметь дело с другой редакцией.

Тут уж в нем взыграло самолюбие. Он бросил:

— Верни аванс и отдавай куда угодно.

— Договорились.

И я отошел. Отошел, решив передать роман в «Знамя». Не буду Твардовского улещивать. Люблю его, но надоела фанаберия. Надежно себя чувствую в седле со своим новым романом. Да и семейки Тевосяна не боюсь.

На следующий день я отправился в «Новый мир», пересказал Герасимову свой разговор с Трифоньичем.

— Покидаю, значит, вас. Перехожу в другой журнал.

— Подождите, не решайте еще этого. Подождите хоть до понедельника. Я постараюсь воздействовать на Твардовского. Он сам не знал, что говорил. Я уйду из редакции, если он так себя ведет.

Герасимов кипятился, я не поддавался. Чего еще тянуть? Зачем навязываться? Ориентируюсь уже на «Знамя». Уже и Козлову (ему вещь понравилась) сказал, что предлагаю рукопись в «Знамя».

И никто из новомирцев ни в чем не сможет меня упрекнуть. Вот такие пироги. Только теперь мысль опять поворачивается к тому, о чем пишу, слабо проблескивают Серго, его жена, другие действующие лица повести. Еще денек переболею и впрягусь в работу.

28 января. Малеевка

Позавчера опять ездил в Москву, побывал у Симона. Посидели часа полтора в его домашнем кабинете, основательно поговорили.

Мой роман произвел на него хорошее впечатление.
Сказал:

— Очень интересная вещь.

Но считает (и, пожалуй, правильно), что вещь не закончена:

— Ощущение такое, что это лишь три пятых романа.

Страницы, где дан Петр, «художественно разочаровывают». И опять он прав. Посоветовал:

— Пусть Петр пока останется загадочным. Это лучше.

Ему понравилось, как написан Сталин, фигуру Онисимова тоже счел удавшейся, значительной.

— И академик убедителен. Верить, такой был.

Мне запомнилось, что тут он, имея в виду моего академика, добавил:

— Можно же было в самые крутые времена сказать Сталину: нет!

Пожалуй, в интонации мелькнуло что-то личное. Ведь сам-то Симонов, сколь знаю, ни разу не смог так поступить. И впоследствии осудил себя за это. Видимо, до сих пор у него продолжается эта душевная работа, выработка отношения к Сталину.

Давая оценку персонажам романа, Симонов дошел и до Пыжова. Сказал, что слишком явно проглядывает Фадеев. Затем чувствуется раздраженность автора (это, по-моему, неверно). Надо бы, по мнению Симонова, писать о Фадееве сочувственно. А сочувствия-де нет.

Внимательно все выслушав, я наконец сказал, что на пути романа возникли затруднения.

— В связи с Фадеевым?

— Не угадали. Пыжова в крайнем случае можно вычеркнуть. Дело идет обо всем романе.

И я рассказал о письме семьи Тевосяна.

— Ох, в который раз это с вами случается!

Он даже засмеялся.

Да, Симонов был редактором «Нового мира», когда там печатался после многих мытарств мой роман «Жизнь Бережкова». Не кто иной, как прототип главного героя, требовал запретить публикацию вещи, писал протесты, заявлял, что герой-де авантюристичен, необаятелен и т. п. Пришлось проделать кропотливую долгую работу, (в которой мне тогда помогла Н.), чтобы как можно дальше уйти от прототипа.

Рассмеявшись, Симонов сразу же дал несколько хороших советов. Он легко импровизировал. Я поражен, как быстро тут же на месте он сумел найти ряд метких предположений. Почти все я с готовностью воспринимал. Попробую перечислить:

— Еще резче изменить внешность. Дать эдакого русака.

Вместо арестованной сестры вывести арестованного сводного брата (имевшего другую фамилию).

В романе наряду с Онисимовым фигурирует мельком и Тевосян. Смелей употреблять этот прием. Ввести пошире Тевосяна под его собственным именем. Дать сцену с участием Тевосяна. И пусть он занимает позицию поддержки Петра.

Упомянуть и Малышева, и Завенягина.

Исключить Баку, то есть пребывание Онисимова в Баку. Послать его как военного куда-то на Восточный фронт. (Не знаю, это мне вряд ли удастся.)

Пусть Пыжов войдет в роман не как друг Онисимова по студенческим годам, а как ученик Чельшева.

И еще что-то. У меня все это записано на отдельном листке.

Я от души поблагодарил Симонова. И не скрывал удивления:

— Как быстро у вас это рождается!

— Э, а сколько я намаялся со своим Серпилиным. Дан ведь командующий армией, и надо было сделать так, чтобы никто не смог бы схватить за руку: это, мол, такой-то. Уж по-всякому прикидывал и примеривал...

Разговор с Симоновым сразу перебрал мои мысли от нашего собрания — надолго же застряли впечатления — к делу, к роману. И с новой энергией берусь над ним работать. Да, последую почти всем советам Симонова. Впрочем, сейчас все это лишь продуываю. <...>

25 апреля. Малеевка

Примерно месяц работал в Малеевке. Затем четыре дня пробыл в Москве (конечно, там не до писания). И снова вернулся в Малеевку.

За месяц сделал одну большую вставку, своего рода вставную новеллу объемом свыше листа. Это — сшибка Петра и Онисимова. Получилось, кажется, удачно. Роман не только не испорчен, а стал еще острее. Пока-

зан казарменный порядок, который при Онисимове вводится в промышленность. Заодно решены и некоторые частные задачи (дана еще одна сцена Онисимов — Тевосян, а также встреча двух женщин, жены Онисимова и жены Тевосяна). Дал там же и еще одну сцену со Сталиным, которая идет по хребту моей идеи, обогащает ее, обогащает роман.

Запишу еще вот что. Сейчас как будто происходят какие-то перемены в отношении к Сталину (то есть сверху идут новые веяния). В какой-то степени, по-видимому, будет восстанавливаться «доброе имя» Сталина. Или утвердится формула: «мы его принимаем от сих до сих». <...>

Потом пойдут всякие более мелкие изменения и вставки. Рассчитываю все закончить в мае и сдать новый вариант к первому июня в «Знамя».

6 мая. Малеевка

Неустанно тружусь над «Сшибкой». Делаю вторую большую вставку. Получается, кажется, крепко.

Кончик вещи надо спасти. Выкину замедляющие главы — охота Петра, его проход по Адриановке. Роман станет более сбитым.

Буду несколько переделывать сцену «Онисимов на заводе». Головня спокойно ему скажет самые резкие вещи: «Если бы сверху кто-нибудь мигнул, вы бы...» И еще что-то — самое главное.

Надеюсь дописать здесь, в Малеевке, вторую вставку. А остальные исправления сделаю в Москве.

Сегодня вечером еду на денек-другой в Москву. Завтра прилетают Н. и Таня. Они пробыли майскую неделю в Средней Азии. Таня унаследовала от мамы интерес к архитектуре, страсть к путешествиям. Конечно, это увлекательно: Ташкент, Бухара, Самарканд. А я оторваться не мог: надо дожимать рукопись.

27 мая

Закончил работу над рукописью. Все — у машинистки. Испытываю глубокое удовлетворение. Роман улучшился, получил свое внутреннее завершение.

Вчера заглянул в «Новый мир». Там был Герасимов. Он сказал:

— А я хотел вам звонить. Берите от нас свой роман. Сколько я ни убеждаю, наши не хотят заняться вашей вещью. Придерживаются мнения Твардовского.

— Евгений Николаевич, да я от вас уже сбежал.

И рассказал Герасимову, что уже договорился со «Знаменем» и прошу теперь внести в это дело полную ясность (в частности, «Знамя» погашает мой аванс).

— Уже и деньги вашей редакции, наверное, переведены.

Герасимов затрепыхался:

— Об этом ничего не знаю. Подождите.

Он ушел на второй этаж. Долго пропадал там. Вернувшись, сказал, что звонил в «Знамя», — да, в «Знамени» ему сообщили, что «у нас с Беком договор». Теперь и на втором этаже «Нового мира» спохватились. Не хотят отдавать мне вещь.

Герасимов показал мне свое заявление об уходе, которое только что написал на втором этаже. Одна из причин — то, что не принят, ушел в «Знамя» мой роман.

Я на второй этаж ходить не стал. К чему лишние разговоры?

Когда я приехал домой, начались звонки. Позвонил Козлов из «Знамени»:

— Как с романом? Когда сдадите?

— Все в порядке. Рукопись уже у машинистки. Принесу дня через три-четыре.

Потом позвонил Дементьев, новомирский «отец диакон»:

— Не забирайте у нас вашу вещь.

Я, конечно, ответил, что Твардовский сам сказал мне: «Отдавай куда угодно, я печатать твой роман не буду».

— Вы его не так поняли. Он просто выразил свое отношение к этой даме. Вам следовало прийти в редакцию, объясниться.

— Чего объясняться, если мне сказано: иди куда угодно со своим романом.

Дементьев долго меня уламывал. Вспоминал все мои вещи, напечатанные в «Новом мире». Старался подействовать так и эдак. В общем, договорились, что я сегодня зайду к нему в редакцию.

Потом — уже вечером — звонок от Герасимова. Теперь и он убеждал не отдавать вещь «Знамени». Сказал:

— Мы можем дать ваш роман в седьмом номере.

Конечно, я ему ничего не обещал.

Сегодня зайду в «Новый мир». Моя линия (то, чего я хочу):

1. Напечатать роман в «Знамени».

2. И напечатать быстро — то есть этим летом, не откладывая на осень и тем более на зиму (в декабре, как говорят, будет съезд партии, значит, уже с октября о моей вещи, если она пойдет в ЦК, могут сказать: «рассмотрим после съезда»).

Если «Знамя» не согласится печатать быстро, то только это может заставить меня вернуться в «Новый мир», хотя предпочел бы обойтись без этого.

Буду держаться без хитростей, говорить буду напрямик.

7 июня

Веду дело четко. Рукопись в новом виде дал только «Знамени». В «Новый мир» — не даю.

Видел Вадима Кожевникова. Он, как всегда, отлично выбрит, это тоже какая-то обязательная черточка определенного контингента работников. Кожа лица красная — видимо, несокрушимо здоров. Нижняя челюсть увесиста. Оставляет впечатление простоватого, но вряд ли это в действительности так, ведь уже два десятилетия держится во главе журнала.

Мне он сказал:

— Будем толкать.

О письме семьи Тевосяна выразился так:

— Атачка.

Любопытное словцо. Быть может, ходячее в каком-то кругу.

21 июня, понедельник

На этой неделе, которая сегодня начинается, будет, наверное, так или иначе решен вопрос с моим романом.

В «Знамени» появились какие-то признаки затягивания. <...>

Следовало бы писать дальше новую вещь, но нет на душе покоя. Надо выдержать еще несколько дней.

1 июля

Все, кажется, прояснилось. В «Новом мире» очень быстро прочли. Борис Германович Закс (он раньше вел отдел прозы, а теперь — ответственный секретарь, тоже, как и Дементьев, неусыпно оберегающий журнал, и, следовательно, Твардовского, от опрометчивости) — вечный кисляк, скептик — дал о моем романе отзыв,

какого я от него никогда не слышал. Да и не только я. «Отличная книга, талантливая, удачная» и т. д.

Потом прочел Дементьев. Тоже сказал:

— Вы написали хо-ро-ший роман. Это одна из самых лучших ваших книг.

И печатают без промедления. Дают в восьмой номер.

Окончательное редактирование взял на себя Закс. Завтра пойду к нему домой, посидим часа три, и вещь будет готова для набора.

В предназначенном для набора виде дадут еще Твардовскому. Дементьев сказал:

— Абсолютно ручаюсь, что Трифонычу понравится.

Наверное, во вторник или в среду рукопись уйдет в типографию. <...>

Основание для ухода из «Знамени» у меня есть. Сучков вчера улетел за границу, так и не прочитав рукописи в новом виде. А я должен пребывать в неведении, удовлетворена ли редакция вновь написанными главами. И не будут ли предъявлены мне еще какие-либо требования?

Сегодня сам сообщу «Знамени», что забираю роман.

4 июля

Пятница, 2-го, был трудноватый для меня день.

Три часа сидели над рукописью с Заксом, редактировали для набора. Редактирование очень тщательное, умное. Сняли разные мелкие уколы по адресу Хозяина, кое-что еще по мелочам удалили «страха ради иудейска» — теперь в романе поменьше говорится об арестах, лагерях и т. д.

Удалили три больших куска: 1) чистка Берии (эти страницы я использую в следующей вещи), 2) охоту и проход по Андриановке Петра (этот кусок действительно пустоват) и 3) всего Пыжова.

Образ Пыжова уже был раньше дважды подточен. Первый раз, когда я — ради маскировки прототипов — отказался от того, что он друг юности Онисимова. И второй раз — когда я превратил Пыжова из писателя в кинорежиссера. Получилось что-то неполноценное, недостоверное. Дальнейшие сокращения совсем обесмыслили эту фигуру. Да, лучше совсем снять, чтобы при случае вернуть Пыжова в роман таким, каким он был у меня сначала. На всякий случай завещаю эдак

сделать (по экземпляру, который помечен буквой Э, что означает Эталон).

После редактирования сразу поехал в «Знамя». Трудный разговор с Кожевой (так называл Кожевникова Казакевич). Разговаривали в огромном кабинете (это чуть ли не зал) главного редактора. Присутствовал еще Кривицкий и Козлов.

Кожева требовал, настаивал, уговаривал, чтобы я оставил роман в «Знамени». Пытался даже припугнуть:

— Вам несдобровать, если возьмете у нас роман.

Я сумел его тут осадить.

Одним словом, после получасового трудного разговора расстались на том, что я все обдумаю и сообщу редакции, каково мое решение.

Повод к разрыву у меня есть. Впрочем, это одновременно и повод, и истинная серьезная причина: затянули рассмотрение вещи, отодвинули печатание на неопределенный срок, не перевели денег «Новому миру». Ну, и сообщу, что передал туда.

Сегодня, вероятно, будет читать Твардовский. По дождю его слова, прежде чем совсем покинуть «Знамя»

7 июля

Вчера наконец рукопись сдана в набор в «Новом мире».

В воскресенье прочел Твардовский, одобрил. Мне передали его письменное заключение. <...>

Все-таки письмо вдовы, как вижу, до сих пор действует на Твардовского. Он и сейчас видит ее в Елене Антоновне. Даже в одном месте написал на полях про Елену Антоновну: «Этого она не простит автору». (Речь шла о том, что муж не был с ней откровенен.) Кто же это она?!

Перед сдачей в набор я разговаривал с Дементьевым. Опять я отстаивал право писателя исходить от прототипов. Ссылался на Гоголя, Тургенева. <...> Впрочем, подобные высказывания — они поистине бесчисленны — ему, конечно, известны без меня. Мы на этот раз не спорили, пришли к согласию: суть в претворении лица (или лиц) в образ, в характер. Дементьев твердо заявил:

— Мы займем принципиальную позицию.

Запишу еще один кусочек разговора. К Твардовскому рукопись пошла уже без глав, что были посвящены

Писателю, всякое упоминание о нем мы удалили. И все же Трифонич, как рассказал Дементьев, спросил:

— А не об этой ли истории хотел писать Фадеев в своей «Черной металлургии»?

Да, значит, мой Пыжов, хотя и начисто вынутый из вещи, все же как-то в ней присутствует.

От названия «Сшибка» решили отказаться. Действительно, слово трудновыговариваемое, хотя по смыслу очень подходит. Озаглавили временно попросту «Онисимов». Потом опять засомневались: следует ли, учитывая все обстоятельства, эдак еще выделять главного героя? Дементьев (или, может быть, Закс) предложил название «Новое назначение». В общем, вопрос о заглавии я предоставил усмотрению редакции.

На душе облегчение, удовлетворение. Вещь в наборе. Завтра уезжаем в Комарово. Буду писать о Серго.

10 июля. Комарово

Вчера сюда приехали. Ох, слава тебе господи, отоврались от Москвы.

«Игра» с двумя журналами потрепала мне нервы. Сейчас подведена черта: вещь идет в «Новом мире».

Однако «Знамя», возможно, еще не примирилось с этим.

В последний день перед отъездом я сказал Козлову, что окончательно отдал роман «Новому миру». Через час он позвонил:

— Кожевников заявил, что мы тоже отправляем рукопись в набор. В редактировании она не нуждается.

Вечером в тот же день встречаю Кожевникова на кинофестивале, говорю:

— Отдал роман «Новому миру».

— Поздно. Рукопись в наборе.

Огоршил меня этим. Думаю, что «берет на пушку». На всякий случай тут же отправил в «Знамя» официальное письмо о расторжении договора. <...>

Через неделю мне пришлют из «Нового мира» верстку. Ну, а потом будем ждать, что скажет цензура. Дурных предчувствий у меня нет.

Думаю над следующей вещью.

12 июля

В эти дни все размышляю: как писать дальше? Не приняться ли за большой роман «Серго»? Однако слишком много трудностей, нужен еще и еще матери-

ал, придется освещать и конфликт в Грузии, и разногласия с Лениным, и все проблемы Сталина, и оппозицию и т. д. Ноша очень тяжела. Как же быть?

Пришел к выводу, что я уже раньше нащупал правильное решение. Оно в том, чтобы написать не очень объемистую повесть о Серго, эпизод из годов индустриализации. К тому же в уме выделился и отдельный рассказ «Серго в Баку».

С завтрашнего дня этим и начну заниматься.

24 июля

Получил из Москвы для подписи договор на экранизацию романа. Рукопись была обсуждена на редакционном совете одного из творческих объединений Мосфильма. И принята для экранизации.

Приятная новость. <...>

Из Москвы дошли сведения, что «Знамя» отказалось от борьбы за роман.

2 августа

Утрясается... Ха-ха.

Позавчера, 31-го, получил письмо из «Нового мира»:

«Дорогой Александр Альфредович!

На пути публикации романа возникли трудности. Из вышестоящих инстанций нам переслали *второе* письмо О. Хвалебновой, в котором она протестует уже против нового варианта романа (он ей откуда-то известен). Это вынуждает нас отложить печатание романа.

О дальнейшем ходе дела посоветуемся по Вашем возвращении в Москву.

С приветом Б. Закс.

28.VII.65».

Ох, что же предпринять? Надеюсь, мы с вдовой справимся. Но каким образом? Возможно, будет разбирательство на секретариате Союза писателей совместно с редколлегией. Не сомневаюсь, что писательская общественность и организация меня поддержат.

Но время, время. Сколько месяцев это займет? В Москву ехать не хочется. Надо работать. На этом я пока и порешил.

Когда в редакцию было передано из ЦК еще и это письмо, Твардовский сказал: снимаем из номера вещь Бека.

Таким образом, роман уже не был послан в цензуру для получения от нее того или иного решения, а снят самой редакцией. И вследствие этого, так сказать, не запрещен. По-моему, это облегчает мое положение: роман можно обсуждать, посылать тому, другому и т. д.

Однако в редакции меня покорило одно обстоятельство. Снятая из номера верстка так по сей день и осталась «грязной», то есть с множеством корректурных ошибок, пропусков, несообразностей. В таком виде ее никому не дашь. Осталось впечатление, будто вещь брошена и ею больше не занимаются. Я сказал об этом Заксу. Он ответил:

— Что вы! Вещь набрана. Мы не собираемся от нее отказываться.

— Но почему же не сделали чистенькой верстки?

— Да мы и так из-за этой аварии слишком загрузили типографию. Войдем в колею, сделаем.

— Гм... Времени-то, Борис Германович, прошло много.

— Ждали вас. Теперь вместе обдумаем, как действовать.

В тот же вечер я был у Николая Корнеевича Чуковского. Все ему подробно изложил. Николай Корнеевич в домашней куртке расположился в кресле, покуривал, вникал. И высказал такое мнение:

— По-моему, «Новый мир» поступил с вами неважно.

— Почему? Я этого не вижу.

— Очень просто. Взяли роман у «Знамени» и не стали печатать. Это предательство. Они обязаны были пойти на конфликт с цензурой. И не отступать.

— Не согласен. Это был единственный выход у редакции. Она лишь отложила печатание романа. А дальше будем бороться.

— А пойдет ли она на борьбу? — Он длинным носом нюхнул воздух. — Пока этим не пахнет. Оставят в тяжелый момент вас одного.

— Нет, Твардовский — человек слова.

— Не будьте, дорогой Бекуша, карасем-идеалистом. <...>

10 сентября

В те же дни, то есть только что вернувшись в Москву, я узнал, что имеется еще одно заявление о моем

романе, подписанное группой металлургов, работников Комитета по делам металлургии, которые тоже выступили с требованием, чтобы роман не публиковался. Их письмо (почему-то не переданное в «Новый мир») было адресовано в Комитет по делам печати.

Этот недавно возникший Комитет, которому теперь подчинена и цензура, еще рассеян по Москве, не заполучил пока единой крыши для всех своих, так сказать, подразделений. Отдел художественной литературы, например, занимает несколько комнат в здании Гослитиздата на Ново-Басманной.

Поехал туда. Меня принял заместитель заведующего Н. Мы и раньше уже были знакомы. Он не удивился моему появлению. Да, заявление группы металлургов ему известно. Да, этот документ здесь. Н. пошутил:

— Хотят вас сбить с катушек, Александр Альфредович.

— Так дайте же мне познакомиться.

Он какие-то мгновения, как мне показалось, колебался. Потом в глазах проблеснула игра. Он, видимо, решил.

— Дело в том... Это под грифом «секретно». Дам при условии. Во-первых, не выносить из этой комнаты...

— Пожалуйста. А что же во-вторых?

— Не ссылаться на меня. Не болтать, что я вам дал читать эти материалы.

Сие предисловие выглядело странным. Я сказал:

— Ведь я же автор. Кому же и читать, если не мне?

— Я же не отказываю. Но вот два условия.

— Понятно. Обещаю.

Он открыл сейф — черт возьми, еще и кабинета нет постоянного, а сейф уже тут как тут, — отыскал папку, раскрыл, протянул мне.

— Э,— произнес я,— тут чтения много. Может быть, разрешите пройти в какую-нибудь пустую комнату, чтобы я мог сосредоточиться?

Опять какие-то огоньки мелькнули в карих глазах. Ей-ей, он мне сочувствует. И кажется, готов не столь строго соблюдать неизвестные мне правила.

Он меня повел в большую пустующую комнату — зал заседаний, что ли, — усадил за просторный стол:

— Работайте.

И оставил одного. Я вынул из кармана блокнот, ручку. Стал читать. Вот верхний лист:

«Председателю Комитета по делам печати тов. Романову.

⟨...⟩ Направляю заявление от группы металлургов. Поддерживаю их просьбу.

Председатель Комитета по делам металлургии Бойко. 21.VII.65».

На следующем листе просьба группы металлургов:

«...Просим дать нам возможность ознакомиться через соответствующие организации с романом писателя Бека о металлургах, прежде чем он будет опубликован в печати.

Подписи: *Лемпицкий, Селезнюк, Каблуковский, Семочкин, Джапаридзе, Ксирихи, Ильин, Габриэлян*».

Хм... Вот, значит, как была оформлена выдача цензурой посторонним лицам верстки моего романа. Незаконное дело!

Конечно, за этим стоит вдова. Была настороже. И кто-то вовремя ее оповестил, подал сигнал: верстка в цензуре.

Теперь понятно, почему протест металлургов не переслан в «Новый мир». Это же улика! Кто вам выдал верстку? На каком основании?

Далее читаю обширное, мотивированное требование запретить роман. Подписей уже шестнадцать. Это работники бывшего министерства металлургии. Заносу в блокнот фамилии. ⟨...⟩

Письмо, как уже сказал, обширное. Несколько страниц на машинке. Не сомневаюсь: это рука вдовы. Составляю конспект. Некоторые фразы переносу в блокнот дословно.

Итак:

1. В лице Онисимова выведен Тевосян.

2. Мы ставим вопрос не только о Тевосяне. Роман Бека — клевета на обобщенный образ советского руководителя-коммуниста.

3. Книга не представляет художественной ценности. Копание в личной жизни, смакование подробностей трагической болезни.

4. Издательская критика таких качеств руководителя, как знание дела, строгая государственная дисциплина, трудолюбие, четкость, аккуратность и т. д.

Пропагандируется мелкобуржуазная распушенность, анархизм и отрицание дисциплины.

5. Отрицательные черты Онисимова — хамелеон, замкнут, грубость, черствость.

6. Не обладает никакими подлинно человеческими качествами.

7. С издевкой говорится о партии и партийности.

8. Борьба с троцкизмом представлена обывательски и издевательски.

9. Автор подводит читателя к мысли: кто не подвергся репрессиям — тот недостойный человек.

10. Не показан самоотверженный героический труд советских людей, в результате которого создана мощная металлургическая база.

11. Онисимов любит, чтобы под рукой был человек, с которого можно спустить три шкуры.

12. Отстранение Онисимова от руководящей работы изображается как неизбежный и правильный шаг.

13. Непроверенные факты. Академик Бардин получил выговор по делу Лесных (Ремина), будучи вице-президентом Академии наук, а не заместителем министра.

14. Отчество Тевосяна «Федорович» (вместо «Теваросович») появилось в указе о назначении его заместителем председателя Совета Министров, а не при награждении его званием Героя социалистического труда.

15. Сигареты «Друг» с мордой пса являются как бы параллелью Онисимова, символом.

16. Груб. Добро с ним не вязалось.

17. Крайне отрицательно показана семья и быт крупного советского руководителя-коммуниста. Холодный дом. Отец и мать обеспокоены, узнав, что сын начал читать Ленина.

18. Семейная обстановка трудовых людей подвергается осмеянию и клевете. Весь быт подается в обывательском тоне, рассчитанном на то, чтобы вызвать неприязнь к руководителям.

Автор придумал историю с кусочком масла из спецбуфета по звонку жены.

19. Единственно положительными героями представлены братья Головня (Коробовы).

20. Конфликт между Коробовым-младшим и Тевосяном отошел в прошлое. Но писатель Бек ловко использовал это недовольство Ильи Коробова и на

протяжении всего романа противопоставляет младшего Головню Онисимову (Тевосяну), показывая последнего как душителя всего нового.

21. Между тем металлурги во главе с Тевосяном боролись за технический прогресс.

Особенно велика роль Тевосяна в создании жаропрочных сталей.

22. Мы знаем чуткое, внимательное отношение Тевосяна к запросам, ко всей жизни рабочих.

23. Все товарищи, работавшие с Тевосяном (за исключением Бардина), показаны бледно и, как правило, отрицательно.

Клеветнически изображен секретариат Тевосяна. В особенности вызывает возмущение надуманный факт отказа заведующего секретариатом от поездки с Тевосяном за границу.

24. В общем, образ Тевосяпа выставлен напоказ в искаженном и безобразном виде.

25. Ввод в роман Тевосяна под своей собственной фамилией никого обмануть не может, так как вся биография Онисимова построена на отдельных фактах биографии Тевосяна.

26. Речь идет не об отдельных неправильно отображенных эпизодах, а о всей порочной концепции романа.

27. Это произведение с клеветническим изображением строителей социализма несомненно будет воспринято внутри страны и за рубежом как политическая сенсация.

На этом письмо заканчивается. К нему приложена следующая официальная бумага:

«Председателю Комитета по делам печати

Считаю вредным опубликование этого произведения и прошу принять необходимые меры, чтобы это произведение не появилось в печати. Председатель Комитета по делам металлургии *Бойко*».

Хочу здесь отметить одну любопытную особенность письма шестнадцати. Ни словечка о Сталине. Можно подумать, что этой фигуры вовсе нет в романе. Набрали в рот воды. Почему же? Наверняка по вопросу о Сталине еще нет ясной линии наверху. Вдова-то, думается, осведомлена. И предпочла осторожность.

И вот еще что. Ни одной ошибки по части технологических проблем авторы разгромного письма не указали. Должен сознаться, сие было приятно. Собственно говоря, подписавшие выступают в данном случае не в качестве специалистов металлургического производства, а попросту с критикой произведения, с критикой, о которой может судить каждый, кто прочтет роман. Ну, повоюем.

Однако как же воевать? Это не совсем ясно. Плана пока нет.

В этот же день я созвонился с Николаем Ивановичем Коробовым и поехал вечером к нему домой.

Доменщики Коробовы занимают особенное место в моей писательской жизни. Когда-то я увлекся и отцом (теперь покойным), обер-мастером доменных печей Макеевки, и его сынами. Отчасти именно через Коробовых, полюбив их, я любил и свое время. В младшем — Илье — видел и вижу нашего нового Курако, революционера техники. Частенько навещивался и к старшему — Павлу, который стал жителем Москвы. Он много лет был заместителем наркома металлургии и, относясь ко мне с приязнью, охотно рассказывал, ждал моего романа. Но не суждено было дожидаться. Страдая издавна болезнью сердца, Павел Иванович месяц назад умер. Пишу об этом и сейчас со скорбью.

Хаживал я и к Николаю Ивановичу (Бардин о нем как-то сказал: штабист), занимавшему разные руководящие должности в связанных с металлургией учреждениях, ныне члену коллегии в Комитете по делам металлургии. Он неизменно принимал меня с симпатией, с доброй улыбкой, неторопливо рассказывал, посвящая в скрытые от стороннего глаза всякие прошлые министерские истории. Мне нравилось своеобразие, независимость его оценок, характеристик.

И вот он подписал письмо против моей вещи. Как же могло это произойти?

Николай Иванович встретил меня так, будто ничего не случилось. Опять улыбка, открывавшая белые зубы, смягчавшая очертания тяжеловатой — коробовской — нижней челюсти, выражала благорасположение.

Мы уселись в кабинете. Начался разговор.

— Николай Иванович, как же вы подписали?

Он объяснил. У вас-де в романе получилось противопоставление Тевосяна семье Коробовых. Коробовы написаны с любовью. И уже пошли разговоры, что

Коробовы подзадорили вас написать такой роман, дали вам материал. Поэтому-то, чтобы пресечь такие толки, я и подписал письмо.

— Но роман-то вы читали?

— Мне дали прочесть два отрывка.

— Значит, подписали, не прочитав роман.

Он повторил:

— Дали два отрывка.

— Какие?

— Случай в буфете. И сцена в эвакуации.

— И что же вы там нашли неверного?

Николай Иванович долго думает, вспоминает.

— Да вот. Он едет в эвакуацию в дачном вагоне.

— Но так и бывало. А еще что?

Опять он долго думал. Но так ничего и не ответил.

И припомнил, рассказал один эпизод военных лет, связанный с Павлом Ивановичем и отцом. (Павел Иванович выругал отца, когда тот в 1942 году на Урале принял где-то на заводе подарок — кусок мяса.)

Я вновь вернул его к роману.

— Какие же отступления от исторической истины можете вы указать?

Нет, ничего не указал. Но выдвинул вот какой упрек (видимо, кем-то — не Хвалебновой ли? — сформулированный): в этом романе автор хотел угодить Хрущеву. И стал ругательски ругать Никиту. Обмазал-де дерьмом Сталина (хм, рьяно вступается за Сталина!), и сам оказался в дерьме. Э, мне, значит, еще лепят и угодничество? Ну, вряд ли ко мне это прилипнет.

Вновь припираю:

— Но как же вы могли подписать, не прочтя всей вещи?

— Мне вовсе не хотели показывать это письмо. Считали, что семья Коробовых использовала писателя. Я уже вам объяснял. И чтобы не было этих разговоров, я подписал.

Я покачал головой. Эх, Николай Иванович! Но, с другой стороны, надо его понять. Не удержаться бы, наверное, ему в Комитете, если бы не поставил свою подпись.

Затем Николай Иванович развил еще и такие мысли. Ваш прототип, возможно, был еще во много раз хуже, чем он описан у вас. Однако следовало изобразить его совсем другим. Симпатичным. Обаятельным. Можно дать и некоторые недостатки, но в основе

это должен быть глубоко положительный образ. Так надо для воспитания молодежи.

Грустно было это слушать. Неужели такого рода примитивщина многими усвоена, широко распространена? Сколь же скучна, неинтересна станет литература, если уйдет от исследования нашего общества, заменит исследование подкрашиванием? Не хотелось даже спорить.

С неважным осадком в душе ушел я от Николая Ивановича. <...>

15 сентября

Получил наконец чистую верстку в «Новом мире». Имею достаточное количество экземпляров. Своего рода маленькое первое издание.

Сегодня возобновлю работу над новой повестью. Самочувствие, настроение хорошие.

27 декабря. Малеевка

И вот я опять в Малеевке.

Позади Япония и месяц в Москве после Японии.

К работе не притрагивался. Весь месяц занимался, главным образом, «проталкиванием» романа, а также всякими мелкими делами (рецензия, выступление по радио и т. д.).

Пришлось организовывать обсуждение романа на бюро объединения прозы. Опять пошли в ход верстки, которые ради такого случая предоставил «Новый мир». Но еще надо было проследить, чтобы вещь была прочитана тридцатью — сорока писателями (члены бюро да плюс актив), проследить, чтобы переходила от одного к другому каждая верстка. <...>

Оно наконец состоялось. И увенчалось, скажу, триумфом, какого у меня никогда еще не было. Потом (после обсуждения) говорили, что, когда выступал Каверин, у Бека навернулись слезы. Возможно, так оно и было. Во всяком случае, я был взволнован, растроган.

Здесь успокоюсь, войду в колею работы.

Стенограмма обсуждения — очень весомый документ. <...>

27 декабря

Верится, что новый год будет для нас, для нашей маленькой семьи, хорош! Роман, надеюсь, пробьется. Скоро появится моя книга «Мои герои», недавно

вышла повесть Н., сейчас она садится писать о Японии. В декабрьском номере «Юности» напечатаны стихи Тани. Впервые! Только радоваться ли, что дочка избрала наш путь?

1966 год

7 января. Малеевка

Пишу о Серго. Одновременно обдумываю второй роман об Онисимове. Склоняюсь к тому, чтобы развивать действие не спеша, выложить все, что у меня есть. Писать откровенно, полно, будто это последняя моя книга. Онисимов как историческая фигура, я ее исследую. Сохранять эту интонацию.

Некоторые раздумья насчет образа Пыжова. Многим этот образ (в моей рукописи) очень нравится, у других вызывает возражения, порой острые. Надо ли давать его в новом романе? С одной стороны, соблазнительно. Это еще раз оттенило бы Онисимова. Пришел вместе с Онисимовым чистый, талантливый, благородный человек. Человек-красавец. И что с ним сделала жизнь? Вымазался в грязи и в крови. Душевный мир — клоака. Кончает с собой.

Но опять, возможно, пойдут нарекания. И много работы. И узнавание будет облегчено.

И все-таки хочется о нем написать, — мне кажется, что я понимаю его. Посмотрим, посмотрим, как это будет получаться. Отступаться, может быть, не следует.

21 января. Малеевка

Записка от Н. Звонил Рыбаков, передал, что был в «Новом мире», там ему сказали, что роман Бека идет в третьем номере.

27 января

Три дня пробыл в Москве.

Вносил вместе с редакцией последние поправки в роман. Решено давать начало (полос тридцать) в третьем номере.

Евгений Герасимов преисполнен оптимизма. Говорит:

— Решил бросить редакционную работу. Но, пока не напечатаем ваш роман, не уйду.

Я предпочел выразиться неопределенно:

— Посмотрим, посмотрим, что нас ожидает.

Но в душе тоже верю в счастливый исход, хотя узнал, что уже и маршал Василевский куда-то обратился с протестом против романа (дочь Тевосяна замужем за сыном Василевского).

Конечно, сопротивление еще встретится. Надеюсь, одолеем.

А пока работать над следующей вещью! Что я и делаю.

19 февраля

Все эти дни хорошо работал.

Но вот неприятная новость. Вчера мне позвонила Ася Берзер (из «Нового мира»). Оказывается, цензура не подписала номер с моей вещью. Предлог — необходимо провести совещание с металлургами.

Это, конечно, выбило меня из колеи. Боюсь, опять будет суета.

Еще не знаю, как буду себя вести.

Но, главное, мне хочется писать и писать новую вещь. И сделать так, чтобы меня из нее не выбили. Постараюсь оберечь свою работу. Послезавтра, в понедельник, еду в Москву.

28 марта. Малеевка

Вот я опять в Малеевке (на этот раз вместе с Н.).

Здесь сразу почувствовал себя лучше, а то в Москве все время мне трепали нервы. Готовились вместе с редакцией к разговору с металлургами, но потом это было отменено: пройдет съезд партии и тогда все будет видней.

Из важных для меня событий опишу встречу писателей с Н. А. Михайловым. Он был когда-то секретарем ЦК комсомола, затем дипломатом (нашим послом в Индонезии), ныне управляет недавно учрежденным Комитетом (уже называющимся не «по делам печати», а просто «по печати»). Для своего возраста Михайлов несколько излишне полноват, усвоил за многие, видимо, годы некую манеру «большого лица», какой-то оттенок важности.

Он рассказывал о деятельности комитета, потом отвечал на вопросы-записки. Среди них оказалась и такая: «Почему запрещен роман А. Бека «Новое назначение?»»

Михайлов ответил так:

— Кто вам сказал, что роман Бека запрещен? Этот роман никогда и никем не запрещался. Он лишь не разрешен.

Раздались смешки, чей-то хохот, выкрики (встреча происходила в Малом зале, где чувствуешь себя вольнее, чем в Большом). Михайлов слегка покраснел. И продолжал:

— Да, роман еще рассматривается. И Комитет по печати, коль скоро идет о нем речь, с чувством особой доброжелательности относится к этому роману. Однако есть возражения металлургов. Они указывают, что там изображен Тевосян. Мне два дня назад звонил по этому поводу заместитель министра черной металлургии Бойко. Вместе с тем роман горячо поддерживает академик-металлург Целиков. Надо еще все взвесить, подумать.

Гул неодобрения. Чей-то возглас:

— Надо напечатать. И тогда спорить.

Михайлов:

— Почему вы говорите об этом с таким раздражением? Тут торопливость ни к чему.

Из зала:

— Сидите сложа руки?

Михайлов:

— Все нет. Не далее как вчера мы у себя говорили, что было бы хорошо потолковать еще раз с товарищем Бекем об этой рукописи.

Тут вскочил Эмиль Львович Миндлин — седой, толстый, возмущенный. И, что называется, не помня себя, высоким срывающимся голосом выпалил:

— До каких пор будет продолжаться это безобразие? До каких пор будут сидеть на голове у писателя? Чудовищно! Стыдно!

Михайлов опять покраснел, но сохранил самообладание. Ответил:

— Думаю, я ничего не сказал такого, что можно было бы рассматривать как чудовищное. Думаю, что вы это сказали сгоряча, в состоянии запальчивости. <...>

Потом еще говорила в связи с романом Маргарита Алигер, говорила хорошо.

— Николай Александрович, если один академик пишет, что ему чрезвычайно понравился роман, а некоторые другие, наоборот, утверждают, что книга им очень не понравилась, то почему вы исключаете воз-

можность спора? Ведь для того, чтобы сложилось мнение относительно книги, она должна жить. Пусть товарищи выступят с критикой напечатанного произведения. Разве им откажут в опубликовании критического и даже резко критического выступления? Спор в печати тут сам собой напрашивается. Почему от этого надо уклоняться?

Я слушал Алигер и тоже вопрошал мысленно: да, почему же, почему?

21 мая. Москва

Приехав в Москву, пошел вчера по своим делам.

Оказалось, что «Новый мир» поставил в пятый номер и повесть Катаева, и тридцать полос моего романа.

Катаев, как выразился Кондратович, принес жертву. Он явился в редакцию (из ЦК) после разговора с Пенкиным и вычеркнул четыре полосы из своей повести.

С моим романом у Пенкина, к счастью, обернулось по-иному. Жертвоприношения опасны. Очень опасно трогать, а тем более выбрасывать, вырезать жизненные центры произведения. Ежели встанет так вопрос, не соглашусь на это,— и там будь что будет.

Итак, начало романа в номере (включая сцену в метро).

И уже вся Москва знает, что роман идет в пятом номере «Нового мира», что роман разрешен и т. д. Просто поразителен интерес к нему, к тому, что с ним совершается. Все происходит словно бы под стеклянным колпаком — очень невыгодная ситуация для вдовы и иже с ней. <...>

Еще и в АПН (агентство печати «Новости») берут мою вещь для издания за границей. Прочитали все, кто составляет там «головку». Обсудили на заседании правления. И постановили: принять для заграничного издания. Теперь только ждут разрешительного грифа цензуры.

А пока — спокойствие, терпение. Ничем, кажется, помочь я не могу.

26 мая

Позавчера, 24-го, мне позвонил Рыбаков:

— Поздравляю. Вчера я был в «Новом мире», и как раз Кондратович вернулся из цензуры. И повесть

Катаева, и ваш роман подписаны. Все, кто был в редакции, встретили это известие аплодисментами.

И вот по Москве сразу же разнеслась эта новость. Уже десятки людей знают: вещь Бека разрешена, идет в пятом номере. Поздравляют меня. Я отвечаю:

— Еще рано. Поздравляйте тогда, когда журнал с моим романом появится в продаже.

И шучу:

— Мы же советские люди. <...>

«Новый мир» решил печатать роман в трех номерах, чтобы, как выразился Кондратович, «продлить удовольствие».

В общем, это будет просто чудо, когда роман наконец появится.

6 июня

Снова в Малеевке.

Одна дама здесь меня спросила:

— А. А., можно вас поздравить?

Я сказал:

— Еще рано. Пока только родовые схватки. <...>

В АПН всюду идет перевод на итальянский, привлечен переводчик-итальянец, дают исключительное право (эксклюзив) издательству Эйнауди. Наверное, к 15 июня перевод будет готов и уйдет в Италию. Предисловие заказано Юрию Домбровскому, его роман «Хранитель древностей» популярен в Италии.

Все пока ладится. Работаю. Проживу здесь до 15—20 августа. На июль приедет Н., и будет наезжать Таня, которая сейчас хорошо сдает экзамены в университет. 3-го сентября отправимся в туристское путешествие в Западную Германию, а потом в Грузию.

13 июня

9 июня, приблизительно в половине второго, меня здесь, в Малеевке, позвали к телефону.

Я знал, что 10-го номер «Нового мира» пойдет в машину. И ждал этого дня. Ждал не без тревоги. Цензура разрешила (подписала) мой роман 23-го мая. А машины в типографии заняты. Значит, надо ждать 17—18 дней. Не случится ли что-нибудь за этот срок? Вдруг опять кто-либо вмешается?

Дважды мне звонили в Малеевку из Москвы. И каждый раз, идя к телефону, я думал: вот оно, неприятное сообщение из «Нового мира». Но нет, это были

деловые звонки из других редакций («Пионер» и «Вопросы литературы»). Думалось, что и этот звонок, 9-го, тоже окажется каким-то в этом роде.

Но чаша все же меня не миновала. Звонили-таки из «Нового мира». Говорил Кондратович:

— Александр Альфредович, неприятная новость. Меня сегодня вызвал А. и заявил, что цензура аннулирует разрешение, которое дано на ваш роман. <...>

Ночью я не спал. Думал, прикидывал: что же делать? Неужели обречен на полное бессилье? Обращаться с письмом в ЦК? Но именно этого и хотели бы противники романа: передать вопрос еще в одну инстанцию, начать новое рассмотрение. И я лишь сыграю им на руку, если обращусь с жалобой, которая обернется затяжкой.

Что же предпринять? По всем признакам весы еще колеблются, надо лишь бросить еще гирьку на свою сторону, и перетянем. Но какую же гирьку? Неужели я совсем-совсем беспомощен?

И пришла мысль: объявить голодовку, так называемую смертельную голодовку. Требование у меня единственное: восстановить разрешение цензуры на публикацию романа в пятом номере. <...>

16 июля

Итак, приехал в редакцию. Кондратович уже вернулся из ЦК. Встретил меня словами:

— Сняли роман.

И рассказал подробности. Его вызвал инструктор — тот самый, кто курирует журнал, — и сообщил, что есть указание (или даже решение) снять роман.

— Почему? — спросил Кондратович. — Какая мотивировка?

— Ничего не могу вам сказать. Надо снять, и все.

— Я пойду тогда к Шауро.

— Зачем? Шауро за роман. Вопрос решается выше.

У Кондратовича сложилось впечатление, что указание исходит от секретариата или согласовано с самыми большими людьми. Он думает, что решено вообще роман не печатать, хотя инструктор и сказал, что недели через две будет что-то окончательней и, может быть, роман еще пойдет. Кондратович это воспринял лишь как утешительные слова.

Тут в комнату Кондратовича вошел Твардовский — хорошо одетый, благостно-седой, розовый, отлично

выглядевший. Узнав новость, помрачнел. Все мы (и Кондратович, и Закс, и он сам) пошли в его кабинет. Кондратович опять пересказал подробности. Твардовский выговорил:

— Что же они мнят?

Кондратович повторил свои предположения. Потом я рассказал, как ко мне вернулась язва желудка, которую считал давно излеченной, вернулась, когда узнал, что разрешение цензуры аннулировано. Твардовский по этому поводу припомнил деревенскую неприличную частушку. Невесело посмеялись.

Решили, что надо определить позицию Союза писателей, и, если эта позиция будет твердой, тогда еще можно бороться. Я сказал:

— Они очень твердо держатся.

Трифоныч искоса на меня посмотрел:

— Не будь ребенком.

Посоветовал мне послать короткое, на полстраницы, письмо Брежневу.

— Обратись к нему с достоинством. Леонид Ильич, как же можно дальше писать, дальше работать? Иди в другую комнату и сейчас же напиши.

— Нет, я так не делаю. Надо обдумать, посоветоваться с женой. Такие вещи нельзя делать наспех.

— Но надо сделать именно теперь. Не теряя времени. Не позже как завтра.

— Ладно. Составлю, хотя ни на что не рассчитываю.

Потом я еще сказал:

— Слава богу, что все ясно. Теперь засяду года на три за новый роман. Принесу через три года в редакцию, и опять начнется кошмар.

— Вот именно.

Далее я изложил свои дела в АПН. Роман передан иностранцу для перевода. Издательство Эйнауди и римский еженедельник усиленно интересуются. Этому Твардовский придавал значение:

— Да, если там роман уже объявлен, сие важно.

Еще пошутили, посмеялись. Я распростился.

Еду в Союз.

<...> Прибодренный, я снова поехал в «Новый мир». Опять пришел в кабинет Твардовского. Все рассказал. Здесь настроение тоже поднялось. Трифоныч стал шутить веселее. Высмеивал мысль о голодовке.

Передал, что Симонов, узнав, что я объявляю голодовку, высказался так:

— Я тоже заканчиваю сейчас очень рискованную вещь. И, если не напечатают, заявлю: «Перестаю пить. Ни рюмки водки, ни стакана вина, даже к пиву не притронусь, пока не напечатают. Пусть-ка призадумаются».

И Твардовский хохотал. Обо мне сказал:

— Бек необыкновенно хитер. Но в нем есть и простодушие.

Я ответил:

— В этом-то и состоит мое особенное обаяние.

И опять все, кто присутствовал, захохотали (чуть-чуть, пожалуй, подлаживаясь к своему великому редактору).

19 июля

Сначала один пропущенный эпизод.

Кажется, я уже записал, что АПН поручило Юрию Домбровскому дать вступительную статью к моему роману для итальянского издания. Домбровский очень умный, проницательный, талантливый и отважный человек. Худошав почти до невероятия. Смуглое лицо будто обуглено. Неизменно вдохновлен. С ним приятно разговаривать. Он делился со мной размышлениями насчет вступительной статьи. Надо написать так, чтобы заинтересовать читателя, но это у нас вряд ли пропустят. Если же написать по-нашему, то этим отпугнешь заграничного читателя. Как быть?

И наконец он нашел решение. Во-первых, это роман, проливающий свет на трагедию Фадеева. Во-вторых, Бек — писатель, против которого восстают его прототипы. И что-то еще тоже завлекательное. Как-то при встрече он мне это выложил. Думаю, он подаст все это интересно, живо. <...>

Ну, возвращаюсь к последовательным записям.

Итак, вечером 17-го я выехал, едва успев приехать, из Малеевки в Москву, чтобы 18-го утром прийти к Мелентьеву в ЦК.

В поезде обдумывал, как вести себя у него, какую занять позицию. Записывал синим карандашом свои мысли (в этой же тетради на последних страницах). Вот кое-что:

«Мы, писатели, не можем разрешить этого грубого вмешательства вдов, пользующихся связями, затевающих

интриги. Действуют какие-то избегающие гласности закулисные силы. Нарушается законность. Пусть металлурги выступят в печати перед общественностью. Споры нужны литературе. Предложите редакции «Нового мира» опубликовать вслед за романом критическое выступление металлургов, самое резкое. Я сделал все поправки, предложенные в Союзе писателей и в Комитете по печати. Роман трижды редактировался. Надо когда-то поставить точку. Подвести черту».

Решил, что принципиально не буду делать новых значительных поправок. Но не начинать с этого разговор, а подвести к этому.

Приехал домой. Рассказал Н. свой план. Она сразу перебила:

— Никаких «принципиально». Держись иного. Ты доведен до такого состояния, когда новое редактирование тебе уже не по силам. Обессилен. И это чистая правда. Уже не видишь свою вещь. И можешь ее испортить.

Я сразу согласился. Да, в этом сермяжная правда. И записал для предстоящего разговора:

«Я доведен, измотан. Настолько измучен, что физически не могу больше редактировать. Состарился. Болит язва. В редактировании наступает момент, когда художник больше не видит свою вещь. Я теперь в таком состоянии, что просто художественно испорчу свое произведение, если снова возьмусь за поправки. Портить не буду. Предпочту, чтобы роман не был напечатан».

Утром побрился, оделся в «международный» костюм, поехал.

Маленькая деталь: случайно вышло так, что меня подвез один из соседей по дому. И по дороге сказал:

— Человеку, который со мной едет, я приношу удачу. Если жена отправляется за какими-нибудь серьезными покупками одна, ничего не купит. Или купит не то. Просит меня: подвези. И тогда обязательно удача.

Черт побери, уже и приметам начинаю верить. Действительно, доведен. <...>

14 июля

Позавчера вернулись из Малеевки в Москву.

Последнюю неделю я болел. <...> Возможно, и болезнь эта вызвана моими мытарствами, вдовой: довела!

Итак, что нового?

Оказывается, в римском еженедельнике «Эспрессо» помещена статья Дивио Дзанетти, недавно побывавшего в Москве. Целая главка в этой статье отведена моему роману. В Москве-де циркулирует еще не опубликованный роман Александра Бека «Новое назначение». В этом романе говорится о Тевосяне, который стал после смерти Орджоникидзе министром металлургии. Когда-то крупный революционер, Тевосян превратился в служащего. В романе-де описано самоубийство Орджоникидзе. Автор показывает, как происходят в условиях пролетарской революции такие превращения, какое случилось с Тевосяном. Далее Дзанетти пересказывает сцену в метро. Причем многое перевирает; раннее утро заменил вечер, появилась откуда-то площадь Пушкина. Видно, что он романа не читал, а пользовался чьей-то информацией. Я, разумеется, с ним не встречался.

Кроме того, из Италии идут телеграммы, адресованные АПН. Одна от какого-то издательского деятеля, другая от «самого» Эйнаути. Они обеспокоены, почему задерживается высылка моего романа, уже переведенного на итальянский. Нервничает, как мне сказали, и переводчик. Это горячий неаполитанец, он грозит, что сам передаст итальянскому издательству свой перевод.

Таким образом мы вползаем в международную литературную непристойность. Статья Дзанетти — первый звоночек. <...>

19 августа

Завтра уезжаю из Малеевки. «Роман сдан в редакцию» писать бросил. Не получилось. Слишком подробно, слишком «художественно». Нужно несравненно суше, более бегло. Не для широкого читателя.

Может быть, приступлю позже еще раз.

Хочу вновь заняться второй книгой «Онисимова».

Насчет печатания первой пока никаких новостей.

А пора бы!

21 августа

Сейчас с аппетитом сажусь за вторую книгу своей главной вещи. Это все более или менее выкристаллизовывалось. Закончу эту книгу маем — июнем 1923 года.

Главная «свежати́на» — все, от Ст<алина> до Тр<оцкого>, предали Ленина. И на 12-м съезде. И до этого. Как-то вдруг стал виден конец этой очередной книги. Об оппозициях там еще не будет и речи.

А 12-й съезд, грузинское дело, Сталин — Ленин — тут еще не сложилось никакой традиции. Это можно будет дать с надеждой на напечатание.

Узнал о письме в губкомы, подписанном всеми членами Политбюро (и даже членами ЦК), письмо, в котором был предан Ленин.

В этом гвоздь книги.

Сегодня вновь принимаюсь за нее. <...>

23 октября

Вот и еще месяц прошел. Я побывал в Тбилиси, провел там много бесед с Кавтарадзе. Это большая для меня удача, он дал мне немало черточек для образа Ст<алина>. Так и сказал: на земном шаре теперь нет человека, который знал бы о нем больше, чем я.

Были и еще интересные беседы. В общем, поездка получилась удачной.

После возвращения пришлось заниматься многими мелкими делами (верстка «Мои герои», разные доделки в пьесе, правка рассказа «Серго в Баку» и т. д.).

И только сегодня наконец сажусь вновь за роман. Хочу поработать вплотную. Возникает заглавие: «Власть». Впрочем, оно звучит очень уж вызывающе.

О «Новом назначении» ничего записать не могу. Положение прежнее: роман пребывает где-то на самом верху. И окончательного решения все еще нет. Что же, буду терпелив. Иного ничего не остается. Ждать и работать — вот моя программа.

Малеевка, 29 октября

Вчера приехал в Малеевку. Хочу здесь основательно поработать.

Первая задача — найти интонацию нового романа. Кажется, в мыслях я уже ее нашел. Это тон рассказа из современности. Тон нынешнего — 60-х годов — человека, повествующего для потомства. Посмотрим, как это ляжет на бумагу.

12 ноября

Сижу в Малеевке, пишу новый роман. Пока остановился на заглавии «Последние годы» (это последние годы жизни Ленина).

Работой доволен. Каждый день отстукиваю страницу. Сажу за столом по четыре с половиной часа, потом час-полтора читаю по-немецки.

Уже верится, что Вещь выйдет.

1967 год

1 апреля. Малеевка

Опять удрал из Москвы в Малеевку.

План такой—месяцев шесть неотрывно поработать над романом. Затем осенью поехать на месяц в Грузию и Баку, пошуровать там и затем снова погрузиться в писание.

В Москве пробыл месяц, хорошо поработал,—но не писал, а читал в библиотеках и дома, и провел довольно много интересных бесед (в частности, с Л. Фотиевой, с Шатуновской, с некоторыми родственниками Кобы). Счастлив, что мне доступен материал, который никому не доступен за рубежом, да и у нас лежит втуне.

12 апреля

Усердно работаю. И более или менее доволен страничками, которые здесь сделал. Теперь на очереди ответственная главка: Коба со своей первой женой. Замысел: она — раба, и в этом находит свое призвание, свое счастье. Посмотрим, как это у меня получится.

8 июня

Сейчас работаю над рассказом Дыбца для моей «Почтовой прозы». Через неделю, наверное, все закончу.

И тогда вернусь к своему *главному герою*.

И буду спокойненько писать, выкладывая всю страсть, все, чем владею, на бумагу.

28 июня

Решил заново перебелить роман. Надо найти иную общую интонацию,—чтобы автор стоял как бы вне того, о чем он пишет, смотрел бы с некоей вышки. И соответствующий тон вдумчивого анализа, некой эпической отстраненности надо найти. И никакого умиления!

Беру машинку и усаживаюсь.

9 июля

Хочу втянуться наконец в работу, в роман. Я от него изрядно оторвался.

Сейчас у меня на очереди глава, в которой впервые появляется Ленин. Кажется, выношена. Дам сразу его коллизию: класс и нация. Это, надеюсь, введет в проблематику вещи. Конечно, все это не в лоб, а где-то как бы будет просвечивать.

Завтра-послезавтра начну писать.

А сейчас подготовка. Разгончик. Сейчас меня интересует Нечаев в связи с тем, что в архиве другого моего героя (Кобы) было найдено после его смерти дело Нечаева. Эту ниточку я думаю вытянуть. Достал интересные материалы.

Теперь некоторые новости: и мои, и не мои.

Мне передали, что в итальянской газете «Джорно» («День») не то уже появилась, не то должна сегодня-завтра появиться большая статья о моем романе.

Жду ее с интересом. Посмотрим, будет ли она иметь какое-либо действие.

Предугадываю, что в Италии, наверное, раньше или позже, выйдет мой роман. Это мне предсказала Н. Ведь перевод-то уже сделан здесь, в Москве. А переводчик Мариано собирается вскоре совсем Москву покинуть. Не надо особой проницательности, чтобы понять, как он поступит.

5 августа

Хорошо работаю. Доволен работой.

Наконец-то в эти дни я обрел, уяснил концепцию романа (над которым уже столь долго тружусь):

он ее создал, а она потом его же сожрала,

а затем и самое себя.

Концепция, как мне кажется, очень интересная. Дает возможность оживить всякие омертвевшие аксиомы, возвратить им новое содержание, звучание.

Это незаметная (которая вся уйдет в подтекст), но важная, крайне важная — возможно решающая для романа — находка. Отмечаю ее.

17 августа

Позавчера случайная встреча с Твардовским.

Было около пяти часов дня. Выхожу из ЦДЛ: вижу, на остановке такси на площади первым в очереди стоит Тв. Лицо убоготворенное, красноватое (оказы-

вается, он читал свои стихи в редакции «Юности», затем посидел в ресторане с Полевым). Подхожу. Душевно здороваемся. Перекинулись парой фраз, подходит такси.

— Ты в Пахру?

— Нет, хочу сначала заехать в редакцию.

— Тогда, если не возражаешь, и я с тобой. Потом на этом же такси домой.

— Садись.

Мы сели. Он рядом с шофером, я — сзади.

И за десять — двенадцать минут езды славно поговорили. Он спросил, над чем я работаю. Я сказал:

— Роман к столетию со дня рождения Ленина. Напишу вовремя, но выйдет, наверное, к столетию.

Он еще поинтересовался романом, потом повернулся ко мне всем корпусом:

— Вот какая странная, какая неистребимая вещь — литература. Все настоящее живет, воскресает через 20—30 лет. Топтали, уничтожали Бабеля, Платонова, Булгакова. А они живы. Неопубликованные вещи печатаются. За Платоновым сейчас все листочки подбирают, которых он пером коснулся. А где те, которые жали, разоблачали, истребляли этих писателей? Никто о них не помнит, и имена их никому не ведомы.

Потом опять как-то разговор перешел на мой будущий роман.

— Но только не давай мысли и переживания Ленина. Это литературе запрещено. Возьми Пушкина или Толстого. Гринева Пушкин и так и этак открывает, а с Пугачевым иначе. Или для Толстого и Наполеон и Кутузов — куклы. Только внешнее описание. Это закон литературы. Нельзя писать: Ленин подумал... Казакевич это переступил и был наказан неудачей.

Я немного заступился за Каз<акевича> — он-де имеет заслугу как экспериментатор, хотя эксперимент действительно кончился неудачей (потом уже я подумал, что Тв. имеет в виду не только Казакевича, но и Солженицына, который в «Круге первом» дает изнутри Сталина. Этого Твардовский, наверное, не приемлет).

Он спросил:

— Читал Драбкину?

— Да.

— Как ты считаешь?

— Написано не в полный голос. Робковато. И она идет в поправках на усиление этой робости.

— Но вещь-то благородная.

— Конечно. Я всей душой желаю ей опубликования.

Потом я спросил, как с моим романом, анонсируют ли они его.

Твардовский еще больше перегнулся ко мне, и глаза стали хитрыми:

— Даем в анонсе. А как же не давать? Тогда, значит, роман запрещен. А у нас запретов нет. И цензура (еще хитрей стало красноватое широкое лицо) ведь не запрещает. И надо кончать разговоры о запретах.

Подъезжаем к «Н. м.» Он достает кошелек.

— Зачем? Я расплачусь.

— Расплатись. И я дам. Пусть получит водитель, раз ему повезло иметь двух пассажиров.

Вышел из машины.

— Ну, я рад,— сказал он,— что ты в хорошей рабочей форме. А насчет твоего романа... Кое-что наклевывается. Но не хочу тебя обнадеживать, потому что это уже наклеывается почти год.

На этом мы простились.

13 сентября

Отвлекаю от романа. Написал три страницы в юбилейный номер «Нового мира». Очень дорого мне обходятся такие отвлечения. На три страницы затратил четыре дня. Переключиться, обдумать, написать, отшлифовать — все это мне дается нелегко.

По радио каждый вечер слушаю мемуары С. А (Лилуевой). Крупное событие, во многих аспектах крупное. Его последствия сейчас вряд ли можно предвидеть. Записываю, слушаю. Там есть черточки, очень нужные мне. Это для меня тоже работа над романом.

4 октября. Малеевка

Сегодня уезжаю в Москву. В Малеевке поработал хорошо. Очень доволен. Сделал большую вставку (на лист): ввод Ленина. Это была трудная задача.

И закончил бакинский период Кобы — две главы, в которых дана его первая жена. Тоже трудноватое дело. И с тем, и с другим, кажется, справился. В общем, задача, которую я себе поставил в эту мою бытность в Малеевке, исполнена. Очень доволен.

Хочется таким же ровным шагом работать и в Москве. Буду стараться.

О предыдущем своем романе вовсе и не думаю. Великое дело — работа, спасает от суеты, от растрavляющих переживаний.

Роман уже сделал для меня немало, уже так или иначе вошел в литературу, стал фактом истории советской литературы. Ну и баста! А там будь что будет!

14 декабря

Усердно работал над романом. Закончил раздел: «Семья Аллилуевых и Коба».

Теперь подошел к разделу «Коба в 1917 году». Не легко построить эти главы. Но сделаю. На этом конец «петли». Затем свидание Каурова и Кобы в Александровском саду в 1920 г. И первая часть будет закончена. Придется, наверное, над этим поработать месяц.

Вторую часть буду делать, главным образом, из уже написанного: Руся, Онисимов, Берия. И конечно, Коба. Далее — болезнь Ленина. Хорошо бы все оставшееся уложить в одну, третью, часть.

1968 год

13 января

Я в Малеевке. Приехал вчера. Сегодня со вкусом и аппетитом принимаюсь за работу. Идут очень важные главы.

В эти дни родилась у меня концепция — «Ленин как» Дон Кихот русской революции. Чувствую: в ней много плодотворного.

За дело!

9 марта

С 1 по 7 марта был в Ленинграде (дискуссия по военному роману в Комарово и работа в архиве).

В архиве нашел интересные материалы — и о семье Алл<илуевых>, и, главное, лекции д-ра Осипова, который лечил В. И. Ленина.

2 июля

В «Новом мире» — без перемен. Пятый номер лежит. Лежит в виде отпечатанных листов, ожидая брошюровки или, вернее, ножа.

Наверное, такое положение тянется уже месяц.

Таким образом, журнал умирает (или, как выразился Твардовский в разговоре с Рыбаковым, угасает). Никаких решений о журнале не принято, он не закрыт. Твардовский не снят, а номера не выходят. Весьма вероятно, что после четвертого ни один номер так и не выйдет. Это будет вполне в нашем стиле.

Что же мне делать с романом? <...>

По-прежнему работаю над новой вещью.

18 июля, четверг

Вчера похороны Паустовского. Народу — много. На улице перед подъездом толпа. Идут и идут люди мимо гроба, поставленного на сцене в большом зале.

Митинг был очень плохой. Говорили Сартаков, Алексеев, Шкловский (он выкрикнул свое слово, маленькое, одноминутное). Была явная боязнь, как бы после официального митинга не начались бы стихийные, непредусмотренные речи. Что-то вроде этого и началось. Но публику настоятельно просили выйти.

14 августа

Начинаю новую тетрадь. Не совпадает ли это с началом какого-то нового этапа в нашей литературе, в нашей жизни? И какого? Хорошего или плохого? И, может быть, продлится прежняя томительная неопределенность. Говорю это о «Новом мире». Пока что она продолжается.

Запишу кое-что мне известное. <...>

19 июля у Трифоныча начался запой. Он крепился, крепился, ожидая встречи с Брежневым. А тем временем все накалялись наши отношения с Чехословакией. Дело явно шло к вторжению. Маневры, задержка вывода войск из Чехословакии, варшавское письмо — оно было опубликовано 18-го. Это письмо было по сути чуть завуалированным ультиматумом, а также призывом к сторонникам Новотного: организуйте какой-нибудь комитетик спасения революции, обратитесь к нам! Вторжение висело на волоске.

19-го Ш. приехала в Пахру. Обед. <...> Пришел Трифоныч, уже слегка в подпитии. Сел за стол и, не принимая участия в общем разговоре, безразличный к нему, отдавался своим думам и время от времени делился с Ш., которая сидела рядом. И эти его думы были прикованы к Чехословакии: «Боже, неужели же

решимся? Боже, что же делается? Готовы из-за цензуры вступить в войну. Это впервые в истории происходит».

И еще говорил о похоронах Паустовского: «Только умер, а те, кого он ненавидел, уже тащат его к себе. Уже Мих. Алексеев выступает над гробом. Умрешь — и с тобой сделают то же. Хоть бы пожить подольше. (...) И начался тяжелейший запой».

Вчера я, будучи в Москве, зашел в «Новый мир». Потом, отдавая себе отчет, я понял, что ощутил там какое-то запустение. Ни одного автора! Тишина и словно ожидание. Чего? Конца или какого-то нового начала.

Сперва поговорил с Дорошем. Его вещь «Иван Федорович уходит на пенсию» не пропущена. Сказал: «Я уже начал ее портить, кое-что сделал ради цензуры». О шестом номере он сказал: «Проза подписана». — «А другие отделы?» — «Другие еще нет». — «А что будет?» Он ответил: «По-моему, будет тянуться такая же неопределенность».

Я пошел наверх. В редакции был Твардовский. Заглянул к нему. Он встретил меня приветливо. От запоя уже почти не осталось следов. Почти. Лишь глаза еще были белесыми, это с ними делает алкоголь. К нему потом сошлись Лакшин, Кондратович и Хитров. Разговор стал общим.

О чем говорили? Как-то сразу разговор перешел на Чехословакию.

Я сказал: «Мы, марксисты, — всегда оптимисты. Нет вторжения — хорошо. Было бы вторжение — тоже хорошо».

Он сразу это принял близко к сердцу, стал серьезным.

— Почему?

— Были бы сброшены все маски.

— Нет, нет. Ради этого нельзя. Было бы плохо.

И вступил Лакшин:

— Чем хуже, тем лучше — это неправильно. Нельзя это принимать.

И Твардовский соглашался. Они, очевидно, об этом много говорили.

Потом заговорили о Быкове. Я сказал, что мне понравилось. Тв. оживленно поддержал:

— Видишь, сколько писали о войне, а Быков все же сумел написать по-своему.

Кто-то из присутствующих вставил:

— А своим-то романом вы не интересуетесь?

— Не интересуюсь. Он уже многое мне дал. Вошел в литературу. И я уже увлечен новой вещью.

Тут вошла секретарша:

— А. Т., вам звонит Б., ваш знакомый.

Тв. взял трубку. Лицо изменилось, стало несколько замкнутым, потеряло оживленность.

— Да, да, приходите. Буду ждать.

И он подробно объяснил, как найти редакцию. Очевидно, говорил с провинциалом.

Я хотел уйти, но еще задержался.

— Над чем работаешь? — спросил он.

Я привстал, склонился к его уху:

— Пишу роман. Исследую отношения Л(енина) и Сталина.

Он опять стал живым, живо реагирующим:

— Сталин ненавидел Ленина. Могут совсем его затоптать, но я увидел в дни смерти Ленина, что народ его принял сердцем. Жил в сердце народа.

— Еще бы. Плакали.

— Да. Ненавидел. Но взял в свою игру. Разбил на параграфы.

Я сказал, что у меня будет сцена, как Сталин брил Ленина:

«— Под орех разделаю. Сами себя не узнаете».

— О, это надо дать как бы ненароком. Без нажима. Без символики. И будет то, о чем я говорю: с искусством ничего не сделаешь. Не понимают, как много может искусство.

— Работаю с увлечением.

Он опять живо и проникновенно откликнулся.

— Если можешь работать с увлечением, то ничто не страшно.

И повторил:

— Если можешь творчески работать, ничто не страшно.

Очевидно, это очень важно для него.

На этом и расстались. Когда-то и каким еще его увижу?!

Всё в эти дни (или недели) решается.

Сегодня я опять сел за работу. Предстоит новый, большой, очень важный для работы кусок. Сталин и Ленин в июле и августе 1917-го. Или как я называю этот кусок: «У Аллилуевых».

А потом уже будет близок и конец первой книги.

21 августа

Вернулся к своей работе. Кусок «Ленин и Коба в июле 17 г.» напишу пока бегло — надо еще поработать над материалами — и пойду дальше.

Между прочим, придется ввести и Зиновьева. Ведь он тоже, оказывается, — из печати это потом вытравили — был с Лениным на квартире Аллилуевых. Для меня это кстати — в таком контрасте можно нагляднее показать положение Кобы.

Сейчас узнал, что наши войска вошли в Чехословакию. А ведь не верилось, что это может случиться.

Важное событие! Чреватое.

Об этом передали сегодня по радио в 8 часов утра, затем в 10, затем в 12. Газет здесь, в Барвихе, до сих пор нет.

Вот так сдвиг!

27 августа, вторник

Итак, минула неделя. Всю эту неделю не мог работать. Да только ли я один?

Вчера были в Москве, встретились на четверть часа с Ш. Она рассказала кое-что важное.

Во-первых, о Твардовском. Он в Пахре уже в понедельник пошел куда-то с чемоданчиком и принес домой полный чемоданчик водки. Этого еще никогда с ним не бывало — запасов водки в предвидении (или предчувствии) запоя он никогда не делал, а ходил по дачам, по знакомым, и ему подносили (или выносили). «Бывает, что собака предчувствует бедствие, — сказала Ш. — Так, наверное, было и с ним».

В среду утром, около 9 часов, он постучал ей в окно:

— Ш., вставайте.

— Да что вы? Уходите. Я хочу поспать.

— Вставайте. Произошло что-то ужасное. Наши войска вступили в Чехословакию.

Она быстро оделась, вышла к нему. Он сидел на скамеечке у дома — еще почти трезвый. Она вышла и вынесла ему граммов 60 водки и кусок черного хлеба (как дворнику, прибавила она).

— Вторжение.

Она ответила:

— Что же, это полное обнажение и заголение.

Он почти простонал:

— Ой, какие ужасные слова вы говорите.

Выпил и заплакал. И начался опять запой (который длится и по сей день). Он пьет и плачет. <...>

Мы, конечно, потеряли чертовски много. 21 августа 1968 года так и останется в истории глубокой метой. На глазах идет драма.

Я уже возвращаюсь мыслью к своей работе. Попробую сегодня немного поработать, начну втягиваться.

Это мой долг, это выход для меня — писать свой роман.

Но вот что еще было тяжело в эти дни — так называемые простые люди (даже полуинтеллигенты, инженеры и т. д.) с поражающей тупостью реагировали на события.

Пожалуй, это самое тяжелое. Что-то сделалось с нашим народом. И, вероятно, надолго.

Но хорошо у нас в семье: я, Н., Таня — все мы едины и дружны.

29 августа

Мысли постепенно возвращаются к работе. Что же, теперь мы по крайней мере знаем, с кем имеем дело.

И роман мой нужен. Ведь его тема: с чего это началось?

11 октября

Трудные времена. Дошло до какой-то точки. Кто-то выразился:

— Эпоха, которая началась в 1848 году Коммунистическим манифестом, теперь закончилась.

Трудно Тендрякову — у него сняли из плана книгу, потому что он отказался вычеркнуть что-то о Сталине. Трудно Войновичу. Его режиссер сделал попытку дать публичную репетицию «Двух товарищей». А Шапошникова позвонила (сама!) режиссеру: «Войнович останется при своих убеждениях, зачем же мы будем ставить его пьесу?»

Я, вечный оптимист, теперь, пожалуй, впервые ничего хорошего впереди не вижу, ничего хорошего не жду. Но роман свой все же дописать сумею. Это меня держит.

22 ноября

Вчера позвонил в ЦК Мелентьеву. <...> И наконец все прояснилось. Вопрос уже рассмотрели, и одержали верх противники романа. Теперь хотят, чтобы я сам испортил свою вещь.

Я поехал в «Новый мир», сообщил о разговоре. Кондратович и Лакшин сокрушенно меня выслушали. И им стало ясно: надежд на опубликование уже нет. В январе они спишут полученный мною аванс, и дело будет закрыто.

Ну, а писательской общественности как-то объяснят, это, как говорится, дело десятое.

Что делать? Попробую дать роман в журнал «Москва», они просили и просят. Но портить не буду. Настроение угнетенное.

23 ноября, суббота

Вчера передал верстку в журнал «Москва» Михаилу Алексееву.

Посмотрим, что с этого будет?

31 декабря

С Новым годом, дорогой мой! С новой попыткой!
С новыми надеждами!

1969 год

16 января

Вчера был в «Новом мире». У них застрял 12-й. Две недели лежит в цензуре без движения. Впечатление — продолжается медленное удушение. А редакция все-таки дышит. Подготовлены еще три номера. <...>

Сегодня мне возвратили рукопись (верстку) от М. Алексеева. Его письмо (о Сталине, за Сталина) — последний мазок ко всей картине. Он вскрыл то, что как-то держалось в тайне. Вот как теперь решаются писать.

На этом, думаю, можно поставить точку в этом «Романе одного романа».

Сама жизнь ее поставила.

22 января. Малеевка

После большого (чуть ли не двухмесячного) перерыва вновь берусь за роман «На другой день».

Берусь с аппетитом. В последние дни роман как бы проворачивался и проворачивался в голове. Многое нашел.

Теперь пойду с самого начала. Сделаю несколько вставок, уже подготовленных, и с разгончика пойду дальше.

На «Новом назначении» я, по существу, поставил крест. <...>

Взял у Снегова его работу «Сталин на 6-м съезде». Он топчет Сталина. Но у меня своя концепция, и хочется скорее выразить ее в действии, в повествовании.

Закончить «На другой день» — это моя жизненная задача. За дело.

Я провожу беседы для второй части романа «На другой день».

Урожай богатенький. Я доволен.

6 ноября

Приехал на днях в Малеевку. Буду здесь дальше работать над романом.

В Москве у меня была встреча с Твардовским в редакции «Нового мира». Роман «На другой день» ему не понравился. При этом он сначала говорил мягко, подслащивая пилюлю («Прочел одним дыхом»), а потом все больше раздражался, перешел на грубости, хотя я держался очень смиренно.

Вот его слова (я кое-что записывал):

— Первая глава хорошо. А дальше письмо прилежаевское, извини... Ленин зализанный, традиционный. Прилежаевский Ленин.

Он и еще налегал на это прилагательное: «прилежаевский».

Ему возражал Дорош — говорил так:

— Само письмо не представляет интереса. Но характер Сталина получился. Но характер, конечно, ужасный.

Твардовский будто не слышал:

— Прилежаевские страницы. По краткому курсу все идет. Если бы отважился Бек сигануть куда-то... Идут добавки, и не очень удачные. Первую жену он утесняет.

Дорош:

— Получился характер человека. Его можно было бы назвать даже не Сталиным, а Чугуновым — все равно существует характер.

Твардовский опять пропускал это мимо ушей. Он сидел грузный, отечный, постаревший, и в то же время благообразный, величавый. Чем дальше он говорил, тем больше мне казалось: не пьян ли? Заговорили о характеристике, которую дала Сталину Светлана. <...>

И опять разговор перешел к новой моей рукописи. И опять Твардовский высказывал (все резче) недовольство:

— Ленин житийный. Все не удалось. Ничего не получилось.

Мне опять померещилось, что он выпивши. Говорил слишком громко и даже как будто язык немного заплетался (позже выяснилось, что он вовсе не был пьян).

Решили, что можно печатать первый кусок (вечер пятидесятилетия Л.).

— Приготовить, чтобы это было бы просто очерком. Чтобы не было никаких обещаний, запачек, — сказал Твардовский.

Я попросил заключить договор на новый роман. Тут он взорвался:

— Никаких договоров! Принес собачью чушь, да еще ему договор!

Я спокойно выслушал, попрощался и ушел.

Потом члены редколлегии, несколько смущенные, все же мне обещали, что устроят договор листов на 12. Что же, и это хлеб. Но с Твардовским отношения, конечно, испортились. Жаль.

Приступаю, значит, ко второй части романа. <...>

В общем, берусь с аппетитом за работу. Напечатать не рассчитываю. Но все равно хочется все, что имею, вложить в вещь. Вот как меняется время: писать романы — это теперь «хобби». Мое счастье, что я имею возможность этим заниматься. Возможность материальную (идут разные переиздания) и хороший внутрисний заряд!

1970 год

2 января

Новый год. А завтра мне исполнится — 67.

Ощущение творческого тупика я, кажется, преодолел.

8 февраля.

Вчера ко мне пришли Ю. Трифонов и Б. Можаяв. Хорошие писатели, славные люди.

Рассказали разные подробности про «Новый мир». Они пришли ко мне с письмом по поводу Твардовского, адресованным Брежневу. Суть письма: ведется кампания, направленная к тому, чтобы устранить Тв. от руководства журналом. Тв.— крупнейший русский советский поэт. Журнал объединил талантливейших писателей. Предъявляет своим авторам требования высокой художественности. Проводит линию XX—XXII съездов партии. Серьезно и интересно поставлен обществ.-полит. отдел. Журнал пользуется большим авторитетом. Мы просим предоставить возможность Тв. спокойно работать и составить редколлегию из товарищей, которых он считает необходимым для пользы дела привлечь. Подписи: Каверин, Рыбаков, Елизар Мальцев, Вознесенский, Евтушенко, Алигер, Трифонов, Можаяв, Нагибин, Тендряков и еще кое-кто. Должны были еще подписать Антонов и Исаковский. Я, конечно, немедленно подписал. Причем над Каверинным — то есть первым. Надо мной еще должна быть подпись Антонова.

Решили сходить к Симонову. Я предложил связаться с ним через Воробьева. Пошли к Воробьеву. Тот сразу же подписал. (Между прочим: Трифонов и Можаяв были в Переделкине, зашли с этим письмом к Залыгину, тот, как они говорят, «затрясся»: «Вы меня погубите, я добиваюсь квартиры, а если подпишу, меня оставят без квартиры, сотрут в порошок» и т. д. И не подписал. А месяца три назад был слушок, что ему предлагали быть редактором «Нового мира».

Воробьев позвонил Симонову, и через некоторое время явился К. М. Седой, в глухой теплой куртке, с трубкой, которая не курилась, но была в руке. Говорил о себе, о своем опыте, о том, как он ушел (кажется, в 1958 г.) из «Нового мира», ибо создались условия, при которых работать было невозможно. Быть может,

и Твардовскому лучше уйти, потому что работать не дадут. Быть может, займется прозой, напишет что-то значительное. Но, с другой стороны, это для него будет тяжелой травмой. А психическое состояние у него очень неустойчивое. Текст письма одобрил («я бы только вычеркнул слова: «авторитет среди прогрессивной интеллигенции всего мира»). Дал понять, что ему подписывать не надо,—он выступит и скажет свое мнение на секретариате. Нельзя-де так поступать с человеком, которого **вы** оставляете главным редактором—то есть навязывать ему первого зама и членов редколлегии.

Сам Симонов еще не получил никакого приглашения на заседание секретариата (а заседание, говорят, будет в понедельник в 12 ч. дня). И вообще он узнает обо всем только из разговоров с товарищами, а от секретариата никакой информации не получал.

В общем, от встречи с Симоновым осталось какое-то разочаровывающее впечатление, он держал себя уклончиво.

12 февраля

Вчера сделали попытку повидаться с Подгорным. Имеются как будто какие-то возможности быстро к нему прийти.

Собрались в полдесятого утра у редакции «Н. м.»—Розов (он охотно откликнулся на наш призыв), Можаяв, Трифонов, Тендряков.

Тендряк подошел последним и сразу же сказал, что у него есть сомнения: стоит ли идти? О чем говорить? Что и кого отстаивать? Твардовского? Но это очень слабая позиция. Мы возразили (в частности, я): не Твардовского, а журнал, дело, которому грозит развал.

Поговорив на улице, пошли в редакцию, стали дознаваться помощнику Подгорного. Телефон не отвечает. Звонили еще по какому-то телефону: опять безответно. Тут подошел Виноградов, объявился Владимов. Что делать? Кому-то пришла в голову мысль: мобилизовать Женьку Евтушенко. Позвонили ему. Он тотчас же приехал—в каком-то вязаном «черт меня побери», в красных носках, но серьезный, светлоглазый. Много-много мелких морщинок. Высказал свое мнение: «там» не любят, когда обращаются к двум различным лицам, у помощников есть мнительность,

неприязнь друг к другу, обращением к Подгорному можно испортить обращение к Брежневу. Все-таки его уговорили, он начал звонить по своим телефонам (в частности, и через Георгадзе), и опять все напрасно — просто к телефону никто не подходил.

Потом все-таки что-то выяснилось, нам объявили: надо ждать еще два часа. Что же, ждем, балагурим, слушаем рассказы Женьки о коварстве Полевого, о чем-то еще.

Стало известно: в редакцию пришел Трифоновч. Подъехал Рыбаков. Сидим, как на похоронах. Будто где-то в соседней комнате лежит покойник. Я поднялся на второй этаж. Да, приблизительно в одиннадцать уже привезли завтрашний номер «Литгазеты» с заметкой о переменах в редакции «Нового мира». Это-то и создало особо похоронную атмосферу.

Мне кто-то сказал: «Хотите поговорить с Твардовским?»

Я пошел к нему. Он сидел серьезный, собранный. Зреет у него какое-то решение. (После мне сказали, что он дал телеграмму Брежневу с просьбой о личном свидании).

Итак, захожу.

— Здравствуй.

— Здравствуй. Ты зачем ко мне? Поболтать?

— Да.

Он ответил мягко, без раздраженности:

— Не надо. Мне сейчас не до болтовни.

— Ну, давай хоть пожму твою руку.

Пожал, ушел.

Прошло два часа. Говорят: «Еще надо ждать двадцать минут».

Розов за это время успел провести свой семинар в Литинституте и вернулся.

Наконец, уже в третьем часу, выясняется: Подгорный будет у себя только вечером. О встрече сегодня нечего и думать. Да и вообще, о чем с ним говорить? Мы хотели как-то задержать появление заметки в «Литгазете», теперь это делать уже поздно.

Ощущение полной беспомощности, бессилия.

Кондрат<ович> рвет какие-то бумаги в своем кабинете, чистит ящики. Что же, по домам.

Мы с Розовым взяли такси, завернули в «Литгазету», я там взял завтрашний номер, поехали домой.

Мне потом говорили, что еще приходили писатели в редакцию, пришел и Солженицын.

Грустно.

Вчера я опять съездил в «Н. м.». Новость такая. Через дочь Брежнева удалось выяснить: он получил и прочел наше письмо (а также и письмо академиков по этому же поводу). И сказал ей: «Вопрос о Твардовском решен». Затем: «Я не люблю такого рода писем. Пришли бы три-четыре человека, поговорили бы». Ничего это письмо не изменило. <...>

Вот и кончился «Новый мир».

Были своего рода проводы-поминки. Собрались несколько писателей и все работники редакции в компании Лакшина, появилась водка, рюмки, стаканы; нарезанная колбаса в бумаге, кислая капуста на тарелке, выпили за уходящих, выпили за Хитрова, еще какие-то были безобидные тосты.

Лакшин сказал, что Тв. не придет, просит его извинить, ему еще надо исполнять свои обязанности. Да, предстоит последняя обязанность — составить текст заявления и на этом поставить последнюю точку.

Закончился какой-то этап литературной жизни. И снова скажу: грустно. Но литература, верится, все-таки будет так или иначе жить, так или иначе пробиваться.

Трепыхаться уже нечего, буду опять втягиваться в работу.

5 сентября

Теперь вот какая новость. <...> Куски из моего романа напечатаны за границей в журнале «Посев». И там же дано объявление: целиком роман выходит в издательстве «Грани».

Какой там у них текст — верстка или рукопись? И если рукопись, то с главами о Писателе или без этого? Ничего не знаю.

В общем, биография романа стала еще интереснее.

Пока не могу предугадать последствий этой заграничной публикации.

13 сентября

Похороны Хрущева.

20 декабря

Умер Твардовский.

— Еще одна жизнь кончилась,— сказал Анатолий Рыбаков.

С этой жизнью была связана — так уж случилось — и моя.

Большой человек нашего времени, моего времени.

Вчера я поехал к Марии Илларионовне на Котельническую набережную. Она встретила меня как своего. Поцеловал ей руку, а потом и лицо. Поцеловал Валю.

Провел у Твардовских больше часа.

Народу там было немного — Симонов (он ушел через две-три минуты после моего прихода), Лакшин, Дементьев (оба они сидели с Марией Илларионовной целый день — я приехал уже к вечеру), Закс, Залыгин.

Ждали чьего-то приезда (как позднее выяснилось, представителей Союза писателей), они позвонили, что едут, но почему-то задержались.

Разговор шел о похоронах, потом о литнаследии, о том, что надо обязательно перепечатать в нескольких экземплярах дневники, (этой задачей была как-то воодушевлена Мария Илларионовна).

Далее в другой (соседней) комнате — туда меня позвали Дементьев и Лакшин — ко мне просьба: пойти завтра вместе с Залыгиным в «Лит. газету» и передать там для печати небольшой некролог от близких друзей Твардовского и от тех, кто многие годы печатался в «Новом мире». Я, конечно, согласился, хотя не сомневался, что «Лит. газета» на это не пойдет.

Осталось впечатление (от этого) какой-то суеты. Еще как-то пытаются удержать около себя Твардовского, хотя дух его уже отлетел, уже перешагнул и Дементьева и Лакшина. Было их жаль.

Жизнь пошла дальше. Но пусть, пусть будут хранителями истории Твардовского, истории его «отрицательства».

Потом все же прибыли представители секретариата — Мих. Луконин и Верченко. Обговаривали с М. И. и с друзьями порядок похорон. Говорили о том, кто именно будет выступать на панихиде, кто будет вести. М. И. категорически не согласилась на Суркова. Сказала: «А. Т. его называл: «петух с отрубленной головой».

В какой-то момент Луконин не без смущения сказал, что ни Лакшину, ни Дементьеву слова, наверное,

дать не удастся. Мы-де спрашивали об этом наверху, и там-де промолчали. Но все-таки, может быть...

В общем, оттирают, оттирают тех, кто к нему был близок.

Наше посещение «Лит. газеты» было попыткой все же как-то сказать словечко в печати от имени старых «новомирцев».

Нас — меня, Залыгина, И. Виноградова и Буртина — принял Г. Никого из более высоких лиц в редакции не было. Взял наше письмо. Был приветлив, сочувствовал, но, конечно, ничего решить не мог.

И среди дня сообщил Залыгину, что поместить письмо не сумеют, вся полоса занята и т. д.

То есть этого и следовало ожидать.

Завтра похороны. Проводим Трифонюча в последний путь.

Умер во сне. Смерть праведника.

22 декабря

Вчера похороны. Стоял в почетном карауле, смотрел на А. Т.

Странно, он очень похож на себя, на того себя, каким когда-то был.

Как-то помолодел в гробу. Может быть, это объясняется тем, что болезнь избавила его от одутловатости, от отечности лица, и щекам вернулся прежний молодой очерк. Нижняя губа запала, верхняя выдавалась, это тоже не противоречило знакомому его облику, придавало лицу выражение упорства. И лишь нос был непохожим — удлинился, заострился, тогда как в жизни был коротенький.

Большой человек, большой характер. Вошел в нашу эпоху. За него уже идет борьба — официальный некролог, официальные выступления и вдруг... На кладбище Марию Илларионовну вел под руку Солженицын. Это была демонстрация (десятки фотокорреспондентов шелкали, перебежали, забегали вперед и снова шелкали) на весь мир: Твардовский-де в лагере Солженицына.

Интересно выразил свое впечатление от Солженицына Рыбаков. Ему довелось присутствовать в те минуты, когда Солженицына не пустили в Союз через тот вход, который ведет к подземному переходу. Солженицын не уступал, не уходил. «Я смотрел на него, — говорил Рыбаков. — Это урка. Таких я знал по лагерям. Это урка, готовый на все. Можете меня резать,

ломать, скручивать, я не подчинюсь, не отступлюсь. Такой же огонек урки в глазах, в повадке Солженицына».

Наблюдение интересное. Да, наверное, это характер урки, отчаюги,—но урки с огромным талантом и острым редким умом. Только урка мог вступить в такую борьбу. Вступить и победить. И вчера он дал еще сражение.

Я в зале пожал ему руку, сказал несколько дружелюбно теплых слов, и странно — он был растроган. Даже глаза его повлажнели. У него рыжеватая борода, охватывающая все лицо, щеки красновато обветрены (или, может быть, болезненно красноваты), выражение скорби, утомления. И сквозь бороду я как бы увидел молодое, розовое, светлое лицо — то, какое видел в день нашего знакомства десяток лет назад в «Новом мире».

На панихиде выделилась речь Симонова. Сказал примерно то, что было на уме и у меня. Это было смелое выступление — признал его и как деятеля, и как редактора «Нового мира». Прошел, можно сказать, по самому краешку.

После похорон я был на поминках у Твардовских. Народу не много. Большинство — работники старого «Нового мира». В центре Дементьев и Лакшин. (Лакшин тоже вел под руку Марию Илларионовну на кладбище: с одной стороны Солженицын, с другой — Лакшин. Ох, не спустят этого ему.) Слова им на похоронах не дали. Читали свои речи здесь. Впечатление — обломки разбитой группы. И дух Тв. уже отлетел от них. Борются за него и те, и другие, и третьи, а он сам по себе. И так, сколько могу судить, бывало с ним всегда.

Хорошо сказала Валя Твардовская:

— Мама, разреши мне сказать.

— Скажи, доченька, скажи.

И Валя сказала:

— У А. Т. большая семья. Три внука. И не было бы семьи, если бы не единомыслие. Единомыслие держало, соединяло нашу семью. И в нашей семье (прорвались рыдания) не могло быть плохих людей.

И повторила:

— Нет плохих людей.

И опять рыдания.

Очевидно, она имела в виду своего сына, что-то совершившего и с трудом избавленного от суда.

Часа через два приехали более официальные лица — Луконин, Кайсын Кулиев (пьяный), Аркадий Кулешов. Я уехал. Никаких прощальных слов не произносил. Попросту поцеловал Мар. Илл. Она сказала:

— Спасибо вам, что приехали.

Меня тронуло ее «спасибо». Ну вот, страница перевернута. Будем жить, работать дальше.

1972 год

3 января (понедельник)

Итак, Новый год.

За несколько дней до Нового года я закончил «На своем веку». Отдал в машинку. Затем, дня три — генеральная уборка. Далее берусь за книгу об Орджоникидзе. Должен сделать ее за год. Роман в новеллах — половина из них уже написана. Постараюсь написать «на полную железку». Вложу многое в нее.

Таковы мои новогодние планы.

16 февраля

Завтра уезжаем с Н. на «два срока» (48 дней) в Дублты.

Запишу о своих делах. Как будто обозначился некий международный успех моего «Нового назначения». За последние несколько дней сразу три радиопередачи о нем: 1) «Свобода»: круглый стол, разговор на 45 минут; 2) «Немецкая волна», краткое изложение статьи во «Франфуртер Альгемайне Цайтунг» (видимо, в обзоре печати — сам я не слышал), высокая художественная оценка, и 3) Би-би-си; рассказ о какой-то книжной выставке (я тоже не слышал), где общее внимание привлекала-де новая книга Александра Бека.

При этом все рассказывают и об истории романа, о вдове, о том, что Онисимов — это Тевосян и т. д. А Би-би-си, как мне сказали, даже увидела в Онисимове соединение двух прототипов: Тевосяна и... Микояна!

В общем, интерес к роману очень подогрет, как видно, его историей. Вещь выйдет, как можно уже установить, во многих странах. В ФРГ выходит (или уже вышла) в издательстве «Фишер Ферлаг». Будут издания и на других европейских языках. В общем, «Новое назначение» вышло в большое плавание. Слава богу!

Относительно выпуска романа у нас ничего не известно. Сдвигов нет, и, признаться, я уже не жду. Но какие-то приключения этой книги еще будут и будут продолжаться. <...>

В общем, настроение у меня ровное. И пора, пора отдалиться от Москвы, подышать свежим воздухом, спокойно (более или менее) поработать.

В общем, чувствую — какой-то большой этап жизни завершен, начинается следующий.

Оставляю эту тетрадь в Москве, а в Дубултах заведу другую. Надеюсь обработать этот мой дневник, этот «роман одного романа».

ПРИМЕЧАНИЯ

В четвертый, завершающий настоящее Собрание сочинений том вошли роман «На другой день», повесть «Такова должность» — произведения исторического жанра, а также мемуарно-автобиографические произведения: «Почтовая проза» и «Роман о романе. Из дневников (1964—1972)». «На другой день» и «Роман о романе» подготовлены и опубликованы лишь после смерти Александра Бека.

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

Впервые — «Дружба народов», 1989, № 8—9 (журнальный сокращенный вариант). Фрагменты: «Огонек», 1987, № 45; «Сельская молодежь», 1987, № 11; «Неделя», 1988, № 31.

Роман «На другой день» вызревал в замыслах Бека исподволь. В анкете 1965 года он сообщил читателям: «Предполагаю взяться за роман, который в разное время то набрасывал, то отодвигал, где отваживаюсь вывести в качестве одного из персонажей Владимира Ильича Ленина...» В процессе работы над романом центр авторского внимания постепенно смещался от ленинского образа к фигуре Сталина, который с первых же революционных шагов — по концепции Бека — коварно борется за власть (одно из черновых заглавий романа так и звучало — «Власть»). В одном из набросков к роману есть отрывочная авторская запись: «Трудность в описании Сталина — показать, на чем было основано доверие к нему Ленина и зародыши того, чем Сталин стал в будущем, и их конфликта» (Архив Т. А. Бек). Важна и другая запись Бека от 1967 года, относящаяся к этому замыслу: «Наконец-то обрел, уяснил концепцию романа, над которым

уже столь долго тружусь: он <Ленин> ее <партию> создал, а она потом его же сожрала, а затем и самое себя. Концепция, как мне кажется, <...> дает возможность оживить всякие омертвевшие аксиомы, вернуть им новое содержание» («Роман о романе»).

Работая над этим документально-художественным полотном, Бек изучил огромное количество материалов Центрального партийного архива, а также закрытые архивные и библиотечные фонды Москвы и Ленинграда, Тбилиси и Баку. Были проведены беседы с вышедшими из лагерей участниками и свидетелями революционных событий, с сотрудниками ленинского Секретариата, со многими «бывальыми людьми», знавшими и молодого Сталина, и его ближайшее окружение. В частности, одарил писателя своими исповедями старый большевик С. И. Кавтарадзе (1885—1971), чья фигура стала основой для обобщенно-собирающего образа Каурова, глазами которого даются романские события. «Счастлив,— пишет Бек в дневнике в апреле 1967 года,— что мне доступен материал, который никому не доступен за рубежом, да и у нас лежит втуне» (там же).

Бек завершил только первую часть задуманного повествования (он намеревался ввести во вторую книгу романа столкновение молодого Онисимова, героя «Нового назначения», с Берией, а в третьей рассказать о трагической изоляции Ленина перед смертью). Создать задуманную трилогию писатель не успел. Подробнее о работе над этим произведением — см. «Роман о романе».

Полный текст воспроизводится по авторизованной машинописи (Архив Т. А. Бек).

Стр. 9. *Тот ранний вариант литературного портрета...* — Очерк Горького «Владимир Ильич Ленин» был напечатан в журнале «Коммунистический Интернационал». М — Л., 1920, № 12; отзыв Ленина см.: Полн. собр. соч., т. 54, с. 429.

Стр. 10. *...по Чехову: «глубокоуважаемый шкаф!»*... — Реминисценция из пьесы «Вишневый сад».

Стр. 33. *Социалист, приятнейший во всех отношениях!* — Иронический намек на персонаж из поэмы Гоголя «Мертвые души» — даму, приятную во всех отношениях.

Стр. 34. *...в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов* . — Цитата из «Горя от ума» Грибоедова.

Стр. 43. *«Азбука коммунизма»* — работа, написанная Н. И. Бухариным и Е. А. Преображенским для широких масс как «популярное объяснение программы Российской коммунистической партии большевиков», М., 1920.

Стр. 55. «Тебе одной все, что дано мне с высоты Богом...» — Здесь: цитируется популярная в Кутаиси в начале XX века песня на слова Ш. Дадиани; эта же цитата на грузинском языке в русской транскрипции вкраплена в стихотворение В. Маяковского «Владикавказ — Тифлис».

Стр. 69. «Будет буря...» — Цитата из стихотворения Н. Языкова «Пловец». (См. также примеч. к роману «Талант».)

Стр. 95. «...Наиболее силен тот, кто наиболее одинок». — Цитата из пьесы Ибсена «Враг народа».

Стр. 98. «Темляк на шпаге, все по циркуляру». — Цитата из сатирического стихотворения А. К. Толстого «Сон Попова».

Стр. 116. «Долгий сказ поведать кратко — вот шаири в чем цена...» — Цитата из Вступления к «Витязю в тигровой шкуре» Ш. Руставели.

Стр. 158. «Если бы обрушилась, распавшись, твердь небесная...» — См.: Гораций, Оды. Книга III, стихотворение третье.

Стр. 162. «Русь, куда ты несешься...» — Реминисценция из поэмы Гоголя «Мертвые души».

Стр. 202. «...Музык и ахнуть не успел...» — Имеется в виду пьеса Чехова «Три сестры», где вольно обыграна цитата из басни Крылова «Крестьянин и Работник».

ТАКОВА ДОЛЖНОСТЬ

Впервые — «Новый мир», 1969, № 7.

Происхождение повести восходит к неосуществленному роману А. Бека «АИК». Материал об Американской Индустриальной Колонии — так именовалась группа американских рабочих во главе с иностранными коммунистами Хейвудом и Рутгерсом, которая в начале двадцатых годов приехала на помощь Советской стране, — был накоплен писателем-«беседчиком» в тридцатые годы.

Значительную часть материала составили беседы с С. Дыбцом, который юношей рабочим иммигрировал в Америку, где примкнул к движению индустриальных рабочих мира, затем, в 1917 году, вернулся в Россию, а в двадцатые годы по поручению В. И. Ленина поехал в Кузбасс, чтобы принять участие в работе АИКа.

В 1942 году большая часть этих заметок и стенограмм погибла. Но план романа «АИК» не был полностью отложен писателем, а трансформировался в замысел романа с условным названием «Дыбец». Относящиеся к пятидесятым го-

дам конспекты бесед с дочерью Рутгерса и вдовой Дыбеца, дневниковые записи и рукописные наброски (ЦГАЛИ) свидетельствуют о неослабшем интересе писателя к тому пласту отечественной истории, который отразился в прихотливой судьбе С. Дыбеца. «Этот роман будет очень важным, очень в глубине острым, я рассматриваю его как дело жизни», — записывает Бек в дневнике 1957 года (Архив Т. А. Бек). Но повествование о Дыбце было оттеснено работой над романом «Новое назначение», и лишь весной 1967 года Бек возвращается к Дыбцу, ограничив свое внимание на одном из моментов биографии героя.

«Надо подготовить в набор «Почтовую прозу». Я решил добавить листа три-четыре — рассказ о Дыбце, о гражданской войне, Махно и т. д.», — пишет он в дневнике 27 апреля 1967 года. Из записи от 27 мая также следует, что Бек писал рассказ как вкрапление в «Почтовую прозу» (типа главы «Гулыга»): «.. Гоню и гоню большую (страниц на сто) вставку — рассказ Дыбеца» (там же).

Вставка, однако, оформилась в самостоятельное произведение «Такова должность». Готовя его для одноименного сборника (вышел посмертно в издательстве «Советский писатель» в 1973 году), Бек внес в текст ряд стилистических поправок.

Стр. 228. ...«У Маркса нет и капельки утопизма. ..» — В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 33, с. 48.

ПОЧТОВАЯ ПРОЗА

Впервые — в авторском сб. «Почтовая проза». М., «Советский писатель», 1968.

Упоминания о книге появляются в дневнике Бека в 1960 году: «.. У меня есть еще одна работа, которая сейчас меня очень «завлекает». Дело в том, что недавно Лида Т(оом) отдала мне всю нашу переписку. Писем огромное количество — несколько сот. И я вдруг увидел, что если взять период 1932 (поездка в Кузнецкстрой) — 1938 гг. (конец «Кабинета мемуаров»), то письма этого периода с сегодняшними комментариями могут составить интересную содержательную книгу. Начал разбирать эти письма, готовить эту книгу о временах Горького, «Истории заводов», о моих первых шагах на писательском пути» (Архив Т. А. Бек).

В процессе создания книги план изменился: писатель сузил первоначально намеченные хронологические рамки до

1932—1936 гг. (работе 1938 года посвящен роман-записки «На своем веку» — Собр. соч. — I, т. 4) и привлек помимо писем и «сегодняшних комментариев» дневниковые записи стенограммы, наброски тех лет.

Спустя два года книга была завершена: «На днях закончил «Почтовую прозу». Что собой представляет эта книга, еще сам не понимаю. Хороша ли? Плоха? Будет ли напечатана? Не знаю, не знаю. Но очень захотелось ее сделать. Какая-то ценность в ней есть», — записал Бек в дневнике 6 мая 1962 года (там же).

«Почтовая проза» вызвала живой отклик в печати, критика отметила ее историко-литературную ценность: «Книга, посвященная времени, когда документальная проза еще только становилась, отыскивая свои пути и формы, весьма любопытна и ценна как свидетельство современника и участника созидания нового жанра советской литературы. «Почтовая проза» многое может дать литературоведу и историку, интересующемуся такими начинаниями эпохи, как «История заводов», «Кабинет мемуаров» и т. д. Интересна и полезна книга А. Бека будет, наконец, всем тем читателям, которые любят и знают творчество писателя, интересуются его истоками, — они с удовольствием примут приглашение побывать в его творческой мастерской» (В. Масловский. Глазами очевидца. — «Новый мир», 1969, № 9).

Текст печатается по изд.: Почтовая проза. М., «Советский писатель», 1968.

Стр. 325. *Тоом Л. П.* — См. наст. изд., т. 1, с. 500.

Чеканые пушкинские строки... — Название книги является цитатой из «Евгения Онегина».

Стр. 343. *...приказ об аресте Бераиже и его стихи на этом приказе.* — По-видимому, «Импровизированный донос».

Стр. 387. *...это советовал Чехов: бейте читателя по морде...* — Вольная цитата из письма А. П. Чехова к Ал. П. Чехову (между 10 и 12 октября 1887 года).

Стр. 411. *...все это сгорело в 1941 году на даче под Москвой.* — По ряду других свидетельств, довоенный архив Бека был утрачен в 1942 году.

Стр. 430. *...начал беседы с Луговцовым...* — См. примечания к «Власу Луговичу» (наст. изд., т. 1).

Стр. 472. *«Единого слова ради...»* — цитата из стихотворения В. Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии».

Стр. 482. *...«запустить пятерню в бочку жизни...»* — Цитата из «Фауста» Гёте.

РОМАН О РОМАНЕ

Впервые (сокращенный вариант-коллаж) — в сб. «Взгляд. Критика. Полемика. Публикации». М., «Советский писатель», 1988. См. также «Московские новости», 1987, № 22.

Основа этого дневникового повествования — 14 общих тетрадей, исписанных рукой А. Бека (Архив Т. А. Бек). Литературно отделан и отпечатан на машинке самим автором текст лишь первых четырех тетрадей (до июля 1966 года) — остальное было расшифровано и обработано после смерти писателя его вдовой Н. В. Лойко.

Здесь представлены наиболее интересные и содержательные дневниковые записи Бека 1964—1972 гг. Авторские варианты заглавия — «Сага о романе», «Роман сдан в редакцию», «Роман одного романа».

Работая над перепечаткой этих дневников, Н. В. Лойко набросала свое заключение:

«На этом обрываются дневниковые записи А. А. Бека.

В Дубултах, куда мы с ним приехали в феврале 1972 года, он новых не вел. Занимался тем, что обрабатывал, перестукивал на машинке первые свои тетради, начатые в октябре 1964 г. <...>

Вернувшись в Москву в начале апреля, не выяснив ничего существенного о судьбе «Нового назначения», он к дневнику уже не притрагивался.

12 мая Александра Альфредовича положили в больницу — на операцию. Там он пробыл два месяца. Затем столько же пролежал дома под наблюдением поликлиники. 7 сентября его увезли в другую больницу, где он находился вместе со мной в отдельной палате. Болел тяжело, но до последних дней верил, что его злосчастный роман будет вскоре опубликован на родине.

Скончался А. А. в ночь на второе ноября. Тихо. Во время сна. Как не вспомнить его запись о Твардовском (от 20 декабря 1971 года): «Умер во сне...»

Вот и все.

Н. Лойко.

Конец 1972 года».

Текст печ. по машинописной рукописи (Архив Т. А. Бек).

Стр. 493. «Черная металлургия» — последний и невоплощенный замысел Фадеева, в основу которого писатель поместил ложный конфликт, прогиворечащий реальности; эта коллизия и отражена в образе Пыжова.

Стр. 495. ...следующий роман («Молодость Онисимова») — Эта часть многосоставного повествования, кото-

рое замышлял Бек, дописана не была; черновики — в Архиве Т. А. Бек; фрагмент этого незавершенного замысла, рассказ «Молодые годы», см. в Собр. соч.— I, т. 1.

Стр. 498. ...его *⟨Рыбакова⟩ повесть...—* Имеется в виду «Лето в Сосняках», опубликованное в «Новом мире», 1964, № 12.

Стр. 501. ...роман *«Тля»*; ...мы выступаем против *«Тли»*...— Речь идет об одиозно-безграмотном и реакционном романе-памфлете Ивана Шевцова и о рецензии на него Андрея Снявского «Памфлет или пасквиль?», «Новый мир», 1964, № 12.

Стр. 505. ...некий демон...— Бек ссылается на мысль Томаса Манна из статьи «Бильзе и я»: «...Как художник ты подчиняешься демону, который заставляет тебя... поглощать каждую подробность, характерную в литературном смысле, типичную в своей значительности, открывающую перспективы, выражающую расовые и социальные признаки, подробность, которую ты беспощадно запоминаешь, словно тебе чуждо всякое человеческое отношение к увиденному,— все это обнаруживается в твоём «произведении»...»

Стр. 510. *Я уже начал маленькую повесть о Серго Орджоникидзе...—* См. примечания к циклу «Рассказы о Серго» (Собр. соч.— I, т. 1).

Стр. 513. ...роман *«Жизнь Березжкова»*...— Под этим названием был впервые напечатан в «Новом мире», 1956, № 1—5, роман «Талант». Говоря о «мытарствах» в связи с прототипом главного героя, Симонов имеет в виду авиаконструктора А. А. Микулина.

Стр. 514. *Мальшев В. А. (1902—1957), Завенягин А. П. (1901—1956)*— крупные государственные деятели и руководители тяжелой промышленности, близкие к типу Онисимова.

Серпилин— герой романа К. Симонова «Живые и мертвые».

Стр. 521. ...рассказ *«Серго в Баку»*...— См. примечания к с. 510.

Стр. 522. ...карась-идеалист...— Отсылка к одноименной сказке Салтыкова-Щедрина.

Стр. 527. ...доменички *Корововы*...— Этой династии посвящены «Записки доменного мастера» (1939) и роман «На своем веку» (1972) А. Бека; см. примечания к этим произведениям: Собр. соч.— I, т. 1 и т. 4.

Стр. 533. ...повесть *Катаева*...— Имеется в виду «Святой колодец», опубликованный в «Новом мире», 1966, № 5.

Стр. 535. *Шауро В. Ф.*— в 1966 г. заведующий отделом ЦК КПСС.

Стр. 539. ...*вторая книга Онисимова*...— См. примечания к с. 495.

Стр. 540. «*Свежатина*» — с молодости любимый литературный термин Бека; см. с. 345 наст. тома.

...*беседы с Кавтарадзе*...— См. примечания к роману «На другой день».

Стр. 541. ...*работаю над рассказом Дыбца*...— См. примечания к повести «Такова должность».

Стр. 543. ...*возьми Пушкина или Толстого*.— Далее идет ссылка на повесть «Капитанская дочка» и роман «Война и мир».

...*Казакевич это переступил*...— Имеется в виду повесть «Синяя тетрадь» (1961).

...*читал Драбкину?*..— Речь идет о романе Елизаветы Драбкиной «Зимний перевал», первая часть которого была опубликована в «Новом мире», 1968, № 10.

Стр. 546. ...*похороны Паустовского*.— Один из любимых писателей-современников А. Бека; см. статью «Доктор Пауст»: Собр. соч.— I, т. 4.

Стр. 547. ...*заговорили о Быкове*.— Имеется в виду повесть В. Быкова «Атака с ходу», опубликованная впервые в «Новом мире», 1968, № 5.

Стр. 550. *Шапошникова Л. В.*— в 1968 году секретарь по идеологии в МГК КПСС.

Стр. 551. ...*возвратили рукопись... от М. Алексева*.— Письмо М. Алексева Беку опубликовано Т. А. Бек в «Знамени», 1987, № 2:

«Уважаемый Александр Альфредович!

Очень внимательно прочитал Ваш роман «Новое назначение». Слов нет, написан он рукой сильной и опытной. Основная же концепция его нам представляется решительно неприемлемой.

Суть романа: все, кто работал со Сталиным и верил в него, исторически обречены, все они как бы больны неизлечимой болезнью. Мысль эта воплощена в образе Онисимова.

И, напротив, те, что были подалеже от вождя или внутренне сомневались в нем, заключают в себе будущее страны (Чельшев, Головня-младший).

Можно ли согласиться с такой философией? А не обижаете ли вы те тысячи и миллионы своих сограждан, людей безусловно честных, сокрушивших фашизм и ныне занимающих важные государственные, партийные и народнохозяйственные посты? Ведь Сталину безраздельно верили и те,

коим ныне за сорок,—а это основная масса руководителей всех звеньев.

Думается нам, что Вы шли не от жизни, а от заранее созданной Вами же схемы.

Если у Вас будет время и желание, я бы охотно поговорил с Вами о рукописи более подробно.

Глубоко уважающий Ваш талант *М. Алексеев.*

13 января 1969 г.»

Характерно, что в 1987 г. Михаил Алексеев печатно заявил, что роман Бека был отклонен им как редактором журнала «Москва» в 1969 году, поскольку был «весьма средним с точки зрения художественности». «...Еще раз заявляю во всеуслышанье: роман был отклонен вовсе не по «идейным» соображениям...» («Литературная газета», 1987, 25 ноября).

Стр. 552. *Снегов А. В.* (1898—1989)—член партии с 1917 г., партийный деятель, пострадавший в годы сталинских репрессий. В 1950—1960 гг.—руководитель Комиссии по расследованию сталинских преступлений, историк-публицист. Бек провел со Снеговым ряд бесед и консультаций, работая над романом «На другой день».

...прилежаевский Ленин...—Имеется в виду историко-революционная проза детской писательницы Марии Прилежаевой (1903—1989), верной стандартно-благодным традициям советской Ленинианы.

СОДЕРЖАНИЕ

●

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ. <i>Роман</i>	7
ТАКОВА ДОЛЖНОСТЬ. <i>Повесть</i>	225
ПОЧТОВАЯ ПРОЗА	325
РОМАН О РОМАНЕ. Из дневников (1964—1972)	491
Примечания	565

- Бек А. А.**
Б 42 Собрание сочинений. В 4 т. Т. 4. На другой день: Роман; Такова должность: Повесть; Почтовая проза; Роман о романе; Из дневников (1964—1972)/Сост., подгот. текста, примеч. Т. Бек.— М.: Худож. лит. Русский Пен-центр, 1993. 574 с.

ISBN 5-280-02041-9 (Т. 4)

ISBN 5-280-01606-3

В том вошли роман «На другой день» (1967—1970), повесть «Такова должность» (1969), а также мемуарно-биографические произведения: «Почтовая проза» (1962), «Роман о романе».

Б $\frac{4702010201-127}{028(01)-93}$ Подписное

ББК 84Р6

**АЛЕКСАНДР АЛЬФРЕДОВИЧ
БЕК**
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ



Редактор Н. Новикова
Художественный редактор Е. Ененко
Технический редактор Е. Полонская
Корректоры Г. Володина, Н. Гришина

ИБ № 6724

Сдано в набор 15.11.91 Подписано в печать 25.03.93. Формат 84 × 108¹/₃₂.
Бумага тип. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 30,24. Усл.
кр.-отт 30,24. Уч.-изд. л. 31,14. Тираж 50 000 экз. Изд. № III-4276.
Заказ № 3606. «С» — 068.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная лите-
ратура». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Государственное ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Крас-
ного Знамени Московское предприятие «Первая Образцовая типография»
Министерства печати и информации Российской Федерации. 113054,
Москва, Валовая, 28

